ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения

1 ✷ (65) 2008
весна

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е.А.Баратынский

Главный редактор:
Марина САВВИНЫХ
Заместители главного редактора:
Эдуард РУСАКОВ,
Александр АСТРАХАНЦЕВ,
(отдел прозы),
Иван КЛИНОВОЙ
(отдел поэзии),
Елена ТИМЧЕНКО,
(«Синяя тетрадь»)
Сергей ЯТМАСОВ
(электронная версия журнала),
Михаил СТРЕЛЬЦОВ
(маркетинг и распространение)

Секретариат:
Павел РОВЕНСКИЙ,
Наталья СЛИНКОВА

Редакционная коллегия:
Василий АКСЁНОВ (Москва)
Николай АЛЕШКОВ (Набережные Челны)
Владимир БАЛАШОВ (Саяногорск)
Юрий БЕЛИКОВ (Пермь)
Светлана ВАСИЛЕНКО (Москва)
Михаил ГУНДАРИН (Барнаул)
Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ (Латвия)
Андрей ИВАНОВ (Кемерово)
Александр КОЛЕСОВ (Владивосток)
Сергей КУЗНЕЧИХИН (Красноярск)
Валентин КУРБАТОВ (Псков)
Александр ЛЕЙФЕР (Омск)
Еагений МАМОНТОВ (Владивосток)
Владимир НЕШУМОВ (Старый Оскол)
Евгений ПОПОВ (Москва)
Лев РОДНОВ (Ижевск)
Анна САФОНОВА (Южно-Сахалинск)
Александр СИЛАЕВ (Красноярск)
Борис СТРУГАЦКИЙ (Санкт-Петербург)
Михаил УСПЕНСКИЙ (Красноярск)
Илья ФОНЯКОВ (Санкт-Петербург)

© Составление и оформление «День и ночь», 2008 г.

Перейти к содержанию…

Борис ПЕТРОВ

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

(опыт семейной хроники на историческом фоне, с отступлениями и размышлениями)

Дорогой мой сын Серёжа! И пишу я тебе... (Узнаёшь? Такими словами начал своё проникновенное послание на деревню дедушке хрестоматийный чеховский персонаж; почему-то и у меня так написалось, но точно — от души).

Сначала напомню один наш разговор. Дело было 9 Мая, в Святой день. После массового празднования на площади мы пришли ко мне домой, чтобы по русскому обычаю помянуть всех мужиков (Господи, сколько же их — несчётно!), сложивших головы за нашу Родину, за то, чтобы мы жили сегодня. Я наскоро расставил на кухонном столе кое-какую закусь, помянули. Молча. Занюхали. Надо было что-то говорить, и я без всякой связи с торжественностью момента, а может, по неосознанному желанию приглушить его не кухонную пафосность, сказал:

— Знаешь, мой отец не признавал помидоры. Я бы даже сказал, демонстративно и декларативно: каждый раз повторял, что у них ни запаха, ни вкуса. То ли дело, говорил, огурец! Душистый, разрежешь повдоль — так и обдаст зелёной свежестью, и хруст какой аппетитный! Попервости я удивлялся, дескать, чего он их так? А потом привык: Бог с ним, у каждого свои маленькие чудачества... ведь наверное, из-за этого удивления, а затем чувства ироничной снисходительности — к отцу!— запечатлелась заурядная житейская мелочь, ерунда в сущности. Говорят, память на чувства — самая прочная. Понимаешь, это как, например, кости мамонта. Всё жившее десять тысяч лет назад умерло, и вдруг вылезет из мерзлоты такая кость. Но по ней можно воссоздать облик всего мамонта, представить образ его жизни. Про помидоры — полвека таилось в инертных отложениях прошлого и вдруг — на тебе, «Возьмите меня за рубль-двадцать, — как моя маманя говаривала. — А нам, мол, и даром не нужно». И помидоров-то никаких на столе нет. М-да... А ты что будешь обо мне вспоминать, тоже какую-нибудь чепуху?

Ты весело хмыкнул и успокоил: не переживай, что-нибудь да останется в этом роде. Например, к огурцам ты как относишься? Остряк, остряк, это мне ведомо... И тут ты вдруг спросил серьёзно:

— А вообще, каким был дед Михаил Петров, что за человек? Говоришь, у тебя хранятся его награды — орден «Отечественной войны», медаль «За оборону Москвы». Трудовые — понятно, а эти? Он же на фронте не был? Смутно всё представляю, четыре года было, когда он умер. Только фамилию ношу, а что знаю?

— К сожалению, с этим делом у нас общенациональный провал памяти. Вон чеченцы, говорят, обязаны знать предков до седьмого колена... Что тебе сказать? В двух словах не опишешь.

— А ты не торопись. — Всё так же серьезно. — Соберись спокойно и изложи всё, что помнишь. В письменном виде, специально для меня. Мне очень интересно. Не спеша, обстоятельно, лично мне. Договорились?

Я пообещал. Твой пробудившийся интерес к фамильным истокам меня очень обрадовал, даже как-то тепло стало на сердце. Но пролетело довольно много времени, прежде чем я собрался исполнить обещанное.

Простое, вроде, домашнее задание — семейная хроника. Не рассказ, даже не очерк для газеты — не надо заботиться о «сюжетном ходе» и всяких литературных ухищрениях, делать вид, что это не фамильные воспоминания, а художественное повествование для «широкого читателя»; не надо бояться повторений с другими текстами. Лёгкая работа для профессионального литератора: взял и описал всё в хронологическом порядке и по прямому адресу — лично сыну, распишитесь в получении. Но постепенно затея всё больше меня самого разогревала живыми воспоминаниями, неожиданно возникавшими в памяти картинками, всякими мыслями, рождавшимися по существу и попутно. По обрывкам, эпизодам, отдельным словечкам

накапливалось всё больше и больше. Зашевелились давние ощущения и чувства, волновавшие полвека назад, казалось, давным-давно забытые и растворившиеся во времени. Наконец стало трудно удерживать воссоздающийся из обрывков и осколков мир в голове. Как ничем не скрепленную мозаическую россыпь или карточный домик, который, чем сложнее и выше растёт, тем становится ненадёжнее, грозит вот-вот обрушиться. Возникла необходимость всё записать, чтобы сохранить.

Итак, выполняю, наконец, давнюю просьбу, закрываю ещё один долг. И представляю свой труд на твои, надеюсь, доброжелательные суждения. Греет сознание, что, по крайней мере, один заинтересованный читатель у этой рукописи будет.

Довольно редкий случай для нашего теперешнего быта: у меня хранится церковная метрика от 8 января 1897 года. На гербовой бумаге размером чуть не в половину современной газетной страницы, не то что нынешние квитанции на «родился-умер»; старинный почерк с завитушками, чёрные чернила почти не выцвели. Свидетельство о появлении на свет Божий и крещении моего отца, твоего деда Михаила. Из него следует, что родители его — «Тульской губернии, города Алексина мещанин Николай Иванович Петров и его законная жена Екатерина Александровна, оба православные.» Названы имена-отчества восприемников, то есть крёстных, и тех, кто совершил обряд крещения: священника Василия Щеглова с диаконом Петром Никольским и псаломщиком Василием (фамилию я не разобрал). Как-то даже увиделись эти бородатые в облачениях-ризах, деловито-степенно священнодействующие...

Итак, мы точно знаем не только твоих прадеда и прабабку, но и некую связь прадеда с городом Алексиным. Я бы мог кое-что поведать об этом старинном городке — о том, что даже на московских рынках он был славен своими знаменитыми белыми грибами, а его история — именами русского мыслителя Ивана Посошкова, поэта Василия Андреевича Жуковского, первого председателя Временного правительства князя Львова; что городок описан в одном из прекрасных рассказов Ивана Бунина... Однако к нашей теме всё это отношения не имеет.

Дело в том, что подданные России делились до революции, как тебе известно, на сословия (дворяне, крестьяне...); мещанин — значит, гражданин такого-то города, к которому он приписан. Как железнодорожный вагон — приписан к станции какой-нибудь Болотной, а колесит по всем просторам страны. На самом деле прадед Николай Иванович Петров (на старинной фотографии — примерно твоих нынешних лет мужчина с прямым, как у приказчика, пробором и густыми усами) проживал в Туле, имел собственный дом в городской слободе Чулково и служил упаковщиком на самоварной фабрике Воронцова. Об этом неоднократно писал в своих официальных автобиографиях мой отец. Любопытная деталь: в одной из них он попытался обозначить своего родителя «рабочим» — в начале 20-х годов от социально-классового происхождения часто зависела судьба человека. Но не было до революции сословия «рабочий»! И бдительный кадровик, зачеркнув, исправил: «из мещан». Вот такие, понимаешь ли, подробности.

Любопытно отметить, что в Туле было несколько самоварных фабрик, самые известные — Баташова и Воронцова, и знаешь почему? Своим происхождением знаменитое здешнее изделие (даже присловье пошло: «Ну уж, это как в Тулу со своим самоваром!») обязано располагавшемуся километрах в двух от Чулкова Патронному заводу: производство артиллерийских гильз и самоваров — одна и та же технология. Тула, в отличие от дворянского Симбирска или купеческой Самары, вообще была сугубо ремесленным городом: ружья, пистолеты, ножи, баяны, самовары, даже вот знаменитые тульские «печатные» пряники. (А те кругленькие, которые везде называют пряниками, в Туле звались «жамки»). Кстати, сами коренные туляки носили прозвище «казюк», но почему, в чём его смысл, я, увы, не ведаю.

Исторически сложилось так, что весь этот ремесленный люд гуртовался по отдельным слободам и улицам в соответствии с цеховой специализацией: в одной жили ложовщики, в другой — мастера по ружейным замкам, в третьей стволовщики. Велись и семейные фирмы: «Егор Самсонов во граде Тула, поставщик двора Его Императорского Величества» — такое клеймо я видел на клинке охотничьего ножа старинного производства.

Прадед Николай по свидетельству прабабушки Екатерины Александровны получал в месяц жалованья тридцать целковых. Если принять во внимание, что корова стоила десять рублей, можно приблизительно представить уровень благосостояния семьи: не слабо,

правда? Жили в собственном доме с садом и коровой, то есть, уж явно не пролетариат. Тех, которым терять нечего, кроме цепей, в рабочей Туле вообще не водилось. Даже кто работал на казённых военных заводах, основанных по указу Петра I в 1712 году, все имели собственные дома, усадьбы, мастерские. Жёны занимались только домашними делами — хватало заработка главы семьи. Из чего можно сделать вывод, что при советской власти, уравняв в правах и отправив женщин работать на заводы и фабрики, умные руководители просто поделили прежний заработок на двоих. Бились за эмансипацию? Получите... Короче, жили туляки-работяги... нормально жили, может, и теперешние многие позавидовали бы.

Как-то мне попалась книга о знаменитом советском оружейнике В.А.Дегтярёве, изобретателе пулемётов, противотанковых ружей и многого другого. Вся его известная деятельность связана с городом Ковровом Владимирской области, но оказалось, что родом Дегтярёв тоже туляк. И вырос неподалёку от места, где прошло детство моего отца. Дегтярёвы тоже владели своим домом, а во дворе — кузницей с горном и верстаком: дед-пенсионер (!) не расставался с ремеслом и внука приучил к нему с раннего возраста. Таким был сложившийся уклад жизни, и по уровню можно ли назвать их бедняками? Характерно, что в Туле уже в 1919 году вспыхивали забастовки против новой власти. А рабочий Ижевск вовсе восстал и выставил полк в состав белой армии. Любопытные исторические детали, правда?

Но благополучная жизнь семьи рухнула разом и трагически: прадеда Николая Ивановича в самом зрелом возрасте разбил паралич. Несколько лет он лежал в кровати, как тогда говорили, «полоумным», невероятной обузой для остальных. За это время Екатерина Александровна распродала всё: дом, сад, корову — надо же было как-то заботиться об инвалиде и содержать детей. Тяжким камнем тянул больной всю семью на дно. Детей к тому времени сохранилось двое из пяти или семи рождённых: старшая дочь Надежда и шустрый сынок Миша. Когда Николай Иванович, наконец, помер, нашему с тобой будущему родоначальнику исполнилось всего пять лет. Вот тут-то семья и хватила лиха.

Видишь ли, какое дело, независимо от названия строя — капитализм, социализм, феодализм — основой благосостояния и благополучия семьи, всегда был отец, так уж у людей заведено тысячи лет. И вдруг его не стало...

Екатерина Александровна пошла работать «в люди»: стирка, уборка, всякое услужение по домашнему хозяйству у богатых. А что иного она умела? Билась молодая вдова, словно муха об стекло. Переселились в крохотную хибарку у самого полотна железной дороги. Поезда торопились из Москвы на Курск и Харьков, когда рядом грохотал очередной состав, всё жильё содрогалось. Потолок провисал так низко, что рукой можно достать... В одночасье порушилась жизнь семьи в результате безвременной смерти её главы. И тут меня просто неодолимо затягивает ещё порассуждать о роли отцов в нашей жизни.

Принято вообще со святым трепетом относиться к матери, к женщине: она, говорят, даёт жизнь, на ней держится семейный очаг, воспитание детей. Об этом написаны тысячи литературных произведений, образ матери освящён и вознесён в живописи, музыке и скульптуре. Отцам в искусстве досталось немногое. Ну, про сумасшедшего короля Лира — на то он и Шекспир, чтобы не обойти такой темы. Ну, скупердяй папаша Горио другого литературного гения... Я согласен вспомнить даже грузинский фильм «Отец солдата». М-да, надо бы и мне, простофиле, сразу сообразить и писать теперь настоящую повесть с завязкой и развязкой — глядишь, и пристроился бы «на прилепушках» к славному дилижансу классиков. (Шутка). Но вообще-то не разбежишься. А между тем...

А между тем, в жизни мужик — основа, ствол дерева. Хотя любуются обычно листвой и цветами. Не только то самое благосостояние — от него зависит весь образ жизни членов семьи, именно от его характера, решений и поведения. Вся моя биография до 22 лет определялась непосредственно его судьбой и поступками. А ведь есть ещё скрытое влияние, чаще неосознаваемое — на привычки, взгляды, характер. Так же, как формируются молодые растеньица — одному досталось побольше света и влаги, другому застят соседи... Всё это я и хочу показать в настоящей хронике.

Но обычно твердят: мать, мать, жизнь дала, этакая богиня Гера. Только как в том же древнем мифе сказано? Лежит мать Земля и ждёт семени, чтобы её оплодотворили... Моя маманя — вообще любительница народной фразеологии — высказывалась проще, приводя бытовое присловье: женщина, мол, — это что

положат, то и понесёт. Я понимаю, публично рассуждать на столь щекотливую тему — занятие довольно скользкое: подвергать сомнению устоявшиеся святые понятия. Может и не стал бы. Но ведь делюсь сейчас своими соображениями только с тобой, в очень частном порядке. И, подчеркну, выступаю не за первенство, не нужно нам, мужикам, такого, как перед женщиной, молитвенного обожания; я — только за справедливость. А то както оно... Вроде, шёл мимо солдат, пустили переночевать, он и воспользовался, а утречком отправился себе дальше. Не так ведь в жизни. Да, случаются стервецы, отцы-беглецы. Так ведь и молодые мамаши, то и дело слышишь, младенцев в мусорные баки выбрасывают, что ж об этом толковать. Справедливости взыскую, только справедливости!

О женщине вообще в большой литературе отзываться неодобрительно как бы не принято. Даже если Божьи заповеди нарушила — всё равно это он, негодяй, виноват, обманул и бросил. Сама мужу изменила? Значит, натура страстная, а это как бы само собой снимает все вины. А уж коли кого допечёт, то на всё-про всё отведён единственный персонаж женского пола — тёща, тут позволено разгуляться во всю, отводите душу! Так сказать, объект для психологической разгрузки. А в целом так оно искони заведено, всё мы им прощаем. А они привыкли и принимают за должное. Ещё бы, они — прекрасная половина человечества, а мы — мужское поголовье. Смешно, правда?

Но вот что утешает: сколько слов сотворил наш душевный язык, посвященных отцу, сколько в них оттенков чувств! Отец, батя, батюшка, тятя, отче, родитель, современное молодёжное — предок... Даже из не так давно пришедшего французского пап*а* — сколько вариаций! Уважительное папаша, заискивающее папенька, фамильярное папашка, ласковое папуля, отвратительное — пахан. Язык наш не обманешь, он чутко улавливает и суть дела и тонкие настроения. От родителя нам передаётся отчество — и с ним фамильное наследие. И Отечество — великое наследство, за которое мы в ответе перед своими детьми и будущими поколениями.

Извини, не утерпел, отвлёкся от спокойного течения семейной хроники, захотелось высказаться хоть раз.

Да, так вот, прадед Николай Иванович ушёл из жизни, когда моему отцу было всего пять лет. Мать его пошла добывать копейку то подёнщицей, то в услужении за гроши, существовали очень бедно. Рос мальчишка сорванцом-безотцовщиной. А характером, видно, выдался задиристый, за что и получил уличную кличку Мишка-Соль. И вот, странное дело, с младых ногтей в нём появилась страсть к рыбалке и охоте, совершенно непонятно — от кого? Ну, река Упа протекала рядом, все мальчишки баловались удочками. А охота?

Правда, это увлечение в среде тульского ремесленного люда от веку было массовым. А кто постарше, переключались на тихую ловлю певчих птиц. Вот с этими чулковскими дедами-птицеловами он и стал впервые ходить в лес. Они брали с собой сироту из добрых побуждений, а он таскал им мешки с сетками, клетками, садками, лучками, учился распознавать птиц по голосам и повадкам. В лесу, рассказывал, деды обязательно варили традиционную пшённую кашу с салом.

Но очень хотелось и пострелять — извечная мальчишеская страсть. И он соорудил себе самопал. Заклепал казённик трубы, приладил сосочек, на который надевался пистон от шомпольного ружья. Набил дуло порохом, прицелился и тюкнул молоточком по капсюлю — грохнул выстрел... Кончился эксперимент печально. Дело в том, что курок у шомпольных ружей изготавливался в виде колпачка, похожего на чашечку жёлудя — специально для предохранения от разлетающихся иногда осколков взорвавшегося пистона. А наш юный оружейник такую малость не предусмотрел, осколки брызнули, и один угодил стрелку в бровь, сильно рассёк её. Ещё бы чуток и — прощай, глаз, — инвалид, никчёмный пропащий человек. К счастью, пронесло мимо сей скорбной юдоли.

К тому времени он уже учился в так называемом городском училище (надо полагать, бесплатно). Тут завидную настойчивость проявила его матушка. В семейных преданиях сохранилось наставление, с которым она упорно приставала к сыну: «Учись, Мишка! Выучишься — станешь мундир с ясными пуговицами носить и на извозчике ездить!» Предел, так сказать, мечтаний о счастливой жизни. Однако учился Мишка шаляй-валяй, ибо бесконтрольно. Из-за увлечения рыбалкой и птицами пропускал уроки, даже остался в одном классе на второй год. Судьба будущего балансировала, словно канатоходец над разинувшими рты зрителями, могла свалиться и на одну сторону, и на другую. Что-то всё же уберегло его от падения — в лето 1913-го,

шестнадцати от роду, училище он закончил и пошёл на работу. На Тульский Оружейный завод. Его приняли учеником кальщика в закалочную мастерскую. Производство было, употребляя сегодняшнюю терминологию, «горячим» и вредным из-за паров свинца.

Как-то он мне рассказал с озорным прищуром, весело покачивая головой, с чего началась его трудовая деятельность. В закалочной стояли ванны с расплавленным свинцом; ему дали молоток без рукоятки, привязанный к свинцовой проволоке, и сказали: опустишь в ванну, сосчитаешь медленно до тринадцати и вытаскивай. Робеющий ученик отправился исполнять первое ответственнейшее задание, а все притаились по углам и наблюдали. «Раз, два, три, четыре...» Когда он извлёк обрывок расплавившейся проволоки — без молотка, естественно, — какое со всех сторон раздалось дружное ржание! Уж больно растерянное, просто потерянное выражение было на лице у новичка. Этакий рабочий «прикол», как сказали бы теперь, крещение в профессию.

И началась его трудовая жизнь. Оставался ровно год до начала первой мировой войны.

Я пытался его иногда расспрашивать: как, дескать, жили до революции? Как жили (усмехался)... Нормально. Вот теперь говорят «трактир» — то есть что-то грязное, пьяное, а ты знаешь, какие они были? Ого! Заходишь, половые летают в белых фартуках, за пять копеек ставят тебе вот такую миску щей! Густых, наваристых — суточных, значит, особенно душистых, и ещё пару чайников чая... Попивали, конечно, и покрепче, а как же? С получки — положено. Ты, говорит, Глеба Успенского читал, «Нравы Растеряевой улицы»? Почитай, всё про нас написано. (И опять озорно, как бы даже с гордостью ухмыльнулся). Работали, зарабатывали. Ну и гуляли, конечно. Молодые же!

Странно мне было представить: бурный судьбоносный, исторический 1917-й он увидел уже двадцатилетним парнем. Так что мог всё довольно трезво оценить, сделать выбор. Не политический, допустим, а житейский, «по понятиям». А затем довелось лично на этом корабле истории и штормы претерпевать, и за борт падал, но выбирался и снова занимал место в команде. А когда доставалось, то, как заведено, на всю катушку гулял «на берегу»...

Октябрьская революция сказалась в его судьбе непосредственно. Нет, на баррикадах он не сражался. Дело в том, что в Туле их, по-моему, вообще не видели. Оружейники — особая категория, любой власти необходимая. Кто-то где-то бунтует, бузит, митингует, затевает гражданскую заваруху, а они заняты своим делом, производят винтовки, пулемёты, револьверы, без которых любые революции не обходятся, и всякая власть озабочена, чтобы этот труд не прерывался, не был дезорганизован. В жизни молодого рабочего Мишки Петрова новое устройство общества сказалось в том, что появилась возможность для учёбы. Именно учёбы без отрыва от производства. Раньше такого не было.

И вот тут сказался характер, проявилась личность, обнаружился в парне стержень, такое важное для мужской натуры целеустремление к росту, к утверждению себя в жизни.

Я уже упоминал, что у меня сохранились кое-какие его бумаги. Справки, характеристики, листки по учёту кадров, автобиографии — все уже пожелтевшие, стёршиеся, местами чернила расплылись. Зачем лежат? Да так, лежат и лежат, взять да выбросить, что ли? Всё-таки история. Хотя и личная. Иногда возьмёшь в руки и как-то само собой задумаешься... Впрочем, не всегда только личная, но и настоящие свидетельства времени. Так вот, собираясь писать тебе, я этот архив в кои веки раз извлёк и перебрал. И многое увидел новыми глазами. Суди сам.

Вот листок по учёту кадров — записи точных дат движения по должностям. С 1913-го по конец 1915-го он рабочий-кальщик. А в 1916-17-м — помощник мастера. Первая начальственная должность. За что-то ведь выдвинули — в 19 лет, с самым простым образованием. Надо полагать, за трудолюбие, сметливость, рабочую хватку. Ещё до революции. Это — характер.

А тут ещё и семейные обстоятельства. В 1913-м сестра Надя вышла замуж. За человека экзотической по тем временам профессии — кинооператора по фамилии Андрюхин. Судя по всему, человек был оригинальный: и профессия необычная, и повадки витиеватые. Вскоре он увёз отцову сестру в Архангельск. Через какое-то время вслед за дочерью уехала и мать. В период английской оккупации города в гражданскую войну этого Андрюхина арестовали, и он пропал навсегда; не исключено, что расстреляли, а может, и в эмиграции. А тётя Надя и бабушка Катя так и дожили в далёком Архангельске до конца бренных дней. Бабушку Катю «Маленькую» я видел всего один раз, когда она наведалась к нам

в Тулу в трудные для нашей семьи времена. Помню, что была она лёгонькая, сухонькая и готовила нам «мурцовку» из запаренных сухарей с постным маслом — наверное, обыденную еду в обиходе их бедовавшей семьи. С того дня мне эта мурцовка в жизни не попадалась. Говорят, что отношения между моей матерью и свекровью были очень неприязненными, поэтому и не виделись мы больше.

Но я опять отвлёкся, а суть в том, что с семнадцати лет наш с тобой персонаж, совсем молодой мальчишка, остался совершенно один посреди нивы жизни и не пропал, не скатился, а наоборот, стал подниматься со ступеньки на ступеньку. В 1917-22 годах он уже старший мастер, немалая фигура в заводском быту.

Да, революция открыла ему путь к учёбе. Но надо было ещё иметь желание и волю этим путём воспользоваться. «Без отрыва от производства», в условиях крутой ломки привычного существования, разрухи («И по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод...»). Он — воспользовался. Характер. Работал и учился. Один жил, никто не понукал. В 1919-22 годах закончил вечерний техникум, а в 1930-32 — Высшие технические курсы (то есть институт) с дипломом инженера по холодной обработке металлов. К этому времени ему исполнилось 35 лет, стало быть, все молодые годы ушли на работу и учёбу по вечерам.

Тут ещё надо отметить, что в феврале 26-го его приняли в партию. То был исторический «Ленинский призыв», принципиальное событие в истории ВКП(б): раньше партию составляли в основном профессиональные революционеры, а с Ленинского призыва в неё пошла волна рядовых производственников, трудовая молодёжь — партийный состав менялся, приобретая массовый характер.

Естественно, партбилет открывал более широкие пути роста. В 1928 году он уже начальник револьверной мастерской. Что это такое, надо представить. Дело в том, что в те годы на Оружейном заводе ещё не было названия «цехи», производственными подразделениями считались мастерские: пулемётная — выпускала легендарный «максим», револьверная — наганы, продукция других соответствующих — мосинская трёхлинейка, охотничьи ружья и т. п.

Именно когда отец был начальником, конструктор В.Ф.Токарев представил свой образец нового пистолета «ТТ» («Тульский Токарева»). Это было современное оружие с более совершенными боевыми свойствами. А главное, несравненно более технологичное в производстве, по времени изготовления и затратам в несколько раз (!) превосходившее допотопный наган. То есть кропотливо тачать сапоги вручную или гнать на поточной линии — казалось бы, каждому ясно! Но приехал на завод нарком Клим Ворошилов, подержал «ТТ» в ладони и сказал: «Какой-то он тупой... Я всю гражданскую с наганом прошёл, его в любую дырочку суй и стреляй. А этот...» И «ТТ» сняли с производства. Так мне сам отец рассказывал. Этот эпизод я описывал раньше, однако не могу удержаться, чтобы не привести ещё раз. Уж очень показателен. Да и мало ли о чём я уже писал — у этой хроники совсем другие и задачи, и «тираж». А без кое-каких повторов иные вещи будут непонятны.

Работа и учёба, работа и учёба. Но — дело молодое! — как-то хватало времени и на увлечения. Сохранилась пожелтевшая фотография городской футбольной команды; Михаил Петров — молодой, спортивный, улыбчивый, в майке с отложным воротничком на шнурках, — в центре с мячом под мышкой: капитан команды. Но больше футбола в Туле увлекались велосипедными гонками: здесь имелся один из трёх, кажется, велосипедных треков дореволюционной России. Отец в гонках не участвовал, но слыл искуснейшим веломехаником. Перед заездами самые знаменитые чемпионы обращались к нему: «Миша, посмотри конуса, у тебя глаз надёжный». Миша, засучив рукава выходной рубахи, смотрел, доводил регулировку до самой последней степени тонкости.

Важная и яркая деталь биографии: в 1926 году его посылали в командировку в Англию; три месяца в Шеффилде и Бирмингеме он

изучал опыт производства пулемётной ленты. Попасть за границу в те годы было событием экстраординарным, впечатлений о жизни и быте в капиталистическом забугорье осталась масса. Возвратившись, он много рассказывал друзьям, делился наблюдениями, нередко и с завистью. (Сама собой приходит в голову ассоциация: тульский Левша тоже оказался в Англии, как-то оно любопытно, правда?) В качестве сувенира привёз с собой обыкновенный столовый нож, который был всё-таки необыкновенным. Во-первых, его сделали в цеху прямо на глазах у гостей и вручили ещё тёпленьким. Во-вторых, нож был из нержавейки, в те годы превеликая редкость. Что папаня и демонстрировал на

глазах у гостей: разрежет лимон и положит нож на скатерть, не вытирая — а он не темнел! Вот ведь буржуи додумались...

Но поездка эта дорого обойдётся ему в будущем. Впрочем, пока — обо всём по порядку.

У такого весёлого, удачливого, спортивного парня и с девчатами, можно не сомневаться, дела складывались благоприятно. Но пришла пора обзаводиться собственной семьёй. Женился он только в тридцать лет, работа-учёба сказались тут, видимо, не в последнюю очередь. В нескольких словах, как я собрал эту историю по отрывкам и кусочкам, дело состоялось следующим образом.

На заводе он сошёлся с дружком Осей Николаевым. Тот познакомил его со своей семьёй, в которой расцветали три сестры. Пятым был старший брат Василий, но о нём в те годы старались при посторонних не вспоминать: он юнкером оказался в колчаковской армии и погиб где-то в Омске. Глава семьи, Михаил Иванович Николаев, тоже рабочий Оружейного завода, имел в собственности нижний из двух этажей старого полукаменного дома и был человек нрава крутого, даже — по позднейшим отзывам родни, — пожалуй, злого. Дочерей держал в домостроевской строгости. Рассказывали, например, что подкарауливая возвращение с гулянок младшей дочери Жени, ложился спать в тамбуре, чтобы точно засечь, когда она явится. Но старшие, дескать, открывали ей окно и помогали впрыгивать, минуя засаду. Среднюю дочь звали Дуся, Евдокия Михайловна. Она стала моей матерью, а суровый Михаил Иванович Николаев, соответственно, дедом по женской линии

Мать в те годы училась на рабфаке, прекрасно его закончила и получила направление в московский Менделеевский (химический) институт. Но учиться дальше не поехала. Она была молода, красива и — главное — голосиста. Пела прекрасно до преклонных лет, причём голос ей природа подарила не какой-нибудь сильный, но бытовой, обычный; голос был прямо как бы оперный, «консерваторский». Вот такой дар Божий. И пела она не «народное», а главным образом городские романсы типа «Ты смотри никому не рассказывай...» или «Утро туманное, утро седое». Народ обычно замирал, услышав этот необычный в быту голос. Отец много раз с усмешкой повторял: «Я и женился-то на ней — больно хорошо пела.» Зная его пристрастия, можно этому вполне поверить.

А уже в 80-х, тоже заинтересовавшись документами, доставшимися ему, мой старший брат Володя обнаружил, что официальное свидетельство о браке наших родителей датировано... 1929-м годом. «Это ж получается, что я — незаконнорожденный! — возмущался он, разводя руками, изображая пантомиму «Здра-астепожа-луйте!» — Ну, родитель, ну и гусь!» (Володя родился 1 октября 1927-го) — и, обращаясь ко мне, — Вот ты всё твердишь: отец, отец. А что отец? Гуляка был, бабник, выпить любил. Дядя Ося переехал в Москву, работал геодезистом на строительстве знаменитого Дворца Советов; отец как попадёт в командировку в столицу, так они с ним сойдутся и загудели! Домой — без копейки в кармане, как мать говорила: «Опять по рельсам пришёл». Да она его и на стороне, кажется, прихватывала».

Такая оценка меня всегда, мягко скажем, удивляла. Но об этом я, может быть, поговорю позже. А если объективно, то... Да, характер у моего папаши, судя по всему, был в молодости весёлый и лёгкий. Темперамент ему достался, пожалуй, сангвинический. А облик — цыганистый, с тёмными природными кудрями и глазами карими; вот только нос русский, крестьянский, на подбородке ямочка — известный признак двоежёнства. Но примета не справдилась: гулять погуливал, однако всю жизнь прожил с моей матерью, хотя к старости в постоянном напряжении. А по натуре был эпикурейцем: веселья любил, удовольствия, застолья, всякие хохмы, жареное мясо... Зато про картошку мог сказать: «От крахмала только воротнички стоят!» (Тогда ходила мода на жёсткие накрахмаленные воротнички). Любил весело признаваться: «Цыган люблю и цыганщину люблю!». Само собой, играл на гитаре — азартно, артистично «Цыганочку с выходом», «Соколовский хор у «Яра»... Аккомпанировал романсам матери, самозабвенно плясал, а вот петь совершенно не пел. Активно не переносил томно-манерного Вертинского, зато хохотал над рассказами Зощенко в исполнении Хенкина, а позже — читая «Василия Тёркина».

А про меня, абсолютно белобрысого и голубоглазого бутуза, не стесняясь, неоднократно вслух заявлял: «Это не мой сын! У нас таких в роду никогда не было.» Тут Володя, напоминая мне это, был абсолютно прав. Действительно, я в семье и среди известных предков «генетически» всегда выглядел в стае

белым галчонком. Чёрт его знает, почему, никто из родни этого явления объяснить не мог. А сам я тем более. Да и по характеру у меня с отцом, честно сказать, общего ничего не просматривается. Даже портретное сходство можно увидеть только при о-очень большом желании.

Всё это выглядит странно, если не считать одинаковой страсти к охоте. Определившей многое в жизненных судьбах обоих.

Сам я молодого отца почти не помню. Ведь и родился-то, когда ему уже исполнилось 35. Чуть ли не самые первые впечатления — как мы летом 1936 года отдыхали в Анапе. Да и то в памяти сохранилось лишь, что он, черноволосый, курчавый, был в белых брюках, белых же парусиновых туфлях (которые чистили зубным порошком) и, гуляя по старинным улочкам, то и дело нырял в прохладные винные погребки, сводил меня, держа за ручку, по тесным каменным ступенькам. На улицах мы изнывали от знойного черноморского солнца, а в подвальчике охватывала прохлада, и воздух был пропитан кислым запахом молодого виноградного вина Ему, кстати, доходило уже сорок лет. А затем случился довольно длительный перерыв. Ещё позже — у него работа с утра до ночи, война... Такое осталось впечатление, что мы просто почти не виделись. Володька — на пять лет старше — несомненно, знал <u>того</u> отца лучше. Ведь он его, первенца, с ранних лет таскал с собой на рыбалку.

Обычно, вспоминал брат уже в пожилые годы, они отправлялись в субботу вечером после работы. У отца был велосипед, он привязывал к раме пук бамбуковых удочек, обматывал их парусиновой палаткой и на этот свёрток усаживал Володьку. Ездили куда-то за город, на Упу. Тропа тянулась вдоль железнодорожной насыпи, но кое-где её пересекали ручьи, и тогда им приходилось спешиваться, преодолевать эти притоки по рельсовым мостикам; отец вёл велосипед за рога, а Володька со страхом (вода, ему казалось, внизу так далеко!) шагал со шпалы на шпалу, его детского шага еле хватало, чтобы не оступиться. Уже в сумерках они растягивали на луговом берегу свою лёгкую трепетную крышу, собирали сухие коровьи лепёхи для костра. Отец расставлял веер удочек на лещей, заправлял карбидный фонарь для ловли ночью... Я слушал и внутренним взором явственно видел всё, словно собственные воспоминания, как будто сам был с ними. Что это — эффект генетической памяти? Например, И. А. Бунин вполне серьёзно рассказывал, что помнил Севастопольскую оборону, в которой участвовал его отец... ещё до собственной свадьбы, когда будущего писателя, как говорится, и в проекте не было. Сложна человеческая психика. Наверное, помогало мне и впечатление от картины Перова «Рыболов»... Он же, кстати, оставил нам изображение и «Птицеловов».

Но рыбаком Володя так и не стал. И даже вот воспоминания о нашем родителе сохранил какие-то неожиданные. Неужели из-за обиды на «незаконнорожденного»? В 20-е годы семейные дела у нас в стране решались вообще очень легко — в связи с раскрепощением женщины и ниспровержением старой классовой морали. Это тоже надо учитывать, а то Володины обиды очень уж выглядели бы по Фрейду. А я терпеть не могу этого психиатра, который все душевные (духовные!) переживания людей сводил к животным инстинктам, гнездящимся в археологических слоях подкорки. Что-то в его представлениях, безусловно, есть, но ежели <u>всё</u> только от животного... Обидно. А как же тогда дух Божий, который Творец вдохнул (ха, отсюда — <u>вдохновение</u>?) в глиняную куклу Адама? М-да, так о чём это я? Ага, о рыбалке...

Что абсолютно несомненно, это что главным увлечением и страстью деда Михаила с юных лет и буквально до последнего дня была охота. Об этом необходимо рассказать особо.

Откуда у него возникла эта страсть? Я думаю, из самого тульского воздуха. Среди здешнего ремесленного населения охотников водилось множество: и времени и средств на любимую забаву хватало. С ружьями — никаких сложностей; собственные дома с подворьями — собак держи хоть своры, строй голубятни. Ещё в 30-е годы на весеннюю тягу ездили по вечерам... на трамвае: до окраины, и вот они берёзовые перелески да осинники. По своему типу всё это были городские охотнички средней руки, охотничьи утехи являлись для них уж точно не «спортом» и не мясным подспорьем к столу, а просто отрадой вольной русской души. «Охоту тешить — не нужду платить». Исконных представителей этого племени и сегодня можно увидеть на чудесном — опять Перовском! — полотне «Охотники на привале», не случайно одном из самых популярных в русском быту. И аз, грешный, из этого полотна вышел через золотые ворота картинной рамы...

Сезон открывался в Петров день, 12 июля по новому стилю — «фамильный» праздник. Кто мог, добирались и до Калужской губернии, охотились с легашами по тетеревиным выводкам (вспомни «Бежин луг» Тургенева). Затем начинался пролёт дупелей на знаменитых болотах под деревней Лупишки (куда и толстовский Левин выезжал с шомполкой). Но главным сроком считались вальдшнепиные высыпки, с середины сентября.

За вальдшнепами отец обычно отправлялся в тульскую Засеку, давным-давно саженые полосами леса — для защиты от татарских набегов (Куликово поле тоже ведь находится на территории Тульской области). До кордона знакомого лесника в Засеке было 25 вёрст, немалое по тем временам расстояние. 25 вёрст туда, охота и 25 вёрст обратно. Обычно на пару с закадычным дружком Петькой Дьяконовым. Первые годы пеши, а когда малость оперились, то приобрели «колёса» — велосипеды. Уток можно было пострелять и ближе, но утиную охоту они не признавали, считая её деревенской. Вот такие были романтические воззрения. 25 вёрст туда, 25 обратно. Так они ещё иногда и крюк делали! Заезжали в деревню, где девки славились красотой и голосистым пением. Парни молодые, здоровые, заводные...

Охотились, конечно, только с легавыми. Отец любил цитировать, кажется, Бутурлина: «Если вы решили завести охоту и определили на это сто рублей, купите за семьдесят пять собаку, а на остальные ружьё.» Долгие годы в семье жила светло-пегая сука-пойнтер Касатка. О её таланте и всяких чудесных случаях он вспоминал вплоть до старости. Я Касатку не застал, для меня это вполне мифологический персонаж. В мои детские годы у нас в квартире обитала тоже пойнтер, необычного чёрного окраса, Ночка. Папаня, смеясь, любил повторять: «У меня и дети вместе с собаками выросли!»

Больше всего я знаю о его охоте тех лет по его же рассказам, многочисленным, забавно-ироническим, многократно повторявшимся. Как их лесник по часам-ходикам из шомполки жахнул — забыл, что заряжено. Как однажды выскочила пробка из фляги, и водка вылилась в ягдташ, но тот был задубелый от птичьей крови, святая жидкость не протекла, её аккуратно слили вместе с перьями и мусором, маленько отцедили и употребили, пошла за милую душу! Или о Касатке: деревенские бабы не продавали охотникам молока из-за приметы: собака полакает, и корова перестанет доить. Но Касатка была обучена разным цирковым собачьим фокусам, они с Петькой устраивали представление на деревенской улице, Касатка работала серьёзно, как профессиональная артистка, и восхищённые женщины соглашались: «Ну, таким-то можно, сразу видать — учёные!» И много такого разного.

Только о том, как много дичи настреливали, никаких рассказов не было: не это считалось главным. Более того, если, к примеру, легавая начинала увлекаться заячьими набродами, что считалось грехом против английской школы, то старались выскочившего зайца подстрелить и... взяв за задние лапы, хорошенько отходить им собаку! Чтобы поняла. А самого зайца, бывало, повесят на суку — случится обратно идти мимо, так заберёт, а если нет, то и Бог с ним. Вот такие велись нравы. Признаться, я многие из этих отцовских рассказов использовал в своих сочинениях. Но всё это случилось уже много лет позже — и те рассказы и, тем более, сам принялся сочинять.

К середине тридцатых годов стало ясно, что стране не миновать большой войны. Оружейников это касалось в первую очередь, напряжение в производственной жизни стало нарастать с небывалой интенсивностью. Гигантская машина Завода, пыхтя, скрипя и громыхая, раскручивалась всё быстрее, порой казалось, в разнос. Как раз в это время М. Н. Петров был поставлен из начальников цеха в начальники производства всего тульского Оружейного, а затем ещё выше, на должность главного технолога. К должности прилагалась новая квартира в «элитном», как теперь сказали бы, доме на главной улице и персональный автомобиль. Машина досталась оригинальная — форд «восьмёрка» (восемь цилиндров!) полуспортивного класса. То есть, спереди имелось два сиденья под брезентовой крышей, а сзади вроде покатый багажник, но когда откидывалась его крышка, образовывался кожаный диван на трёх пассажиров с высокой спинкой. Колёса у этой «восьмёрки» были на спицах, а мощь по тем временам невероятная. Московское шоссе за городом раскачивалось волнами с холма на холм, будто по гигантской синусоиде... (Хм, это я специально для тебя-технаря выдал такое сравненьице — ничё, а?). На затяжном подъёме-тянигусе «эмки» и «полуторки» долго старательно пыхтят, а наша блоха вы-

летает на вершину — на спидометре «160»! Водил машину сам отец.

Вот только сгонять на ней на охоту ему уже почти не доставалось: стало некогда. Помню, однажды летом на выходной он вывез нас под Крапивну. Мать сидела впереди рядом с водителем, вела себя нервно, то и дело испуганно ахала и почти хватала его за руки, а мы с братом прохлаждались вольным ветерком на заднем диване. На месте отец пытался рыбачить, мы купались... А ещё помню жутковатый рассказ, что где-то тут рядом расположен в лесу «Кудеяров колодец», какое-то таинственное место, связанное с легендарным Кудеяром. Тем самым, о котором поётся в песне: «Жили двенадцать разбойников, был атаман Кудеяр. Много разбойнички пролили крови честных християн.» А вдруг они ещё бродят где-то в тёмных липовых лесах?..

Но катались мы на этой «восьмёрке» и обитали в аристократической квартире недолго: отца арестовали. В ту самую знаменитую пору «ежовщины», по трагически знаменитой 58-й антисоветской статье. И эта страница истории страны вписалась в его биографию едва не некрологом в черной рамке.

Как арестовывали, я не видел: дело было летом, перед школой я отдыхал в загородном детском лагере. А вот что увидел, вернувшись, — полный разгром и хаос в квартире. Вещи разбросаны, матрац дивана валялся на полу вверх пружинами, под ногами книги, беспорядочно разбросаны какие-то листы бумаги. Это были последствия обыска, учинённого работниками НКВД. Я долго представлял, что отца именно из квартиры и увели. Лишь в 90-е годы Володя рассказал, что отца взяли прямо в служебном кабинете, в белой рубахе, в которой он долго находился и в камере. Конечно, брат этого тоже видеть не мог, но всё-таки был старше, всякие свидетельства происшедшего воспринимал взрослее. Разговор же у нас возник в связи с одним досадным инцидентом.

Уже много позже, после смерти деда Михаила, мать призналась мне, что Володька после его ареста бросил горькую реплику: «Эх, никогда не думал, что наш папа шпион!..» Меня она потрясла своей драматичностью, так и представил себе картину: его уводят двое в синих фуражках и гимнастёрках с портупеями, кобурами на поясах, а сын-пятиклассник бросает в спину слова, от которых отец почувствовал холодок между лопатками. Так я позже и написал в одном рассказе. Он попал на глаза Володьке и вызвал *у* него страшное возмущение. На старости лет мы чуть не рассорились навсегда.

После напряжённого семейного расследования было установлено, что брат тоже при аресте присутствовать не мог не только в квартире, но и в городе: он находился в пионерском лагере. Но трагическую реплику я не придумал, даю честное слово! Только что она была брошена позже. А он — и его можно понять — хотел вообще вычеркнуть её из памяти. Я пытался объяснить, что дело не в его личном поступке — ну что взять с пятиклассника, а в трагедии исторической ситуации: многие, если не большинство, верили, что «органы» справедливо карают отщепенцев, на митингах требовали беспощадной расправы над ними. Ведь всего несколько лет назад партия, страна расправились с кулаками в деревне, вот те из них, кто уцелел после классового разгрома, затаились, пробрались на разные должности и продолжают борьбу тихой сапой вредительства. Об этом сообщали газеты, писались рассказы, снимали кино. И люди верили, поддерживали! Что ж удивляться, если сознательный советский пионер (именно в возрасте Павлика Морозова) воспринимал события, как и все?

Но мои оправдания-увещевания звучали как будто в пустоте заброшенного каменного замка, витая от одной стены до другой: история — да, пусть остаётся такой, как была. Но лично я чист, не принимаю на себя никаких, даже малейших, подозрений. На том стоял брат. А ты, сопляк (это я), что мог знать, что видел? Короче, возникла довольно... типичная ситуация среди постаревших очевидцев-ветеранов. Увы, ссорятся они, вспоминая прежние события, яростно и отчаянно: история историей, но каждому кажется, что он помнит лучше всех и что его участие значительнее, чем прочих. Вплоть до того: «Да что ты мог видеть на войне, что понимал, рядовой солдатик, сидел в окопе, небо казалось с овчинку! А теперь рассуждаешь за целый фронт. Вот я — в штабе...» Живые люди, у каждого своя судьба, своя память. И своя правда.

А что касается того ареста, у меня в семейном архиве обнаружился документ — этакая небольшенькая серая справочка на бланке дирекции Т.О.З., удостоверявшая, что Петров М.Н. состоял в должности главного технолога завода с окладом 1600 рублей и уволен 30 июля 1938 года «за прогул без уважительных причин». Вот так-то! Причина действительно была неуважительная, но

надо отдать должное составителям документа: ведь могли бы написать «в связи с арестом как врага народа». Что-то кадровиков от этой формулировки удержало.

Дальнейшие события развивались обычным для тех времён порядком. Из квартиры нас выселили, семью врага народа приняла сестра матери тётя Женя, которая попрежнему обитала, уже со своей семьёй, в родительском полукаменном доме в тихом переулке у заводского пустыря. Ещё была жива их мать, бабушка Катя «Большая», Екатерина Тихоновна, старуха грузная (про таких говорили: «квашня»), уже полуслепая и очень богомольная. Общаться с ней мне было неинтересно. Однако именно она уговорила меня, уже после первого класса школы, пойти с нею в церковь креститься.

«А то, — стращала, — антихрист тебя под трамвай затащит...» Я воспринимал угрозу несерьёзно: пытался представить, где этот злодей под вагоном помещается, и недоумённо пожимал плечами. Однако в церковь пойти согласился, тем более бабушка Катя «Большая» посулила купить самого дорогого мороженого. Из песни слова не выкинешь... А за её тихое миссионерство я благодарен бабушке Екатерине Тихоновне по гроб жизни.

В школу я пошёл без отца. И учился, надо заметить, безобразно. О нём, вообще, напоминало лишь то, что мы с матерью несколько раз ходили к тюрьме — носили передачи. Помню скорбную очередь тёмных лицами и одеждами женщин перед высоченными металлическими воротами, мрачными, как ворота гамлетовского замка Эльсинор.

О непосредственных причинах ареста я узнал всего несколько лет назад, тоже от брата Володи. Он рассказал, что поводом послужил реальный донос в НКВД, написанный... лучшим другом молодости, тем самым Петькой Дьяконовым. По Володиной версии того к доносу подвигнула элементарная человеческая зависть. Когда-то они вместе работали мастерами, но потом отец стал расти, достиг вершин в заводской иерархии, престижной квартиры, персональной машины, оклада в 1600 рэ. А Дьяконов так и оставался мастером, «Петькой». Вот он и подметнул писулю о разных высказываниях приятеля, особенно про жизнь рабочих в буржуазной Англии.

Отцу донос показали, требовали признаний в содеянном, и хорошо ещё, что не дошло до обвинений в шпионаже в пользу английской разведки, шили только антисоветскую пропаганду. Требовали «с пристрастием». Но он ничего не признал и не подписал. И этим спас себя от худшего: кто не устоял и подписывал, тут же получал лагерный срок или знаменитые «десять лет без права переписки». Вот так представишь себе: а вдруг бы он не устоял? Ужас... Что бы его ждало? И какая судьба сложилась бы для всех нас? И куда бы повернула в том числе моя биография. Совершенно невозможно и предположить. Но он всё тянул, тянул и... Тут его жизнь снова непосредственно пересеклась с очередным зигзагом в истории государства.

Ветерок задул с другой стороны: разгул «ежовщины» ввиду её явной угрозы для безопасности страны в преддверии близких испытаний был приостановлен. Самого «железного наркома» (человечишко был — ростом метр с шапкой) расстреляли, его место занял Берия. В докладе на ХУШ съезде ВКП(б) в 1939 году Жданов раскритиковал партийных работников, которым всюду мерещатся «враги, вражины и вражата». Кое-кого стали из тюрем выпускать. Деду Михаилу повезло ещё и в том отношении, что следствие по его делу к этому моменту не было завершено и не попало на стол для скорого решения «тройки». И его — тоже справочка, выданная управлением НКВД — «освободили из-под стражи в связи с прекращением дела». То есть не оправдали и не реабилитировали, а просто поступило указание: прекратить.

Он пришёл из тюрьмы зимней февральской ночью 1940 года. Осторожно постучал в ставню окна нашего первого этажа. Мать вскочила с кровати, сдавленно: «Миша?!» Я, полусонный, оказался у него на руках; помню, он был весь тёмный, стриженый, его жёстко-небритая щека царапала мою кожицу. Я тут же снова бессовестно уснул. А Володьку среди ночи послали обежать самых близких друзей, все собрались, и он до утра рассказывал...

На следующий день они с Володей поехали к Петьке Дьяконову. Тот жил в Заречье, в большом собственном доме с усадьбой и садом. Отец, будто бы, вошёл без стука, посмотрел на дружка-иуду долгим взглядом и развернулся, не проронив ни слова. Так эпизод запомнился брату.

Есть в этой драматической истории один момент, непосредственно характеризующий личность и психологию деда Михаила и абсолютно непостижимый для меня до сих пор. Только представь себе: все забавные рассказы об их охотничьих приключениях он поведал мне уже в послевоенные годы — подсмеиваясь,

беззаботно и светло. И всюду фигурировал дружок Петька Дьяконов — ни намёка, ни легчайшей тени на характере их последующих отношений! Тем более, никаких признаний, что друг его предал, засадил в тюрьму, из которой он вырвался благодаря чуду, едва не сломал всю жизнь. Повторяю: о предательстве я узнал лишь десятилетия спустя после смерти отца. Не способен я такое постичь до сих пор. Умом, конечно, можно найти какое-то объяснение», но... Лёгкость, отходчивость сангвиника? Неужели до такой степени?! Уж во всяком случае им руководил не страх: к тому времени и XX съезд партии прошёл с громами, молниями и выносом гроба Сталина из мавзолея, вернулись из лагерей многие реабилитированные, стало модно разоблачать стукачей. Нет, он вспоминал шутейно лишь забавные приключения молодости... Это — характер. А какой — определяй сам.

Вскоре после его освобождения в областной газете «Коммунар» опубликовали сообщение о восстановлении в партии ряда коммунистов; в заметке перечислялось двенадцать фамилий, среди них М. Н. Петров. Им с матерью дали путёвки для отдыха в Сочи аж на два месяца (в это время бабушка Катя «Большая» меня и окрестила). Квартиру, правда, не вернули. Но она и не понадобилась в связи с переводом на работу в Загорск. Это городок под Москвой, ныне снова называется историческим именем Сергиев Посад — по святыне нашей православной, Троице-Сергиевой лавре.

Покидать родную Тулу?.. Но в его тогдашнем положении даже тени колебаний нельзя было проявить. Весной они уехали с Володькой, временно поселились на новом месте в заводском общежитии. Кажется, в августе и мы с мамой, взгромоздив скарб на грузовик, за день преодолели 170 километров до столицы (отдыхали в Серпухове), пересекли всю Москву и ещё проехали 72 километра к северу по Ярославскому шоссе. В неведомый Загорск, в пахнущую масляной краской только что сданную строителями квартиру на втором этаже дома, наскоро сложенного из деревянного бруса. Этот переезд был связан тоже с одной из драматических страниц в истории нашего государства.

К маю 1940 года уже никто не сомневался, что военная гроза грянет неотвратимо и скоро. Страна лихорадочно готовилась к ней, преодолевая провалы и неразбериху там и здесь. Неразбериха была следствием массовых репрессий конца 30-х годов в промышленности, армии, в кадрах партийных и советских управленцев. Всё это в общем масштабе теперь известно. Я хочу проиллюстрировать ситуацию на примере одной, но очень важной отрасли — производстве стрелкового оружия для Красной армии. Не только по отцовским рассказам, но и свидетельствам авторитетных источников.

В 30-х годах Красная армия начала решительное техническое перевооружение. Замнаркома обороны Тухачевский, как бы ни относиться к этой сложной исторической личности, всячески продвигал идеи военно-технического прогресса. Военный интеллигент, он, конечно, видел ограниченность и безграмотность своего тогдашнего начальника Ворошилова и не всегда мог удержаться от язвительных замечаний в его адрес, они не любили друг друга. Но дело, в общем, подвигалось. Командующий округом Уборевич уже создавал первые танковые корпуса, быстро развивалась авиация. В войска поступало новое современное оружие: АВС (автоматическая винтовка Симонова, 1936 г.), СВТ (самозарядная Токарева, 1938 г.), пулемёт ДС (Дегтярёв станковый, 1939 г.), ПТР (противотанковое ружьё Рукавишникова, 1939 г.).

Однако по драматическому стечению обстоятельств или по чьей-то глупости, сложилось так, что к началу Великой Отечественной ни один из этих видов оружия не выпускался! И началась катавасия: вместо АВС и СВТ в Ижевске и Туле спешно восстанавливали производство Мосинских трёхлинеек «образца 91-го дробь 30-го». Вместо станкового Дегтярёвского вернулись к максиму, а он насчитывал в конструкции 282 детали (для сравнения: Дегтярёв пехотный — всего 43 детали). Доходило просто до абсурда! В начале 1941-го сняли с производства ПТР, а заодно и 45-миллиметровую пушку-«сорокопятку»: военные посчитали, что танки у противника будут иметь броню, непробиваемую подобными средствами. И грубо ошиблись. В 1940-м прекратили выпуск пистолета-пулемёта Дегтярёва, а производство ППШ только собирались налаживать... Обо всём этом можно прочитать в воспоминаниях маршала Жукова и первого зама наркома вооружений В. Н. Новикова. К слову, о самом наркомате.

Наркомом вооружений перед войной был Б. Л. Ванников. Но его арестовали. Когда в 70-х годах я работал в газете «Известия», мне довелось много раз беседовать с нашим же сотрудником Германом Устиновым,

племянником Д. Ф. Устинова. Этот Гера писал книгу в серию «ЖЗЛ» о наркоме Ванникове и даже ходил на приём к Косыгину, просил его дать для своей книги вступительную статью. Так вот Ванников сидел в камере-одиночке, когда к нему явился работник ЦК и предложил написать свои соображения по перестройке работы отрасли в случае войны с... Германией. Предложение выглядело чистой провокацией, так как до ареста Ванникова все разговоры о войне с Германией пресекались самым решительным образом. Даже в сводках ГРУ Генштаба его работники трусливо старались избегать слишком настойчивых упоминаний о фактах опасных приготовлений наших «заклятых друзей» по пресловутому пакту о ненападении. Ванников, конечно, сомневался, но план, который просили, сидя в камере, составил и передал охраннику.

А вскоре его вызвали, побрили, помыли, переодели и привезли ...в кабинет Сталина. Тот сказал: «Я ознакомился с вашими предложениями. Что ж, война уже идёт. Так что выполняйте. А кто старое помянет, тому глаз вон.» И Ванников вышел из кабинета снова в должности наркома. Только не вооружений, а боеприпасов. Ибо наркомат уже поделили на два. Именно этому наркомату-министерству поручат через несколько лет производство атомной бомбы — так сказать, в соответствии с «профилем». А Ванников стал членом соответствующей государственной комиссии.

Наркомом же вооружений — за две недели до начала войны! — был назначен Д.Ф.Устинов, ему к тому времени исполнилось 32 года. Как рассказывал Гера Устинов, заняв кабинет, Дмитрий Фёдорович первым делом изъял из сейфа Ванникова подготовленный предшественником приказ о своём, Устинова, увольнении с должности директора Сестрорецкого завода... Первым замом Устинова уже в июле 1941 года стал 33-летний В. Н. Новиков, переехавший в Москву с должности директора ижевского Механического завода. Всю войну они и управляли промышленностью вооружений.

Ну, и теперь на фоне общей ситуации несколько слов о том деле, на которое бросили твоего деда весной 1940 года. Его назначили сперва начальником производства, а вскоре — главным инженером завода, на который возлагалась задача обеспечить Красную армию автоматами ППШ, только что принятыми на вооружение. Я уже писал: автомат Дегтярёва был несколько лучше по боевым свойствам, но пистолет-пулемёт Шпагина превосходил всё, что было до него (и вообще в мире) по технологичности изготовления! Чуть ли не весь из штамповки и точечной сварки. Наверное, такое и придумать мог только самоучка (Шпагин был слесарем в экспериментальной мастерской Дегтярёва), а не воспитанный на канонах инженер.

Ванников ещё сидел в своей бетонной одиночке, Устинова пока не назначили. Отрасль, от которой зависело обеспечение армии стрелковым оружием, артиллерией, оптикой, боеприпасами, оставалась без головы. Решение о судьбе ППШ принимал замнаркома И. А. Барсуков. В. Н. Новиков вспоминал: за Барсуковым водилась любимая поговорка: «Если мы, мужики, этого вопроса не решим, нам тюрьма!» То есть, не в каком-то иносказательном смысле, а в самом прямом: туда же, к Ванникову. Но молодые подчинённые только переглядывались с усмешечками: вот, мол, опять... Барсуков и предложил наладить выпуск ППШ в Загорске, на местном скобяном заводике, клепавшем до того замки, дверные ручки, шпингалеты и прочий ширпотреб. В Загорск собрали лучших специалистов, в том числе из Коврова привезли самого конструктора автомата Г. С. Шпагина. Задача была поставлена невероятной сложности — «иначе нам, мужики, тюрьма...» Так что работали день и ночь без выходных и проходных. К тому же, в июне 1940-го вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР: шестидневка отменялась — переходили на семидневную неделю, рабочий день увеличивался, за самовольный уход с работы и опоздания — под суд.

Я всё это к тому, что и после возвращения отца из тюрьмы, после переезда в Загорск, я его по-прежнему почти не видел и не знал. Он не покидал завод сутками. Но в результате через год, в мае 1941 года, первая партия ППШ ушла в войска... А уже в сентябре первые эшелоны с заводским оборудованием отправились в эвакуацию, в октябре производство было полностью остановлено.

Эшелоны везли на восток станки, оснастку, незавершёнку, металл, котельную, провода, сантехнику, рабочих, их семьи, всякую «бытовку» для первичного обустройства. Прибывших расселяли в бараки, выросшие за два месяца: комната на семью, а то и на две. Применяли и метод административного уплотнения — в частное жильё местного населения. Эшелоны ползли через Ярославль-Пермь-Свердловск, разворачиваясь на Урале назад на Казань и Вятку: такова была ситуация на

железных дорогах. Ведь в эти самые дни сложилось просто отчаянное положение в сражении за Москву.

Как обосновывались на новом месте — в городке Вятские Поляны, как трудно начинали («Станки стояли прямо на ветру...») — об этом я тоже писал. Поражает официальная цифра: весь перерыв в производстве ППШ составил лишь 45 дней. А ведь эшелоны только в пути находились по две недели. В конце ноября первая партия оружия ушла на фронт уже с берегов Вятки.

А в Коврове в эти дни и ночи лихорадочно восстанавливали выпуск противотанковых ружей и отправляли их под Москву «с ещё тёплыми стволами». А в Ижевске увеличивали производство трёхлинеек и довели его — трудно представить! — до 12 тысяч в сутки. А в Туле... Но о Туле я расскажу чуть позже.

Конечно это был подвиг, и совершали его тысячи простых людей. Мог ли я удержаться, чтобы хоть в нескольких словах не упомянуть про него, взявшись рассказывать о биографии одного из участников тех событий? Вот почему, дорогой Серёжа, выполняя твой заказ, я то и дело сбиваюсь на «историю в картинках» Но иначе не понять, чем и как жил человек, мотивы его поведения и конкретных поступков. Впрочем, если тебе эти отступления покажутся неинтересными, просто пробегай их «по диагонали». А мне важно высказать всё, что помню, о чём много думалось, что вновь всколыхнуло душу. Вот опять не могу удержаться, чтобы не отступить от плана, — хочу в низком поклоне проститься с нашей родовой отчиной. «Тула, Тула, это я, Тула родина моя...»

Но сперва отступление сентиментальное. Тула в годы отцовской молодости была яблочным краем. Ведро — точнее, «мера», то есть ведро в 12 литров — местных грушовок, анисовых, коричневок (так называли в обиходе сорт «коричное») стоило дешевле ведра картошки! Особой всенародной любовью пользовались знаменитые антоновки. Это яблоко зимнее, то есть, долежав в корзине под кроватью до января, становилось жёлто-медовым с виду и совершенно невероятным по аромату. Таким, что, как бы это сказать, всякому хотелось как-нибудь отреагировать, что-то эдакое сделать, чтобы излить впечатление. Один просто выронит «М-даа...», И. А. Бунин написал гениальную русскую прозу — рассказ «Антоновские яблоки», а папаня — он мне позже поведал такой эпизод.

Кто-то привёз из Москвы в Поляны несколько настоящих антоновок. Он положил одно яблоко в ящик стола в рабочем кабинете, Заходит человек к главному инженеру — война, запарки, разборки на инфарктном уровне... И вдруг начинает крутить носом, недоумённо озираться. Ага, то-то же! А вот теперь смотри, и Михаил Николаевич, просияв, извлекал из ящика драгоценную антоновку. Дыхание мирной довоенной жизни распространялось по всему кабинету. Две минуты они молчали, блаженные улыбки бродили на лицах. Затем волшебное яблоко убиралось обратно в стол — «Ну, что там у вас в штамповочном, давай разбираться...»

А Тула осенью 1941-го оказалась во фронтовой зоне. Более того, наши регулярные войска её покинули. В городе остались сформированный на заводе рабочий полк, часть НКВД и зенитная артиллерия. Они и встретили на окраине города танки Гудериана, южную клешню окружавших столицу немцев. К вечеру весь полк полёг, но танки в город не пропустили.

Судя по всему, немецкое командование, оценив обстановку, было настолько уверено в исходе дела, что решило просто передохнуть и спокойно вступить в обескровленный город утром — засветло, без лишних сложностей. Но среди ночи первый секретарь обкома Жаворонков позвонил Сталину и сказал: «Больше мы не выдержим...» — «А разве вы ещё стоите? — спросил Верховный главнокомандующий. — Хорошо, мы распорядимся.» И под утро части регулярной армии были возвращены в город. Тулу немцы так и не взяли, хотя почти окружили её и углубились дальше на восток, заняли Калугу. Именно Тула и Смоленск больше всего, вместе с Севастополем, заслужили в 41-м звание Городов-Героев. А присвоили его Киеву, под которым была окружена и уничтожена крупнейшая группировка Красной армии. Справедливость восторжествовала лишь через тридцать лет после окончания войны.

Что я могу рассказать об отце в те годы? Не видел я его почти, вот какая штука. Установленный рабочий день был 12 часов, а руководство вообще из цехов не вылезало. Зато производство было отлажено так, что по официальным сведениям только Вятско-Полянский завод дал армии два миллиона ППШ — больше, чем изготовили автоматов все заводы Германии.

Это я опять отвлёкся в историю, а хотел сказать о том, что никакого отцовского

воспитания мне в детские годы почувствовать, вроде как, и не довелось. Вот такая биография.

А материнское? Тоже как-то не очень. Маму я любил, особенно её пироги, которые она пекла просто божественные. И как пела, хотя и то, и другое случалось довольно редко. Немножко она была нервная, но в детские годы это легко переносится, ещё не превратившись в хронические предубеждения. Я звал её «мутти» — ласковым от немецкого «муттер» (очень увлекался немецким языком).

Мельком уже упоминал, что она употребляла много народных присловий и всяких образных оборотов. Теперь подобный тип речи, во всяком случае, в городах, как-то ушёл из обихода — появилось много иного: слэнгового, бюрократизмов, про иностранное помешательство и говорить не хочу. Время другое — песни другие. Вот сейчас пишу, и сам над собой потешаюсь. Мутти с утра замечает, что у меня капризное настроение, бросает в шутку: «Что губы-то отквасил, не с той ноги встал что ли?» Я молчу, дуюсь, а сам вдруг сердито думаю: а с какой, правда, ноги я сегодня поднимался с кровати? А обычно какую первую опускаю и сую в тапок? Не могу точно ответить, как-то не замечал. Чего же она тогда спрашивает?..»

Между прочим, твоя баба Дуся всегда, и в молодые годы, была довольно религиозной, что в ту пору приходилось скрывать. Но все главные православные праздники помнила, чтила и отмечала куличами, печенюшками-«жаворонками» на Благовещенье, поминала соответствующие приметы и поговорки, даже пыталась поститься и нам готовила постную лапшу с жареным луком. Икон, правда, в доме не водилось; отец к её религиозности относился иронически-терпимо, однако явных примет культа в семье в силу своего положения позволить не мог. Да она и сама это понимала.

О, вдруг вспомнился необычный эпизод: однажды отец провёл меня по заводу. Мама пожаловалась, что мне приходится всякий раз часами стоять в очереди в городскую баню, жаль меньшого. Да, кажется, ещё и спалили что-то из одёжи в жарилке, куда все помывщики обязаны были сдавать узлы с бельём на предмет обработки от вшей, и он повёл меня, бросив охраннику в проходной: «Это со мной...» — в заводскую ТЭЦ, где для работников имелся душ с горячей водой. Мы вымылись и на обратном пути прошли по цехам. Везде гудело и крутилось, смачно плюхали штамповочные прессы, пахло горячим металлом и машинным маслом. Особенно запомнились мне токарно-копировальные станки: в суппорте горизонтально закреплена как бы ложа автомата, но из блестящего металла, а параллельно ей крутится вокруг собственной оси берёзовая ложболванка, и резец, копируя металлическую модель, слой за слоем снимает деревянную стружку, высвобождая из «полена» контуры рождающейся на глазах ложи с прикладом.

«А где мастер?» — спросил главный инженер кого-то из рабочих. — «Да вон там в закутке отсыпается, трое суток из цеха не выходил,» — кивнул тот в какой-то угол. Папаня, кажется, набрал воздуху, чтобы, как положено, наорать, да и с матюками (это у них было в обычае вплоть до наркома и выше), но... только махнул рукой, и мы пошли дальше. Наверное, меня постеснялся, так я уже тогда почувствовал с некоторым смущением.

А директор завода Виталий Иванович Исаков в 1945 году умер от инфаркта (в те поры говорили: «разрыв сердца»). Если я не ошибаюсь, не дожив до пятидесяти.

К концу войны в орденской книжке М. Н. Петрова значились не только гражданские ордена «Знак почёта», «Трудовое Красное знамя», но и боевые награды, о которых ты спрашивал во время нашего разговора 9 Мая. Вот и суди теперь сам, по делу были даны или нет. Они и сегодня хранятся у меня в заветной шкатулке.

Честно вспомню и об одной пикантной детали: к Шпагину отец относился... скажем так, ревниво. Простой работяга — и вдруг стал прославленным изобретателем, лауреатом Сталинской премии, Героем соцтруда, депутатом Верховного Совета. У исполнителей чьих-то творческих идей к их авторам отношение всегда сложное. У строителей к архитекторам («Взял и нарисовал... А ты построй!»), у музыкантов — к композиторам («Да я бы тоже смог, только всё как-то некогда заняться...»). Особенно, когда «пророк» — вот он, рядом, ну, ничем-то не отличается — чего в нём особенного? К тому же, отец и Шпагин были одногодки. То ли дело сам генерал Дегтярёв, тоже чулковский казюк, так ведь на 12 лет старше! Или уважаемый старик Ф.В.Токарев, тот вообще из другого поколения, разница в 26 лет... Короче, обычная человеческая психология со всеми её бытовыми мелочами. В личных товарищеских отношениях это ни в чём не проявлялось, но

в тайных закоулках души шевелилось и поскрёбывало. Такое у меня осталось ощущение. И это тоже — характер.

Только в конце войны они начали позволять себе изредка расслабиться от хронической усталости — стали выезжать на охоту. Охотниками были все: директор Исаков, Шпагин, парторг Цуканов и, разумеется, Михаил Николаевич, и все не просто легкомысленные прогулочники-шашлычники, как многие нынешние, а истинные кровные «заядлые». Вот тут-то я, юный стрелец, и увидел их всех близко, в непринуждённой мужской-товарищеской обстановке. Можно было бы даже начать это повествование с оригинальной броской фразы: «Со своим отцом я познакомился поздно, в возрасте...» Но ты, наверное, заметил, что я стараюсь избегать в изложении записных литературных приёмов, — чтобы текст не приобрёл отчуждённо-официальной тональности. Да, и произошло это, как бы сказать, знакомство именно на охоте. Ему в то время подходило к пятидесяти, мне исполнилось 11 — 12 лет.

Прежде всего, он подарил мне первое ружьё. То была лёгкая берданочка 28 калибра с винтовочным затвором. На заводе её подремонтировали, затвор отхромировали, ложу полакировали — ружьецо выглядело хоть куда. Вот только по дичи я из него стрелял редко. Не по причине, что дичи не попадалось, а потому что... Вот бреду рядом с отцом, обычно на шаг-другой позади, вдруг взлетает птица — я вскидываю свою берданочку и... не стреляю — жду его выстрела. Не знаю, почему. Не созрел ещё. Он палит, по том оборачивается и ругает меня: «Что ты опять?! У тебя ружьё в руках или мешалка!» А я ничего не мог с собой поделать.

Через год на смену берданке появилась курковая ижевская одностволка 16 калибра модели ИЖ-БК (с ироническим прозвищем «ИЖ-бяка»). У неё был довольно длинный ствол, а на карболитовом затыльнике оттиск рогатой оленьей головы. Начитанный юноша, несколько романтический, я назвал свою «ИЖ-бяку» «Оленебоем» — как у знаменитого охотника из романов Фенимора Купера.

В совместных походах я жадно впитывал рассказы о Туле, об охоте и рыбалке, о семейных преданиях. Именно тогда узнал многочисленные истории о разных приключениях с дружком молодости Петькой Дьяконовым. И — повторю — ни слова, ни полнамёка о его предательстве. Как оказалось с годами, многое из воспринятого тогда незаметно проникло в глубины моей души, стало как бы собственными взглядами и пристрастиями. Примеров тому я обнаруживал со временем всё больше. Это влияние на формирующийся характер, мировосприятие, поведение было таким же естественным, как... Как климат, географическая среда, окружающая природа воздействуют на формирование национальных особенностей разных народов. То же происходит и в нашей личной жизни

Лесная вятская земля — не южно-русское тульское подстепье, но он и на Вятке сохранял пристрастия, запавшие с молодости. Они передались мне. Году в 1946 у нас появилась собака — английский сеттер Лора, привезённая аж из Москвы. И мы стали ездить не только на утиные озёра, но и в лес по тетеревиным выводкам и вальдшнепам на пролёте.

Помню, прекрасным сентябрьским днём, находившись с Лорой по золотым осиновым куртинам за Вяткой, мы среди дня устроились у костерка отдохнуть, пили чай «с дымком», тихо наслаждаясь музыкой русской золотой осени. Ей-Богу, наши сердца в тот момент млели абсолютно созвучными чувствами. Красота окружающего мира, удачная охота, полная гармония между нами... В этот момент вверху дохнул лёгкий ветерок, листва на осине ожила, затрепетала, обильно посыпалась с ветвей. И надо же, один листок, причудливо играя в воздухе, угодил прямо к нам в котелок с чаем. Мы оба, одинаково улыбаясь, взглянули друг на друга — чувства тоже возникли одинаковые: светлая радость, пожалуй даже ощущение счастья. Ведь надо же, такой подарок! Наверное, не случайный, какой-то в нём есть тайный знак... Я понимаю, теперь всё это звучит сентиментально. Но оно было и запомнилось. И более того, признаюсь: тот листок до сих пор хранится у меня в бумажном конвертике между страниц охотничьего дневника за 1947 год. Конечно, от времени он почернел, на чужой взгляд превратился просто в мусор, и сам — столетний дед — давно позабыл, каким одухотворённым был столько десятилетий назад. А я помню. Такой вот, понимаешь, замшелый романтик. А куда денешься?

Дичи в те годы было много, мне всё это ужасно нравилось и настолько стало моим, что, оказавшись позже в Сибири, я искал в ней вовсе не таёжных приключений, а, как бы сказать, повторения собственной светлой юности: завёл не лайку, а сеттера, мечтал о тетеревах и дупелях. Даже вальдшнепиную тягу

нашёл на Тоболе и Енисее. Ну, кто у нас тут ездит на тягу? По сибирским представлениям — интеллигентская забава, да и водятся ли тут вообще эти книжные вальдшнепы. Я нашёл — водятся, тянут весной. Да только не в парковых подмосковных рощах, а в глухих ельниках. Где в эту пору, увы, самый разгул зловредных клещей. Но я ездил — почти что с риском для жизни.

А велосипед! Наслушавшись рассказов, как они с Петькой Дьяконовым «25 вёрст в Засеку и обратно», тоже стал предпринимать путешествия на двух колёсах в дальние края. Тридцать километров за Вятку на лесной кордон, что на речке Казанке. Это были счастливые поездки: вечером настоящая тяга, на рассвете — глухариный ток. На велосипеде я попервости разъезжал и в Сибири, на сказочно красивое и богатое рыбой озеро Боброво, на глухариные тока... О глухарях надо сказать особо.

В Туле глухарей не было, и опыта такого отец не имел. Но очень загорелся, когда кто-то рассказал ему, что в бору за Вяткой, если пройти целых девять километров пеши по лесной колее (мне тогда это казалось невероятно далёким), лежало заповедное урочище с прямо-таки символическим названием — Исток. И где-то в тех местах токовали настоящие легендарные глухари. Мы отправились туда вдвоём после первомайской демонстрации.

В бору ещё дремали хмурые сохранившиеся пласты снега, но земля уже оттаяла, глубоко вздохнула и наполнила лесной воздух такими необыкновенными живыми ароматами! По дороге попался большой муравейник, насекомины на его макушке вяло клубились рыхлой коричневой шубой. Отец воскликнул: «О! Подожди-ка... — подошёл, ворохнул ладонью эту рыхлую шубу — мураши оживились, засуетились. Он поднёс ладонь горстью к носу и вдохнул, глаза озорные. — Вот мозги-то прочищает! Попробуй, не бойся, они сейчас не кусаются». Я с опаской тоже коснулся ладошкой мурашей, поднёс её к лицу — в нос так шибануло остропряным духом муравьиного спирта, что я чуть не поперхнулся. А подробно описываю сейчас этот эпизод потому, что хочу тебе, Серёжа, напомнить: и мы с тобой ходили весной на глухариный ток, и я показывал тебе эту муравьиную забаву. Что-то в нашей жизни повторяется.

Были мне у того Истока и первые тревожащие душу глухариные песни, и пара вальдшнепов прохоркала прямо над нашим станом. Как вскочил, услышав их, как возбудился папаня! Но было и другое. Ему ведь не доводилось ночевать в диком лесу в пору, когда вокруг виднеется снег. После заката стало заметно подмораживать, мокрая прелая листва захрустела под сапогами. Он испугался, что ночью мы пристынем, задумал костёр побольше и натаскал целую кучу... берёзовых повалин. Не знал, что не бывает в лесу берёзового сушняка, всегда эта древесина внутри трухлявая и волглая.

Морозец всё откровеннее вострил зубы, а костёр наш только дымил и чадил, не думая делиться теплом. Папуля уложил меня ближе к огню, сам пристроился за моей спиной и грел сынишку собственным теплом. Сверху мы укрылись стёганой телогрейкой. Хило попыхивал костёр, однако нашлась искра, которая упала-таки на стегашку, вата принялась дымить. Проснувшись от едкого газа, мы принялись кое-как тушить тлеющую телогрейку. Куда там! Вроде, с одного края перестало — снова шает с другого, где, казалось, огонь уже победили... Кончилось тем, что на спине выгорела огромная круглая дыра, так что и рюкзак не мог всю прикрыть. Пришлось известному в городе человеку, Михаилу Николаевичу, возвращаться по улицам в телогрейке с этой дырой на спине — на потеху прохожих, особенно знакомых.

Что ещё рассказать? О самом охотничьем воспитании. Уж чего-чего, а стремления набить как можно больше дичи, я за ним никогда не замечал. Охота — как отрада души, некое поэтическое состояние, вот что я видел. Любил весёлые охотничьи компании, фляжку и песни хором вокруг костра — всё это входило в его понятие охоты наравне с красивыми выстрелами и удачными зорями. Он и стихи порой цитировал! «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора...», «Кто же охоты собачьей не любит, тот свою душу заспит и погубит!», «Жар свалил, повеяло прохладой, длинный день окончил ряд забот...». Когда только довелось ему их читать?

И, наконец, в молодости он вёл охотничий дневник — где был, с кем, что привёз, какое брал ружьё — заметки чисто технические. Но — писал! Я тот дневник видел в Загорске: по формату вроде блокнот в твёрдых корках, но строчки располагались не поперёк, а вдоль листа, сделанные острым карандашом, угловато-прямым почерком. Кстати, почерк его обманчиво создавал впечатление об авторе, как человеке сухом и чётко-организованном педанте. А блокнот

тот так и пропал в Загорске, мы там много чего оставили, покидая квартиру. Так вот, когда мы стали вместе ходить на охоту в Полянах, он как-то вспомнил про свои заметки и посоветовал мне: «На твоём месте я завёл бы дневник. Это ж не обременительно: дата, несколько строчек, самое главное. А знаешь, как интересно будет после читать!» Я послушался совета и... дневник этот, теперь уже во многих «томах», продолжаю поддерживать более шестидесяти лет. Именно из этих лесных заметок родилась первая моя печатная книжка. Вот куда со временем зашло дело.

А брат Володя ничего этого уже не видел: сразу после войны он уехал учиться в МВТУ имени Баумана, на факультет инженеров стрелкового вооружения. А затем всю жизнь проработал в подмосковном НИИ, который участвовал в конструировании этого оружия. Вот только ни охотником, ни рыбаком так и не стал. И с родителями виделся очень редко.

В 1949 году в судьбе деда Михаила совершился новый крутой поворот, совершенно неожиданный и драматичный. История случилась тёмная, но не запутанная, «компетентные органы» быстро в ней разобрались.

К тому времени на вооружение нашей армии уже стали поступать карабины СКС (с которым и я отбывал свою воинскую службу) и первые «калаши». Я даже помню в газете портрет ефрейтора или сержанта Калашникова — изобретателя, удостоенного Сталинской премии. ППШ продолжали выпускать для вооружения армий братских стран из лагеря народной демократии. И вдруг из одной такой страны стали поступать рекламации: автоматы часто подводят при стрельбе. Сразу возникло подозрение в диверсионной деятельности: дело-то происходило ещё при Сталине. Проследили цепочку от получателя изделий до отправителя, и оказалось... всё совсем просто.

В сборочном цехе завода сговорились трое или четверо руководящих работников (начальник, старший мастер, ОТК) и стали извлекать из ящиков с готовой продукцией уже проверенные автоматы, чтобы заменить у них некоторые детали на бракованные. Заговорщиками руководил наивный меркантильный интерес: за брак в цеху их лишали премий, вот они и придумали просто сократить злополучный процент. Примитивно? Умные же взрослые люди! Я могу предположить только, что они по инерции руководствовались знаменитым и всеобщим принципом недавней поры: «Война всё спишет!»

Жуликов арестовали и осудили. Но порядок требовал наказать и верхнее руководство, таков принцип. Выходные документы на готовую продукцию подписывает главный инженер, стало быть он и виноват, не наладил должного контроля. Слава Богу, политику и вредительство на этот раз участникам дела не «шили». Отцу припаяли строгий выговор по партийной линии, а по служебной сняли с работы. Так бесславно закончилась наша героическая Вятскополянская жизнь. Что было — то было.

Отстранённого от должности главного инженера приказом министра перевели на работу начальником цеха в город Куйбышев. Здешний завод назывался Машстрой, выпускали на нём морские и сухопутные спаренные и четырёхствольные зенитные установки (ЗПУ). До пенсии отцу оставалось ещё тянуть лямку семь лет, срок приличный. В Куйбышеве я поступил в институт, жили мы втроём, родители и я. Именно в эти годы мы сошлись особенно тесно: охота нас объединяла, охота. А у него появилось свободное время, и я — уже студент — стал достаточно разумным парнем.

Куйбышев, теперь снова Самара, распространялся вширь от впадения в Волгу реки Самарки. Вдоль Волги тогда лежало бесчисленное множество озёр, стариц, ериков, заливных займищ — бескрайние утиные царства и княжества — ныне всё это затоплено водохранилищами, созданными выше и ниже города. А вдоль Самарки тянулись полосой приречные урёмистые леса, своего рода природная пограничная засека, за которой открывались на сотни километров к югу заволжские степи. В этих последних на путях пролётной птицы лесных угодьях скапливались направлявшиеся в тёплые края вальдшнепы. Стоило доехать на трамвае до окраины, переплыть за Самарку, и вот они, вальдшнепиные высыпки. Получалось, служебная катастрофа как будто возвратила его в молодые годы... Естественно, мы скоро завели собаку, отец брал отпуск числа с 15 сентября и — «через день на ремень» — пропадал с ружьём за Самаркой. А я бегал к нему, с нетерпением дожидаясь выходного, а то после семинаров и лекций или, чего греха таить, пропуская учебные занятия. Блаженные были времена.

На Машстрое работало много эвакуированных туляков, старых знакомых, и среди

них ещё сохранялись истые вальдшнепятники. Но большинство заводских охотников увлекалось «бессобашной» стрельбой уток. Обычно завком заказывал на выходной грузовой «газон», формировалась шумная артель, человек десять в кузове с ружьями-рюкзаками. Отца спрашивали: «Ну как, Михаил Николаевич, поедешь с нами на «деревенскую охоту»? И он иногда соглашался, особенно до начала пролёта вальдшнепов. Я же говорил, папаня всегда любил эти охотничьи компании с их непременными забавными приключениями, подначками и коллективными ужинами вокруг костра.

У него и самого было несколько излюбленных хохм. Например, хлебают шулюм из общего котла, уже стали стучать ложками по дну. Тут он вдруг, засучив рукав, лезет в котёл голой рукой, на полном серьёзе спрашивает: «Много там ещё осталось?» — Изумлённые сотрапезники разевают рты, ложки замирают на взмахе. А он спокойно поясняет: «А то вы, идолы, и собаке ничего не оставите.» — «Ффуу! Ну, ты, Михаил Николаевич, даёшь!»

Или такой эпизод. Перевоз на Самарке держал раненый инвалид Пашка, тятенька мой с ним подружился. Однажды возвращается с охоты, Пашка как раз ужинает, приглашает к котлу и Михаила Николаевича. Дескать, доем и перевезу, а то похлёбка остынет. Ну, тот сотрапезничать не стал, ждёт, покуривает, сидя на брёвнышке. Пашка обсасывает косточку из котелка и бросает нашей Альме. А она — добрейшей души была псина! — понюхала и вдруг, ощетинив загривок, с рычанием на цырлах отошла в сторону. Отец удивился: «Ты чем это хотел её накормить?» — «Да тут бродил вокруг один ублюдок, Генашка Никитин бросил...» Надо пояснить этот одноногий Пашка-перевозчик, приковылял с войны ещё и с простреленным лёгким, а тогда считалось, что собачье мясо полезно от туберкулёза.

История имела неожиданное продолжение. На заводском отчётно-выборном собрании охотколлектива Генашка Никитин взял слово и заявил: «Вы тут всё агитируете, что надо развивать охотничье собаководство. Я вот завёл щенка, а его Михаил Николаевич Петров съел...» Хохот в зале. Блаженные были времена.

А в стране в это время опять начинались крупные перемены. Арест Берии... Официально было объявлено, что он разоблачён как «агент международного империализма». Я, студент-историк, политике в силу образования не чуждый, недоумевал: «Как это — агент не США, не Англии или Японии, а «международного»? Да ещё империализма — у него собственная разведка есть?

Помню, ночевали на берегу Самарки, июньская ночь плыла светлая. Мы, удобно расположившись у рыбацкого огонька, маленько приняли и разговорились. Я ещё предложил: «Может, немного оставим?» На что услыхал памятный ответ: «Э-э, никогда не откладывай выпивку на завтра, а любовь под старость. Наливай!»

Надо подчеркнуть, ни о какой политике мы с ним до этого случая не говорили. Он не высказывался (зарок дал после 38-го года?), я ещё не настолько принимал всё близко к сердцу, чтобы затевать обсуждения. Но история с Берией меня поразила. Что-то мне в ней чувствовалось фальшивое, уж больно скользкая какая-то формулировка. С другой стороны, не может быть, чтобы принимали меня совсем за дурака! Непонятно... И тогда, той светлой ночью, он впервые заговорил откровенно. В том смысле, что всё это хреновина, что печатают в газетах. Как надо что-нибудь у народа отобрать, обязательно напишут: «По многочисленным просьбам трудящихся...» Просто все они там — обыкновенные мелкие людишки, дорвавшиеся до власти, политиканы. Хитрые, тупые, тщеславные, трусливые — обычные, как все. Встречался, дескать, сам и с Маленковым, и с Ворошиловым, со многими. Друг друга боятся, подсиживают, а перед Берией все тряслись, такая у него была в руках власть. Вот и сговорились скопом против него — от страха. А в газете что ни напиши, бумага стерпит.

Я просто растерялся. Ведь сомнения не было, что в высшее руководство страны персоны как-то отбирают, туда могут попасть только лучшие из лучших, проверенные государственные деятели, для которых благо народа и государственные интересы превыше всего. Это же само собой так предполагается! Наверное, сегодня даже совсем молодые удивились бы моей тогдашней наивности. Но мы были иначе воспитаны, честное слово, внимали безмятежно. А как же иначе, ведь тогда... тогда чему верить, на что ориентироваться?

То был наш первый серьёзный разговор. Не только о политике — за жизнь в целом. Тут надо подчеркнуть, что он вообще — совершенно удивительно! — никогда не давил на нас с братом своим авторитетом. Ни в чём. Я несколько раз перебирал разные

ответственные решения, которые приходилось принимать в жизни, и не мог припомнить, чтобы он как-то явно оказывал влияние, тем более проявлял настойчивость. Вот и сейчас снова пытаюсь восстановить «судьбоносные» моменты в своей биографии и — только плечами пожимаю.

Выбор профессии, в какой институт поступить... Я ведь больше по-мальчишески думал о том, как бы связать своё будущее с лесом, с охотой, и сначала склонялся к романтике геологоразведки. А потом решил: «А! Кончу пед, уеду в село и буду после уроков гонять на велосипеде с ружьём...» Кстати, так оно поначалу и сложилось. Или пришла пора жениться. Баба Дуся встретила твою будущую маму настороженно, даже ревниво-придирчиво. А он — совершенно запросто, дружелюбно, маленько подтрунивая. Да живите себе, как хочется, сами разберётесь! Моё довольно сумасбродное решение уехать сначала на село, а потом и в далёкую Сибирь, то есть оставить их под старость в одиночестве, в ожидании писем и редких встреч, — тоже никаких возражений и советов «сначала всё как следует взвесить». Только пожмёт плечами: «Смотри сам, тебе виднее...» Никогда ни в чём. Удивительно! Характер, характер...

Кто-нибудь сказал бы: «Такое равнодушие?..» Нет, конечно. Просто, видимо, чувствовал бесполезность открытого возражения: дети стали взрослыми, настала пора им самоопределяться и самоутверждаться. С годами наша родительская роль перемещается с авансцены всё ближе к кулисам, а к самой рампе выступают молодые исполнители. Так в жизни устроено, и отчаянно сопротивляться естественному порядку — значит, лишь порождать бесполезные конфликты.

...О! Всё-таки вспомнился вдруг эпизод, когда он решительно заявил о своём несогласии с моим желанием и некоторое время упорно стоял на своём. Теперь о том конфликте можно рассказывать с иронией, а тогда... Речь идёт о моём увлечении музыкой. Я страстно мечтал о баяне. Играл в струнном оркестре, а у двух друзей были баяны (правда, не их личные, а отцовские, но оба отца были на фронте). Разве можно сравнить! Это тебе не бренькалка — настоящее: ноты, сложные пьесы, можно исполнить хоть «Времена года» Чайковского, хоть вальсы Шопена, да мало ли что! Против Чайковского-то он не возражал, его настораживал именно инструмент. Родительские представления меня изумляли, доводили почти до слёз: все баянисты, считал папаня, пьяницы, шатаются по всяким гулянкам да свадьбам-именинам, затягивает артистический образ жизни, и в результате плохо кончают. Так видеть увлечение настоящей музыкой?! Я не предполагал, что родители могут до такой степени по-мещански относиться к высокому искусству, просто страдал от непонимания. В конце концов, баян мне купили. Лет двадцать я им серьёзно увлекался, опасения отца не оправдались. Хотя, как я позже понял, он имел для них достаточно оснований. Баян — всё-таки не фортепьяно, которое в пивную не прихватишь. Да и жизненные наблюдения давали, так скажем, статистические доводы. Да, то был единственный случай, когда он решительно выступил, опасаясь, что моё желание может повлечь дурные последствия. Слава Богу, всё разрешилось благопристойно.

И в то же время, повторюсь, некое незаметное влияние его взглядов, пристрастий и привычек я — тоже с удивлением! — открывал в себе потом долгие годы. Приведу ещё один чисто бытовой пример. У твоего деда была привычка: после чая у костра закурить и притом обязательно не от спички или там зажигалки, а непременно извлекши из костра горящий сучок или головешку. Да ещё и скажет: « Как хорошо от уголька-то прикурить!»

Казалось бы, такая мелочь! Раз, второй, третий... Запало: действительно, как хорошо... И уже спустя лет двадцать я вспомнил, что сам курить начал в лесу — «от уголька». Ритуал же! И дома долгое время сигарет не держал. Не потому, что стеснялся, просто нужды такой не испытывал. Занимался спортом, моде в поведении никогда не поклонялся. Вот на охоте и рыбалке — другое дело, там оно как-то романтично, входит в общий комплекс традиций... Но процесс этот, как известно, затягивает, обратного ход не имеет. Короче, кабы не тот «уголёк», я бы вообще курить не начал.

Одно нас ссорило в те самарские годы, меня просто злило, всё чаще даже бесило: он начал изрядно попивать. Теперь я понимаю: защитная система после стольких передряг и жизненных напряжений стала давать сбои, требовала «допинга». К старости такое случается со многими. Да и положение опального боярина тоже сказывалось, что уж скрывать, появились брюзжание, язвительные реплики в адрес молодых успешных руководителей. Поводов же «расслабиться» было хоть отбавляй. Но мне-то, полному юношеской нетерпимости, как всё это было переносить, его

пьяный вид, иной раз загулы по два-три дня, отёкший опустившийся образ? Тяжело. Тягостно. Я ругался, клеймил, заклинал — тут мы с матерью полностью сходились единым фронтом в поведении. Только что всё нетерпеливее мечтал: «Скорее бы закончить институт да уехать...»

Возможно, тебе будет неприятно читать эти строки, даже промелькнёт мысль, что не стоило бы мне их писать — по этическим соображениям. Всё-таки последний поклон родителю и — такое. Я сам об этом размышлял, однако решил: ну, зачем мне от тебя-то скрывать или что-то приукрашивать, какой резон? И потом, знаешь, я ведь уже сам стал... старше своего родителя, многое понимаю. А тебе полезно знать, как и чем живут старики. Наверняка настанет время, и ты станешь судить, каким Я был отцом для тебя. Интересно бы послушать... Только никому этого не дано...

А каким я был? Да, сильно увлечённым, целеустремлённым в свои «забавы». Недостаточно времени, как большинство из нас, уделял твоему развитию... В том, что у тебя не оказалось братьев и сестёр, ей-Богу, не моя вина. Жили вы с мамой не хуже людей. Да, потаскал я вас по России, но всегда семья имела приличные квартиры, возможность пользоваться разными благами, машины, у тебя не возникало проблем с учёбой. Чего ещё? Не знаю, суди сам.

Итак, я готовился к отъезду, к началу самостоятельной жизни. Тоже закон природы: птенцы улетают из родительского гнезда, яблоко созревает и отрывается. Иначе бы жизнь остановилась Молодёжь радуется крепнущим в полёте крыльям, старые остаются грустить... В самостоятельную дорогу дед Михаил, когда я получил институтский диплом, подарил мне единственную имевшуюся у него ценную вещь -тяжёлый портсигар из чистого серебра. Сдержанно проговорил: «Я свои обязанности по отношению к тебе исполнил. А наследства у меня больше никакого нет. Если только квартира, но это когда умру...»

Тут он малость ошибся. Да, квартира — придёт время, и я в неё вернусь, потом обменяю на лучшую и... совсем оставлю чужим людям. Зато у меня до сих пор сохранилось удивительно много разных вещиц, многие сделаны его собственными руками. Лёгонький котелок из нержавейки, костровый штырь, ружейный чехол, берестяные «ногавки» для привязи подсадных уток, мерка для пороха (между прочим, с делениями не на граммы, а на старинные золотники!), вышитый мешочек из оленьей кожи — из таких прямо в лесу засыпали чёрный порох в дула шомпольных ружей. «Ногавки»-то — ещё из Вятских Полян — уж явно никакого практического смысла не имеют. Но выбросить рука не поднимается: наследство. Нотариальной стоимости давно не имеющее, только что духовное.

Простились мы по-хорошему. Обе пары родителей помогли молодой чете устроиться на новом месте. Дальше пошли только письма и не очень частые наезды друг к другу. Меня довольно лихо закрутило: сначала степная Малая Глушица — школа, велосипед, утиные вечёрки. Но вскоре — армия, Венгрия в 1956 году. Затем «первый заезд» в Сибирь, в Тюменскую область, знаменитую вотчину Григория Распутина село Покровское, ставшее и твоей случайной родиной. Но снова картинка в калейдоскопе жизни мигнула, и я неожиданно оказался в кресле заведующего отделом райкома партии.

Тем временем он, как только достиг 60 лет, сразу вышел на пенсию. Только что вступил в силу хрущёвский пенсионный закон, и отцу положили ежемесячно 1200 рублей! Для сравнения поясню, что я, работая на своей заметной партийной должности, имел оклад в 900 рэ — как говорится, почувствуйте разницу, можно такое представить сегодня? Хорошая пенсия, полная свобода от родительских и государственных обязанностей, любимая рыбалка и охота под боком — живи и радуйся. Кабы так-то... Всегда спотыкаешься в жизни об эти «но». Первое — привязалась досадная хворь, всё заметнее начали подводить ноги. О втором я расскажу несколько позже. А теперь...

Было бы совершенно несправедливым не упомянуть в этой повести о втором твоём деде — по материнской линии, о моём тесте Иване Васильевиче Сергееве. Хотя рассказать о нём я могу очень немногое. Но хоть как-то надо оплатить старый долг.

Однажды мы вот так же разговорились с твоей мамой, я спросил её: «Как ты вспоминаешь отца?». Она как-то даже застеснялась, зарделась, словно почувствовала себя девочкой, потом говорит: «Он был добрый... Я маленькой ждала его, когда он поздно возвращался из рейсов. Один раз в магазине спрашивает: «Каких тебе купить конфет?» А я показала на шоколадные трюфели. Он потом дома переживал: «А у меня и денег столько

нет, стыдобушка!» Я вспоминаю — мне до сих пор стыдно.»

Моё личное общение с тестем оказалось довольно кратковременным, года три примерно. Но с мамой мы за 44 года совместной жизни возвращались к этим разговорам много раз, и вот что я могу собрать достоверного.

Родовым гнездом Сергеевской, то есть маминой ветви твоего фамильного древа, был старинный уездный город Бузулук; он стоит на той же самой реке Самарке, в волжском устье которой обосновалась купеческая Самара (и разнесло её со временем до неприличия). Разделяло их километров двести, не более трёхсот, но Бузулук входит в состав Оренбургской области. Через него проходит и железнодорожная линия от Самары на Среднюю Азию. Дед Ивана Васильевича был персом (по-нынешнему — иранец), кажется, из пленных какой-то русско-персидской войны. А по социальному статусу вся Сергеевская родова тоже относилась к мещанам, славному ремесленному сословию. Были среди них и сапожники, и железнодорожники, и кузнецы. Жили своими домами, по линии бабы Кати — Болдыревых — даже довольно зажиточными.

Сам Иван Васильевич ещё с конца 20-х стал шофёром. Лично мне рассказывал: застал ещё авто с деревянными спицами. Едешь, говорил, едешь, в степи жара! Остановишься у колодца, достанешь ведро воды и плеснёшь на колёса — они аж зашипят, будто сердитый Змей-Горыныч. Что-то сам я о подобных автомобилях не слыхивал, но не сочинил же он. Вообще, был человек технического склада. Рассказывал, например, и такое: накупит на барахолке запчастей и деталей, принесёт домой — мешок через плечо, разложит, покопается, соберёт — глядь, получился мотоцикл. Не «Харлей», конечно, но всё же. Покатается сам и продаст. На базаре страстно любил торговаться, истинно по-восточному.

А вот ещё живой эпизод, семейное предание. Молодая жена подарила ему долгожданного ребёнка. Но первенец оказался девочкой. Папаша так расстроился, что... Приходит из роддома к своей матери, та, естественно, с порога: «Ванюшка, дак хто родился-то?» А он отвернулся в угол и буркнул: «Не знаю, мать... Забыл.» Ничего глупее выдумать не мог — в полном трансе... И как же он потом любил свою первенькую — Валюшу. Просто даже представить трудно.

Когда она (твоя мама) закончила среднюю школу — кстати, с медалью, которая у меня тоже до сих пор хранится — и поступила в институт в Куйбышеве, её родители решили навсегда расстаться со своим Бузулуком и переехать вслед за дочерью. Продали большой дом с богатым подворьем и с трудом купили на те же деньги половину скромного домика на окраине миллионного Куйбышева, в частном секторе, только что от трамвайной остановки в пяти минутах ходьбы.

Самым близким заводом там оказался шарикоподшипниковый гигант 4-й ГПЗ, на него Иван Васильевич и поступил кузнецом. Но заводское производство с его прессами-монстрами, безжалостно и бездушно мнущими металл, претило его душе вольного художника, и он скоро ушёл, устроился в небольшую кузницу... на городском кладбище. То есть, с основным производственным профилем — металлическими оградками на могилы. Зато тут можно было развернуться, всякий раз сотворить что-нибудь новенькое. Вот только кладбищенский этот ремесленный дух оказался очень богат всякими поводами для выпивки. И мастер зачастил. А мама твоя, как и я в те же годы, не могла спокойно смотреть на приходившего с работы пьяненького отца, они очень ссорились. Она мне позже призналась, что даже советовала своей матери, бабе Кате, подать на развод. И сама себе, повзрослев, не могла этого простить. Молодость, молодость, юношеский экстремизм, кто из нас его не прошёл?

И тут в их жизни появился я — зять, «чтобы взять».

Конечно, это неизбежно — уход дочери из семьи. Но, я понимаю, очень грустно. Заявился чужой молодец со стороны: вырастили красавицу? А теперь отдай мне... Нет, я-то держал себя скромно, даже стеснялся. Но и он белобрысого «принца» принял чуть-чуть даже заискивающе. Всякий раз на столе появлялась четвёртка водчонки, бутыль пива и совершенно замечательные сергеевские пельмени от бабы Кати. Иногда дело доходило и до гармони — водилась у них старая гармонь венского строя, для меня, баяниста, инструмент экзотический. Нажимаешь на клавишу, растягиваешь меха — один голос, а начинаешь их сжимать — у этого же клавиша звучит другая нота, ерунда какая-то. Но я всё же, помнится, освоил на ней краковяк и ещё что-то в этом роде: очень старался с тестем «спеться». А вот его любимая «Сердце, тебе не хочется покоя» (из «Весёлых ребят», фильма его молодости) как-то не получалась.

И любимую дочу-кровиночку не только увёл из дома, совсем увёз из города. Правда, она через две зимы возвратилась, пока я служил в армии, но жила с моими родителями. А вот когда я, демобилизовавшись, сманил её в Сибирь, тут тесть вовсе затосковал. Но об этом чуть позже.

С моим отцом они сошлись, у сватьёв нашлось много общих интересов. Например, чисто технических. Козыряя своим мастерством, Иван Васильевич заявил: «Вот увидишь, сват, сделаю я тебе топорик для рыбалки, по-настоящему сделаю, по-топорному!» Дед Михаил сперва удивился, зачем же, говорит, по-топорному, может, как-нибудь получше? «Нет, сват, ты хоть инженер, но не понимаешь. По-топорному — это высший разряд будет, вот увидишь.» И сделал. «Понимаешь, — увлечённо объяснял мне дед Михаил, — он кузнечным способом сварил. Лезвие стальное, а обушок из мягкого, как они говорят, «железа». Молотом сварил! Я думал этого уж никто и не умеет.» Тот топорик до сих пор жив у меня; на лезвии выбито: «МНП» — Михаил Николаевич Петров.

Правда, общались они не так, чтобы часто. В том числе, полагаю, потому, что жёны этому не способствовали: каждая встреча — обязательно тут же и бутылочка. А как иначе потолковать за жизнь добрым сватьям? Только они этого никогда не поймут...

В Тюменскую Сибирь я отправился сначала один. Устроился и вызвал молодую жену. Провожали её общим родительским сбором, и только один дед Иван горько плакал, не утирая слёз: «Больше мы с тобой, доченька моя, не увидимся...» Его дружно успокаивали, весело разубеждали: «Да почему не увидитесь-то? Сейчас не война, транспорт современный, поезда, самолёты, в отпуск обязательно будет приезжать.» Но он был безутешен: «Нет, и не говорите, не увидимся...» Не знаю, наделены люди способностью подобного предчувствия, или он сам себя настроил? Не знаю. Но вышло, вроде, я и виноват, всему причиной. А получилось так.

Осенью он поехал в милый сердцу Бузулук, которому изменил из-за любви к дочери. Родни много, «на полюдьи» не пропустил ни одного дома, словно прощался. Принимали везде радушно, с застольями. Возвращаясь с одного из них, оступился и упал в яму. Да так нехорошо, что сломал шею. Бабу Катю вызвали телеграммой, она примчалась и ещё застала его живым... У меня сохранилась копия свидетельства о смерти, в котором написано, что гр-н Сергеев Иван Васильевич умер 3 октября 1958 года в возрасте 53 лет. Причина смерти — надлом позвоночника. Мистическая какая-то кончина.

А на пятый день после его смерти на свет Божий явился ты, Серёжа. Но нам в Покровку об этом не сообщили, писали как-то неопределённо, что дед Иван болеет. Из-за опасений, что у твоей мамы от переживаний пропадёт молоко. Признались в трагедии только позже. Мама очень плакала, но молоко не пропало: всё-таки больше её заботил ты, беспомощный сынуля-крохотуля... Я понимаю, дед, умерший до твоего рождения, фигура для тебя почти мифическая. Другое дело, бабушки Катя и Дуся — их ты хоть в детстве видел, что-то осталось реального из личных впечатлений. А перед дедом Иваном я теперь хоть как-то свой долг исполнил: будем считать, тоже увековечил. Вот даже пишу это слово без кавычек: рукописи ведь не горят.

Вот и о деде Михаиле подошла пора рассказать про последние годы жизни. Я дошёл до этой главы и задумался: наверное, зря затеял излагать всё в хронологической последовательности, надо было всё-таки найти какой-нибудь композиционный ход, чтобы финал прозвучал жизнеутверждающе. Если б изначально был замысел сочинить настоящую повесть, то что-нибудь такое-эдакое я и придумал бы. Но мы ведь сразу оговаривали «семейную хронику», так что извини за неотвратимо грустный конец. Что заказывал...

В последние годы ноги деду Михаилу отказывали всё решительнее. Он лечился, ездил на курорт Серные Воды, на какое-то время помогало, а затем возвращалось к прежнему состоянию. На беду, курить он не мог бросить, а это, говорили, главная причина болезни (называлась она «перемежающаяся хромота», или, по медицине, — облитерирующий эндартериит).

Пенсионерская жизнь не богата разнообразием. Гулял с собакой, по ночам много читал, сидя за столом на кухне. Лил дробь на газовой плите, мечтая о предстоящем сентябре. От нечего делать, от одиночества, снова завёл охотничий дневник — упорно старался, вопреки болезни, продолжать рыбацкие и охотничьи вылазки. Читать записи об этих поездках — признаюсь честно, у меня иногда в глазах становится горячо.

«22 сентября 1957 г. Был за Самаркой. Стоит сухая погода, вальдшнеп сидит в крепях, держится очень строго. Принёс шесть штук.

Хотел на другой день идти снова, но не смог, требуется отдых. А завтра снова уползу.»

«13 ноября 1958 г. Результаты сезона самые печальные. А я так ждал этой охоты и в молодости, и в зрелые годы... Конец всему? Хорошо, что хотя один сын является моим последователем, любит охоту и природу.» Так он расценивал мой несомненно досадный для всех отъезд в Тюмень. К сезону 1958 года мы ещё вернёмся.

1959 год выдался для него посветлее. Прежде всего потому, что всё лето, с мая по октябрь прожил у нас в Покровке и затем в райцентре Ярково, куда меня перевели. Деревенский быт, внук-карапуз, молодой щенок ирландский сеттер, которым я обзавёлся, богатая рыбалка на озере Бобровом, новизна впечатлений. Сибирь его порадовала, на какое-то время воспрянул духом. Но сезон прошёл без вальдшнепиной охоты. К концу его сибирского гостевания прикатила и баба Дуся. Посмотрела, как мы живём — я безвылазно в командировках, твоя мама работала в школе, годовалого внука договорились по утрам относить к соседской бабке — и решительно заявила: «Вы тут мальчонку загубите! А в Куйбышеве две бабушки скучают по внуку... Мы его заберём до следующего лета.» Пришлось согласиться. И как-то знаешь, я пережил разлуку без трагедии... Неужели до такой степени был увлечён новой работой, служебными коллизиями, интересами собственного роста и самоутверждения? Давно было, теперь уж не помню, но на объективный суд, издалёка, так оно и выглядит. Короче, ту зиму и весну ты провёл на Волге.

Отец как-то рассказывал, как вы затем встретились с мамой, когда она, еле дождавшись учительского летнего отпуска, на крыльях нетерпения прилетела в Куйбышев. Она рвётся к тебе, а ты не признаёшь чужую женщину, отстраняешься от объятий, у обоих слёзы ручьями. Ужас, как представишь эту мизансцену. А дед Михаил записал в дневнике: «31 июля 1960 г. Уехала Валя и увезла внука Серёжу. Остался один...» Тут мне придётся приступить к одному эпизоду, который я откладывал до последнего, рука не поднималась. Хотя случился он ещё осенью 1958-го.

Вскоре после переезда в Куйбышев мы с отцом приобрели собаку — легавую, но необычной, недавно появившейся в России породы (вывезли из Германии вместе с трофеями): дратхаар. Обликом она была... ну, абсолютно не похожа на привычных у нас гладких прилизанных пойнтеров. Шерсть густая, жёсткая, окрас серо-коричневый, грязноватый, крупными пятнами. А главное, совершенно лохматая дикообразная морда, даже непонятно было, как она сквозь эти заросли видит мир! Но она всё видела и всё понимала, схватывала на лету. Мать, встретив её в прихожей, воскликнула: «Да это что за чудище вы привели?! Шавка какая-то! Чего уставилась? Шавка и есть, посмотри на себя.» И тут наша новая красотка стала оживлённо оглядываться, увидела на вешалке <u>шапку</u>, взвилась и сорвала её с крюка! И, довольно виляя куцым обрубком хвоста, подала хозяйке. Все были изумлены.

Молодая собака оказалась удивительной умницей и, вопреки своему зверскому облику, — Бармалей-Бармалеище! — безмерно доброй, дружелюбной. В первую же осень она освоила работу по вальдшнепу. Правда, её поведение в лесу было начисто лишено театральных страстей, свойственных пойнтерам и сеттерам, всё она исполняла деловито и четко, как отлаженный немецкий механизм. Охота стала для нас сплошным удовольствием. Вот только, опять же, внешний вид...

Во дворе-то Альму все любили, а у незнакомых женщин при встрече на улице реакция возникала поразительно одинаковая: «Фу, какая страшная!» На что папаня выработал свой стандартный отзыв: «А ты, думаешь, сама лучше?» Грубовато, но как бы с юмором. Знаешь, эту породу я и теперь иногда вижу, но с трудом признаю. Не знаю, как в отношении рабочих качеств, а внешне... выродилась порода. Вместо буйных джунглей на морде несколько жалких волосиков, жалкое зрелище. Как сказала бы моя мутти, современные — рожей не вышли.

Отец нашу красавицу полюбил юношеской «поздней» любовью, восхищался, просто молился на неё, готов был целовать в лохматую шерстяную морду. А когда мы уже уехали в Тюмень, Альму у него украли. По пьянке.

Возвращаясь с охоты, он на перевозе у того самого инвалида Пашки крепко поддал. Кое-как дотянул до трамвайной остановки, конечной, безлюдной на окраине, сел ждать и... уснул. А проснувшись, не обнаружил рядом ни собаки, ни ружья. Горе, стыд, отчаяние, раскаяние — всё тут на него обрушилось, словно горный сель. Да потерянного не вернуть.

Правда, через несколько дней дворовые мальчишки привели к отцу... копию Альмы. Тоже дратхаар, тоже добрая, даже

заискивающая перед новыми хозяевами, тоже умница. Правда, не такая живая и, вроде, печальная. То же, да не то: чужая. Отец дал объявление в газету, что нашлась потерявшаяся собака, через несколько дней приехали настоящие хозяева, он простился с «чужой Альмой» без сожаления. Но остался без последней близкой подруги, родственной души. Какое это было для него потрясение, представить нетрудно. И вообразить, что и как выдала ему по этому поводу баба Дуся!

Но проходит год, и он снова покупает себе ружьё, ИЖ-54, бескурковку 12 калибра. Я тогда удивился: ведь охотиться-то он уже практически не мог.

«3 октября 1961 г. Всё-таки пошёл за Самарку. До перевоза плёлся два с половиной часа, а по лесу ходить уже и не смог. Пришлось развернуться назад. Домой еле дотащился. А на другой день и по квартире не передвигался.»

Только позже я понял, зачем ему понадобилось это ружьё, которое он повесил на гвоздь над своей кроватью. Слава Богу, оно в последний раз не выстрелило.

И ещё одна тяжёлая для меня страница: о том, как он в последний раз приезжал к нам в Ярково. Это было в сентябре 61-го, он ехал в надежде всё-таки поохотиться со мной. Дело в том, что у меня в стайке появился рогатый друган — мотоцикл с коляской, то есть я мог бы отца возить на нём. Да только все мечты и надежды пошли прахом.

Сентябрь — разгар уборочной страды. Нас, райкомовцев, разгоняли по колхозам в качестве уполномоченных со строгим приказом: появляться дома только в субботу вечером — отмываться в бане перед новой недельной битвой за урожай. Даже картошку на огороде мама копала одна, носила вёдрами в подвал, когда выдавались погожие дни. А выдавались они — как скудный подарок сибирской осени, нельзя ни единого упустить. Так что и новенький светло-салатный ИЖ сиротливо тосковал без хозяина.

Гость первую неделю прослонялся у нас в пустом доме, пошла другая. И когда я снова появился на короткую побывку-помывку, не вытерпел — тут любой характер испортится! — мы крупно поговорили. Спор неожиданно принял идеологический характер. Раньше он всё помалкивал, а тут — рухнувшие собственные надежды, безотрадные впечатления о несуразности моей жизни, да и, возможно, некоторая допущенная в хрущёвскую «оттепель» развязность языков — всё сказалось. Достало его.

— Слушай, и зачем же ты держишься на такой работе? — спросил меня. — Ехал в Сибирь ради природы, душа звала, а занимаешься, хрен знает чем.

Вопрос по существу я сначала пропустил, меня по-молодому задела оценка личной моей деятельности.

— Ну, почему «хрен знает»? Стараемся сделать, чтобы людям жилось лучше.

— И ты в это веришь? Что коммунизм наступит через 20 лет?!

— Как тебе сказать... На двадцать лет я не загадываю, очень уж большой срок. Но реальные перемены в жизни видны и сегодня.

— Это ты народу в своих лекциях долдонишь. А сам-то хоть веришь?

Опять обидное обвинение. Но я снова сдержался.

— Ни разу ни одного слова не соврал: только цифры, реальные планы, факты...

В том-то и суть, я тогда верил. По инерции, так сказать. Да, затерзал взбалмошный Хрущёв реорганизациями, той же кукурузой «от моря до моря». Но планы-то, намерения — светлые. А в великих исторических свершениях не без досадных мелочей. Я соглашался. А дед Михаил свой лимит надежд дождаться лучшей жизни уже исчерпал.

Уж очень много ему досталось увидеть. Революция и гражданская война, голод 21-го, голод 29-30-х, социализм в одной отдельно взятой стране, репрессии (он-то знал: необоснованные!), бесконечное вознесение и разоблачение вождей. Ведь это на его глазах царили и вершили судьбы последний император, Троцкий, Каменев-Зиновьев, Рыков, Бухарин, Ягода — несть им числа, которые все оказались врагами и получили свою пулю в затылок. Пока не остался Один, выкарабкавшийся на вершину далеко не из самых первых и фантастическим образом превратившийся в «отца родного всех народов» (Господи, какая же паранойя эти слова!), Прекрасно знал он, какой ценой мы победили в войне... А вот и генералиссимуса низверг болтун, пузатый пигмей Хрущёв. И тут же принялся лепить свой культ. С помощью вот таких безмозглых функционеров, как я. И всё это за одну жизнь! Ну скажи, дорогой мой Серёжа, сам подумай, способно нормальное сознание выдержать подобное без контузий? Я думаю, тебе и самому хватило историй с Брежневым, Горбачёвым и Ельциным — всё то же ведь, всё то же, только в ослабленном

варианте, крови меньше. В общем, понимаешь, о чём идёт речь. А я ещё верил. Мне тогда и тридцати не исполнилось.

Схватка оказалась крутой. Наутро я укатил в свой колхоз, а он... загудел. С тоски и безысходности. Мало того, что последняя охота не получилась, ещё и сына, сволочи, отняли... Приезжаю через неделю, мне докладывают: ваш батя вёл тут себя некрасиво, в чайной, понимаете ли, да и по улицам. Неэтично. Работник райкома партии должен заботиться о своём авторитете.

Честно признаюсь: я разозлился. Не столько из-за «авторитета», сколько всколыхнулись старые раздражения. Мы жёстко объяснились. Очень жёстко. Как в своё время в Куйбышеве. И разъехались — я в свой колхоз, он к себе восвояси. Даже не простившись.

Больше нам увидеться было не суждено.

Я очень тяжело переживал ссору. Но она повлекла за собой и неожиданно положительные последствия: я задумался. Не в идеологическом смысле, а чисто в житейском. В самом деле, чего ради держусь за эту работу, разве для такой жизни оставил родителей (вот и второй дед пострадал — во имя чего?), приехал в эту Сибирь... Действительно сказочную, но странным образом оказавшуюся для меня как бы за витриной роскошного магазина — недоступной. Попал, будто не в тот поток, и понесло совсем куда-то не туда, куда мечталось. Ну, просто несуразность какая-то! Да и сомнения в нужности того, на что я тратил силы и время, если говорить честно, уже раньше зарождались в моём сознании, ведь не круглым же болваном был. Теперь только вроде высветил их безжалостный луч прожектора.

Короче, кончилось тем, что вскоре я из райкома ушёл. В газету. Писать мне хотелось давно, да только получалось всё лишь урывками. Одно к одному...

И, как оказалось по всей дальнейшей жизни, поступил правильно и «слинял» из парторганов удивительно вовремя. Дело в том, что в апреле 1962 года началась ещё одна хрущёвская реорганизация — стали ликвидировать сами сельские райкомы, вместо них создавали сельхозуправления, был и такой недолгий момент в нашей истории. Так я оказался в Тобольске, в межрайонной газете «Советская Сибирь», жил в гостинице «Иртыш» и мотался на редакционном мотоцикле по четырём огромным северным районам, входившим в нашу зону. Квартиру обещали в доме, строительство которого завершалось. Вы с мамой на лето, пока я не обустроился, уехали в Куйбышев. Все последующие события происходили у вас на глазах, хотя ты, естественно, вряд ли что помнишь.

То лето 1962-го на Волге выдалось жарким. Весной дед Михаил в очередной раз прошёл курс лечения на больничной койке и к началу сезона чувствовал себя более-менее сносно. А тут кто-то подсказал ему новое удобное место для рыбалки, озеро Каменское. Оно располагалось в непривычном районе, за Волгой, но недалеко от пристани, у которой останавливался речной трамвайчик, курсировавший по прибрежным дачным участкам. Озеро представляло собой типичную заливную старицу, в нём обитали чуть не все виды волжской рыбы: лещи, язи, крупная сорога и густера. А сам характер ловли, снасти — так напоминали тихую Упу его далёких молодых лет! Он быстро освоился и стал приносить домой много рыбы.

«8-9 июля 1962 г. Ловил ночью лещей с фонарём, попались и два язя, а крупной плотвы штук сорок. — Плотвой он упорно по -тульски называл волжскую сорогу. — Рыбу и «самое необходимое» домой насилу донёс.» Баба Дуся позже рассказывала: рыбы оказался полный таз... А запись — последняя.

Медицинский факт: при склерозе артерий очень вредно долго находиться на солнце: кровь «густеет», возрастает её способность к тромбозу. Дед Михаил просидел на своём озере два дня, вечером дома жаловался на головную боль, лицо покраснело от перегрева. И как же он упрашивал бабу Дусю налить ему стопочку! Но хоть имелась у неё в заначке четушка, мать встала неприступной крепостью, в ответ на попеременные попытки приступов и мольбы о пощаде звучало лишь безжалостно-торжествующее: «Нет! Не получишь! Тоже мне привычку взял...». Злосчастная эта четушка припомнилась ей в её последние дни, сама признавалась: «Ах, если б я ему тогда налила, может, и пожил бы ещё Миша. Ведь от неё сосуды расширяются.»

Ночью с ним случился инсульт. Вызвали «скорую», врачи только развели руками. Прожил он ещё два дня. Но в наполовину парализованном мозгу билась старая тайная боязнь, что он, как и его отец, твой прадед Николай Иванович, будет долго лежать таким же «полоумным» и мучить родных. Вот на какой случай висело над кроватью новенькое ружьё. Среди ночи баба Дуся и твоя мама, которые спали в соседней комнате, услыхали

странный неровный тупой стук по стене, вскочили... Это он неподчиняющейся рукой пытался снять ружьё с гвоздя, но не смог. Впрочем, злыдня-болезнь сама, не откладывая надолго, довершила своё роковое дело.

Помню, в Тобольске накануне вечером разразилась страшная чёрная гроза.

Из-за неё я наутро не уехал в командировку — дороги стали непролазными. Только поэтому телеграмма из Куйбышева застала меня в гостинице. Я всё бросил и, едва поставив в известность редакцию, рванул в путь. До Тюмени — с оказией на четырёхместном почтовом самолётике ЯК. От Тюмени до Свердловска — ночь в поезде... Господи, неужели не успею?! Но в свердловском аэропорту Кольцово повезло — как раз стоял «под парами» рейсовый ТУ-104. Однако оставалось ещё в Куйбышеве 60 километров от аэропорта Курумоч до автовокзала и через весь город на Машстрой. В родительскую квартиру ступил буквально за пять минут перед выносом гроба.

Провожающих собралась толпа. Оркестр, машины, всё прочее взял на себя завод — М.Н. Петрова помнили и уважали. Были речи на кладбище, сочувственные слова и молчаливо-многозначительные рукопожатия старых знакомых. Но я будто оглох, ничего не слышал и видел окружающих «нерезко». Запечатлелась только зеленая аллея рядом и нависший как раз над могилой огромный куст бузины, весь унизанный кумачовыми гроздьями. Сохранился листочек с надписью: «Могила № 2066». Думаю, не только могила вряд ли уцелела, но и само старое кладбище (на котором дед Иван клепал свои затейливые оградки): Куйбышев-Самара, с его полуторамиллионным населением разросся в настоящего монстра. Снесли окраины частного сектора, где ютились в своём домике родители Сергеевы, стали многоэтажными микрорайонами просторы «Сад-совхоза», окружавшие Машстрой; даже места, куда мы выезжали на тягу по Семейкинскому шоссе, превратились в городские массивы. Через шесть лет после смерти отца мы с мамой уехали в Красноярск («второй заезд», «второе пришествие» в Сибирь), а баба Дуся перебралась в подмосковный Подольск к моему брату Володе. Могила осталась всеми покинутая.

Баба Дуся пережила твоего деда Михаила на 28 лет. Довольно часто приезжая в те годы в Москву, я с грустью наблюдал, как она дряхлеет. Все её интересы и заботы постепенно сводились к одному-единственному — собственному здоровью. У неё всегда водилось огромное количество комнатных цветов, множество разных их видов, целые оранжереи на окнах в два-три яруса. Она их знала, разводила, любила и пестовала. Вдруг в очередное посещение я увидел голые стены и подоконники, как будто все жильцы из квартиры уже переехали, осталась одна засидевшаяся старушка. Я удивился. Она с жалким выражением на усохшем лице начала оправдываться: «Не могу больше, тяжело стало...»

При расставании она вовсе расплакалась и сунула мне в руку магазинную булочку. У неё было заведено по старинной традиции провожать своих в путь обязательными подорожниками; раньше специально пекла пироги, свои фирменные, а тут вот казённая булочка. «Извини, больше ничего не могу...». И мутные старческие слёзы из глаз. Так мне её стало жалко! Аж сердце защемило. Старушечьей её беспомощности и... ненужности. У самого, кажется, глаза отсырели, защипало в носу. Эх, мутти, мутти... Не надо нам доживать до такой дряхлости, превращаясь в объект жалости да и просто обузу для родных, ох не надо. Да только кто решает-то, кто?

Да, совсем печальным получался конец моей семейной повести. Чего я, теперь достаточно опытный литератор, и опасался заранее. Думал, как бы подобного нежелательного эффекта избежать, но в голову ничего не приходило. Нет, в самом деле, если б я действительно затевал повесть, а не хронику, то что-нибудь раньше б сообразил. А тут вдруг понял, что попал в капкан жанра. Однако жизнь сама предложила неожиданный финал пьесы про себя.

Совсем недавно я получил по почте большой увесистый пакет, заказное послание под роспись. Недоумённо разглядываю обратный адрес и вижу: Вятские Поляны... Но у меня давно нет там в живых никого из друзей юности — знаю, потому как с некоторыми переписывался несколько десятилетий. Странно. Вскрыл — внутри несколько глянцевых красочных альбомов и буклетов. Издания музея вятскополянского завода «Молот». История оказалась такой.

В одном московском журнале был напечатан мой очерк воспоминаний о

Г.С. Шпагине на охоте. Шпагин для Полян — «национальный герой» (как Калашников для Ижевска), воспоминаниям о нём посвящен целый сборник местного издания.

Но в нём всё больше речь о работе, о производстве. А в моей журнальной публикации — живой человек, на охоте, песни поёт, водку с другими пьёт, шутит. Нашёлся в Полянах читатель, который этот журнал принёс в музей. И там вспомнили, что живёт где-то такой автор Б. Петров, юный свидетель-послушник давних лет, и даже сыскалась у них пара моих книжек (достались от старых друзей-одноклассников) как своего рода литературная достопримечательность районного масштаба. А ещё у них была фотография митинга на заводской площади именно в день 9 мая 1945 года, сделанная и присланная когда-то мною же. Короче говоря, энтузиасты-музейщики разыскали через журнал адрес и послали мне свои альбомы и буклеты. В одном из них была помещена фотография М. Н. Петрова, главного инженера завода в годы войны. И письмо: в 2007 году, мол, исполняется 120 лет со дня рождения Вашего батюшки (именно такое словечко употребили краеведы, любители старины); мы бы, писалось, хотели бы организовать целый стенд, посвященный этой дате, — не пришлёте ли Вы для него что-нибудь? Разумеется, музей прежде всего интересуется оригиналами документов, фотографий, раритетов. Очень хотелось бы, уточняли, получить подробности ранней биографии М. Н. Петрова, нам почти неизвестной... Помнят, значит, вспомнили.

Господи, да, конечно, я выполню всё, что вы просите! Во-первых, исполняется не 120, а 110 лет со дня его рождения. Во-вторых... Есть, есть у меня подлинники документов. И тут я впервые задумался: что их дальше ждёт? Ну, лежат в дальнем ящике стола долго и без востребованности. Ну, полежат ещё у тебя, Серёжа, — до каких пор, кому понадобятся? А тут — музей, пусть провинциальный, но всё же профессиональное «хранилище вечности». И я отправил им большую бандероль: инженерный диплом, орденскую книжку, лично написанную автобиографию, справочку об аресте, оригиналы правительственных телеграмм от Маленкова, Кагановича, наркома Устинова, любительские, но оригинальные снимки и ещё кое-что. Всё в подлинниках, сняв для себя ксерокопии. Не Бог весть какие ценности, однако оригиналы. Пусть хранят.

Главное же... Понимаешь, человечество всегда билось над неразрешимым вопросом: зачем мы приходим на эту землю и что после нас — о нас! — останется на ней? Все мировые религии в том или ином виде обещают человеку бессмертие. В раю ли на небесах, в порядке ли реинкарнации-перевоплощения душ, под охраной ли несокрушимых каменных памятников и пирамид. Даже самые древние и примитивные язычники не случайно клали в погребение ушедшему в другой мир коня, оружие и посуду: дескать там понадобится.

Признаться, я по воспитанию и опыту жизни — «православный материалист» (так я перефразировал определение одного из выдающихся русских философов). То есть, не заложили во мне советские воспитатели твёрдой уверенности в бессмертии души на небесах. Не я такой один, вон даже поэт Есенин с горечью о том же восклицал, хотя и учился закону Божию.

А вот мудрейший старик Конфуций научил свой великий народ верить в бессмертие каждого — в памяти потомков. Его учение стало в Китае и официальной философией, и религией (что вообще мало отличимо) — культом предков. И живёт величайший народ с этой верой, процветает, несмотря на многочисленные осложнения и катастрофы в тысячелетней истории. А вдруг в этом и заключается, действительно, ответ на извечный вопрос?

Вот я и откликнулся на твой заказ, выполняя одновременно сыновний и отцовский долг, внёс свой посильный вклад в создание нашей семейной летописи.

Э-э, хо-хо, долги наши тяжкие...

1 июля 2007 г.
г. Красноярск

Нина ШЕЛАНОВА

ТЕТРАДЬ НИНЫ

(военные воспоминания)

Всякий бесхитростный рассказ очевидца — это Литература жизни. Очевидцев большой войны осталось уже очень мало. Пишущих очевидцев — единицы. Что они нам дают, эти люди? Скуповатые, почти протокольные записи, похожие на «контурные карты» прошедшего времени. Учебный материал для потомков. А кто же эти «контуры» прочитает? Когда? Как? Кто раскрасит и кто наведет, учась, правильные границы в непростом и постоянно меняющемся мире приоритетов? Прошлое неизменяемо и неотменимо. Оно — целиком состоявшееся, целиком законченное произведение бытия. Не поэтому ли воспоминания участников былого «читают» нас в большей степени, чем мы их? В этом легко убедиться, — искренне и открыто прикоснувшись к страшному нашему прошлому, которое в России со временем неизбежно становится высоким.

Лев РОДНОВ

Предисловие, написанное соавтором, ветераном Великой Отечественной Войны, мужем Борисом Шелановым

«Тетрадь Нины» — это часть книги «О жизни». Считаю: она готова для редактитрования и к опубликованию, поскольку её автор, Нина Григорьевна Шеланова, уже завершила работу над своими записями.

У этих записей своя собственная история. Работа над ними началась по инициативе писателя, военного историка Степана Парфёновича Зубарева. Он собирал материал об удмуртской поэтессе Ашальчи Оки (по жизни Векшина Лина Григорьевна), в том числе и об её участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в качестве военного врача Полевого Подвижного Госпиталя № 571 22-й Армии.

По архивным материалам Степан Парфёнович установил личности её коллег, однополчан, работников госпиталя, и обратился к ним с просьбой написать соответствующие воспоминания. Нина Григорьевна написала то, что в деталях хранила её память.

Записки о военном периоде Нина Григорьевна дополнила воспоминаниями о детстве, о своей семье, о мирной довоенной и послевоенной жизни.

Я, считая эти записи общественно значимыми, неоднократно предлагал Нине Григорьевне опубликовать их отдельной книгой. Это же советовали нам и наши друзья, и многие, кто так или иначе был знаком с её двумя «общими тетрадями», в которых, кстати, ещё далеко не полно рассказана история жизни сельской девочки, затем медицинской сестры районных больниц, участие её в Финской кампании (1940 г.), в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., судьба фронтовички в мирное время, участие в общественной жизни, работа в детских, медицинских учреждениях, воспитание детей, внуков.

По своей скромности, Нина Григорьевна не соглашалась со мной, говоря «при моей жизни я это делать не буду, а без меня делайте всё, что угодно».

Наконец, она решилась при жизни хотя бы подготовить воспоминания к печати, что я сейчас и делаю, являясь, по её же словам, соавтором этих тетрадей. Кстати, жанровая принадлежность — «мемуары» — не слишком ли громко для автора-медсестры? Послевоенный читатель привык за мемуарами видеть больших лиц, в основном военачальников... Наверное, более всего отвечает замыслу Нины Григорьевны и существу изложенного другое — «Записки фронтовой медицинской сестры» или более точно: «Записки хирургической медсестры Полевого Подвижного Хирургического Госпиталя Первой линии». Длинно, но очень точно. Воспоминаний с передовой такого рода просто не существует, насколько мне известно. В этом — уникальность текста.

Для более удобного восприятия написанного я разделил большой текст на более мелкие части, каждая из которых представляет собою рассказ о чём-то обособленном от других, являясь, одновременно каждый раз новым дополнение общего целого.

Ветеран Великой Отечественной войны,
Борис Шеланов. г.Ижевск, 2007 г.

"Человеком быть трудно. Стать человеком — большая работа»
Эдуардас Межелайтис

«...То, что сделано Советской медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется образцом мужества и самоотверженности»
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза И.Х.Баграмян

Посвящаю любимому мужу Борису Александровичу, помощнику и соавтору, с которым при написании «Тетради» мы вместе пережили моё детство, юность, страшные 1941-1945 гг. и около шестидесяти лет семейного счастья.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ...

Я родилась в селе Булай 2-го Февраля 1921 года. Но в паспорте указана дата 16 Декабря и год 1919-й. После окончания семи классов для поездки в город на учёбу надо было получать паспорт. Отец поехал в райцентр в бюро ЗАГС. Однако, там не оказалось никаких данных. Объяснили, что все документы сгорели. В общем, принёс отец из сельского Совета метрику вот с такими данными...

Село Булай Парсьгуртского сельсовета Нылгинского района Удмуртской АССР находится и поныне в семи километрах от Нылги по тракту в Можгу. Село на весёлом месте. С одной стороны большая гора, с другой — ровное поле до следующей деревни Павлово, с Запада — лес и поля. Лес подходит почти к деревне. Это наш конец, где мы живём. Между большой длинной улицей и слободой протекали две речки — Сухая Видзя и Парсьгуртка, которые в центре деревни соединялись в одно русло. Речка Сухая Видзя протекала в нашем конце, весной в разлив заливала наши огороды, и под окнами было большое море. Прокладывались переходы, где мы любили играть. С большой улицы переулок к церкви, начинающийся от «пожарки», образовывал площадь. Это излюбленное место всех игр и гуляний. Люди тут жили благожелательные (Дудыревы, Дубовцевы, Платуновы). Не запрещали сборища, а, наоборот, у двора устраивали лавки, где можно было сидеть. В воскресение после работы собиралось здесь всё село, нарядные, весёлые. Водили хороводы. Девушки, парни, молодые мужчины и женщины пели с большим настроением песни, пожилые сидели на лавках. Мы же, ребята, бегали около хороводов. Песня лилась по всему селу и дальше.

Село было с большим приходом, т.е. приходили в церковь люди из многих окружающих село деревень. Два раза в году в селе бывали базарные дни. На площади около церкви устраивались ларьки с товаром. Иные свой товар просто раскладывали около телеги на траву. Так было интересно смотреть на разноцветный материал, ленты, ярко разукрашенные гончарные изделия: горшочки, чашки, петушки. Большие груды лаптей — русских, удмуртских. Русские лапти глубокие, с мочальными верёвками, удмуртские — мелкие, узконосые, с яркими чисто шерстяными верёвками. Сколько же было поделок! Из бересты —лукошки, туески, бураки для воды, кваса, пестери, сплетённые из лыка, с крышкой, как рюкзак — вещевой мешок за плечами, с дном и боковыми стенками.

На площади, кроме церкви и школы, был маленький магазин. В нём покупали всё: спички, гвозди, ситец, пряники, хомуты, керосин. На большой улице по переулку от церкви располагалась пожарная часть с каланчой — две лошади с телегами и бочками.

В 1928 году началась коллективизация. Время было неспокойное, страшное. Сельчане разделились на лагеря: богатые, середняки и беднота. Бедные сразу же писали заявления о поступлении в колхоз, середняки думали и поглядывали на богатых, выжидали. Что будет, может, разговоры только, может, всё ещё вернется, если не царь, так помещики. Богатые мешали коллективизации. Ночи проходили в тревоге. Активистам страшно и опасно было ходить ночами по селу. Ворота и двери домов закрывались на запоры с раннего вечера. Началось раскулачивание, выселение кулацких элементов. Четыре «кулацких» дома братьев Иванцовых раскулачили. Семьи посадили на подводы и отправили в Нылгу, а оттуда в Сибирь. Сколько было частного хозинвентаря, мебели, носильных вещей, зерна, фуража — всё свозили в склад колхоза и распределяли по многодетным и бедным семьям. Мы, дети, бегали и на всё смотрели, нам было всё интересно и весело. Залезали на чердаки, сараи в подвалы кулацких домов...

Середняки присмирели. Кое-кто из дальновидных вступил в колхоз. Запомнился первый из председателей. Был праздник

«Вознесение». К нам, ещё по старому обычаю, в церковь приехали из Ломеслуда и Березека родственники. Все сидели за столом. Зашёл председатель сказать родителям о предстоящей работе на следующий день. Его пригласили за стол, предложили рюмку.

И вот он у меня в глазах. Стоит перед отцом и говорит: «Спасибо, водку не пью, я коммунист». Вот так сказал и ушёл... Все сидящие за столом ахнули, посмотрели на него с таким уважением и боязнью! За столом появилась неловкость.

Каждый, вступивший в колхоз, сдавал лошадь со всей упряжкой, зимней, летней, выездной. Обобществили всё: сани, кошевые, тарантасы, телеги, брички, сельскохозяйственный инвентарь, коров. Однажды по селу прошёл слух, что какую-то лошадь или корову «общественники» не накормили, что вообще плохо кормят. Такой поднялся переполох, шум, паника. Председателя колхоза в селе не было. Некоторые женщины из середняков с криком ринулись к скотному двору, за ними многие. Начали выводить своих коров, телят. Что было! Ужас. Мычание коров, ржание лошадей. Визг свиней, крики женщин. На следующий день приехали работники ГПУ и НКВД из района. Активисты собрали весь скот обратно, навели порядок. Саботажников забрали и отправили в Можгу. В селе стало тихо.

О РОДИТЕЛЯХ И О РОДНЕ

Бабушка (мать отца) Парасковья Владимировна Селиванова, вышедшая в село Булай из деревни Березек Вавожского района, вышла замуж за Михаила Филимоновича Иванцова (моего дедушку). Была она из семьи со средним достатком. Дедушка жил в отцовском доме вместе с братом Василием Филимоновичем. После смерти отца дедушка ушёл (на хутор) и построил свой дом (на селе и нас, девчонок, звали «хуторскими»). Жили бедно, так как старший брат дедушке в надел ничего не дал. Делились, похоже, не мирно. Рассказывают: брат Василий оторвал курице голову и тушку бросил брату Михаилу со словами — «вот тебе весь надел».

Бабушка была строгая, властная. Статная. Она вспоминала Гражданскую войну, что наше село переходило от красных к белым и обратно. Однажды белые пришли и ночевали в нашем доме. Вечером нагрянули красные, и бабушка все ружья белых сбросала в сени в подпол, и так белые убежали без оружия. Бабушка была физически здоровая, у неё до 70 лет сохранились длинные волосы и все зубы, шила без очков. К больным людям относилась с пренебрежением. В детстве, бывало, скажешь, что болит голова, она не приласкает, а тут же скажет: «Иди ложись, это три дня до смерти». Иной раз не хочется есть или аппетит плохой, откажешься от еды, а она опять скажет: « Ну, ничего, завтра поешь, Господь накормит». Но, по-своему, она нас любила и, если случалось наказывать, то только полотенцем. Любила ходить в церковь, как она говорила, «сдавать грехи», хотя не успевала зайти в дом, как ругала ритуальных служителей за тот или иной раскрывшийся обман. Как я помню, хозяйство вела бабушка почти до самой войны.

Отец, Григорий Михайлович, родился 1 декабря 1897 г. в селе Булай. Жили бедно, занимались крестьянством. Взяли в жёны отцу Ефросинью Васильевну Орехову из деревни Ломеслуд Больше-Учинского района из зажиточной, богобоязненной семьи (мою мать). Семья у них была большая. Отец Василий Гурьянович, мать Анастасия Ивановна (дожила до 86 лет, умерла от старости) Она в 40 лет ослепла — соперница на свадьбе выжгла глаза толчёным стеклом с золой. Землю обрабатывали сами, в наём не ходили, и сами не нанимали. Ни отца, ни мать не спросили о согласии пожениться, хотя у отца была девушка, которую он любил всю жизнь, а маму надо было выдать быстро, чтобы она не «загораживала дорогу» женихам для сестёр, идущих по возрасту за ней. Так было раньше принято. Жили мать с отцом хорошо, не ссорились, но было видно, что любви друг к другу нет.

Нас родилось четыре дочери: Катерина, Анна, Анфиса и я — Нина. Отцу надо было хотя бы одного сына, а мы рождались одна за другой, всё дочери. Он обвинял мать. Когда отец узнал, что родилась я, девочка, он сказал, чтобы меня выбросили на мороз в метель. Сам с горя запряг лошадей уехал в Удмуртскую деревню Сухую Видзю и там кутил неделю.

Отец, я уже говорила, был единственным ребёнком, и, хотя жили в бедности, всё равно его баловали. Всё было для него. Женившись, гулял. Ушёл на фронт, воевал в Гражданскую за революцию, был в конной. Очень гордился, что воевал в конной, и ему посчастливилось видеться с Климентом Ефремовичем Ворошиловым (это два легендарных героя — Будённый и Ворошилов). Рассказывал, что Ворошилов ел у них на привале кашу и что в котелке обнаружили осколок.

До коллективизации родители вели своё небольшое хозяйство, обрабатывали землю, сеяли хлеб, убирали, зимой ездил под извоз. На своих двоих лошадях отец перевозил водку в санях из Сарапула в Ижевск и Елабугу. На сани накладывалось мягкое сено и рядами 3-х литровые бутыли водки, потом слой сена и опять ряд бутылей (без всяких корзин

и ящиков), и опять слой сена, и так — рядов пять. Ехали — подвод 10-15. На первой лошади отец, на вторых санях — Катерина, а, чтобы она не упала на раскатах, папа на возу делал углубление, надевал на неё добротный, с толстым мехом тулуп, усаживал её в это углубление и привязывал верёвками, иногда она засыпала, ведь ей было только 12 лет.

На обратном пути из Елабуги у нас останавливались товарищи отца с подводами ночевать. Тогда отец устраивал концерт. За стол усаживали Катерину, Нюру, Фису и меня — петь песни. Пели старинные, русские, сибирские песни. Сёстры были песенницы, пели красиво, пели долго, пока гости не уставали слушать. Часто подпевали все. Я же слова не всегда успевала выговаривать, поэтому выводила только мелодию (выучила эти песни тогда и сейчас все помню). После концерта сёстрам дарили подарки: чашки чайные, серёжки, бусы, ленты, ну, и мне конфеты.

В колхоз отец с матерью вступили одними из первых, оба были активистами. Между родителями моей матери (Ореховыми) и моими родителями произошла размолвка, — посчитали отца антихристом. Как ни переживала мама этот разрыв, но с отцом моим была согласна. Возмущалась непониманием и несогласием своих родителей. Связь была прекращена.

Отец очень любил лошадей. Как он ухаживал за ними!

Кормили бабушка, мама, Катерина. Сам же он чистил, мыл, гладил и очень строго следил за всей сбруей. Любил кататься по селу зимой. Посадит нас всех в кошовку — и в поле по целинному снегу; вывернет нас всех в снег — смеху на всё поле! Как я помню, отец всегда ходил в кожанке — дань гражданской войне, а, может быть, и в память о работе на заводе с механизмами. В колхозе только он работал с машинами. Любил сам ремонтировать.

Привели первый трактор. Что было! Народ сошёл с ума! Ашихмин Андрей и отец на тракторе, а народ от мала до велика бегут с криком за ними, некоторые крестятся. Вышли все в поле проводить первую борозду.

Мать, Орехова Ефросиния Васильевна, родилась 20 июля 1894 г. в деревне Ломеслуд. Была симпатичная, с тёмными волосами и глазами. Очень скромная. В 27 лет заболела (порок сердца). Трудно сходилась с людьми, но если понравится ей человек, она его никогда не подведёт. Не любила уличные пересуды. Не любила служителей церкви. Особенно после одного случая. Как-то, в тяжёлую для неё минуту, пошла в церковь посоветоваться со священником, вернее — исповедаться. Когда они остались вдвоём, священник облапил её. Было не до исповеди. В церковь она больше не ходила. Когда к нам в дом приходили попы, она пряталась и не выходила на свет, пока они не уйдут. Ну, и попадало же ей от бабушки!

По распоряжению отца, Фиса и я должны были уехать и получить образование.

Зимой учились. Это была главная обязанность, а летом на нас возлагались обязанности по хозяйству. Родители уходили в поле в 5 утра и приходили в 10 часов вечера. Мы с Фисой должны были наносить воды, полить и прополоть грядки, подмести избу, вечером встретить скотину, корову, тёлку, овец, и как, бывало, не придёт какая то овца, то приходилось бегать по всем проулкам, спрашивать по домам, не прибилась ли наша. В субботу выколачивали половики, мыли полы в избе, в амбаре, где мы с бабушкой спали. С весны до осени подметали во дворе и на улице, чистили песком на реке самовар, поднос, разное. Страшно надоедливая была работа оберегать цыплят с курицей от коршуна. В воскресение — выходной: разрешалось утром поспать. Бабушка с мамой обычно делали вкусную стряпню. С заданием мы справлялись. Для всех детей деревни это было обычное дело. Оставалось время и для игр.

Я росла очень бойкой. Сколько помню, без конца могла придумывать всякие проказы. Но удивительно, меня за это никто не наказывал. Была заводилой, если что, могла и подраться, даже мальчишки меня побаивались. Соберу, бывало, их штаны на берегу пруда и не выпускаю из воды, пока не посинеют, или самой не надоест, а иногда до слёз доходило. Проказничали в церкви, в Пасху. Во всенощную было много прихожан из соседних деревень. После службы и до утрени некоторые ложились спать прямо на пол в служебных помещениях. Мы же подкрадывались к ним, связывали лапотные веревки от двух-трёх человек, связывали нагрудные полотенца, убегали на улицу и что-нибудь кричали им. Как только первый встанет, а второй дёрнет его, тот падает тут же.

ШКОЛА

В перемены вместе с учителями играли в подвижные игры, ручейки, водили хороводы, пели революционные песни: «Там, вдали, за рекой загорались огни...», «Наш паровоз, вперёд лети. В коммуне остановка...», «Замучен тяжёлой неволей...» и другие. В школе тоже не могла усидеть, решала задачки отстающим. Позднее уже доказывала теоремы по геометрии, но за это мне отдавали жевательную еловую серу, лепёшки, приготовленные из овсяной муки с жареными конопляными семечками, а если кто жмётся, я могла и просто отобрать. В то же время было много подружек. В Кыйлуде был случай. Нас, пионеров, послали разбирать сарай. Мы взяли и подпилили стойки, конечно, крыша рухнула, все успели выскочить, кроме одного, который побежал в дальний угол. И погиб. Его мать потеряла разум. Потом, когда мы шли в школу или из школы, она бежала за нами и кричала: «Пи-о-не- ры...». И так каждый раз, пока её не увезли в больницу.

После окончания школы меня направили работать в Можгу. Родители были рады и горды, что я получила среднее медицинское образование. К медикам в то время относились уважительно. Бывало, идёшь по улице — встречные здороваются, мужчины снимают шапки, а мне-то всего 18 лет.

Мой участок был от станционного переулка за железной дорогой до питомника и военного городка и от ул. Комсомольской до ул. Можгинской. Это большая территория. Вообще, на весь город было четыре патронажных медсестры. Казалось, и жизнь, и работа наладились, но всё омрачалось разговорами о скорой войне.

ФИНСКАЯ КАМПАНИЯ

> *«Что такое была жизнь солдата на войне? Из чего она состояла? Мы помним, с чего начали войну, и помним, где её кончили. Это все знают. А вот чего это стоило солдату? Какой ни с чем не сравнимый труд лёг на его плечи по дороге к победе?»*
> *К.Симонов*

В конце 1939 года меня направили в РВК для работы в призывной комиссии. Таким образом, мы, медсёстры, жили заботами этой войны и были готовы принять в ней более активное участие

22 января 1940 г. я с сестрой Зоей (она получила повестку) пошла в РВК с просьбой взять меня в Армию. Мне сразу же дали повестку для оформления расчёта. Я сбегала домой за вещами, вернулась. В военкомате нам дали лошадь, и мы, несколько человек, ездили по домам администрации, поднимали их с постелей, оформляли расчётные документы, получали трудовые книжки. У меня в трудовой книжке запись об этом увольнении 30 лет была без печати, так как её не успели той ночью найти и поставить...

Хотя я своей маме и показала повестку о призыве, но она не поверила в мобилизацию и материнским сердцем поняла, что я пошла в армию добровольно.

Ночью сидели в военкомате — ждали. Песни петь не разрешалось, так как был траур по В.И.Ленину. Обстановка была тягостная. Я в каком-то кабинете села на пол, с кого-то сняла шапку, взяла зеркало и начала гадать: куда мы поедем, и что с нами будет? Каждому «гадала» в будущем счастье, благополучно вернуться домой к родным и семье. Подошла молодёжь, загалдели — от смеха не удержаться. Пошли к военкому и говорят:

«Разрешите песни петь. Всё равно вон Иванцова гаданием занялась — все хохочут». И правда, военком смотрит, у многих глаза горят от смеха, хотя и сдерживаются. Военком увидел, что настроение у многих изменилось, повеселели, не стали себя хоронить. Разрешил петь, но только тихо.

В эту же ночь нас посадили в товарные вагоны. Куда нас везли, мы не знали. В Агрызах к нашему составу прицепили ещё несколько вагонов с народом. Были пьяные, спорили. Мы, девчонки, забились в один угол. Привезли в г. Сарапул, где сформировали эвакогоспиталь № 1735. Начальником госпиталя был назначен Николай Фёдорович Рупасов, комиссаром старший политрук Данилов. Жили мы на казарменном положении. Госпиталь развернули в школе. Я работала палатной медсестрой, но когда были перевязки наших больных — переходила в перевязочную. Раненые поступали к нам уже обработанные, т.е. оперированные. Иногда были собственные операции, но в основном — долечивали. Много раненых было после обморожения. Им делали общие тёплые ванны, а потом обширные массажи, после которых у медсестёр после смены в казарме не сжимались пальцы рук.

После заключения мира с Финляндией 12 марта 1940 г. мы долечивали раненых до мая месяца. Потом госпиталь расформировали. За хорошую работу по уходу за ранеными уже на следующем месте работы (Можга, горбольница) я получила денежное вознаграждение — 400 рублей от Минздрава СССР.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

«Блажен, кто посетил, сей мир в его минуты роковые!»
Ф.Тютчев

«...А мы прошли по этой жизни просто в подкованных пудовых сапогах».
С.Орлов

«Женщины — без них бы ни солдаты, ни полководцы, никто бы не выиграл такую войну, как эта».
К.Симонов

Летом 1940 года к нам в хирургическую палату было разовое большое поступление раненых, пострадавших во время железнодорожной аварии. Персонал работал, не выходя из больницы, без сна и отдыха. Вспоминаю этот эпизод, как репетицию, прелюдию перед работой на фронтах большой войны.

Начало и дорога на фронт.

22 июня 1941 года в воскресение в Можге проводился праздник «Сабантуй». Я, по распоряжению главврача Феофилактова А.Д., с санитарной сумкой на боку дежурила в Парке культуры и отдыха. В 12 часов дня передали по радио речь В.М.Молотова о бомбардировках советских городов, о начале войны. Стихло веселье, все озабоченно слушают. Кое-кто плачет. Аттракционы продолжают работать, но постепенно пустеет парк. Люди разошлись. Я пришла домой часов в 10 вечера, на окне лежала повестка.

23-го пришла в больницу, получила расчёт. Больница осиротела. Остались лишь пожилые врачи, да студенты 4-го курса, проходившие у нас практику.

24-го прошли медкомиссию в РВК, получили инструктаж, что брать с собой, и — городских отпустили домой до 3-х часов 25-го.

25-го июня нас провожало население города. Громадная колонна мобилизованных г. Можги и Можгинского района под оркестр прошла по центральным улицам (Коммунальной, Можгинской, Казанской) к железнодорожному вокзалу. Провожающие заполнили тротуары, стояли около домов, многие плакали. Меня провожали отец и мама. Мама очень плакала, она уже тогда была больна.

Погрузились в товарные вагоны, поехали в знакомый по Финской кампании Сарапул. В Сарапуле нас разместили в одной из школ. Срочно формировали медицинские соединения — от ППМ до госпиталей.

26-го июня было построение, на котором каждая отдельная команда получала номера. Наша — получила номер военной части: Хирургический Полевой Подвижной Госпиталь № 571. Начальником госпиталя назначен Малых из Воткинска, начальником 1-го отделения Б.Н. Мультановский, он же ведущий хирург госпиталя, начальником 2-го отделения Соколов П.П.

Б.Н.Мультановский провёл расстановку кадров: старшими сёстрами поставлены Киреева, Блинова Лиза, Мантурова Граня, Захваткина Тося; врачами: Векшина Л.Г., Исакова Г.А., Королёва Е., Киреев, Ворончихина А.И., Исакова Г.А.; сёстрами: Калетина Алефтина, Якимовских В., Былёва З., Соковикова Н., Мельникова З. и я, Иванцова Н.; санитарами — Гимадеев, Шашов, Суслов, Викулов. Создались партийная и комсомольская организации.

Началась упорная интенсивная учёба, строевая и медицинская. Муштровали здорово. В Сарапуле глиняные горы, после дождя всё развезло. Таскали носилки с «ранеными» по грязи. После себя не узнавали. Первые дни было очень неудобно на каблуках. Мы их поотрубали топором. На следующий день идём в строю, а подошвы: хлюп, хлюп... Получили обмундирование, вроде всё по размеру, а сапоги 38-й да 40-й.

Все время с нами занимался ведущий хирург госпиталя Мультановский. В городе уйма эвакуированных. На площади перед зданием горисполкома стоят, сидят толпы народа из западных районов страны, с детьми, семьями без вещей, без продуктов. Многие в дороге потеряли близких. Меня всё это страшно потрясло.

Чувствуем, что нас скоро отправят на фронт. Я продала все вещи, которые брала с собой (платья). Купила сахару, пряников, конфет, чтобы по пути на станции Сюгинской передать маме.

10 июля выехали на фронт. Перед станциями запрещали открывать вагонные двери. Но перед Можгой мы зашумели, требуя открыть — открыли.

В 22 часа проезжали Можгу, а там уже знают — ждут. На перроне толпа народа. Не выходя из вагона, я высунулась по пояс в окно да как закричу: «Мама! Мама!» И тут же услышала её голос. Встретились, Я отдала ей гостинцы, она всё плакала, гладила меня по голове. Чувствовала, наверное, что видимся в последний раз... Эшелон стоял недолго. Распрощались, и мы поехали на фронт. Я маму больше не видела, она умерла 16 сентября 1943 года, а в октябре умерла бабушка.

По дороге на фронт с нами тоже проводили занятия. Калетина и я не знали, что по приезде на фронт нас назначат старшими хирургическими сёстрами, мы-то числились рядовыми сёстрами.

В пути мы видели следы вражеских бомбардировок. Были попытки бомбёжек нашего эшелона, но нам везло, хотя эшелон был чисто военный, без знаков Красного Креста, в составе 8-10 госпиталей в товарных вагонах личный состав, на платформах оборудование, автомобильный, гужевой транспорт.

В пути по железной дороге на Великие Луки Калининской области нам сказали, что впереди в лесу немецкий десант. Быстрая высадка из вагонов —и на машины. Следовавший перед нами эшелон с кавалерийской частью (формировался в Шолье) был подвергнут бомбардировке и пулемётному обстрелу.

Остановились в лесу, пролетает наш самолёт, посыпает нас песком — значит, видно нас, плохо замаскировались. Ночью стоим часовыми, темно, ничего не видно, слышны взрывы, канонада. Я стою и спрашиваю тихо: «Тина, ты стоишь?» — она отвечает — «Стой, стой, Нина, я здесь» — мне легче. Под деревьями лежат пуховые перины, подушки, одеяла, ящики, ещё какие-то тряпки. Никто их не трогает. Куда? Зачем они?

Едем в направлении г. Ржев. Пробираемся очень медленно, так как по всей дороге идут, едут беженцы. Всюду крики, плач. То и дело налетают вражеские самолёты. При налёте кубарем катимся с машин в рожь, кто не успел — упал в кювет; голова сама — не удержишь — втягивается в плечи. Встаём возбуждённые, смущаемся друг друга. Самолёт, вероятно, возвращался без бомб, только обстрелял из пулемёта.

Добрались до Ржева. В нём не развёртывались, разместились в школе, на полу в классах легли спать. У меня очередной приступ аппендицита (два были в Можге). Меня уложили на перине в какой то сад, где я впервые увидела садовую землянику. Хотелось поесть, но боялась. Затем увезли в горбольницу.

Всю ночь враг бомбил город Лежачих больных уносили на носилках в подвал, ходячие уходили сами. Так прошла ночь. Врачей нет. Меня смотрел врач-студент, сказал, что «будет решать со мной» утром. Спустилась в гардероб, взяла свои вещи, оделась и пошла искать школу, своих. Иду по улице, на дорогах кирпичи, доски, стёкла, пыль, дым и в таком хаосе слышу своё имя. Смотрю, на дороге стоит полуторка, и из кабины высунулась голова хирурга-можгинца из госпиталя 569, из нашего эшелона, М.Д. Назарова. Счастливая случайная встреча. От него я узнала, что все госпитали уже уехали. Назаров взял меня с собой на станцию Старая Торопа. Приехала, увидела своих, обрадовалась, а они говорят, что за мной уже послали почтальона.

Калининский фронт

В Старой Торопе я стала свидетелем расстрела изменника. Нас строем привели к месту, где уже собрался личный состав нескольких госпиталей и воинских частей. Генерал из военного трибунала (я впервые тогда увидела человека в форме с лампасами) зачитал приговор, сущность которого я не запомнила, но врезались в память слова «за измену Родине приговорить к расстрелу». Осуждённый — молодой солдат — после приговора падал на колени, просил прощения, плакал. Его подвели к уже выкопанной яме и расстреляли. На нас очень подействовал этот случай. Трудно даже описать наше состояние...

Через несколько дней, 29 июля, прибыли в город Торопец, Калининский фронт. Перегружаясь на машины, следуя по городу, планируем, как будем развёртываться, как приступим к приёму раненых. Город горит, кругом дым. Подъезжаем к месту назначения — к школе, а там полон двор раненых, в коридорах, классах раненые сидят, лежат. Кругом стон, брань, возмущение: «Где вы были?!» Оказывается, это бойцы, выходившие из окружения. Их направили к месту расположения госпиталя, когда мы были ещё в пути. Раненых, больных, истощенных было более 200 человек. В этот же день с ППМ и поля боя приняли ещё около 300 человек. И вот началось, приняли, называется, раненых. Чему учились, как, что развёртывать в первую очередь, кто, что начнёт делать —всё, казалось, полетело к чёрту!

Но на деле все делали, что надо и как надо. Стали маскировать окна, старшие сёстры пошли считать «по головам» для организации кормления. Врачи стали сортировать раненых. Кого в операционную, кого в перевязочную или в эвакуацию.

Б.Н.Мультановский срочно делает перестановку кадров. Алевтину К. и меня назначает старшими операционными сёстрами. И сразу первое задание — развернуть операционную на три стола и перевязочную на 12 (в физкультурном зале). Нужно было приступать к обработке и операциям. Вот тут мы почувствовали по-настоящему войну, всю ответственность.

Приступили к работе. Первую операцию на фронте я запомнила на всю жизнь. Борис Николаевич просит подать инструмент, называет его, я подаю и до боли сжимаю зубы. Всё надо запомнить, что вижу, запомнить названия инструментов (хотя по мирной жизни кое–что знала), запомнить ход операции, а тут ещё непредвиденное. Прибежал санитар (по мирной профессии сапожник из Сарапула) и говорит, что льёт в автоклав воду, а её не видно. Оказывается он лил воду прямо на мешки с перевязочным материалом. Мы чуть не зарыдали. Я в операционной у стола, Алевтина следит за стерилизацией инструмента и перевязочного материала. Через некоторое время меняемся. Это и было отдыхом. Никто не уходил, пока от усталости не падали или не засыпали прямо на месте работы, стоя. В перевязочной работали сёстры Былёва, Якимовских. Врачи занялись операциями, перевязками. Слышно: кому-то плохо — нашатырный спирт, вода, и снова к столу. К операционным столам встали сразу же врачи Исакова Г.А., Векшина Л.Г., Соколов П.П. Смешались день и ночь, их определяли только тогда, когда санитары откроют окно (уберут светомаскировку), появится дневной свет, и в операционной гасятся светильники — плошки с салом и фитилём.

В такой горячей нервозной обстановке ведущий хирург Б.Н. Мультановский своим спокойствием и личной выдержкой создавал деловую атмосферу. В ходе работы давал врачам, особенно не специалистам в хирургии, деловые советы.

3 августа 1941 г. над станцией Торопец пролетели два вражеских бомбардировщика. В это время на станцию прибыл эшелон с боеприпасами. Спустя 2 часа, госпитали, находящиеся в городе, погрузили раненых в эшелон для эвакуации в тыл (около 3-х тысяч человек). Эшелоны не успели уйти со станции, как налетели вражеские самолеты, и началась бомбёжка. Сёстры, санитары с носилками, шофера с машинами кинулись спасать людей. Бежим к станции, к составу, а там рвутся бомбы, всё летит в воздух, вагоны, цистерны взлетали высоко в небо и в воздухе взрывались. Вокруг железнодорожного полотна на большой площади всё горит. Видишь, лежит раненый с шиной Крамера, или гипсовой повязкой на ноге, хватаешь его под руку на плечо, тащишь его подальше от огня и снова в огонь, в дым, в вагоны. Вытаскиваешь раненых. На носилках, на себе. Куда тащить, определить невозможно. Подальше от огня, на чистое место, к машине, — а немецкие самолёты на бреющем полёте поливают всё это наше движение пулемётным огнём. Кто сколько вынес раненых, не считали. Госпиталь снова забили, и вновь двое суток никто из врачей, медсестёр не присели передохнуть. После этой бомбёжки мы потеряли медицинскую сестру Анну Глущенко. Я её хорошо знала. Мы вместе работали медсёстрами в госпитале в Финскую. Так вот, когда побежали спасать раненых, она подбежала к начальнику Малых (Воткинский терапевт), спросила его, где взять носилки, а он взбесился: «Ах, ты не знаешь где взять носилки?» — и за наган. Хорошо, стоял рядом с ним комиссар Цинман. Он был сердечный человек, так вот он успел схватить его за руку. Когда всё это прошло, Анны уже нигде не было. В минуту передышки мы на её постели обнаружили записку: «Я ушла на передовую, — или голова в кустах или грудь в крестах». Переживали её потерю здорово. Она была воспитанницей Сарапульского детдома.

Ведущий хирург Б.Н.Мультановский в первый же месяц произвёл 150 операций. В августе в нашем госпитале получили хирургическую помощь 3485 раненых.

В небольшое затишье в госпитале — построение. Командование объявило благодарность всем участвовавшим в работе на станции.

Одному бойцу, тяжело раненному в брюшную полость, требовалось немедленное переливание крови. У всех работников кровь уже была взята, консервированной ещё не поступало, и Б.Н.Мультановский приказал взять у него 500 мл. крови, после чего продолжал

оперировать этого раненого и ещё пошутил при этом: «Легче стало работать». Раненый выжил и через несколько дней был отправлен в тыл.

Это был первый случай переливания крови от хирурга прямо у стола. Позднее в госпитале организовали донорство среди медперсонала.

Продолжали работать. Раненых полно, работаем в том же «режиме», не думая о сне и еде, Вдруг из полевого эвакопункта №9 связной привозит приказ о срочной передислокации. Оказывается, в связи с отступлением наших войск, все госпитали из Торопца уехали, а нам всё ещё не было приказа.

Начали эвакуировать раненых. С трудом нашли машины, поймали идущий с передовой за боеприпасами порожняк, погрузили сидячих по 8 человек в машину, ходячих — колонной в сопровождении медсестры, лежачих нетранспортабельных на машинах госпиталя отправили в г. Андреаполь. Мы с Калетиной А. и двумя перевязочными сёстрами, Валей и Зоей, должны были сложить все инструменты в упаковки в ящики, бельё, биксы, автоклав. Всё погрузить в машину. Вообще, каждое отделение знало свою автомашину, а каждый шофёр знал, кому и куда подавать машину. От линии фронта находимся в 4-х километрах, за считанные часы свернули госпиталь, снялись, поехали. В лесу под Андреаполем остановились. Постояли несколько дней. Здесь впервые увидели немецкие листовки с призывом сдаваться, с обещанием всяких благ. Получили приказ двигаться.

В сентябре 1941 г. мы развернули госпиталь в селе Селижарово Калининской области. Самое тяжёлое время — 1941-1942 годы. Враг под Москвой. Работаем с противогазами на боку (газовые атаки не исключались). Наш Калининский фронт в отступлении. Много раненых, ещё больше, чем в Торопце. так как. поступали со всех сторон: из медикосанитарного батальона, из полковых медицинских пунктов соседних армий, без медицинских карточек передового района. Раненые поступали без профиля, т.е. со всевозможными ранениями: в живот, грудь, голову, конечности — все вместе. Стоишь у стола с инструментами. На один стол хирургу подаёшь инструменты для операции на кишечнике или желудке, на другой стол хирург просит инструмент для резекции, рассечения рёбер. Так же в перевязочной: обрабатываешь раненых в живот, и тут же на других столах ампутируют конечности, на третьих перевязывают голову и т.д. Стол с инструментами накрываем длиной 3 метра. Сколько раз приходилось, стоя у стола, засыпать — вздрогнешь, придёшь в себя. Как только не падали... Приёмо-сортировочное отделение загружено полностью. Если начальник сортировки начинает отказывать в приёме раненых, шофёр (обычно раненых привозили шофера, ехавшие порожняком с передовых), тут же угрожает, что выгрузит раненых прямо на землю и уедет. Их тоже надо понять — машины-то с передовой, идут за боеприпасами, а специальных санитарных машин не было.

В Селижарово в глубокую осень часто стояли в лесу. Одна из наших девчонок, не помню теперь, кто, стояла часовым. Старшина был молодой, после ранения, из передовой части, говорит: «Пойду, напугаю». Пошёл, хотя его начальник предупреждал. Залез в кусты и начал рычать. Часовой услышала и: «Стой! Кто идёт?» А он всё равно идёт. В темноте и рычит. Она сделала выстрел в воздух, второй — в него. Надо же, пуля попала прямо ему в рот. Конечно, наповал. Расследование признало действия часового правильными. Старшину похоронили. Плакали все. Горе было великое.

В декабре 1941 года госпиталь стоял в городе Кувшиново. Обстановка была попрежнему тяжёлой. Однажды фашистские лётчики сбросили листовки, предупредили, чтобы медицинские учреждения вывесили белые полотнища с красными крестами. Мы это сделали. А потом, что началось! Прилетели 30 самолётов, колотили Кувшиново, и гражданское население, и госпитали. Мы это полотнище сорвали.

Вновь большое поступление раненых и гражданского населения. Крови не хватало, хотя к этому времени снабжение консервированной кровью было уже налажено. Брали у всех работников, не соблюдая интервалов между взятиями.

Однажды вечером у меня начался приступ аппендицита. На этот раз меня тут же прооперировали, и на 7-8 день я вновь стояла у операционного стола. В Кувшиново 5 декабря 1941 года на торжественном собрании были объявлены благодарности от командования, в том числе и мне.

Помню, я сдала кровь пожилому солдату, хлеборобу с Украины. У него ампутировали ногу, и он очень переживал. Зашла я к нему на другой день, села около него, спрашиваю, как он себя чувствует. Он улыбается и говорит: «От, дочка, живём не горуем, хлеба не купуем, а вот дивчат таких любуем». Запомнилась эта фраза тем, с каким теплом, по-отечески, она была сказана. Журнал доноров мы не сохранили, и сколько я сдала крови — не помню.

Из других мест Калининского фронта, в которых развёртывался наш госпиталь, запомнилась деревня Машкино. По дороге в Машкино останавливались в крупном железнодорожном узле Пено. Здесь местные жители нам рассказали, что фашисты повесили партизанку Лизу Чайкину. Мы ходили смотреть этот столб-перекладину с обрывками верёвки — виселицу. Как это было тяжело! Позднее, из армейских и других газет, мы узнали о подвиге Чайкиной подробнее. А что нас ждало впереди? На протяжении всей дороги от Кувшиново видим одни торчащие от земли трубы, разрушенные избы. Остатки бывших деревень.

Приехали в Машкино. Жителей никого. Ходим по домам, и многим из нас сделалось плохо. В каждом доме лежали раненые вповалку. Где на соломе, где на голом полу. Среди живых лежали и мёртвые. Стали сортировать. Живые были настолько истощены, завшивлены, многих было трудно отличить от мёртвых. Вынесли около 200 трупов в сарай, хоронить не было времени, надо было спасать живых. При санитарной обработке всю одежду разрезали, т.к. не было ничего видно — такая была завшивленность. Любому из этих раненых можно было делать операцию без наркоза.

Враг нас бомбил здорово. В один день сбросил на наш госпиталь 15 бомб. Одна из них разорвалась недалеко от операционной (в домишке), во время операции. Вылетели окна, двери. Никто из персонала не ушёл, не прекратил работу. Б.Н. Мультановский передвинул стол к окну, закрыл окно спиной, старшая операционная сестра Калетина, врач Векшина Л.Г., прикрыв раненого собой с другой стороны, продолжали ассистировать. Во время этой бомбёжки прямым попаданием был разрушен сарай, где находились трупы. В результате, после бомбёжки собирали останки и с большим горем всё это захоронили в братской могиле.

Деревня стояла по большаку, в одну длинную улицу. Немецкие лётчики гонялись за каждым идущим человеком, забрасывали людей гранатами или обрезками металлических рельсов, обстреливали из пулемётов.

На нашем фронте стали появляться первые гвардейские части. В январе 1942 года я от Б.Н.Мультановского получила приказ открыть палату для гвардейцев и командиров. Взяла медсестру Соковикову Надю и санитара Климова, пошла в пятистенный дом и одну половину заняла под палату. Ночью они приняли двух раненых из 10-го Гвардейского полка: бойца-гвардейца и капитана. Утром из перевязочной я зашла к ним. Капитан был очень тяжёлый, попросил морсу. Я написала требование и послала Климова на склад. Над деревней летел самолёт, за деревней он сделал заход и начал сбрасывать бомбы. У нас вырвало крышу, потолок и две стены. Мы с Надей схватили носилки и раненых, поставили их на пол к русской печке и сами легли на раненых. Лежим на открытой площадке. Самолёт пролетает на бреющем полёте, строчит из пулемёта, за деревней делает разворот и опять бросает бомбы. В средней части дома жила хозяйка, в крайней половине жили сапёры — 13 человек из сапёрной части, стоявшей в этой же деревне. Всё рухнуло, слышим с Надей стоны, мольбы о помощи, их всех завалило крышей, стенами, потолком, брёвнами, но нам пошевелиться было нельзя. И таким образом немец держал нас до 12-ти дня. В той половине уже было тихо. У нас на косяке двери болтается кружка Эсмарха, стеклянная, не разбилась, удивительно, да наши шинели в дырах от осколков. Смотрим, бегут к нам все, первым начальник госпиталя Иванов (маленький, ростом сантиметров 145, не больше), его к нам назначили в Торопце. Как увидел нас живыми, самые ласковые слова начал нам говорить. Раненых перенесли в другую палату. В избах-палатах сорваны крыши, выбиты стёкла окон, двери. Начали всё заделывать, укрывать одеялами, брезентом. На следующий день приехал в госпиталь командир 10-го Гвардейского полка полковник Гришин (фамилию запомнила, так как для нас такой случай был первым). Мне и Наде Соковиковой перед строем объявил благодарность от командования полка. Пошла в палату проведать обоих спасённых. Капитан меня подозвал, попросил, чтобы я из его вещмешка достала фотокарточку жены и сына и положила ему на грудь. Я ничего не

подозревала, всё сделала, как он просил. Тогда он попросил наклониться к нему, обнял меня руками за плечи, громко выдохнул и тут же умер.

Пока стояли в Машкино, я не могла проходить мимо дома, откуда послала санитара Климова за морсом, он погиб, как только вышел из сеней. Очень было жаль, у него дома осталось 5 человек детей. Погибли и сапёры.

Вот так вся война. Мы не стреляли, не были снайперами, но всё время наши руки были в крови, в гное, наши пальцы, ох, как часто, закрывали глаза солдат навсегда. Мы постоянно боролись со смертью.

Разбило вещевой склад, раскидало по снегу вещи, бельё, автомашину шофёра Толи Пастухова (из Ижевска) всю разбило, он стал подвозить раненых на лошади, на перевязку, в палаты. Потом он машину восстановил и дошёл с ней до Берлина. Госпиталя в Машкино стало не хватать. Второе отделение занимает соседнюю деревню — Галаново. Я, по приказу начальника, т.е. ведущего хирурга, развёртывала операционную и перевязочную в домиках. Начальник Соколов П.П., ординатор Исакова Г.А., в перевязочную дали Новикову Марусю. Если Соколов был крикливый, дёргал людей, то Исакова уравновешенная, спокойная и уважительная. Она нас поддерживала. Трудность была в том, что всё приготовленное в Галаново, — перевязочный материал, халаты, простыни, биксы для стерилизации, — надо было носить в Машкино, так как автоклав был там. Растворы для перевязок в палаты — всё носили или возили на санках из аптеки тоже из Машкино. Здесь мы стояли всю зиму и по май 1942 года.

Меня назначают старшей сестрой госпиталя. Как я ни доказывала ведущему хирургу Б. Н. Мультановскому и начальнику госпиталя Иванову свой «самоотвод», — они были непреклонны. Начальник госпиталя сказал, что я бойкая и на эту должность подхожу. Всё хозяйство операционной и перевязочной передала, скрепя сердце, Новиковой.

1942 год, осень, дожди. Деревня Чёрная Грязь (действительно, сплошная, до колен, грязь), не далеко от железнодорожной станции Селижарово, где развернулся наш госпиталь. Фашистские самолёты летят бомбить Селижарово. На обратном пути попадает и нам. Мы теперь уже грамотные, с работой справляемся, стали говорить о профиле и локализации ранений.

Если в первый год войны легко раненые иногда проскакивали в тыл, то теперь их направляем в профилированный госпиталь для легко раненых в пределах армии. Здесь наш госпиталь уже профилированный. Принимаем раненых в грудную клетку и конечности. Работаю старшей сестрой и одновременно мне начальник 2-го отделения поручил палату нетранспортабельных раненых с ранением в грудную клетку. Это очень тяжёлые ранения. Задыхаются, с большим трудом делают вдох... выдох... У некоторых при дыхании свист и шум, как из кузнечного меха.

Во время передислокации госпиталя в одной из деревень встретились с кавалерийским корпусом. Как обычно, в момент затишья, устроили танцы, и мы познакомились с их фельдшером, который рассказал казус со снабжением. К ним завезли ящики с санитарного склада с суднами и утками для раненых. У нас же в госпитале не было ни того, ни другого, палатные сёстры страшно мучались. Конечно, стали выпрашивать. Ребята говорят: отдадим при условии, если кто-либо из вас пройдёт по селу с судном и уткой в руках. Какие они были глупцы! Что для нас— утка или судно? Это то, что для них, сабля или сбруя. Я вызвалась, взяла судно и утку и спокойно пошла. Они хохотали, а я думала только об одном — какое богатство получу, а их-то может, вообще, больше не увижу. Слово они сдержали. Ящики были перевезены в госпиталь на машине. Но в придачу нам ещё дали новые, из чёрного, коричневого и синего сатина, попоны. Мы, девчонки, всю ночь не спали, шили для себя юбки. Белья женского не было, мы носили мужское бельё — нательные рубашки и кальсоны. Обычно нам выдавали трикотажные —голубые, сиреневые, поэтому кальсоны одновременно были и вместо чулок. Летом в жаркую погоду, когда госпиталь работал, носили мужские носки из посылок и госпитальные тапочки, но за это иногда делали замечания, т.к. вольность считалась нарушением формы. Зимой выдавали дополнительно фланелевое мужское бельё и ватные брюки для переездов. Утром надели юбочки и нарядные поехали по назначению. Узнал обо всём комиссар, сразу же собрал комсомольское собрание. Ну, тут было! Начал своё выступление так: «Ну, ладно, простительна выдумка Иванцовой, хоть за выходку получила необходимые вещи. А

за что они вам подарили попоны? За что, я спрашиваю? Ни за что подарки не дарят!» И всё в таком роде. А потом, как отрубил: «Собрать все юбки, всё, что пошили, сжечь на моих глазах». Так и было сделано.

У меня был случай, связанный с подготовкой первого в жизни доклада. Хотя я имела среднее образование, но это было специальное, а общее-то — 7 классов! Да ещё сельской школы! Дали мне поручение — сделать доклад на комсомольском собрании, что-то о нашей Родине, о её могуществе. Комиссар дал брошюрку. Я её прочитала. А когда начала составлять конспект, то переписала всю брошюру. Не понравилось! Начала снова, (всё разорвала) и опять целую тетрадь исписала. И так просидела до утра. Когда пришла на комсомольское собрание, дали мне слово, я встала и думаю, сейчас начну своими словами. Сказала с десяток слов и завершила: «Всё». Тогда поднялся батальонный комиссар Гриненко из ГОПЭПА (он как раз был в нашем госпитале) и буквально разнёс меня — о лености, о безответственности к поручению говорил. Я сжалась в комок. Тогда встал наш комиссар Цинман и сказал: «Она готовилась очень серьёзно, я, — говорит,— несколько раз проходил ночью по деревне и видел, она всё сидела, писала, а сколько было порвано исписанной бумаги! Она мучилась и старалась. Я, товарищ батальонный комиссар, прошу Вас поверить». Тут все комсомольцы от обиды начали меня жалеть. Я сижу, наклонилась, слёзы падают на колени, каждая слезинка была такая тяжёлая!

Январь 1943 года, деревня Быково, Калининский фронт. Я теперь — старшая сестра 1-го отделения. Полностью отвечаю за сохранность всего имущества: одеял, белья, посуды, носилок, градусников, ножниц, шприцев... Несмотря на войну, всё это строго учитывалось, и за недостачу удерживалось в административном порядке по законам военного времени, то есть в двенадцати с половиной кратном размере. Штрафы!

На эвакуацию отводилось не более часа, так как машины, бывало, подходили сразу колонной по 10-15 машин. Машины попутные, идущие с передовой за боеприпасами. Шофера спешат, да и маскировку нельзя нарушать, поэтому как только идут машины, я уже кричу первому, второму шофёру, к какой палате (дом или палатка) подъезжать, а там носильщики — санитары, шофера наши, совместители, выносят, выводят раненых. Я успеваю каждому раненому, отъезжающему, выдать сухой паёк — 100гр. водки, 200 гр. хлеба, 30 гр. колбасы, 10 гр. махорки. Эвакуация проходит обязательно под контролем врачей Исаковой Галины Александровны (до войны —ассистент кафедры пат. анатомии ИМИ), Векшиной Лиины Григорьевны (окулист Алнашской больницы, первая поэтесса в Удмуртии), Королёвой Евгении Петровны (врач участковой больницы, с.Ува). Они ещё раз проверяют состояние повязок визуально. Часто приезжают одни и те же колонны, и поэтому шофера уже знают, кто быстрее проводит эвакуацию, так что — они в это отделение и едут.

Я часто во время эвакуации получала от начальника госпиталя выговоры за «захват» машин, а я их не захватывала, а делала «секрет», о котором никому не говорила. Эвакуация шла своим чередом, то есть до мелочей всё было отработано: машины стоят у палат, а я действительно забирала шоферов, толкала их в какую-нибудь баньку, где у нас всё уже было готово для обогрева. Говорила старшему санитару, он-то всё и готовил. Как только идёт колонна — для них уже кипяток, хлеб, иногда и по 100 гр. водки. Машины погружены, и шофера сыты хоть как-то. Потом, после военного «аврала», меня за быструю эвакуацию начальник госпиталя благодарит и снимает выговор. Вот так, часто за одну и ту же эвакуацию я получала и выговор, и благодарность.

Здесь, в Быково, на Калининском фронте Приказом командующего 22-й Армии мне было присвоено первое офицерское воинское звание — младший лейтенант медицинской службы. До этого мы с Калетиной Алевтиной выполняли обязанности старших сестёр (офицерская должность), но числились рядовыми сёстрами, состояли на солдатском довольствии в пайке и зарплате. Полтора года тяжёлой войны.

Брянский фронт. Лебедянь.

Примерно в конце февраля 1943 года госпиталь перебросили в 3-ю Армию. Госпиталь находился в резерве, в городе Лебедяни. Это уже Брянский фронт. Здесь была учёба. Проходили армейские конференции врачей, сестёр, смотр художественной самодеятельности, на котором наш госпиталь получил приз — баян.

Но резерв — не значит, что только учёба, конференции и смотры. Основная работа была — подготовка госпиталя, материальной части, медицинского оборудования и всего, что пригодится в последующих боях и операциях. Мы перестирали все одеяла, брезент, носилки и т.д. Перевозили всё это на машинах на Дон, где руками, щётками, мочалками отмывали кровь, грязь — следы работы на Калининском фронте.

Галунь.

В мае 1943 года госпиталь приехал в деревню Галунь на Орловское направление 63-й Армии. В деревне было решено развернуть госпиталь, занять животноводческие фермы. Их нам пришлось расчищать от навоза, который скапливался, наверное, лет 5-7 до войны. Навоз так спрессовался, что невозможно было набрать слои ни вилами, ни лопатой. Ладони были в кровавых мозолях, но за несколько часов мы всё вычистили и, как обычно, стены побелили, украсили ветками, построили нары, покрыли соломой и застелили портяночным материалом. Население не могло поверить, что мы за день вычистили и носилками вытаскали весь навоз, который был толщиной метра полтора. Удивительно, как животные туда заходили. Было очень много крыс. Бомбоубежище тоже почистили, всё лишнее убирали. Для борьбы с крысами приготовили отраву.

Как только начались бои, мы сразу же начали принимать раненых большими партиями, и в первые же сутки приняли более 500 человек.

Поэтому Б.Н.Мультановский взял меня, и мы пошли подбирать ещё помещения. Хорошо, что заранее сделали уборку в бомбоубежище, его сразу стали заполнять. Развернули ДПМ — палатки (дивизионные палатки медицинские), и несколько дней приходилось раненых временно устраивать на носилки под открытым небом. Страшно боялись за судьбу тяжелораненых, которые находились без сознания.

Крысы. Первая ночь, часов в 12, темно, всё стихло, только слышно где-то единичные орудийные раскаты. Вдруг ко мне прибегает медсестра из палаты (коровник) для нетранспортабельных, зовёт меня скорее к себе, говорит, что около коровника кто-то перебегает. Мы взяли старшего санитара и побежали. Подходим, ничего не видно, но перебежки слышны. Зашли, я осветила пространство фонариком, и мы пришли в ужас. Крысы, величиной с кошку, лежали на раненных и грызли повязки. Раненные молчали, т.к. были тяжелейшие, без сознания, с ранениями в череп, а у многих ещё и множественные ранения. Мы кричим, а крысы ни с места. Тогда мы взяли костыли, начали их сбрасывать и бить, а они кидаются. Прибежали начальник госпиталя Борщ, ведущий хирург Борис Николаевич с прожектором. Только тогда крысы попрятались.

Работы много с ранеными, а ещё больше — с крысами. И всё-таки, когда мы начали повторно травить их стрихнином с продуктами, они лавиной ушли к реке. Шофёр Толя Пастухов (ижевчанин, со дня демобилизации и до ухода на пенсию был шофёром первого секретаря Обкома КПСС) пошёл к машине (она стояла на другом берегу реки), вдруг видит — «мостик» не на том месте, а это, оказывается, лавина крыс переправляется на противоположный берег...

Самая тяжелейшая операция — Орловско-Курская дуга (мы в Галуни). Масса раненых. Более 3-х тысяч человек поступило в наш госпиталь. Дни стояли очень жаркие. Страшно много было нетранспортабельных и с осложнениями на газовую гангрену. Палатные сёстры, санитары валились с ног. У меня постоянно был список экстренных раненых, для эвакуации их самолётом.

Эвакуация самолётом никогда не забудется! Самолёт садится, а у нас раненые уже готовы, эвакуация проходила в считанные минуты. Тут всё рассчитано и учтено до мелочей, Лётчики — народ нетерпеливый, да и шофера из попутных колонн тоже были как угорелые. Но всё было отработано: эвакуация проходила чётко. Я и здесь (так же, как и с автомашинами) пользовалась своим «секретом».

Взяли Орёл, радости нет конца. Ожидаем передислокацию госпиталя. Вдруг прилетает самолёт от комитета Обороны (ГКО) и забирает начальника группы ОРМУ, капитана Сиделёву. Растерянность была страшная и у нас, и у начальства госпиталя. Сиделёва улетела. Долго мы ещё гадали, что да как. Через месяц пришло от неё письмо. Она написала, что находится дома, в Киевском военном округе, работает в госпитале, в Киеве. Меня, говорит, доченьки демобилизовали. Они, оказывается, написали письмо Сталину. Где писали так: «Дорогой дедушка Сталин, Киев

взят, скоро осень, мы не сможем пойти в школу. У нас нет одежды, обуви, учебников и портфеля. У нас с сестрёнкой погиб папа на фронте, разбомбило бабушку в квартире. Дорогой дедушка Сталин, наша мама тоже на фронте, мы очень боимся, как бы она не погибла. Гитлера разобьёте, пожалуйста, дедушка Сталин, пошлите маму домой». И вот так Раиса Сиделёва оказалась в Киеве, а мы после письма были рады и плакали счастливыми слезами.

С 1943 года стали работать по взаимосвязи. А именно: когда находились в свёрнутом состоянии, личный состав, врачи, сёстры при необходимости уезжали оказывать помощь соседнему госпиталю, и наоборот, когда мы захлёбывались, к нам приезжали коллеги из соседних госпиталей. Это значительно облегчало работу. Работали посменно, что улучшало качество обслуживания раненых.

В августе 1943 года госпиталь работал в селе Ломовое (Брянский фронт). Группа работников госпиталя и ОРМУ получили правительственные награды. Мне была вручена медаль « За боевые заслуги». Всего было награждено 13 человек.

В октябре 1943 года начальник госпиталя Борщ взял меня, медицинских сестёр Панкову, Захваткину, санитаров Ивана Ивановича, Лаптева в санитарную разведку. Приехали в город Стародуб, осмотрели двухэтажное здание около церкви. В церкви горело зерно. Население рассказало, что перед приходом нашей армии немцы во дворе церкви вырыли котлован и закопали живыми евреев, русских.

Борщ приказал мне очистить здание. Мы за ночь всё вымыли, построили нары. На первом этаже для приёмо-сортировочного отделения, на втором — для палат. За ночь всё сделали. Утром приехал госпиталь. Мы были готовы к приёму раненых.

20 октября 1943 года я получила письмо от отца, он сообщил, что 16 сентября умерла моя мама, ей всего было 46 лет. Как я переживала! Врачи и сёстры меня окружили лаской и вниманием. А я отчетливо вспомнила, как я себя чувствовала 16 6ентября, у меня болела душа, с утра без причины плакала, пела песни о маме и опять плакала, так, что даже рассердила Бориса Николаевича...

16 сентября! Госпиталь готовили к передислокации. Остановка — Брянский лес. Начальник отделения вызвал меня, а я — в слезах. Он натянуто сказал: «Поезжай с первыми машинами, может, успокоишься, хотя причину не знаю». Как будто я знала! Я поехала со своим отделенческим имуществом, в кабине с Князевым Сеней. Сижу, пою и плачу. Князев обещает высадить меня. Много позже я узнала причину моих слёз — смерть мамы. Вот что значит мама, родная кровь. Как не поверить в предчувствия!

Много читали. Собирали литературу, вырезали из газет интересные статьи и рассказы И.Эренбурга, Б.Полевого, К.Симонова и других и оформляли из них книжки. На титульных листах вверху писали фамилию автора, в центре листа — название, а внизу фамилию комсомолки, оформившей книжечку. Бегали в соседние части к радиоприёмникам, записывали сводки Совинформбюро, размножали их от руки, обычно это делалось ночами, а потом читали в палатах раненым. Писали письма от имени раненых родным. Первыми выходили зимой расчищать дорогу от госпиталя до большаков, магистралей (а это иногда было по 3-4 километра).

Выступали в художественной самодеятельности, пели, танцевали, ставили художественные монтажи, скетчи (высмеивали Гитлера, Геббельса. Геринга). В Бобруйске давали концерт для населения. Сарай был клубом. Поставили скамейки. Когда мы запели «Землянку», в зале стояла тишина. Потом я пела «Спит деревушка, где-то старушка ждёт не дождётся сынка...» — вижу, все стоят, один старичок, ближе к сцене, горько плачет, многие вытирают глаза. Потом мы пели частушки — про Гитлера, танцевали, но в зале так никто больше не садился...

Меня переводят работать в госпиталь 570.

К нам приехала бригада известного профессора Сергея Сергеевича Юдина. Как сейчас помню, вижу — вошёл в операционную палатку. Как раз на одном из столов заканчивалась операция (лапаратализ) на животе. С.С. моет руки, потом подошёл ко мне, к столу, я подала ватный шарик со спиртом. Хирург, не теряя времени, рассказывает ход операции, что за чем подавать и как. Сказал, между прочим, что повторять не любит. Заметил ведро с водой у стола, спросил, что это? Я сказала, что работающая бригада только что сдала кровь и постоянно ощущает жажду. Он

тут же предложил при необходимости взять кровь у его бригады. Юдинцы остались, а нас всех на два часа отправили спать.

Небрежность и трагические последствия.

В июне 1944 года в боях по окружению и уничтожению Бобруйской группировки немцев наши войска пошли в наступление. У всех приподнятое настроение, и как-то все небрежно стали относиться к маскировке. И вот, в одной из деревень, куда мы были направлены для развёртывания, мы жестоко поплатились за демаскировку. Налетели стервятники и начали бомбить и обстреливать. А получилось так, что мы приехали и не забросали свои машины ветками, так же сделала и воинская часть. Сначала прилетела «рама» (разведка), а потом, минут через 30-40 началось! У нас получила ранение медсестра Наташа Осипова (москвичка). С оборванными ногами она ползёт по улице и кричит, а выбежать к ней, как и к другим пострадавшим солдатам нельзя. Самолёты не дают — кружат над деревней, а мы, как на тарелке. Затем оказали ей и другим первую помощь. А операцию делать нет никакой возможности, т.к. все имущество в свернутом состоянии и ещё на машинах. Очень быстро у бедняжки началась газовая гангрена, хотя и сделали ампутацию ног. Вечером в перевязочную прибежала палатная сестра, кричит: «С Наташей плохо!» Принесли её в газовую перевязочную, сняли повязку, мышцы выпирают, кожа натянута до блеска, криптация до тазобедренного сустава... Сделали высокую ампутацию, но спасти быстроногую нашу девушку уже не смогли.

Тяжело было смотреть всю войну на смерти, но ещё тяжелее терять своих, из госпиталя. Ведь мы за войну так сблизились, были роднее родных.

Мне и второй старшей операционной сестре часто приходилось выполнять врачебные функции: самостоятельно брали у донора и переливали раненым кровь, отсасывали гематоракс из плевральной полости грудной клетки, промывали мочевой пузырь, при срочности делали инъекцию прямо в сердце, т.к. врачи, не отходя от стола, делали одну операцию за другой.

Как-то я пошла в аптеку и зашла в палату нетранспортабельных, проконтролировать, как палатная сестра справляется с капельницами, так как их назначили очень многим. Вижу, один раненый уж очень бледный, обратила на него внимание, подошла, на полу увидела кровь. Быстро с медсестрой притащили его в перевязочную, разбинтовали. Когда ведущий хирург посмотрел, прозондировал, рану рассёк, то обнаружил осколок, который до поры до времени лежал спокойно, а потом пробуровил стенку кровеносного сосуда. Этот раненый на очередных перевязках назвал меня «мама-сестра».

Много в ту боевую операцию солдат мы оставили лежать в братских могилах. На этом же кладбище в одной из братских могил оставили и Наташу. А дальше была Польша.

ПОЛЬША, ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ, БЕРЛИН

Опишу, как мы и наша армия готовились к маршу за границу. Пересмотрено было всё обмундирование, и у кого было неприличное —заменили, заменили также и обувь. Нам, офицерам, выдали габардиновые платья защитного цвета, красиво пошитые береты, чулки. Поляки, особенно наши эмигранты, встретили нас насторожённо, а вот поляки средней руки и те, что победнее, хорошо. Девушки завидовали нам, рассматривали нашу форму и оказывали нам помощь, приносили воду, мыли полы.

Где-то осенью 1944 года мы развернули госпиталь в г. Острув-Мозовецкий (Польша). Операционную развернули в большом новом светлом доме, который предоставил пан. Стены обили простынями.

Много было нетранспортабельных раненых. Снимаешь с машины носилки с раненым, видишь, лежит — лицо землистое, рядом на носилках вперемежку с землёй и травой лежат кишки, у раненого открыта брюшина, а там видны органы: желудок, селезёнка. Скорее на стол! И сколько расторопности нужно хирургу, ординаторам, нам двоим — операционным сёстрам — наркоз, противошоковые, сердечные, переливание крови, струйное промывание большим количеством тёплого физиологического раствора брюшины и всех органов. Хирург убирает травмированные части, где надо подшивает, складывает всё в брюшину, мы, сёстры, перевязываем и отправляем раненого в шоковую палату, под капельницу. Зайдёшь в палату, а медсестра без перерыва капает лекарства в вену 12-ти и более раненым.

Кириллова Мария Капитоновна — парторг и начальник аптеки госпиталя. Она до войны и после заведовала аптекой в г. Можге. Какая это женщина! Культурная, образованная, обходительная! Она меня встретила, когда я к ним в госпиталь переехала, и сразу же взяла меня жить к себе в аптеку, окружила заботой и вниманием. Я на всю жизнь осталась благодарна. Да! Парторгом она была с большой буквы, какие беседы она с нами проводила, таких людей забывать нельзя, от таких набираешься жизненного опыта, но и они от ошибок не застрахованы. Всё время она нам говорила, что если её сын Боренька попадёт в плен, то она ещё посмотрит на их взаимоотношения и простит ли ещё. И вот! Уже после войны, когда мы работали в госпитале в Могилёве, ей пришло письмо из дома, что в Можгу домой из плена вернулся её сын Боря. Что было! Плачет и ни слова о плене, побежала с рапортом к начальнику госпиталя и — на побывку домой. Повезла гостинцев, что могла. А как приехала из дома сколько было рассказов о Бореньке, и всю дальнейшую жизнь она прожила с заботой о сыне. Что ж, мать!

Как-то в Острув-Мозувецкое для оказания помощи приехали два врача, хирурги. Договорились о количестве необходимого медицинского персонала, вышли из палатки для возвращения к себе, сели на мотоцикл, тронулись и... взлетели на воздух. Кто-то подложил мину. Было и такое. Один из врачей погиб сразу же, а второго спасали более суток.

Немецкая земля.

Январь, 1945 год, едем по немецкой земле, Восточная Пруссия. Население не показывается. По несколько дней стоим — не развёртываемся.

Дань обстановке: на меня пришлась никем официально не возложенная обязанность — сохранять в операционной и перевязочной трофеи раненых. Трофеев было много: оружие, пистолеты, наганы, кинжалы, часы карманные, наручные (десятками), кольца, зажигалки разных фасонов и конструкций. Санитаров у нас тогда уже не было, всех взяли в передовые части, поэтому мне помогали легкораненые. Об оружии я сразу докладывала замполиту, да это же самое делалось и в приёмо-сортировочном отделении. Замполит после беседы с владельцем решал вопрос в каждом случае индивидуально, так как много было наградных вещей — личное оружие.

В связи с трофеями и произошёл неприятный случай. В перевязочной положили раненого на стол, открыли рану, а он вдруг и говорит: «Товарищ старшая сестра, у меня нет золотых часов, меня, — говорит, — санитар (слово-то какое: са-ни-тар!) кормил, я ему показывал часы, и вот их нет». Я тут же бегом в сортировку, говорят, что санитар на санпропускнике, а пропускник был в этом же здании на первом этаже. Я — туда, вызвала его в коридор, а он высокий, верзила, и спрашиваю спокойно так (а сама кое-как сдерживаюсь): «Ты, Толя, смотрел часы у раненого и забыл ему вернуть», а он: «Не знаю, товарищ старшая сестра, отдать ли Вам, нет-ли? Ну, да ладно». А сам руку в карман так вальяжно опустил, вытащил солдатскую пропажу из кармана и отдал мне часы. И как только я на руке почувствовала металл, развернулась и смазала ему по лицу, а сама бегом в перевязочную — отдала часы раненому. И бегом, бегом к начальнику госпиталя и замполиту... Стою перед ними навытяжку, бледная, чеканю каждое слово: «Разрешите доложить о происшествии: сейчас я в коридоре санпропускника избила санитара из легко раненых за кражу часов у другого раненого». Они смотрят друг на друга, на меня. Потом пошли со мной, взяли ведущего хирурга, стали искать санитара, а его и след простыл. Так и не нашли. Наверное, убежал на передовую. Мне за это ничего не было, хоть и поступила не по уставу. А вот вору было бы серьёзное наказание.

За ликвидацию немецкой группировки юго-восточнее Берлина всему личному составу госпиталя, в том числе и мне, объявлена благодарность Сталина (приказ № 357 от 02.05. 1945 г.).

Наш госпиталь переводится на первый Белорусский фронт. При ликвидации немецкой группировки юго-восточнее Берлина ХППГ-570 развернулся в городе Эркнер (12, 15 км. от Берлина). Госпиталь занял бараки бывшего лагеря для военнопленных. Раненых принимали, в основном, с ранениями конечностей. Всего не более 200 человек. Здесь каждая смерть нами оплакивалась: победа перед глазами, а смерть от нашего подворья не уходит...

Бесконечно трагично закончилось наше знакомство с одним военнослужащим.

Первый раз он поступил в госпиталь 570 лейтенантом (я ещё не работала в этом госпитале), потом поступил с ранением, капитаном, а в Эркнере — уже майором. Мы с трудом его узнали, уточнили лишь по документам из его нагрудного кармана. Бывало, поступит и кричит: «Девочки, скоро ли свадьба будет?! Кто за меня пойдёт? Какие новости?» Знал коллектив госпиталя почти всех поимённо, а тут — без сознания... Множественное осколочное ранение. Спасали, делали всё возможное и невозможное. Ведущий хирург делал открытый прямой массаж сердца, нет... умер! Командование госпиталя договорилось с соседней воинской частью: положили его на лафет, привезли к братским могилам, отдельную для него могилу застелили коврами, гроб поставили на ковёр и похоронили со всеми воинскими почестями.

Да. Пережили мы, медики, много — всю войну, 4 года борьбы со смертью. Но терять наших солдат в конце войны, и, тем более после Победы, было сверх сил.

Берлин, Победа.

В один из свободных дней едем смотреть логово Гитлера. На улицах, по направлению к Рейхстагу, нашу машину почти на руках несут. Это освобождённые военнопленные из концлагерей, из подневолья немецких баронов. Здесь все национальности: русские, украинцы, белорусы, итальянцы, французы, чехи, венгры, евреи, узбеки... Все они на улицах. Со всех сторон крики приветствия, на всех языках возгласы «Сталин!», «Сталин, Победа!»

Кое-как добрались до Рейхстага. Всё разбито, местами очаги огня, дым. Наши солдаты выводят тысячи военнопленных-немцев, потерявших весь лоск (выглядят, как общипанные, вытасканные кошки). Спускались в бункер Гитлера. Там та же картина, ещё выносят трупы фашистов. Тяжёлое впечатление осталось от затопленного метро. Нашим случайным гидом оказался немец, профессор-окулист, говорил по-русски, и он рассказал, что в метро затоплено 1500 немцев, детей, женщин, солдат-немцев. Всё равно — сердце сжалось. Он рассказал, что метро затопили по приказу Гитлера, который боялся, что по метро наши солдаты доберутся до Рейхстага. Гитлер знал, что под землей находятся его же раненые солдаты, его «надежда на покорение всей Европы», дети, женщины. И всё равно были открыты шлюзы, и всё затопили.

Триумфальные Бранденбургские ворота, от них недалеко по улице массивное здание — Рейхстаг. Всё разбито, ветер носит бумаги, гарь. Недалеко от этого места находилось святилище нацизма — рейхсканцелярия. Огромный дом, со множеством колонн и львов. В саду большой куб из бетона с массивной дверью в бункер, где провёл последние дни Гитлер. Коридор и комнаты. В каждую — массивные, раздвигающиеся двери, я увидела это впервые. Мы спускались туда, вентиляция не работает, воздух тяжёлый, под ногами осколки, скользко. В кабинетах всё разбросано, бутылки, остатки пищи, Особенно там, где последние дни были бои, выносят трупы фашистов. Недалеко от бункера, в парке, видели яму, где были сожжены Гитлер со своей любовницей — Евой Браун. В парке подошли к старинному монументу победы над Францией. По винтовой лестнице забрались наверх. Посмотрели панораму всего разрушенного Берлина.

Все мы расписались на стене Рейхстага. Мест уже не было, поэтому друг друга подсаживали и всё-таки писали свои фамилии.

Продолжаем работать, долечиваем раненых, поступления уже были единичные. Хотя и побывали уже в логове врага, и ждали конца войны с часу на час, радость 9 Мая была безмерной. Утром с улицы услышали крики «Капитуляция!», «Победа!» «Полная капитуляция!» «Победа!». Выстрелы, стрельба из автоматов, но уже не страшно! Все высыпали во двор. Мужчины быстро из тёса соорудили во дворе под соснами, праздничный стол для персонала с ранеными. К лежачим вышли с поздравлениями начальник госпиталя с замполитом, ведущий хирург, врачи сёстры. Плакали, смеялись, обнимались. Нашёлся фотограф. Фотографировались, писали письма. Но всё равно долго праздновать не пришлось — в палатах раненые. Персонал продолжал работу. Такова судьба медиков: при любой обстановке, в любую погоду, в любое время главное — лечение больного, оказание помощи нуждающимся.

После победы. Брест-Литовск.

До июня 1945 года госпиталь стоял в Эркнере, затем передали раненых другим госпиталям и поехали на Дальний Восток. Воспринимаем это несерьёзно, всё равно в душе у каждого царило ликование. Остановка в Бресте (Брест-Литовск), выскочили из вагонов, целуем землю — наша, родная! Здесь всё

госпитальное имущество из всего эшелона перетаскивали в другой состав, с другими, то есть советскими вагонами, — на Западе железнодорожная линия уже и вагоны уже. В Бресте на станции стояли около трёх суток. Здесь же остановились эшелоны (с французами, итальянцами), идущие на Запад. Устроили танцы, пляску. Танцевали целыми днями до позднего вечера, пели песни — каждый на своём языке. Очень уважительные были болгары, чехи, поляки. Все радостные, клянёмся, что больше не будет войны, будем друг другу братьями. Как они были благодарны нашему правительству, постоянно у всех на устах слово «Сталин»! Очень ругали своих правителей. Мы не понимали их языка, они нашего, но было единое, радостное сознание, что пришёл мир.

Как-то вызывает меня начальник госпиталя. Это была женщина с дочерью, ей самой лет 36-38, дочери — 16. Она приняла госпиталь временно после гибели Агеева в Мельзаке и говорит: «Ну-ка, оденься цыганкой и пройди по эшелону, только в вагоны никуда не заходи. И вот дойдёшь до такого вагона, там начальнику госпиталя (тоже женщина) скажи при гадании то-то и то-то». Приказала нашим солдатам в дороге меня охранять незаметно, чтобы меня не дёргали и не приставали. Помню, оделась я очень нарядно, барахла было в вагонах много, красную розу в волосы прикрепили. Вот я пошла. Как увидели «цыганку» — ликованию не было границ: вот уж, действительно, кончилась война! Мне гадать тоже было легко, попадала в цель. Вижу, пожилой солдат весёлый, значит, он не из Западных районов, — желаю ему счастья, говорю, что его очень ждёт жена и т.д. Если молодой, да ещё офицер, ему говорю, что ждёт его руководящая должность, потому что знала: офицеру не захочется идти в слесари или конюхом. Дошла до заветного вагона, и там всё-таки пришлось подняться в вагон. Всем девчонкам погадала и начальнику тоже, а как за больное задела, она за наган и кричит «за-стре-лю!». А кто-то с верхних нар: «Товарищ начальник, а это же медсестра из соседнего госпиталя». Я скорее бежать, все вокруг приняли меня серьёзно и поэтому портить настроение людям, разочаровывать их я не стала, и разделась только в вагоне начальника госпиталя.

Едем дальше. В Минске на железнодорожной станции стояли несколько суток. Решается вопрос: куда нас?

Могилёв. Пришёл приказ развернуться в Могилёве по профилю лечения больных военнослужащих с кожно-венерическими заболеваниями. Приехали в Могилёв, развернулись в бывшем военном (довоенном) госпитале. За городом, в каком-то городке. Деревянные одноэтажные здания. Первый вечер отпустили в город на танцы. Нарядились, начистились, (военные платья погладили, сапоги вычистили до лакировки), пришли в клуб одна другой стройнее. Начались танцы. Военных ребят полно, и что же? Заиграла музыка, они, как по команде, все пригласили гражданских девушек. Нас — ни-ко-го! Мы танцуем друг с другом. А Мария Капитоновна, начальник аптеки, наш парторг, стоит, переживает. Кончился танец — она в гущу ребят и начала им выговаривать, стыдить: «Ах, вон как вы посмели моих девочек (а ей тогда уже было лет 46) унизить, да это же те, кто тонул в ваших крови, гное, моче! Да вы посмели оскорбить тех, кто из-за вас не спал сутками, голодал, все тяготы войны делил вместе с вами...» — и всё в таком роде. Мы ещё потанцевали, музыка нас завлекала, и всё равно было весело.

И — опять работа. Приняли больных со свежим заражением сифилисом, гонореей. В первую очередь, строго узнавался источник заразы: кто заразил, когда, где? Рассказывали откровенно, и сами же помогали, так как надо было некоторым домой, некоторым на учёбу, а тут — такой «сюрприз»! Но что ещё интересней, потом, когда мы ходили на танцы, эти же ребята нас приглашали нарасхват, как только заиграет музыка. Сняли с себя сразу же и завесу отчуждения, и уважение появилось. Кое-кто в охранники навязывался, но мы уже были непреклонны.

Что правда, то правда... Даже во время войны иногда приходилось чувствовать к себе пренебрежение. Как-то с Алевтиной в перерыве между перевязками пошли в санпропускник стирать бинты (их не выбрасывали, перевязочный материал экономили). Стираем. Зашёл молодой офицер, лейтенант, разделся, начал мыться — нас будто нет. Сколько он мылся, не помню, вдруг нам говорит: «Эй, потрите-ка мне спину». Помыли его, — кисть у одной руки перевязана, даже не поблагодарил. Мы всё постирали, вернулись в предперевязочную, сняли «халаты» (одну нательную мужскую рубашку разрывали спереди и

надевали задом наперёд, а другой подвязывались, как фартуком, т.к. халатов не хватало). Заходит вдруг наш лейтенант... Он как увидел, что мы тоже лейтенанты — всполошился. Поделом! Мы рассказали ведущему хирургу, как он нас просил помыть его, как разделся и перед нами голый ходил. Ну, и дали же ему! Парень начал прощения просить, говорить, мол, думал, мы прачки.

Да... Война — не для женского пола. А сколько после войны пережить пришлось! Считали в обществе почти позором, что девушка была на фронте, значит, она плохого поведения, — осуждали нас, да и наших избранников, говорили им: «Что ты, не мог другую взять в жёны? Взял фронтовичку!»

В Могилёве, в августе 1945 года, за боевые действия в Восточной Пруссии нам пришли медали — «За взятие Кенигсберга», и в связи с окончанием войны — «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ. ДОМ.

В январе 1946 года госпиталь был расформирован, и мы демобилизованы. Прощались тепло друг с другом. Я поехала домой и очень переживала, так как после смерти мамы отец продал дом, хозяйство и ушёл в другую семью.

Приехала в родную Можгу 12 января 1946 года. Выхожу из вагона, и ноги сами поворачивают на Станционный переулок — в опустевший дом, откуда меня мама провожала на фронт... Подруга кричит вдогонку: «Если что не так, приходи жить ко мне сразу же!» Опомнилась, пошла в противоположную сторону. Вышла на площадь (сейчас на этом месте красивейший детский парк). Бегу по тропинке, а навстречу — мужчина. Отбежали друг от друга метров на 10 и встали, как вкопанные, повернулись, — это был отец.

Встретились. Много говорили о маме.

Я вышла замуж за Шеланова Бориса Александровича, перешла на его фамилию. Мы вырастили двух сыновей, есть внуки, внучки и правнук Борислав.

г. Ижевск

ДиН *память*

Борис ЧИЧИБАБИН

***

**Ночью черниговской с гор араратских,
шёрсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.**

**Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золочёной известкой.
Меч навострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.**

**Еле касаясь камений Синая,
тёмного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.**

**Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется.**

**Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обречённо и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.**

**Смертынька ждет их на выжженных пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник
бражник и плужник по имени Лёха.**

**Пусть же вершится весёлое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.**

**Бог — Вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.**

**Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.**

Александр ГАЛЬКЕВИЧ

«ВЫХОД СИЛОЙ[1]»

Моя искренняя благодарность за помощь в написании этой книги сотруднице Хойницкого реабилитационного наркологического центра Веронике Аверьяновой, врачу-психиатру Барановичского психоневрологического диспансера Софье Алексеевне Немкевич и старшему преподавателю учебного центра МВД республики Беларусь подполковнику милиции Михаилу Ивановичу Мыньке.

А.Галькевич

ОТ АВТОРА

Первоначально эта книга называлась «Спортотерапия» (по аналогии с названием одного из методов лечения в наркологии — трудотерапии) с ремаркой к ней — «вместо диссертации». Но после того как сотрудники издательства «МАКБЕЛ», одобрив в целом текст романа, забраковали его название, я, уважая их компетентное мнение и профессиональный подход к этому вопросу, изменил название книги. Но суть её осталась прежней — это не чисто художественное произведение, это моя, писателя и врача, попытка осмыслить одну из самых коварных и жестоких человеческих трагедий — наркоманию, и подсказать власть имущим в нашей стране один из способов борьбы с ней, который я увидел сквозь призму своего писательского и человеческого (в том числе, врачебного) опыта. И я буду счастлив, если эта книга окажется для кого-нибудь не только интересной, но и полезной.

ГЛАВА 1

Коля Завьялов лежал в постели в своей комнате и с напряжённым ожиданием прислушивался к доносившимся из-за двери звукам. Десять минут назад его разбудила мать — собираться в школу, — но, как всегда, вылезать из теплой постели ужасно не хотелось. Коля уговаривал, убеждал, заставлял себя сделать это каждую минуту. Но минута проходила, а он назначал себе следующую — с самыми горячими клятвами встать по её истечении. Но... таких клятв набралось уже около десятка.

Трижды в его комнату заходила мать. И, как в музыкальном крещендо, с каждым разом её голос заметно повышался. Если эта закономерность сохранится, то в следующий раз его ждал полновесный скандал. Коля с неохотой выпростал руку, чтобы откинуть одеяло, но, ощутив холодный воздух комнаты с уколом напоминания о поздней осени за окном, тотчас убрал руку обратно под одеяло и свернулся клубком, дав себе торжественное обещание встать через следующую минуту — обязательно, во что бы то ни стало, чего бы это ему ни стоило.

— Ну, ты встанешь сегодня или нет?! — заглянув в комнату, возмущённо воскликнула мать.

Опытным ухом Коля уловил ту грань её возмущения, заступать за которую было опасно: не раз в прошлом в подобных случаях мать охватывал приступ какого-то особенно сильного гнева, после которого она надолго впадала в пугающее его подавленное молчаливое состояние; и тогда ни его искреннее раскаяние, ни безотказные в других случаях ласки, поцелуи и нежные слова, ни даже его твёрдое обещание в ближайшее время, с завтрашнего дня, начать заниматься спортом, закаливанием, и вообще, «вести себя как мужчина» — самое большое, сколько он помнил, желание матери — не могли вернуть в дом теплую доверительную семейную атмосферу, которую он обожал (настолько, что часто по этой причине пропускал школьные дискотеки и вечерние посиделки во дворе, которые обожали его друзья). Коля неохотно сел на постели и опустил ноги на пол. Пол был холодный, и зябкие мурашки от прикосновения к голым половицам пробежали по коже его ног и спины. Коля с сожалением оглянулся на оставленную постель. «Ну, почему вокруг так много «надо» и так мало

1. Гимнастическое упражнение, предполагающее подъем спортсмена при помощи мышечного усилия из положения внизу перекладины на её верх.

«хочу»? — с искренним недоумением подумал он. — Почему люди не могут позволить себе просто жить в свое удовольствие?»

Одевшись и с неохотой, заставляя себя, прибрав постель (еще одна частая причина его размолвок с матерью), он, стараясь сделать это незаметно, проскользнул на кухню. (В доме из-за аварии на ТЭЦ уже неделю не было горячей воды, и это обстоятельство превратило для него каждое утро в пытку).

— А руки? — разгадав его маневр, спросила мать. — Руки вымыл?

— Ну, мам, конечно! — преданно глядя ей в глаза, ответил Коля, но предательская краска прокралась на его щеки.

— И не стыдно?! — гневно воскликнула мать. — Не стыдно так мелко лгать?! Мальчишка, называется!

«Мальчишка, называется!» — это был один из самых горьких материных упреков (впрочем, логично вытекавший из её самого большого желания — чтобы он «стал настоящим мужчиной»), но... неизменно вызывавший у Коли сожаление, что он не родился девочкой. «Почему так? — недоуменно думал он. — Почему им можно то, за что ругают меня? Разве я виноват, что родился мальчиком?».

С неохотой, морщась, он помочил под краном кончики пальцев и вернулся на кухню. Мать уже накрыла на стол и, поджидая сына, сидела со скрещенными руками, уставив неподвижный взгляд в окно. Колю вдруг больно кольнула картина вздувшихся вен на запястьях её рук и грустная сетка морщин вокруг задумчиво прищуренных глаз. Жалость и угрызения совести охватили его, подобно вспышке от соединения кислорода и водорода. Он торопливо подошёл к матери и, обняв её сзади за шею, прижался к ней щекой.

— Мам! Мама... — торопливо, с жаром, словно удерживая мать от рокового шага, заговорил он. — Ты только не переживай! Я... я не хотел тебя обманывать. Не знаю, как это получилось — как-то само собой, раньше, чем я успел подумать. Прости меня!

Мать неожиданно резко обернулась и ответила на его объятия стремительным жарким порывом, сильно прижав к своему его лицо, и затем сказала дрогнувшим голосом:

— Ну, что ты, Колюшка! (Его любимое слово). Я не сердилась вовсе. Это я так, для порядка. Давай садись завтракать, а то опоздаем... — На этом слове она осеклась, и, сморщившись от близких слез, горько прошептала: — Боже! Как же тебе не хватает отца!

Слова о том, что ему не хватает отца, Коля также слышал не впервые и всегда в схожих обстоятельствах. И каждый раз в таких случаях он с досадой думал, что мать совершенно зря из-за этого так переживает. Конечно, было бы здорово, если бы в доме был отец, который встречал бы её после работы, гулял с ней под руку на улице и дарил к восьмому марта цветы, как это делают отцы его приятелей по двору и школе. Но это нужно, прежде всего, ей, а у него, сына, все прекрасно, и всего ему хватает. И это совершенно неправильное понимание матерью его состояния, из-за чего он часто видел на её лице слезы, заставляло Колю морщиться от досады из-за своей неспособности, несмотря на неоднократные попытки, все ей правильно и убедительно объяснить.

Отца Коля не помнил — *не мог* помнить, — потому что он погиб в автомобильной катастрофе, когда ему ещё не было и трех лет. Но в каком-то уголке памяти осела картина — как отец берет его на руки и прижимается своей небритой щекой, а он, Коля, визжит, беспомощно барахтается, отталкивает от себя щетинистую колючую голову; но отец крепко держит его в объятиях и смеется громким раскатистым смехом.

Возможно, это было не воспоминание — неправдоподобно мал для этого был в то время его возраст, — а навеянные рассказами матери фантазии, но, как бы то ни было, никогда Коля не представлял отца иначе, чем сильным, шумным, весёлым...

Позавтракав, мать и сын вышли из дому вместе. Метров пятьсот им предстояло идти одной дорогой, а затем мать оставалась на троллейбусной остановке, а Коля дальше шел в школу один.

В тот день у Коли не было первого урока — заболела учительница русского языка, а замену ей по какой-то причине не нашли. Довольные неожиданно выпавшим свободным часом, подростки проводили его каждый в соответствии со своим пониманием отдыха: девчонки, сбившись в стайку возле одной из парт, о чем-то самозабвенно шушукались, мальчишки с баскетбольным мячом пошли в спортивный зал, несколько человек остались за партами листать журналы и читать детективы, а Коля со своим другом Сергеем Денищиком пошёл на школьный стадион.

С Сергеем Коля, хотя и учился с ним в одном классе уже третий год, сдружился недавно и, в общем, неожиданно. Как-то раз, стоя в очереди в школьном буфете, он

почувствовал на себе заинтересованный взгляд одного из отпетых школьных хулиганов и двоечников Юрки Семукова. Заинтересованность Семукова для объекта его интереса никогда ничего хорошего не предвещала. Это наблюдение вполне подтвердилось и на этот раз. После недолгого разглядывания Семуков подошёл к Коле и без лишних церемоний взялся тремя пальцами за значок на лацкане его пиджака.

— Красивый. Подари.

Коля растерялся. С подобной самоуверенной наглостью Семукова он встречался, конечно, не впервые, но впервые она была направлена на него, и Коля неожиданно обнаружил, что ему совершенно нечего ей противопоставить. А с другой стороны, этот значок, изображавший лыжника, был семейной реликвией — его в свое время вручили отцу, как участнику каких-то всесоюзных соревнований (о спортивных успехах отца мать всегда рассказывала с особенной гордостью), — и поэтому отдать его Семукову он не мог ни за что на свете. И эта неостановимая, как движение парового катка, угроза и встречное, с безвариантностью бетонной стены, обстоятельство наполнили Колю жгучей смесью страха, ненависти и близких слез, когда он не мог разобрать, что он быстрее готов сделать в следующее мгновение — забиться в истерике на полу или вцепиться ногтями Семукову в лицо.

— Юра! — склоняясь к первому исходу, заканючил он. — Отдай! Я тебе другой принесу — ещё красивей! — у меня их много. А этот мне очень нужен!

— Ну раз много, так в чем проблема? — ухмыльнулся Семуков. — Навесишь себе другой — ещё красивей — и мне тоже принесёшь. — При этом он чуть потянул к себе значок. (Коля увидел, как изогнулась, готовая вот-вот сорваться, его проволочная дужка).

— Юра, ну, не надо! — прижав к груди его руку вместе с заветным значком, в отчаянии воскликнул он. — Пожалуйста! Это отца значок, матери он дороже любых денег!

— Э-э, Сема! (уличная кличка Семукова) Кончай, не трогай его! — сказал оказавшийся свидетелем этой сцены Денищик. — Это Француза кореш. Смотри, будешь потом с ним дело иметь.

Упоминание имени главного школьного «авторитета» (прозванного так из-за наличия во Франции каких-то родственников, о поездках к которым он всегда рассказывал с благоговейным придыханием) моментально смахнуло с лица Семукова самодовольную улыбку и засветило глаза встревоженным, хотя и с тенью недоверия, блеском.

— Этот щегол — Француза кореш? Врешь, наверное.

— Можешь проверить, — равнодушно пожал плечами Денищик. — Наезжай на него дальше, а я завтра твой фейс, как картину Айвазовского, рассматривать буду.

— Они какие-то родственники, — серьёзно продолжил он, чуть погодя, — по материнской линии. Француз просил меня за ним присматривать. Так что, смотри, я тебя предупредил. Чуть что, потом на меня не обижайся.

Семуков отпустил злополучный значок и неуверенно потёр свои руки.

— Ладно, прости, я не знал, — избегая глаз Коли, буркнул он и торопливо вышел из буфета — как человек, который вспомнил, что забыл выключить на кухне газ.

Коля посмотрел на Денищика с восхищением.

— Спасибо, Серый! Здорово ты меня выручил.

— Брось ты: свои люди, сочтёмся, — расплылся в довольной улыбке Денищик и приятельски хлопнул Колю по плечу.

С того дня обоих подростков редко стали видеть одного без другого. Но это, в общем-то, обычное дело — дружба двух одноклассников — с первого дня несла на себе печать неравенства их отношений. Денищик держался с Колей нарочито покровительственно, при каждом удобном случае подчёркивал свое превосходство; но при этом достаточно было свидетельств того, что этими отношениями он дорожит. Коля же был в восторге от этой неожиданно вспыхнувшей дружбы, смотрел на Денищика глазами, в которых в любое время и при любых обстоятельствах неизменно светилось восторженное обожание. Особенно это обожание усилилось после того, как Денищик ввел его в компанию, которая собиралась «на стадионе».

Здесь для наглядности дальнейшего повествования необходимо подробно описать это место. Хотя оно действительно находилось на огороженной забором территории с футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками, беговой дорожкой и трибунами для зрителей, кавычки здесь вполне уместны, так как вряд ли можно представить себе что-либо, более далекое от спорта и его принадлежности — стадиона, чем то место, где собиралась компания, в которую ввел

Колю Денищик. Место это (затрудняюсь дать ему определение: закуток, притон, берлога — доля истины есть в каждом из этих названий) находилось между тыльной стороной трибуны и кирпичным забором, огораживающим стадион со стороны примыкавшего к нему двора многоэтажного дома, за которым в свою очередь змеилась шумная оживлённая улица. Третьей стороной была испятнанная плесенью и мохом бетонная стена открывавшегося во двор гаража; ну, а четвертой являлся собственно вход — узкий, заросший кустарником и крапивой, чавкающий под ногами в любое время года лаз.

Как-то так устроено в нашей жизни, что обстановка, вещи, нас окружающие, настраивают наши мысли на определённый лад. Согласен, что не всех и не всегда. Но в то же время трудно себе представить в том закутке «на стадионе» компанию иную, чем та, в которую ввел Колю Денищик. Настолько же непредставимо, чтобы подростки, в иной обстановке вполне положительные, вели себя там иначе[1].

Компания эта состояла в основном из одиннадцатиклассников и нескольких подростков школьного возраста, но школу уже не посещавших. (В постсоветское время — обычное дело[2]). Несколько десяти- и девятиклассников (одногодков Денищика и Коли) обивались там в качестве «шестёрок» — заискивающих, подобострастных, покорно сносивших любые унижения и готовых выпрыгнуть из кожи в стремлении услужить, — самым страстным желанием их было стать полноправными завсегдатаями закутка. В числе последних Коля, к своему восторгу, увидел Семукова. Причём, насколько он был крут со своими сверстниками и учениками младших классов, настолько же был «опущен» здесь. (Впрочем, по-другому не бывает. Поэтому зарубка на память новобранцам: ребята, всегда помните, что самые крутые «деды» в первые месяцы вашей службы — это в прошлом *обязательно* самые «опущенные» «салаги»). Особое положение здесь Денищика (а следом, Коли) объяснялось тем, что он жил с лидером этой неформальной команды Французом в одном дворе, и вследствие этого их отношения, благодаря памяти детства и дружбе их родителей, стояли от обычной в «закутке» иерархии в стороне.

О Французе надо рассказать особо. Фамилия его была Бобров. Он был неоспоримым авторитетом у определённой части учеников школы и себе подобных на улице, которых я для краткости назову «шпаной». (Впрочем, вполне исчерпывающее определение). Его панически боялись и «дружбы» с ним заискивающе домогались. Внимательный читатель обратит внимание на последние кавычки. Они здесь главный смысловой знак. Потому что дружба и страх несовместимы. Это во-первых. А во-вторых, нет ничего более далекого от дружбы без кавычек, чем те принципы отношений между людьми, которые насаждал в своей команде Француз — право сильного, власть кулака, преданность, основанная на общем *интересе* и скрепленная страхом кары за нарушение охраняющих этот интерес обычаев и правил. Это обязательные принципы устройства любой организации человеческого антимира — шайки, банды, мафии. И пусть не всё пока в той компании «на стадионе» соответствовало перечисленным категориям, полное соответствие здесь — лишь вопрос времени; причём под руководством такого «кормчего», как Француз, времени недолгого.

Ну, и последнее о герое этого отступления. При всем том, что только что о нем было сказано, Француз внешне выглядел вполне положительным учеником, никогда не позволял себе выходок нарочитых, показных, способных навлечь на него гнев *государства* в лице одного из основных его институтов — школы; и многие учителя даже не подозревали о его другой, главной, роли в жизни школы.

Но вернемся к главному герою *книги*. Вхождение Коли в компанию «на стадионе» знаменовало для него наступление нового, качественно иного этапа его жизни, сопровождавшегося рядом внешних и, главное, внутренних метаморфоз. Из внешних изменений самым заметным стало то, что он начал курить. Вначале только ради того, чтобы быть неотличимым от остальных завсегдатаев «закутка» и тем самым закрепить свое место среди избранных — наперекор тошноте, слюнотечению и отвратительной горечи во рту по утрам. Впрочем, эти тягостные ощущения были недолгими, и вскоре к его моральным стимулам добавилось физическое

1. Поэтому — наказ людям, которым доверено воспитывать наших детей (впрочем, не только детей): сейте разумное, доброе, вечное; учите возвышенному и прекрасному; но при этом не забывайте замуровывать подобные берлоги в прямом и переносном смысле этого слова.

2. Пояснение для читателей старшего возраста (во избежание естественного с их стороны недоверия).

удовольствие от выкуренной сигареты, дополненное нетерпеливым, подобным жажде, чувством, когда пауза между перекурами затягивалась.

Из других внешних перемен вскользь упомяну только привычку ходить, ссутулив плечи и глубоко засунув руки в карманы, а так же освоенное искусство говорить хрипловатым баском и мастерски плевать сквозь зубы. (Последнее, правда, он делал только на улице в окружении себе подобных).

Но главными, безусловно, стали изменения внутренние, среди которых центральным стал переворот всей его прежней пирамиды жизненных ценностей. Ныне на вершине этой пирамиды, подмяв под себя школу, книги и все его прежние увлечения, безраздельно царила компания «на стадионе», принадлежность к которой мгновенно повысило его авторитет среди сверстников до высот, о которых он ещё совсем недавно не мог и мечтать. Школьные задиры и хулиганы теперь обходили его стороной, а многие даже стали искать с ним дружбы; насмешники и дразнилы перестали замечать его нескладную угловатую фигуру и журавлиную походку, а девчонки, наоборот, разглядели у него карие выразительные глаза и трогательные ямочки на щеках. И, оглядываясь на себя совсем недавнего, никем не замечаемого или, наоборот, избираемого объектом для насмешек, Коля со странным (восторженным и замешанном на неверии одновременно) чувством, подобно человеку, который ездит на выигранном в лотерею автомобиле, думал, что той давней стычки с Семуковым и последовавшими за ней, как лавина за первым камнем, дружбы с Денищиком и его, Коли, вхождения в компанию «на стадионе» могло не быть.

Единственной из его прежних ценностей, возвышавшейся *над* его новой пирамидой приоритетов (впрочем, недостижимо «над» — как небо и звезды), оставалась мать. Но именно эта абсолютная ценность стала также единственной причиной, которая теперь отравляла Коле его приподнятое (точнее, парящее — высоко над головами простых смертных) настроение. По каким-то неведомым признакам (Коля мог голову дать на отсечение, что о его компании «на стадионе» она не знала) мать почувствовала в поведении сына неладное. И это безошибочное *знание* о каком-то недуге сына в сложении с незнанием точного диагноза и, соответственно, способов его лечения и, главное, помноженное на предчувствие своей неспособности это лечение осуществить, погрузило мать в тревожное неровное настроение, когда она могла громко смеяться над каким-нибудь рассказанным Колей смешным случаем из жизни класса, который в другое время больше, чем на снисходительную улыбку, претендовать не мог, а через минуту, после его обычных слов, вроде: «Мам, я пойду погуляю» — с остро вспыхнувшей тревогой смотреть ему вслед, словно она только что увидела ещё один симптом грозной болезни самого дорого ей человека.

Коля видел эти переживания матери, догадывался об их причине и, морщась от жалости, старался угодить ей во всем (приготовление уроков, уборка в своей комнате и мытье посуды перестали быть поводами для ссор; чтобы скрыть обретённую привычку курить, он стал пользоваться дезодорантами и жевательными резинками), но при этом мысль оставить свою компанию «на стадионе» ему в голову не приходила, так как даже на миг представленная необходимость этого бросала его в жар, казалась крушением всего его мироустройства и потерей главного смысла жизни...

В то утро, с описания которого начался этот рассказ, в закутке «на стадионе» среди обычной компании завсегдатаев появилось новое лицо — парень лет двадцати в кожаной куртке, джинсах и с золотым перстнем-«печаткой» на безымянном пальце левой руки. Он был каким-то знакомым Француза, который и привёл его сюда.

— Привет, ребята, — сказал Француз, когда Коля и Денищик, прочавкав по узкому проходу, присоединились к остальной компании. — Что-то вы рано сегодня. Сачкуете?

Денищик оскорблено фыркнул.

— Как ты такое мог подумать, Гриша! (Так семнадцать лет тому назад нарекли Француза родители). Мы же положительные ученики. Просто — утренний моцион.

— Вот это правильно, — вполне серьёзно одобрил парень в кожанке. — Только дебилы ходят в хулиганах и двоечниках. А потом удивляются, почему, когда они просят у взрослых дядей на мо-роже-ное, те вместо этого дают им по-роже-боем! — скаламбурил он и рассмеялся громким искренним смехом.

Рассмеявшись вместе с остальными, Коля с любопытством посмотрел на незнакомца. Его возраст и внешность настраивали на безоговорочное возвышение над всеми, но он, напротив, держался запросто, как с равными, и это вызывало симпатию.

— Знакомьтесь: это Толян, — представил его своим приятелям Француз. — Мы с ним в одном лагере сидели. В смысле — в пионерском! — в свою очередь хохотнул он.

Парень в кожанке подошёл к двум друзьям-одноклассникам и по очереди протянул каждому для пожатия руку.

— Сергей, — пожимая его руку, с достоинством представился Денищик.

Подражая ему, Коля тоже назвал свое полное имя и, ощущая крепкое рукопожатие нового знакомого, едва сдержал в себе желание подпрыгнуть и восторженно захлопать в ладоши: так неправдоподобно быстро произошло его восхождение на самую верхнюю ступеньку школьной иерархической лестницы.

Далее события в закутке «на стадионе» (а в то утро там собралось человек восемь-девять) потекли в русле обычного, мало изменившегося с появлением нового человека сценария: анекдоты, сплетни об одноклассниках и учителях, рассказы о собственных подвигах. Особенным успехом пользовались живописания о победах над слабым полом — на девяносто процентов, конечно, вранье, но неизменно зажигавшее глаза слушателей огнем вожделения.

Через некоторое время подростки привычно потянулись за сигаретами.

— Ребята, попробуйте эти, — неожиданно сказал Толян (оставим ему это имя-кличку до конца моего рассказа) и раскрыл коробку с необычными сигаретами — длинными, свёрнутыми рыхло в желтую папиросную бумагу и без каких-либо обозначений.

— Что это? — удивленно спросил Денищик.

— А это сигареты с травкой — марихуаной. Ну, не совсем с одной травкой — наполовину с наполнителем, но, все равно, кайф получается необыкновенный.

— Но... это же наркотик! — воскликнул Коля от неожиданности с неприкрытым звонким страхом.

Это восклицание прозвучало как внезапный вой тревожной сирены. Подростки испуганно замерли, словно вдруг увидели подпиленную опору моста, по которому они намеревались пройти. Но в этот момент Толян, посмотрев на Колю злыми глазами, презрительно скривил губы.

— Деточка, а что ты здесь вообще делаешь? Иди-ка ты домой к мамке, пусть она тебя покормит с ложечки кашкой. — И, повернувшись к нему спиной, продолжил нарочито беспечным тоном: — Да, наркотик, ну и что? Табак тоже наркотик, вино, водка — наркотики; так что теперь — не пить и не курить? Марихуану в Азии курят тысячелетиями, и что — там все наркоманы? Наркоманами становятся только дебилы и мамкины дети, — Толян бросил в сторону Коли красноречивый взгляд. — А в жизни все надо попробовать — живем ведь один раз. Просто во всем надо знать меру.

Лица подростков смягчились, и послышался облегченный вздох, какой бывает в конце жуткого рассказа со счастливым концом. Коля первым протянул руку за сигаретой.

— Ла-адно тебе — папу из себя строить, — сказал он немного нараспев особым «приблатнённым» тоном, который за время своего обитания «на стадионе» освоил в совершенстве. — Почём сдаешь?

Обменявшись с Французом быстрым, понятным обоим взглядом, Толян легко сменил гнев на милость.

— Пока угощаю, а там договоримся.

Коля взял сигарету, небрежно чиркнул спичкой и глубоко затянулся. Толян при этом едва заметно улыбнулся. Остальные подростки, обступив Колю кругом, смотрели на него с острым любопытством и опаской, которую не развеяла недавняя лекция Толяна.

Коля и сам боялся того, что он делает. Ни при каких других обстоятельствах он не взял бы эту сигарету. Но как-то так сейчас вышло, что ни малейшей возможности для отступления у него не осталось. Даже если бы в этой сигарете заведомо был смертельный яд, он все равно тянул бы её ко рту, пока кто-нибудь не вырвал её у него из рук.

Первым ощущением было — ничего особенного! Немного необычный сладковатый привкус, но и все. И почему из-за этого вокруг столько шума? Но уже после нескольких затяжек голова у него слегка закружилась, лица парней отдалились, стали неразличимыми между собой и... весёлыми. Коля вдруг почувствовал неудержимое веселье: хотелось смеяться, обнять Денищика, Француза и даже Толяна, выкинуть что-нибудь озорное — пройтись по закутку колесом или встать на руки, — при том, что спортом он в своей жизни никогда не увлекался.

— Пацаны! — оглядев настороженные лица приятелей, расхохотался он. — Ну и что вы на меня пялитесь, как на мамонта перед тем, как они вымерли? Толян прав: абсолютно ничего особенного, и почему из-за этого все кругом стоят на ушах?

Коля вначале не заметил, что парня, перед которым он несколько минут назад благоговел, он фамильярно назвал «Толяном» (как и то, насколько легко и к месту вылетела у него в других случаях выстраданная фраза, — «стоять на ушах»). Спохватившись, он обернулся и, встретившись с Толяном взглядом, неожиданно для себя громко расхохотался, свойски хлопнув его по плечу:

— Толян, ты классный парень. Только слишком обидчивый: чуть, что не по тебе, так сразу: «деточка!», «маменькин сынок!». У нас так не принято. Если хочешь осесть в нашей компании, мой тебе совет: придерживай эмоции, береги адреналин для более полезного применения. Верно я говорю, Француз? — не оборачиваясь, спросил он Боброва.

Тот посмотрел на него с усмешкой, но ничего не ответил, а Толян, ничуть не обидевшись на эту фамильярность, вновь открыл прежнюю сигаретную пачку.

— Ну что, кто ещё хочет попробовать? Сегодня бесплатно.

К нему дружно протянулось несколько рук.

В тот день до самого вечера Коля ощущал необыкновенный душевный подъем. Все вдруг стало для него легким и доступным, не требующим с его стороны никаких усилий. Комплимент девчонке? Пожалуйста — и «лапочка», и «обаяшка», и даже «какая прелесть эти твои новые серёжки!» — и почему в подобных случаях у него всегда отнимался язык раньше? Вызваться отвечать у доски? Рука взлетает, как распрямившаяся пружина.

— Ну, надо же, что-то в лесу сегодня сдохло: Завьялов сам вызывается отвечать, — с улыбкой сказала учительница. — Надо пометить этот день в календаре: будем его потом отмечать, как праздник.

— Как же так, Мария Петровна, — улыбнулся в ответ Коля, — смерть безвинной зверюшки в лесу вы хотите отмечать, как праздник. Это непедагогично. Ведь мы можем подумать, что вы жестокий человек.

В классе грохнул взрыв хохота. Учительница, чуть покраснев, вначале нахмурилась, но потом не сдержала улыбки.

— Да, Коля, ты сегодня явно в ударе. Что ж, иди к доске. Посмотрим, хватит ли твоего запала на тему урока.

А после уроков Коля вызвался идти играть в баскетбол. Хотя спортом он в своей жизни никогда особенно не увлекался (несмотря на постоянные побуждения к этому со стороны его матери), раньше в своем дворе среди друзей детства он не был последним ни в футболе, ни в настольном теннисе, ни, особенно, в баскетболе. Ростом выше среднего, от природы быстрый и гибкий, он чувствовал себя на баскетбольной площадке одинаково уверенно и в качестве защитника, и в качестве нападающего; а что касалось штрафных бросков, то тут ему равных среди сверстников не было. Какая-то необъяснимая уверенность точного попадания в кольцо владела им всегда, когда он становился на точку броска. И если руки все же делали неверное движение, то Коля уже в начальной фазе полёта мяча видел свой промах, но при этом точно знал, где и насколько надо измерить направление и силу движений рук, чтобы исправить ошибку, и следующий бросок у него был почти стопроцентно точным. Иногда на спор (обычно на банку «сгущенки» или на коробку материных любимых конфет «Белочка») он забрасывал в кольцо и пять, и семь, и десять мячей подряд — и из обычной позиции, и стоя к кольцу спиной, и боком, бросая противоположной от кольца рукой; а потом с несказанным удовольствием, подобного которому он не испытывал ни по каким другим причинам, он приносил домой выигранное пари, которое они с матерью затем торжественно съедали за ужином. Но после того, как он в седьмом классе перенёс в тяжёлой форме вирусный гепатит, и ему на девять месяцев врачи запретили физические нагрузки, подобные его спортивные подвиги прекратились. Вымахав за неполный год почти на пятнадцать сантиметров, он вдруг стал страшно стесняться своего длинного костлявого тела с минимальными приметами мышц на месте бицепсов и трицепсов и рудиментами брюшного пресса. Эти переживания у него многократно усилились после того, как мать перевела его в другую школу в связи с открытием там экспериментального класса с углубленным изучением математики, физики и других точных наук. Попав в новую среду со своими правилами и традициями, с незнакомыми до того одноклассниками, школьными лидерами и аутсайдерами, Коля совершенно растерялся. Ему постоянно казалось, что девчонки хихикают у него за спиной, а мальчишки, сбившись гурьбой у задней парты, потешаются над его нескладной фигурой и журавлиной походкой. Переодевание в раздевалке спортивного зала или бассейна перед уроками физкультуры, совместное с одноклассниками мытье в душевой бросали его то в жар, то

в холод (в зависимости от числа замеченных насмешливых взглядов и кривых улыбок), а сами эти уроки превратились в регулярные, согласно расписанию, восхождения на Голгофу, которые он проделывал только из-за печальной необходимости выполнения школьной программы. Со временем, правда, острота его переживаний сгладилась, но никогда Коля не чувствовал себя в спортивном зале легко и непринуждённо, как в той области человеческой жизни, где люди получают *удовольствие*. Однако сегодня эти его путы чудесным образом лопнули. Сегодня он чувствовал в себе силу, уверенность и готовность к самой отчаянной выходке. К числу последних можно смело причислить участие в предстоящем баскетбольном матче.

Тут надо сделать отступление и сказать, что баскетбольная команда их школы, в которую входили несколько человек из класса Коли, была в Минске заметным явлением. Не раз она занимала призовые места на городских и республиканских соревнованиях, а один год даже удостоилась звания лучшей юношеской команды города. Поэтому не требует долгого объяснения факт, что баскетбол в жизни их школы занимал особое место, а сами баскетболисты пользовались привилегиями, невозможными для других учеников, и, прежде всего, понятно, на уроках физкультуры, где для них существовал режим «свободного расписания», который означал возможность любимой игры на любом уроке, а прохождение учебной программы оставалось уделом девчонок и тех немногих мальчишек, которые предпочитали шумное пыхтение на беговой дорожке и беспомощное висение на перекладине и кольцах (под смеющимися взглядами одноклассниц — впрочем, недолгими и лишь изредка: над убогими не смеются) проклятиям товарищей по команде после их беспомощных телодвижений на баскетбольной площадке, результатом которых были не заброшенные или пропущенные мячи. В числе этих страдальцев все эти два года учебы в новой школе был и Коля. И хотя его давно подмывало попробовать свои силы в какой-нибудь игре — внутри класса или с другим классом, — до сегодняшнего дня он так и не смог побороть в себе непонятную робость. Непонятную — потому, что его пугала не сама игра и связанные с ней риск и ответственность; более того, часто, наблюдая за игрой одноклассников, он видел их ошибки и промахи, которых никогда бы не сделал он, и его буквально жгло желание показать, на что он способен. Но... останавливала необходимость найти слова, которыми надо было высказать свою просьбу. Какая-то неодолимая сила приклеивала к небу его язык каждый раз, когда он думал над тем, как сказать одноклассникам о своем желании принять участие в каком-либо матче. При этом не раз слышанные им в подобных случаях ответные насмешки и «подколки» гулко звучали у него в ушах, а предстоящий матч, наоборот, казался не желанным праздником и способом самоутверждения среди сверстников, а самоистязанием, на которое он по непонятной причине сам себя толкает. Но сегодня эти слова вылетели у него без малейшей

запинки — причём тогда, когда в другое время у него не вырвали бы их и клещами: у одноклассников предстоял принципиальный (после проигранного накануне в отчаянно упорной борьбе) матч со своими давними, ещё с начальных классов, соперниками — командой девятого «а».

— Бойцы, — с улыбкой сказал он сгрудившимся у задней парты в жарком споре о составе команды одноклассникам, — возьмите меня. Согласен на любую баскетбольную должность — от центрового до левого крайнего защитника. Кроме мальчика на побегушках! — добавил он со смехом.

Парни уставились на него с изумлением: эта его просьба была наглостью, причём, наглостью вопиющей (спор шёл между самыми умелыми и опытными); но, с другой стороны, к этому времени Коля уже два месяца был завсегдатаем «тусовок» «на стадионе», о чём в классе, конечно, знали, и поэтому «отшить» его словами: «Юноша, а куда мяч бросать, ты знаешь?» или: «Иди потренируйся вначале в песочнице» — и другими подобающими в таких случаях, никто не решился.

— Бойцы! — рассмеялся Коля. — Не дрейфь: не подведу. А в качестве залога обещаю поставить всем по стакану компота и булочке за каждый пропущенный или не заброшенный по моей вине мяч.

Не сами слова, а тон, каким они были сказаны, произвели на парней впечатление. (Впрочем, именно так чаще всего и бывает).

— Ладно, Коля, пошли с нами, — сказал неизменный в течение этих двух лет капитан команды Дима Воробьёв. — Только, чур, чтобы без обид: не потянешь игру — я тебя сразу меняю, договорились?

— Договорились! — задорно ответил Коля. — Но встречное условие: если сы-

граю, как надо, возьмёшь меня в команду на постоянно — идет?

— Посмотрим, — не развеяв своих сомнений, буркнул Воробьёв.

В раздевалке спортивного зала Коля, сняв брюки и рубашку, перед тем, как надеть спортивный костюм, оглядел себя в зеркале. Из-за стекла в деревянной раме на него смотрел худой нескладный подросток, тонкий в талии и узкий в плечах; длинные, похожие на веревки руки с узлами на месте локтевых и лучезапястных суставов безвольно висели вдоль костлявого тела и, казалось, перегибались на острых гранях ключиц и реберных дуг. Трудно было представить, что эти руки-веревки способны отобрать у противника мяч или забросить его в кольцо. Коле неожиданно стало смешно: только он знал, что могут эти руки.

— Пацаны! — сладко потянувшись, сказал он. — Ох, что-то стать молодецкая сегодня просит раздолья. Пошли, пока есть время, покидаем мяч — разомнёмся.

В спортивном зале под одним из баскетбольных колец уже собрались их соперники. Парни, разминаясь перед началом игры, бросали мяч в кольцо, дробно стучали им по полу, соревнуясь в технике обводки. Нарочито развязной походкой Коля подошёл к ним.

— Ну что, воины, как настроение? Боевое? Как сегодня играем? Два тайма по двадцать минут с пятиминутным перерывом, идет?

Баскетболисты девятого-а уставились на него с изумлением: видеть Колю в роли спортивного авторитета им ещё не доводилось.

— Как всегда, — равнодушно пожал плечами капитан команды девятого «а» Виктор Доровин — высокий, хорошо сложенный юноша со смуглым цыгановатым лицом и черными, чуть вьющимися волосами. — Впрочем, специально для тебя можем десять минут добавить: а то, я смотрю, ты сегодня прямо орел, — добавил он с откровенной издевкой.

— Витя, кто орел, а кто курица, увидим на баскетбольной площадке, — с весёлым вызовом ответил Коля.

Мяч разыграли в центре площадки два капитана — Воробьёв и Доровин. После короткой схватки им овладела команда девятого «б» и устремилась на половину площадки противников. Но «ашники» (прозвище учеников девятого «а», как, впрочем, и «бэшники», «вэшники» и так далее, принятое, похоже, во всех школах) выстроили надёжную защиту. Терять первый мяч не хотелось: по суеверной примете первый заброшенный мяч во многом определял исход всего матча. Поэтому, отдавая друг другу короткие точные пасы, никто из команды девятого «б» не решался первым сделать проход к кольцу. Коля наравне со всеми легко и точно принимал и отдавал мяч, с радостью отмечая, что его баскетбольные навыки за эти два года ничуть не притупились; и в какой-то момент, без малейшего предварительного расчёта, словно кто-то толкнул его в спину, он бросился в мелькнувшую на долю секунды брешь в защите противника и после нескольких пружинистых шагов точно забросил в корзину мяч.

Все произошло настолько быстро и неожиданно, словно сквозь шеренгу игроков прошла бесплотная тень, что подростки в первое мгновение изумлённо замерли.

— Ловко, — хмыкнул в этот короткий миг тишины Доровин и пошёл с мячом на точку вброса.

Колю, как таран, едва не сбив с ног, схватил в объятия Воробьёв.

— Колька, молоток! Так ты же классно играешь! Что ж ты раньше с нами не играл?!

— Выжидал момент. И, как видишь, вовремя, — отвечая на его объятия такой же крепкой хваткой, счастливо рассмеялся Коля.

В эту секунду подбежали остальные игроки их команды и осыпали Колю хлопками по спине, пожатиями рук, объятиями за шею и прочими проявлениями восторга. Дрожь от этих хлопков и объятий горячей сладкой волной пробежала по его телу.

— Так, ребята, оттянулись. Внимательно! Не дадим отыграть первый мяч, — тем временем озабоченно скомандовал Воробьёв.

Коля вместе со всеми отошёл на свою половину площадки, готовясь во всеоружии встретить противника и ощущая при этом, как, подобно вскипающей пене, в нем нарастает восторг от единения со своими одноклассниками, словно после долгих скитаний в чужой стране он наконец-то вернулся домой.

В тот день команда девятого «б» выиграла матч с разрывом в счете в шестнадцать очков. Коля за игру забросил одиннадцать мячей — больше, и то только на два мяча, забросил лишь капитан команды Воробьёв. Особенно хорошо, к восторгу товарищей по команде, у него получались штрафные броски, которые из баскетболистов девятого «б» уверенно не выполнял никто, даже Воробьёв. Ни одного очка из тех, которые могли принести команде штрафные броски, когда их выполнял Коля, не пропало. Победа была полной. Такого

разгромного счёта в играх давних соперников ещё не бывало. Хмурые, расстроенные игроки девятого «а» по одному, гуськом, подобно похоронной процессии, покидали зал. Замыкавший шествие Доровин остановился возле свалки, которую в сногсшибательном восторге устроили соперники. Подростки смеялись, обнимались, падали в обнимку на пол, пытались подбрасывать в воздух Воробьёва и... Колю.

— Коля, — окликнул его Доровин, когда он оказался на своих ногах и был в состоянии воспринимать членораздельную речь.

Сияя, как начищенный медный шар, Коля подошёл.

— Слушай, Коля, у нас на днях игра с двадцать третьей гимназией, не хочешь сыграть за сборную школы? Юра Синкевич из десятого «б» ногу подвернул, и я подумал, что лучше тебя нам замену не найти.

— Конечно, хочу! — радостно воскликнул Коля. — Только не на игру, Витя. Возьми меня в команду на постоянно.

— Ну, это не от меня зависит... — замялся Доровин, но, вспомнив сегодняшнюю игру, уверенно закончил: — Но, думаю, проблем не будет. Я поговорю с Дмитруком. (Учителем физкультуры и, в одном лице, тренером баскетболистов — авт). Ты приди в среду к нам на тренировку, хорошо? — И, прощаясь, он протянул Коле для пожатия руку.

— Хорошо, — отвечая на его крепкую хватку таким же сильным рукопожатием, сказал Коля и ощутил легкое головокружение, словно на вершине отвесной заоблачной скалы, куда он забрался в стремительном безоглядном порыве.

Вымывшись в душе и переодевшись, команда девятого «б» и их болельщики гурьбой ввалились в школьный буфет отметить победу. В компании было несколько девчонок — неизменных все эти годы учебы Коли в новой школе болельщиц подобных состязаний. Когда все расселись за длинным, составленным из нескольких, столом — шумно, беспорядочно, с толканиями, смехом и девчоночьими визгами, — со своего места во главе стола поднялся Воробьёв.

Вообще-то такой официоз в этой компании наблюдался впервые. Никогда раньше подобные застолья не выходили за рамки совместного поглощения сладостей — под аккомпанемент смеха, озорных выкриков и шумной возни за столом, — и уже вовсе непредставимой была картина, чтобы Воробьёв позволил бы себе чем-то выделиться из своих одноклассников — кроме классной игры на баскетбольной площадке. Но что-то сегодня его к этому подвигло.

— Ребята, вы сегодня отлично играли, — торжественно начал он.

— А вы? — с озорной улыбкой перебила его Катя Березина, «капитан» команды болельщиков.

— И мы тоже, — невозмутимо ответил ей Воробьёв и продолжил прежним торжественным тоном, — Но я хочу сказать, что игра — это как химическая реакция: добавьте в исходные вещества немного катализатора, и результат будет совсем иной. Таким катализатором был сегодня Николай. Я не знаю, Коля, — повернувшись к «катализатору» матча, сказал он с искренним удивлением, — почему ты, как тайник, так долго скрывал, что ты отлично играешь...

— А это тактика такая! — откинувшись на спинку стула, рассмеялся Коля. — Застать противника врасплох. Видишь, как я вовремя раскрылся? В результате — полный разгром.

— Коля, у тебя, наверное, эта тактика универсальная, — ехидно заметила Березина. — Тебя два года было не отличить от тени, зато сегодня ты рассекаешь, как броненосец «Потёмкин».

В другое время после таких слов Кати Коля от смущения впал бы в анабиоз, но сейчас он уверенно посмотрел в её насмешливые глаза.

— Катя, если бы я раскрылся два года назад, то к сегодняшнему дню я бы тебе уже надоел. А так у тебя ещё все впереди.

— Что впереди? — спросила Катя с прежней улыбкой, которая, однако, не скрыла настороженного прищура её глаз.

— Все, — спокойно выдерживая её взгляд, ответил Коля. — Все, что ты захочешь, не больше того. Но и не меньше! — закончил он с неожиданным хохотом.

В тот день Коля пришёл домой позже возвращения с работы матери, что означало его задержку после уроков более, чем на три часа. Такое произошло с ним впервые.

— Коля, что случилось?! — выйдя навстречу ему в прихожую, встревожено спросила мать. — Я вся извелась уже здесь: звонила в школу — уроки давно закончились, никого из твоих одноклассников в школе нет.

— Ну, мам! В баскетбол играли, потом в столовке в школе посидели, по улицам прошлись, — беспечно ответил Коля.

И хотя это было как раз то, что она хотела от отношений сына с одноклассниками и к чему она его в меру своих сил подталкивала, этот вдруг получившийся результат почему-то радости не доставил. Более того, такое неожиданное сближение вызвало непонятную тревогу.

— Ну, а позвонить нельзя было?! — спросила она, с трудом сдерживаясь, чтобы не вспылить. — Неужели ты не понимал, что я здесь места себе не нахожу?!

Коля задумчиво посмотрел на мать, ощущая странное раздвоение: с одной стороны, он понимал её гнев и даже успел удивиться, как это он, в самом деле, не догадался (совершенно забыл!) позвонить ей и предупредить, что он задерживается в школе; но с другой стороны, никаких угрызений совести он в связи с этим не ощутил — то есть, вообще, никаких чувств: раскаяния, сочувствия, жалости, нежности... Словно он разговаривал с посторонним человеком. И эта пустота его испугала — внезапно, хлестко, как неожиданно обнаруженная пропажа кошелька со всеми, сколько было, деньгами.

— Мам, не обижайся: так получилось... прости, — с усилием, заставляя себя, сказал он. — Больше такого не будет, обещаю. Я пойду полежу, ладно? — Коля вдруг как-то сразу, словно в момент этих слов внутри у него лопнула пружина, которая в течение дня удерживала его приподнятое настроение, почувствовал огромную усталость, и самым большим его желанием, заслонившим все другие его чувства, сейчас было — лечь в постель, закрыть глаза, и чтобы его до утра никто не трогал.

— Что с тобой?! Ты не заболел? — встревоженно спросила мать, моментально забыв про свои обиды, и протянула руку к его лбу, чтобы на ощупь определить температуру.

— Да нет, устал просто: давно не играл в баскетбол, — неприязненно отстранился Коля. — Я пойду часик полежу, а потом буду делать уроки.

— А поесть? Ведь ты не обедал.

— Ну, не хочу я есть, мама! Потом! — сдерживаясь из последних сил, отмахнулся Коля и ушел в свою комнату.

У себя в комнате он плотно закрыл за собой дверь, затем сел на свою кровать и некоторое время сидел неподвижно с ощущением, что забыл сегодня сделать что-то важное, но при этом не мог даже приблизительно представить, когда и в какой области его обязанностей произошёл этот промах. Коля растерянно огляделся, остановил взгляд на подушке и, словно она была увиденным в последний момент спасительным решением, торопливо подвинул её к себе, лег и закрыл глаза. Он слышал, как в комнату вошла мать, как она подошла к кровати, постояла у изголовья, а затем накрыла его одеялом, но никакая сила не заставила бы его сейчас открыть глаза. В ушах звучал беспрерывный тонкий, на одной ноте, звон, хотя он отдавал себе отчет, что никаких звуков, кроме тихого дыхания матери, в комнате не было; затем кровать под ним начала плавное круговое движение; Коля явственно ощутил, как его охватывает ускоряющееся, вызывающее желание вцепиться в пружинный матрас под собой вращение, но при этом он вдруг обнаружил, что не может пошевелить даже пальцем; затем он почувствовал на своем лбу прохладную руку матери, и словно это прикосновение сорвало его последнее крепление к краю бездонной пропасти, он провалился в душную, без единого просвета темноту...

Когда он открыл глаза, в комнате было темно. Из-за двери не доносилось ни звука. Коля торопливо зажёг свет и посмотрел на часы. Стрелки показывали половину восьмого. «Половина восьмого... чего? Вечера или утра?!» Внезапно, с испугом, как о произошедшем несчастном случае, он вспомнил свои недавние подвиги в школе и... ужаснулся: повторить что-либо подобное он бы сейчас не смог и под угрозой смертной казни. Коля зябко поёжился. По непонятной причине его охватил страх и ощущение своей беззащитности перед холодным враждебным миром, который шумел, гудел, взвизгивал тормозами и сиренами клаксонов за окном его комнаты. Хотелось свернуться калачиком, накрыться одеялом с головой и не шевелиться. В этот момент из-за двери донёсся приглушённый звон посуды на кухне. «Мама!» — подобно вспышке света, озарило воспоминание. Коля вскочил с кровати, с остановившимся дыханием пробежал расстояние от своей комнаты до кухни и, распахнув закрытую матерью дверь, замер в замешательстве. Мать посмотрела на него с улыбкой.

— Ну что, спортсмен, выспался? Иди мой руки и садись ужинать. А потом сразу за уроки — сегодня уже никакого телевизора, договорились? А то и так, не знаю, когда ты теперь успеешь сделать уроки.

Эти обычные, множество раз слышанные слова неожиданно наполнили Колю восторгом: какое счастье, что у него есть мать, есть

дом — надёжный и уютный, — где он всегда может найти убежище от бурь и угроз огромного мира, в который он пришёл пятнадцать лет назад. Он стремительно подошёл к матери и обвил её руками за шею, прижавшись горячей щекой.

— Мам! Ты... — выдохнул он и запнулся, подбирая слова, достойные выразить переполнявшие его чувства, а затем, словно после тщательного расчёта, который сошёлся с ответом задачи, уверенно закончил: — Ты у меня самая красивая, и я тебя люблю.

ГЛАВА 2

Утром следующего дня Коля шел в школу в насторожённом и каком-то раздвоенном настроении. Вчерашний его порыв казался приснившимся ему фантастическим событием, которое ни при каких обстоятельствах не могло иметь к нему отношения. Но, с другой стороны, он отдавал себе отчет, что такое было, а так как каждый поступок накладывает на человека необходимость определённого соответствия, то предстоящая встреча с одноклассниками наполняла его самым настоящим страхом, даже большим, чем если бы ему снова нужно было вызваться отвечать у доски или выйти на баскетбольную площадку. Особенно его пугала возможность встречи с кем-нибудь из девчонок, свидетельниц его вчерашних подвигов, наедине. В этом случае, он точно знал, от смущения он провалится сквозь землю. Но, как это часто бывает, худшие его опасения подтвердились с точностью до последней подробности.

— Коля, привет! — на подходе к школе окликнула его Катя Березина, когда он, поздно спохватившись, пытался скрыться от неё в оказавшимся рядом проулке. — Ты куда? Разве не в школу?

Коля замер, точно застигнутый на месте преступления. В голове вихрем взметнулись мысли: «Что делать?! Боже, как глупо! ещё подумает, что я... А может, сказать, что хочу зайти к знакомому? Какому! До уроков десять минут». При этом его мозг, вернее, какая-то его неподвластная Коле часть, словно вживлённый механический таймер, мерно и неумолимо отсчитывал время, в течение которого ответ мог прозвучать правдоподобно — секунда, две, три...

— Коля, ты что, онемел? — рассмеялась Катя. — Или я помешала тебе в каком-то секретном деле? Или, в интимном? — лукаво сощурилась она.

— Нет, Катя... Я... я... просто я хотел... — пламенея малиновым цветом, выдавил из себя Коля, не представляя, что сказать в свое оправдание, но зато ясно видя, как нелепо он сейчас выглядит в глазах Кати, и как с каждой секундой задержки с вразумительным ответом эта нелепость превращается в карикатуру.

— Катя, пошли в школу, а то опоздаем! — взмолился он и, испытывая приступ вполне физического удушья, расстегнул ворот рубашки.

— Пошли, разве я возражаю? — удивленно сказала Катя, а затем оглядела Колю встревоженным взглядом. — Тебе что, плохо? Ты не заболел?

— Нет-нет, все нормально! — торопливо ответил Коля, радуясь смене темы разговора. — Просто запыхался: поздно вышел из дому.

В школе Коля, переодевшись в гардеробе, некоторое время прослонялся по коридорам с расчётом войти в класс перед самым звонком и таким образом избежать расспросов одноклассников. Правда, здесь таилась другая опасность — встретить кого-либо из соперников или их болельщиков во вчерашнем баскетбольном матче. Эта опасность чуть не настигла его, когда он едва не столкнулся нос к носу с Доровиным, неожиданно вышедшим из-за угла коридора, и Коля избежал встречи лишь тем, что в последний момент заскочил в класс к первоклассникам — к весёлому оживлению последних. (О своем обещании сыграть за сборную школы он боялся даже вспоминать). Но в целом операция прошла успешно. Войдя в класс одновременно со звонком на урок, Коля торопливо пошёл между рядами парт к своему месту на предпоследней парте, невнятно бурча в ответ на приветствия одноклассников и нервно хлопая по протянутым для приветствия рукам.

— Коля, привет! — окликнул его с последней парты Воробьёв. — Пойдёшь сегодня играть? С нами десятый «а» сразиться хочет — они давно собирались.

Коля втянул голову в плечи, не смея обернуться: все его тоскливые предчувствия сбывались с точностью запущенной программы.

— Не знаю... Посмотрим, — пролепетал он и с тоской посмотрел на занятых приготовлениями к уроку одноклассников: эти тридцать человек были для него источником как самых больших радостей, так и наиболее горьких переживаний. По непонятной причине последние сегодня безоговорочно преобладали.

Урок, однако, прошёл для Коли спокойно: учитель, как обычно, вызывал к доске отвечать домашнее задание (но Колю сия доля минула), объяснял тему урока; одноклассники с разной степенью энтузиазма выполняли его распоряжения; журнал и дневники планомерно пополнялись оценками и замечаниями, а глаза учеников, соответственно, радостным блеском и близкими слезами, и о существовании Коли все забыли. Но на первой же перемене его страдания вспыхнули с новой силой.

— Коля, здравствуй! — задорно окликнула его в коридоре Лена Чумакова, одна из болельщиц вчерашнего баскетбольного матча, учившаяся в параллельном классе. — Как дела? Не иссяк твой запал? Вчера ты сверкал, как метеор.

Попадание, что называется, не в бровь, а в глаз: именно запал, который ярко горел вчера, оставил выжженное саднящее место в его душе сегодня — таким было его ощущение всего произошедшего с ним.

— Ой, Лена, не знаю... Потом поговорим, ладно? — страдальчески сморщился он и побрел дальше по коридору, провожаемый удивлённым взглядом.

В закуток «на стадионе» на этот раз Коля пришёл без малейшего к тому желания — только повинуясь привычке и еще, возможно, из страха потерять это, с таким трудом обретённое, место под солнцем 123-й минской школы[1]. Но при этом его терзал другой страх: что скажут о вчерашнем его обитатели — Француз, Толян и другие? Не затаил ли Француз на него обиду за вчерашнюю фамильярность? (И как его угораздило!) И, главное, как ему теперь там себя вести?

Но на этот раз его страхи оказались напрасными. События в закутке «на стадионе» ни в чем не отступали от привычного сценария. Толян не появлялся, и никто из парней ничем не показывал, что вчера здесь произошло что-то необычное. С облегчением, в иные моменты переходящим в восторг, слушал Коля рассказы приятелей об их похождениях в школе и дома, смеялся над анекдотами и, выкуривая вместе с остальными сигарету, восторженно, с примесью неверия в невероятно удачную цепь событий, которая привела его сюда, вглядывался в лица друзей, с наслаждением ощущая, как постепенно к нему возвращается обычное здесь приподнятое, уверенное в себе настроение, ощущение себя равным среди избранных; а воспоминания о вчерашнем впервые за сегодняшний день вызвали у него не смущение и растерянность, а гордость и ещё грусть, так как он не мог себе представить, что сможет когда-нибудь повторить что-либо подобное.

Когда, спустя некоторое время, подростки снова потянулись за сигаретами, Француз с едва заметным колебанием достал вчерашнюю приметную пачку.

— Ну, что, кто хочет ещё раз кайфануть? Но сегодня уже за деньги.

В закутке повисла тишина. Прежний испуг, хотя и в сглаженном, по сравнению со вчерашним, виде, проступил на лицах подростков. В свою очередь, намного увереннней справился со смущением своей паствы Француз.

— Вы вчера попробовали, кому было плохо? Вы прожили классный день. А всего в нашей жизни... — Француз наморщил лоб, производя в уме подсчёт, — тридцать шесть тысяч пятьсот дней. Это если жить до ста лет. Но пятнадцать из них вы уже прожили. Но вот только много ли за эти годы у вас было таких дней?

«А ведь верно! — с неожиданным волнением подумал Коля. — Каждый день тоска и тягомотина и только вчера... — он запнулся, подбирая подходящее слово, и твёрдо закончил: — полет!».

Он решительно протянул руку за сигаретой.

— Ну, дай мне одну. Почём сдаешь?

— Штука за штуку. По справедливости, — ухмыльнулся Француз.

«Штука» — в переводе на нормальный язык, тысяча рублей — в описываемый период русской истории (на той части русской земли, которая называется Белой Русью) равнялась примерно пятидесяти советским копейкам. А на карманные расходы Коле в месяц выдавалась сумма равная в той валюте трем рублям.

«Шесть раз в месяц можно так классно веселиться! — подумал Коля с восторгом, какой бывает, когда трудное пугающее решение дается легко, а все возможные возражения отметаются с порога, без рассмотрения. — Француз прав: живем один раз, и одну шестую часть жизни мы уже прожили. А как? Что мы видели? И что впереди?».

1. Настоящая книга — художественное произведение и потому к действительной 123-й школе города Минска она имеет такое же отношение, как герой этого повествования «Толян» ко всем живущим в Минске Анатолиям и главный герой романа Коля — ко всем минским Николаям.

Он отдал деньги, взял сигарету и, чиркнув спичкой, глубоко затянулся. Как и вчера на него с опаской смотрели сверстники, но Коля уже после первых затяжек сладковатым, щекочущим ноздри дымом ощутил свое над ними бесконечное превосходство.

— Ну, и что вы, воины, хвосты поджали? — задорно сказал он. — Ну, выкурили мы вчера по такой сигарете, ну и что? Никто не умер. Наоборот, все сверкали, как метеоры, — с удовольствием процитировал он слова Чумаковой. — И ведь никто никого за уши не тянет: не хочешь — не кури. Но это ведь, как вино, которое пьют не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы хорошо провести время. Верно я говорю, Француз? — Коля плутовато покосился на капитана своей команды в закутке «на стадионе», с наслаждением ощущая, как к нему возвращается вчерашняя раскованность и непринуждённость.

— Верно, верно, — довольно ухмыльнулся Француз.

Подростки обступили его кругом, и к пачке сигарет протянулись несколько рук. И хотя последних было меньше, чем вчера, сегодня это объяснялось только ценой. Впрочем, многие сигареты пошли из рук в руки, и обделенным не остался никто. Парни, глубоко затягиваясь и медленно выпуская из себя дым, смотрели перед собой задумчивыми глазами и, встречаясь взглядами, испытывали удивительно сладкое чувство общности и... дружбы.

Как и накануне, весь день Коля испытывал необыкновенный душевный подъем. И хотя баскетбольного матча на этот раз не было (планировавшаяся вчера встреча с десятым «а» по какой-то причине не состоялась), он с не меньшим успехом парил (пожалуй, самое точное здесь слово) во время уроков, перемен, обеда в школьной столовой и всех прочих крупных и мелких, долгих и коротких событий, составляющих школьный учебный день. Но к вечеру его энтузиазм снова иссяк. Как и в прошлый раз, вместе с наступившими сумерками незаметно и беспричинно подкрался страх. Каждый звук теперь был либо внезапным громким набатом, либо тихим зловещим шорохом; самые невинные картинки и происшествия обрели коварное роковое значение. Уличный шум за окном казался ревущей лавиной машин, одна из которых рано или поздно врежется в его дом; скрип двери на кухне или в комнате матери заставлял его вздрагивать и оборачиваться в ожидании непрошеного гостя; а за тёмным окном на улицу то и дело мерещилось следившее за каждым его движением бледное лицо.

Умом Коля понимал беспочвенность своих страхов — более того, он даже догадывался, что причиной их стала выкуренная утром сигарета с «травкой», — но ничего поделать с собой не мог. Целый вечер он жался к матери, стараясь под любым предлогом быть рядом с ней, с тоской ожидая момента, когда надо будет идти ложиться спать, что будет означать необходимость остаться в своей комнате одному — наедине с неясной, но зловещей угрозой, о которой мать не знает и потому будет крепко спать и не успеет прийти к нему на помощь.

Мать сразу почувствовала неладное и вначале ласково, исподволь, в затем прямо и настойчиво пыталась выяснить, что с ним происходит, но Коля только смущённо обезоруживающе улыбался:

— Ну чего ты, мам? Всё нормально, честно.

С неохотой, заставляя себя, он сказал обычные: «Спокойной ночи» — и пошёл укладываться спать.

Оставшись один, Коля уныло расстелил постель, разделся и, выключив свет, долго сидел на кровати, глядя на неплотно закрытую дверь — испытывая непонятную опаску лечь в постель. В сумерках комнаты, освещённой только уличным светом, щель между дверью и косяком казалась черным провалом, ведущим в глубокое подземелье. Коля встал, плотно закрыл дверь и зажёг настольную лампу. Но теперь черным цветом закрасилось окно, и навязчивое видение бледного лица за стеклом стало особенно жутким. Коля нервно задёрнул штору и, не выключая света, лег в постель, натянув одеяло до самых глаз. Внезапно его охватило тревожное и тоскливое ожидание завтрашнего дня. По непонятной причине, без каких-либо ожидаемых тревожных событий грядущий день казался ему надвигающейся... катастрофой, до которой, если он ничего не придумает, осталось всего несколько часов. Он невольно посмотрел на громко тикавший на столе будильник и тут же понял, что совершил тяжёлую ошибку: звуки старого будильника врезались в слух мерным тиканьем заведённого часового механизма адской машины, отсчитывающего оставшиеся ему для принятия решения секунды. И эти звуки сжимающегося с каждым ударом времени наполнили его тугой жгучей тревогой,

как у подсудимого в последнюю ночь перед судом.

Коля затолкал будильник в бельевой шкаф, а затем снова лег, уставив бессонные глаза в потолок. Перспектива завтрашнего дня, очередная обычная встреча с одноклассниками и учителями всё больше принимала форму рокового, поворотного в его жизни события, когда он должен будет принять определяющее его судьбу решение, а затем отстаивать его, несмотря ни на что. Но при этом он знал, что ни твердости для первого, ни сил для второго у него нет. И эта необходимость справиться с надвигающимся неостановимым, как приближение поезда, событием заставляла его мысли метаться в поисках выхода, подобно выпущенным в тесной комнате птицам. И исподволь, как свет приближающегося утра, стала подкрадываться подсказка: «травка» — сигарета с «травкой», которую он завтра выкурит. Коля со страхом гнал эту мысль. Он был умный мальчик (почти сплошь «пятерки»[1] в его дневнике подтверждают эту оценку автора) и понимал, что втягивается в порочный круг: завтрашняя доза «травки» с ещё большей настойчивостью потребует следующую, а та, в свою очередь, ещё одну, ещё настойчивей — и так далее, до бесконечности (вернее, до неизбежного в таких случаях конца). Коля почти со слезами, почти с истерикой убеждал себя, что завтра он ни при каких обстоятельствах, ни за что на свете, не возьмёт эту сигарету — и прежде всего для того, чтобы доказать себе, что для него это просто развлечение, способ хорошо провести время, не больше, от которого он, если захочет, откажется в любой момент; и завтрашний день будет этому доказательством. Но при этом в глубине души, как в будке суфлёра, что-то тихо шептало ему, что именно сигаретой с «травкой» завтра все и кончится.

— А вот посмотрим! — с вызовом сказал он вслух и решительно перевернулся на другой бок, намереваясь на этом спор с самим собой закончить; но противоположная сторона в ответ открыла перед ним картину завтрашнего дня — с лукавыми и насмешливыми улыбками одноклассников, строгими глазами учителей, с вызовами к доске и приглашением на игру в баскетбол (одинаково суровыми для него испытаниями), с игривыми и насмешливыми глазами девчонок, их весёлыми и язвительными замечаниями, шутками, подначками, с его, Коли, ответными запинаниями, заиканиями, покраснениями, онемениями — и... сигареты с «травкой» в качестве простого и быстрого средства свои мучения прекратить. И вместе с этой картиной пришло понимание, что перед этим искушением он не устоит. Коля сбросил с себя одеяло и сел, обхватив руками колени, едва сдерживая бессильные слезы. Хотелось пойти к матери и забраться к ней под одеяло, как это он делал в детстве после приснившихся ему кошмаров. И только трезвое понимание карикатурности такого поступка у пятнадцатилетнего парня удерживало его от этого. «А, может, завтра не пойти в школу? Притвориться больным?» — подумал он.

На первый взгляд мысль была привлекательной. Но после долгих хмурых раздумий Коля отказался от нее, как неприемлемой. Сказаться больным означало вызвать у матери приступ острой тревоги — с долгими встревоженными сидениями у его постели, с ежечасными измерениями ему температуры, с вызовами на дом врача и пропусками своей работы, которые она потом будет отрабатывать по вечерам и в выходные дни; и он не представлял, как при таких обстоятельствах он сможет смотреть ей в глаза; а если потом выяснится, что он свою болезнь «придумал», то этом случае он от стыда умрёт.

«А если завтра все же взять эту сигарету — в последний раз! — внезапно ярко вспыхнула мысль. — Дело ведь не в наркотике — никакой зависимости после двух раз не бывает, — дело во мне самом. Кто мне мешает чувствовать себя так же легко и раскованно без этой сигареты? Никто ведь мне рот не затыкает и за руки-ноги не держит. Надо завтра — в последний раз, честно! — взять эту сигарету, посмотреть, почему так получается, всё хорошо запомнить, а потом всё повторить, но уже без сигареты — обязательно, во что бы то ни стало!» Найдя выход, Коля облегченно улыбнулся и моментально заснул.

Но, как читатели, наверное, уже догадались, завтрашний день в точности повторил предыдущий, включая подобную клятву перед сном. А за завтрашним днем пришёл послезавтрашний, а за ним ещё такой же — и так далее, в течение многих недель. И с каждым разом сигарета с «травкой», ритуал ей предшествовавший — борьба своих «хочу» и «нельзя», споры с самим собой, уговоры, запреты, уступавшие в итоге соблазну — становились спокойней и обыденней, подобно новому распорядку дня. Круг интересов, палитра желаний постепенно сузились до одного

1. В то время — высшая школьная оценка.

закутка «на стадионе» и заветной сигареты с цепочкой связанных с ними проблем, главными из которых были меры конспирации, чтобы о его пристрастии не узнала мать, и — где взять денег на следующую сигарету. Он давно, уже после первых дней своего нового «распорядка» забросил баскетбол, ему стали безразличны косые и презрительные взгляды девчонок, неодобрительные покачивания головой парней, замечания и выговоры учителей, и вообще все жизнеустройство людей этого возраста со школой в качестве несущей опоры и оси вращения для основной массы интересов, забот и устремлений (и в итоге — стартовой площадки для жизни дальнейшей). Все это медленно, но неуклонно, подобно наползающему леднику, вытеснили из его души закуток «на стадионе» и сигареты с «травкой». При этом все более болезненными и трудноразрешимыми становились упоминавшиеся выше связанные с ними проблемы. Однако и здесь наблюдалась своя последовательность приоритетов. Так, вначале абсолютный, затмевающий все остальные страх, что о его пристрастии узнает мать, постепенно становился все глуше и мельче (как, впрочем, все более холодными и отстранёнными становились его чувства к матери; так, например, её неоднократные попытки вызвать его на откровенный разговор, выяснить, что с ним происходит, вместо былых смущения и чувства вины теперь вызывали у него только досаду и с трудом сдерживаемое желание нагрубить; а обычные в прошлом ласки и поцелуи — непонятные раздражение и даже злость); зато проблема денег на каждую следующую сигарету за это же время выросла до размеров крутой заоблачной вершины, куда он должен был взбираться каждый день. Шесть тысяч в месяц на карманные расходы было лишь пятой частью от необходимой суммы. Он давно потратил все свои накопления, которые у него сложились от сэкономленных в свое время карманных денег и тех, что у него остались после его дня рождения, когда ему сделали подарки наличными деньгами бабушка и «дедушка Жора» (бабушкин муж, про которого он знал, что бабушка вышла за него замуж после смерти его настоящего деда, отца его матери, и по непонятной для него самого причине просто «дедушкой» он его никогда не называл), сумел продать одноклассникам кое-что из своих личных вещей; но все равно денег катастрофически не хватало, и мучительные раздумья, где их достать, занимали теперь его мысли все свободное от «кайфа» время. А однажды Коля с ужасом обнаружил, что одной сигареты в день ему становится мало; что и по вечерам его начинают одолевать тошнота, слюнотечение, нудная тянущая боль под ложечкой и мучительный не то зуд, не то мелкие судороги по всему телу, которые терзали его всю ночь (сон превратился в пытку, когда после долгих ворочаний в постели, укладываний по отдельности рук, ног и головы в безуспешных попытках найти удобную позу, вставаний, бесцельной ходьбы по комнате и затем следующих — со страхом новой неудачи — попыток улечься спать, он проваливался, наконец, в душную яму забытья с яркими фильмами-ужасами снов и просыпался в холодном поту затемно, с тоской считая оставшиеся до рассвета часы и минуты) и проходили только утром, после первых затяжек вожделенной злополучной сигаретой с «травкой». И тогда Коля понял, что с этой напастью ему не совладать.

Понимание пришло так же вечером... вместо очередной клятвы. Причём, он сознавал, что этот вывод равняется смертному приговору — рано или поздно (умный ведь был мальчик). Но к своему удивлению, паники не ощутил — а только тупое мрачное раздражение и еще... страх перед завтрашним днем: денег на завтрашнюю сигарету-дозу у него не было.

Он сидел в своей комнате на кровати, вымывшись и почистив зубы (эти гигиенические процедуры он теперь делал с непонятной ему самому неохотой, только во избежание ссоры с матерью) и с ненавистью думал о Французе: с недавних пор тот повысил цену за свой товар — до полутора тысяч за сигарету. «Инфляция» — объяснил Француз с ухмылкой, воспоминание о которой вызвало у Коли особенно жгучий приступ ненависти.

— Гад! — вслух вырвалось у него. — Паскуда: высчитал. Матери на столько зарплату не подняли.

Но все-таки надо было думать, что делать: мысль обойтись завтра без сигареты с «травкой» ему в голову не приходила — даже на миг представленная возможность этого бросала его в холодный пот. «Но что делать, что придумать?! — лихорадочно стучало в голове. — Попросить ещё раз у матери? Ну, например, на цветы для классной. Скажу, сбрасываемся ей к... ну просо так, за её доброе к нам отношение... Нет, полторы тысячи на цветы — это много, мать может не поверить. (С некоторых пор — как-то незаметно, само собой получилось — он в своих

раздумьях заменил слово «мама» на «мать»). Да и брал я недавно на цветы. Ну, тогда на подарок однокласснице — ко дню рождения. Нет, тоже было — на этой и на прошлой неделе. А может, на ремонт в школе? Посреди учебного года? Тоже придумал! Про это вранье мать узнает, не проверяя». Был большой соблазн взять деньги у матери, не спрашивая, в надежде, что она не заметит. Несколько раз он так уже делал — совсем небольшую сумму и только тогда, когда у неё в кошельке накапливалась толстая пачка купюр, — в надежде, что она не заметит. Но однажды после очередного такого изъятия он почувствовал, что мать о его воровстве узнала. Воспоминания о том, что он тогда пережил, заставили его отказаться от этой мысли. Оставалось взять сигарету в долг. Но он ещё не рассчитался за прошлый раз, а без этого снова в долг Француз, скорее всего, больше не даст. Занять денег тоже было не у кого — кроме нескольких школьных ростовщиков. Но у тех каждую взятую в долг тысячу надо было возвращать со ста рублями сверху — это если через неделю. А через две недели — с двумястами, через три — с тремястами и так далее. Перед глазами снова всплыло лицо Француза, его самодовольная ухмылка, колюче сощуренные глаза. Коля почти физически — до тяжести в руках и зуда под ногтями — ощутил, с каким наслаждением он вцепился бы в это ставшее за последние недели каким-то особенно гладким, лоснящимся и... ненавистным лицо.

С трудом отогнав свои фантазии, Коля с тоской посмотрел на разостланную постель: возможность заснуть до того, как он найдёт способ раздобыть завтра деньги, была для него непредставимой. Он встал и несколько раз нервно прошёлся из угла в угол по комнате, ощущая себя словно в одиночной камере. Его взгляд снова остановился на белом прямоугольнике постели. «Вот было бы здорово сейчас заснуть и больше никогда не проснуться», — заворожённо подумал он.

Мысль об этом была неожиданно сладкой и чарующей, как мечта о волшебном разрешении всех его проблем. Но при этом он отдавал себе отчет, что мечтает о... самоубийстве. Прикусив губу, Коля изо всех сил зажмурился, чтобы сдержать слезы.

В комнату, тихо постучав, вошла мать. Она всегда, сколько Коля помнил, входила в его комнату только после предварительного стука в дверь. Сев на стул возле письменного стола, она неуверенно поправила его под собой, а затем подняла на сына какие-то бледные, потухшие, в красном ободе воспалённых век глаза.

За последнее время мать заметно осунулась, побледнела, но только сейчас Коля близко и ярко увидел, как она изменилась.

— Коля, — натянуто сказала она (былое «Колюшка» тоже как-то незаметно исчезло из обихода), — мне сегодня выплатили премию за сданный проект — приличную сумму, — и я хочу... с тобой поделиться.

Коля удивленно поднял брови.

— Не удивляйся и ничего не спрашивай, — торопливо продолжила мать, словно опасаясь не успеть сказать что-то важное. — Просто я хочу сделать тебе этот подарок. Ведь мы семья... — В этот момент выдержка ей отказала: она запнулась, на долю секунды замерла с искривленным ртом, как от острой боли в горле, а затем торопливо отвернулась, положила на стол деньги и вышла из комнаты.

Коля с некоторым оглушением смотрел на закрывшуюся за ней дверь, на оставленные ему деньги. Привычная радость от разрешения главной проблемы завтрашнего дня сильно отдавала горечью: как-то слишком уж больно задела сейчас мать то место в его душе, где обитала совесть.

Угрызения совести в той или иной степени Коля испытывал после разговоров с матерью всегда, с первых дней своего пристрастия, но быстро научился подавлять их тем, что... выбора у него нет. Но сегодня неожиданно и необъяснимо (обычными словами, тихим спокойным голосом) мать довела их болезненность до степени раскалённых клещей. «Боже, как все надоело! — с тоской подумал Коля. — Вот бы, в самом деле, сейчас заснуть и больше никогда не проснуться».

На следующий день в закутке «на стадионе» собралась обычная компания завсегдатаев.

— Деньги принёс? — не отвечая на приветствие, раздраженно спросил Француз, когда Коля, прочавкав по узкому проходу, присоединился к стоявшим в нетерпеливом ожидании «раздачи доз» подросткам. — А то мне это уже надоело. Следующий раз я тебе точно счетчик включу.

Коля посмотрел на его искривленное досадой лицо — злой прищур глаз, недовольно поджатый рот, вздувшиеся желваки на щеках — и неожиданно, впервые за все время своего обитания в закутке «на стадионе», ощутил не страх, а ненависть. Это чувство неожиданно пришлось ему удивительно впору,

как легкая спортивная куртка после тесного застегнутого на все пуговицы пиджака. Глубоко вздохнув, он вынул из кармана деньги, протянул их Французу и, с наслаждением давая себе волю, сказал:

— Держи свою капусту, гнида. Что б ты ею когда-нибудь подавился. Никогда не думал, что ты такой жлоб!

Француз взял деньги и застыл, похоже, не сразу поверив своим ушам.

— Что-о?! — убедившись, что это не слуховая галлюцинация, затем грозно протянул он. — Что ты сказал, щенок?! А не боишься, что я тебе язык отрежу?

— Ты?! — фыркнул Коля. — Никогда! Кого же ты тогда доить будешь? С твоей жадностью ты быстрее себе яйца отрежешь.

От изумления Француз некоторое время стоял с открытым ртом, искушая судьбу на то, чтобы кто-нибудь ему туда плюнул. Остальные подростки, обступив их кругом, смотрели на него и Колю кто с удивлением, кто с испугом, а кто с откровенным злорадством.

— У тебя что, крыша поехала? — овладев собой, процедил сквозь зубы Француз. — Белены вместо «травки» накурился? Я тебя, сучонок, сейчас выкину на хрен отсюда — будешь потом за мной на коленях ползать, чтобы я тебя здесь снова пригрел.

Колю словно хлестнули мокрой тряпкой по лицу.

— Ну, сука! — хрипло выдохнул он, не в силах сдерживать в себе жгучую ослепляющую ненависть ни секунды больше. — Посадил на крючок, а теперь измываешься?! Ладно, пусть я сдохну, но я тебя с собой утащу!.. — И, не найдя больше слов для облегчения этого физически ощутимого страдания, Коля неожиданно для себя плюнул Французу в лицо.

Подростки вокруг ахнули и испуганно замерли. Француз медленно вытерся рукавом, а затем молча, с широким замахом ударил Колю кулаком в лицо.

Удар пришёлся на область верхней челюсти. Искры брызнули у Коли из глаз. В стремительном вращении пронеслись облака, солнце, деревья, крыши окрестных домов. В следующее мгновение он очутился на земле, ощущая ладонями скользкую влажную почву. В голове раздавался ритмичный, давящий на виски гул, во рту скопилась солоноватая влага, а левая щека наливалась распирающей тяжестью, словно в неё шприцем вводили лекарство. Впервые в жизни его ударили по лицу, и Коля вдруг подумал, что это совсем не страшно и... не больно. Сверху, закрывая полнеба, склонилось лицо Француза.

— Ну что, сучонок, заткнулся? Или ещё хочешь?

Колю обдало жарким терпким воздухом от его рта. Не видя ничего, кроме ненавистного лица, он вскочил на ноги, вцепился Французу в волосы, рванул их сторону, а затем с неумелым замахом ударил кулаком — раз, другой, третий, — больно ушибая пальцы и ощущая пронзительное наслаждение — как от утоления мучительной жажды.

От неожиданности Француз растерялся и, закрываясь руками от сыпавшихся на него с разных сторон ударов, толчков, дерганий и рывков, лишь изредка пытался ударить в ответ. Но, в конце концов, изловчившись, он оттолкнул от себя своего противника и тяжёлым размашистым ударом снова сбил его с ног.

На этот раз Коля ясно видел его замах, видел летящий ему в голову кулак, но, совершенно не представляя, что в таком случае надо делать, в последний миг лишь изо всех сил зажмурился. Губы обожгло словно кипятком. В голове снова раздался гулкий звон, а земля ушла из-под ног, подобно коврику, выдернутому шаловливой рукой.

Оказавшись на земле, Коля с необычной яркостью и подробностью, точно в замедленной киносъемке, видел, как Француз, скривив губы в кривой улыбке, двинулся к нему, саднящей кожей лица почувствовал, куда будет нанесён следующий удар, и с нарастающим звоном и гулкими ударами пульса в ушах невольно отсчитывал остававшиеся до рокового мгновения секунды. Страх впервые за все это время шевельнулся у него в груди. Он неловко, на подгибающихся руках попятился, уткнулся спиной в кирпичную стену и замер, глядя широко раскрытыми глазами на приближение своего палача. Но в этот момент со стороны стадиона послышался рёв моторов подъехавших на большой скорости машин, визг тормозов, хлопки дверей. Француз замер и побледнел. В следующее мгновение в закуток ворвались несколько человек в камуфляжной форме омоновцев. Француз быстро сунул руку в карман, пытаясь выбросить пачку злополучных сигарет, но один из омоновцев, разгадав его намерение, перехватил его руку.

— Куда?! Гадёныш! Не двигаться! — С этим словами омоновец повалил Француза на землю, с помощью другого омоновца за-

вернул ему за спину руки и защёлкнул на них наручники.

— Всем стоять! Лицом к стене! Руки на стену! Быстро! — тем временем выкрикивал третий омоновец.

Выполняя его приказания, подростки испуганно сгрудились возле кирпичного забора и, поворачиваясь к нему лицом, растопыривали руки на его шершавой, расчерченной швами, словно зарешёченной, поверхности.

— А тебе особое приглашение надо? — остановившись перед Колей, раздраженно сказал один из особистов: — Встать! К стене! — и для пущей убедительности пнул его в бок носком обутой в тяжёлый, точно специально для этой цели скроенный ботинок ноги.

Ощущая тошноту и головокружение, Коля поднялся и встал в ряд с остальными. В закуток вошли два милиционера с погонами майора и лейтенанта, директор школы, завуч и... Колина мать. За эти несколько часов, что прошли после их расставания утром, она буквально посерела. На её бледном лице затравленно блестели опухшие от слёз глаза, губы вытянулись в тонкие бесцветные полоски, а худые нервные руки то и дело сжимались в маленькие острые кулачки, а затем, после нескольких секунд сильного, до побеления, сжатия стремительно распрямлялись с предельным разгибанием тонких, похожих на засохшие прутики пальцев, неожиданно ярко подчёркивая мертвенно-неподвижную бледность лица. Коля зажмурился от жгучей, как выплеснутая в лицо кислота жалости.

Тем временем омоновцы быстро и деловито обыскали всех подростков. (Сквозь их жёсткие бесцеремонные руки прошёл и Коля. При этом у него было ощущение, что он попал в работающий механизм бездушной машины, железные клещи и тиски которой двигались с заведенной неумолимой последовательностью). Сигареты с марихуаной нашли только у Француза. Не снимая с него наручников, его затолкали в стоявший рядом с входом в закуток милицейский УАЗик. Следом в салон этой передвижной тюрьмы поднялись майор, лейтенант, директор школы и завуч. Остальных подростков посадили в остановившийся чуть поодаль автофургон. Взревев моторами, машины поехали в сторону ворот стадиона — подскакивая на неровностях почвы и встряхивая, подобно дровам или ящикам, испуганно жавшихся друг к другу подростков.

Задержанных привезли в районное отделение милиции. Француза повели куда-то вглубь здания, а остальных подростков посадили в огороженную металлической решёткой камеру. Камера находилась в просторном помещении с двумя входами, по которому в разных направлениях озабоченно проходили милиционеры, люди в штатском; за столами вдоль стен два милиционера беседовали с пожилыми мужчинами — небритыми, в потрёпанной грязной одежде — не то нарушителями, не то потерпевшими. В какой-то момент в проёме одной из дверей Коля увидел мать — испуганную, жалкую, с красными от слёз глазами. Затем появились прежний майор, участвовавший в задержании на стадионе и завуч школы. Они сели за один из столов и стали по одному вызывать к себе задержанных подростков, которых после нескольких минут допроса отпускали домой. Когда очередь дошла до Коли, он вышел из камеры, ощущая на себе почти физически жжение от взгляда матери, стоявшей в коридоре напротив одной из дверей. Вопросы майора были прямыми и простыми — фамилия? имя? адрес? место учебы? что делал в момент задержания? с какого времени употребляет наркотики? у кого брал наркотик? по какой цене?... Коля отвечал кратко и правдиво, не имея ни желания, ни сил думать над смыслом этих вопросов и последствиями своих ответов, только страстно желая, чтобы все это быстрее кончилось — не важно, чем и как, но только быстрее.

Когда его после окончания допроса отпустили, Коля вышел в коридор с ощущением жгучих, как удар плети, стыда и угрызений совести перед матерью. Что-то подсказывало ему, что его боль, как физическая, так и душевная, не идет ни в какое сравнение с болью, которую он причинил ей. Дождавшись его, мать, не говоря ни слова, резко повернулась и пошла к выходу. Опустив голову, Коля понуро двинулся следом.

Коля шёл рядом с матерью по шумному оживлённому проспекту Скорины, не слыша ничего, кроме шороха своих шагов. Тупо болела ссадина на лице, распухшие губы щемили едкой неровной болью, и у Коли было ощущение, что к ним приклеились комочки соли, которые хотелось сковырнуть языком, но каждое прикосновение к ним лишь усиливало боль. Но самым болезненным было... молчание матери. Коля почти физически чувствовал, как с каждым шагом оно все сильнее давит ему на уши и впивается в кожу тысячами иголок, и он с безотчётным

страхом смотрел на простиравшуюся перед ним, терявшуюся вдали в дымке тумана и выхлопов газов тысяч машин улицу, словно это был несущийся к обрыву поток, который вот-вот захватит его и понесёт в бездну, не оставив никакой возможности зацепиться за берег...

— Мам! — не выдержав, взмолился он, остановившись и повернувшись лицом к матери. — Прости меня! Я не буду так больше! Честно! Я не знаю, как это все получилось...

Мать тоже остановилась и посмотрела ему с близкого расстояния в глаза. Впервые Коля так подробно увидел, как в глазах человека отражается боль: вначале глаза матери смотрели неподвижно, в широких зрачках, казалось, мерцали отблески какого-то глубинного огня, затем глаза сузились, между бровей легла темная складка, а огонь в глазах вдруг вспыхнул ярко, как пойманный зеркальцем солнечный луч.

— Честно?! — смахнув прокравшуюся слезу, гневно спросила мать. — А сколько стоит твое «честно»? Тысячу? Две? Или оно уже подешевело? Ты скажи, я тогда куплю их у тебя несколько вперед... — Она запнулась перед тем, как сказать то, что жгло ей голосовые связки, а затем твёрдо и внятно произнесла страшное в её устах слово: — Засранец! — И, резко отвернувшись, она пошла дальше по проспекту, не оглядываясь, ступая твёрдо и прямо держа голову — как человек, который принял окончательное и бесповоротное решение.

Коля растерянно смотрел ей вслед. Что-то ему подсказывало, что это не просто очередная его ссора с матерью, очередная её попытка что-то выправить в его поведении. И дело даже не в том, что впервые она разговаривала с ним так жестко, даже жестоко, что впервые он услышал от неё грубое, граничащее с матерным слово. Самым обидным было то, что она ушла, не дав ему ничего сказать в своё оправдание, оставив его одного на этом шумном бесконечном проспекте — то есть, фактически предала его, потому что сейчас её участие и поддержка были ему нужнее воды и пищи... И тут неожиданно выпрыгнул вопрос: а нужнее сигареты с «травкой»? Вопрос прозвучал, подобно неожиданному хлопку выстрела возле уха, причём, не дословной своей сутью, а непрямым, побочным, но оглушающим как удар дубины выводом: отныне сигареты с «травкой» ему брать негде.

Паника, словно он провалился в чёрную душную яму, над которой только что задвинули чугунную крышку, охватила Колю. Забыв про мать, её «предательство» и свою в связи с ним обиду, он замер посреди тротуара, прикусив губу и глядя перед собой широко раскрытыми не видящими ничего, кроме случившейся катастрофы, глазами. «Что делать?! Где достать?! — лихорадочно стучало в голове. — Как... теперь быть?!» Однако какие-то клетки его мозга, сохранившие среди хаоса жажды остальных способность генерировать электрические импульсы в нормальном физиологическом режиме, внятно и логично напомнили ему, что сегодня он уже «был» без наркотика, о котором вспомнил только сейчас, что вокруг «есть» масса людей, которым наркотик совершенно не нужен, и при этом они вполне довольны жизнью, и что, наконец, ещё совсем недавно он сам свободно обходился без «травки» и не считал это катастрофой. Перед глазами вновь возникла мать, которая «предала» его. Предала? А что значит «предать»? Согласно словарю Ожегова, это «вероломно отдать во власть кого-либо». В чью власть отдала его сегодня мать? Наоборот, пока она его вырвала из лап жестокой коварной власти. Пока... И вновь напоминание о том, что скоро полдень, а он ещё не выкурил своей сигареты-дозы, и что такой возможности у него в обозримом будущем нет, бросило его в жар. Но на этот раз тот, второй Николай, который вдруг проснулся в нем после месяцев наркотического рабства, с мазохистским удовлетворением мысленно произнёс: «Ну и что? Не сдох же». А затем, доведя свое раздвоение до логического завершения, Коля с усмешкой сказал вслух:

— А о матери ты уже не вспоминаешь. Так что тебе важнее: твои отношения с ней — или «травка» уже заменила тебе и их?

Он посмотрел на простиравшуюся перед ним улицу: сотни людей проходили мимо с озабоченным и деловитым видом, обычным для начала рабочего дня; однако слышны были и весёлые восклицания, беззаботный смех; нескончаемый поток машин, автобусов и троллейбусов струился вдоль по улице с точным знанием водителей и пассажиров конечных пунктов их езды; на скамейке в скверике неподалеку пенсионеры играли в шахматы, несколько молодых мамаш с колясками собрались возле другой на традиционную «пятиминутку» — обычная жизнь, обычные, но такие недостижимо счастливые люди. Почти наяву увидел Коля выросшую между ним и всеми этими людьми стену, которую не обойти и не перелезть, которую

можно только проломить — отчаянным броском, собрав всю без остатка волю и уцепившись на той стороне за все возможные опоры, когда поднявшийся вслед за этим вихрь будет затаскивать его в пролом обратно. Но при этом он вдруг с твердостью и ясностью, доставившей ему необъяснимое облегчение, как защёлкнувшийся замок кольца парашюта перед прыжком с самолета или (простите автора, ветераны, за несопоставимое сравнение) знаменитый приказ Сталина во время войны «Ни шагу назад», понял, что другого выхода у него нет; что отныне, с сегодняшнего дня, хочет он этого или нет, будет он этому сопротивляться — пусть даже упираться всеми четырьмя конечностями, биться головой о стену и рвать на себе волосы — или нет, но он сделает этот рывок на ту сторону пресловутой стены, и никакая сила не затянет его потом обратно.

ГЛАВА 3

Тамара Николаевна Завьялова (в девичестве Столярова) с раннего детства, с первых осознанных лет, определила своё место в жизни за крепкими мужскими плечами. Её отец, полковник в отставке, в прошлом военный летчик, был человеком строгого и даже, не будет преувеличением, властного нрава, что, впрочем, у него спокойно уживалось с фанатичной любовью к своему единственному ребёнку — Тамаре. Он был намного старше своей жены, и дочь у него родилась тогда, когда другие в его возрасте уже заводят внуков. Повидав в жизни всякого, встречавшись со смертью чаще, чем иные видятся со своими родственниками, он, судя по всему, полагал, что выпавшая ему возможность дожить до своих лет это такая же удача, как выигранный в лотерею автомобиль, и поэтому главной целью оставшегося ему отрезка жизни поставил — успеть дать надёжные стартовые возможности для самостоятельной жизни дочери. И хотя он никогда не говорил этого вслух и даже, наверное, если бы кто-нибудь спросил у него об этом прямо, то, скорее всего, получил бы отрицательный ответ (не исключено, что вместе с пожеланием катиться с подобными вопросами куда-нибудь подальше), во всех его поступках, заботах, причинах радости или, наоборот, гнева угадывалось именно это замешанное на страхе не успеть стремление. Впрочем, площадь ожогов на его теле и число шрамов после фронтовых ран делали этот страх вполне объяснимым.

Вследствие этих обстоятельств детство и юность Тамары прошли под знаком двух неприкасаемых фетишей — отличной учёбы и здорового образа жизни. Но справедливости ради (в предупреждение упреков старому фронтовику в чрезмерной строгости) здесь надо отметить, что эти неподъёмные для иных голов задачи решались у неё легко и быстро, ничуть не отравляя того, что называется счастливым детством и беззаботной юностью. Так, например, читать и считать она научилась задолго до школы — Тамара даже не помнила когда: кубики с буквами, счётные палочки и книжки с яркими картинками, подписи под которыми она читала сама, были уже в самых первых оставшихся в её памяти воспоминаниях. Поэтому, когда она пошла в школу, то страдания сверстников над расшифровкой тайнописей, вроде «ма-ша е-ла ка-шу», вызывали у неё непонимание и смех. И это непонимание («Ну, и что тут такого!») и радостное, как к интересной увлекательной игре, отношение к учёбе Тамара в разных формах, но с одной сутью сохранила на все годы своей школьной, а затем студенческой жизни. Соответственно, никогда учёба не была для неё тяжким трудом или скучной досадной необходимостью, а сопровождавшие её «пятёрки» в дневнике, а потом в зачётной книжке она воспринимала как нечто, само собой разумеющееся — подобно тому, что снег холодный, а сахар сладкий.

Что касается второго фетиша, то утренняя зарядка, пробежки по стадиону, обливания холодной водой и занятия спортом были для неё с раннего детства строго обязательны (вернее, естественны — подобно дыханию, еде, питью и учёбе в школе). Но и здесь для полноты сравнения необходимо добавить слова: вкусный (сладкий), ароматный и интересный — подобно вкусной еде, сладкому питью, аромату цветов и увлекательной, захватывающе-интересной учёбе в школе. Потому что утреннюю зарядку и пробежки по стадиону она всегда делала вместе с отцом (успел-таки фронтовик), и в этой части её «долг и обязанность» принимали форму восторга от общения с обожаемым человеком; а обливания холодной водой и тренировки в гимнастическом зале, особенно после нескольких успешных соревнований, свидетелями которых были отец и мать, однозначно доставляли физическое наслаждение и ещё ни с чем не сравнимую радость победы — радость преодоления трудностей и утверждения себя первой среди сверстников.

Результатом такого спартанского в хорошем смысле слова воспитания, помимо прочего, явилось то, что мужское участие в своей жизни Тамара с первых лет воспринимала подобно таким же обязательным компонентам, как земля, солнце, воздух; а если сделать сравнение более точным и подробным — подобно надёжному комфортабельному автомобилю, в котором она полновластный... пассажир, который волен пользоваться всеми удобствами салона, скакать на сиденьях и сидеть, задрав ноги, но который не может изменить направление движения автомобиля или его скорость. Так, например, как уже говорилось, в школе и, в последующем, в университете Тамара все годы была круглой отличницей в учёбе и образцом в поведении. Но дважды за это время она сходила с этих рельсов, и оба раза твёрдая отцовская рука ставила её на них обратно.

Первый раз это случилось на её седьмом школьном году. В их классе появился новый ученик, Андрей Полежаев, приехавший с родителями из Ленинграда. Он был высокий стройный юноша с голубыми, как небо в ясный день, глазами, русыми вьющимися волосами и начинавшим прорезаться баском, которым он одинаково хорошо пел под гитару и рассказывал увлекательные истории о Ленинграде—Петербурге, об индейцах Америки и легенды о космических пришельцах. Все девчонки в классе влюбились в него мгновенно. Но особенно тяжело эта болезнь протекала у Тамары. Полежаев безраздельно владел её мыслями большую часть времени суток — приходил во время сна (в качестве жарких сладких сновидений), склонялся над изголовьем её кровати после звонка будильника, делал вместе с ней и отцом утреннюю зарядку и стоял у неё перед глазами во время уроков (особенно во время приготовления их дома, что неизбежно сказалось на их качестве). Те дни, когда они вдвоём шли в кино, в цирк или на прогулку в парк и, особенно, когда оставались наедине в его комнате в просторной удобной квартире в центре города — его несмелые прикосновения, отчаянная борьба её «хочу» и «нельзя», в которой последнее пока одерживало верх — наполняли Тамару такой сладкой негой и таким бурным восторгом одновременно, что, оглядываясь назад, она со смесью запоздалого страха и благоговейного трепета поражалась, как она без этого могла раньше жить.

Но вдруг, без какого-либо с её стороны повода, как гром среди ясного неба, Полежаев эти отношения разорвал. Причём сделал он это самым простым примитивным способом, подобным тому, каким дети за столом со словами: «Всё, наелся» — отодвигают от себя тарелку. Для Тамары это было настолько неожиданно и невероятно, что она долго осаждала его вопросами, просьбами, даже мольбами и слезами (с ухмылками, пожиманиями плеч и неприкрытой зевотой в ответ), заступая далеко за границу того, что называется женской гордостью. В конце концов, немного остыв и оглядевшись, Тамара увидела, что в своей беде она не одинока, что через подобные муки прошли многие девчонки её и соседних классов. Более того, судя по всему, эти муки были главной целью и самым большим удовольствием Полежаева. И тогда её чувства к нему круто поменялись на ненависть. Но это была ненависть необычного свойства. Тамара могла ненавидеть Полежаева всеми фибрами своей души, с наслаждением фантазировать, как бы она во всеуслышанье назвала его бабником, а в ответ на его ответное оскорбление влепила бы на глазах у всего класса пощёчину; или как бы ему «дал по морде» старший брат какой-либо из подруг по несчастью (она всегда жалела, что у неё нет старшего брата); но первая же встреча с ним, его обращённая ко всем улыбка, звуки его голоса (особенно, когда они раздавались неожиданно) бросали её в жар, в отчаянное сердцебиение и страстную надежду, что их отношения когда-нибудь вернутся к прежним ярким и счастливым дням. Боже! Если бы эта надежда была реальной! Она бы тогда была готова на всё — молить о прощении, встать перед ним на колени; бросить семью, школу и уехать с ним в другой город...

Красивый профиль Полежаева, когда она тайком наблюдала за ним на уроках и, особенно, во время перемен, в неизменном окружении стайки воздыхательниц, вызывал у неё жгучее, похожее на удушье чувство, от которого она изо всех сил зажмуривалась и кусала губы, чтобы сдержать слёзы или желание вцепиться какой-либо особо ретивой в своем кокетничанье однокласснице в волосы.

Но уроки заканчивались, и Тамара шла домой опустошённая, не желая ни с кем разговаривать, ни даже видеть никого из подруг, ни даже родителей — не находя никакого смысла своей дальнейшей жизни. А подобные переживания с успешной учёбой несовместимы. (Впрочем, есть примеры, когда они несовместимы и с жизнью).

И вот в этот критический момент, когда любовь стала бедой, когда святое, дарованное Создателем для продолжения жизни чувство стало для жизни Тамары угрозой, ей на выручку пришёл отец. На мой взгляд, есть прямая связь между самоотверженностью на фронте и таким, казалось бы, далеким от этого чувством, как родительская любовь. Возможно, кто-то с таким утверждением не согласится, но я, хоть убейте, не могу представить себе шкурника и труса на войне любящим отцом в мирной жизни или, наоборот, чтобы пьяница и семейный дебошир закрыл грудью амбразуру или направил горящий самолет в колонну вражеских танков.

Но вернемся к Тамаре и её беде. В один из вечеров, когда она, сделав уроки, поужинав и закончив обычные домашние дела, готовилась лечь спать (в подавленном более, чем всегда, настроении), в её комнату вошел отец. Плотно закрыв за собой дверь, он выдвинул из-за письменного стола стул и неторопливо сел напротив дочери, обернув к ней свое обожжённое, морщинистое, но странным образом красивое лицо. (Впрочем, если под красотой понимать те чувства, которые её носитель вызывает у окружающих, то ничего странного тут нет. Для иных случаев в русском языке есть слово — смазливое). Его пристальные серые глаза, глубокая складка между бровей и белёсые, словно стянутые клеем, пятна на месте былых ожогов вдруг поразили Тамару чем-то новым, чего она раньше в этом знакомом до последней черточки лице не видела. Ещё не понимая, в чем заключается это новое, не отдавая даже себе отчёта, что она делает, Тамара вскочила с постели и обвила отца за шею мёртвой хваткой, подобно тому, как утопающие хватаются за подвернувшуюся в последний миг опору. Отец молча прижал её к себе и ласково погладил по голове. Дрожь от этого прикосновения судорогой пробежала по телу Тамары, и, словно это был особый мышечный разряд, сорвавший запоры сдерживаемых из последних сил слез, она разразилась громким безоглядным плачем. Но в отличие от прошлых бесчисленных слез, на этот раз они принесли облегчение. Трудно сказать, что явилось тому причиной — может, то, что отец, ни о чем не спрашивая, крепко прижимал её к себе своими мускулистыми руками, и Тамара чувствовала себя точно в глубоком надёжном убежище; то ли это было тепло его дыхания, жёсткая щетка выросшей за день щетины, которые всегда, с первых лет её жизни, вызывали у неё только восторг; а возможно, это было понимание (вернее, озарение), что она против своей беды не одна, что у неё есть отец, самый близкий ей человек, сильный и умный, у которого она всегда может найти помощь и *понимание*; но что бы то ни было, впервые за долгое время она не ощутила безысходности. Разжав объятия, Тамара посмотрела отцу в глаза. Отец улыбнулся и шутливым движением вытер с её лица слезинку. Тамара сквозь слезы невольно улыбнулась в ответ.

— Ну что, человечек, поплакала, конденсаторы разрядила, соединения смазала, теперь можно разговаривать, — с той же добродушной улыбкой сказал отец. — А теперь выкладывай: что у тебя случилось?

Этот вопрос он задал неожиданно жёстким безапелляционным тоном, резко контрастировавшим с его прежними шутливыми словами, и Тамара почувствовала себя схваченной неодолимой силой — не способной ни пошевелиться, ни отвести глаза, ни... утаить что-либо от самого близкого ей и неожиданно, неведомо до того властного человека. Её лицо снова сморщилось от близких слез, но, посмотрев в глаза отцу, она сдержалась (с удивлением обнаружив, что сделать ей это стало намного легче).

— Я не знаю, папа, — тихо сказала она, — честно, не знаю, что со мной происходит. Андрей Полежаев из моего класса... Он с родителями из Ленинграда приехал. Такой красивый мальчик... Мы дружили долго. А потом... потом... — Не выдержав, Тамара снова заплакала. — Я не могу без него, папа! Не могу! Жить не хочется! Я не знаю, чем я его обидела! Все было так хорошо, так здорово! Ну почему, почему?!

— Так все-таки обидела или нет? — с усмешкой спросил отец.

Оборвав плач, Тамара торопливо прокрутила в памяти все связанное с Полежаевым с первого дня их знакомства, но ничего, ни одного своего поступка или слова, которые могли его так бесповоротно обидеть, не нашла.

— Нет... не помню, — неуверенно ответила она, невольно пытаясь найти Полежаеву какое-либо оправдание, но, встретившись взглядом с отцом, твёрдо закончила: — Нет, папа, я его ничем не обидела.

— Понятно, — с прежней усмешкой сказал отец, а затем встал, подошёл к окну и долго смотрел на тускло освещённую улицу за окном, выбивая пальцами о подоконник тихую дробь.

Замерев на кровати, Тамара с неясной надеждой смотрела на его широкую спину, неосознанно боясь каким-нибудь резким движением или громким звуком помешать его раздумьям.

Наконец, приняв решение, отец с громким щелчком закончил использовать подоконник в качестве музыкального инструмента и резко, по-строевому развернулся.

— Значит так, дочка, — твёрдо сказал он, сев на прежнее место. — Давай мы наш разговор построим следующим образом: эмоции, переживания — отдельно; а факты, их причины и следствия и, главное, цель — чего же ты все-таки хочешь — тоже отдельно. А потом наложим одно на другое и посмотрим, почему так получилось, и что надо сделать, чтобы цели — той, которую ты сама себе поставишь — добиться. Идет?

Тамара согласно кивнула, глядя на отца широко раскрытыми, блестящими от недавних слез глазами. Встретившись с ней взглядом, отец чуть слышно хмыкнул и раздраженно повел головой.

— Итак, тебе сейчас горько, плохо, больно, что даже жить не хочется? — продолжил он прежним парализующим волю Тамары голосом.

Не сводя с него глаз, Тамара утвердительно мотнула головой.

— Но только потому, что твой... э-э... друг бросил тебя, как куклу, которой он наигрался, и она ему надоела.

Тамара опять ответила молчаливым кивком, но затем прикусила губу: кивок у неё получился сам собой, как согласие с сутью, до того, как она осознала форму, в которую отец эту суть заключил. Но, уяснив форму, она неожиданно ярко и близко увидела, какой унизительной для неё является суть. Чувствуя себя не в силах дальше выдерживать взгляд отца, Тамара опустила глаза.

— Но если твой друг... твой Полежаев вдруг сменит гнев на милость и снова будет позволять тебе ходить с ним вместе в кино, на прогулки по городу или друг к другу в гости, — продолжал отец, — ты тогда... — в этом месте он чуть промедлил, подбирая слово, — утешишься?

Тамара вздрогнула и побледнела: слова «милость», «позволять» и, особенно, последнее — «утешишься» — резали слух и наотмашь стегали по её самолюбию; но при этом они абсолютно точно передавали существо дела, и её затоптанная, размазанная по стене гордость впервые за долгое время зашевелилась в ней, начала поднимать голову, как человек, которого приводят в чувство щипком или уколом иголки. Но в этот момент, представив себя на миг рядом с Полежаевым во всех перечисленных отцом случаях, угаданных им с удивительной точностью, словно он ходил за ними по пятам, она почувствовала, как сердце её, как в те счастливые дни, отчаянно заколотилось, кровь хлынула к лицу, а губы вытянулись в трепетные полоски, чтобы с замиранием прошептать: «Андрей!». Боже! Если бы это действительно было возможно! Она бы пошла за ним хоть на край света. И ни отец, ни мать, никто и ничто на свете не удержали бы её от этого.

Она посмотрела на отца просохшими глазами, в которых светилась твёрдая решимость пойти за своим избранником хоть на эшафот.

— Да, папа, я бы тогда... — она промедлила и с вызовом закончила фразу: — была счастлива.

Отец спокойно выдержал её взгляд и ответил ровным голосом, каким учителя в классе объясняют тему урока.

— Понятно. Но раз цель ясна, то надо действовать во имя её, а не вопреки, так?

Тамара удивленно подняла брови.

— Ведь ты умная девочка, должна понимать, — продолжал отец, — что никто и ничто не вернет тебе твоего Полежаева, если он сам этого не захочет. Это та область человеческих отношений, которая никаким доводам разума, долга, справедливости и так далее не подчиняется, а только чувству — или оно есть, или его нет. Зато хорошо известно, что этому чувству способствует, а что душит. Посмотри вокруг: сколько сейчас разводов. Чуть ли не каждая третья семья распадается. В масштабах планеты это миллионы и миллионы людей. Но с другой стороны, ведь другие две трети свои отношения, а значит и чувства, сохраняют. Следовательно, здесь есть какая-то закономерность, которую надо знать. Ведь знания определяют всё. Для человека, который не умеет ориентироваться в лесу, опасность заблудиться гораздо больше, чем для опытного грибника. Водитель, не знающий правил дорожного движения, рано или поздно попадёт в аварию, какой бы шикарный ни был у него автомобиль...

Тамара слушала, затаив дыхание, от волнения замерев в неловкой позе. Оказывается, Полежаев, её кудрявый голубоглазый Андрюша, может снова стать её, а их прежние отношения можно полностью восстановить. Нужно просто знать, как этого добиться.

Ведь это вроде нового предмета школьной программы, в котором она оказалась двоечницей. Вот стыдища! Ведь, действительно, даже наука такая есть — психология. Но раз всё упирается в знания, то она и тут будет отличницей. Отличницей из отличниц!

— Папа! Папочка! — прервала она отца, обвив его руками за шею. — Любимый... мой! (Она чуть на сказала — спаситель). Какое счастье, что я родилась у тебя! Всё правильно: такую рёву никто не полюбит. Мне бы это надоело ещё раньше. Но я исправлюсь, вот увидишь! Я буду его достойна!

Отец скривился, как от лимона во рту, но тут же закашлялся, отвернулся, скрыв таким образом свою гримасу. А затем посмотрел на дочь прежним властным взглядом.

— Ты достойна любого из своих сверстников, причём с большим запасом. Уясни это себе раз и навсегда. Другое дело, можешь ли ты быть им интересной. А вот это уже зависит только от тебя. Ты правильно заметила: плаксы и нытики не нравятся никому. Нравятся девочки умные, весёлые, спортивные — и не те, которые вешаются парням на шею, а те, из-за которых парни дерутся. Так было всегда и, надеюсь, так останется. Твой Полежаев только тогда будет свои с тобой отношения ценить, когда ты будешь весёлая, независимая и будешь нравиться другим, но, прежде всего, — нравиться себе. Так что, думай, дочка, ты же умная девочка. Составь себе план на ближайшие дни, на месяц, на год, и сверяй с ним свои поступки, вноси коррективы, когда увидишь расхождение...

Этот разговор имел для Тамары поворотное значение. Она вдруг увидела себя глазами Полежаева — несчастную плаксивую девочку, которая, как подаяние, выпрашивает каждую улыбку, каждое приветливое слово и, как верх милости, — несколько минут снисходительного разговора наедине. А ведь вначале было наоборот. Так, может, она сама в этом виновата? Сказал же поэт — «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Это про нее, Тамару. Но должно же быть хоть немного в другую сторону. И ведь было! Раньше, когда она жила весело, беззаботно, без этого груза на сердце, Полежаев буквально из кожи лез, чтобы ей понравиться. Значит, надо попробовать всё сначала. Хуже, чем есть, их отношения уже не будут. Но вдруг это как раз то, что необходимо для их лечения? А если нет, — Тамара вдруг, впервые за все время своей «болезни», ощутила чистую, без примесей тоски и жалости к себе, злость, — то пусть тогда катится к чертовой бабушке, на все четыре стороны, куда хочет!

Приняв решение, Тамара начала действовать. Прежде всего, она пересмотрела свой гардероб. До сих пор она была к одежде необычно для девочки своего возраста равнодушна, а в школу вообще ходила исключительно в школьной форме — коричневом платье и черном фартуке. Но для исполнения задуманного она, после долгих напряжённых раздумий и тщательных примерок, выбрала из своего гардероба легкое короткое платье, броско подчеркивающее её спортивную фигуру, прозрачные капроновые колготки (большая редкость для девочек в то время) и изящные босоножки на высоком каблуке. Дальше она принялась за причёску. Свои роскошные волосы она до сих пор заплетала в косу. Коса получалась длинная, тяжёлая и очень нравилась её родителям, особенно, отцу. Да и самой Тамаре расставаться с ней было очень жаль. Но к этому времени она вместе с привычкой к отличной учёбе (как, впрочем, и к первенству в спорте) выработала в себе привычку доводить задуманное до конца. Поэтому она без колебаний обрезала косу на половину длины и оставшиеся волосы уложила в броскую, несколько вызывающую, но очень шедшую ей причёску. Последнее из задуманного в отношении внешности касалось косметики. Косметика у девочек в школе в те времена, мягко говоря, не приветствовалась. Но отдельные амазонки отваживались иногда приходить на уроки с накрашенными ногтями, напомаженными губами и подведёнными глазами, что почти всегда влекло за собой гнев учителей с последствиями для модниц в диапазоне от раздражённых нотаций до вызова в кабинет директора и даже вызова в школу их родителей, после чего их горячее желание поправить упущения природы в своей внешности на время остывало. Но Тамара решила — семь бед, один ответ, — и выщипала в ниточку брови, накрасила тушью ресницы, а губной помадой — губы. В довершение всего она переложила свои учебники из школьного портфеля в изящную спортивную сумку, которую она носила на ремешке через плечо, и в таком виде пришла в школу.

Ее появление в классе произвело эффект внезапного гипнотического ступора. Одноклассники встретили её гробовым молчанием и широко раскрытыми изумлёнными глазами. (Хотя во многих случаях более точным словом будет — восхищёнными). Особенно смешным Тамаре показалось лицо

Полежаева — вытянувшееся в длину, сморщенное высоко поднятыми бровями, как у человека, встретившего своего знакомого, на чьих похоронах он был накануне. И одновременно она почувствовала, как в её душе вдруг сместилась, приоткрылась другой, неведомой ей до того стороной картина окружающего мира, в которой Полежаев неожиданно потерял качество центральной несущей конструкции, на которую прежде нанизывались все её жизненные ценности и интересы.

— Привет, девчонки! — задорно сказала она подругам на первой парте и невесомо простучала каблучками к своему месту в среднем ряду.

По классу пробежал ропот оживления. Подруги-одноклассницы, словно притянутые магнитом, сгрудились возле Тамары.

— Томка, молодчина! Как тебе идёт! — раздавались восхищённые возгласы. — И я так хочу! Но что скажут учителя?

Отношение к её затее учителей было самым уязвимым пунктом задуманного, но Тамара с отчаянной решимостью сказала себе, что, какие бы кары ни последовали, к старому возврата не будет — ни в её внешности, ни... в её душе. (Хотя, справедливости ради, надо отметить, главным в подобных поступках для людей этого возраста является, конечно, отношение к ним родителей. В своих родителях Тамара была уверена, и это, безусловно, добавляло ей смелости).

Но уроки прошли для неё неожиданно спокойно. Учителя смотрели на неё кто с удивлением, кто с раздражением, но выразить вслух свое отношение к такой метаморфозе лучшей ученицы класса никто не захотел. (Вернее, все одинаково захотели оставить эту долю классному руководителю). А на уроке литературы учительница, истолковав её наряд по-своему, даже похвалила:

— Тамара, ты, наверное, на репетицию собралась. (Кроме учёбы в школе и занятий спортом, Тамара ещё была членом труппы самодеятельного театра, о чем в школе, конечно, знали). Молодец: тебе очень идёт. У тебя хороший вкус.

(Все-таки авторитет — в данном случае, круглого отличника — вещь материальная: хотя его нельзя ни увидеть, ни примерить, ни попробовать на вкус, он часто определяет для людей качество как первого, так и второго и третьего. Никому в классе не сошло бы это так просто с рук, кроме Тамары. Хотя нельзя сказать, что это для неё осталось совсем без последствий. Но ведь последствия тоже во многом определяются авторитетом).

После уроков Тамару вызвал для беседы завуч школы. Когда она вошла в его кабинет, там уже была её классный руководитель.

— Тамара, скажи на милость, это что за маскарад?! — раздраженно сказала классная, едва Тамара переступила порог кабинета; завуч в это время сидел молча и в хмурой задумчивости вертел в руках авторучку. — Вот уж от кого этого не ожидала, так это от тебя. Ведь ты всегда была примером для всего класса! Какой пример ты показываешь теперь?! Стыдно!

— Я, Лидия Михайловна, ничего никому не показываю! — с вызовом (или близкими слезами, что одинаково вероятно) ответила Тамара. — Я просто изменила в своей внешности то, что посчитала нужным, и так, как мне больше идет. Что в этом противозаконного?!

Классная дама вспыхнула.

— Что ты себе позволяешь?! Ты как разговариваешь со своим классным руководителем?! Сопливка! Может, ты ещё и закуришь в классе, если посчитаешь, что тебе это идет?!

Тамара почувствовала жжение на щеках, словно ей надавали пощёчин. Съёжившись и непроизвольно сжав кулаки, она почти с ненавистью выкрикнула:

— Надо будет — закурю! И вашего разрешения на это спрашивать не буду!

Классная дама застыла с открытым ртом в неловкой, противоречившей закону земного притяжения позе, после чего обычно следуют либо море слез, либо водопад ругательств; но в этот момент завуч, встав из-за стола, жестом остановил наметившееся извержение и подошёл к окну. Тамара с испугом посмотрела на его сутулую спину и хмурый профиль строгого, иссечённого морщинами лица. Насколько легко у неё вылетели злые задиристые слова во время её перепалки с классной, настолько же, но с обратным знаком, она почувствовала себя не в силах возразить этому всегда спокойному уравновешенному человеку.

— Тамара, по Конституции ты имеешь право одеваться и пользоваться косметикой, как ты хочешь, — повернувшись лицом к своей ученице, с усмешкой сказал завуч. — Но ты же умная девочка и должна понимать, что одежда, косметика и все прочее, что придумали люди для своей внешности, это, прежде всего, для того, чтобы нравиться другим. Ведь никому не придёт в голову пользоваться косметикой на необитаемом острове. И

одежда там нужна только для тепла. С другой стороны, слово «нравиться» здесь имеет одновременно два противоположных значения, которые зависят от устройства мозгов тех, кто твою внешность наблюдает. Проститутки ведь тоже делают все, чтобы понравиться, но не думаю, что ты хочешь быть на них похожей. А что касается твоих сверстников, то да, ты произвела на них впечатление. Но у этого впечатления тоже две составляющих: твоя внешность и твой вызов приличиям, сложившимся представлениям о хорошем и дурном во внешности и поведении. А вот тут надо посмотреть на баланс. Хорошо, если первая составляющая в нем преобладает. Ну а если они поняли это, как плевок в нашу сторону, в сторону учителей, и их восторги вызваны этим? Вряд ли мы это заслужили. Это во-первых. А во-вторых, Тамара, представления о хорошем и дурном — это ведь цельная конструкция, а не только внешность. Если ты взвываешь гнев людей, от которых ты пока во всем зависишь в одном, то как ты можешь рассчитывать на их доброе к тебе отношение в другом?

Спокойные, рассудительные слова завуча, сказанные ровным негромким голосом, неожиданно, сквозь забрало злости и частокол упрямства, попали в незащищённое место в душе Тамары. Она вдруг увидела себя его глазами и... глазами отца (особенно — отца), и ей стало очень стыдно. Действительно, в своём нынешнем крикливом наряде она ни на что, кроме недоумённого пожатия плечами и хмурого молчания (самый тягостный, сколько помнила Тамара, исход её размолвок с отцом) рассчитывать у него не могла. С раннего детства (Тамара не знала, откуда это пошло) образ распущенной, достойной презрения девушки и женщины в её сознании обязательно включал в себя смазливую внешность, крикливую одежду и наглый вызывающий взгляд. В то же время, женщины внешности неброской, даже некрасивой, но энергичные и целеустремленные, занятые интересным, нужным людям делом, которому они посвящают себя целиком, не считаясь со временем и даже с личной жизнью, вызывали у неё безоговорочное желание быть на них похожей.

Ощущая стыд, как человек, влетевший в аудиторию научного общества, которую он принял за студенческую дискотеку, Тамара сняла себя яркие перламутровые клипсы, стянула с пальцев два материных золотых кольца, положила их в карман и осталась стоять у двери кабинета, опустив голову и ощущая жжение густой краски на щеках. Классная дама смотрела на неё с видом победительницы. Перехватив её взгляд, завуч досадливо поморщился.

— Тамара, я хочу, чтобы ты меня правильно поняла, — спокойно продолжил он. — Мы, учителя, — он покосился на классную, — не против косметики, как таковой. Но здесь, как и в любой другой области человеческой жизни, нужны вкус и чувство меры, которые, хотя их нельзя ни взвесить, ни измерить, тем не менее, нужны людям для того, чтобы жить друг с другом в согласии. Но если от твоих вкуса и чувства меры одна половина людей в восторге, а другая в гневе, то они явно просчитаны с ошибкой. Красота — даже с поправкой на моду — это абсолютно.

Тамара подняла на завуча глаза и встретилась с ним взглядом. Его лицо было спокойно и доброжелательно, а серые проницательные глаза в венчиках морщин приближающейся старости смотрели с грустной задумчивостью и... пониманием. И как после разговора с отцом, Тамара почувствовала огромное облегчение и уверенность в себе.

— Валерий Ильич, я всё поняла, — сказала она. — Простите меня... — Тамара замерла от охватившего её отчаянного порыва, затем быстро подошла к завучу и, прошептав: — Спасибо! — поцеловала его в щеку и выскочила из кабинета.

На следующий день она пришла в школу в гораздо менее броском наряде: в строгом темном (но не в форменном школьном) платье, — которое неожиданно понравилось ей на себе больше, чем вчерашний минивариант, — чуть изменив причёску, убрав совершенно ненужную ей губную помаду и, после некоторых колебаний, ярко-голубые тени на глазах — с удивлением обнаружив, что получившийся результат, а именно: обаяние девушки её возраста — получился намного лучше. Намного спокойней встретили её на этот раз и одноклассники (впрочем, внешность в этой школе никогда не выпячивалась в главные достоинства); но при этом несколько её подруг тоже решились применить косметику для своих губ, ресниц и ногтей, и никакого ажиотажа среди учителей это не вызвало. Зато вызвало уважение и благодарность к Тамаре со стороны одноклассников. И как-то незаметно, само собой, получилось, что с того времени все девчонки в классе стали тянуться к ней со всеми своими бедами и проблемами. (Вряд ли это было следствием лишь её последнего поступка — скорее

всего, закономерный итог всего её образа жизни, включая учёбу, спорт и игру в театре; то есть, классический пример философского закона перехода количества в качество). Эту не прописанную ни в одном школьном уложении, но главную для подростков роль Тамара восприняла со всей серьёзностью. Ни одному пижону или задавале (хулиганов в этой школе не было) не удавалось проявить названные качества в присутствии Тамары, чтобы не заслужить от неё звонкого эпитета или хлёсткого, как оплеуха, сравнения, после которых смех окружающих — с риском того, что это сравнение потом приклеится к нему в виде прозвища — оказывали благотворное (а подчас радикальное, подобно хирургическому вмешательству) воздействие на указанные недуги. Если вдруг в школе случалось повальное увлечение вышиванием, КВНом или даже организовывался тотализатор на предмет исхода первой в истории хоккея серии матчей между сборными СССР и Канадской НХЛ, то у истоков этого всегда находили Тамару. Впрочем, её лидерство однокашники вскоре закрепили официально, избрав вначале комсоргом класса, а затем секретарем комитета комсомола школы. И это неожиданно оказалось тем, чего жаждала её деятельная, чуткая к любой несправедливости душа. Дискотеки, КВНы, туристские слёты, сбор металлолома и макулатуры, шефство над инвалидами и первоклассниками и многое другое, чем занимались в те годы комсомольцы, не было в комсомольской организации Тамары ни формальностью, для галочки, ни скучной досадной необходимостью. А разбор и наказание нарушителей Устава и школьной дисциплины были именно тем, чем они изначально задумывались — средством исправления и помощи, а не способом расправы или мести.

Но читатели, безусловно, ждут рассказа о первопричине этого общественного взлёта Тамары — о её отношениях с Полежаевым. Но... рассказывать особо нечего. Как-то незаметно, без слёз и надрывов её прежняя нестерпимая тяга к Полежаеву исчезла, а сами эти отношения сошли на нет. Причём Полежаев однажды даже пытался эти отношения восстановить. Но на этот раз отказалась Тамара. Глядя во время того разговора ему в глаза, по-прежнему ярко-голубые, выразительные, в обрамлении пушистых ресниц, трепетно вздрагивавших и прикрывавших их небесную лазурь, когда они встречались взглядами, она вдруг вместо былых сладкой неги и жгучего ненасытного желания видеть эти глаза ежечасно, ежеминутно ощутила... злость. Злость от того, что эти глаза достались избалованному жестокому человеку, и от того, что этого разговора она дождалась лишь тогда, когда та часть её души, которая задыхалась и умирала от жажды без этих глаз, наконец, умерла, оставив после себя сухое бесчувственное место, словно шрам; но при этом Тамара помнила, какой упоительной была её жизнь на заре знакомства с Полежаевым, и она вдруг испугалась, что ничего подобного ей испытать больше не доведётся, словно она перенесла тяжёлую болезнь, после которой осталась инвалидом; и виновник её инвалидности сейчас стоял перед ней, предлагая начать всё сначала.

— Нет, Андрей, не хочу, — твёрдо ответила Тамара и с сарказмом добавила, испытывая неожиданное наслаждение мести, — На этот случай в русском языке есть поговорка: «дорога ложка к обеду». Есть и другая: «поезд ушел». Выбирай, что тебе больше подходит.

Полежаев обиженно замигал, покраснел, потупился, а затем поднял на Тамару печальные, блестящие, как от близких слез, ослепительно голубые глаза, задев какое-то не до конца атрофированное место в её душе, которая раньше безраздельно принадлежала ему. Тамара сморщилась от жалости и... сомнения: правильно ли она поступает? не пожалеет ли об этом потом? Но в этот момент её окликнули:

— Тамара, ты скоро? Тебя все ждут.

Тамара вздрогнула и облегчённо вздохнула, словно лопнула петля, которую на неё в последний момент изловчился набросить Полежаев.

— Всё, Андрей, мне надо идти, — дружелюбно, без малейшей обиды или злости, сказала она. — Не поминай лихом. А за всё, что между нами было, я тебе, несмотря ни на что, благодарна. Не знаю, доведётся ли мне ещё раз когда-нибудь пережить что-либо подобное. Но старого не вернёшь. На этот счёт есть ещё одна поговорка: «нельзя войти в одну реку дважды». — Тамара улыбнулась доброй искренней улыбкой. — А у тебя здесь все ещё будет хорошо, я в этом нисколько не сомневаюсь. — И, развернувшись на каблуках, она легкой уверенной походкой пошла в сторону раскрытых дверей класса, где заседал школьный комитет комсомола.

Второй упомянутый в начале этой главы случай решительного и бескомпромиссного вмешательства отца в жизнь Тамары с целью

вернуть её на определённый ей уже при рождении путь произошёл... Впрочем, предлагаю читателям перевести вместе с автором дух и встретиться в следующей главе.

ГЛАВА 4

Итак, этот случай произошёл на первом году учебы Тамары в университете. В Белгосуниверситет имени Ленина (на факультет прикладной математики) она поступила как медалистка вне конкурса, по собеседованию. Но... таких среди абитуриентов этого факультета было большинство, и конкурс получился среди тех, кто шел вне конкурса. Впервые Тамара испытала неуверенность в своих знаниях, и поэтому, когда после полутора часов ожидания, прошедших после собеседования до объявления его результатов, она услышала свою фамилию в числе тех, кто прошёл это испытание успешно, она разрыдалась на груди у отца, добавляя свой голос к хору плакавших по противоположной причине.

С первых дней учебы в университете Тамара не могла избавиться от ощущения, что она попала на другую планету. Вчерашние школьники, ставшие в одночасье самостоятельными людьми (все до единого получали стипендию, а многие, включая Тамару, после первой сессии — повышенную, на которую в те годы можно было вполне безбедно жить), без былой строгой опеки родителей, а многие (приезжие) вообще без оной, с грузом неопределённости, тревог и сомнений, оставленных позади, и с необъятной ослепительной перспективой, открывавшейся в огромной, динамично развивавшейся стране, впереди, студенты факультета прикладной математики университета составили особую приподнятую искромётную атмосферу, пребывание в которой наполняло Тамару ежедневным, ежечасным и неизменным восторгом. Каждое утро, едва она открывала после сна глаза, её охватывало щемяще-волнующее и отчаянно-восторженное одновременно, подобное тому, какое она испытывала перед соревнованиями, предвкушение грядущего дня.

В её учебной группе из четырнадцати человек девушек было... две — Тамара и другая минчанка по имени Настя. (Впрочем, схожее соотношение наблюдалось во всех группах этого факультета). Такую дискриминацию по половому признаку со стороны приёмной комиссии университета мужское большинство группы восприняло как свою коллективную вину и, во искупление её, окружило двух прорвавшихся сквозь сито вступительных экзаменов феминисток плотной, обстоятельной и неотступной заботой. Правда, надо заметить, что свой математический склад ума и способность к многочасовым сидениям над устрашающей толщины, не имеющими никакого отношения к любовным романам и секретам косметики книгами, Тамара и Настя сочетали со способностью к задорным улыбкам, звонкому заразительному смеху, а так же с весёлым, скорым на выдумки и легким на подъём складом ума, и это, безусловно, добавляло в половодье переживаний их однокурсников узко-специфическую, но чрезвычайно живительную и стимулирующую струю.

Будний день у Тамары складывался так, что для каких-то отвлечённых размышлений и самокопаний времени не оставалось. (Вернее, они просто не приходили ей в голову). Подъём у неё был, как и раньше, в шесть утра, затем зарядка, пробежка по стадиону, завтрак всей семьёй и после этого — путешествие (сорок минут на автобусе и метро) в университет. В университете Тамара была занята до трёх дня, потом обедала в студенческой столовой на площади Ленина, после чего ехала во Дворец спорта «Трудовые резервы», где она продолжала заниматься спортивной гимнастикой. Домой она возвращалась около семи вечера и за оставшееся до сна время должна была наряду с обычными домашними делами успеть подготовиться к занятиям в университете, предусмотренным учебным расписанием следующего дня. Втиснуть в этот распорядок что-нибудь, кроме перечисленного, на взгляд автора (и, я думаю, читателей), дело трудно представимое. Даже её многолетняя привычка чтения перед сном (впрочем, эту привычку правильнее назвать потребностью, подобной стакану воды после жаркого трудового дня или последней перед сном сигарете) превратилась в пеструю, нелогичную, без начала и конца, мешанину из фантазий автора, собственных воспоминаний, причудливых картинок полузабытья, прогоняемых встряхиванием головы и возвращением к действительности, а затем, после нескольких таких, слабеющих с каждым разом попыток, сменяемую непроницаемым покрывалом безмятежного сна с раскрытой книгой на груди или рядом на постели, которую потом перекладывали на стол и выключали в комнате свет отец или мать.

Однако, чтобы избежать упрёков в нелогичности (вспомните — «восторженное

предвкушение грядущего дня»), это описание будней Тамары, которые кому-то могут показаться унылыми и даже мрачными, я хочу дополнить замечанием, что главным её сожалением в то время было то... что в сутках всего двадцать четыре часа. Сколько всего ещё можно было успеть сделать, сколько радостных событий пережить — от общения с однокурсниками, от новых горизонтов знаний и побед на спортивной арене — если бы природа сделала их на несколько часов длиннее.

Но после шести дней будней наступало воскресенье. Воскресенья у Тамары были особыми днями, когда она переводила после шестидневной гонки дух и набиралась сил для следующего забега. Поэтому они у неё были обставлены сложным многоходовым ритуалом, главной целью которого было — не упустить ни единой возможности, ни единой минуты наслаждения сокровенным днём. Этот ритуал начинался сразу после пробуждения, а если быть скрупулёзно точным, то с момента отхода ко сну в субботу вечером, когда Тамара со злорадством смотрела на будильник и заталкивала его в бельевой шкаф, чтобы он ни звуком, ни видом не напоминал о своем существовании. А утром следующего дня, проснувшись поздно, она ещё с полчаса валялась в постели — с закрытыми глазами или с книжкой в руках, — упиваясь сознанием, что сегодня ей никуда спешить не надо. Потом она вставала, делала утреннюю зарядку (но без обязательных в другие дни пробежек по стадиону) и, вместо завтрака, только пила кофе. Причём часто к этому времени отец уходил в гараж, а мать на рынок или в магазины, и Тамара пила кофе в одиночестве (единственное стечение обстоятельств, когда одиночество доставляло ей удовольствие), забравшись с ногами в кресло перед телевизором, а кофе с ломтиками сыра (или печеньем — по настроению) расположив рядом на журнальном столике. При этом смысл и форма телепередач значения для неё не имели. Их полностью вытесняли ощущение покоя, надёжного уютного дома и — уверенности в завтрашнем дне. Однако, замечу, что чаще всего этими телепередачами была музыкальная программа Центрального телевидения «Утренняя почта», и воскресенья того времени остались в памяти Тамары частичками человеческой жизни под весёлую озорную или, наоборот, тихую и задумчивую, но всегда *радостную* музыку.

Затем Тамара вместе с матерью принималась за приготовление обеда. Воскресные обеды в их семье были событиями, по тщательности приготовления и торжественности исполнения сравнимыми с юбилейными застольями. Мать приносила с рынка и из магазинов нужные продукты, из подвала и кладовки извлекались варенья, соленья и прочие домашние заготовки, и священнодействие начиналось. К этим хиромантии по кулинарным книгам, колдовству за кухонным столом и алхимии над газовой плитой из принципиальных соображений не допускался единственный мужчина в семье — отец Тамары, которому отводилась роль лишь стороннего наблюдателя (вернее, воздыхателя — нетерпеливого, страждущего, гневно изгоняемого из кухни каждый раз, когда он пытался отведать что-либо из приготовляемых деликатесов раньше установленного для этого срока) и исполнителя низко квалифицированных работ, как то: чистки картошки, похода в подвал за консервами или в магазин за каким-нибудь недостающим ингредиентом будущих салатов, винегретов, эскалопов и котлет.

Но с завершением кулинарной составляющей этого еженедельного семейного праздника равноправие восстанавливалось. Все трое с одинаковым нетерпением усаживались за обеденным столом, который в таких случаях накрывался в зале, и пиршество начиналось. Через раскрытый балкон (или, в случае ненастья, открытую форточку) доносились оживлённый щебет воробьёв, галок и скворцов, заселивших густые кроны лип и тополей обжитого ухоженного двора, весёлые голоса детворы, гонявшей на спортивной площадке мяч или натиравшей своими штанами и платьями горки и качели, и далекий гул улицы. Эти звуки с первых мгновений застолья, подобно выстрелу стартового пистолета, наполняли Тамару тугим, жгучим, требующим выхода восторгом. Впрочем, весёлый разговор за столом, шутки, комплименты отца на тему её и матери кулинарного искусства, подкреплённые искренним удовольствием, с каким он результаты этого искусства поглощал, не позволяли её восторгу долго оставаться втуне, а настежь открывали шлюзы для целительных смеха, озорных восклицаний и — в качестве радикального средства — громкого безоглядного хохота с частыми мурашками по спине и томным прикрытием глаз от осознания своего семейного счастья.

После обеда Тамара ехала в университет, где по сложившейся традиции она встречалась с однокашниками.

Про эти воскресные встречи можно рассказывать долго без риска утомить слушателей или исчерпать темы рассказов. Но для экономии времени сведу рассказ к задаче: что будет от соединения молодого, острого, помноженного на прочный материальный достаток, надёжный тыл и блестящую перспективу ума с двумя десятками человек, обладающих такими же состояниями? При том, что реакция соединения происходила вначале в здании университета, обычно приуроченная к репетиции студенческого самодеятельного театра или лекции какого-нибудь заезжего лектора, а затем вся компания отправлялась в кино или в театр, иногда на оперу или балет, либо оставалась в университете на дискотеке. Решение этой задачи я оставляю читателям, а сам вернусь к рассказу о втором случае решительного и бескомпромиссного вмешательства отца в жизнь Тамары с целью удержать её от рокового шага и защитить от ударов жестокой судьбы.

Одним из завсегдатаев этих воскресных встреч был студент того же, что и Тамара, факультета, иранец по имени Ахмед. Тут для читателей молодых надо пояснить, что образование в Советском Союзе в те времена котировалось в мире высоко. Поэтому, несмотря на то, что оно для иностранцев было платным и стоило недешёво, недостатка в желающих его получить не было. Но, понятно, что позволить это себе могли только отпрыски богатых семей. А богатство — это в девяноста процентах — подлость и жестокость. Иранец Ахмед в заветные десять процентов не попал... Однако на этом я свое отступление кончаю и предоставляю читателям возможность судить обо всем самим.

В одно из воскресений февраля 1978 года студенты первого курса факультета прикладной математики, как обычно, собрались в вестибюле главного корпуса университета. (Хотя, оговорюсь, это не были узко-цеховые встречи; на них приходили также студенты других курсов и даже факультетов). Только что закончилась лекция профессора Московского института международных отношений на тему: «Страны третьего мира: вектор развития». Преподаватели и другие сотрудники университета, коих на этой лекции было немало, степенно выстроились в очередь к гардеробу и, получив свои норковые шубы и пыжиковые шапки, по одному, по два расходились в направлении двух (противоположных друг другу) выходов из вестибюля; студенты привычно кучковались по компаниям и в ожидании, когда оденутся преподаватели (то ли из вежливости, то ли из нежелания стоять в очереди), хорошо проводили время за рассказыванием анекдотов и смешных историй из своей весёлой и пока беззаботной жизни. В компании будущих программистов и (кому не повезет) преподавателей математики упомянутая в начале этой главы Настя посмотрела на однокашников весёлыми глазами.

— Ну что, интеллектуальная прослойка бесклассового общества, какие на сегодня планы? Предлагаю сегодня дать интеллекту возможность отдохнуть и поупражнять бренное тело на дискотеке. А потом можно будет пойти в кафе или ресторан и вместе поужинать. Возражения есть?

Стоявший напротив Насти полный круглолицый студент поднял руку.

— У меня не возражение, а предложение. Вернее, рацпредложение — пойти сразу в ресторан, где можно будет и поужинать, и потанцевать. То есть, — он лукаво посмотрел на Настю, — совместить заботу об интеллекте с заботой о бренном теле.

Тамара прыснула.

— Миша, и давно у тебя интеллект переместился в желудок? То-то, я смотрю, ты толстеешь с каждым днем. Теперь буду знать, что это из-за мощной работы интеллекта.

В компании грохнул взрыв хохота.

— Миша, это же ноу-хау! — пробивались возгласы сквозь раскаты смеха — Представляешь, как упростится работа приемных комиссий и отделов кадров, если интеллект можно будет взвешивать на весах.

— А сам-то — уже на академика тянет!

— Миша, запатентуй! Госпремия тебе обеспечена!

— Какая — гос! Нобелевская!

Толстый Миша вначале покраснел, а затем рассмеялся вместе с остальными. Иранец Ахмед смеялся, восхищенно блестящими глазами глядя на Тамару. (Впрочем, подобный блеск стал уже его постоянной приметой, как тик или серьга в ухе, когда в поле его зрения попадала Тамара).

— Тамара, покажи язык, — попросил Миша, когда смех стих. — Он у тебя случайно не раздвоенный? Мне кажется, что, в отличие от остальных, ты произошла от змеи. Вот это действительно будет новое слово в биологии.

Ахмед обвел однокурсников сияющим взглядом. (В сравнении с этим сиянием отмеченный выше блеск его глаз был мерцанием карманного фонарика против прожекторов скорого поезда). Было видно, что его осенила гениальная идея.

— Рэ-бъята, у мэнъя тоже эст прэдложенъе, — с милым акающим, не признающим мягких согласных акцентом сказал он. — То эст, рац... прэдложэнъе, — с улыбкой выговорил он новое для него слово, при этом правильно угадав его смысл. — Объ-яввлъ-яю тэндэр. Па-эехалы сэйчас ко мнэ. У мэна эст музыка для брэнн... — он снова споткнулся на незнакомом слове, — брэнный тэло, еда для жэ-лудка и еда для мозга.

Предложение Ахмеда было встречено с энтузиазмом. Проигравший «тен-дер» Михаил хлопнул себя по бедру с восторгом выигравшего в лотерею.

— Ахмед, умница! Я бы даже сказал — гений! Зря тебя сегодня причислили к третьему миру.

— Да он наш на все сто! — с убежденностью отличника по курсу марксизма-ленинизма воскликнул спортивного вида парень из группы Тамары и Насти по фамилии Егоров. — Разве буржуй прожил бы у нас столько времени?

— Точно! Просто не повезло родиться не в СССР, — подхватили мысль в компании.

— Зато теперь он будет сознательным бойцом.

— Ну да, еды для его мозга у нас хватает.

— Ахметик, а что у тебя есть для души? — в некоторой дисгармонии с платоническим восторгом мужской части компании спросила Настя.

— Это смотрья гдэ твоя душа живьет! — рассмеялся Ахмед. — Если в пьятках, то запасных тапочэк я нэ имею.

— Настя! Прекрати переводить наши бескорыстные отношения на меркантильные рельсы! — возмущённо сказал Егоров. — Если твоей душе чего-нибудь не хватает, то она может все получить здесь. — Он звучно хлопнул себя по мускулистой груди. — Бесплатно.

— А почему ты считаешь, что твоя грудь подходит для этого больше, чем остальные? — моментально спросил стоявший рядом невысокий худощавый студент их группы с фамилией, звучавшей эхом татаро-монгольского нашествия — Бут-Гусаим. — А потом, откуда такая самонадеянность — «все!»? Это, по крайней мере, нескромно. А вдруг Настя, вернее, её душа, захочет тишины, покоя, умного интеллигентного разговора? Судя по звуку, который издала твоя грудь, она в этом случае умрет от скуки.

Студенты снова рассмеялись с риском, что этот способ выражения эмоций может перейти у них в пароксизм судорог мышц живота и голосовых связок.

Глядя между раскатами смеха на своих однополых сокурсников, весёлых и самоуверенных, подчас развязных, но одновременно милых и каких-то жалких, особенно в их неловких, неумелых, но трогательно настойчивых в ухаживаниях за ней и Настей, Тамара вдруг ощутила нестерпимое желание сделать для них что-нибудь приятное — здесь, сейчас же, во что бы то ни стало!

— Ребята, — сказала она взволнованным голосом, каким люди признаются в любви, — а давайте мы с Настей приготовим на ужин чахохбили! Настоящее, грузинское, с красным вином.

Слова Тамары привели парней в состояние религиозного обожания.

— Ух, ты!

— И как люди в военных училищах живут без женщин?

— Там есть поварихи.

— Боже, а я ведь мог я сегодня уехать в деревню!..

Бут-Гусаим решительно поднял руку.

— Итак, у нашего сегодняшнего праздника три составляющие, — с достойной потомка Чингиз-Хана решительностью и студента математического факультета обстоятельностью сказал он. — Две постоянные: квартира Ахмеда и кулинарное искусство Насти и Тамары — и одна переменная: продукты и красное вино, с которыми, если мы потеряем время, могут быть проблемы. Поэтому надо все четко организовать. Предлагаю разбиться на две группы. Одна под руководством Насти поедет на Комаровский рынок, а вторая во главе с Тамарой пойдёт по магазинам. И встречаемся здесь в пять. Возражения есть? — Он вопросительно посмотрел на Михаила.

Но никто в его предложении возможности для возражений или дополнений не увидел. Разбившись на две группы, вся компания с шумом, смехом, толканиями и дерганьями друг друга за рукава, полы и воротники разошлась в противоположных направлениях, чтобы вечером во всеоружии для такого рода дел собраться на квартире у Ахмеда.

В этом месте надо снова сделать отступление и пояснить, что иностранные студенты в советских вузах в то время обычно

держались особняком. Селили их, как правило, отдельно — в специально отведённых для них общежитиях или на выделенных в общих с советскими студентами общежитиях этажах; — а многие из них, подобно Ахмеду, вообще снимали себе квартиры в городе[1]; и общение с советскими однокашниками ограничивали, в основном, учебными аудиториями и читальными залами, не переступая при этом невидимую, но четкую и определённую, как веревка с красными флажками, черту. Но в тех случаях, когда такое происходило, за этим, как правило, стоял корыстный (не только денежный) интерес. Конечно, бывали исключения, случались и бескорыстная дружба, и искренняя любовь, но... исключения ведь только подтверждают правила. Это во-первых. А во вторых, Ахмед в это исключение не попал. Но, впрочем, я уже повторяюсь и поэтому продолжу свой рассказ.

Когда завсегдатаи студенческих воскресных посиделок приехали к Ахмеду на квартиру (которую он снимал за двести рублей в месяц — деньги для этого по тем временам огромные[2]), их встретило убранство для глаз советских людей, мягко говоря, непривычное. (Не буду называть его роскошью, чтобы не вызвать презрительных ухмылок обитателей нынешних дворцов. Но попутно замечу, что даже самая изысканная роскошь при скудости ума её обладателя бывает только убожеством). От самого порога пол квартиры устилали яркие пушистые ковры и дорожки, в углу прихожей стояла в массивной мраморной вазе пальма, а на стене висело большое, в человеческий рост, зеркало в бронзовой раме. В тон ей из-под потолка свисала бронзовая люстра с витыми, в виде змеек, рожками для лампочек, а необычной формы (явно ручной работы) вешалка для одежды и подставка для обуви вызывали лишь желание любоваться ими, как произведениями искусства. В глубь квартиры вел коридор, в котором Ахмед вслед за прихожей поспешил зажечь свет. Ряд бронзовых, в тон люстре и зеркалу в прихожей, светильников явил взору изумлённых (воспитанных в другом духе) однокурсников темно-розовые, в золотистом тиснении, обои и резные, из красного дерева, наличники дверей двух открывавшихся в коридор комнат.

— Ого! — присвистнул Егоров, первым очнувшись от онемения, в которое всех повергла обстановка квартиры. — Хорошо у нас живут пролетарии третьего мира.

— Да, похоже, революцию наши деды сделали больше для них, — поддакнул с сарказмом Бут-Гусаим.

Но эти два шутливых замечания не вызвали ни одной улыбки. Парни смущённо переминались с ноги на ногу, испытывая неловкость из-за нахождения в уличной обуви на роскошном ковре и ещё непонятную и, возможно, неосознанную неприязнь к хозяину этой роскоши.

— Э, ребята, давайте мы изыскания по части исторического материализма оставим для занятий на кафедре философии, — решительно сказала Настя, почувствовав, что дело несколько выбившейся за обычные рамки вечеринки надо брать в свои руки. — В конце концов, это даже невежливо: ведь Ахмед просто позвал нас к себе в гости. Рассматривайте это как историческую благодарность.

— Точно! — живо поддержала её Тамара. — А в доказательство первоосновы для человеческой цивилизации труда и гордости за свое пролетарское происхождение начистите нам с Настей картошки.

Парни улыбнулись с ощущением, что в этом мимическом движении губы им растянули насильно, и начали раздеваться и по одному проходить в ближнюю к прихожей комнату, в которую Ахмед с улыбкой неприкрытого самодовольства (впервые неприятно кольнувшей Тамару) широко раскрыл дверь. Впрочем, с помощью таких сильнодействующих лекарств, как музыка (у Ахмеда был японский стереомагнитофон), красное вино и, конечно, бесподобный чахохбили, её досада быстро улетучилась, уступив место привычным шуткам, смеху, озорным розыгрышам и неизменному для русских людей общему пению за столом (со смущённым молчанием Ахмеда — причём, похоже, не только из-за незнания слов).

Разошлись поздно. Тамару вызвался проводить Ахмед. Они шли по ярко освещённой малолюдной в этот час улице. Морозный воздух пощипывал кожу редкими колючими порывами, за рядом серебряных от инея деревьев натужно гудели автобусы, тихо проскакивали легковушки, а перестук шагов на

1. При соответствующей оплате это не представляло проблемы и в те годы. Предложение на рынке таких квартир исходило от людей, работавших за границей или на Севере и имевших по этой причине на свою жилплощадь бронь.

2. Определения «большие» и «огромные» всегда относительны. Поэтому, чтобы не навязывать своих оценок, считайте сами: 1 доллар по официальному курсу равнялся в то время 69 копейкам. Значит, приблизительно, 300 долларов в месяц.

широком, выметенном до последней снежинки тротуаре звучал неожиданно грустно, как дробь чечётки в пустом концертном зале.

— Тамара, — сказал Ахмед после долгого молчания, которое вдруг повисло посреди весёлого непринуждённого разговора, — выходы за мэнъя замуж.

Тамара улыбнулась. Почему-то это предложение, несмотря на его неожиданность и значение, которое оно имеет в жизни людей, не вызвало у неё ни волнения, ни удивления. (Впрочем, прежде всего оно не вызвало у неё доверия, ощущения какого-либо касательства её, Тамары, жизни. Так улыбаются взрослые, когда дети говорят им, что хотят быть космонавтами).

— Нет, Ахмед, — спокойно ответила она.

— Па-чэму?

Тамара пожала плечами.

— Не знаю. Просто не хочу.

Ахмед некоторое время шел молча. Звуки его шагов замедлились, сделались тише, словно он с асфальта ступил на мягкую почву; а на смуглом, резко очерченном ярким светом уличных фонарей лице между бровей легла хмурая складка.

— Тамара, — сказал он затем глухим горьким голосом, — я, навэрно, нэ так сказал... нэ правылно сказал. Мой отэц — хозаин большой фирмы. Я тоже буду хозаин... потом. У нас эст болшой дом. Я могу купит другой дом. Это будэт толко мой дом... наш дом. У мэнья будэт много дэнег. И я лубью тэбья. Па-чэму — нэт, Тамара?

— Потому что не хочу и все! — раздражённо сказала Тамара. — Потому что... Глупости говоришь! Всё, я поехала домой! До свиданья.

Не глядя на Ахмеда, она порывисто развернулась и быстрым решительным шагом пошла к автобусной остановке. Чуть помешкав, Ахмед догнал её и пошёл рядом. Слыша его приближающиеся шаги, Тамара едва сдержала в себе желание побежать. Перед её глазами стояла картина далекого Ирана, яркого палящего солнца, пустынных улиц с домами за высокими дувалами, и её против воли охватывал необъяснимый жуткий страх.

— Тамара, — спустя некоторое время сказал Ахмед, — прасты мэнъя. Я нэ хотэл тэбья обидэт. Но — о, аллах! — чем я тэбья обидэл?! — вдруг воскликнул он с искренней болью и недоумением.

Тамара остановилась. Последние слова Ахмеда неожиданно попали в какую-то чувствительную точку в её душе, после чего все её растерянность, гнев и страх разом рухнули, оставив после себя лишь смущение, как у человека, вернувшегося к действительности после кошмарного сна.

— Ахмед, — взяв своего спутника за руку, виновато сказала она, — это ты меня прости. Псих какой-то нашёл, не знаю даже почему. Но только я тебя прошу: не говори мне больше ничего такого, ладно? Ведь всё сейчас так хорошо, так здорово, зачем это портить? Договорились?

— Дагаварылыс, — послушно ответил Ахмед и опустил голову, избегая её глаз.

После этого случая отношения Тамары с Ахмедом внешне долго оставались прежними: непринуждёнными, вполне товарищескими, с обычными весёлыми разговорами во время перерывов между лекциями и совместных воскресных вечеринок. Только однажды, во время одной из таких вечеринок, которая в тот раз была приурочена к дискотеке в университете, когда Тамара во время танца с Ахмедом озорным движением подняла его руку и, сделав полный оборот, прильнула к нему своим стройным гибким телом, у Ахмеда с досадой вырвалось:

— Ну па-чэму — нэт, Тамара?! Нэ панымаю! Вэд такого случая у тэбья болшэ нэ будэт! Па-думай... очэн, Тамара.

Тамара посмотрела на него с искорками весёлого укора и закрыла ему ладонью рот.

— Тс-с! Не говори ничего! Я не разрешаю. Не порть такой прекрасный вечер.

Ахмед отвёл зло блеснувшие глаза и до конца танца больше не произнёс ни слова.

А развязка этой истории произошла весной того же 1978 года.

В один из солнечный майских дней Ахмед пригласил Тамару к себе на день рождения. Отметить это знаменательное событие в квартире Ахмеда собрались... четыре человека: Тамара, Ахмед и ещё одна пара, приятели Ахмеда, с которыми Тамара до этого была незнакома — соплеменник Ахмеда по имени Сафар и его подруга славянской наружности, которую звали Анжелой. Сафар был студентом факультета радиофизики их же университета, а Анжела, по её словам, работала администратором одной из минских гостиниц.

Стол на этих именинах был шикарный. Осталось загадкой, кто помог Ахмеду его сервировать, а так же приготовить то количество блюд, которое он выставил в тот день для исполнения задуманного. Несколько проще ответить на вопрос, где во времена крутого «застоя», дефицитов и очередей он раздобыл

черную икру, креветок, крабов, красную рыбу и другие деликатесы, про которые в то время большинство людей в нашей стране только слышали или читали в книгах о жизни буржуев за рубежом, а так же коньяк «Наполеон», шампанское и две бутылки марочных десертных вин. Конечно же, в одном из магазинов «Березка», торговавшем за валюту, которые в то время наши идиоты у власти (1991 год тому доказательство, как, впрочем доказательством идиотизма других правителей был 1917 год) понаоткрывали в больших городах с целью выуживания валюты у проживавших в СССР иностранцев. Ну, а с последней у Ахмеда проблем не было.

Ничто в тот злополучный вечер не насторожило Тамару — ни мрачная замкнутость Ахмеда, которую он лишь изредка смягчал натянутой, невпопад, улыбкой, ни деланная веселость и подчёркнутая услужливость его гостей, ни сам факт празднования этого «дня рождения» в такой узкой компании с незнакомыми людьми. На каждый вопрос у неё находился ответ, каждая странность Ахмеда и его гостей встречала своё объяснение. Фантазия рисовала ей трогательные картины страданий Ахмеда от неразделённой любви, причиной которых была она, и поэтому жалость, помноженная на сознание своей вины, а также на невольное девичье тщеславие, вызывали у неё болезненную и пронзительно-сладкую одновременно смесь из угрызений совести, томной неги и тихого восторга, которые напрочь стерли у неё такое человеческое качество, как осторожность. Впрочем, для осторожности все же нужен опыт. А опыта встреч с откровенной подлостью и жестокостью у Тамары до тех пор не было. Все встречавшиеся ей до этого люди, от отца с матерью до последнего случайного знакомого, были однозначно на подлость и жестокость не способны. Поэтому, даже если бы Ахмед в тот раз наставил на неё пистолет или набросился с ножом, она бы приняла это за неудачную шутку — до того момента, пока металл не вонзился бы в её тело. Но — поспешу успокоить читателей — до этого не дошло. Однако не по причине пробуждения у Ахмеда совести или страха перед задуманным. Нет, просто цель у него была другая. А вот в достижении *своей* цели он проявил расчетливость и хладнокровие наёмного убийцы. Но — обо всем по порядку.

После начальной скованности и смущения празднование «именин» Ахмеда быстро вошло в обычную для таких дел колею. Главная заслуга в этом принадлежала Тамаре, которая, чувствуя себя виновницей как первого, так и второго, взяла инициативу в свои руки, и после нескольких её шутливых выпадов и остроумных замечаний разговор за столом зажурчал весело и непринуждённо, с обильными приправами смеха, кокетливых улыбок Анжелы и восторженного блеска глаз Сафара, когда он смотрел на Тамару. Ахмед, правда, долго оставался хмурым и неразговорчивым. Но у Тамары было этому объяснение, которое мощно и горячо подталкивало её к ухаживанию за ним, как за выздоравливающим после тяжёлой болезни, причиной которой стала она. Ахмед на её знаки внимания вначале отвечал скупо и неохотно, а затем вдруг (возможно, не «вдруг», а выверено и рассчитано) предался бурному веселью — с искромётными шутками, громким смехом, тостами в честь Тамары и Анжелы и даже исполнением какого-то восточного танца под музыку стереомагнитофона, современное объёмное звучание которого в сочетании с древней мелодией наполнило Тамару парящим, с лёгким головокружением, ощущением себя героиней сказок «Тысячи и одной ночи».

В разгар веселья Анжела позвала Тамару на кухню помочь приготовить к подаче на стол ожидавшие своей очереди блюда. Когда они с подносами в руках вернулись в комнату, Ахмед и Сафар ждали их с уже наполненными бокалами.

Выпито к тому времени уже было немало, но Тамара совершенно не чувствовала себя захмелевшей, а только — искромётно, бесшабашно весёлой.

— Мальчики! — игриво воскликнула она. — Вы, как настоящие восточные баи: ждете, когда женщины обустроят вам все стороны вашего праздника. Но всё же сделайте поправку на советский образ жизни: отнесите на кухню грязную посуду, а то тут из-за тесноты уже некуда ставить.

Ахмед и Сафар встревожено переглянулись.

— Тамара, — сказал Ахмед, вставая и беря из рук Тамары поднос, — эст русская пасловица: в тэснотэ, но в не обидэ. Как-нибудь па-ставим, па-том всё атнэсем.

На журнальном столике кое-как поставили новые блюда, переставив часть грязной посуды на подоконник, после чего Ахмед немного торопливо и с явным облегчением поднял свой бокал.

— Давайтэ выпъ-ем за дружбу, — сказал он. — Толко здэс, в Расыи я поньял, что дэнги, даже очэн болшие — нэ все можно. Дружба и лубов купит нэлзя... — В этот момент он встретился взглядом с Тамарой, неожиданно покраснел и отвел глаза.

Жаркая тугая волна, с першением в горле и дрожью подбородка, окатила Тамару. Она порывисто встала, взяла свой бокал и, глядя на Ахмеда повлажневшими глазами, взволнованно сказала:

— Ахмед! Ты... ты хороший! Как хорошо ты сказал! Я так рада, что ты это понял. Я так рада, что мы встретились... что мы все встретились на нашем курсе... — Она посмотрела на Сафара и Анжелу. — И вообще! За дружбу! — И, запрокинув голову, она залпом осушила свой бокал.

Вкус вина был несколько странный, но Тамара не обратила это внимания. Ахмед, Сафар, Анжела казались сейчас самыми дорогими и близкими ей людьми. Музыка, которую включил Ахмед, накатывалась сладкими баюкающими волнами, в которых постепенно растворялись, теряли очертания и впечатление реальности люди, обстановка квартиры и всё происходящее в ней. Затем эти волны подхватили Тамару, закружили в стремительном вращении и понесли в голубую сверкающую даль...

Проснулась она утром в... незнакомой постели. Первой её мыслью было: «Родители! Они же не знают, где я!» (Ахмед вначале пригласил её в ресторан «Каменный цветок», а когда Тамара пришла туда к назначенному часу, он встретил её у входа, сказав, что у него поменялись планы, и на такси отвёз к себе на квартиру). Тамара вскочила с постели и с ужасом увидела себя совершенно нагой. Она юркнула обратно под одеяло и испуганно огляделась. Её одежда лежала аккуратно сложенная рядом на стуле, а в обстановке комнаты она узнала спальню Ахмеда. Тревожная догадка кольнула Тамару. Из черного провала памяти смутно и отрывочно, как привидевшийся кошмар, проступила картина голого Ахмеда, его тянувшихся к ней рук, её, Тамары, слабого сопротивления, ватного бессилия конечностей, неподъёмной тяжести век, которую затем резко, как щелчок выключателя, стерла непроницаемая чернота забвения.

Тамара зажмурилась и закрыла лицо руками, заклиная все чистые и нечистые силы, чтобы привидевшаяся ей картина не оказалась памятью о действительном событии. Но тянущая боль в промежности и легкое жжение на губах указывали на то, что эти заклинания несколько запоздали.

За дверью комнаты послышались шаги. Натянув до подбородка одеяло, Тамара уставилась на дверь широко раскрытыми от ужаса глазами. Дверь открылась и в комнату... вошел Ахмед.

— Добраэ утро, — как ни в чем не бывало, поздоровался он. — Как ты спала?

— Ахмед, что здесь было? — дрожащим от волнения голосом спросила Тамара. — Что... ты со мной сделал?! Чем ты меня напоил?!

— Ничэго такого, чэго ты нэ хотэла, — с чуть заметной усмешкой ответил Ахмед. — А то, чэго ты хотэла, я нэ мог... нэ хотэл нэ сдэлат. А пилы мы с та-бой адынаково.

— Так ты... с-спал со мной?!

— Я нэ спал! Я лубил! Я тэбья лубью! И ты мэнья лубила! Сама! Очэн! И я хочу, чтобы ты менья лубила... потом! Всегда! Я хочу тэбья женой!

У Тамары помутилось в глазах. Ахмед, комната, зашторенное окно, сквозь просветы которого пробивались тонкие, как лезвия ножей пучки света, закружились в стремительном вихре, рассыпались на тысячи кусочков и снова собрались перед глазами.

— Негодяй! Подонок! Как ты посмел?! — Вскочив с кровати, она влепила Ахмеду пощёчину, а затем, сжав кулаки — два полновесных удара.

Такого оборота Ахмед не ожидал. От неожиданности он пропустил как пощёчину, так и последующий удар, но на третьем замахе он перехватил в воздухе руку Тамары и, рванув её вниз, толкнул свою обидчицу на постель.

— У мэнья дома за такое убивают... камньями! — сказал он с мрачным блеском потемневших от гнева глаз на неестественно бледном и, наверное, страшном лице.

Но на Тамару его слова и его лицо произвели действие, противоположное ожидаемому. Она вскочила и с яростью попавшей в западню тигрицы набросилась на Ахмеда. Ахмед в растерянности, которая была сейчас его главным переживанием, вначале пробовал защищаться, сделал несколько безуспешных попыток усадить Тамару на постель, чтобы что-то ей сказать, но, в конце концов, махнул рукой и, оттолкнув её от себя, вышел из комнаты, заперев дверь снаружи.

Тамара бросилась к двери, забарабанила по ней кулаками, разбивая в кровь пальцы, затем опустилась на пол и безутешно заплакала.

Однако сравнительно быстро (для своего возраста и полного отсутствия опыта подобных переделок) успокоилась, оделась и села на постель, чтобы обдумать свое положение. Приняв решение, он встала и громко постучала в дверь.

— Ахмед, открой!

Ахмед не ответил.

— Ахмед, открой, или я выпрыгну в окно, — спокойно сказала Тамара.

На этот раз после нескольких секунд тишины, которые, подобно ударам колокола, отсчитывали время в ушах Тамары, за дверью раздались звуки открываемого замка. Дверь открылась, у выхода из комнаты стоял Ахмед. Не говоря ему ни слова, Тамара решительно пошла мимо него в прихожую. Но Ахмед перегородил ей дорогу.

— Тамара, па-стой. Давай пагаварым.

— Мне не о чем с тобой говорить!

— Нет, эст! — повысил голос Ахмед и, взяв Тамару за плечи, рывком развернул лицом к себе. — Я лубью тэбья! И ты будэш моя жена!

Тамара посмотрела в его черные пристальные глаза. Что-то подсказывало ей, что Ахмед сейчас не остановится ни перед чем. Но страха не ощутила. Наоборот, после того, что с ней сделали, она даже хотела, чтобы Ахмед сейчас избил её до полусмерти (а лучше — без приставки «полу–»), чтобы этой новой болью заглушить невыносимую боль в её душе — а ещё лучше, стереть её навсегда...

— Ахмед, ты подонок, — раздельно и твёрдо сказала она. — То, что ты сделал — это подлость. И мерзость. Такое не прощается. Я тебя убью. Не успокоюсь, пока этого не сделаю. Так что у тебя теперь один выход: убить меня раньше.

Ахмед обмяк и, криво улыбнувшись, медленно отпустил её плечи. И в этой улыбке Тамара вдруг — впервые не только за время этого разговора, но и за все месяцы их знакомства — увидела не смятение и растерянность, не страсть и боль, а холодную расчётливую жестокость.

— Нэ надо мэнья убиват, — с усмешкой сказал он. — И ты жывьи долго. Но будэт так, как я сказал. И никак нэ так. А чтобы ты нэ сомнэвалас, это тэбье на памьят. — Он достал из заднего кармана брюк несколько фотографий и протянул их Тамаре. — Здэс ты моя жена. Тэпэр ты будэш толко моя жена. И никого никогда болшэ...

Тамара взяла фотографии с ощущением, что проваливается в душный бездонный колодец. На фотографиях была запечатлена она в постели с Ахмедом в моменты самой сокровенной близости между мужчиной и женщиной. При этом фотограф с особой тщательностью высветил именно интимные, запретные для посторонних глаз подробности этого действа: её раскрытое для совокупления тело, томно прикрытые глаза, вздувшийся до неправдоподобных размеров детородный орган Ахмеда, сладострастный оскал его лица.

— ...даю тэбье тры д-нья, — откуда-то издалека продолжал доноситься голос Ахмеда. — А потом этьи фотографии будут в журнале «Playboy». И подпыс: «восходьяшая советская порнозвэзда»...

Тамара не помнила, как она оказалась на улице. В памяти осели только теплый майский воздух и яркое солнце, которые сменили душную и мрачную (теперь она не представляла её иначе) квартиру Ахмеда. И ещё запомнилось физическое ощущение полнейшего тупика, в который она неожиданно угодила посреди своей счастливой и беззаботной жизни. И выхода из этого тупика она не видела — даже приблизительно не представляла, в каком направлении его искать.

Она побрела по улице без какой-либо цели. По необъяснимой, но веской и категоричной для неё причине идти домой ей сейчас было нельзя. Другого места, где бы она могла отсидеться, перевести дух и обдумать свое положение, у неё не было, кроме... квартиры Ахмеда. Она вдруг ясно почувствовала, что попалась плотно и жестко, что иного выхода, чем согласиться на предложение Ахмеда, у неё нет — Ахмед всё точно рассчитал. Ведь даже отцу, самому близкому ей человеку, от которого у неё никогда не было секретов, она ничего сказать не могла: при одной только мысли, что эти фотографии увидит отец, её охватывала такая волна (цунами!) стыда, что она скорее готова была умереть, чем позволить отцу их увидеть. И в этот момент Тамару осенила идея. Она неожиданно увидела выход из своего положения, оставленную Ахмедом щель в расставленной им, продуманной до мелочей ловушке. Тамара вдруг подумала, что выходом для неё был бы сейчас несчастный случай, но не похожий на попытку самоубийства или членовредительства, в результате которого она бы с серьезной травмой попала в больницу. Таким образом, решались бы сразу две проблемы: Ахмеда и родителей. Ахмед, конечно, может не поверить, что этот «несчастный случай» она не устроила намеренно, но в любом случае, пока она будет в больнице, исполнить свою угрозу он не посмеет. А

это, по крайней мере, не «тры д-нья», и она успеет что-нибудь придумать. А если вдруг она останется инвалидом, то тогда вообще все разрешится само собой. (Сам факт инвалидности её не пугал — наоборот, казался чудесным избавлением от свалившегося на неё несчастья). А что касается родителей, то с их стороны ничего, кроме деятельного сострадания и радости, что все не кончилось хуже, она не ждала.

Приняв решение, Тамара испытала огромное облегчение и вприпрыжку побежала к ближайшему телефону-автомату звонить домой. Конкретные способы исполнения задуманного — выпрыгнуть из окна, броситься под машину или под поезд — её сейчас не занимали, как не имеющие никакого сопоставимого значения в сравнении с найденным выходом. Кроме того, обдумывание их можно сдвинуть на вечер, на завтра, а теперь — скорее домой. Но вначале — позвонить: ведь родители со вчерашнего дня в неведении, и каждая минута для них сейчас равна пытке на медленном огне.

Трубку поднял отец.

— Тамара, откуда ты звонишь?! — встревоженно спросил он, услышав голос дочери.

— Из автомата. Папа, прости меня! Так получилось. Я скоро буду, потом всё объясню.

Когда Тамара приехала домой, родители вдвоем вышли ей навстречу в прихожую.

— Где ты... была?! Мы тут чуть сума не сошли! — дрожащим от возмущения голосом выкрикнула мать, едва Тамара переступила порог квартиры.

— На дне рождения. Мама, я не знала!.. — торопливо ответила Тамара. — Не думала, что... так задержусь.

— А позвонить нельзя было?!

— Там не было телефона...

Эта робкая попытка Тамары оправдаться зажгла возмущение матери, подобно выплеснутой в тлеющий огонь кружке бензина.

— Что ты здесь дурочкой прикидываешься?! — взвизгнула она. — Совести у тебя, прежде всего, нет! Всегда можно найти возможность сообщить своим близким, когда что-нибудь случается! Если, конечно, хоть немного думать о них, а не только о своих удовольствиях! А ты загуляла со своими... — Мать запнулась и пропустила следующее слово. — Где ж там рядом с ними о родителях вспомнить! Сопливка! Дрянь! Вырастили на свою голову! — И она разразилась громким злым плачем.

Тамара опустила голову. Она вдруг поняла, что найденный ею выход из своего положения, в котором она подспудно надеялась на возможность отступления, компромисса, является для неё единственно возможным и бескомпромиссным. Картины несущегося на нее, пронзительно сигналя, автомобиля, ревущего поезда и далекой от её пятого этажа земли ярко стояли перед глазами. И холодок ожидания рокового мгновения студил кожу зябкими мурашками.

Тем временем, отец, не говоря ни слова, обнял мать за плечи и увел в спальню. Тамара разулась, сняла верхнюю одежду и тихо прошла в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Растерянно оглядевшись, словно в незнакомом месте, она села на кровать и закрыла лицо руками. Ощущение захлопнувшейся за ней ловушки приобрело зримую и предметную форму. Тамару вдруг охватил осязаемо жгучий и душный ужас, от которого она не могла даже заплакать. Не в силах выдерживать его больше ни минуты, она вскочила на ноги и стремительно подошла к окну, намереваясь его распахнуть и на этом свои мучения закончить. Но в этот момент в комнату вошёл отец.

— Дочка, пошли завтракать. Всё уже на столе.

Эти обычные, тысячи раз слышанные слова внезапно, подобно выхваченной в кромешной темноте неожиданной вспышкой двери, подсказали Тамаре выход из её положения: отец. Отец, которому она сейчас выложит всё без утайки, а потом будет только ждать, когда он неизвестным, непредставимым и... неинтересным ей способом избавит её от случившегося с ней несчастья, чью железную, подобную защёлкнувшемуся капкану, хватку на своем теле она ощущала почти физически. Замерев на мгновение от суеверного страха, что видение исчезнет, Тамара бросилась к отцу и, обвив его руками за шею, разрыдалась:

— Папа! Папочка! Прости меня! Я... я не знала... не знаю, как это случилось! Он говорит, что я сама!.. Но я не помню... не верю! А теперь он говорит, что я его жена... что я буду его женой. Но я не хочу! Не буду! Я лучше умру!

Отец молча прижал её к себе. Ощущая на своих плечах его тяжёлые жёсткие руки, Тамара поняла, что её беда миновала. Это понимание пришло без каких-либо расчётов и логических обоснований. Просто, подобно ветру для вырвавшейся из силка птицы или

твёрдой почвы под ногами для утопающего, она почувствовала, что её больше не леденит неизбежностью катастрофы случившееся с ней, что, как в детстве, запах отцовского тела, тяжесть его рук прямо и безоговорочно означали, что её страдания на этом заканчиваются. Обернув к отцу своё мокрое от слёз лицо, Тамара принялась осыпать его торопливыми, прерываемыми громкими всхлипами, поцелуями.

В комнату заглянула мать и с тревожным недоумением посмотрела на своих мужа и дочь; но что-то ей подсказало, что лучше всего оставить их сейчас друг с другом наедине, и она осторожно закрыла дверь.

Тем временем, дождавшись, когда у дочери иссяк поток слез и причитаний, отец усадил её на стул возле стола, а сам сел в кресло напротив и твёрдо сказал:

— Выкладывай: что у тебя случилось?

Под его пристальным взглядом Тамара почувствовала себя не в силах что-нибудь утаить из произошедшего, но при этом она испытала облегчение человека, от чьей воли больше ничего не зависит.

— Папа, я... не знаю, как это получилось... Честно, не знаю! — запинаясь, срываясь с шепота на вскрик, начала рассказывать она. — Ахмед Дустум с нашего курса... Он ухаживал за мной долго. Красиво ухаживал... Я, наверное, сама виновата, что дала ему повод на что-то надеяться. Но я же не знала, что он!.. так поступит со мной. Он был нормальный парень, как все. Неужели все так могут... если захотят? Как же тогда жить?..

Тамара запнулась перед тем, как перейти к главному, сделала несколько непроизвольных глотательных движений и, не поднимая головы, продолжила свой рассказ. Отец слушал молча, не перебивая, ни о чём не спрашивая, и это служило Тамаре единственной опорой, которая удерживала её от опустошающих рыданий, словно она шла над пропастью по узкому шаткому мостику без перил, и любое резкое движение, порыв ветра или громкий звук могли сбросить её в бездну.

— А вчера... он позвал меня к себе на день рождения. Только это не был день рождения. Он его выдумал, чтобы меня заманить. Он что-то подсыпал мне в вино — снотворное или наркотик, не знаю... Но только я отключилась полностью. То есть, какие-то детали я помню: как я с ним в постели... и всё такое. Но словно это было не со мной... Не верю, что это было со мной! А он, гад, заснял это на плёнку, фотографии мне показывал...

В этом месте Тамара умолкла, ощущая почти физически жар, исходивший от её сумочки, где лежали фотографии; по-прежнему, молчал отец; и тишина болезненной тяжестью, словно под водой на большой глубине, давила на уши.

— Он сказал, что если я... не выйду за него замуж, то он пошлёт их в журнал «Playboy». Тамара подняла глаза на отца, со страхом ожидая увидеть у него гнев, раздражение или брезгливость, но отец сидел с хмурым непроницаемым лицом. Облегчённо вздохнув, Тамара снова опустила голову, чувствуя, что только таким образом она может перекладывать на слова обжигавшие её мысли. — Он дал мне три дня. А потом он... сдержит слово. Я теперь в этом нисколько не сомневаюсь. И сейчас... я не знаю, что мне делать. Но только замуж за него я не пойду! Я лучше... — Тамара не договорила и, чувствуя буквальное физическое изнеможение, опустила голову на свои сложенные на столе руки и горько заплакала.

Отец посмотрел на неё долгим внимательным взглядом, затем встал, и подошёл к окну, рассматривая оживлённую улицу за окном. Затем, приняв решение, он повернулся лицом к дочери и твёрдо сказал:

— Мне нужны эти фотографии.

Оборвав плач, Тамара испуганно посмотрела на отца.

— Зачем?! Я... не знаю, не смогу... наверно, их достать... взять. Как? Зачем они тебе?! Что это меняет?

— Тамара, мне нужны эти фотографии, — повторил отец; и то, как он это сказал, — ровным негромким голосом, четко выговаривая слова, — а так же то, что он назвал её полным именем, что бывало с ним чрезвычайно редко и всегда в схожих обстоятельствах, парализовало волю Тамары, сделало для неё абсолютно невозможным какое-либо промедление или уклонение от выполнения отцовского требования.

Густо покраснев, она достала из своей сумочки злополучные фотографии и протянула их отцу. Отец спокойно взял стопку фотографических карточек и внимательно их рассмотрел. (При этом быстрая, похожая на судорогу гримаса пробежала по его лицу; но если бы Ахмед мог предвидеть эту гримасу, он не только не сделал бы с Тамарой ничего подобного, но и обходил бы её при всякой возможности за сотни метров). Затем он аккуратно сложил фотографии в прежнюю стопку и спрятал в нагрудный карман.

— Теперь — адрес, — прежним тоном, не допускающим ни малейшей возможности возражения или промедления с ответом, продолжил он. — Адрес, где живет этот Ахмед.

Запинаясь, Тамара назвала адрес.

— И последнее. С сегодняшнего дня, с этой минуты, пока я не разрешу, ты никуда из дома не выходишь — ни в университет, ни в спортшколу, ни в магазин. Понятно?

Тамара утвердительно кивнула, глядя на отца широко раскрытыми, блестящими от недавних слез преданными глазами. Раздражённо покривившись (впервые за время этого разговора), отец отвернулся и вышел из комнаты.

ГЛАВА 5

Николай Иванович Столяров за свою долгую трудную жизнь любил только однажды (в узком, одном из четырех, по словарю Ушакова, значении этого слова — любви к женщине). Говорят, есть мужчины-однолюбы. Возможно. Но мне кажется, дело тут не столько в особенностях мужчины, сколько в достоинствах другой стороны — в обаянии женщины. И если эти достоинства — улыбка, смех, озорной блеск глаз, а главное, доброта, ум, нежность, такт — светят как направленный в глаза луч прожектора и оглушают подобно близкому удару колокола, если память о них на протяжении всех прожитых лет жжет нестерпимой, неизбывной, ни на йоту не сглаженной временем болью, то все другие игривые улыбки, томные взгляды и кокетливые разговоры вызывают лишь раздражение и досаду. Впрочем, не берусь утверждать категорично. Как говорится, возможны варианты. Но в нашем случае — в случае Николая Ивановича Столярова — все сказанное подтверждается фактами до последней запятой. Впрочем, судите сами.

С Тамарой Королевой — примером в доказательство сказанному выше — Николай Столяров учился в одном классе с первого года учебы в школе. Но так случилось, что их любовь вспыхнула неожиданно, на последних месяцах учебы, не дав им вволю натешиться танцами на школьных вечерах и городских танцплощадках, походами друг с дружкой в кино, в театры, поездками в лес, на речные пляжи и всем другим, что не выходит за рамки обычного, неприметного, но что врезается в память яркими незабываемыми картинами, когда за ними стоит любовь. В тот же год после окончания школы Николай поступил в военное авиационное училище, и его отношения с Тамарой на долгие месяцы свелись лишь к переписке. Но в первый же его приезд в отпуск после зимней экзаменационной сессии двое влюблённых решили пожениться. Свадьбу наметили на лето того же года, когда Николай приедет в отпуск после окончания первого курса училища. Но... это было лето 1941 года, началась война. Тамара стала одной из первых жертв той вселенской бойни. Это произошло на глазах у Николая. Он приехал в отпуск на неделю раньше срока по причине болезни матери (она с кровоизлиянием в мозг попала в больницу) и в тот роковой день собирался вместе с отцом и братом навестить в больнице мать, а потом поехать с Тамарой за город на пляж, когда услышал по радио заявление Советского правительства. Николай встал у радиоприемника как вкопанный, не в силах поверить, что в этот теплый воскресный день, с ласковым солнцем и весёлым щебетом птиц на деревьях, с тихими утопающими в зелени улицами, с матерью и Тамарой, ждущими его в нескольких кварталах от его дома, и всем остальным внешне ничем не изменившимся укладом его жизни кровавая безжалостная машина войны уже начала свою страшную жатву на его земле. Военный человек, целый год готовившийся именно к такому сообщению, встретившись с ним в действительности, он почувствовал себя совершенно ошеломлённым.

Но его растерянность длилась недолго. После минутного оглушения план действий выстроился четко и безвариантно. Прежде всего, надо было возвращаться в училище: что бы ни случилось дома, он должен быть там: отныне он себе не принадлежит. Ближайший поезд до Москвы, через которую пролегала дорога к его училищу, уходил вечером. Значит, на все его личные дела оставались считанные часы.

Быстро собравшись, он вместе с отцом и братом поехал в больницу и забрал домой мать. Николай не представлял, как отец будет управляться с работой, новыми, вытекающими из военного положения обязанностями и с больной женой и малолетним сыном дома, но хоть на эту заботу у него будет меньше. Потом он поехал на вокзал и купил билет на поезд. Поезда пока ходили по прежнему расписанию, и это обстоятельство вдруг обожгло Николая особенно болезненным пониманием случившегося — как у человека, неосторожным ударом топора отсекшего себе палец: вот он лежит, прежней формы, и

даже кожа над ним ещё не потемнела, но уже потерян для него навсегда. Дальше — Тамара. Все их личные планы уже перечеркнула война, и что-то Николаю подсказывало, что Тамаре сейчас намного тяжелее, чем ему.

Тамару он застал дома. Против его ожидания она была спокойна и деловита. Только необычная бледность её лица и едва заметная дрожь пальцев выдавали цену этого спокойствия.

— Ну что, Коля, видишь, как все получилось, — сказала она после слов приветствия. — Наша свадьба откладывается... — Тамара запнулась, быстрая судорога пробежала по её лицу, но уже через мгновение она взяла себя в руки. — Когда ты едешь? — спокойно спросила она, сам факт его отъезда приняв за исходное, не подлежащее обсуждению обстоятельство. — А то мне надо сейчас в горком — договорились с девчонками там встретиться, — но я обязательно хочу тебя проводить. (Тамару в тот год избрали членом горкома комсомола).

Николай ощутил облегчение. Он с подспудной опаской ждал этой встречи. В свете случившегося любой из возможных её вариантов, которые рисовала ему его фантазия, включал слёзы Тамары, его, Николая, хмурое молчание и неловкое топтание на месте из-за незнания, что сказать в утешение, и жестоких угрызений совести, которые, несмотря на обоюдное понимание неизбежности этого шага, жгли его от того, что он оставляет её вблизи вспыхнувшего пожара войны. И то, как Тамара повела себя, — ещё более по-мужски, чем он, курсант военного училища, — наполнило его, с одной стороны, гордостью за свою возлюбленную, а с другой — жгучей тоской, так как что-то в глубине души шептало ему, что он теряет её сейчас навсегда. Сглотнув комок в горле, Николай взял Тамару за руку.

— Сегодня вечером, — с трудом заставляя себя смотреть ей в глаза, сказал он. — Московским поездом, если... ничего не помешает. Давай встретимся у тебя в восемь. Я за тобой зайду.

— Давай, — просто ответила Тамара. — Пока. До вечера.

Эти обычные, сказанные спокойным негромким голосом слова навсегда остались в памяти Николая незаживающей раной, потому что... они оказались последними словами, которые он слышал от Тамары.

Вечером того же дня на город был первый воздушный налёт. Простившись с отцом, матерью и братом, Николай шел к Тамаре, когда в безоблачном, девственно-голубом в лучах заходящего солнца небе появились похожие на рой ос точки немецких самолетов. Несмотря на ясное понимание надвигающейся смертельной опасности, Николай не мог заставить себя в неё поверить, пока на улицах не начали рваться бомбы. Тихий мирный удобный для жизни город мгновенно превратился в ад. Деревянные одноэтажные дома взлетали в воздух, подобно сухим листьям под порывами ветра. Многоэтажные кирпичные строения после попаданий в них бомб вначале раздувались как резиновые, зависали на мгновение в воздухе, а затем с грохотом проваливались в пустоту, оставляя на месте себя клубы пыли и дыма. Обезумевшие люди метались по улице и гибли на глазах у Николая десятками. Рёв штурмовиков, сменивших согласно технологии этого массового убийства бомбардировщики, взрывы бомб, треск пулемётов, крики, детский плач и грохот рушившихся зданий накрыли Николая, словно стеклянным колпаком, снаружи которого, не вызывая в полной мере ощущения реальности происходящего, подобно кинокартине на гигантском киноэкране, разворачивались события фильма ужасов. Николай пытался сбросить с себя это оцепенение, безотчётно, механически, пригибался при близких разрывах бомб и шёл тысячи раз хоженой, но ставшей в одночасье неузнаваемой дорогой к Тамаре.

Но оцепенение оставило его, только когда он увидел Тамару. Она стояла у подъезда своего дома, а не в укрытии, как потом догадался Николай, из-за боязни пропустить встречу. Увидев его, она бросилась навстречу, и в этот момент её прошила пулемётная очередь пролетавшего на бреющем полете штурмовика. Когда Тамара упала, Николай поднял голову и проводил взглядом её убийцу — огромную в сравнении с лежавшей на земле Тамарой железную махину с крестами на крыльях и пилотом в кабине, который, как показалось Николаю, пролетая мимо, довольно улыбнулся.

Это тот редкий случай, когда можно с точностью до минуты указать время рождения упорного, бесстрашного, безжалостного к врагу воина, который в числе миллионов себе подобных через четыре года принёс своей стране Победу. Так случилось, что за четыре года войны Николай Столяров остался жив. Невероятно, но факт: несколько раз его сбивали, при этом, почти всегда над территорией,

занятой немцами, откуда он потом ночами и лесами пробирался к своим. Однажды, в момент такой катастрофы у него не раскрылись оба его парашюта, и жизнь ему спасло только то, что он упал в воду небольшого лесного озера. Дважды он горел в самолете. В первом случае ему удалось сбить пламя в воздухе, а во втором он посадил горящий самолет на свой аэродром. Два раза он совершил таран (неверующему человеку трудно в это поверить) — первый раз это случилось, когда его, расстрелявшего весь боезапас, пытались посадить на свой аэродром немецкие истребители; а второй — когда на лице пролетавшего близко, промахнувшегося по нему фашистского летчика он увидел ту же, что и в июне 41-го, ухмылку... Поэтому задание его полку весной 45-го о воздушной поддержке нашего наступления на Берлин Николай воспринял, как свою самую дорогую и глубоко личную награду.

Победу Николай встретил в Берлине, на одном из аэродромов которого разместился его полк. Странное чувство испытал он, услышав о капитуляции фашистской Германии. В первое мгновение он, как все вокруг, восторженно кричал «ура!», выстрелил в воздух всю обойму своего пистолета, обнимался с оказавшимися рядом однополчанами и даже катался по земле в обнимку с одним из них. Но, некоторое время спустя, чуть остыв, он испытал досаду за упущенную вчера возможность (кончились боеприпасы) расстрелять прорывавшуюся на запад колонну немецких машин... досаду на то, что убивать их дальше у него возможности больше не будет.

После войны Николай Столяров остался служить в армии и вышел в отставку в 1964 году в звании полковника, заместителя командира дивизии. И почти все эти годы он прожил холостым, так как не допускал мысли о том, что кто-нибудь в его душе может занять место Тамары. Но незадолго до своей отставки, находясь во время отпуска в военном санатории, он познакомился с врачом этого санатория Людмилой Анатольевной Василенко, двадцатичетырехлетней незамужней женщиной, которая затем стала его женой.

Решение о женитьбе трудно далось Николаю — тут уже уместно добавить отчество — Ивановичу. Память о Тамаре саднила жестокой, ничуть не притихшей за прошедшие годы болью. Но при этом, с течением времени рядом с этой памятью, ничуть не затеняя её, стало расти и укрепляться понимание, что жизнь проходит, и он рискует остаться в старости один, а Тамара, он был в этом уверен, этого бы не одобрила. Но, главное, ему в вдруг пришла в голову мысль — которая, несмотря на трезвое понимание её абсурдности, тем не менее, захватила его целиком, — что если у него родится дочь, то это будет его Тамара, которой Провидение подарило возможность прожить жизнь заново.

Все эти мысли и переживания сделали женитьбу Николая Ивановича *возможной*. Правда, справедливости ради надо отметить, Людмила Анатольевна оказалась чрезвычайно благоприятным для осуществления этой возможности обстоятельством.

С рождением дочери неожиданно переменился в глазах Николая Ивановича весь окружающий его мир. Все прошлое — детство, юность, любовь к Тамаре, война и послевоенная разруха — остались позади, подобно прочитанной книге — захватывающе-интересной, волнующей до слёз, но законченной и поставленной в «книжный шкаф» его памяти, — а впереди, теряясь в дымке далекой ещё старости, вдруг открылась панорама спокойной, мирной и... счастливой жизни, которая явилась ему внезапно и завораживающе-ярко, словно перед усталым путником, который после долгих скитаний по дремучему лесу неожиданно вышел на опушку с простиравшимися за ней бескрайними залитыми солнцем полями и видневшимися между ними крышами человеческого жилья. Главная заслуга в этом принадлежала, конечно, дочери, маленькому комочку жизни, нежному и беспомощному, который судьба вдруг, когда он уже ничего от жизни не ждал, подарила ему в качестве искупления за свою жестокость в середине двадцатого века (правильнее, в виде награды за мужество и стойкость, не позволившие этой жестокости перейти в ничем не сдерживаемое варварство).

С первых дней после своего рождения дочь стала для Николая Ивановича точкой отсчёта его забот и устремлений, которые он определил на оставшуюся ему часть жизни. Он без сожаления вышел в отставку. Переезд в другой город, получение новой квартиры, покупка машины и дачи волновали его не больше, чем наступление ясной погоды после ненастья или сытный ужин после трудового дня. Зато простуда Тамары, подвывих её ручки или ожог кипятком (не сильный, лишь первой степени) были для него событиями, сравнимыми с Карибским кризисом или началом новой войны. И наоборот, её первые осознанные звуки, слова, улыбки, первые

самостоятельные шаги вызывали у него восторг, подобный которому он испытывал только во время встреч с фронтовыми друзьями в день Победы и... во время встреч с Тамарой своей юности.

Подводя итог сказанному, я думаю — и, мне кажется, читатели со мной согласятся, — что данное в одной из предыдущих глав определение любви Николая Ивановича к своей дочери как фанатичной не является преувеличением. Но.. фанатичная любовь, особенно, к единственному ребенку, как правило, рождает моральных уродов. Правда, лишь в присутствии третьего условия — слепой любви. Но, к счастью для Тамары, любовь к ней отца «слепой» не была. С одной стороны, разум, а с другой, та же любовь, которая у разумных людей обязательно включает в себя тревогу за будущее любимого человека, заставляли Николая Ивановича думать о времени, когда его, отца, рядом с дочерью не будет (или уже «не будет» совсем). И в его представлениях о будущем дочери успокоение ему приносили только те картины, в которых Тамара являлась ему умной, энергичной, уверенной в себе и счастливой в личной жизни. А эти качества человека могут состояться только в случае его крепкого здоровья, способности к квалифицированному труду с соответствующим материальным вознаграждением и окружения хорошими людьми — то есть, среды, в которой он вследствие своих способностей оказался. Поэтому все проявления любви Николая Ивановича к дочери преломлялись сквозь призму этого задуманного в качестве конечной цели результата. Впрочем, как уже отмечалось в рассказе о детстве Тамары, на душевности её отношений с отцом и их взаимной привязанности это сколько-нибудь отрицательно не сказалось — а как раз наоборот.

Правда, тут надо заметить (для некоторого оправдания родителей, которые, несмотря на искреннее желание вырастить своих детей достойными людьми, получают результатом их подлость, жестокость и уголовные повадки), что достижение поставленной Николаем Ивановичем цели в то время было делом намного более простым и быстрым, чем ныне, так как тогда на стороне родителей полно и всеобъемлюще стояло *государство*. (Почему оно не делает этого сейчас? Обстоятельному ответу на этот вопрос я посвятил свою главную книгу — роман «Прозрение», но здесь все же кратко скажу: государство — это система мер, задач, запретов и ограничений в жизни народа, охраняющая интересы той его части, которая на данный момент находится у власти — класса, прослойки, элиты. В интересы нынешней элиты образование грамотного, решительного, твёрдо осознающего свои интересы *большинства* народа не входит).

Раннее детство дочери было для Николая Ивановича временем, когда он открывал в себе качества, о которых он до этого не подозревал. Например, он мог подолгу умильно смотреть (обычно, чтобы избежать насмешек жены, прикрываясь газетой или делая вид, что смотрит телевизор), как дочка, бурча что-то себе под нос, играет с игрушками или, слюнявя пальчик, листает книгу, рассматривая картинки. Он мог вечера напролёт играть с ней в её игры, не находя в этом ничего утомительного или предосудительного; мог подолгу валяться с ней на ковре или на тахте, прижимая дочь к себе, щекоча ей спину или живот, или поднимая её на вытянутых руках и подставленных коленях, и смеяться вслед её счастливому смеху, когда она пыталась вырваться из этой воздушной западни. Но при этом он никогда, даже в самые трогательные и счастливые моменты своей семейной жизни, не забывал о конечной цели своих устремлений в отношении дочери. Эта память присутствовала в игрушках и играх Тамары, которые почти все были «развивающими», в её книжках, ярких и добрых, быстро ставших для неё таким же обязательным условием жизни, как вода, пища и воздух. Его «шумные» игры с ней дома или где-нибудь в укромном месте на улице — в сквере, в парке или в укрытом от посторонних глаз углу своего двора — одновременно были гимнастикой, сделавшей её тело гибким и сильным, а глазомер — быстрым и точным.

Школьные годы Тамары придали отцовским заботам Николая Ивановича гораздо более серьёзный и обстоятельный характер, так как это была та дистанция её жизни, за которой начиналась финишная прямая к поставленной им конечной цели. Однако и радость от побед дочери на этой дистанции тоже была намного глубже и многогранней, потому что за ней, кроме собственно радости за дочь, стояло удовлетворение результатами своего труда.

Но... побед без поражений не бывает. Как невозможно пройти через лес по узкой, извилистой, заваленной буреломом тропинке и не разу не оступиться, так нельзя вырастить сына или дочь, чтобы ни разу на этом пути у них не случились разной степени тяжести

ошибки и провалы. Николай Иванович это понимал и поэтому к большинству таких ошибок дочери относился спокойно, предоставляя ей возможность решать свои проблемы самой, ограничиваясь советами, если ей угодно было их выслушивать, и дружеским сочувствием. Но когда события принимали опасный (для конечной цели) оборот, вмешательство Николая Ивановича было решительным и исчерпывающим.

О двух наиболее тяжёлых срывах Тамары, потребовавших решительного вмешательства отца, рассказано в предыдущих главах. Но если в первом случае, в случае с Андреем Полежаевым, Николай Иванович позволил (с помощью педагогической хитрости) основную работу по выправлению ситуации выполнить самой Тамаре (держа наготове такие меры, как перевод Тамары в другую школу и даже переезд в другой город), то во втором случае выходом могло быть только устранение опасности со стороны Ахмеда и сохранение случившегося в тайне. А это означало необходимость изъятия у Ахмеда тех фотографий и негативов к ним и устранения из жизни Тамары самого Ахмеда. При этом об убийстве не могло быть и речи — не по причине моральных препятствий (как раз все моральные устои Николая Ивановича взывали к убийству), а по причине опасности такого шага для Тамары и его непредсказуемости для их дальнейших семейных отношений. Дело осложнялось ещё тем, что сами эти фотографии, которые ощутимо жгли сквозь ткань рубашки его кожу, засевшая в памяти, подобно раскалённому гвоздю, картина того, что сделали с его дочерью, вызывала у Николая Ивановича странное раздвоение личности, когда он видел себя, словно со стороны, и при этом чувствовал, что в самый ответственный момент — в момент встречи с Ахмедом — он не сможет удержать этого второго Николая от рокового шага. Впервые после войны Николай Иванович испытал душную, режущую глаза ненависть, которую в те годы облегчало только нажатие на гашетку пулемета.

После долгих хмурых раздумий Николай Иванович понял, что одному ему со своей бедой не справиться. Сказав жене, что идет в город «по делам», и ни разу больше не взглянув на Тамару, которая следила за ним с тоской загнанного в ловушку зверька, Николай Иванович оделся и вышел из дому.

В этом месте необходимо снова сделать отступление и подчеркнуть, что беда является таковой только в случае достижения ею конечного, необратимого результата. А всё остальное — в промежутке от её начала до последнего завершающего мгновения — это борьба. И нет счастья более пронзительного, чем отведённая беда. Но особенно счастливы люди, которые в борьбе со своей бедой не одиноки. Николай Иванович в данном случае оказался счастлив вдвойне. (Да простят меня читатели: я снова забегаю вперед. Но, как вы успели заметить, до сих пор повествование шло, в основном, хронологически в обратном порядке. Так что, если вы дочитали мой рассказ до этого места и не захлопнули книгу от досады, то мое извинение излишне). Николай Иванович, прежде всего, был счастлив мужской дружбой. Но мужская дружба никогда не вспыхивает внезапно, после случайной встречи, как это бывает с любовью. Хочу так же заметить, что настоящая дружба не вырастает из тихой, сытой и беспроблемной жизни.

При этом её крепость напрямую (если не прямо пропорционально) зависит от тяжести и продолжительности выпавших ей испытаний.[1]

Поэтому, в свете рассказанного о Николае Ивановиче, я думаю, не надо долго объяснять, почему его друг и однополчанин Вячеслав Васильевич Щербацевич, к которому Николай Иванович приехал за помощью, выслушав его, первым делом сказал:

— Значит, так, Коля, прежде всего, давай условимся: так или иначе мы твою проблему решим. Это мы у себя дома, а не эта желторожая тварь. А уже, исходя из установленного результата, давай спокойно подумаем, как это сделать максимально безболезненно для тебя и твоей дочки.

Николай Иванович внимательно посмотрел на друга. В военные годы Щербацевич был летчиком одной с ним эскадрильи, но в конце войны его после ранения списали из летного состава, и он служил вначале

1. Напрашивается вопрос: а что, в таком случае, делать мужчинам, которым «не повезло» жить в мирное время? Так и коротать свой век свой моральными инвалидами? Не затевать же из-за этого специально войну. Мой ответ будет такой: не всем удается побывать на вершинах Казбека и Эвереста, но это не значит, что люди, далекие от альпинизма не могут оценить красоту высочайших точек мира. Кроме войны дружбу рождает честный труд, творчество, спорт. Но для начала надо понять и оценить фронтовую дружбу и относиться к фронтовикам, как к людям, побывавшим на недоступных вам горных вершинах.

замполитом их же полка, а потом перешёл в органы военной контрразведки. В отставку он вышел примерно в одно время с Николаем Ивановичем, и после войны они встречались лишь считанные разы — в основном, на день Победы вместе с другими однополчанами. Но, несмотря на это, никаких сомнений в своем друге Николай Иванович не испытал, как, впрочем, не обнаружил ни малейших признаков мимикрии в связи с изменившимся временем и своим положением в обществе Щербацевич.

— Давай, — после некоторого молчания спокойно согласился Николай Иванович и, скрестив на груди руки, откинулся на спинку стула, оглядывая кухню, где шел разговор — предоставляя Щербацевичу возможность «подумать» первым.

Щербацевич внимательно посмотрел на друга, чуть слышно хмыкнул, затем встал, зажёг на плите огонь, заварил две чашки крепкого кофе, поставил их на стол и, пригубив из своей чашки, сказал ровным уверенным голосом:

— Коля, тут надо действовать быстро и твёрдо. Такие твари больше всего боятся ответственности за свои дела. Насколько им безразлична судьба других, настолько они носятся с каждым своим прыщиком. Здесь имеет место факт изнасилования...

Николай Иванович сделал предупреждающий жест, но Щербацевич твёрдо припечатал его руку к столу.

— Подожди! Я не закончил. Я не предлагаю тебе доводить дело до суда. Но можно возбудить уголовное дело, посадить этого Ахмеда на трое суток в СИЗО[1] — а СИЗО это не санаторий, подобные сытые твари это особенно остро чувствуют, — там все ему хорошо объяснить, и если он пообещает убраться из нашей страны навсегда, закрыть дело, допустим, за недоказанностью. Попутно можно будет оговорить и другие условия — чтобы он держал язык за зубами и до своего отъезда обходил твою дочку за километр. Впрочем, при такой раскладке он в этом сам будет кровно заинтересован.

— А если он обманет? Пообещает, а когда выйдет на свободу, сделает по-своему?

Щербацевич хмыкнул.

— Тогда можно будет снова возбудить уголовное дело. Например, по протесту прокурора. И тогда уже раскрутить его на всю катушку, вплоть до Интерпола, если он уедет из страны. Лет шесть он за это получит. Но, я думаю, до этого не дойдет. Он как только умножит трое суток в СИЗО на возможные шесть лет, то сразу станет таким ласковым и послушным, что будешь удивляться, как ты мог подумать о нем плохо.

Николай Иванович с полминуты сидел молча, выбивая по столу пальцами тихую дробь. Молчал так же и Щербацевич, отпивая маленькими глотками кофе, — предоставляя другу возможность обдумать его предложение.

— А другие варианты? — спросил затем Николай Иванович. — Что можно сделать ещё?

— Застрелить его на хрен и закопать, — пожал плечами Щербацевич. — Больше ничего.

Чуть заметная судорога пробежала по лицу Николая Ивановича, а в глазах блеснул огонь, какой бывал у него всегда, когда он бросал свой самолет в атаку.

— Решено. Действуем, как ты сказал. Но пообещай: если он вывернется или попытается сделать... то, что он собирался, ты поможешь мне встретиться с ним наедине.

Щербацевич неловко повел плечами, невольно ёжась под пристальным взглядом друга.

— Коля, ты же понимаешь, что я не могу обещать того, что не от меня зависит... — с непривычной для слуха Николая Ивановича неуверенностью начал он, а затем тряхнул головой и твёрдо сказал: — Обещаю, Коля. Я не знаю, как это получится в деталях, но если до него не дойдет в СИЗО, я тебе эту встречу устрою...

Не буду подробно описывать осуществление замысла Щербацевича (чтобы не превратить художественное произведение в учебное пособие). Скажу только, что заявление Тамары в прокуратуру, которое она написала по требованию и под диктовку отца (не могла не написать) и злополучные фотографии вместе с негативами, которые изъяли при обыске у Ахмеда, а так же следы опиатов, найденные в одной из бутылок из-под вина, бывшего в тот злополучный вечер на столе, и опиаты, обнаруженные при анализе крови Тамары, стали достаточными основаниями для возбуждения уголовного дела и, соответственно, нескольких суток, проведённых Ахмедом в камере следственного изолятора. Затем, после другого заявления Тамары, в котором она отказывалась от обвинения в изнасиловании, его вначале выпустили под подписку о невыезде, а затем закрыли дело «за отсутствием состава преступления». (То есть, по причине

1. СИЗО — следственный изолятор.

недоказанности, о которой говорил Щербацевич). И на следующий же день Ахмед, ни с кем не попрощавшись, вылетел (очень хочется сказать — подобно футбольному мячу после хорошего удара ногой, но все же он воспользовался самолетом) вначале в Москву, а оттуда в Тегеран. Все это оказалось возможным, благодаря следователю по особо важным делам Прокуратуры БССР, который несколько послевоенных лет работал в подчинении у Щербацевича, и чья память о том времени оказалась достаточной причиной для того, чтобы выполнить его просьбу во всех необходимых деталях, включая изменение заключения биохимической экспертизы о наркотическом опьянении Тамары, из-за которого Ахмед суда бы не избежал. (Здесь я не могу без сожаления не отметить, что представить подобный поступок применительно к нынешнему времени мне намного сложнее, чем к тому. Бескорыстно, ради человека, от которого ты больше не зависишь, рисковать своим служебным положением, решиться на поступок на грани Закона — для этого надо было воспитываться в Советское время).

Когда Тамара через две недели («после болезни») появилась в университете, некоторый ажиотаж и недоумение в связи с неожиданным, без объяснения причин, отъездом Ахмеда уже улеглись. Кроме того, все происшедшее осталось в тайне, поэтому никому в голову не пришло связать этот отъезд с ней; и Тамара после нескольких дней напряжённого ожидания и испуганных вздрагиваний при упоминании имени Ахмеда постепенно вошла в привычный уклад и ритм своей жизни, а случившаяся с ней беда с каждым днем все дальше уходила в лабиринты её памяти, постепенно принимая форму приснившегося ей кошмара.

ГЛАВА 6

Ну вот, после ста с лишним страниц машинописного текста и полутора лет работы я подошёл к... началу этой книги — к Коле, нежному, капризному, избалованному мальчику, полной противоположности того, что я хочу видеть в мальчишках вообще и в своих сыновьях, в частности. Повествование последних глав требует объяснения, как же так случилось, что у умной, воспитанной в духе спорта и здорового образа жизни Тамары Николаевны сын вырос безвольным, слабохарактерным, легко поддающимся дурному влиянию юношей. Это объяснение надо начать с рассказа об обстоятельствах её замужества и первых годах после рождения сына.

Ее муж был известный в республике спортсмен, «мастер спорта СССР» по биатлону, неоднократный чемпион БССР и призер всесоюзных первенств Александр Завьялов. Тамара познакомилась с ним на спортивных сборах в Раубичах. Так совпало, что сборная команда республики по гимнастике, в которой Тамара была уже не новичок, и сборная по биатлону, готовясь каждая к своим соревнованиям, оказались на этой спортивной базе в одно время, и, кроме Тамары, ещё несколько человек нашли себе тогда — кто «спутника жизни», кто для начала просто «друга» (или «подругу»).

Завьялов с первых встреч покорил Тамару острым умом, весёлым, без малейших признаков зазнайства характером (хотя в то время он был одним из ведущих спортсменов республики) и спокойной мужественной внешностью. (Последнее обстоятельство названо в числе определяющих не из-за того, что оно входило для Тамары в тройку важнейших, а потому что, будь Завьялов «красивым», знакомство просто бы не состоялось — память об Андрее Полежаеве засела в её душе занозой на всю жизнь). И как это часто бывает, когда встречаются молодые, схожие по уму и духу, мужчина и женщина, их чувства друг к другу быстро переросли в любовь, после чего свадьба и рождение сына оставались лишь делом времени.

Александр Завьялов («мой Саня», как звала его среди своих Тамара) в семейной жизни оказался человеком, о каком мечтает каждая женщина — верным, заботливым, домовитым, к тому же трудолюбивым и неожиданно для своего спокойного рассудительного характера деловым и предприимчивым, сумевшим к стипендии члена сборной команды ЦС «Динамо» и зарплате тренера, которым он начал работать после окончания института физкультуры, приплюсовать зарплату инструктора-методиста ФОКа, открытого при домоуправлении их микрорайона, а так же зарплату председателя ЖСК, где они получили квартиру. В итоге вопрос денег и связанных с ним материальных проблем — самый болезненный вопрос всех молодых семей — перед Тамарой никогда остро не стоял. А свое жилье — упоминавшуюся уже кооперативную квартиру (второе материальное условие семейного счастья) — Тамара и Александр, как молодые специалисты и заслуженные спортсмены, получили возможность

построить вне очереди в первый же год своей семейной жизни. (Деньги на первый взнос уже были частично у Тамары и Александра, а остальную часть совершенно безболезненно для своих семейных бюджетов внесли родители с обеих сторон).

Выход Тамары замуж за Александра был с одобрением встречен её родителями, особенно, отцом. Всегда спокойный и сдержанный Николай Иванович буквально светился радостью, когда дочь с зятем приходили к нему в гости или приглашали к себе, любил играть с зятем в шахматы, делать вместе с ним какую-нибудь работу по ремонту, переоборудованию и усовершенствованию квартиры молодых, на которые неистощима женская фантазия (в данном случае его дочери) и, что бывало с ним уже вовсе редко, мог подолгу рассказывать ему о своих фронтовых годах. В такие моменты Александр превращался в статую, олицетворявшую напряжённое внимание, которое невольно (и неизменно) передавалось Тамаре.

И, наконец, сын, которого оба родителя ждали как главный приз своего семейного триумфа. То, что у неё будет сын, Тамара узнала ещё во время беременности после ультразвукового исследования в одном из минских НИИ. (В то время большая редкость, но его устроил муж, у которого в связи со спортом был удивительно широкий круг знакомств). Сына в честь деда назвали Колей, и Николай Иванович, узнав об этом, впервые на памяти Тамары прослезился. Надо ли после всего сказанного объяснять, почему внук в доме своих деда и бабушки стал самым дорогим гостем. Но больше всего радовало Тамару отношение к сыну и всему тому, что было связано с его рождением, мужа. Александр, «ее Саня», взял на себя большинство забот по уборке квартиры, стирке пеленок, покупке в магазинах и на рынке продуктов и даже приготовлению пищи, оставив Тамаре только кормление сына и текущий уход за ним (пеленание, подмывание и тому подобное). Ежедневные купания младенца, занятия с ним гимнастикой, воздушные ванны были исключительной прерогативой отца с вспомогательными (необязательными, лишь когда её подталкивало к этому любопытство или даже ревность) участием матери. В тех случаях, когда Коля по нездоровью или по какой-нибудь другой причине, по которой плачут младенцы, не спал по ночам и громким плачем или тихим хныканьем требовал к себе внимания, Александр решительно отправлял Тамару спать в другую комнату, а сам часами напролёт носил его на руках или качал в кроватке, пока тот не успокаивался. И часто, украдкой наблюдая за мужем, Тамара ощущала легкий озноб и мурашки на коже от осознания своего пронзительного женского счастья и... ещё страх когда-нибудь его потерять. Словно какой-то вещун уже тогда нашёптывал ей, что *такая* радость жизни и *такое* семейное счастье не могут быть бесконечными. До своих зрелых, затенённых уже приближающейся старостью лет Тамара так и не смогла прийти в себя после крушения своего короткого ослепительного счастья...

Её семейная катастрофа началась с отца. У Николая Ивановича неожиданно обнаружили запущенный рак легкого. Врачи поражались, как при регулярных диспансерных осмотрах с ежегодной рентгенографией легких опухоль смогла вырасти сразу до четвертой степени.

Сгорел он быстро — всего за два с небольшим месяца. Зато умирал долго и тяжело. Исхудавший, в холодном поту, с густой синевой кожи лица, отец полулежал на высоких подушках, беспомощно хватая открытым ртом воздух и... глядя на своих родных спокойными глазами, в которых читалось желание, чтобы его мучения скорее кончились.

Самым тяжёлым для Тамары было — это встречаться с ним взглядом. Каждый раз в таком случае (и с каждым разом все сильнее) её охватывало жгучее, как удар плети, сострадание, которое схлёстывалось с таким же обжигающим пониманием того, что через короткое время она этих измученных болью глаз больше видеть не будет.

За всё время болезни отца, хотя, как правило, и сами больные, и их родственники постепенно к своей беде привыкают и как-то исхитряются провести остаток дней спокойно, Тамару ни на день, ни на час (ни даже во сне, который из времени отдыха для мозга превратился в мешанину из кошмарных сновидений — безмятежных картинок юности и детства, посреди которых вдруг из ниоткуда появлялось страшное лицо отца, темно-синее, с ввалившимися глазами, иногда с пустыми глазницами вместо глаз, и с чёрным, в ободе потрескавшихся губ, ртом, из которого вырывалось хриплое, похожее на треск рвущейся материи дыхание, — и внезапных испуганных пробуждений, когда ей казалось, что этого жестоко пытавшего её дыхания она больше не слышит), ни даже во сне её не отпускало ощущение физически

жгучей, удавкой сдавившей ей горло тоски. А в последний день, когда отец на её глазах после нескольких судорожных вздохов вдруг замер с остановившимися глазами, и прекратилось это жуткое, монотонно пытающее и монотонно умирающее в течение последних недель дыхание, Тамара вначале не поверила, что это конец. Так просто: те же заострившиеся черты лица, та же синюшная бледность кожи, но что-то в глубине их замкнуло, и — кончились страдания, а вместе с ними радости и горести, надежды и разочарования, желания и отвращения; все то, что составляет такой хрупкий и такой необъятный эфир, как человеческая жизнь. Тамара опустилась перед отцом на колени и тихо заплакала. И в этот момент отец сделал последний вдох. Тамару словно стегнули кнутом. Она бросилась к отцу на грудь, стала его трясти, бить по щекам, пытаться делать искусственное дыхание; затем кинулась к телефону вызвать «скорую помощь» (но ничего связного сказать в трубку не смогла: трубку у неё взял и сделал вызов «скорой помощи» Александр), потом — снова к отцу, окончательно неподвижному, смотревшему на неё остановившимися, полуоткрытыми и... укоризненными глазами. Упругая, жаркая, с осязаемыми колебаниями воздуха и ощутимой дрожью пола под ногами волна, подхватила Тамару, закружила в стремительном вращении и бросила в душную яму полузабытья, в котором она не отличала явь от бреда, путала день вчерашний с позавчерашним и события реальные с приснившимися ей в одну из душных, наполненных кошмарами ночей.

Из этого оглушённого состояния Тамары выходила долго и трудно. Похороны, поминки, сочувствия в словах и газетах казались затянувшимся кошмарным сном, из которого она никак не может вернуться к действительности. И наоборот, воспоминания об отце, его уверенный громкий голос, улыбка, смех, картины детства и юности, в которых отец всегда был центром мироздания и точкой отсчёта всех её интересов и устремлений, звучали так ясно и отчётливо и так ярко стояли перед глазами, что Тамара испытывала досаду, когда её от них отвлекали слишком громким плачем и причитаниями, слишком навязчивыми выражениями сочувствия и слишком настойчивыми попытками отвлечь от её переживаний, а так же побуждениями к тем или иным поступкам во время похорон, поминок и в последующие дни, когда, несмотря на произошедшую катастрофу, жизнь продолжалась, и надо было готовить еду, ходить в магазины, с малышом — на прогулки и в поликлинику и заниматься теми или иными домашними делами.

Но время — лекарь. Дни сменяли ночи, затем снова наступали дни, которые в итоге складывались в недели и месяцы, прошедшие без отца; и постепенно Тамара начала не привыкать, нет, а учиться, осваивать навыки жизни без одного из главных её составляющих. Большую помощь ей в этом (вернее, основную) оказывали муж и сын, и в первую очередь — сын. Полуторагодовалому Коле принадлежала основная заслуга в возвращении матери к нормальной жизни. Милый, беспомощный, смешно и беспрерывно лопотавший что-то на своём языке, он был для Тамары одновременно радостью, дававшей ей возможность отвлечься от своего горя, и ответственностью, не позволявшей горю заступать в её душе за крайнюю черту. Оставаясь с сыном дома одна, Тамара могла часами валяться с ним на постели и, ласкаясь к нему, целуя его в щеки и губы, щекоча ему лицо своими волосами, с восторгом слушать, как тот в ответ заливается счастливым звонким смехом. При этом, забывая обо всем другом, она со страхом думала о том времени, когда его надо будет отдавать в ясли.

Решение отдать Колю в ясли сразу после окончания её декретного отпуска было принято обоими родителями согласно, хотя и не без сопротивления Тамары.

— Ему надо учиться жить среди сверстников, и чем раньше — тем лучше. Всю жизнь он под твоим крылышком не просидит, — сказал во время того разговора Александр, и Тамара, скрепя сердце, согласилась.

Вообще, надо отметить, что Александр, при всей его покладистости и готовности выполнить любую просьбу и даже каприз жены, во всём, что касалось сына, проявлял неожиданную твердость в отстаивании своей точки зрения. Так, например, сразу после рождения сына он начал его учить плавать (вернее, развивать, не дать угаснуть этому рефлексу, с которым рождается каждый человек). Тамара вначале с этим согласилась, но во время первого купания младенца в ванной, когда Коля, мотнув головой, хлебнул воды и закашлялся, Тамара выхватила его из ванной и прижала к себе.

— Нет! Саша, нет. Не будем рисковать. Этим должны заниматься специалисты. А только по книгам — это слишком рискованно.

Александр с улыбкой привлёк жену к себе, поцеловал в губы, а затем осторожно, но твёрдо взял у неё сына.

— Учиться ходить ты тоже его понесёшь к специалистам? Ведь пока он научится, падать будет не раз.

Тамара с испугом посмотрела на мужа. Впервые он возразил ей в том, что касалось сына, но с необъяснимой уверенностью она поняла, что он ей сейчас не уступит. Она замерла в нерешительности, не зная, как поступить, и борясь при этом с неожиданными и непонятными ей самой подступившими слезами, а затем с напускным раздражением и невольным облегчением, какое испытывают люди, когда от их воли больше ничего не зависит, сказала:

— Упрямый ты, как баран! Ладно, делай, как знаешь. Но, смотри, вся ответственность на тебе.

— Согласен, — примирительно улыбнулся Александр и, поднеся сына к своему лицу, весело сказал: — Ну что, Колька, попробуем ещё? Не подведёшь папку? Смотри, вся ответственность на тебе. А то уволит меня твоя мама из своих мужей, будешь тогда расти безотцовщиной.

Подобных примеров в подтверждение сказанному можно привести ещё немало, но ограничусь одним.

Коле не исполнилось ещё и года, когда отец начал его учить... читать. Для этого он из деревянных реек сколотил вначале несколько самых ходовых, а потом на весь алфавит, букв, которые хранились вместе с остальными игрушками сына. Буквы были большие, вровень с ростом Коли, а некоторые и более того, сколоченные просто, для иных глаз возможно грубо, но, во избежание травм, тщательно оструганные и зачищенные наждачной бумагой.

Эти буквы сразу стали Колиными любимыми игрушками, особенно буква «А», которой можно было бодаться, пролезать под её перекладиной, протискиваться в верхний треугольник, и которая отлично подходила для строительства «дома» в углу его комнаты. Впрочем, подобное применение находили и все остальные буквы. Таким образом, ещё до того, как он научился хорошо говорить, Коля уже знал все буквы алфавита. А впервые он сложил из них слово, когда ему ещё не исполнилось и трех лет. (Этим словом было ГАИ, которое он к восторгу отца прочитал на крышке своего игрушечного автомобиля). Но это случилось потом, почти через два года после знакомства с первой буквой-игрушкой. А до того были непонимание, раздражение жены, и даже ссоры с ней на этой почве, так как три десятка громоздких, угловатых, не помещавшихся ни в один ящик или шкаф предметов в стандартной двухкомнатной квартире означали для женских глаз постоянный досадный, наподобие ячменя или коньюнктивита, раздражитель. Но и тут Тамара с неприятным удивлением обнаружила, что ни её просьбы и уговоры заменить самодельные буквы на фабричные кубики с буквами или алфавитные кассы, ни её настояния и требования этого, ни даже слезы желаемого действия на мужа не производят. Александр, как мог, сглаживал трения — отделывался шутками, молчаливыми улыбками, переводил разговор на другую тему; иногда, когда, как говорится, его «доставали», мог разозлиться и повысить голос, — но выбросить «это страхотье» категорически отказывался — до тех пор, пока Коле значение этих букв не заменили книги.

Когда случилось несчастье с тестем, Александр повёл себя, как и полагается мужчине: без истерик, рыданий, заламываний рук и прочих условных обозначений горя (что, впрочем, не свидетельствовало об отсутствии у него последнего, причём, в самой жесткой и болезненной форме) он взял на себя все хлопоты по уходу за ребёнком, уборке квартиры, приготовлению пищи, а после смерти тестя — по организации похорон, встречам и размещению приехавших проводить его в последний путь однополчан, тщательно и тактично освободив Тамару и её мать от этих и большинства других бытовых и хозяйственных забот.

Тамара это видела, и ощущение надёжного тыла, твёрдой безоговорочной поддержки наполняло её горячей благодарностью, которая прорывалась иногда по ночам, когда она с порывом утопающей, в последний момент ухватившейся за спасительную опору, сливалась воедино с любимым человеком, испытывая при этом необычайно яркие, пронзительные, никогда раньше не бывавшие у неё такими в подобные моменты переживания.

Но, как подмечено народом, «беда никогда не приходит одна». (Другой вариант поговорки: «пришла беда — открывай ворота»). Именно это, главное в обеих пословицах, слово точнее всего передаёт суть того, что означало для Тамары вторичное замужество её матери примерно через год после смерти отца.

Первый раз Тамара встретила мать с её будущим новым мужем случайно в кафе «На росстанях» на бывшем Ленинском проспекте. Она зашла туда пообедать во время своего обеденного перерыва (это было время, когда она после своего декретного отпуска уже вышла на работу) и не придала этой встрече какого-либо особенного значения, так как в тот момент ей ни при каких обстоятельствах не могла прийти в голову мысль, что кто-нибудь, когда-либо, в каком бы то ни было качестве может занять в её жизни место отца. Приняв эту встречу за обычный обед двух сослуживцев (мать работала неподалеку в 1-й городской больнице), Тамара радостно подошла к их столику и обняла мать сзади за плечи.

Не видя дочери, мать вначале вздрогнула, а, оглянувшись, густо покраснела.

— Тамара! — пряча свою растерянность за преувеличенным возмущением, воскликнула она. — Ну, разве так можно?! Чуть тарелку на себя не перевернула! — Но быстро сменила гнев на милость и продолжила приветливым тоном: — Знакомься: это Георгий Васильевич, мой новый заведующий.

Тамара дружелюбно улыбнулась и подала руку человеку, которого вскоре возненавидит на всю жизнь. Георгий Васильевич встал и, галантно поклонившись, пожал ей руку.

— Присаживайся, — сказала дочери мать. — Пообедаешь с нами?

— С удовольствием! — ответила Тамара и, сев за стол, окликнула проходившую мимо официантку.

Обед прошёл в непринуждённой дружеской обстановке, с оживлённым разговором, шутками, весёлыми замечаниями и заинтересованными расспросами Георгием Васильевичем Тамары о её работе, о муже и сыне, с попутными дельными советами относительно здоровья и воспитания малыша. Отвечая на его вопросы, наблюдая за спокойным, даже немного строгим лицом нового знакомого, Тамара чувствовала, как её неудержимо охватывает симпатия к этому уже немолодому, но в прекрасной физической форме, умному и тактичному человеку; и одновременно она радовалась за мать, которая, несмотря на случившееся несчастье, находит в себе силы жить полноценной жизнью, получать удовольствие от работы и находить радость в общении с умными и интересными людьми.

После той случайной встречи Тамара ещё несколько раз встречалась со своим будущим отчимом, но уже по инициативе матери — на её дне рождения, который мать отмечала в кругу своих сослуживцев, два раза в ресторане — на Рождество и 8-е марта, вместе с другими сотрудниками 1-й городской больницы и их семьями — и один раз «на природе», когда мать и врачи её отделения (опять-таки семейно) поехали на базу отдыха одного из своих заводов-шефов отметить День медицинского работника. И с каждой встречей Георгий Васильевич нравился ей все больше — спокойный, интеллигентный, спортивный и даже... красивый, — но до самого последнего момента ей ни разу не пришла в голову мысль, что отношения между ним и её матерью это нечто большее, чем просто дружба двух влюблённых в свою работу людей.

А развязка этой истории произошла быстро и... сокрушительно.

Однажды мать позвонила Тамаре на работу и пригласила к себе поужинать.

— Тамара, приди одна, — попросила она во время того разговора. — Мне надо с тобой посоветоваться... поговорить о личном.

Одна — так одна, никаких проблем. Кому, как не дочери, можно доверить личное?

Когда Тамара пришла к оговорённому сроку, мать встретила её с уже накрытым столом, на котором среди блюд и тарелок стояла бутылка вина и две рюмки.

— Это по какому поводу? — кивнув в сторону бутылки, весело спросила Тамара.

— Садись, дочка, сейчас всё объясню, — чуть зардевшись, сказала мать.

Тамара села за стол и, подперев лицо ладонями, уставила на неё выжидательный взгляд; при этом материн смущённый румянец, виноватый блеск глаз вызвали у неё невольный смех.

— Мама! — прыснула она. — Ты сегодня, как испуганная девочка, которая принесла из школы двойку. Выкладывай: что у тебя случилось? Что сегодня за праздник, который ты отмечаешь со всеми мерами конспирации?

С трудом справившись с замешательством, мать подняла на дочь растерянные, с трепетным блеском надежды глаза.

— Тамара... я выхожу замуж. За Георгия Васильевича.

До Тамары вначале не дошёл смысл её слов. С равным успехом мать могла сказать, что она улетает на Марс или собирается пообедать с Пушкиным.

— А как же... папа? — спросила она после долгого молчания; при этом у неё было ощущение, что это говорит кто-то другой, а сло-

ва пробиваются к её сознанию сквозь треск, грохот и вой в её голове.

— Ну, Тамара... девочка моя. Ведь папы уже нет... А жизнь продолжается. Георгий Васильевич любит меня. И я его... Почему мы должны жертвовать своим счастьем? Кому от этого будет легче?

Тамара сидела за столом в прежней позе, сжимая ладонями виски и ощущая, словно после удара по голове, пульсирующую боль в затылке и головокружение. Среди вихря бесформенных мыслей и бессмысленных образов с железной последовательностью и режущей глаза яркостью проступила картина похорон отца. Солнце в зените, от его слепящего света резь в глазах. В двух шагах впереди — свежевырытая яма. Стены узкой глубокой ямы отвесно уходят вниз, и её дно закрывает тень. Из-за яркого солнечного света тень очень густая, и дна почти не видно. Затем в эту бездонную яму опускают её отца. Заколоченного в тесный ящик гроба. Гроб оббит красным бархатом с золотым тиснением по углам и плетёными кисточками по краям. Зачем?.. Ведь всё равно он такой тесный, такой узкий... Гроб с глухим стуком ложится на дно, и его накрывает тень. Красный бархат становится темно-бордовым. Как когда-то отец, когда его душил кашель. Затем на крышку гроба посыпались комья и песок. Вначале размеренно и редко, с глухим шорохом и стуком. Затем всё чаще, всё глуше... Словно выкопанная земля по-хозяйски занимала своё прежнее место, недовольно ворча на тех, кто потревожил её покой. Крышка гроба быстро покрывалась горкой жёлтого песка и серых слежавшихся комьев. Песок струйками стекал в щели возле стен могилы, но сверху ещё и ещё сыпался песок вперемешку с комьями, и очертания гроба начали постепенно исчезать в бесформенной пятнистой массе, точно это трясина затягивала последнее пристанище отца. Только один угол гроба долго оставался виден. Песок упрямо скатывался с него вниз, увлекая за собой мелкие камни и комья. Тамара с непонятным напряжением и... страхом смотрела на этот сжимающийся с каждой секундой клочок того последнего, что ещё принадлежало отцу. И вдруг, когда остался виден только маленький золотистый треугольник, на него упала тяжёлая черная глыба. Тамара вспомнила этот миг в мельчайших деталях, словно это было вчера — шорох лопаты, глухой стук падения, порыв ветра, опаливший лицо подобно вырвавшейся из могилы взрывной волне... И, как тогда, её охватила жгучая, ничуть не сглаженная временем боль утраты самого дорогого ей человека. И в этот момент раздались слова матери, о которой она на какое-то время забыла.

— Тамара, я надеюсь, ты поймёшь меня. Я искренне любила твоего отца. Я его считала и продолжаю считать прекрасным человеком, идеальным мужем и отцом. Но я не виновата в его смерти. А я живой человек, я — женщина и ещё не старуха. Твой отец был старше меня на четырнадцать лет. И я никому не делаю плохо, ничего ни у кого не отбираю и никого ни в чем не ущемляю. Я просто хочу жить, хочу ещё любить и быть любимой. Ты меня должна понять, Тамара. Ведь ты уже взрослый человек, сама — женщина...

Тамара посмотрела на мать долгим задумчивым взглядом, но ничего не сказала и отвела глаза. Мать запнулась, смутилась, но затем решительно тряхнула головой и с некоторым вызовом спросила:

— Что ты молчишь, дочка? Или я не права?

Тамара вздрогнула и в замешательстве посмотрела на мать. Последнее время она заметно похорошела: красивая причёска, со вкусом подобранная косметика, новая заколка в волосах и... виноватый румянец на щеках, который ей очень шёл. И вдруг она вспомнила отца в последние дни перед смертью — задыхающегося, синюшного, в холодном поту, — и почувствовала, как её охватывает ослепляющая, душная, удавкой впившаяся ей в горло ненависть. Не в силах выдерживать её ни одной лишней секунды, она приблизила своё лицо к матери и свистящим шепотом выдохнула:

— Ты... самая настоящая продажная тварь! Духовная проститутка! Погрелась с одним — обломилось — заменила другим. Я тебя ненавижу!

Мать отшатнулась, как от пощёчины и уставилась на дочь широко раскрытыми, застывшими от ужаса глазами. Встретившись с ней взглядом, Тамара на мгновение замерла, затем, не говоря больше ни слова, резко встала, стремительно прошла в прихожую, нервно, промахиваясь в рукава, оделась и выскочила на лестничную площадку, громко хлопнув за собой дверью.

Разрыв Тамары с матерью был полным и безоговорочным. Ни попытки Александра помирить жену и тещу, ни, спустя долгое время, звонок последней с предложением помириться успеха не имели. Каждую такую

попытку со стороны мужа Тамара гневно отвергала, словно речь шла о сотрудничестве с ЦРУ, а во время звонка матери она вначале вообще отказалась подойти к телефону, а когда Александр со словами: «Не валяй дурака. Меня, по крайней мере, не ставь в глупое положение» — сунул ей в руки трубку, Тамара некоторое время слушала мать с сузившимися глазами и вытянутыми в две тонкие бледные полоски губами, а затем, не говоря ни слова, швырнула трубку на телефонный аппарат. При этом в её глазах было столько ненависти, что Александр с тех пор зарёкся вмешиваться в этот жёсткий затяжной конфликт между женой и её матерью.

Однако пора вернуться к цели моего рассказа. При всей драматичности и очевидности описанных событий я, тем не менее, не собираюсь здесь кого-либо осуждать или становиться на чью-либо сторону. (Это удовольствие я целиком уступаю читателям). Моя цель проще и утилитарнее — всего лишь ответить на вопрос: «Как так получилось, что у умной, энергичной, воспитанной в духе спорта и здорового образа жизни Тамары Николаевны сын вырос безвольным, слабохарактерным...»? Согласитесь, что для такого отца, как её муж, это непредставимый результат. Следовательно, какое-то фатальное, неодолимое событие разлучило его с сыном. Но какое? Развод? Преступление и последующий срок в «местах не столь отдалённых»? Эмиграция? Предположить что-либо из перечисленного в отношении Александра уже совершенно невозможно. Значит... смерть. Я чувствую себя убийцей моего любимого героя, но по другому не получается. Любая другая причина для объяснения случившегося будет или натяжкой, или враньем. С другой стороны, сколько вокруг гибнет людей в автомобильных катастрофах, от несчастных случаев, а в последние годы ударного строительства капитализма ещё и от террористических актов и бандитских разборок (невинных людей во время последних гибнет иногда больше, чем самих бандитов). Кто-то же должен замолвить слово за оставшихся после них вдов и сирот. Все эти доводы несколько успокаивают мою совесть и позволяют мне продолжить повествование.

Итак, муж Тамары Николаевны и Колин отец погиб в автомобильной катастрофе, когда Коле едва исполнилось три года. Я не буду повторяться, описывая горе Тамары. Замечу только, что в целом она перенесла эту беду намного сдержанней и осмысленней, чем смерть отца, как это ни невероятно может показаться на первый взгляд. Причиной этого был сын, маленький Коля, страх за которого стал главной доминантой в поведении Тамары с первых мгновений после известия о случившемся. Во время похорон, поминок, когда её окружали люди, Тамара была подавлена, молчалива, но вела себя вполне осмысленно и рационально. Правда, осталось неизвестным, как она держалась дома, скрытая от посторонних глаз, но, как бы то ни было, остается фактом, что эту беду Тамара перенесла гораздо более по мужски, чем в подобных случаях иные мужчины.

На третий день после похорон, когда собственно день сменился вечером, к ней домой пришла мать. Тамара встретила её спокойно, даже приветливо (насколько это слово применимо ко времени, равному трем суткам после похорон) и предложила вместе поужинать. Мать с радостью согласилась. После ужина она немного поиграла с внуком и попросила Тамару позволить ей уложить его спать. Затем, когда Коля уснул, она пришла к Тамаре на кухню и, закрыв за собой дверь, села за стол, предложив дочери сесть напротив. Тамара повиновалась.

Некоторое время мать разглядывала свои нервно подрагивающие руки на столе а затем натянуто сказала:

— Тамара... я пришла к тебе поговорить о... ты знаешь, о чем. То, что произошло, тянется уже столько времени, между нами, это ненормально. Мягко говоря. Но теперь, после... случившегося, это становится вовсе нетерпимым. Даже, не побоюсь этого слова, глупым. Я не хочу сейчас ни оправдываться, ни, тем более, обвинять тебя. Я прошу тебя только об одном: давай как-нибудь наладим наши отношения. Ведь у нас с тобой ближе друг к другу никого больше нет — Георгий Васильевич не в счет, это совсем из другого измерения. Ну, ведь нет же ни одной веской... внятной причины для продолжения нашей ссоры. Да и не было...

Тамара посмотрела матери в глаза. Мать её взгляда не выдержала и растерянно потупилась. её виноватый румянец и трепетная дрожь ресниц взывали к жалости и снисхождению, и Тамара подумала, как логично и... красиво было бы сейчас подойти к ней, обнять, заплакать у неё на плече, ощутить сочувствующее поглаживание её рук, увидеть ответные слезы в её глазах и затем, громко, с долгожданным облегчением разрыдавшись, осыпать её жаркими поцелуями примирения.

Но... желания этого не ощутила. Более того, подумав, что ей надо сделать, и, главное, как, чтобы все выглядело правдоподобно, она почувствовала досаду из-за этой дополнительной необходимости делать над собой усилие, равняться под какой-то шаблон. Сдержав раздражённый вздох, она с хмурой задумчивостью сказала:

— Я не знаю, мама, как их можно наладить. Если ты хочешь приходить к нам с Колей в гости, то — пожалуйста. Можешь позвать нас к себе — мы придём. Но мне кажется, что наши с тобой отношения, отношения между матерью и дочерью, это нечто иное, чем число встреч и их продолжительность. И если этого нет, то тут уже ничего не поделаешь. Это как папа и... Саша, которых уже не вернёшь. Можно, конечно, притворяться, что ничего не случилось, но... зачем?

Мать вздрогнула и побледнела. Её руки на столе мелко задрожали, а лицо исказил спазм отчаянного усилия над собой.

— Да, дочка, я ожидала другого разговора, — сказала она после долгого молчания. — Жаль... Ведь я действительно хочу наладить наши отношения. Всегда хотела... Но... ты, наверное, жестокий человек! — Не выдержав, мать разразилась громкими рыданиями. — Даже в горе нельзя так! Не только у тебя горе!.. Зачем этот садизм?! Кому от этого легче?! — Закрыв лицо руками, она стремительно вышла из кухни в прихожую, торопливо обулась и, схватив, не одевая, свои плащ и шляпу, выскочила вон из квартиры.

Тамара со смешанным чувством смотрела ей вслед. С одной стороны, она отдавала себе отчёт в болезненности и даже жестокости своих слов для матери; но, с другой, она неожиданно не ощутила никакого желания эту боль смягчить; а вместо этого — одну заслоняющую все другие чувства усталость и какую-то гулкую, промозглую, как вьюга зимней ночью тоску. Чуть помешкав, она заставила себя встать и двинулась вслед за матерью, чтобы её вернуть, но в последнюю секунду замерла, поперхнулась и, рухнув на стул возле стола, бросила голову на сложенные руки и безутешно разрыдалась.

ГЛАВА 7

Ну, вот я и подошёл к главному разделу своей «диссертации» — рассказу о жизни Тамары Николаевны с Колей вдвоем, без жизненно необходимого, на мой взгляд, по крайней мере, для мальчишек, мужского участия в его воспитании со стороны отца и деда. Предлагаю читателям попытаться вместе разобраться, как эта ущербность привела к результату, показанному в первых главах книги, и что в тех условиях, в которых оказалась Тамара Николаевна, можно было сделать для предупреждения этого или выправления случившихся отклонений на самых ранних, легче всего поддающихся коррекции стадиях. При этом я не собираюсь становиться в позу ментора или изрекающего абсолютные истины оракула. Честно говорю: главная и единственная цель этой книги — это правдивый рассказ о нашей жизни. Но так получилось (так стояли звезды, как говорит моя жена), что на этот раз мне запала в душу тема, близко перекликающаяся с воспитанием. А в деле воспитания, я в этом твёрдо убежден, ничей опыт не бывает лишним, ничьи поиски решений тех или иных педагогических проблем — чрезмерными и неуместными. И я буду счастлив, если мой писательский труд будет кому-то не только интересен, но и полезен. На этой ноте я и возвращаюсь к своему рассказу.

Как уже говорилось, смерть мужа Тамара Николаевна в целом перенесла намного спокойней и осмысленней, чем смерть отца, потому что ответственность за сына, которая с того момента целиком ложилась на её плечи, стала для неё доминантой, подавившей все другие мотивы поведения. Но в деле воспитания, по аналогии с военным делом, отбить атаку — это одно, а выдержать долгую осаду — это совсем другое. Воспитать сына одной, без разделения обязанностей, а, главное, ответственности за этот основополагающий в человеческой жизни этап, с мужем — такой задаче более всего подходит последнее сравнение. Жизнь матери с сыном вдвоём под одной крышей, постепенное взросление сына, когда он незаметно для матери из милого беспомощного «человечка» превращается в подростка, юношу, а затем в мужчину с обычными «мужскими» неаккуратностью, неповоротливостью, бестолковостью и даже «запахами», требует от неё большого терпения (и терпимости!), такта, настойчивости и целеустремлённости, которые по причинам чисто физиологическим женщинам выработать в себе труднее, чем мужчинам. (Прошу своих читательниц не затаить на меня обиду: это действительно физиология. Ведь вас не обижает факт, что мужчины более успешны в технике, спорте и военном деле; так же, как и я спокойно отношусь к утверждениям моей

жены, что я абсолютный профан в балете, опере и кулинарном искусстве. А кроме того, я ведь сказал «труднее», а это вовсе не означает «невозможно»).

Однако я снова отвлёкся. Давайте вернёмся к Тамаре Николаевне и её сыну.

После того как, образно говоря, «улеглись обломки» и «осела пыль» её семейной катастрофы, и чуть стихла боль утраты, она некоторое время (впрочем, достаточно долгое, не дающее мне права обвинить её в небрежении к ним или неверии в их полезность) пыталась продолжать приёмы развития и воспитания сына, которые применял муж. Но неожиданно это оказалось совсем не таким простым делом, каким оно виделось со стороны. Прежде всего, утренняя зарядка. Несмотря на то, что Тамара Николаевна сама была в прошлом спортсменкой, привить эту гигиеническую норму сыну в качестве устойчивого стереотипа поведения (как удовольствие, как потребность) ей не удалось. Несколько месяцев после смерти мужа она заставляла сына делать по утрам физзарядку. Но именно — заставляла, потому что у неё не получалось облечь её в форму игр, шалостей, всевозможных трюков, вызывавших в прошлом у Коли счастливый смех, визг и азартные крики: «Ещё! Ещё!». Коля выполнял её требования неохотно, подобно тому, как он это делал, убирая за собой игрушки или застилая постель (и с теми же капризностью и небрежностью), а когда Тамара Николаевна невольно (то есть, вопреки пониманию вреда этого поступка) повышала на него голос, он обиженно поджимал губы или вообще садился на пол и плакал. Тамара Николаевна искренне старалась сдерживать в себе эти вспышки, но они подчас прорывались настолько быстро и неожиданно, что она просто не успевала вовремя спохватиться. Чтобы загладить допущенный промах, она садилась рядом с сыном и с напускной весёлостью и искренней досадой на себя пыталась обратить свои слова в шутку или вполне серьёзно просила у него прощения.

Коля на эти предложения мира откликался легко, и серьёзных ссор на этой почве между ними не бывало, но вскоре Тамара Николаевна стала замечать, что сын во время утренней зарядки начал ловчить: то у него начинал «болеть» живот, то голова, то, когда она по какой-нибудь надобности отлучалась из комнаты, при её возвращении Коля заявлял, что зарядку он уже «сделал» (или, по крайне мере, самые нелюбимые свои упражнения). Тамара Николаевна понимала, что он врёт, но уличить его в этом не могла (да, если честно, не хотела). Таким образом, простая и безоговорочно полезная для тела Коли процедура превратилась в прямой вред для его души — его совести и нравственности, — то есть, того, без чего тело, на мой взгляд, не имеет никакой ценности.

Тамара Николаевна какое-то время пыталась такое положение дел поправлять, пыталась вернуть утренней зарядке качество игры, удовольствия, весёлых проказ, но по упомянутым выше причинам (и другим, не упомянутым, но происходившим из того же источника) ей это не удалось. В конце концов, она оставила попытки привить Коле привычку делать по утрам утреннюю зарядку до его более зрелого возраста.

Такая же участь постигла и другую гигиеническую процедуру — закаливание. Коля бескомпромиссно отвергал её, как свою самую нелюбимую, и увиливал от неё под всеми возможными предлогами, а когда неумолимый рок в виде холодного мокрого полотенца его все же настигал, то он надувал губы, как от незаслуженного наказания или даже откровенно плакал, заставляя Тамару Николаевну чувствовать себя садисткой, пытающей собственного сына. При этом счастливый смех Коли, его восторженный визг и озорные выкрики во время не столь давних подобных процедур с отцом казались ей не своими, не имеющими никакого отношения к действительности фантазиями, наподобие тех, которые являлись ей по ночам, когда она с тихими слезами вспоминала свои счастливые годы рядом с Александром, а затем видела его во сне — весёлым, заботливым и...живым.

Подробный регресс в той или иной степени коснулся всех других достижений отца в деле раннего воспитания у сына устойчивых гигиенических и социальных стереотипов поведения, лежащих в основе жизни активной, творческой и *независимой*. Из прежних ярких (ярких своей необычностью для детей этого возраста) навыков и умений Коли сохранились только плаванье и чтение. Но, на мой взгляд, только потому, что они успели стать для него *потребностью*. (Такой же, как для иных его сверстников жевательная резинка и подобного содержания мультсериалы по телевизору).

Так постепенно, шаг за шагом, Коля сдавал свои исключительные стартовые возможности, которые заложил для него отец, и всё больше попадал под влияние *среды*. А

среда — это всегда опасность формирования у людей, особенно у детей и подростков, порочных склонностей и устремлений, которую государство в лице государственных институтов — образования, культуры, правопорядка — может как уменьшить (обязано уменьшать), так и увеличить. В годы, о которых идет речь, государство на территории Белой Руси их *не уменьшало*.

Ко времени, когда Коля пошёл в школу, он по всем основным характеристикам детей этого возраста сравнялся со своими сверстниками. Но положительное в обычном значении слово «сравнялся» здесь имеет отрицательный смысл, так как в применении к Коле оно означает сдачу им своих выдающихся относительно них позиций, которые он занимал в первые месяцы и годы своей жизни. Тамара Николаевна это видела и, безусловно, сожалела. Но... это были девяностые годы двадцатого века, время разгрома великой державы, и другие сожаления, которые правильнее называть страхами, занимали тогда думы Тамары Николаевны — страх потерять работу и вытекающий из него страх нищеты, страх за сына в связи с нарастающей, как морской вал, преступностью, страх матери-одиночки перед равнодушной безжалостной государственной машиной, на помощь которой, в случае какого-нибудь с ней, матерью, несчастья, рассчитывать больше не приходилось. Эти страхи, с одной стороны, стерли остроту упомянутого выше сожаления, а с другой, и это главное, помешали ему трансформироваться в целенаправленные усилия по устранению лежавших в его основе причин.

Смирившись с этой «выравненностью» сына, Тамара Николаевна дальше воспитывала его обычными, привычными глазу и уху способами: ругала за двойки, порванную одежду и беспорядок в комнате; хвалила за пятерки, чистоплотность и помощь по дому; ходила в школу на родительские собрания, после которых корила сына за проступки, на которые указывали учителя, и поощряла то в его поведении, что заслужило их одобрение.

Попытки отдать Колю в спортивную секцию в надежде на его увлечение спортом тоже потерпели неудачу. Тамара Николаевна перебрала несколько секций — гимнастику, акробатику, плавание и фигурное катание — в поисках того, что придётся Коле по вкусу, но ко всем этим понуждениям Коля относился, как к докучливым и нелюбимым обязанностям, наподобие дополнительных школьных уроков. При этом он быстро раскусил, что эти спортивные «уроки» необязательны, и увиливал от них под любыми предлогами, проявляя в выдумывании их незаурядные для своего возраста осведомлённость, изобретательность и... хитрость. А последнее качество было для Тамары Николаевны в ряду самых отвратительных. И угроза вместо привычки занятий спортом выработать у сына привычку лгать вынудили Тамару Николаевну оставить попытки породнить Колю со спортом до его более зрелого возраста[1].

Ошибкой, по-моему, также был перевод Коли в другую школу перед началом его седьмого класса. Тамара Николаевна сделала это, соблазнившись на программу углубленного изучения физики и математики, которую ввели там в двух открывшихся экспериментальных классах. Но двенадцать лет (столько было тогда Коле) — это тот возраст, когда у детей формируются уже достаточно устойчивые отношения друг с другом и, соответственно, они объединяются в четко ограниченные компании (далеко не всегда ограниченные рамками классов и школ) со своими правилами, традициями, шкалой ценностей и, главное, лидерами, в которые чужаков принимают неохотно, а то и откровенно отторгают. С другой стороны, у детей этого возраста отношения со сверстниками в иерархии ценностей безоговорочно занимают первое место, оставляя далеко позади учебу, увлечения и даже родителей. Поэтому при переводе таких подростков из одной школы в другую, риск того, что они попадут пусть даже не во враждебную, но просто чужую, не дружественную им среду, на мой взгляд, намного перевешивает пользу от новых программ, «углубленных изучений» и прочих педагогических новшеств. Потому что, пока подросток не разрешит главную для него проблему, он будет к ним невосприимчив. Что и произошло с главным героем этой книги.

Однако будет неверным утверждать, что после смерти мужа Тамару Николаевну в

1. Возникает вопрос: а стоит ли вообще пытаться приучать детей этого возраста к занятиям спортом? Убежден, что стоит, даже обязательно надо. Но при этом надо сделать так, чтобы спорт стал для ребенка увлечением, любимым занятием, где ему весело и интересно, а не очередной обязанностью. Ошибка Тамары Николаевны, на мой взгляд, была в том, что она подбирала Коле секции по своему вкусу — чтобы было «красиво». А детям, особенно мальчишкам, важно, чтобы было интересно, чтобы была борьба, состязание с себе подобными, чтобы была победа. Впрочем, я здесь не судья. Мое дело — излагать факты.

деле воспитания сына преследовали одни неудачи. Конечно же, нет. Умная женщина и любящая мать, она видела свои промахи и препятствия и в меру своих сил старалась их избегать и преодолевать. (И во многих случаях ей это прекрасно удавалось). Для этого она, кроме собственных поисков и раздумий, искала решения своих семейных проблем в педагогических журналах и пособиях, в книгах Макаренко, Спока и Никитиных (в частности, в одной из книг Макаренко она почерпнула мысль о карманных деньгах для сына, которые быстро научили его соразмерять желания с возможностями); находила для Коли умные добрые книги — Волкова, Осеевой, Гайдара, — которые быстро стали для него такой же радостью и потребностью, как сладости, новая одежда и игрушки; завела правило обсуждать с сыном все важные семейные вопросы, а также текущие расходы и все крупные покупки, абсолютно серьёзно советуясь с ним и уважая его мнение. Уборку квартиры, приготовление пищи она старалась всегда делать вместе с Колей, превращая эти, по иным меркам досадные, хлопоты в радость общения двух любящих друг друга людей. Иногда, когда Тамара Николаевна задерживалась допоздна на работе, Коля встречал её с готовым ужином — не всегда умело приготовленным, часто подгоревшим и пересоленным, но во всех без исключения случаях необычайно, недоступно для других поваров и кухонь вкусным и желанным. И ко времени, с какого началось повествование в этой книге, ей удалось вырастить сына умным добрым мальчиком, успевающим на «отлично» в школе и заслуживающим искренние похвалы соседей по дому. Но, прежде всего, ей удалось сохранить в первозданном виде, не дать её затереть, запачкать и огрубить трудностям, невзгодам и домашней рутине, свою беззаветную любовь к сыну, готовность без колебаний пойти ради него на все. А это главное богатство человека, рядом с которым все остальные являются или вторичными, производными от него, или второстепенными, не имеющими никакой сопоставимой ценности. Есть масса примеров, когда люди в стеснённых материальных условиях живут интересной, радостной, *полноценной* жизнью. И общее у них, вне зависимости от профессии и положения в обществе, — это любимые и любящие люди рядом. С другой стороны, у меня перед глазами обитатели роскошных особняков — за высокими глухими заборами, иногда с колючей проволокой поверху (хорошо, хоть не под током; хотя, говорят, есть и такие), с камерами наружного слежения и осатанелыми псами во дворах. Это что? Без сомнения, признак страха. А вот признак ли это счастья их обитателей? На этот вопрос ответьте себе сами, а я вернусь к главным героям своей книги.

Подозрения, что с её сыном происходит что-то неладное, возникли у Тамары Николаевны вскоре после того, как произошли описанные в первой главе события. Но, как уже говорилось, добиться от Коли правдивого рассказа о них ей не удалось[1]. А это означало, что болезнь загоняется внутрь с неизбежным, непредсказуемым по силе разрушающего действия исходом. Тамара Николаевна это понимала, но в то же время просто не знала, что ей делать. Ведь это было всего лишь подозрение, которое, хотя во многих случаях и болезненней доказанного факта, тем не менее, оставляет мало возможностей для вмешательства, а без этого облегчить упомянутую боль невозможно. По этой причине в душе Тамары Николаевны прочно обосновалось настроение тревожного ожидания.

Тамара Николаевна пыталась отогнать это настроение, убеждала себя, что это всего лишь её мнительность, навеянные одиночеством и неуверенностью в завтрашнем дне фантазии, что у Коли ничего особенного не случилось — обычные проблемы и неувязки в отношениях со сверстниками, неизбежные в этом возрасте. Но червячок дурного предчувствия, ничуть не ослабевая, продолжал ворочаться в ней, заставляя Тамару Николаевну зорко присматриваться к сыну, подмечать такие штрихи в его поведении, на которые она раньше не обратила бы внимания. Поэтому появившееся у Коли пристрастие к жевательным резинкам и дезодорантам она расценила именно, как его желание что-то скрыть от неё. После недолгих наблюдений она поняла, что Коля курит, при этом деньги на сигареты частенько тайком таскает у неё.

В самом этом открытии, хотя и неприятном, не было ничего фатального и катастрофического. Почти все мужчины в детстве и юности пробовали курить, но устойчивая привычка этого выработалась далеко не у всех; а главное, выработалась она без жёсткой зависимости с этими детскими и

1. Уверен, что этого бы не случилось, будь жив её муж. Хотя, справедливости ради надо отметить, не все отцы подобны покойному Александру. Присутствие иных отцов в семье, особенно алкашей и самовлюбленных «нарциссов», однозначно приносит больше вреда, чем пользы.

юношескими починами. Но что-то Тамару Николаевну в её наблюдениях насторожило (правильнее — испугало) больше, чем обычно родителей в таких случаях. Или то, что Коля как-то слишком уж болезненно, на грани истерики, отвергал все её попытки поговорить с ним именно о курении; или то, что он уже после первых недель своего пристрастия пошёл на мелкое воровство у неё денег. Совершенно непредставимая в прошлом картина — Коля и мелкий воришка в одном лице... Но факт оставался фактом. И вслед за ним, как туча за прочерком молнии на горизонте, надвинулся затмевающий все другие её житейские мотивы сакраментальный вопрос — что делать?

Тамара Николаевна мучительно искала ответ на этот вопрос, но в каждом из возможных вариантов видела больше опасностей и вреда, чем пользы и надежды на положительный результат. Например, лишить Колю под каким-нибудь предлогом карманных денег. Нет, это не выход. Потому что, с одной стороны это будет означать серьёзную трещину во всей конструкции их отношений как семьи — людей, связанных узами родства, любви и *бескорыстия*; а с другой, это вовсе не гарантия нужного результата. Сколько вокруг подростков, которые и не слышали о таком педагогическом приёме, как карманные деньги, но при этом курить начинают в числе первых. Нет, это только подтолкнёт его к добыванию денег на сигареты всеми возможными способами, в том числе, и воровством. Уличить сына в курении и устроить в связи с этим скандал? Бросит ли он после этого курить, если не сделал этого до сих пор, несмотря на очевидное понимание вредности своей привычки? Бросит ли он свое мелкое воровство, если ему настолько нужны деньги, что он пошёл даже на это? Опять-таки не факт. Скорее всего, он просто перенесёт его в другое место с уже вовсе катастрофическими последствиями этого. Поговорить с Колей по душам? — сказать ему, что она знает о его пристрастии, но при этом спокойно, без надрыва и скандала объяснить, что курение для него — это лишь дань изощрённой навязчивой рекламе, неосознанное стадное желание соответствовать насаждаемому ею, выгодному чьим-то кошелькам стереотипу поведения; которые минут, а останется одна физиологическая зависимость от никотина с неизбежными разрушительными последствиями для здоровья; убедить в том, что его положение и авторитет среди сверстников в конечном итоге будут определять его ум, его знания, умения и... здоровье?..

Это был бы идеальный выход. Но... при условии, что Коля с ней *искренне* согласится и *искренне* решит свою привычку бросить; и при этом у него хватил сил, чтобы выдержать сопутствующие этому решению страдания и искушения. Если нет, то срыв будет означать резкое усугубление его пристрастия — как по причине никотиновой жажды, так и вследствие разочарования в себе и окрепшего неверия в возможность когда-нибудь со своей жаждой справиться.

Тем не менее, Тамара Николаевна постепенно склонялась именно к этому решению, но под разными предлогами откладывала откровенный разговор с сыном, не в силах избавиться от неясного, не основанного на фактах и логических выводах, но от этого лишь ещё более болезненного и тревожного ощущения, что не все с Колей так просто, как она думает, что другие неизвестные ей причины цепко держат её сына на короткой жёсткой привязи и тянут, помимо его воли, в душную чёрную яму; а Коля упирается, кричит от страха, цепляется за все возможные опоры; но жестокая неумолимая сила медленно, но неуклонно затягивает его всё глубже в пучину; а она, мать, смотрит на это широко раскрытыми от ужаса глазами, не в силах закричать, не в силах даже разрыдаться...

Подобные картины в виде жутких кошмарных сновидений часто приходили Тамаре Николаевне по ночам, принимая зримую форму слова — одиночество. В такие моменты она просыпалась, как от укола, и после этого лежала без сна до утра, ёжась от раздумий над своими действительными страхами, которые, подобно неожиданной вспышке света, заставлявшей её жмуриться и кусать губы в бессильной попытке сдержать слёзы, прерывали воспоминания о своих счастливых ночах в этой спальне с мужем...

Мысль о том, что Коля пристрастился не просто к курению, а именно к курению наркотика, вспыхнула у Тамары Николаевны в одну из таких бессонных ночей. Толчком к ней послужила купленная накануне брошюра «Отравленные побеги» — о подростковых наркомании и алкоголизме. Читая в постели, как обычно в таких случаях, чтобы скоротать время до рассвета, Тамара Николаевна поразилась, насколько описанное в брошюре поведение подростков на первых порах этой заразы похоже на то, что она видит у своего сына. Подумав так, Тамара Николаевна

испуганно захлопнула книгу и прижала пальцы к вискам, поняв, что угодила в очередную яму навязчивого страха, от которого теперь нелегко будет избавиться.

Но избавляться было необходимо, потому что в противном случае её жизнь с этого момента становилась вовсе невыносимой. Поэтому в то же утро она под предлогом плохой погоды настояла на том, чтобы Коля, вместо куртки, надел в школу пальто, а затем, пока он был в школе, приехала домой и тщательно осмотрела его комнату и одежду.

В шве одного из карманов его куртки она обнаружила крупинки табака, которые, хоть и не стали для неё неожиданностью, воспламенили её тревогу с новой силой. Собрав эти крупинки в полиэтиленовый пакетик, Тамара Николаевна отвезла их одному из былых друзей мужа, начальнику уголовного розыска Минска с просьбой отдать их на экспертизу.

Известие о том, что в субстанции табака обнаружена примесь марихуаны, Тамара Николаевна восприняла внешне удивительно спокойно; но резкая бледность её лица и мелкая дрожь пальцев рук, которую она безуспешно пыталась скрыть, сжимая их в острые, белые от усилия, с каким она это делала, кулаки, свидетельствовали, что за этим спокойствием стояло не равнодушие.

— Да? — тихо переспросила она в ответ на роковые слова полковника Слепнёва, который при жизни мужа был частым гостем в её доме. — Я почему-то об этом догадывалась. И что теперь делать? Уголовной ответственности за это он, надеюсь, не подлежит? Ведь он ещё ребёнок.

— Нет, конечно, — ответил Слепнев с облегчением, что вместо обычных в таких случаях рыданий и заламываний рук он встретил разумную реакцию человека, который, столкнувшись с бедой, озабочен тем, как с ней справиться, а не тем, как облегчить свою боль — слезами, криком или вырыванием волос на голове.

— И что мне теперь делать? — не изменяя своей выдержке, повторила Тамара Николаевна.

— То же, что и до сих пор: воспитывать сына. Но уже с учётом случившегося. Возможно, вам понадобится помощь нарколога. Но поверьте моему опыту: я не знаю ни одного случая излечения от этой заразы насильно, против воли нарко... против воли больного. То есть вам вначале нужно всё решить с Колей.

— А как же его компания? Ведь, насколько я знаю, они так просто свои жертвы не отпускают.

— Ну, это уже наша забота. С *этим очагом*, — сказал Слепнёв с ударением, — мы справимся. Важно, чтобы Коля не пошёл искать другие. К сожалению, они сейчас возникают, как огонь на торфяниках в жаркую погоду.

Вечером накануне рейда милиции в 123-ю школу (Тамара Николаевна настояла, чтобы он был с её участием, в чём Слепнёв, несмотря на его явное нежелание этого, отказать ей не смог) она наблюдала за Колей с, как никогда раньше, острой резью в глазах и жгучей, до удушья, тяжестью на сердце. Она видела, как страдает её сын — от жестокой боли, которую он по глупости и неопытности сам на себя навлёк, а она, мать, из-за своей занятости и... так же неопытности не смогла его от этого уберечь. Но теперь единственным выходом и обязательным условием избавления от этой боли является необходимость того, чтобы он так же сам решил и нашёл в себе силы с ней покончить. Вот почему она вместе с другими людьми, которые занимаются этим уже по долгу службы, собирается завтра довести эту боль до невыносимой степени. Это нужно Коле, её сыну, и поэтому она готова вынести всё, даже если он на её глазах будет корчиться в судорогах и исходить криком. Но... о, боже! — как же больно ей самой уже сейчас. «Но ведь это будет только завтра!» — неожиданной вспышкой ослепила мысль; а сегодня, сейчас Коля, её мальчик, может... и должен получить от неё облегчение своих страданий!

Тамара Николаевна вскочила и торопливо пошла в комнату Коли. Её сознание, воля, логика, зримо встававшие перед глазами образы Слепнёва и другого офицера милиции, которому поручили заниматься этим делом — все разом бросились её останавливать, буквально хватать за руки и одежду, убеждать в неразумности её намерения, укорять, стыдить за слабость и непоследовательность. Но Тамара Николаевна, кусая губы и упрямо мотая головой, продолжала идти к сыну, истерично убеждая себя, бога, черта, пустоту, что она только хочет увидеть сына, хочет только сказать ему несколько ласковых слов, не имеющих никакого отношения к завтрашнему рейду милиции, хочет только прижать к себе его голову, погладить по волосам, потому что... она *не может* иначе.

Постучав и открыв дверь в комнату Коли, Тамара Николаевна поняла, что самый жестокий момент завтрашней пытки она растянула для себя на сутки. Коля сидел за столом, ссутулив плечи и опустив голову. При её появлении он с жутким впечатлением Тамары Николаевны, что он не дышит, обернулся. На его бледном застывшем лице была гримаса такой беспросветной тоски, что Тамара Николаевна замерла, как от вонзившегося ей в грудь острого шипа. Впервые картина того, что сделали с её сыном, так ярко и близко явилась её взору.

Тамара Николаевна не думала (не успела подумать) над тем, что она скажет сыну, каким образом она собирается облегчить его боль, но сейчас вид Коли, вздёрнутого на дыбу жестокой пытки, подсказала ей единственно возможное для неё решение. Машинально нащупав кошелёк, она достала и положила на стол деньги, а затем сказала глухим, плохо слушавшимся её голосом:

— Коля (она хотела сказать обычное между ними в прошлом «Колюшка», но её язык это слово не выговорил), мне сегодня выплатили премию за сделанный проект — приличную сумму, — и я хочу... с тобой поделиться.

Коля удивлённо поднял брови.

— Не удивляйся и ни о чём не спрашивай, — торопливо продолжила Тамара Николаевна, с неожиданным страхом подумав, что первый же вопрос Коли, ввиду её полной неспособности лгать, разоблачит её намерения. — Просто я хочу сделать тебе этот подарок. Ведь мы семья...

В глазах Коли сквозь изумление и застарелую тоску ярко вспыхнула радость, какая, наверное, бывает у приговорённых к казни, когда они узнают об отсрочке исполнения приговора. Чувствуя себя не в силах видеть это ни одной лишней секунды, Тамара Николаевна торопливо положила на стол деньги и быстро вышла из комнаты, а затем, закрывшись в спальне, разразилась горькими, душными, не приносившими никакого облегчения слезами.

На следующий день, когда в закутке «на стадионе» произошли описанные во второй главе этой книги события, Тамара Николаевна неожиданно не ощутила тех душевных мук, предчувствие которых превратило для неё каждую истекавшую до начала операции минуту в ожидание зажжённой спички, поднесённой к её облитому бензином телу. Но когда она прошла по тому чавкающему под ногами лазу за тыльную сторону трибуны школьного стадиона и увидела стоявших лицом к стене подростков с распяленными на ней руками, как перед расстрелом, и своего сына среди них, а затем встретилась взглядом с Французом — закованным в наручники, рослым, с жёсткими чертами лица, которые ни при каких обстоятельствах не могли принадлежать школьнику, — в ком она безошибочно узнала главаря, Тамара Николаевна с беспощадной ясностью увидела край пропасти, на котором стоит её сын. И ещё один его неверный шаг, одно неосторожное движение — и он рухнет в эту бездну безвозвратно. И мысль о Коле, лишь в последний момент избежавшем гибели, напрочь стёрла переживания Тамары Николаевны относительно *себя*, выкристаллизовав жёсткий и бескомпромиссный каркас своих отношений с сыном в дальнейшем, основанный на осознании своей невольной вины в случившемся и трезвом понимании оставшегося для Коли единственного выхода. При этом, как неожиданно вспыхнувший огонь старого, казалось, давно потухшего пожара, её жгли память о погибшем муже и угрызения совести перед ним, как... перед живым человеком. Поэтому, когда Коля, только что отпущенный милицией, остановил её на улице и начал свои жаркие, искренние и... всегда в прошлом недолговечные раскаяния и обещания, Тамара Николаевна сказала так поразившие его слова *с искренним* гневом и трезвым расчётом, оставив ему только один выбор: или она, мать, или его дальнейшее наркотическое безумие[1].

ГЛАВА 8

Коля шёл по широкому шумному проспекту Скорины, ощущая, как с каждой минутой, с каждым шагом у него нарастают тошнота, кожный зуд и тянущая боль в животе и затылке, которые, он знал, моментально прошли бы после первых затяжек сигареты с «травкой». Он шел медленно, выверенно делая каждый шаг, словно по шаткому мостку, стараясь не отрывать глаза от асфальта, чувствуя, что только таким образом он может сдерживать свои страдания и... не думать, что возможности прервать их с помощью сигареты с «травкой» у него больше нет.

1. На мой взгляд, рискованное решение. А если на мгновение представить, что Коля все-таки сорвётся? Но что сделано, то сделано. Давайте смотреть, что будет дальше.

На перекрёстке с улицей Энгельса Коля остановился на красный свет светофора. Испытывая досаду из-за этой вынужденной остановки, он огляделся. Перед светофором в ожидании сигнала к переходу улицы скопилось около двух десятков человек. Коле вдруг остро захотелось встретить кого-нибудь из знакомых, увидеть хоть одно улыбнувшееся ему лицо или поднятую в приветствии руку. Он торопливо, с гулкими ударами пульса в ушах, отсчитывавшими бежавшие к перемене огней светофора секунды, стал всматриваться в лица стоявших вокруг людей. Но никого, хотя бы отдалённо знакомого, не увидел: хмурые насупленные лица, поднятые воротники (словно для того, чтобы подчеркнуть враждебность к нему, Коле), громкий смех группы парней за спиной («И чего смеются? Дебилы какие-то», — раздражённо подумал он) и — шумный, яркий, бесконечный поток машин, огней, людей...

Секунды тем временем продолжали свой бег и достигли очередного рубежа (из таких рубежей, как из кирпичиков, состоит наша жизнь) — светофор мигнул и включил насмешливый зеленый глаз. Толпа на перекрёстке разом, словно строй солдат, двинулась на другую сторону улицы, а Коля остался стоять на прежнем месте, растерянно глядя на удалявшиеся безликие фигуры, неожиданно с особенной остротой почувствовав свою чужеродность этой массе уверенных в себе, знающих, что делать и куда идти, людей. Пронзительное, осязаемо липкое и холодное одиночество охватило его, подобно наброшенной на голое тело мокрой заиндевелой простыне. Зачем он здесь? Какой смысл в этих шумных улицах, толпах людей, суете, спешке, постоянной необходимости делать то, что он не хочет, удерживаться от того, чего страстно желает и... в его нынешних страданиях?

Коля вздрогнул и посмотрел вокруг себя другими глазами: кругом, сколько хватал взгляд, были люди, люди, люди... Люди на тротуарах, в машинах и автобусах, на скамейках скверов и в окнах домов — хмурые и спешащие, смущённые и растерянные, весёлые и шумные, и все — одинаково чужие и незнакомые. И если среди них вдруг на одного человека — на него, Колю — станет меньше, то ведь никто из них этого даже не заметит. Ослепительная, исчерпывающе-радикальная и гениально-простая идея ослепила его: всего-то — исчезнуть из этой жизни навсегда; и навсегда решить проблему утренних страданий, до первых затяжек сигареты с «травкой»; проблему денег на нее; проблему матери, на которую он теперь без жгучих, как ожог, угрызений совести смотреть не мог; проблему строгих школьных учителей, отвечать которым без помощи сигареты с «травкой» он тоже теперь не мог; и... проблему своего одиночества в этом огромном, шумном, враждебном городе.

Эта идея показалась ему настолько привлекательной, что, ни на секунду не задумываясь по существу, Коля начал размышлять над способом осуществления задуманного.

Итак, самоубийство. Какие способы он знает? Повешенье. Но Коля на миг представил себя висящим на веревке — синим, с выпученными глазами и высунутым языком — и отверг этот способ, как неприемлемый. Самосожжение. Нет, это слишком больно и... долго. Зачем? Выброситься из окна, броситься под машину или под поезд? А вдруг это будет... не до конца? Вдруг он только останется инвалидом? Нет, слишком рискованно. То же самое с отравлением. Чем отравиться? Какая доза будет достаточной? У матери в аптечке есть какие-то таблетки, но какие из них сильнодействующие? И как они действуют? И в этот момент образ матери ярко вспыхнул у него перед глазами. «Коля, ты что?! — умоляюще воскликнула она (Коле резануло слух сказанное ею «Коля» вместо его любимого «Колюшка»). — Что ты задумал?! А как же я? Как после этого буду жить я? Значит мне тоже — или таблетки или под поезд?»

Коля поперхнулся от жалости и... понял, что совершил тяжёлую ошибку: эта неосторожная фантазия мгновенно сделала найденное им простое и лёгкое решение своей главной проблемы изнурительно трудным, увязшим в тине сомнений и мучительно болезненным. Застонав вслух, он мотнул головой и побрёл по улице Энгельса, неосознанно стараясь уйти подальше от шумного, раздражавшего его проспекта Скорины, снова находя облегчение только в этой бесцельной ходьбе по мрачному, холодному, *чужому* городу.

Метров через пятьсот улица расщеплялась на два рукава, между которыми был разбит сквер — малолюдный, с аккуратно подстриженным газоном и деревянными свежевыкрашенными скамейками, не занятыми ни одним человеком, словно это были музейные экспонаты. Через короткий промежуток сквер круто уходил вниз и растекался широкой равниной, ограниченной асфальтовой

блестящей после недавнего дождя дорогой. Сразу за дорогой начинался парк, за которым, в свою очередь, возвышалась трибуна стадиона «Динамо». Над трибуной виднелись вышки направленных на арену стадиона прожекторов, но самой арены не было видно, и Коля с вялым любопытством подумал о людях, которые занимаются там (добровольно!) самоистязанием под названием — спорт. «Что за блажь? — недоумённо пожал он плечами. — Особый вид мазохизма? Это всё равно, что, согласно расписанию, бить себя молотком по пальцам и получать удовольствие от перерывов». Но в этот момент память подсказала ему, что спортсменом был его отец, а значит, его сарказм относится и к нему.

Образ отца был неприкасаемым фетишем в душе Коли. Никакой человеческий порок, глупость или пустое времяпровождение не могли иметь к нему отношения. Коля виновато поморщился, оглянулся, словно кто-то мог подслушать его мысли, и побрёл под уклон сквера к стадиону.

Вблизи стадион оказался внушительным сооружением, окольцованным высокой многоэтажной трибуной с множеством дверей, подъездов, арок, галерей и зарешёченных проходов к футбольному полю. Основание трибуны находилось в низине, и со стороны казалось, что стадион, подобно древней крепости, окружён рвом. В углублении перед стадионом к трибуне лепились торговые палатки, киоски, лотки, между которыми неслышно сновали люди. На футбольном поле шла игра, но, судя по тому, что места для зрителей не ломились от ревущей толпы, то была тренировка. Но футболисты играли в полной форме (в футболках, спортивных трусах, гетрах и бутсах) и — с полной отдачей: Коле видны были их напряжённые лица, не наигранные злость и азарт, с какими они боролись за мяч; долетали отдельные хриплые выкрики, резкие хлопки ударов по мячу.

Повинуясь неожиданному влечению (странной смеси любопытства, неясной опаски и желания хоть на время отвлечься от своих страданий), Коля подошёл к ближнему от него проходу на трибуну, намереваясь устроиться где-нибудь в укромном месте и понаблюдать за игрой. Но дверь на решётке, перегораживавшей проход к местам для зрителей, оказалась на замке. В поисках выхода на футбольное поле Коля пошёл вдоль трибуны и свернул в первую открытую дверь.

Внутри трибуны пролегал длинный, с высоким потолком, плохо освещённый коридор, противоположные концы которого терялись в темноте. В коридоре не было ни души, но виднелось множество раскрытых дверей, от которых падали снопы яркого света и доносились звуки шедших за ними тренировок — резонировавшие в коридоре выкрики, лязг штанг и гантелей, хлопки ударов. Последние звуки Колю заинтересовали. Он подошёл к двери, за которой раздавались эти удары, и прочитал на табличке: «Зал бокса».

Бокс был из числа видов спорта, вызывавших у Коли, наряду с воздушной акробатикой, альпинизмом и парашютным спортом, особенное непонимание. «Зачем они делают это? — думал он о таких спортсменах. — Ради чего рискуют здоровьем и даже жизнью?» Но вместе с этим он испытывал к ним невольное уважение, как к людям, способным на поступки, невозможные для него.

Коля вошёл в зал и остался стоять у входа, поёживаясь от ожидания, что его сейчас окликнут и спросят, что ему здесь нужно. Но никто не обратил на него никакого внимания.

В спортзале тренировались около двух десятков боксёров, между которыми, цепко приглядываясь к их движениям, ходил тренер — человек лет сорока, прихрамывающий на одну ногу и с густой проседью в темно-русых, коротко подстриженных волосах. На дальней от входа стене, во всю её длину, был прикреплён ряд зеркал, отражавший всё, что происходило в зале. По периметру зала висели цилиндрической формы кожаные мешки, перед которыми прыгали боксёры и били их с теми самыми хлопками, которые привели Колю сюда. Другие боксёры прыгали друг перед другом и... били друг друга. При этом их удары были быстрыми и жёсткими, а лица... спокойными и сосредоточенными, как у Колиных одноклассников на уроках физики и математики. Двое боксёров, которые закончили эту часть тренировки, стояли неподалёку и, сматывая с рук непонятного предназначения бинты (никаких травм Коле не было видно), весело разговаривали на постороннюю, не имевшую никакого отношения к спорту и только что закончившемуся взаимному мордобою тему.

Колю это поразило. Он вдруг понял, что у этих парней, которые только что на его глазах без малейших скидок и послаблений били друг друга кулаками, между собой вполне приятельские и даже дружеские отношения. Коля тряхнул головой, подобно тому, как он это делал, думая над не дававшейся ему

школьной задачей: бить друг друга и — дружить?! Такое в его голове не укладывалось. Но факт оставался фактом. И, как это часто бывает, подмеченная частность вдруг приоткрыла ему целый мир людей с необычными, непонятными ему интересами и устремлениями, с особыми отношениями между собой, с поступками, вызванными не жаждой, похотью, желанием удовольствия для *тела*, а чем-то иным, для него, Коли, непонятным, но при этом явно более высоким и сложным, доступным лишь им — людям с особым, загадочным для него складом ума. И этот неведомый, странный, но с первых минут необъяснимо чарующий мир был рядом, всего в нескольких шагах от него...

Коля сглотнул слюну, как... от увиденной сигареты с «травкой», о которой он в эти мгновения совершенно забыл. Неожиданно его охватило острое желание испытать то, что чувствуют боксёры на ринге, самому. Коля в замешательстве посмотрел на тренера и неожиданно встретился с ним взглядом. Тот в ответ дружелюбно улыбнулся. (Коле даже показалось, что тренер ему подмигнул). И тогда решение, яркое и чарующее, как неожиданно раскрывшаяся перед ним дверь в царство доброго волшебника Гудвина, озарило его.

— Скажите! — умоляюще воскликнул он в страхе, что тренер отвернётся, и он потеряет приоткрывшуюся ему на мгновение возможность попасть в эту обретшую для него качество Ноева Ковчега секцию бокса на стадионе «Динамо». — А можно мне... записаться на бокс?

Тренер посерьёзнел и подошёл, окидывая его оценивающим взглядом.

— А сколько тебе лет?

— П-пятнадцать, — запинаясь от волнения, ответил Коля, понимая, что это не самый подходящий возраст для начала занятий боксом.

Тренер задумался. Коля на это время застыл в неловкой позе, боясь пошевелиться, сделать глубокий вдох, словно от того, что скажет ему сейчас тренер, зависела его жизнь. (Хотя, по большому счету, так оно и есть — авт).

— Ладно, приходи, — сказал, наконец, тренер. — Поздновато, конечно. У нас ребята тренируются с двенадцати и раньше. Но если ты действительно хочешь заниматься боксом — а заниматься боксом, это, прежде всего, пахать, пахать и ещё раз пахать, — то ты нагонишь. В какую смену учишься?

— В первую.

— Тогда приходи завтра к пяти.

Коля молча кивнул, облизнув пересохшие губы. Тренер в это время отвернулся и пошёл в глубину зала. Коля с неясной тревогой смотрел ему вслед, чувствуя буквально физически, как с каждым его шагом, с каждым метром увеличивавшегося между ними расстояния натягивается, грозя в любую секунду лопнуть, скрепа, так неожиданно вытащившая его, Колю, из ревущего шторма его беды, в которой он беспомощно барахтался уже несколько месяцев, на твёрдый и надёжный остров спортивного зала.

— Постойте! — испуганно воскликнул он.

Тренер удивленно обернулся.

— Из-звините, — запинаясь больше прежнего, с трудом выговорил Коля, — а можно... мне сегодня прийти?

— Приходи, если так не терпится, — улыбнулся тренер. — Тоже к пяти.

— Спасибо! — просиял Коля и, словно боясь, что тренер передумает, торопливо отвернулся и прежним безлюдным коридором пошёл к выходу этой многоходовой, многофункциональной, *спасительной* трибуны стадиона «Динамо».

Выйдя наружу, Коля в раздумье остановился. Тошнота и кожный зуд на открытом воздухе заметно усилились. Он с сожалением оглянулся на двери, из которых только что вышел, а затем посмотрел на часы. До назначенного ему тренером времени был почти весь световой день. Чем заполнить этот бесконечно долгий срок, чтобы... не сорваться? Чтобы не пойти искать одного знакомого цыгана, про которого Француз однажды обмолвился, что он тоже торгует «травкой»; чтобы не попытаться выклянчить сигарету с «травкой» у одного из завсегдатаев «закутка», у которого, он знал, было в запасе несколько штук, и... чтобы не передумать пойти сегодня на боксёрскую тренировку. Но в этот момент в памяти вспыхнуло бледное от бешенства лицо Француза, сказанное им сквозь зубы: «...будешь потом за мной на коленях ползать». Эта картина неожиданно сделала его соблазн слабее, а решимость порвать с ним осознанней и твёрже. Коля вдруг представил Француза сидящим в особом пункте управления его мучениями, с довольной ухмылкой передвигающим рычаги включения его судорог, тошноты, рвоты и спазмов в животе. «Паскуда! — с ненавистью прошептал он. — Ждешь, что я, в самом деле, приползу к тебе на коленях?! А вот на тебе — не дождешься!» — неожиданно для себя выкрикнул Коля, вскинув

над головой руку со сложенной из пальцев фигой.

Шедшая навстречу пожилая женщина испуганно вздрогнула, а затем, пропустив Колю мимо себя, разразилась ему вслед гневной тирадой, которая, впрочем, до слуха Коли не дошла. Он решительно, с ощущением, что идет по длинному темному туннелю, в конце которого он, наконец, увидел светлое пятно выхода, направился домой с намерением взять все необходимое для тренировки, а все остальное время прослоняться по городу, чтобы этим испытанным способом приглушить свою абстиненцию. (Он уже знал значение этого слова). Перед глазами неотрывно маячило искривленное злорадной ухмылкой лицо Француза — как воспоминания о действительных событиях, так и выдуманные картины, — которое зажигало его злость прямо пропорционально физическим мукам. «Гад! — с гулкими ударами стучало у него в голове. — Крепко же ты меня подцепил на крючок! Но я все равно от тебя вырвусь! Как же я тогда буду хохотать в твою поганую рожу!» И вдруг Коля нашёл способ облегчить свои страдания: вот она цель, ради которой стоит вытерпеть все — избавиться от наркотической жажды, а затем рассмеяться Французу в лицо. С каким наслаждением он тогда будет хохотать, глядя в его растерянные глаза, кисло изогнутый рот, на его вздрагивающие в замешательстве, потерявшие всякую власть над ним руки. Ради этой цели, ради картины его постной рожи и испуганно дрожащих рук он выдержит всё, даже если на пути к этой цели ему придётся рыдать от боли и корчиться в судорогах пресловутой «ломки».

«Всё, гад! — исступлённо повторял про себя Коля. — Теперь — всё! Теперь я выдержу, и больше ни одна мразь твоего помёта не подойдёт ко мне ближе, чем на сто метров!».

Коля пришёл домой, открыв дверь своим ключом.

— Здравствуй, мама, — сказал он, ощущая буквально кожей, как сухо и казённо, подобно объявлению на вокзале, звучат его слова, но при этом испытывая невозможность, точно комбинация этих звуков выключала его голосовой аппарат, сказать привычные в прошлом: «Мам, привет!» — или шутливые: «Мамуля, твой сынуля пришёл».

— Здравствуй, — сухо ответила мать и, не глядя в его сторону, продолжила свои кухонные хлопоты.

Коля поморщился от подчёркнутой холодности самого близкого ему человека, но быстро успокоился, неожиданно заметив, что в этом ему помогла грядущая тренировка. Да, действительно, пусть она не решит ни одной его проблемы, но хоть на эти два часа в спортивном зале он избавится от изнурительных тошноты, слюнотечения, кожного зуда, от тоскливой, давящей на уши безысходности и... молчаливого укора матери.

Коля прошёл в свою комнату и, хотя до тренировки было ещё много времени, начал собирать спортивную сумку. Эту сумку — кожаную, «фирменную», с множеством карманов, застёжек и заклёпок — мать подарила ему на день рождения два года назад, и Коля вспомнил, как он тогда, стараясь не выдать своего огорчения, натянуто говорил слова благодарности, ругая себя в душе за то, что не решился попросить себе в подарок «томагочи» — японскую игрушку, повальное увлечение детей и подростков того времени. С запоздалым раскаянием и... благодарностью Коля подумал, как кстати сейчас оказался этот давний подарок матери.

Итак, что взять с собой на тренировку? Ну, конечно, кеды и спортивный костюм — это понятно. Дальше, полотенце — вымыться в душе. Что еще? Бинты. Но какие нужны бинты? У матери в аптечке есть два мотка медицинских бинтов, но вряд ли это то, что нужно. Те бинты, которые он видел на боксёрах, были более плотные и толстые. Наверное, это какие-то специальные бинты. Ладно, этот вопрос можно будет решить позже. Что ещё? У парней, боксировавших сегодня друг с другом, были во рту какие-то загубники. Но это явно специальные приспособления, которые он дома не найдёт.

В комнату, постучав, вошла мать. За эти несколько часов, что прошли после рейда милиции, она внешне успокоилась, собралась, и ничто в её облике не напоминало о произошедшем и тех словах, которые, подобно праще, швырнули Колю сегодня утром в толпу шумного многолюдного и... безликого, равнодушного проспекта Скорины. Но бледное, без мимики лицо и потухшие глаза были маской смертельно больного человека, который из последних сил поддерживает привычный жизненный уклад, чтобы показать, что... он ещё жив.

— Коля, пойдём обедать, всё уже готово, — выверенно спокойно сказала она.

Коля посмотрел на мать и сморщился от жалости. Впервые за последние недели он с такой остротой и *состраданием* осознал страдания матери. Нестерпимо захотелось её

обнять, сказать, близко чувствуя её дыхание и глядя в трепетные зрачки её глаз, что на этот раз он твёрдо решил покончить со своим пристрастием к курению марихуаны. Но усилием воли он сдержался: слов уже сказано было много, сейчас облегчить страдания матери могли только дела.

— Хорошо, мама, — в тон ей спокойно ответил он.

Не сказав больше ни слова, мать вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Почему-то её понуро опущенная голова и безвольно поникшие плечи задели сейчас какие-то особенно болезненные струны в душе Коли. Он долго смотрел на закрывшуюся дверь, ощущая, как нудно и неотрывно, подобно бормашине стоматолога, щемит в его душе рана давнего разрыва с матерью, которая болела всё время его пристрастия, но в последние недели она чуть притихла, зато сейчас вдруг вспыхнула с небывалой силой, которую не перебивали ни физические страдания от абстиненции, ни страх перед будущим от понимания невозможности в обозримом будущем свою абстиненцию прервать.

Обедали мать и сын, как и все последние недели, молча. Но по необъяснимой причине сегодня это молчание, тихий стук ложек о днища тарелок, нечаянный звон стаканов раздавались в ушах Коли, как звон литавр, которые ударяют над его ухом, и скрежет острого ножа по стеклу, вызывая колючие, словно от жесткой шерстяной одежды, мурашки на коже, которые не были похожи ни на уколы абстиненции, ни на страдания от жары, холода или любой иной физической причины в прошлом. Коля неловко ёжился, то и дело проводя рукой себе по шее, торопя время до конца обеда и одновременно со страхом ожидая момента, когда ему надо будет остаться одному. Неожиданно на ум пришли воспоминания о прошлых совместных обедах с матерью, когда они были радостью, удовольствием не только для желудка, но и для ума и сердца, когда они были праздниками, если они выпадали на воскресенья и другие выходные дни. Воспоминание явилось настолько ярким и чарующим, что Коля зажмурился, не в силах избавиться от ощущения, что это очередная болезненная фантазия его воспалённого мозга. Но при этом он отдавал себе отчет в реальности этих и других подобных, обычных, иногда в то время даже не замечаемых, но при взгляде из сегодняшнего дня, пронзительно счастливых событиях его недавнего прошлого. И это знание обжигало сопоставимым с абстиненцией, болезненным пониманием, что он потерял. В этот момент подкатил очередной приступ тошноты, рези в желудке и всех прочих сопутствующих «ломке» страданий с одновременным напоминанием, насколько быстро они снимаются всего несколькими затяжками сигаретой с «травкой». Но неожиданно, вместо уныния и страха, Коля ощутил жгучую злость на себя. «Идиот! — с душевным стоном подумал он. — Что ты наделал?! Что на что променял?! Мать, друзей, школу... жизнь — на возможность несколько часов в день гасить тошноту и боли в животе с помощью сигареты с «травкой». А ещё на страх, на рабство, на постоянную зависимость от тех, кто тебя на этот крючок посадил и теперь тщательно оберегает, чтобы ты с него не сорвался».

Эти мысли в соединении с физическими страданиями стронули в душе Коли пласт неведомых ему до того переживаний. Впервые страдания *тела* вызвали у него не страх, не панику, а... ненависть — к себе, к Французу, «Толяну», к тем, кто за ними стоял, и тем, кто стоял за этими последними; и ещё — какой-то странный азарт, из-за которого ему захотелось, чтобы его страдания были ещё острее и мучительней, как заслуженное наказание, после которого он снова сможет спокойно смотреть матери в глаза и чувствовать себя рядом с ней легко и свободно. Он внимательно посмотрел на мать, и впервые за всё время своей «болезни» её бледное осунувшееся лицо, потухшие глаза не вызвали у него тоску безысходности от сложения причины её страданий со своим бессилием эту причину устранить.

— Мама, спасибо. Всё было очень вкусно, — сказал он обычные в прошлом в таких случаях слова; но впервые за долгое время он произнёс их легко и свободно, как... в прошлом.

Мать вздрогнула и посмотрела на него с удивлением, сквозь которое блеснул, но быстро погас (правильнее — привычно) лучик надежды. Ничего не ответив, она встала и начала убирать со стола посуду. Коля встал следом и, как он делал это раньше, хотел помочь матери прибраться на кухне, но в этот момент подкатил очередной приступ тошноты и спазмов в животе. Не желая выдавать своих страданий, он торопливо ушел в свою комнату.

ГЛАВА 9

Коля пришёл в зал бокса стадиона «Динамо» задолго до начала тренировки. В зале не было ни души. Кожаные боксёрские мешки висели неподвижно, влажно поблескивал недавно вымытый пол, а звуки его шагов в пустом просторном помещении раздавались гулко и тревожно, как... поступь по эшафоту.

Его физические страдания к этому моменту достигли апогея. Чтобы хоть как-то отвлечься и сгладить их остроту, Коля переоделся в раздевалке, вышел в зал и в нерешительности остановился, неловко поводя плечами из-за не то зуда, не то тянущей боли между лопаток, а затем неожиданно для себя со всего маха ударил кулаком по ближнему от него мешку, вложив в удар всю скопившуюся злость — на себя, на Француза, «Толяна», на весь белый свет, жить в котором ему с некоторых пор стало тоскливо и... страшно.

Кисть, сложенную в неумелый кулак, пронзила острая боль. Коля от неожиданности охнул и присел на корточки, прижав к животу ушибленную руку, а когда боль чуть стихла, осмотрел место ушиба. Кожа на двух пальцах была содрана, а в области сустава указательного пальца вздулась синюшная болезненная опухоль.

— Ну и куда ты так торопишься? — раздался за спиной насмешливый голос. — Здесь, как и в любом другом деле, прежде чем начать что-то делать, вначале надо узнать — как.

Коля испуганно обернулся. В проёме входной двери стоял тренер и дружелюбно улыбался. В его добродушно сощуренных глазах мерцали искорки сдерживаемого смеха. Коля невольно улыбнулся в ответ.

— Да вот решил попробовать, пока вас не было, — сказал он с неожиданной раскованностью. — Утром, когда смотрел на ребят, казалось все так просто. Но, оказывается, бокс опасен, прежде всего, для собственного здоровья.

— Хорошо, что ты не на плавание пришёл записываться! — рассмеялся тренер. — Но потерпи ещё немного: начнётся тренировка — будешь учиться всему по порядку.

Тренер ушел к себе в тренерскую, а Коля остался стоять посреди зала, рассматривая ушибленную руку и прислушиваясь к своей абстиненции, о которой он в эту последнюю минуту... забыл!

В зале тем временем по одному, по два начали появляться боксёры. Переодевшись в раздевалке, они в ожидании начала тренировки садились на длинную скамью вдоль стены. Коля с невольным любопытством присмотрелся к ним вблизи. Вид их сейчас разительно отличался от того, который представлялся ему утром — обычные парни, в большинстве его сверстники, и если бы не спортивная форма, то они были бы неотличимы от его школьных приятелей. Но при этом они могли делать то, что недоступно ему... Это наблюдение неожиданно задело какое-то болезненное место в его душе. Коля вдруг понял, что отстал от этих парней, ничем особенным от него не отличавшихся, но распорядившихся своей жизнью иначе. И вместе с этим пониманием пришёл неожиданный страх, что это случилось безвозвратно.

Когда началась тренировка, тренер после разминки, которую Коля проделал вместе с остальными, повторяя движения вслед за бегущим впереди, отозвал его в сторону и поставил перед зеркалом.

— Ну что, давай начинать учиться боксу, — серьёзно сказал он. — Чтобы ты был опасен только для своих противников, — добавил он с неожиданной улыбкой. — Как тебя зовут?

— Коля.

— А меня Сергей Васильевич. После тренировки останешься, я запишу твои данные, а сейчас смотри и слушай внимательно. Вначале немного философии. Бокс — это, прежде всего, искусство. Драчун на ринге — такая же ценность, как маляр в мастерской художника. Все красивые слова о мужестве, смелости, воле к победе, если за ними не стоит искусство — то есть, техника, техника и ещё раз техника, — остаются только словами. Причём, не высокими и красивыми, а синонимами глупости и безобразия. Это всё равно, что назвать мужественным мазохиста, бьющего себя кнутом или дубиной. Если шансов победить нет, то такой боксёр на ринге — это не боксёр, а баран для заклания. Но с баранами я дел не имею, а только с людьми...

Коля слушал, затаив дыхание. Обычные слова о понятных бесспорных истинах, сказанные ровным спокойным голосом, неожиданно вызвали у него сильное волнение, словно они задевали какие-то струны в его душе, настроенные с ними на одну волну, и те отвечали эффектом резонанса.

— Поэтому, — продолжал Сергей Васильевич, — если ты действительно хочешь добиться в боксе высоких результатов — а без этого нет никакого смысла подставлять голову под удары, — то настраивайся, прежде всего, на *учёбу* — он сделал на этом слове ударение. — А учёба это, как и везде, прежде всего, знание, а потом умение и опыт. Итак, начало начал

в боксе — это не удар, а защита. Защита может быть как путем подставки под удары рук и плеч, так и посредством уклонов, отходов и нырков. Для того, чтобы постоянно быть в наиболее защищённом от ударов и одновременно удобном для нанесения собственных ударов положении, существует боксёрская стойка. Не спросил, ты правша или левша?

— Правша, — торопливо ответил Коля.

— Хорошо, тогда смотри сюда. — Сергей Васильевич повернулся лицом к зеркалу и принял позу, которую Коля сегодня утром видел у дравшихся на ринге боксёров. — Ноги на ширине плеч, левое плечо — вперед, кулак на уровне глаз, голова опущена, — продолжал при этом объяснять Сергей Васильевич, — Правая рука: локоть прижат к корпусу, а кулак на подбородке. — Он повернулся к Коле, придал его телу нужное положение, а затем отступил на шаг и оглядел с видом скульптора за работой. — Теперь — передвижения, — удовлетворившись увиденным, продолжал объяснять он. — Их тоже два вида: так называемая перекачка, или челнок, и шаги — вперед, назад и в сторону. Но вначале — перекачка. Это основа. Она так же предназначена для того, чтобы создать затруднение для атаки противника и в то же время в любую долю секунды быть готовым к атаке самому. Смотри сюда. — Сергей Васильевич снова повернулся к зеркалу, принял положение боксёрской стойки и начал плавные ритмичные подскоки, которые не были для взрослого, пожилого уже человека ни нелепыми, ни смешными, а затем снова повернулся к Коле. — Здесь важно, чтобы ноги оставались на прежней ширине, а голова и руки — в прежнем положении. При этом с самого начала старайся, чтобы они работали как бы отдельно друг от друга — то есть, чтобы в любое мгновение, независимо от фазы движения ног, ты мог защититься от удара или нанести удар сам; а с другой стороны, в любой момент, вне зависимости от положения рук и тела, ты должен быть готов резко сократить дистанцию до своего противника или, наоборот, разорвать её. Ну-ка, попробуй.

Коля от неожиданности вздрогнул, а затем поспешно повернулся к зеркалу, поднял руки в положение боксёрской стойки и повторил показанные ему передвижения.

— Молодец, — похвалил Сергей Васильевич. — Сразу уловил. Так, два раунда тебе на закрепление стойки и перекачки, а потом пойдём дальше.

Сергей Васильевич отвернулся и пошёл вглубь зала к другим боксёрам, а Коля с огорчением и... ревностью посмотрел ему вслед.

Когда, через несколько минут, тренер снова подошёл к нему, Коля уже достаточно уверенно передвигался перед зеркалом в положении боксёрской стойки и даже пытался наносить в воздух удары.

— Ну, молодец, — с едва слышным удивлением сказал Сергей Васильевич. — Так ты, оказывается, способный парень. Но с ударами не спеши — чтобы не запомнить неправильных движений. Давай пока закончим с передвижениями. Итак, шаги...

В тот день Коля вернулся домой поздно и в совершенном изнеможении. За полтора часа тренировки он не присел ни на минуту, скрупулёзно выполняя все задания тренера, придумывая себе задания сам — со штангой, гантелями, на «шведской стенке» и гимнастическом коне, — испытывая при этом ощущение человека, который пытается новой болью — щипком, прикусом губы — приглушить другую, застарелую и мучительную боль.

Мать встретила его спокойно, но тревожный блеск её глаз и невольный облегчённый вздох, когда она увидела сына, показывали, что за этим спокойствием стоит не равнодушие.

— Ну, что, как прошла тренировка? Понравилось тебе? — выверено обыденным тоном спросила она.

— Не то слово. Здорово... Устал только очень. У нас есть что-нибудь попить?

— Есть, конечно. Но давай ты вначале поужинаешь.

— Нет, мама, не хочу. Только пить.

— Как хочешь, — с тем же тщательным равнодушием пожала плечами мать и, достав из холодильника открытую банку компота, поставила её перед Колей на стол, а сама вышла из кухни.

Коля жадно выпил подряд две большие кружки и блаженно прикрыл глаза, смакуя наслаждение утолённой жажды. И вдруг, как укол, его поразило сходство этого наслаждения со своими ощущениями от первых затяжек злополучными сигаретами с «травкой».

Коля замер, поражённый. Это наблюдение вдруг приоткрыло ему вид на свою беду совсем с другой стороны. Ведь первоначально «травка» была для него не потребностью, не необходимостью утоления жгучей невыносимой жажды, как теперь, а всего лишь

способом хорошо провести время, за который он заплатил несоразмерно высокую цену. Но ведь сегодня он испытал то, что стояло у истока его наркомании — ощутил радость полноценной жизни и получил удовольствие для *тела*, включая наслаждение утолённой жажды. И все это — без страха перед будущим, без боязни посмотреть матери в глаза и утренних страданий абстиненции. Так как же тогда назвать то, что он сам с собой сделал? Глупость? Оплошность? Безволие?..

Сделанный им вывод оглушил, как неожиданный удар дубиной по голове. Оказывается, он, Коля, разумный человек, по крайней мере, считавший себя таковым, своими руками, своей *головой*, сотворил из своей жизни, а следом из жизни матери, жестокую ежедневную пытку. И ради чего? Ради того, чтобы несколько раз, несколько часов из *всей жизни* хорошо провести время. В то время, когда есть масса способов добиваться этого без каких-либо тяжёлых последствий для здоровья и жизни — а как раз, наоборот. И один из них он сегодня успешно опробовал.

Коля застонал, словно от физической боли. Злость на себя охватила его, подобно насыпанной за шиворот смеси перца и соли. Он почти задыхался от ненависти к себе, желая, чтобы его физические страдания были ещё мучительней, как заслуженное наказание за глупость, безволие и — причинённые матери страдания.

Всю ночь и последующий день Коля изнывал от страданий пресловутой «ломки», но неожиданно для себя находил облегчение в грядущей боксёрской тренировке, которую ждал с нетерпением, подобным тому, с каким он ещё совсем недавно считал часы, оставшиеся до утренней встречи с завсегдатаями закутка «на стадионе» и раскуривания с ними сигареты с «травкой».

Когда он появился в боксёрском зале спорткомплекса «Динамо», пришедшие вместе с ним на тренировку парни встретили его как своего.

— Привет, — с улыбкой протягивая Коле руку, сказал один из них по имени Ваня. — Как здоровье? Ручки, ножки — бо-бо? Вчера ты так навалился на штангу и гантели, что я думал, сегодня ты будешь лежать пластом.

— Всё нормально, — ответив на рукопожатие, улыбнулся в ответ Коля и повёл плечами, ощутив боль в мышцах, которая вдруг доставила ему... удовольствие. — Я решил: семь бед — один ответ. Раз, все равно придётся терпеть боль, то зачем это растягивать на неделю?

— На этот счёт есть другая поговорка: раньше сядешь — раньше выйдешь, — рассмеялся рослый широкоплечий парень, которого звали Геной.

Парни в раздевалке дружелюбно улыбнулись.

Когда началась тренировка, Сергей Васильевич после разминки снова отвёл Колю к зеркалу.

— Ну что, продолжим. Итак, удары. Сила удара это, на языке физики, кинетическая энергия, которую ты вкладываешь в свой кулак в конце этого движения. Поэтому, считай сам: масса, помноженная на скорость в квадрате и разделённая на два. То есть, если ты вкладываешь в удар вес своего тела, то увеличиваешь его силу прямо пропорционально этому весу. Но если ты увеличиваешь его скорость, то сила удара возрастает прямо пропорционально квадрату разницы в скорости. Улавливаешь? Даже самое небольшое увеличение скорости удара увеличивает его силу в разы. Вот почему самые жёсткие боксеры на ринге — это не накачанные битюги, а те, кого отличает скорость и техника, что, впрочем, взаимосвязано, так как вся боксёрская техника в конечном итоге направлена на то, чтобы увеличить скорость движений и, прежде всего, ударов.

Коля слушал с неожиданно острым, несоразмерно сказанному спокойным ровным голосом об обычных, рутинных, по иным меркам, вещах, волнением. Вчерашнее неопределённое томительное чувство обрело сейчас понятную, чётко очерченную форму. Он вдруг увидел возможность быстро сократить дистанцию между собой и этими парнями в спортивном зале, которые ещё вчера казались ему небожителями, стать с ними равным среди равных и... сильным среди сильных — без помощи «травки», без опоры на компанию «на стадионе» и — назло Французу и «Толяну». Для этого он должен — и он обязательно это сделает — проникнуть в суть этого спорта, рассчитать математически, затем впитать зрением, осязанием, слухом, до уровня подкорки и спинного мозга — как ходьбу и дыхание — все движения и приёмы, которые приводят к победе на ринге над себе подобными и... победе над собой.

— Итак, главное преимущество боксера на ринге — это скорость, — продолжал Сергей Васильевич. — В её основе лежат две составляющие: природные способности и техника

движений. С природными способностями ничего не поделаешь — это как цвет глаз или форма носа. Но, ей-богу, я за годы своей работы не видел, чтобы приходившие ко мне новички так уж сильно отличались друг от друга по природным данным — кроме откровенных инвалидов. Зато техника меняет их на глазах. Но чтобы овладеть техникой, нужны настойчивость и прилежание — так же, как и на уроках в школе. Поэтому, поехали. Поворачивайся к зеркалу и следи за своими движениями. Вначале — левый прямой. Удар наносится из исходного положения боксёрской стойки по кратчайшей прямой до цели. Пальцы сжимаются в кулак только в конце движения. Сокращаются лишь те мышцы, которые доносят кулак до цели. Представляй, что кулак — это камень, а рука — резина, которая кидает камень в противника. Попробуй...

Как и вчера, все время тренировки Коля выполнял задания тренера с тщательной, настойчивой (даже слово — истовой не будет преувеличением) старательностью и пунктуальностью. Сергей Васильевич смотрел на него с удивлением, которое время от времени прочерчивала задумчивая складка между бровей, словно что-то подсказывало ему, что за этим спортивным рвением его нового ученика стоит нечто иное, чем исполнительность и спортивный азарт. А когда тренировкам подошла к концу, он позвал Колю к себе в тренерскую.

— Садись, — показал он ему на свободный стул. — Я хочу с тобой поговорить... не о боксе. Не возражаешь?

Коля вздрогнул, с испугом посмотрел на тренера и, встретившись с ним взглядом, растерянно опустил глаза.

— Честно говоря, — продолжал между тем Сергей Васильевич, — я увидел в тебе способного парня и готов с тобой работать, но... скажи честно, что тебя привело в зал бокса? В твоем возрасте люди, как правило, со своими склонностями и влечениями уже давно определяются. До этого ты каким-нибудь спортом занимался?

Не поднимая глаз, Коля отрицательно покачал головой.

Сергей Васильевич внимательно посмотрел на его склоненную голову, часто мигающие, как от близких слез, глаза, и что-то подсказало ему, что больше вопросов задавать не надо.

— Ладно, — после некоторого молчания сказал он со вздохом. — Пришёл — и пришёл, остальное меня не касается. Я буду с тобой работать вне зависимости от того, что тебя ко мне привело. Ты — способный парень, и всё, что тебе нужно, чтобы добиться в боксе высоких результатов, это только труд. Но понимаешь, высокий результат в спорте, а в боксе особенно, автоматически решает большинство жизненных проблем. А проблем людей твоего возраста — абсолютное большинство. Поэтому помни, что, выкладываясь на тренировках, ты выкладываешься над решением своих проблем, а твоя победа на ринге будет победой над тем, что тебя привело в этот зал.

Коля поднял на тренера глаза. На этот раз выдержать его взгляд ему не составило никакого труда. Более того, он почти физически ощутил, как от его дружелюбно сощуренных глаз излучается какая-то едва ли не физическая энергия, которая заряжает его, Колю, уверенностью в себе и пониманием, что он обрёл, наряду с матерью, ещё одного надёжного и верного союзника.

— Сергей Васильевич! — воскликнул он в сильном волнении. — Я... буду выкладываться на тренировках, я вам это обещаю. И я добьюсь высоких результатов в боксе. Это я тоже обещаю.

Сергей Васильевич добродушно усмехнулся.

— Ладно, иди уже домой, чемпион. Жду тебя завтра. Тоже в пять.

ГЛАВА 10

Прошло полгода.

Коля лежал на диване в своей комнате, пребывая в странном — жгуче-взволнованном, испуганном и... торжественном, праздничном одновременно — настроении. Сегодня ему предстоял первый за время его занятий боксом поединок. Никогда раньше он бы не поверил, что будет из-за этого так волноваться. Бой тренер определил ему с хорошо знакомым противником — парнем, с которым он вместе тренировался и уже не раз боксировал на тренировках. Более того, за эти полгода они успели подружиться; а предстоящие соревнования, так называемый открытый ринг, фактически были лишь боевой тренировкой, предназначенной для начинающих боксеров, чтобы они смогли опробовать в бою наработанные на тренировках навыки. Всё это Коля понимал, но ничего поделать с собой не мог. Уже одно только слово — соревнования — вызывало у него колючие мурашки на коже и... ожидание праздника. Коля поймал себя на мысли, что, если бы Сергей Васильевич

назвал сегодняшние соревнования боевой тренировкой, спаррингами или ещё как-то, то ему было бы намного легче. Но и приниженней, будничней — признавался он себе.

Соревнования, между тем, проводились в полном соответствии с правилами: за неделю до дня поединков все участники в обязательном порядке прошли во врачебно-физкультурном диспансере медицинский осмотр; сегодня утром было взвешивание, на котором соперников разбили по парам согласно возрастным группам и весовым категориям; на взвешивании в дополнение к медосмотру в диспансере каждого из участников осмотрел врач; и, наконец, — самое волнующее для Коли, — объявления о грядущих соревнованиях были заранее развешаны во всех школах, где учились их участники, и его одноклассники собрались прийти на них почти поголовно всем классом.

Коля зябко повёл плечами. То обстоятельство, что его бой увидят одноклассники (особенно — одноклассницы), делало его переживания особенно острыми. Он представил себя на ринге под взглядами трех десятков пар дорогих ему глаз, перед которыми он ни за что на свете не хотел выглядеть ни жалким, ни смешным, и колючий зябкий озноб пробежал по его телу. Неожиданно перед глазами вынырнуло лицо Француза. Это было странно. После того рейда милиции в закуток «на стадионе», когда его взяли с поличным за торговлю марихуаной, Француз из школы исчез. Одни говорили, что его «посадили», другие — что отправили в спецПТУ, третьи утверждали, что ничего ему за это не было — просто, чтобы избежать упомянутых исходов, он уехал к родственникам в другой город, — но, чем бы там всё ни кончилось, Коле это было не интересно, и он о нём почти не вспоминал, а последнее время вообще вычеркнул из памяти; но сейчас он вдруг пожалел, что Француз не увидит его сегодняшний бой.

Неожиданно Коля задумался. Воспоминание о Французе и всём том, что было с ним связано, предстало картиной смутного далекого не имеющего к нему никакого отношения времени. Но при этом он отдавал себе отчёт в его реальности и совсем небольшой давности. Но теперь, с высоты сегодняшнего дня, он не мог понять, как же так могло случиться, что он едва не променял всю свою жизнь — мать, одноклассников, друзей-боксёров и... сегодняшние соревнования — на темный, грязный, чавкающий под ногами закуток «на стадионе» с его компанией бледных, сгорбленных, то и дело сплёвывающих себе под ноги (в качестве знака, что им глубоко наплевать на условности жизни, но, в большей мере, всё же из-за постоянного, подчас мучительного, особенно, если пауза между перекурами затягивалась, слюнотечения) парней, которые не смогли бы ему понравиться ни при каких других обстоятельствах; на постоянный страх, что о его пристрастии узнает мать; что на следующую сигарету-дозу он денег может не найти и... что рано или поздно это кончится для него катастрофой. И вдруг Коля ощутил, как исчезла его тревога в связи с предстоящим поединком (вернее, та её составляющая, которая принадлежала страху), уступив место уверенности в себе и спокойному ожиданию праздника. Ведь он *уже* одержал главную победу на этих соревнованиях — победу над Французом, «Толяном» и их компанией, а, главное, победу над собой, своим рабством, которая, подобно прорвавшему дамбу потоку, сорвала державшие его в том закутке «на стадионе» скрепы и петли, смыла его прежние страхи и вынесла на чистую светлую и — бескрайнюю равнину открывавшейся перед ним жизни.

В зал бокса Коля приехал вместе с матерью, но уже у входа в спорткомплекс «Динамо» мать, шепнув ему на ухо: «Удачи тебе! Я буду за тебя болеть» — оставила его одного, а сама пошла искать себе место среди зрителей. Коля благодарно посмотрел ей вслед. Всю дорогу до спортивного зала его мучило ощущение какой-то раздвоенности в отношении к матери: с одной стороны, ему очень хотелось, чтобы она увидела его бой, но с другой, он ещё больше стеснялся из-за этого своих новых друзей-боксёров, которые могли подумать о нем, как о «маменькином сынке». И то, что мать, словно читая его мысли, тактично оставила его одного, наполнило его к ней горячей благодарностью, а ожидание поединка стало временем, очищенным от последних, не относящихся к предстоящим соревнованиям переживаний.

В зале к этому времени уже собрались боксёры и зрители. Возле ринга отдельной компанией стояли одноклассники Коли. Коля с некоторым смущением подошёл к ним.

— Привет, ребята. Что так рано? Жаждете крови одноклассника? — натянуто пошутил он.

— Ну что ты, Коля! — воскликнула Катя Березина. — Просто мы хотим засвидетельствовать исторический факт рождения бесстрашного воина.

Одноклассники прыснули. Коля со спокойной улыбкой посмотрел Кате в глаза.

— Катя, главная заслуга в этом твоя. И, будь моя воля, я бы таких, как ты, содержал в специальных питомниках: чтобы вашей главной функцией было — рождение бесстрашных воинов, — сказал он.

В ответ раздался взрыв хохота. Катя смутилась и покраснела, а Коля развернулся и пошёл в раздевалку, чувствуя спиной смеющиеся взгляды одноклассников и — отдельным жжением — излучение из глаз Кати Березиной.

В раздевалке было много народу: участники соревнований, их тренеры и друзья. Возле приколотого к стене списка пар выступавших на этих соревнованиях боксёров сгрудилось около десятка человек. На скамейках вдоль стен сидели и переодевались, готовясь к выходу на ринг, ещё десять парней, среди которых был противник Коли в предстоящем бою Дима Антонович. Коля подошёл к нему.

— Дима, привет, — усевшись рядом, протянул ему руку Коля. — Ну что, подерёмся ещё раз? На этот раз на утеху публике, — сказал он с улыбкой.

— Ну, да, как гладиаторы в древнем Риме, — пожав его руку, улыбнулся в ответ Дима.

— Ну, ладно, готовься — чтобы не посрамить нашу цивилизацию. Встретимся на ринге, — рассмеялся Коля и, хлопнув своего противника по плечу, пошёл переодеваться.

Переодевшись в спортивную форму, Коля вышел в спортивный зал, испытывая необычное, неведомое ему раньше настроение, которое он не взялся бы определись ни как тревогу или страх перед грядущим поединком, ни как азарт и спортивную злость, с другой стороны. То обстоятельство, что ему через короткое время надо будет выходить на ринг и драться с себе подобным — драться по-настоящему, без малейших скидок и послаблений, на глазах у своих одноклассников, матери, в огороженном со всех сторон квадрате ринга, на котором ни спрятаться, ни скрыть свои растерянность и страх, и с которого не уйти до определённого правилами срока — неожиданно вызвало у него представление нереальности происходящего. Подобное представление за полгода занятий боксом возникло у него впервые. Коля гнал его от себя, чувствуя, как оно сковывает его суставы, подобно наложенным на них тугим повязкам или, точнее (Коля поймал себя на осязаемом, вплоть до холода на коже и давящей боли в ушах, представлении этого), подобно давлению воды на большой глубине. Но, как это часто бывает, чем больше он старался избавиться от этой навязчивой фантазии, тем сильнее она стягивала его мышцы и жёстким обручем сдавливала грудную клетку.

Вскоре участников соревнований позвали на построение. Коля вышел на ринг с чувством, что глаза всех собравшихся в зале направлены только на него. Дима Антонович стоял напротив, у канатов противоположной стороны ринга. Колю вдруг поразило его лицо — знакомое до последних черточек, всегда в прошлом приветливое и готовое к улыбке, оно сейчас было хмурым и сосредоточенным, с безошибочным пониманием Колей того, что, несмотря на дружбу, драться он будет по-настоящему. Холодок от физического ощущения сокращавшегося с каждой секундой времени до начала поединка окатил Колю с головы до ног.

Тем временем, его тренер Сергей Васильевич вышел на середину ринга и, повернувшись лицом к зрителям, начал говорить спокойным, похожим на голос учителя на родительском собрании тоном:

— Здравствуйте, уважаемые зрители. Я рад приветствовать вас в нашем зале. Сегодня вы увидите поединки своих одноклассников, друзей и сыновей. Поединки будут жёсткими и бескомпромиссными — никогда они не бывают другими. Это такой же неотъемлемый признак этого спорта, как то, что огонь горячий, а снег холодный. Но при этом, сегодня здесь не будет ни жестокости, ни злобы. Потому что на ринг будут выходить друзья, единственной целью которых будет — доказать свое превосходство в силе, скорости и технике боя. Так давайте пожелаем им в этом удачи и будем смотреть их поединки с надеждой, что мы сегодня наблюдаем один из первых боев будущего олимпийского чемпиона. А сейчас!.. — Сергей Васильевич повернулся к участникам соревнований. — Равнение на флаг! Смирно! — Он сделал знак одному из своих помощников за судейским столом, и через мембраны динамиков на стенах полилась музыка гимна Беларуси, а к потолку на тонком, почти невидимом, шнурке устремился государственный флаг. Все собравшиеся в зале встали и замерли в торжественном молчании.

Коля слушал гимн и смотрел на поднимавшийся к потолку флаг с неожиданно глубоким и искренним волнением. Никогда раньше он бы в это не поверил, но сейчас, ощущая горячие мурашки на коже и свое,

казалось, резонировавшее на звуки музыки сердце, он чувствовал... гордость за свою команду, свой город, свою страну.

После парада Коля вместе с остальными участниками соревнований вернулся в раздевалку. Там их уже ждал Сергей Васильевич и два других тренера, чьи ученики выступали сегодня на этих соревнованиях. Сергей Васильевич собрал вокруг себя свою команду.

— Значит, так, ребята, — сказал он. — У большинства из вас сегодня первый бой. Поэтому объясняю, как всё сегодня будет происходить. Хоть я вам и говорил уже об этом на тренировке, но из-за волнения у половины из вас все это наверняка вылетело из головы. Список пар вы все видели. Кто с кем встречается — знаете. Тех, кто встречается с боксёрами других тренеров, секундировать буду я, остальные — договаривайтесь друг с другом. Перед боем всем хорошо размяться. Это важно. Но не до усталости. Поэтому учитесь рассчитывать свои силы и время. Начинайте разминку примерно за четыре пары до своего боя, и закончить её надо минуты за три-четыре до выхода на ринг. В эти последние минуты надо максимально обострить своё зрение и внимание. Я вам показывал этот приём на тренировке: встать лицом к стене и пытаться разглядеть на ней мельчайшие крапинки и неровности, представляя при этом себя на ринге. Теперь — как настроиться на бой. Главная опасность для начинающих боксёров — это волнение перед боем. Оно сжигает вхолостую силы. Поэтому тот, кто научится выходить на ринг спокойно, как на привычную работу, уже только этим увеличивает свои шансы на победу. Но этому нельзя научиться заранее, какими-то специальными приёмами. Это приходит только с опытом. Однако опыт бывает разным. И скорость, с какой он приводит к нужному результату, зависит от ваших целенаправленных в этом усилий. Ребята! Ваш сегодняшний бой — это всего лишь один из десятков, а может, сотен, которые впереди. Вы — боксёры-любители. И главная ваша цель — это удовольствие от занятий любимым делом и радость победы. Победы, прежде всего, над собой. Но вы у ж е одержали эту победу тем, что пришли на эти соревнования, тем, что я, ваш тренер, посчитал вас для них подготовленными. Даже если руку сегодня поднимут вашему противнику — не беда: это тот опыт, который позволит вам победить в следующий раз. На вас будут сегодня смотреть ваши друзья, родители и даже учителя. Для большинства из них ваш поступок — единоборство с себе подобным, где все зависит только от ваших силы, умения и мужества в самом прямом, изначальном значении этого слова, — это недостижимые вершины. Поэтому, вы сегодня здесь — именинники, главная причина, собравшая сейчас всех в этом зале. Выходите на ринг с сознанием этого, с нетерпением показать своё искусство, которым вы овладели за время занятий боксом. Покажите все, что вы умеете — это главная ваша сегодня задача, которую ставлю вам я, ваш тренер, и она доступна вам всем без исключения. Поэтому, ваша высшая награда — это чтобы я вас похвалил. А кому поднимут на ринге руку — пусть волнует вас во вторую очередь.

Коля слушал своего тренера с ощущением, что слова Сергея Васильевича падают на его разгорячённую кожу, подобно холодным примочкам. В самом деле, он ничего и никому здесь сегодня не должен; ведь, действительно, он *уже* добился главного результата на этих соревнованиях — своего участия (возвращения к ним) в интересах и устремлениях большинства его сверстников. Более того, в этих интересах и устремлениях он сейчас для своих одноклассников — недостижимый лидер. И сегодня он подтвердит это своё положение в классе и школе — подтвердит настоящим мужским поступком, возможно — с травмами и кровью, которые его совсем не пугают, наоборот, он даже хочет, получить сегодня какую-нибудь травму (не серьёзную, не мешающую ему закончить бой), чтобы одноклассники (особенно, одноклассницы, и особенно — Катя Березина) видели, как мало для него эти травмы значат.

Когда Сергей Васильевич закончил «вводную» и отпустил боксеров готовиться к поединкам, Коля сел на скамью у стены раздевалки и стал думать над тем, кого выбрать себе в секунданты. Но его опередил знакомый читателям по предыдущей главе «тяжеловес» Гена Стельмахов.

— Колька, давай я тебя посекундирую, — подойдя к Коле, сказал он. — А потом ты — меня. Моя пара последняя.

— Давай, — с готовностью согласился Коля.

— Где твои капа и полотенце? Ты переодевайся, я сам все приготовлю.

Коля отдал Стельмахову полотенце и капу, которую по настоянию матери он заказал в стоматологической поликлинике ещё в первые дни своих занятий боксом, задумчиво проследил, как он пошёл с ними к

умывальнику, а затем, посидев ещё некоторое время в странной — тревожной и радостной одновременно — задумчивости, встал и подошёл к списку пар, испытывая непонятное, но настойчивое желание ещё раз увидеть свою фамилию в списке участников соревнований.

Его бой был по счёту восьмым. И хотя Сергей Васильевич наставлял начинать разминку за четыре пары до выхода на ринг, Коля отошёл в свободный угол раздевалки и начал упражнения разминки, чувствуя, что только таким образом он может смягчить свою тревогу ожидания поединка и... ощущение нереальности происходящего.

Вернулся Стельмахов с приготовленными для боя полотенцем и капой (первое — смоченное под краном, вторую — залитую в пластмассовой коробке водой).

— Уже разминаешься? — удивлённо поднял он брови. — А не спешишь? Сергей Васильевич сказал, за четыре пары начинать надо. Смотри, выложишься до боя.

— Брось ты, Гена, — нарочито беспечно отмахнулся Коля. — Надо же сделать поправку на первый бой.

— Смотри, чтобы тебя не поправили на ринге, когда ты вместо бокса будешь балет «Лебединое озеро» показывать! — рассмеялся Стельмахов и протёр влажным полотенцем его разгорячённое лицо.

Когда примерно через час Коля вышел на ринг на свой первый боксёрский поединок, его ощущение нереальности происходящего достигло настроения... зрителя, который собирается смотреть на киноэкране самого себя. Антонович уже стоял в противоположном углу ринга. Коля неожиданно спохватился, что всё время подготовки к бою он его не видел (Дима разминался в другой раздевалке) и... забыл о его существовании, готовясь встретиться на ринге с абстрактным безликим Противником. И эти два взаимоисключающих понятия — противник и друг — теперь слились в одно целое в виде поджарой мускулистой фигуры Димы, его хмурого сосредоточенного лица. Его секундант, тоже боксёр их спортивной секции Слава Василевич, с которым Коля так же успел за это время подружиться, склонился через канаты и что-то торопливо (судя по жесткой складке на его лице и подрагивающему хохолку жёстких волос) говорил Диме на ухо, поглядывая время от времени на Колю. Колю вдруг кольнуло понимание, что его друзья, Дима и Слава, сейчас, в эти минуты, — его непримиримые противники... Рядом с его ухом раздался приглушённый взволнованный голос Стельмахова:

— Коля, я думаю, тебе надо с ним работать вторым номером: встречать и контратаковать. У тебя это здорово получается. Он сейчас наверняка полезет в рубку. Он всегда так работает. Но, мне кажется, если ты удержишься на дистанции, то обыграешь его в одну калитку. И чаще бей справа — он, когда бросается, о защите не думает. Попадёшь «в разрез» — посадишь его на задницу; тогда вообще «я—пэ»[1] сделаешь. Для первого боя — это будет красиво.

Коля посмотрел в противоположный угол и встретился взглядом со своим противником. Дима вздрогнул и нервно повёл головой, как это делают люди, когда видят близкую опасность. «А ведь он волнуется так же, как и я» — понял Коля, и это принесло ему облегчение.

— Боксёры на середину! — громко сказал рефери (судья в ринге), так же боксёр из их спортивной секции Игорь Иваницкий, занимавшийся в старшей группе.

Коля хорошо его знал и, соответственно, был с ним в приятельских отношениях, но теперь вдруг не мог избавиться от ощущения разверзшейся между ними пропасти — как между абсолютным властителем и безропотным подчинённым. Щурясь от яркого света прожекторов и ёжась от физического ощущения стремительно сокращающегося до начала поединка времени, он вышел на середину ринга. Из своего угла в том же направлении двинулся Антонович. Коля посмотрел ему в глаза. Не отводя глаз, Дима продолжал идти твёрдым шагом, и Коле вдруг представилось, что они идут навстречу друг другу по узкой зажатой с двух сторон каменными стенами тропинке, по которой может пройти только один.

— Пожали руки, — сказал рефери, когда Антонович подошёл.

Коля протянул для пожатия руки и внимательно посмотрел на своего противника. Дима спокойно пожал ему руки и уставил в ответ неподвижный пристальный взгляд, словно говоря, что со своим замешательством он справился и будет драться за победу до последней возможности. Выдерживая взгляд Димы, тоже пристально, не мигая, Коля вдруг вспомнил наставления своего

1. Сокращенное (или жаргонное, что одинаково верно) название досрочной победы «ввиду явного преимущества».

секунданта — действительно, правый «в разрез» должен пройти, а после него, не давая опомниться — «левый сбоку» и ещё «правый прямой»...

— Внимательно. Слушать команды. Боксировать, а не драться, — продолжал между тем рефери. — Желаю удачи. По углам!

Антонович развернулся и пошёл в свой угол ринга. Проводив его взглядом, Коля вернулся в свой. Его ощущение сжимающегося до начала поединка времени достигло напряжения, подобного ожиданию приближающейся к телу раскалённой головни.

— Ваш боксёр готов? — спросил рефери секунданта Антоновича.

Тот молча кивнул в ответ.

С нарастающим гулом в ушах Коля ждал, когда такой вопрос будет задан его секунданту. Словно в замедленной киносъемке, рефери повернулся лицом к его углу и, чуть задержав взгляд на Коле, спросил громким резонирующим в просторном помещении голосом:

— Ваш боксер готов?

— Да, — ответил Стельмахов, и Коле показалось, что его сзади ударили ладонями по ушам.

Рефери посмотрел на судью-хронометриста (на эту должность так же назначили одного из боксёров старшей группы) и сделал ему знак рукой.

На мгновение в зале повисла тишина. Коля замер, как взрывотехник перед поворотом ключа пускового механизма заложенной взрывчатки. Его одноклассники стояли плотной группой недалеко от ринга и смотрели на него широко раскрытыми растерянными глазами, словно до них только теперь дошло, что они сейчас увидят рукопашный бой одного из своих одноклассников — настоящий бой, с риском травм и крови, цель и смысл которого им вдруг стали совершенно непонятными. Коля попробовал поискать глазами мать, но тут же поспешно опустил глаза, почувствовав, что картина её испуганных глаз лишь добавит к его растерянности ещё одну грань.

Раздался резкий удар гонга. С усилившимся до физической боли звоном в ушах, не чувствуя своего тела, Коля двинулся к центру ринга.

Дима Антонович на боксёрском слэнге был «рубака». Это означало несколько сумбурный, в высоком темпе, приближённый больше к драке, чем к искусству, бокс. И Дима с первых секунд поединка начал демонстрировать свою горячую приверженность этой манере ведения боя. Удары, жёсткие и частые, обрушились на Колю, подобно посыпавшимся с крыши булыжникам.

Коля растерялся: впервые его били по-настоящему, с единственной целью — пробить его защиту, попасть, а ещё лучше — сбить с ног, и он вдруг обнаружил, что не знает, что этому противопоставить. Удары летели в него со всех сторон, а он едва успевал подставлять под них локти, плечи, прижатые к голове перчатки, с ужасом замечая, что совершенно растерялся, что не знает, что делать, как остановить этот напор Димы, и что... проигрывает бой. А Дима между тем, почувствовав растерянность своего противника, увеличил частоту и силу ударов, явно загоревшись желанием закончить бой досрочно. Один из его ударов, пробив защиту Коли, на мгновение помутил его сознание.

— Стоп! — выкрикнул рефери.

Коля испуганно замер, поняв, что бой сейчас могут остановить «в виду явного преимущества»[1]. На какое-то мгновение, ему показалось, в зале повисла абсолютная тишина. Ощущая в ушах лишь гулкие удары пульса, он медленно обернул голову к рефери. Витя Иваницкий, безраздельный властитель его судьбы в ближайшие минуты, внимательно (мучительно долго, как показалось Коле) посмотрел ему в глаза, затем сделал знак-замечание «опасное движение головой»[2] и скомандовал:

— Бокс!

Может, он и допустил это нарушение правил — Коля не помнил, — но, как бы то ни было, Иваницкий дал ему возможность драться дальше, и это было главным. Коля повернулся к своему противнику. Дима едва заметно тряхнул головой, как это делают люди, недовольные решениями своих животрепещущих вопросов, с которыми они, тем не менее, вынуждены соглашаться, и снова бросился в атаку. На этот раз Коля ясно видел разворот его плеч, видел летевший в его голову кулак и спокойно (не успев удивиться этому и даже заметить свое спокойствие) сделал под размашистый «правый сбоку» своего противника плавный, но быстрый «нырок[3]». Не ожидавший этого Дима с размаха далеко запустил свою руку, тем самым раскрывшись

1. Один из четырех определенных правилами бокса способов победы. (Прочие — «по очкам», «в виду невозможности продолжать бой» и «нокаутом»).

2. «Опасное движение головой» — одно из нарушений правил в боксе.

3. Вид защиты в боксе.

и подставив под удар незащищенную голову. В то же мгновение, при выходе из «нырка», Коля провел своему противнику короткий и жёсткий «левый сбоку» в подбородок. Дима качнулся.

— Стоп! — выкрикнул Иваницкий. — В угол! — показал он Коле на нейтральный угол и начал счет: — Раз! Два!..

Нокдаун. По правилам бокса для юношеских и молодежных возрастных групп на соревнованиях такого уровня после первого нокдауна бой можно прекращать (упомянутое выше «явное преимущество»). Иваницкий вопросительно посмотрел на своего тренера. Туда же устремил умоляющий взгляд Антонович. Сергей Васильевич с хмурой задумчивостью оглядел обоих, а затем сделал знак продолжать бой. Антонович зримо просиял. Повернувшись лицом к Коле, он после команды «бокс!» сразу бросился в атаку, явно стараясь отмести у кого бы то ни было малейшие сомнения относительно правильности решения рефери. Коля попытался встретить его «правым прямым», но Дима, не моргнув, запустил в ответ два размашистых полупрямых-полубоковых удара, от которых Коля, хотя и успел защититься подставкой перчаток, почувствовал головокружение и гул в голове, словно с разбегу налетел на фонарный столб. «Ах, так!» — подумал он с неожиданной яркой злостью, которая вдруг стерла все его мысли и чувства в связи с этим поединком — кроме одного: жгучего, страстного, не разбавленного ни единым другим устремлением желания проучить Диму и... выиграть бой. «Ну, ладно, подожди же!» — Под следующий подобный размашистый удар Димы он сделал шаг назад, пропустив, таким образом, удар мимо цели, а затем бросился в атаку сам с сумбурной неумелой, но яростной, искрившейся, как от короткого замыкания, желанием победы серией ударов. Такого оборота Дима не ожидал и, пропустив два или три удара, «ушел в «глухую защиту[1]», лишь изредка отвечая на атаки противника одиночными ударами. С жгучим, яростным (даже слово «диким» не будет преувеличением) восторгом Коля бил по перчаткам, рукам и локтям (в основном — лишь изредка доводя удар до цели) своего противника, который хотел (посмел пытаться!) украсть у него победу, забыв в этот миг о зрителях, одноклассниках, друзьях, забыв о матери и... своей усталости, которая вскоре напомнила о себе быстро нарастающей тяжестью в мышцах, словно с каждым движением на его тело наматывалась мокрая клейкая глина. Коля понял, что загнал себя в ловушку: мышцы отказывались его слушаться, а воздух из предусмотренного природой для жизни вещества превратился в горячий не имеющий никакого отношения к дыханию газ, который только обжигал легкие, не принося облегчения. Какое-то время он пытался продолжать бой в прежнем темпе — чтобы не догадался Дима, чтобы не увидели судьи, — но... лишь приблизил закономерный исход: вскоре свет перед его глазами померк, а мышцы превратились в раздутые резиновые цилиндры, не подчинявшиеся командам из головного мозга. Спасло его то, что Дима тоже устал, хотя и не до такой степени, но, тем не менее, реализовать это свое преимущество в победу не смог. Удар гонга на первый минутный перерыв оба боксера встретили с облегчением.

— Коля! — возбуждённо говорил Стельмахов, энергично взмахивая полотенцем, когда его подопечный обессилено плюхнулся на поставленный им стул. — Молоток! Классный бой, я тебе говорю! Давай накручивай! Чаще бей справа. У тебя это здорово получается. Попробуй выдернуть его левой, а как только он на тебя бросится — сразу бей справа. Получится или «через руку», или «в разрез».

Коля торопливо кивал в ответ, жадно хватая открытым ртом влажный от Васиного полотенца воздух: наставления Стельмахова, которые он никогда раньше не воспринял бы серьёзно, так как не считал его сколько-нибудь лучше разбирающимся в боксе, чем он сам, теперь звучали для него непререкаемой истиной.

— И ещё, — продолжал Стельмахов, — ты видишь, как он бросается без подготовки? Попробуй поймать его на этом. Зависни без ударов, а сам будь готов. А как только он бросится — сразу бей правый прямой — это твой коронный удар, я тебе говорю! Попадёшь ему в бороду — посадишь на задницу, — сто процентов, я тебе говорю! Он и так чуть не упал, когда ты ему дал в начале боя.

Коля снова молча кивнул, преданно глядя Васе в глаза.

Тихо затренькал гонг, предупреждая о скором окончании минутного перерыва. Коля прикрыл глаза, чтобы до последней возможности впитать в себя этот предусмотренный

1. Вид защиты в боксе (с опущенной головой, прижатыми к голове кулаками и к животу — локтями), как правило, в моменты наиболее опасных для защищающейся стороны ситуаций на ринге.

правилами отдых, а Вася посмотрел на него с сочувствием и неожиданно, со странным ощущением Коли, что он хочет его поцеловать, близко склонил к нему свое лицо и прошептал на ухо:

— Колька, не дрейфь: ты намного лучше его, только сам ещё этого не знаешь. Работай спокойно — и всё будет нормально.

Громко бухнул гонг. Из своего угла в направлении середины ринга пошёл Антонович. Упруго поднявшись на ноги, с ощущением, что собирается прыгнуть с навесного пружинящего трамплина в воду, ему навстречу двинулся Коля.

Они встретились точно в центре ринга. Приняв положение боевой стойки и начав передвижения «перекачкой», Коля сквозь забрало перчаток зорко следил за своим противником. Дима передвигался той же «перекачкой» — левая рука впереди на уровне глаз, правая на подбородке, покатые блестящие мышцы, казалось, искрились от заряженности на удар — и... ударов не наносил. Колю это насторожило. Сколько он видел Диму раньше на тренировках и однажды на соревнованиях (Дима проводил сегодня свой третий бой), он никогда не был «технарем» (приверженцем спокойного «техничного» бокса). Всегда, при малейшей возможности, и даже без оной (в смысле, создавая её сам), Дима взвинчивал темп и остроту поединка до степени уличной драки (естественно, при строгом соблюдении правил — в противном случае, ни судьи, ни их тренер этого бы не допустили). И предыдущий раунд эти наблюдения полностью подтверждал. Поэтому то, что сейчас Дима демонстрировал такие непохожие на него спокойствие и размеренность, говорило только о том, что он что-то задумал. Коля на мгновение ощутил испуг, какой всегда испытывают люди перед неизвестной опасностью, а затем вдруг необъяснимую весёлую злость и азарт. Раз так, то он тоже сделает то, что Дима от него не ждёт. И Коля неожиданно для своего противника, для судей и зрителей, неожиданно для себя, бросился вперед с сумбурной, неумелой, но долгой и яростной серией быстрых и хлестких ударов. В первый момент Дима растерялся и «ушёл в глухую защиту». А Коля с азартом и злым восторгом нанёс по локтям и перчаткам своего противника подряд пять или шесть размашистых, хлёстких и... бесполезных ударов. Защитившись от этой серии, Дима нанёс в ответ «правый сбоку», от которого Коля, в свою очередь, защититься не успел. Удар пришёлся на область верхней челюсти. Искры брызнули из его глаз, а в голове раздался гул, словно на неё накинули пустое ведро, по которому ударили палкой. Свет перед его глазами померк. Но в это мгновение Коля вдруг ясно представил себя со стороны и... испугался, что бой остановят «в виду явного преимущества». В последний миг, не видя, он каким-то шестым чувством угадал следующий удар Димы, под который сделал «нырок» (довольно сложное движение, получившееся у него неожиданно для него самого быстро и точно), а затем обхватил своего противника двумя руками.

— Стоп! — выкрикнул рефери. — Держите! — сделал он Коле замечание. — Шаг назад! — И, растолкав боксеров на положенное перед продолжением боя расстояние, резко бросил вниз руку: — Бокс!

Этих нескольких мгновений Коле хватило, чтобы прийти в себя. Дима был в полутора метрах от него и готовился к следующей атаке. С необъяснимой уверенностью Коля понял, что он сейчас будет бить «правый прямой в голову». Со странным (злым и весёлым, озорным одновременно) чувством он неожиданно для себя чуть опустил руки, облегчая своему противнику его задачу. Дима не заставил себя долго ждать и пробил ожидавшийся «правый прямой», вложив в него вес своего тела и всю скопившуюся за время этого поединка спортивную злость. Коля снова сделал «нырок», сдвинувшись при этом в сторону. Метив в твёрдую и желанную цель (и, похоже, рассчитывая на этом закончить бой), но, попав в пустоту, Дима потерял равновесие и со всего маха влетел в канаты, едва не вывалившись за пределы ринга.

— Стоп! — выкрикнул рефери — Поворачиваетесь! — сделал он замечание Диме. — Бокс!

Этот промах заметно добавил Диме злости, и после команды «бокс!» он уже без всякой подготовки бросился на своего противника. Но к этому времени Коля успел восстановиться после недавнего, на грани нокдауна, удара и встретил своего противника во всеоружии. Поэтому эта попытка Димы пренебречь боксом, как искусством, обошлась ему в чисто пропущенный удар и разбитый нос.

— Стоп! — скомандовал рефери и, показав Коле на нейтральный угол, пригласил для его противника врача соревнований.

Коля отошёл в нейтральный угол и посмотрел на зал. Публика в зале оживлённо переговаривалась, шумела; многие разговоры сопровождались красноречивой жестикуляцией

и кивками в сторону Коли и его противника. Его одноклассники стояли плотной группой недалеко от ринга и смотрели на него кто с испугом, кто с восхищением, но все с одинаковым уважением. Коля попробовал найти мать, но, на этот раз уже к своему сожалению, разглядеть её в толпе не смог.

Тем временем врач, осмотрев травму его противника, затампонировал Диме нос и разрешил продолжать бой. После чего последовала команда:

— Бокс!

Дима решительно двинулся вперед, всем своим видом показывая, что, несмотря ни на что, драться он будет с прежней самоотдачей. И в этот момент Коля почувствовал (именно *почувствовал* — без каких-либо логических обоснований), что теперь ему надо противопоставить своему противнику спокойный техничный — вторым номером, на средней и дальней дистанции, уделяя особое внимание защите — бокс. Поэтому, встретив Диму в центре ринга, он, не идя на обострение поединка, принялся обстреливать его с дистанции одиночными ударами. Наученный опытом первой половины боя, Дима ожидал иного и потерял драгоценное время: в предложенной ему манере ведения боя Коля был быстрее, точнее и... красивее. А когда Дима, спохватившись, попытался вырвать концовку, было уже поздно: в навязанном им Коле в конце раунда ближнем бою он не смог (не успел) добиться заметного преимущества, а следующий такой боксёрский приём ему не позволил провести гонг.

— Коля! — возбуждённо говорил своему подопечному в перерыве между раундами Стельмахов, с яростью взмахивая полотенцем, словно вгоняя таким образом свои слова ему в голову. — Молоток! Давай накручивай! Только так с ним и надо работать: на дистанции, прямыми ударами, встречать и контратаковать. Попробуй пробить ему двойку, а потом сразу разорви дистанцию и жди. А когда он на тебя бросится — уклон или нырок и встречный справа. Он у тебя здорово получается.

Коля, глядя на своего секунданта преданными глазами, лишь молча кивал в ответ, жадно хватая открытым ртом влажный от его полотенца воздух.

— Дальше. В ближнем бою ты ему проигрываешь, поэтому старайся держаться подальше от канатов. Но если уж ты попался, то не давай ему работать, как по мешку: перебивай его, лови на последнем ударе и разрывай дистанцию с встречным ударом.

Тихо затренькал гонг, предупреждая о скором окончании минутного перерыва. Не выкраивая, как в предыдущем перерыве, последних секунд отдыха, Коля пружинисто поднялся и огляделся. Его одноклассники по-прежнему стояли плотной группой неподалеку от ринга. Увидев, что Коля смотрит в их сторону, они оживились, стали махать руками, выкрикивать: «Колька, молодчина!», «Давай, накручивай!», «Мы за тебя болеем!» и... (похожим на голос Кати Березиной) — «Мы тебя любим!». Впервые за всё время поединка Коля воспринял сказанные ему слова, как членораздельную речь. Зрители в зале гудели, оживлённо переговаривались. Где-то среди них мелькнуло лицо матери. Коля пристально всмотрелся в ряды зрителей, страстно загоревшись желанием увидеть мать, но в это время резко звякнул гонг. Коля вздрогнул и повернулся к своему противнику. Антонович неторопливо выходил из своего угла к центру ринга. Неожиданно Коля почувствовал спокойную уверенность, какую люди ощущают перед завершающим этапом долгого трудного, но успешно сделанного дела, которое уже не могут испортить последние незаконченные детали. Ведь он уже добился главной победы в этом бою — победы над собой, над своими неуверенностью, метаниями и страхами; сделал то, что ещё недавно не смог бы представить в самом фантастическом сне; и эти две последние минуты, даже если руку поднимут его противнику, ничего в этой его личной победе не убавят.

Коля глубоко вздохнул, с задорным прищуром посмотрел на яркое солнце за окном спортивного зала и решительно пошёл навстречу своему противнику...

г. Барановичи, Белоруссия

Юлия ЖДАНОВА

ОН ПТИЦ РАЗДАЕТ

***

Эта строчка на листке –
Словно жилка на виске.
Неумолчно бьётся, бьётся!
Умолчать не удаётся:
Оговорка, опечатка –
Под колёсами брусчатка.
Брызнет камешек навстречь!
Вот она, прямая речь!

***

Я понимаю просто, без всяких затей:
Жизнь — это чтобы вместе растить детей,
Просто беречь друг друга, и все дела.
Что до любви, то однажды она была.

***

Постояльцы, скитальцы, лишенцы, жильцы,
Пришлецы, проходимцы (забыла ль кого?) –
Люди-саженцы в блёстках нездешней пыльцы,
Росном, бисерном поте лица своего,

Без печати на горле, клейма на лице,
С негламурной наколкой, с разбойной серьгой;
Без ключа на мизинце, ключей на кольце;
Без окна, без дверей, со двора ни ногой!

Я не знаю короткой дороги домой,
Я пешком за три моря хлебать киселя;
Я семь пар износила железных; седьмой
Хлеб сглодала, а все не родная земля.

Раз — дорога: из Гостиц-села, из гостей…
Солнце за терриконами падает ниц,
И в округе, в границах её волостей,
Сотрясается воздух от пения птиц!

Два — дорога: сквозь лес, через чад, через чат,
Пусть окольным, кружным, окаянным путем,
Где навстречь семафорам колеса стучат:
Пережжём, переждём, перелжём, перейдём…

Три — дорога: во двор, по двору, со двора,
В кольца противосолонь свивается пыль;
И негромким презрительным свистом с утра
Подзывает водителя автомобиль.

***

Осенние люди как будто осенние листья:
Плакучие плечи, пожухлые хмурые лица.
Наряды — не взглянешь без слез,
не похвалишь без лести.
И всё впечатленье от нас никуда не годится.

В походках и взорах ни воли, ни иммунитета.
А с губ — только пепел, слюна и подобие брани.
Артисты балета, мы стали статисты болота.
Эпоха успеха угасла — о, знать бы заране,

Что в самое сердце всего мирового порядка
Пыльца декаданса проникнет и там воцарится.
Приметы упадка: прорехи, провалы, пророки
Повсюду. И всюду пожухлые сирые лица

В толпе, неосознанно ищущей некий светильник
В стремленье, струенье, роенье немом и недужном.
Но нет вожака, чтобы выстроить нас в треугольник,
Трубя и курлыча, вести в направлении южном.

***

На скрепке, на кнопке, на загнутом внутрь уголке,
На пятнышке клея, практически на волоске
Ютится зима в канцелярском закуте одна.
В корзину вчерашнею новостью канет она.

В корзинку, в копилку, на полку, в каптерку —
в архив!
Не выищет, щурясь, чихая и все перерыв,
Ни червь-архивариус и ни один доброхот!
Приходит весна, всё весны предвещает приход,

Её дефиле, фейерверки, фанфары и свет.
И всё предвосхитил наш новорождённый сосед.
Как сладко бесхитростным пахнет весна молоком!
Каким замечательным он говорит языком,

Как ёжится нежно, как смотрит на вещи свежо –
На землю, на небо, на первоапрельский снежок,
На город, где на перекрестьях имён и племён
Под флагом, под игом и благом при смене времён

Над чересполосицей дней и ночей, деловит,
Идет человечек зеленый, а красный — стоит.

г. Санкт-Петербург

Николай АЛЕШКОВ

ИНАЧЕ — КАК?

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ ИЗ КРЫМА

Здравствуй, тётка Украина,
это я, племянник твой!
Расстели-ка мне перину,
черноморскую пучину —
разгоню тоску-кручину,
прыгну в море с головой.

Я с тобой давно не спорю.
Провести черту по морю
может лишь дегенерат.
Мы с хохлом уже неделю
чарку делим, Крым не делим.
Ты мне тётка, он мне брат.

Мы — не чурки, мы — славяне.
Иль в веках родство завянет!
Добрым словом кто помянет
нашу Киевскую Русь?
Мы — одна и та же раса.
Вспомним Пушкина, Тараса
и вином разгоним грусть.

После третьего стакана
обнаружим полупьяно,
что у русского Ивана
украинская жена.
И хохол вдруг скорчит рожу:
— У меня есть жинка тоже.
Я перечить ей нэ можу,
хоть и русская она.

Лишь на тех мы с ним сердиты,
кем меж нами клинья вбиты!
То ли это царь Никита,
То ли нынешняя свита,
То ли, мать его етти-та,
кто-то третий? Брат притих.
А в воде, друг друга краше,
сыновья резвятся наши —
два дельфина молодых.

Под горилку подытожим:
век двадцатый нами прожит,
впереди другой редут.
Никакому Джорджу Бушу
нашу праведную душу
сыновья не продадут!

***

«В начале было Слово...»
Евангелие от Иоанна

...и вдруг приснился Юрий Кузнецов,
и был он тих, задумчив и печален:
— Мне дела нет до подвигов отцов,
я слышу отзвук Слова, что в Начале
вдохнуло жизнь, с землёй связало высь.
В мирских грехах я перед ним не каюсь,
но нити, что в веках оборвались,
я вновь связать на небесах пытаюсь.

***

Скворцы несут дыхание весны.
Листает ветер мартовские святцы.
Вам снятся эротические сны?
И мне они, представьте, тоже снятся.

Что — возраст, если песней молодой
мир удивить по-прежнему охота?
Смотрите — солнца лучик золотой
уж распахнул небесные ворота.

За солнцем вслед пожалует апрель,
и на лесных проталинах под вечер
зажгутся голубые, словно гжель,
подснежников мерцающие свечи.

Придёт и Пасха. Молодой звонарь
на колокольне свяжет воедино
небесный купол и земной алтарь
и благовест услышит вся долина.

И мне светло в предчувствии весны,
и вновь в груди желания теснятся.
Вам снятся эротические сны?
И мне они, представьте, тоже снятся.

***

В мае, в зелени листвы,
возле общежития
соловей (слыхали вы?)
пел в пылу наития.

Не в лесу, а посреди
города огромного,
где вчера прошли дожди,
и гудка паромного
не слыхать ещё с реки,
и река — под радугой...
Коменданту вопреки
я стою и радуюсь,
что не зря среди ветвей
яростно, неистово
соловьиху соловей
два часа высвистывал.
Два часа свистел и я...
Только ближе к вечеру
вышла милая моя:
— Больше делать нечего?

ВЕНЮШКА

Встретить старость на родине —
лучшей доли и нет.
Ближе к Богу — юродивый
и, быть может, поэт.
В церкви двери не заперты —
заходи туда всяк.
Я иду. А на паперти —
мой ровесник, земляк,
Поздороваюсь. Венюшка
мне отвесит поклон.
Положу ему денежку —
пусть помолится он.
А в глазах его — вешняя
вся небесная высь:
и подскажет он грешнику:
— Сам-то тоже молись...

ДВАЖДЫ ДВА

О свободе толкуют много.
О свободе мечтает всяк.
Отрекись от себя, от Бога,
и — свободен... Иначе — как?

Будь ума у тебя палата,
будь ты круглый совсем дурак...
Одиночество — это плата
за свободу. Иначе — как?

Был, как ветер, вчера свободен
путешественник и моряк.
Где он ныне? Вернулся вроде
к миру, к людям. Иначе — как?

В одиночку тебе и вьюга
в снежном поле — смертельный враг.
Несвободны мы друг от друга
и от Бога. Иначе — как?

Наталья ЕЛИЗАРОВА

НЕОЗВУЧЕННЫЙ ВОПРОС

***

Была тебе ни девой, ни женой,
и не хочу никем... Пустою чашей,
оборванною трепетной струной,
наивной и доверчивой Наташей
живу... И не поднять руке клинка,
и камня в твою сторону не бросить.
Слогов стихия мне была близка,
но как горька глаголов россыпь...

***

Летящий снег успеть заворожить,
чтобы соткать салфетки кружевные.
И просто есть на них, и просто жить.
И яблоки — наивно-наливные
бросать в сугроб и видеть, как лежат,
теряя яркость жизни уходящей.
И руку до суставной боли сжать.
Зима. Сугробы. Фрукты. Длинный ящик.

***

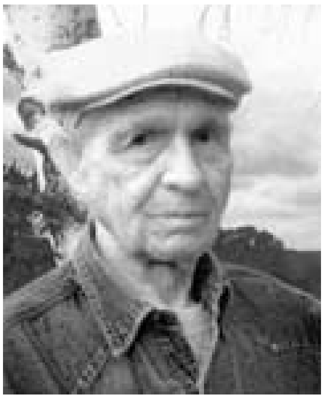
Человек с серьёзными глазами
Смотрит добрый мультик про крота.
Человеку с карими глазами
Все дела по дому — суета.
Разбросать игрушки, вещи, книжки,
А из стульев сделать паровоз:
«Мама, едем, и посадим Мишку»,
Озорной, любимый мой мальчишка.
Детство — неозвученный вопрос.

***

Я помню — в нашей маленькой квартире
Всем было тесно в тот осенний день.
Нас с братом дома — в тазике — крестили,
Обманываясь «под защитой стен».
Священник щедро смазал нас елеем,
И крестные отправились домой,
Потом еще родителей жалели,
Пословицей грозя «сумой-тюрьмой».
И, может, сам усатый добрый крестный
Звонил в обком, чтоб выгнали отца.
....
Крестила сына... В наше время — просто:
Крест — золотой, холодные — сердца.

Вячеслав РУДНЕВ

МОЙ СЛЕД НА ПЕСКЕ



***

Светлой памяти поэта
Романа Харисовича Солнцева.

Ушёл поэт, и опустился занавес,
Осиротело всё, чего в стихах
Коснулся он…
Всё, что в черновиках
Не дописалось, не доправилось,
Поэт с собой унёс
Под колокольный звон.

Заложник избранный
Малиновой рубахи,
Той, что с годами не сносившись,
Уцелела…
С какой-то поэтической
Сообразуясь магией,
Сливаясь с мыслью, слово в нём
И плакало и пело.

Был воздух чист, и день
Обычный светел,
И Енисей не выходил
Из берегов;
В апреле умер он. Очередное лето,
И осень и зима —
Настанут без него…

Душа бессмертна в текстах –
Между строк,
При жизни — как дыханье —
Не приметна;
Как протокольно прост
Посмертный эпилог
Остановившегося времени
Поэта.

Ушёл пророк — при жизни,
И потом –
По солнечным мирам
Вневременной кочевник…
Поэт в апреле умер и светло о нём
Весенний шмель пропел
Виолончельно.

***

Меня смыло с затерянной лодки
В пустом океане волной,
В пустом океане —
Отпущенных мне
Испытательных дней
Одиночества;
Чтобы я разобрался в себе –
Кто я всё же такой
И каким незавидным концом
Мой след на песке неизвестного
Берега слепо окончится ?

Будут чайки кружить надо мной
Серым кружевом, ветром
Сносимые в стаи,
И в безлюдной оправе чужих
И неведомых мне запустений,
Всё, чем мучился я, что меня
Волновало — без боли истает
Ожидаемым и, наконец,
Разрешившимся вдруг
Завершеньем.

Я глаза закрываю
В надежде считать,
Эйдетический след твоего
Пережившего память лица;
Уходя по протоптанным
Множеством прежних попыток
Дорогам,
С неизбывным желанием всё же
Дойти до конца
Пониманья, соборно
Доступного всем,
Но так трудно доступного
Каждому — Бога.

***

Майские жуки умирают в полёте,
Словно искры в ночи от костра,
Словно песня — оборванная
На последней ноте,
Словно эхо последнего крика
В горах.

Это было. Догорал на закате вечер,
Жвачкой чавкала, засыпая,
Река в берегах…

И я понял тогда, что
Сказать больше нечего,
В путевых моей жизни
Записках — моих стихах.

Что написано — не исчерпано,
(Моя радость и боль — чем умел
Дорожить)
Но оно долетит,
Умирая в полёте,
Продолжая магнитно
В чьей — то памяти жить.

***

Я никогда не искупаюсь
В Бискайском заливе,
Никогда не подам пальто
Дженифер Лопес,
Не испытаю ощущенья
Тропических ливней
И на китайской Великой Стене
Уже не оставлю росписи…

И из списка задуманных планов
Не вычеркнуть — по исполненью,
Самых лучших моих и нашёптанных
Ветром апреля стихов;
И зажжённые свечи терзавших
Подспудно сомнений
Погасить не успею ладонью моих
Добрых дел и теплом
Искупительных слов.

Дорогая, как много бег ветра времён
В неизвестность уносит;
Нам повторно с тобой никогда
Не увидеть себя молодыми…
Старый Крым, меловые
Окрестности гор Феодосии,
Будут вечно стоять.
Только мы не увидимся с ними…

***

Может, фильм, может, сон
Странный,
Просто в память заблудившийся
Сон…
На открытой площадке
Летнего ресторана
Женщина танцует танго
Под банджо и аккордеон.
Та женщина — уже на время
То женщина, то сама музыка;
Та женщина — неуловимо
То солнечный луч, то ночь;
Опознаваемая, но неузнанная
То тайна во — плоти,
То пророчество.
Я провожаю взглядом
Плывущий напев движений;
Себя потеряв в реальности
Отрешённо и невещественно,
В каком — то другом, неведомом
Романтическом измерении –
В смешенье святого и грешного
Танго танцует женщина…

Танцует, наплывами кутаясь
То в свет, то в ночные сумерки.
Танцует в падении — ли?
В вознесении…?
Освободившись ото всего,
Каждодневного, суетного,
И даже на время — от собственной
Тени.

***

Мудрец провозгласил закон:
«Пройдёт и это…»,
В нём кем — то смысл глубокий
Закодирован –
Сообразуясь с утешительным
Советом,
Тасуясь в вечности — извечно
Правил миром он…

Потери тронов и лачуг
Переживались с ним,
Блокады, голод,
Лагерей бесчинства;
Он вписан в гены;
Он — неистребим,
Сподобленный инстинкту
Материнства.

Поля пересыхают без дождей —
Сжигает урожай
Сухое лето;
Уходит женщина,
И что-то вместе с ней –
Невосполнимое —
«…Пройдёт и это».
И снова, зажигая в храмах
Свечи,
И, вспоминая мудрость
Древнего завета,
Стирая слёзы, помня :
«…Всё не вечно»,
Мы говорим себе :
«…Пройдёт и это».

г. Красноярск

Игорь ИВАНЧЕНКО

ИЗГОЙ, БЕССРЕБРЕНИК, СТАРАТЕЛЬ...

***

Скальпель судьбы, по живому режь!
Раковую опухоль желаний прошлых
Удали,
От женщин избавив пошлых!..
А Муза собою закроет брешь,
Возникшую после ухода друга.
Безденежье стащит за шкирку с круга
Жизни,
Заставит уйти в подполье,
Где у депрессии — хватка волчья,
Где одиночество терпишь молча...

...Осень — абстрактна;
Пылает подворье,
Как храм Артемиды от рук Герострата...
(Цель — не подвластна бунту стихий.)
Невосполнимая чувств растрата –
Стенографировать за Музой стихи,
Стараясь действовать на опереженье,
Ловя малейшее губ движенье,
Ловя несущий истому звук, –
Мука, мучительнейшая из мук...

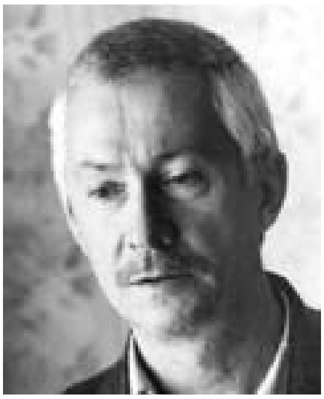
***

Мариетте Бирюковой

Что я Гекубе?
Что Гекуба мне?
Ничто...
Жестока жизни быстротечность.
Я тоже скоро камнем кану в вечность,
Как в омут, где кувшинки на волне...

Покамест медлит старая с косой,
Воспользуюсь, как милостью, промашкой,
Я –
Богом сотворённою букашкой –
По склону лет ползу наискосок...

Как хворост о колено, –
Поломать
Характер, генетически несносный,
Чтоб русских слов песок золотоносный –
В надежде на удачу –
Промывать,
Ночами в кухне горбясь над лотком...



А блёстки, самородки и крупицы
Казались бы водою из криницы
И — воздуха спасительным глотком...

В ответ на оговоры и хулу,
Спрошу:
— Что за комиссия, Создатель?!
Поэт — изгой, бессребреник, старатель,
Рассчитывающий на похвалу...

Не лесть, а пониманье –
Позарез! –
Ему необходимо в трудном деле,
Чтоб,
Словно в ранку где-нибудь на теле,
Сочилась кровь стихов через порез...

***

Осень простирает тучи длань,
Раздражая зонтики и ткани...
Ветер с сада сбирает дань
Золотыми да и медяками.

А душа, как сука, заскулит,
Вновь твоим пришиблена обманом...
Время –
Мой бесплатный окулист:
Лечит зренье утренним туманом...

Тонкий слой;
И — в метре над землёй
Левитируют деревья,
Словно
Хоть
чуть-чуть
продлить
мой
срок
земной
Этим
захотели
поголовно...

***

Метеором чиркнет молодость.
Тёмен, тёмен небосклон...
Изгоняя жизни холодность,
Музыка берёт в полон.

Времени стихает тиканье.
Зала умолкает плёс.
Это странное пиликанье
Ст*о*ит радости и слёз;

Это — т*а*инство великое, –
Как зачатие Христа;
Это чудное пиликанье
Душу может снять с креста...

***

Валентине Чарчиян

Дань неизбежности: с ветлы –
Лист наземь.
Профиль на монете –
Пророка.
Мы на этом свете –
Темны, как ночь... как день, светлы...

Таким сваяв Хрущёва бюст,
Эрнст не ошибся Неизвестный.
Что Вечности поэт безвестный?!
Сорвать печать молчанья с уст

И — петь, забывшись, на току
Весенней жизни без опаски...
И — строила чтоб Муза глазки;
И — строчки льнули к знатоку.

Пусть за ударом ждёт удар –
Тут не пропасть бы за понюшку.
Как будто призакрыли вьюшку:
В душе — Поэзии угар...

И — целиком себя отдать,
До дна, до атома...
А после –
Упасть с разрывом сердца возле
Любимой
И — уже не встать...

***

Мне на плечи кидается век-волкодав...
О.Мандельштам

Пока огарок юности чадил,
Пока садилась молодости пена,
Я стал седым и слабым постепенно –
Двадцатый век меня не пощадил...

Противно было детству моему
Двуличие тряпичных жалких кукол.
Я предан был судьбой и загнан в угол,
Но слишком поздно понял, что к чему...

Я веком, точно каторжник, клеймён –
Не вытравить тавро социализма...
Какого ещё надо катаклизма,
Чтоб вычесть моё имя из имён?!

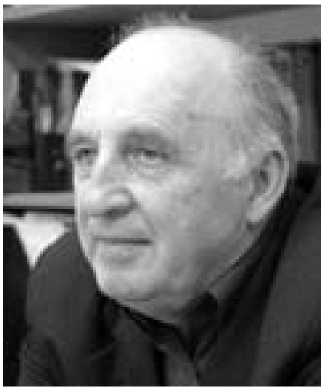
Век новый, как нашествие, грядёт;
Судьба, стыдясь, отводит взгляд в сторонку...
Как злобный волк невинному ягнёнку,
Мне глотку век ещё перегрызёт...

Песком тысячелетий из горсти
Жизнь вытечет;
Умоюсь чёрной кровью...
Ни страхом невозможно, ни любовью
Себя от этой участи спасти.

г. Юрга, Кемеровская обл.

Владимир ПРОКОПЕНКО

...И ДОРОГИЕ ИМЕНА



БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

Памяти Романа Солнцева

**В пещеру, в склеп могильный –
Урочно, испокон –
Нисходит на светильник
Божественный огонь.
Пока горит лампада,
Пока струится свет,
Иудам и пилатам
Покоя в мире нет.
И вспыхивают свечи
Во всех руках окрест,
И души человечьи
Пылают — хоть на крест!**

**Не верит физик в чудо,
Ну что с него возьмёшь?
Но он душою чуток
И видит в поле рожь.
Та рожь, как грудь крестьянки,
Колышется волной…
…И рвётся сердце Данко
Рассеять мрак ночной!**

**Колосья мироздания
Роняют рифм зерно,
Зовёт дорога дальняя,
Пьянит забава давняя –
Кипящих строк вино.
Он бродит по распадкам,
Геолог и поэт,
Горит, горит лампадка,
Струится дивный свет.**

**Струится свет поэзии.
Поэтам всех эпох
Судьба — идти по лезвию,
А строчки пишет Бог.
Высоцкому и Данте
Он подбирал слова…
Мы говорим: таланты,
А просто — сердце Данко
И рожь, и грудь крестьянки,
И неба синева.**

**Увы, никто не вечен.
Ушли тропой отцов,
Ушли Дорогой Млечной
И Байрон, и Рубцов.
Всему приходят сроки,
Но оглашают дол
Божественные строки,
Божественный глагол.
И вспыхивают свечи,
И чуть дрожит рука.
Увы, поэт не вечен,
Но в вечности — строка!**

**Скорбим о нём, ушедшем.
Он — в памяти, живой,
С родным до боли жестом,
С улыбкой озорной.
Перед крестом могильным
Мы верим, знаем: он
Не погасил светильник,
Но раздарил огонь.**

ПРОРОЧЕСТВО ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

*И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: кто же я?
Мы напишем Слово Полку Игореве
Или же что-нибудь, на него похожее.
(В.Хлебников «Война в мышеловке»)*

**Шар Земной догорает — корчась,
Тусклым звёздам багрово подсвечивая.
Где ж сегодня твой
Януш Корчак,
Несмышлёное человечество?
Чей ты палец сожмёшь доверчиво,
С кем из жизни уйдёшь,
след в след,
Непутёвый подкидыш Вечности,
Обречённый не повзрослеть?**

**Это ж надо, сбылось как
пророчество:
Рифма-дура ударила слепо,
И на месте берёзовой рощи — лишь
Бывшей жизни обугленный слепок.**

**Знал ли он, будетлянин России,
Сквозь века в мятежах уносимый,
Что извечное семя насилия
Прорастёт Хиросимой?!.**

....
Осторожней, поэты, с метафорами.
Безоглядно хватаясь за гуж,
Распахали беспечные пахари
Целину человеческих душ.
Что посеем — пожнут потомки.
Если будет оно — потом,
Если мир не пожрут питоны
Термоядерных мегатонн.

Шар любимый, змеиный питомник!
Как мы можем молчать,
плоть и кость твои,
Если ты Атлантидой тонешь
В океане жестокости?
Где найти нам такое Слово,
Чтоб тебя из ракетных тенёт спасти?..

...Проступает магма в разломах,
Городов догорает солома
И Луна примечает,
соловая,
Потепленье окрестной местности.

РЕЗОНАНС

А.А.Барышеву,
строителю и художнику

В чернозёме сибирском
сгниют мои кости,
Экология примет мой прах на баланс,
Интеллект станет снова материей косной,
Претерпев напоследок идейный коллапс.

Коллапсирует разум! Следите, потомки,
Мыслескопов расправьте антенны-хвосты:
К вам сквозь время несутся нейронные токи,
Отголоски крушенья нейронной звезды.

Излучение Пушкина...Импульсы Блока...
Гул извилин Эйнштейна...Печаль Шукшина...
И Тараса Шевченко
каспийскими блохами
Модулированная волна!

Жизни миг мимолетней морщины на парусе:
Дунул ветер — и гладким стал паруса наст,
Но накатит волна в сочленённом «Икарусе»,
И, как по сердцу нож,
резанет резонанс.

Оставляют ушедшие ноты и книги,
Оставляют картины, дела и мечты.
Микоян нам оставил гремящие «МИГи»,
Надя Рушева — редкостный миг красоты.

Как нетрудно для времени формы обрушить!
Но сквозь фермы,
бетонность конструкций избыв,
Вдруг проглянет резное
карнизное кружево
Отголоском забытой рубленой избы...

КИНЖАЛ

В.И.Сосновскому

О, как он обоюдоостр,
Кинжал, взрезающий эпоху:
И коммунизм, и «Дранг нах остен»,
И хрупкий разум, равный Богу.

Провидел ли великий Бор,
Что хищный торс в пучину ринув,
Земную смерть возьмут на борт
Титановые субмарины?

Что термоядерный талант
Взрастит еврейский мальчик Будкер?..
...Меж тем опять в подземный бункер
Идет дежурить лейтенант.

Господь, на лезвии ножа
Пошли отвагу человеку,
Чтоб кнопку не суметь нажать,
Чтоб сквозь бетон глаза поднять
На вечно-голубую Вегу.

г. Красноярск

Алексей ПЕТРОВ

БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ

***

памяти Алексея Машенцева

Не жаль прикушенной губы –
Пускай смеётся гуинпленно
Над тем, что «вечно» или «тленно»,
Над тем, что комнатная пыль,
Что пляшет в солнечном луче, –
Частицы устаревшей кожи
Людей, что с нами жили тоже,
А может, не́ жили, вообще...

Не жаль! Ни времени, ни сил
Растраченных, пропитых денег,
Ни полминутки, ни мгновенья,
Вези меня, ямщик, вези!
Гони! Под хвост тебе вожжа!
Не жаль, что слишком мало прожил,
Мне одного до смерти жаль, –
Что смерть становится моложе...

БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ

(завет Ильича)

Держи бумагу как можно
дальше от пера
И от огня.
Будешь писать о любви –
Пиши молоком.

REVOLUTION

Распутницей, не знающей стыда,
Свобода с кровью сплевывала ругань,
Земля штыками скалилась на солнце,
Смотрела в небо жерлами орудий,
На баррикаде с обнаженной грудью
Сверкала жизнь начищенною бронзой,
И очертанья адового круга
Кругами расходились как вода...

И жал в плечах, и трескался по швам
Пальбой и дымом, криками и ржаньем,
Привычный мир кололся на запчасти
Истерикой рожденного младенца,
Колоколами разрывалось сердце,
И порохом паленым пахло счастье,
Толпа людей по улице бежала,
За нею смерть, прогуливаясь, шла...

***

Сон шуршит в кулаке карамельной цветастой бумажкой,
Липнет к ладошке и вряд ли сойдет с руки,
Продираю глаза. Путаюсь в рукавах рубашки,
Путаю левый рукав с рукавом реки.

Глотаю на ощупь чай. Обжигаю рот.
Зябким шажком крадусь на кафель ванной.
Утреннее заклинание — «блин-компот»,
Ритуал омовенья святой водой из крана.

Правой ногой за порог. Замок на ключ.
Беглая мысль. Хлопанье по карманам.
Вдыхаю дым. Щурюсь на ранний луч.
Смотрю на часы. Понимаю, что вышел рано.

ФАНТАЗИЯ №9

Поднимите голову. Выше. Еще выше.
Видите облака? Под облаками крыши.
Над облаками звезды. Их не видно.
Их заслонили крылья летучей мыши.

Впрочем, там может быть, что душе угодно,
К примеру, китайский дракон, жующий мирно
Печенье с кунжутом. Закройте глаза и тут же –
Дракон оживает. Печальный и благородный.

Прислушайтесь. Это топот копыт и ржанье.
По небу несутся кони о сотне крыльев,
Слышатся крики, стоны и грохот ружей,
Чуется конский пот и запах пыли...

Чей силуэт мерещит? В саду у дома
Маленький мальчик режет ладонь осокой,
Город казался ему таким огромным,
Мама казалась ему такой высокой...

ДОМ БЕЗ ПРИВИДЕНИЙ

В позаброшенном доме не теплится скрип половиц,
И намек на движение воздух уже не колышет,
Он надвинул плотнее на лоб обветшалую крышу
И сердито глядит на меня пустотою глазниц

В бесполезной попытке кого-то еще устрашить.
Или брата родного найти в одиноком прохожем.
Совершенно напрасно — мы слишком с тобою похожи, –
В позаброшенном мне тоже нет ни единой души...

КРАСНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ
В АРЛЕ

Уставшее солнце в крови винограда
Завалится спать, и закатные люди,
Собрав урожай, с упоением будут
Всю ночь танцевать для него до упаду.

Земля захлебнётся вином и весельем,
Лишаясь навеки стыда и морали,
И ночь закипит ожидаемой всеми
Последней, безумнейшей из вакханалий.

Все будет легко, вероятно, возможно,
До капли последней полынного бреда,
И только к утру безызвестный художник
Не выпустив кисти, уснет у мольберта.

***

К.Бочарову

Уже полвека как назад
Рецепт потерян –
Не отводя смотреть в глаза,
Не лгать и верить.

И как последняя черта –
Накрылось крышкой
Уменье слушать и читать,
А ты все пишешь...

ТРОЙКА

Вот возьму и свалюсь, пригоню, притартаю, приеду,
Мне б сорваться с карниза, а там... хоть трава не расти,
Подгадать на Покров, самым первым на голову снегом,
Мне б себя самого оторвать, отколоть, отпустить

Из капкана домов, обещаний, долгов и работы,
Мне б пожертвовать левою лапой, да зубы не те,
Обмануть зверолова, а там... хоть пожары-потопы,
Лишь бы мне удалось доползти, добежать, долететь

И забыть обо всем, и исчезнуть, и всеми забыться,
Чтобы с гиком и присвистом лошади вдаль понесли...
Ты сумеешь дождаться. Проверено: редкая птица,
Умерев на лету, не достигнет в итоге земли.

*Ди*Н *память*

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ

В БИБЛИОТЕКЕ

Полюбил я тишину читален.
Прихожу, сажусь себе за книгу
И тихонько изучаю Таллин,
Чтоб затем по очереди Ригу.

Абажур зеленый предо мною,
Мягкие протравленные тени.
Девушка самою тишиною
Подошла и принялась за чтенье.

У Каррьеры есть такие лица:
Всё в них как-то призрачно и тонко,
Таллин же — эстонская столица...
Кстати: может быть, она эстонка?

Может, Юкка, белобрысый лыжник,
Пишет ей и называет милой?
Отрываюсь от видений книжных,
А в груди легонько затомило...

Каждый шорох, каждая страница,
Штрих её зеленой авторучки
Шелестами в грудь мою струится,
Тормошит нахмуренные тучки.

Наконец не выдержал! Бледнея,
Наклоняюсь (но не очень близко)
И сипяще говорю над нею:
«Извините: это вы — английский?»

Пусть сипят голосовые нити,
Да и фраза не совсем толкова,
Про себя я думаю: «Скажите —
Вы могли бы полюбить такого?»

«Да»,— она шепнула мне на это.
Именно шепнула!— вы заметьте...
До чего же хороша планета,
Если девушки живут на свете!

Роман ЧИГИРЬ

СУДЬБА ЖИВУЩЕГО

***

Я отводил по семь минут
на ожидание трамвая,
тоску, веснушки на носу,
ходьбу, прекрасного касанье,
я отводил по семь минут.

Я отводил по полчаса
на разговоры о наградах,
победах, битвах, чудесах,
о торжестве, любви и взглядах,
я отводил по полчаса.

Я отводил по тридцать лет
на возвращенье, на разлуку,
мечты, на тех, которых нет,
на карусель, где все по кругу,
я отводил по тридцать лет.

Я отводил по пять веков
на то, чего уже не будет,
на веру, счастье, под окном
высокий тополь и гнедую
судьбу, которую одну я
оставил где-то далеко.

Без облаков, еще сырую
надев рубаху, босиком,
на ком остановлю, на ком
ту кисть, что контуры рисует
моими красками тайком.

***

К Ерусалиму полчаса.
Автобусом три остановки.
И ты увидишь небеса
в оптический прицел винтовки.

Не удивляйся, затая
надежду на любовь и чудо,
что сверху смотрят на тебя
глаза влюблённого Иуды.

***

Богатый, но красивый господин,
хозяин бара «Розовая Тэри»,
заходит в бар, проходит в кафетерий
и там садится вяло за один
из двух роялей безо всякой цели.

Вчерашние газеты на столе
показывают мимо проходящим,
что день закончился,
теперь уже вчерашний.

Напившийся коктейлей почтальон
рассказывает старому еврею
свой непонятный, выдуманный сон,
при этом пожелтевший медальон
сгибая пальцами сильнее и сильнее.

Испачканное дворником письмо
служанка возле чая положила
и, отвернувшись, тут же позабыла
какое стало странное лицо
хозяина, когда он торопливо
его прочёл и вышел на крыльцо.

Поскрипывал всю ночь пустой диван.
Письмо лежало, привлекая тени,
они пришли и унесли в подвал,
и там уже помятое смотрели,
и медленно читали по слогам.

Хозяин не проснётся, пусть лежит,
рукою прикасаясь к телу Тэри,
пусть смотрит вверх, не думая, что двери
сейчас откроются, и мальчик забежит
и скажет: папа, люди улетели.

Дмитрий МУРЗИН

LIMITA LA COMMEDIA

***

Жизнь похожа на монету:
Аверс там, а реверс здесь.
Счастье есть, а чаю нету.
Счастья нет, а сахар есть.

Ин и янь не уживутся,
Решка заклюёт орла.
С голубой каёмкой блюдце
Опустело. Все дела.

Счастья нет и денег нету,
Кошелёк пустой дотла.
Словно из ребра монеты
Эта женщина была.

***

Всё под луною… Всё — никак не меньше,
Вершит прекрасный пол, который слаб.
Всё счастье в этом мире — из-за женщин.
А все несчастья мира — из-за баб.

Когда б вы знали из какого тлена
Растут беды лихие семена…
«Всё на мази, Прекрасная Елена!» —
Сказал Парис. И началась война.

***

Что тебе мир, валяющийся у ног,
Будто не ты, а мир беспробудно пьян.
«Есть ещё Океан!» — говорящий Блок.
«Есть ещё Блок!» — отвечающий Океан.

Есть ещё порох на складе пороховом.
А на продуктовом складе нет ни шиша.
То, что писал топор, — зачеркнёт пером
Сытое тело. Резиновая душа.

Бутылки стоят, забвениями дразня,
Но чем дешевле питьё — тем мертвее сны.
Будут конфликты. Мелочная возня.
Только возня. И никакой войны.

Каждый забился в свой отдельный мирок,
Напоминающий пластиковый стакан.
В мире, почти забывшем, что есть ещё Блок.
В мире, почти забывшем, ЧТО есть Океан.

LIMITA LA COMMEDIA

Каждый год усталая провинция
Лучших сыновей и дочерей
Посылает, чтобы откупиться,
В главный город Родины своей.

Чтоб найти себе в столице нишу,
Сядут в самолёты, поезда
И покинут город их взрастивший,
Чтобы не вернуться никогда.

Станут кофе пить в кафе на Бронной,
Будут пачкать Чистые пруды…
В сумерках покурят на балконе —
И звезда полей им до звезды.

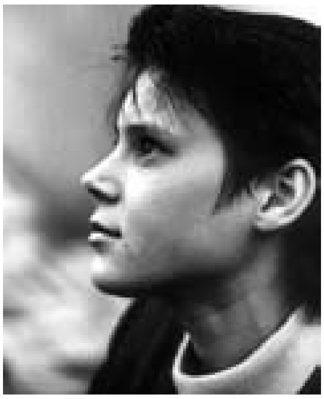
Край родной повспоминав ночами,
Выбросив от прошлого ключи,
Станут даже больше москвичами,
Чем все коренные москвичи…

Будут на работу торопиться
И красот Москвы не замечать.
Будут новым жителям столицы
В спину «понаехали» ворчать.
…………………………………………
Жизнь пройдёт, как очередь у кассы
И шепнёт: «Чего-то мне херо…»
Пушечное офисное мясо,
Пассажир московского метро.

г. Кемерово

Наталья МУРЗИНА

МЯЧ, БЕРЁЗА, ТРОПИНКА, ДОМ



МЫ ПЕЧАТАЛИ ФОТОГРАФИИ

В полутьму затворённой комнаты
луч — лазутчик — не проскользнёт.
Здесь таинственностью подёрнуты
очертанья вещей. И ждёт
нас какой-то фонарь диковинный
с тёмно-красным слепым стеклом.
И раствор. И ещё штуковина
возвышается над столом.
Мир знакомый, на плёнку пойманный,
мы печатаем в тишине
на бумаге — такой — особенной.
Даже чуточку страшно мне!
Угадай, что сейчас появится,
замерев над пустым листом, —
и волшебным пятном проявится
мяч, берёза, тропинка, дом!
И скамейка как настоящая,
и ворота. А свысока
кучевые, на юг летящие,
проявляются облака.
Что-то чудное совершается,
возбужденьем в зрачках горя.
Наша комната освещается
комом красного фонаря.
Вот загадочно! У родителей
есть какой-то секрет простой —
Снимки плавают в закрепителе
и в глубоком тазу с водой.
Мы их на ночь сушить развесили.
Ну, а утром, при свете дня,
Разгляжу, как на снимках весело
чёлка встрёпана у меня.

...Смыта памятью эта ранняя
беззаботная благодать.
Но какую-то книжку давнюю
с верхней полки хочу достать.
Прямо в руки летит стремительно,
чёрно-белым черкнув крылом,
Миг далёкий и удивительный:
мяч, берёза, тропинка, дом.

РУССКИЙ КРЕСТ

Всем нерождённым детям посвящается

Господи! Что она делает? Это не сон:
Белый застенок, уже инструмент занесён —
Острый, стерильный. И руки в кровавой росе.
Крохотной жизни, которую предали все,
Не появиться на белый немыслимый свет.
Время разъято. Грядущего попросту нет.
И за больничным окошком столетье подряд
Белый, холодный, преступный идёт снегопад.
Но ведь когда-то придётся признаться себе:
Непоправимое корни пустило в судьбе;
Ночью рыдать, осознав, что случилась беда —
Это дитя не родится уже никогда.
Что ты наделала? Белый халат на стене.
Дети России, убитые не на войне,
Молча очами небесными смотрят на нас.
И не укрыться от вещих младенческих глаз.

***

На Украине — затмение.
Время распутное
Смутное.

Прошлого горестный пепел.
Где совесть была твоя,
Латвия?

Попранной памяти тени седые.
Контузия.
Грузия.

Раны великой истории.
Тропочка узкая
Русская.

***

Ночь раскинула тайные руки ветвей по дворам –
Из мятущихся хлопьев крылатое ткать полотно.
Но слепая метель своё дикое веретено
Рассекла о громады домов. Умерла до утра.

Город сном припорошен и лунным залит молоком.
Он почти что не дышит, насквозь безучастьем пронизан.
Только слабнущий ветер, очнувшись, сухим языком
Одинокую кошку рассеянно слижет с карниза.

Неуверенный скрип каблуков на снегу: это здесь?
В закоулки чужого веселья, как в гул балагана.
И, подсев к незнакомцу, глотнёшь горьковатую смесь,
Огранённую твердью прозрачной простого стакана.

И увидишь, что рядом не лица — лишь отсветы лиц,
Что в овале напротив ещё алкоголь не остыл.
Только мир, обернувшийся каплей, вдруг рвётся с ресниц,
Об расшатанный пол разбиваясь в столикую пыль.

Только вдруг зачарованно крикнешь в нездешний огонь,
Чтобы, призрачный блеск погасив, отошла суета.
Лист бумажный ложится на стол, как на Божью ладонь.
И стихи зарождаются в белом пространстве листа.

СТАРУШЕЧКА

Уже и здесь, округу подминая,
Встал ультрасовременный магазин.
Она ходила, глаз не поднимая
На роскошь ослепительных витрин.
С морщинистой кошёлкой появлялась
В своём колючем шерстяном платке
И думала: не шибко-то осталось
От пенсии в потёртом гомонке;
Что этот новый мир — он ей неведом,
Он чёрств и даже страшен иногда;
И сыплет лампа одиноким светом,
И утекают годы в никуда;
А на земле, родимой и ненастной,
Всё тяжелей нести житьё-бытьё.
И улица взирала безучастно
На тихую растерянность её.

г. Кемерово

Марк ЛУЦКИЙ

СУРИКОВ

Приезжал домой дорогой тряской,
Самой длинной и таежной в мире.
И в своем далеком Красноярске
Размышлял о матушке Сибири.

Что ей уготовано судьбою?
Много ли родит она талантов?
А могучей Енисей-рекою
Проплывали сотни арестантов.

Проплывали баржи Красным Яром,
Кандалы играли в перезвоны.
Знал ли, что, влекомые кошмаром,
Проплывут Сибирью миллионы?

Что им уготовано судьбою?
Не к добру Сибирь призвала в гости.
Над жестокой Колымой-рекою
До сих пор белеют чьи-то кости.

А другие — унесла стремнина,
Поглотила разом, без боязни.
И была безмолвия картина
Пострашней его «Стрелецкой казни».

СЕНТЯБРЬ

Видна повсюду осени работа –
В лесах повисла паутинок сеть,
И кулики, хвалившие болота,
С любимых мест готовы улететь.

И бодрый ветер весел, не простужен,
Вершит роман с промокшею тропой,
И облака, заглядывая в лужи,
Как в зеркала, любуются собой.

Осина пламенеет возле дома,
Прощаясь с постаревшею листвой,
А в огороде пахнет так знакомо
Картофельною бурою ботвой.

Кружит устало желтых листьев стая,
Минорный создавая колорит,
Грядет октябрь, и роща золотая
Есенинским стихом отговорит...

г. Хайфа, Израиль.

Татьяна МАСС

ГОРОД ЖЕНЩИН

Вечером после похорон свекровь хотела забрать Патрицию с собой, но она отказалась. Домой, скорее домой, где она может броситься в постель и выплакать, наконец, тяжёлые слезы, кусая подушку. Даниель умер от обширного инфаркта в реанимации частной клиники, где она пробыла с ним всё это время, все 27 часов.

Однажды, чуть ли не на второй день их знакомства, очень смешно рассказывая о своей клаустрофобии, он серьёзно попросил ее положить ему в гроб мобильный телефон: «Если меня засунут туда по ошибке, я тебе обязательно позвоню».

Приняв это как доказательство серьёзности их отношений, Патриция нежно поцеловала его в ответ.

Даниель был литературным критиком, довольно известным в узких кругах. Его внутренние рецензии для издательств часто имели решающее значение. Они прожили вместе почти шесть лет, а теперь она вдова в тридцать четыре года. Из-за внезапности его смерти она чуть не забыла о его странной просьбе. Но почти каждый родственник Даниеля посчитал своим долгом напомнить ей об этом последнем желании покойного.

Ей было неприятно оттого, что Даниель успел рассказать об этом даже тем, кто состоял с ним в самом дальнем родстве, как будто отказывая ей в праве собственности на его тайну.

Это была её первая одинокая ночь в холодной пустой постели, когда полусон-полукошмар со слезами на ресницах не даёт благословенного забытья.

Когда Патриция, наконец, заснула, ей приснилось, что она спит и её будит резкий телефонный звонок. Она садится на постели и сонным, охрипшим от слез голосом отвечает: «Да!».

В трубке она слышит голос мужа и вдруг видит его в сером полурассвете, сидящим на краю постели спиной к ней. Он в том же костюме, в котором его похоронили вчера. Почему-то он не показывает ей своего лица, и говорить они могут лишь по телефону.

— Ты жив!? — радуется во сне Патриция.

— Я умер. Мне плохо здесь. Ты помнишь мой старый желтый портфель? Я прошу тебя, Патриция, прочти все бумаги из него.

— Я всё сделаю, не волнуйся, — начинает успокаивать его она, но он не слушает её.

— А потом ты должна решить...

— Что решить, Даниель? — не понимает она. Ей хочется, чтобы он выслушал, как ей плохо оттого, что он так рано умер, но в трубке — гробовая тишина.

Даниеля уже нет в комнате, она выбегает вслед за ним, но по всему дому на полу лишь его кровавые следы.

Патриция сразу же проснулась. Она попыталась молиться, но не смогла. Взгляд её упал на телефон и, решаясь на нечто невообразимое, она дрожащими пальцами набрала номер мужа. Заставив себя выслушать несколько длинных гудков, бросила трубку.

Ей стало страшно в своём пустом доме. Вскочив с постели, она спустилась вниз. Включила телевизор, кофеварку. Ей нужно было включать, двигаться, заполнять собою пространство, чтобы отогнать страх и ощутить реальность знакомых предметов.

Обжигаясь, она выпила чашку кофе, вторую, закурила. За окном светлело, ночь отступала. Послышался шум первых автомобилей.

Когда совсем рассвело, Патриция вошла в кабинет Даниеля, и, открыв огромный шкаф с разными рукописями и архивами, на нижней полке увидела тот самый портфель из жёлтой кожи. Она много раз натыкалась на него, помогая мужу найти какую-нибудь нужную бумагу, и он никогда не вызывал у неё особенного интереса.

Обнаружив, что портфель закрыт, и не увидев поблизости ключа, она беспомощно положила его обратно. Но, подумав о том, что ей все равно придётся каким-нибудь образом открыть его, она взломала замок маленькой отвёрткой.

С замирающим сердцем достала из жёлтой враждебной пасти потрёпанную папку и открыла её. Там было несколько толстых тетрадей и маленький фотоальбомчик. Открыв сначала его, Патриция увидела фотографии женщин (несколько лиц были ей знакомы). Некоторые из этих снимков вполне годились для порнографических журналов, и Патриция захлопнула фотоальбом, обратившись к тетрадям. Открыв первую, она прочитала: «Мой город женщин (продолжение)».

У Патриции не было терпения читать всё это с начала и по порядку. Она перелистывала страницы, выхватывая глазами куски текста:

«Обожаю грех. Он дает мне то, что не могут дать никакие праведные законы — чувство жизни...»

«Совершенно умиротворённый последним пикантным сюжетом, когда я чуть ли не на глазах у жены совершил этот самый плотский грех с её лучшей подругой, я пообещал себе стать, наконец, хорошим и честно смотреть на себя в зеркало».

И чуть ниже: «Не смог, не удержался. Опасность усиливает все ощущения».

«Ну, кто меня поймёт: я люблю свою жену или Лор?»

А вот и она сама — Лор — лучшая подруга, подруга детства. Умная, тонкая, всё понимающая женщина, одна воспитывающая своего сына после развода.

Фотографировал, наверное, сам Даниель, потому что уж очень интимно смотрела Лор в объектив. Патриция нашла всё-таки её фотографию в альбомчике Даниеля, страшась увидеть что-нибудь наподобие первых снимков. Но Лор была одета, сидела смирно, только этот взгляд любовницы, осознающей общий грех, выдавал её.

Слишком ошарашенная, чтобы что-то почувствовать, Патриция машинально перелистывала страницы, и взгляд её опять споткнулся о знакомое имя — «Мелани»:

«Я, кажется, становлюсь Казановой, чей пыл не останавливался ни перед какими священными и родственными узами, а лишь разгорался при наличии оных. Сегодня я имел возможность сравнить двух сестёр, и что ж:

Прелестна Мелани,
Патриция - дороже».

Патриция не могла поверить своим глазам! Ей понадобилось несколько раз прочитать это, чтобы этот факт вошёл в её сознание: Мелани спала с её мужем!

Мелани, Мелани, любимая младшая сестричка, которой она грела бутылочки, расчёсывала длинные шелковистые волосы и выводила гулять, гордясь её миловидной мордашкой! Патриция подняла голову, взгляд её остановился на букете желтых тюльпанов. Раскрытые до невозможности, их сочные яркие лепестки по краям уже были тронуты тлением. И Патриция вдруг затряслась от рыданий, бессильная перед нахлынувшей на нее болью.

Мелани, родная сестра Патриции, была на пять лет младше её. Патриция выпросила себе сестричку у родителей и всегда чувствовала свою ответственность за неё. Недавно Мелани вышла замуж за какого-то непонятного для Патриции парня, своего ровесника. Он носил копну свалявшихся косичек на голове и при каждом удобном случае демонстрировал свою антибуржуазность. У Патриции не было желания знакомиться с ним поближе, особенно после того, как он привёл в её дом на вечер, который Патриция устраивала в честь помолвки сестры, двух наркоманов-бродяг.

После свадьбы Мелани и её муж жили в большом доме его родителей, не имея ни средств, ни желания обзаводиться собственным хозяйством. Недавно Мелани родила ребенка, а её муж уехал с друзьями в Хорватию.

Когда Патриция приехала к сестре, было уже около десяти часов утра, но Мелани спала после бессонной ночи, а её свекровь носила на руках орущую трёхнедельную внучку.

— Твоя мама только час назад покормила тебя, а ты уже так кричишь, — растерянo успокаивала малышку нестарая ещё бабушка.

После нескольких слов соболезнования Патриции и извинений за отсутствие на вчерашних похоронах, она озабоченно пожала плечами:

— Ребёнок, по-моему, совсем голодный, придётся будить Мелани.

Патриция вслед за ней вошла в спальню сестры. Услышав плач ребенка, Мелани застонала и открыла глаза:

— Опять она орёт! Сегодня ночью я её кормила 4 раза! Патриция, посмотри мою грудь, у меня ужасно болит правый сосок, когда я кормлю!

— Покорми сначала ребёнка, — попросила её свекровь.

Мелани со стоном взяла девочку и приложила её к груди.

Патриция почувствовала, что больше не может ждать. Как только свекровь вышла из комнаты, она очень спокойно сказала сестре:

— Сегодня ночью я разбирала бумаги Даниеля и узнала, что у вас был роман?

Сморщившись от боли, которую причинял ей ребёнок, терзая твёрдыми деснами грудь, Мелани не могла ничего ответить.

— Мелани, — мягко сказала Патриция, — пойми, мне нужно, чтоб ты мне всё рассказала, иначе я не смогу больше видеть тебя.

Мелани, как заворожённая, смотрела в глаза своей старшей сестры. Она поняла её. Сглотнув от волнения, она начала:

— Вы все думали, что я сама бросила Себастьяна. А это он за неделю до свадьбы позвонил мне и сказал: «Никакой свадьбы у нас не будет». Я ответила ему: «Нет проблем, я и сама хотела тебе это предложить», — но у меня было такое чувство, будто на голову

мне вылили ведро ледяной воды. Я как будто умерла тогда. Ничего не чувствовала — обожгла руку, а никакой боли не было. Я уходила по утрам из дому, лишь бы не позвонить ему и забредала ко всем знакомым. Однажды зашла к вам. Случайно. Ты куда-то уезжала, а Даниель работал дома. Он почувствовал моё состояние, смешил меня, тормошил, не давал покоя. Только рядом с ним я перестала думать о Себастьяне. Мы пили кофе, потом пошли в китайский ресторанчик, потом...

— Всё. Хватит!

— Прости меня, я не думала про тебя тогда! Я не могла уйти! Я ведь могла покончить с собой! Мне нужно было, чтобы хоть кто-то любил меня. Не думай, никакого кайфа не было, я вообще ничего не почувствовала...

На её крик в дверь заглянула испуганная свекровь:

— Я приготовила завтрак, спускайтесь.

— Спасибо, мы сейчас идем, — собравшись с силами, успокоила её Патриция.

От сестры Патриция поехала домой. Ей необходимо было прочесть всё, что было в дневниках Даниеля. Дома она застала приходящую домработницу и попросила её ничего не делать сегодня. Домработница сделала понимающие глаза, пытаясь скрыть свою радость. Когда она выходила, Патриция проводила её оценивающим взглядом, пытаясь понять, была ли она в том «Городе женщин»?

«Наверно, да», — терзая себя, подумала Патриция: женщина была ещё молода и при желании её можно было найти привлекательной.

Набравшись терпения, Патриция села за дневники Даниеля. Она старалась читать, как будто всё это написал чужой, совершенно незнакомый человек.

В описаниях любовных сцен не было ни смакования подробностей, ни пошлых затей. Сохраняя чувство стиля, он писал обо всём с лёгкой иронией, как будто наблюдая за происходящим со стороны. Нашла Патриция и такую запись, сделанную им незадолго до смерти: «Иногда меня раздражает «девственность» Патриции. Мне кажется, она никогда не испытывает никакого стремления к похотливым встречам и чувственным открытиям. Это что — уже святость?»

Патриция была уязвлена этим небрежным тоном, каким он написал о её верности ему. Она вспомнила одного известного футболиста, друга Даниеля, темноволосого и загорелого от вечных тренировок под открытым небом. Он был немного моложе Патриции и женат. Встречаясь, они, похоже, испытывали одинаковые вибрации, которые сотрясали их так сильно, что, несмотря на их скомканное общение, все окружающие смотрели на них, как ей казалось, с осуждением. Она переживала после таких редких встреч несколько ночей, полных нежных снов и неясного томления, и всё заканчивалось благополучно — Патриция забывала чувственного спортсмена до следующей встречи.

На ночь Патриция приняла снотворное и отключила телефон. Ей ничего не приснилось, но, проснувшись, она почувствовала в этой пустоте раннего утра — напряжённое ожидание.

Лёжа в постели, Патриция не хотела вставать и не могла больше лежать. Ей хотелось бы перестать существовать, чтобы перестала существовать и её боль. Патриция знала, что боль эта не кончится сегодня, не кончится завтра. Сколько дней и ночей придётся ей выносить эту боль, закаменев в своём одиночестве, и никто не сможет ей помочь!

В дверь позвонили и, через силу поднявшись с постели, из окна Патриция увидела машину Лор. Открыв дверь через домофон, она накинула на себя какой-то джемпер и спустилась в гостиную.

— Патриция, с тобой всё в порядке? — взволнованно спросила Лор, целуя её. — Я звонила вчера и сегодня — ты не отвечала, и я уже не знала, что подумать.

Патриция, не слушая, внимательно рассматривала её. Они всегда были похожи между собой. Только в последнее время Лор как-то вырвалась вперед, стала пикантнее, острее, словно все проблемы, которые свалились на неё, когда она развелась со своим мужем и осталась с маленьким сыном, шли ей на пользу.

— На, прочти, — протянула ей Патриция тетради Даниеля, а сама ушла в ванную. Машинально, из чувства необходимости, привела себя в порядок и вышла к Лор, прекратившую чтение при её появлении. Обе молчали.

— Патриция, — тихо начала Лор, и в её голосе Патриция уловила нотки жалости, а не вины. — Патриция, я понимаю тебя, я всё это уже пережила...

— И не смогла вынести, чтоб я осталась без этого опыта...

— Выслушай меня. Даниель был очень добрым человеком, и его любовь не была похожа на обычные ухаживания и встречи... Он очень боялся смерти и подразумевал это чувство в других. Его любовь была как

сострадание, он как будто старался компенсировать ею все потери и боль, которую нам приходится испытывать в жизни.

Патриция застонала от боли, закрыв лицо руками. Ей было невыносимо слышать признания другой, в которых были отголоски её собственных ощущений.

— Патриция, если бы ты знала, как я была наказана! Из-за того, что я не смогла расстаться с тобой, я вынесла все по полной программе — и муки ревности, и муки совести.

— Как ты могла? — почти не слушая её, Патриция пыталась выразить своё ощущение абсурдности происшедшего.

— Я не смогла выстоять. Это было сильнее меня. Меня просто, как щепку, закрутило и понесло. Ты себе такого никогда ничего не представляла? Хотя бы в самых тайных мыслях?

— Нет.

— Это потому, что у тебя был Даниель. Если бы ты была одна, как я, всегда одна — и днём и ночью, ты бы тоже не устояла.

— Неужели больше нет таких понятий, как чистота, верность?! — Патриция задыхалась от волнения. — Ты предала меня, а теперь жалеешь меня и пытаешься всё красиво оформить. Так можно объяснить всё на свете! Уходи!

Лор вышла, потом вернулась, поняв, что нельзя оставить Патрицию в таком состоянии: бледную, с дрожащими руками, на грани срыва.

Она подошла к Патриции, прикоснулась к её плечу:

— Прости меня и прости его...

— Не могу. Простить — это значит согласиться, что всё было правильно!

— Простить — это значит отпустить, — тихо возразила Лор. — Хочешь, вместе поедем сейчас к священнику?

— Я уже была. Вчера.

— И что он тебе сказал?

— Он сказал, что его душа сейчас томится. Пусть томится, моя душа тоже сейчас томится. Мне всё больно — слышать его имя, видеть тебя, сестру, даже женщин на улице, которых он, наверное, тоже трахал! Я всех вас ненавижу! Вы разорвали меня на клочки! Меня больше нет!

Лор пробыла ещё некоторое время у Патриции, пока не поняла, наконец, что именно её присутствие причиняет той такие страдания.

Оставшись одна, Патриция почувствовала некоторое облегчение. Приготовив себе кофе, она засмотрелась в окно на зеленеющие деревья. И вдруг, в одно мгновенье она поняла, что ей нужно сделать: выбросить из своего дома, из своей жизни всё, что связано с именем Даниеля и постараться забыть его как можно скорее. Ради этого она готова даже продать их новый дом, уехать в другой город или даже страну и начать всё заново.

Кое-как допив свою чашку кофе и не притронувшись к сэндвичу, она взбежала наверх и стала бросать в огромный кожаный чемодан, который еще хранил запах туалетной воды мужа, его костюмы, галстуки, трусы, джинсы, вытаскивая всё это из общего шкафа. Из ванной принесла его бритву, зубную щётку и даже пасту, которой он ещё успел почистить зубы. В кабинете она застыла на несколько мгновений перед его детскими фотографиями: даже у двенадцатилетнего Даниеля уже был этот взгляд — полуулыбка-полуобещание выведать у жизни все её секреты. И всегда он в центре. На каждой фотографии.

Патриция поняла, что сейчас нельзя расслабляться и, быстро убрав все альбомы, рукописи и кассеты в коробку, она пошла одеваться.

Перетащив в машину все чемоданы, сумки и саквояжи, Патриция принесла тот самый жёлтый портфель, держа его в стороне от себя, чтобы не прикоснуться лишний раз к его отвратительному боку.

Подъехав к дому матери Даниеля, она открыла своим ключом входную дверь и затащила в прихожую все вещи, привезённые из дому, оставив их прямо на полу.

Она не знала ещё, как объяснит его матери все это. Не было сил что-то придумывать и невозможно было открыть правду. Для всех родственников они были идеальной парой.

Вернувшись в машину, Патриция посидела несколько мгновений неподвижно. От страха перед задуманным у неё замирало сердце, но зато она не ощущала никакой боли. Она решительно нажала на стартер.

Подъехав к кладбищу, она оставила машину на платной стоянке и, взяв с собой жёлтый портфель, пошла по дорожкам, посыпанным мелким гравием.

Вечерело, шёл легкий весенний дождь, который лишь немного смачивал гравий и цветы на могилах. Остро пахло весной, и Патриция чуть не разрыдалась — этот запах всегда напоминал ей начало их отношений с Даниелем. Успокаивая себя тем, что скоро всё это кончится — эта ревность, эта мука, эта боль, она почти бегом подбежала к небольшому

семейному склепу, в котором уже почти сто лет хоронили предков её мужа, и в котором уже лежал он сам, как-то сказавший ей на этом месте у входа:

— Я вижу, Патриция, как я умер и лежу здесь в полированном ящике, а ты идёшь ко мне с жёлтыми тюльпанами, и они так подходят к твоему черному платью.

Она потянула на себя железную тяжёлую дверь и спустилась по каменным ступеням вниз. Открыв ключом, хранящимся в специальном месте, внутреннюю дверь, она побыстрее зажгла свет, который загорелся в маленьких настенных светильниках, не освещая всего помещения.

У гроба мужа она увидела свежие цветы и догадалась, что это его мать приходила к нему сегодня.

Подойдя к гробу, Патриция достала из кармана приготовленную заранее отвёртку и начала откручивать шурупы, которыми была привинчена крышка. Это, к её удивлению, оказалось совсем не трудным делом, и минут через десять она достала последний из них. Прежде чем открыть крышку, она прислушалась — ей показалось, что Даниель пошевелился в гробу. Животный страх пронзил всё её существо, но она подавила острое желание убежать отсюда, помня о боли, которая ждала её наверху.

Постояв с минуту и собравшись с силами, она сдвинула тяжёлую крышку, и та неожиданно съехала на пол, отчего по склепу пошло гулкое эхо. Быстро посмотрев на желтое заострившееся лицо Даниеля, она достала из его кармана холодный телефон. На это ушли её последние силы. Патрицию бил озноб. Преодолевая себя, она произнесла:

— Я принесла тебе твой «Город женщин».

Придуманная заранее фраза прозвучала гулко и ирреально. Патриция перестала владеть ситуацией, как актриса, провалившая свою роль на сцене. Она опустилась на каменную скамейку у гроба, внимательно всматриваясь в лицо Даниеля. Увидев на скуле темный затвердевший синяк, она вспомнила тот ужасный день, когда он ушёл утром из дома, свежий и радостный, а через час ей позвонили из издательства и сообщили, что он попал в автокатастрофу. Его «ситроен» с разбитыми стёклами стоял у сломанного дерева на обочине. Вначале все были уверены, что его тяжёлое состояние — результат травмы. Кто-то из его коллег уверял, что собственными глазами видел нарушителя-пешехода, из-за которого Даниель резко свернул на обочину.

Но оказалось, что причина происшедшего — обширный инфаркт, который произошёл с Даниелем за рулем. И виновных в его смерти искать не пришлось.

Даниель лежал, как его и положили, и в этом смиренном покое его рук с потемневшими ногтями и головы на неудобной подушке было уже мало от настоящего Даниеля.

Только сейчас Патриция почувствовала вполне, что уже никогда не повторится её жизнь с ним, и это открытие было таким сильным, что её ревность совершенно исчезла. И что могла значить эта ревность по сравнению с той тайной, на краю которой она сейчас находилась? В одно мгновение Патриции показалось, что она сейчас всё поймет, что ей откроется, но только тишина с электрическим гудением ламп была ей ответом. Она заплакала так горько, упав лицом на его руки, как не плакала еще никогда в жизни...

Когда Патриция вышла наружу, было уже совсем темно. Она шла и твердила почему-то одну фразу, которая как открытие пришла к ней: «Он искал любовь, он искал любовь».

Нашёл ли хоть несколько мгновений этой любви её бедный муж при жизни, не знала, но только теперь она его поняла. И простила.

Пробираясь домой под огромным весенним небом, усыпанном звездами, она уже была свободна.

Франция

Мария СКРЯГИНА

ТАЙНА СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЫ

Туманы, туманы, волглые травы... Их вкус она знала с детства, может, с самого рождения, вкус горьковатый, немного тревожный, осенний. Скотоводы нашли ее тогда в траве. Маленький сверток, укутанный в мех, неизвестно, сколько пролежавший на холодной земле. Травы и небо — огромное, глазастое, дрожащее, так и остались её жизнью, её настоящею жизнью.

Девочку обнаружили на рассвете, и маленькое лицо было в каплях от тумана. Лошадь с наездником, шедшая ровным шагом, уткнулась тёплым влажноватым носом во что-то беззвучное, но живое. Лошадиный запах она тоже запомнит на всю жизнь. Запах добрый и беззлобный. Лошадь облизала ей лицо, странное лицо — белое, с нездешними чертами, заржала призывно, словно нашла жеребёнка. Наездник спустился, взглянул — белолицый человечек с раскрытыми синими глазами. Удивился. Брёл сквозь утреннюю пелену и наткнулся на ребёнка. Чужого, ребёнка чужаков, это он сразу увидел, почуял. Но комочек беззащитный взял.

Тогда же, на рассвете, в их дом пришла старуха-шаманка. Развернула сверток, долго рассматривала девочку, потом велела всем выйти и они, сквозь шкуры, слышали её бормотание, причудливые звуки и пение. Шаманка сказала, что ребёнок — дар духов, велела его беречь, потом усмехнулась сама себе: «Хотя, если до сих пор не пропала, то и потом выживет». «Только знайте, это не ваш ребёнок. Это ребёнок духов», — повторила она строго, оставила на шее у девочки амулет из бусин и ушла.

Приёмная мать сначала боялась, что девочка немая, она не плакала, не издавала звуков, лежала, вытаращив синие глаза. Потом захныкала, смешно, недовольно, и Кыдым поспешила согреть молока, чтобы накормить ребёнка. Младший сын, едва научившийся ходить, уцепился за её юбку. Старший смотрел со стороны, не совсем понимая, что происходит, пока Кертек, положив руку ему на плечо, не сказал: «Чего боишься? Это твоя сестра».

Девочка оказалась слабенькой, и Кыдым старательно выхаживала её. Ничем она не отличалась от её собственных детей, разве что белой кожей да синими глазами, также тянула к ней ручки, также любила спать, уткнувшись матери в плечо, также забавно что-то бормотала по-детски, также училась ходить. Шли дни, и Кыдым уже казалось, что это её настоящая дочь, что не было никакого свертка в тумане, что просто пришёл день, и девочка родилась. «Как назовем её, Кертек?» «Назовем Алай».

Была осень. Алай жила с пастухами уже восемь лет. Кертек и Кыдым были людьми тихими, добрыми, много трудились. Отец мастерил ей игрушки, сочинял сказки, вместе они возились с лошадьми. Почему он так любил эту синеглазую девочку, Кертек не знал. Он до сих пор помнил то странное, смешанное чувство умиления, обретения и непонимания, когда нашёл её в траве. Что это было? Знак свыше, подарок богов, знак ему оттуда, с небесных пастбищ, может, от сестры, маленькой девочкой упавшей с обрыва, может, от матери, умершей при родах? Дар этих смертей, так поразивших его в детстве. Всё бродил он, всё сидел у ночных поднебесных костров, всё надеялся, что родные отзовутся с неба, дадут знак, не оставят его. Но время шло, шла его жизнь, неспешная, неторопливая, однообразная, приходили и уходили лошади, появилась молчаливая Кыдым, родившая ему двоих сыновей. Росли дети, приходили и уходили лошади, зажигались и гасли костры, а Кертек ждал чего-то, грызя соломинки и поглядывая наверх, пока однажды не нашёл Алай у себя под ногами.

Он был уверен, что это ответ на его ожидания, пускай странный, но знак. Он часто разглядывал её, наблюдал, замечал всё необычное, думал, чем порадовать. Алай была теплой, радостной, иногда уходила в себя, подолгу молчала, но заключалось в этой ти-

шине такое спокойствие, такая доброта, что даже молчать приятно было рядом с ней.

Кертек иногда брал её с собой на пастбища, и Алай это нравилось больше всего. Травы, небо и лошади. Алай могла обнять кобылу за ноги и стоять так долго-долго, словно слушая безмолвный лошадиный рассказ. А лошадь уткнется ей носом в голову и лишь прядет ушами. Отец только умилялся, не зря прозвал ее Жеребёнком еще с того дня, как услышал удивлённое ржание во мгле.

Однажды на пастбище под утро, сквозь сон, Кертек услышал навязчивый повторяющийся звук, звук лошадиной тревоги. Лошади боялись, и он даже знал, кого. Где-то поблизости бродил злой и опасный зверь. Кертек огляделся, а дочери не было. Выскочил из шалаша и отпрянул — Алай стояла рядом с волками, пятеро серых, ощерившихся морд, десять внимательных рубиновых глаз. А она стояла и будто не пускала их, Кертек бросился к ней, и в ту же секунду волки развернулись и ушли. И он даже не понял — на самом ли деле это были звери, или ему почудились их зловещие тени в утреннем, сизом тумане.

Потом он вспоминал, как однажды свежевал овцу, как, сосредоточившись на работе, не услышал шагов за спиной, не заметил, как подошла Алай и стала смотреть на кровавое месиво у него под руками, где шкуры, кишки, мясо, недавно еще живое, тихое, смирное создание. Он оглянулся, с ножом в испачканной кровью руке и увидел, что Алай рвёт. Сердце улетело куда-то вниз, так нехорошо ему стало, что он, как разъярённый зверь, стал звать Кыдым и ругать её последними словами: «Ты что, спишь? Чем занимаешься? А ну, забери ребёнка!». Быстрым шагом пришла испуганная жена, увела Алай. Уже уходя, дочь обернулась, и в её глазах Кертек увидел неподдельный ужас. Она была маленькая, пяти лет, и он не смог ей ничего объяснить, даже не знал, как.

А ещё она была с ним на своей первой охоте. Этого ни он, ни она не забудут никогда.

Пронзённое стрелой, существо трепыхалось от боли, билось, кричало всем своим нутром, молило о жизни, задыхаясь, захлёбываясь кровью. Все это вдруг навалилось на Алай, накатило внезапно, словно она сама вылетела вместе со стрелой, разорвала чужую плоть, а потом слилась с ней. В глазах у Алай потемнело, она стала быстро проваливаться куда-то, едва успев позвать, прошептать: «Папа!». Отец оглянулся, не зная, что его зовут, и увидел, как дочь, выпустив поводья, заваливается набок и падает с лошади. Он развернул коня и, испуганный, помчался к ней.

Алай была без сознания, совсем бледная, из носа текла тонкой струйкой кровь. «Девочка моя! Ты что? Что с тобой!». Он стал отирать ей лицо холодным снегом, а она лежала, то ли живая, то ли уходящая в мир иной, белая, тихая, хрупкая девочка его, жеребёночек из тумана. Отец не знал, что делать, тряс ее, звал и когда уже решил, что она умерла, Алай открыла глаза, взглянула на него и заплакала взахлёб. Отец прижал её к себе, стал укачивать, как маленького ребенка, говорить что-то ласковое и пытаться удержать своё сильно бьющееся, испуганное сердце. Алай плакала и дрожала, перед глазами мелькали видения, яркие, четкие, Алай-стрела, Алай-птица, красные капли на белом, и Алай, получеловек-полуптица, в перьях, в крови, скрючившись, на снегу. Тело дрожало, трепетало, звенело, тело пело тетивой и пело оно от боли и страха, и Алай изо всех желала, чтобы оно замолчало. Отец, крепко подхватив девочку, посадил её с собой на коня, позвал лошадь Алай и отправился домой. Убитая птица так и осталась лежать на снегу.

Алай проспала весь день до вечера. Потом сидела молча у костра, разглядывая что-то в его пламени. Отец зашёл неслышно и наблюдал за ней. Его поразило, как осунулось у дочери лицо, стало какое-то взрослое, сосредоточенное, с некрасивой морщиной между бровей. Он всё бы отдал, чтобы эта морщина испарилась, разгладилась, чтобы синие глаза засияли, как прежде, чтобы девочка улыбнулась. Сердце его сжалось при мысли о словах шаманки, он вдруг ощутил всю тяжесть камня, что таскал на душе с того дня. Рано или поздно Алай отберут у него, у девочки из тумана своя судьба, неясно какая, но ему, он знал точно, придётся вернуться в туман уже одному.

Он присел рядом, обнял дочь. «Жеребёночек, напугала ты меня. Что с тобой, миленькая? Что случилось?». Она подняла на него свои синие глаза, и лицо её исказилось от боли: «Папа, я убила живое...». Сказала и уткнулась ему в грудь. Он почувствовал, что она плачет. «Ничего страшного, жеребёночек, ничего, это бывает. Так устроена жизнь, так устроена. Если хочешь, больше не будешь ходить на охоту. Будешь дома, не плачь, маленькая моя, только не плачь». Он уложил её спать и вышел наружу. «Надо же — «убила

живое». Он догадывался, что утром был не просто случай на охоте, там было что-то, чего он не мог понять. Белое лицо с красной извилистой ниточкой все еще стояло у него перед глазами. Он отёр лицо снегом и ушёл в ночь, к лошадям.

«Папа!» — она тихо позвала его. «Папа, не ходи на охоту. Медведь убьёт тебя». Кертек остановился. Он не был трусом и даже, зная, что это правда, все равно пошёл бы. Но он хотел понять, наконец, что такое заключено в этой девочке, которая разговаривает с волками и которая умирает вместе с убитой птицей. «Откуда тебе это известно, доченька?» — спросил он мягко. «Я видела». Он всё же собрался уйти, как вдруг Алай мёртвой хваткой вцепилась ему в руку: «Не ходи». Она посмотрела на него строго и зло, и ему так захотелось спать, что подогнулись ноги. Кертек уснул у порога, а с охоты не вернулся его соплеменник.

После он уже не ломал голову, он все понял. У него не будет дочери. Потому что у шаманов нет ни отцов, ни матерей, ведь они сами — и отец, и мать своему племени. Оставалось только смириться.

В тот день шаманка Янар сама нашла Алай. Она была очень старой, на её веку родилось и умерло множество людей, сменялись вожди, а к ней смерть всё не приходила. Она ещё держалась благодаря необычайной внутренней силе, которую черпала будто из другого мира.

— Ты ведь хочешь спросить меня о чём-то? — сказала она строго, и Алай смутилась.

— А я даже знаю, о чём. — Старуха усмехнулась. — Ты была ещё очень маленькой, но я уже видела в тебе зерно. И смотрю, это зерно прорастает и не даёт тебе покоя.

Чего же ты желаешь? Тебя манит тайна? Сила? Но что ты понимаешь в этом? Ты чувствуешь в себе волшебство, и думаешь, что владеть им легко, что оно будет на службе у тебя? Какое заблуждение...

Ты только в начале пути, и ещё можно отступить, поверь мне, можно. Ты считаешь себя неповторимой, единственной, гордишься этим, но исключительность означает одиночество. Ты одинока в своих видениях, ты одинока, когда лечишь, когда отправляешься в мир духов, когда разговариваешь с ними и просишь помощи, ты один на один со своим даром. И то ли он тебе награда, то ли проклятие. Ты не можешь быть, как все, у тебя особое положение, нельзя быть слабой, трусливой и безответственной, нельзя делать то, что хочешь, а лишь то, чего ждут от тебя. Днем ли, ночью — вставай, иди по первому зову. Нравится тебе такая судьба?

Шаман — это душа племени, его корень. И ты должна осознать себя не просто человеком, ты должна осознать себя корнем племени, который держит его на этой земле, который связывает его с небесами. Ты не есть просто Алай, ты больше, чем она. Нужно быть доброй — будешь доброй, понадобится твоя жестокость — будешь жестока. Ты готова к этому? Выдержишь?

Мне было столько же лет, сколько тебе, когда я тяжело заболела. Все думали, что умру. Меня била лихорадка, я не могла ни есть, ни спать, лежала в беспамятстве, в сплошной черноте. Потом меня стали мучить видения. Кто-то настойчиво звал меня. Он кричал то громко, казалось, лопнут барабанные перепонки, то шептал тихо, но от этих звуков хотелось бежать на край света. Так однажды я очнулась в лесу, не помню даже, как туда забрела. Увидела костёр и пошла на его свет, хотя ноги едва держали меня.

Возле костра сидели духи — страшные, причудливые животные, которые уже ждали свою жертву. Они схватили меня и стали рвать в клочья, содрали кожу, перебрали кости, вынули все внутренности. Боль была жуткая, но они не останавливались... Потом духи дали мне новое сердце, и я стала шаманкой.

— Ты рассказываешь ужасное...

— Подумай-подумай, — говорила старуха, разглядывая белое лицо с глазами цвета весеннего неба. Она знала, что всё уже решено, что не пройдёт и месяца, как у племени будет новая шаманка, но ведь нужно было сказать о главном, о том, что духи не скажут никогда?

Почему она была такой, откуда появился этот необъяснимый дар, то слабо мерцающий в ней, спокойный, изливающий серебристое лунное сияние, иногда зеленоватое свечение или охватывающий её, как болезненный жар, как огонь, Алай не знала. Сколько она себя помнила, странное ощущение незамкнутости собственного существа уже было. Были и странные вопросы, едва научившись говорить, а может быть, и мыслить, она спрашивала себя: «Кто я? Откуда? Зачем я здесь?».

Мать и отец отвечали что-то, но это было не то, глыба громадного звёздного неба скрывала иные ответы, и Алай тянула вверх шею, чтобы заглянуть за нее, чтобы преодолеть

этот порог неизвестности, пока однажды ей это не удалось, и чернота не разверзлась, пока не открылась Земля. Алай словно вспорола небесный шов и через небо увидела землю. А Земля была огромна — Алай чувствовала это сквозь расстояния и восхищалась. Стоило внутренне замереть, сосредоточиться, как начинали проступать страны и племена, города и народы, и Алай захлёбывалась в восторге от этих впечатлений. Ей, тоненькому подростку с плато, удалось видеть то, что не мог видеть никто. Для этого не нужны были снадобья, зелья, духи и обряды, у Алай был дар, он был заключён внутри неё и над ним никто не был властен.

Алай чувствовала болезни и умела лечить руками, она знала всё о пропажах и ворах, она возвращала из страны мёртвых и разрешала споры, она сочиняла песни о своих чудесных видениях, она предсказывала погоду. И главное, она знала будущее. Народов, племени и любого человека. Кроме девушки по имени Алай.

Что уготовано для неё, ей было неведомо. Сколько времени отпущено, неясно. Что-то нужно было успеть сделать для племени, возможно, спасти кому-то жизнь, что-то изобрести, изменить. Неслучайно же она появилась в этом высокогорном уголке. Алай искала в своих видениях ключ, смысл собственного существования, но не могла найти. Возможно, она была ещё слишком далеко, а возможно, ей не дано было знать. Алай думала о своей смерти, пыталась представить её, но все было сокрыто тёмной тишиной, только обрывок, что-то жёлтое, непонятное, расплывчатое, не пускающее взгляд дальше, словно кто-то ладонью закрывает глаза, словно уберегает от того нехорошего, что можно увидеть. Алай обречённо качала головой: «Не вижу, не вижу» — и внутри у нее холодело. Она боялась смерти.

— Госпожа Алай, у нас ягнёнок должен родиться, — звали её, и она шла танцевать шаманскую пляску для одного-единственного ягнёнка, танцевать, помогать вставать на слабенькие ещё ножки, первый раз глотнуть материнского молока.

— Госпожа Алай, мы выводим овец на новое пастбище, — и Алай пела и плясала для высокогорных трав, стелющихся низким ковром, и травы внимали ей.

— Госпожа Алай, — говорил кто-то сквозь слезы, и она шла петь погребальные песни.

— Госпожа Алай, — она отзывалась и думала: «Неужели настанет время, когда человек перестанет беречь все это, когда станет без надобности убивать тысячами животных, вырубать леса, иссушать реки, вытаскивать мертвых из их усыпальниц и могил, когда перестанет бояться богов и духов, потому что просто перестанет верить в них?»

Её названный брат Улагаш был красив — грубые, мужественные черты лица и добрые, доверчивые глаза, похожие на глаза оленя, украшенные по-женски длинными ресницами. Он был высок, хорошо сложен. Еще подросток, но уже мужчина. Ради Алай он был готов на любой подвиг, на любую жертву. Чуткий, искренний заботливый, и удивительно тёплый. Это тепло, это мягкое свечение шло от него к Алай и согревало её, берегло от одиночества, окутывало нежным туманом. И Алай в свои четырнадцать не знала, что этот туман, на который так сладко отзывалось её сердце, это и есть любовь.

Тысячи зерен невидимых вдруг всколыхнулись,
Дрогнули, как одно, и начали во мне прорастать.
Ростки зеленые, такие нежные, множатся внутри,
Словно я степь, и вот уже травами, травами звенящими,
Окутана я, я шелест их, я зелень их, я шелк их.

Травы заглушали все, они стелились в ней мягким зелёным ковром, и не было ничего, кроме бурлящих соков, хрупкого шелеста, такого приятного, окутывающего, обволакивающего. Алай поддавалась, купалась, нежилась в зеленой реке, пока вдруг не осознала, что ослепла. Нет, глаза её не подводили, но то, другое, большое, сквозь время и расстояния, того не было. Зелёная река баюкала её в своих травах, накрывая её с головой, и вот уже нет Алай.

Алай лежала среди трав под звёздным небом, звёзды смотрели ей прямо в глаза, вопрошающе, призывно, с надеждой. Они не могли быть немыми, они хотели, чтобы их слышали. Шелестели травы, едва слышно, укрывая свои тайны в корнях. Там, в долине, жили люди, с которыми она была связана непонятным ей образом. Вокруг был мир, нити к которому были у неё в руках. И там же, в долине, был человек, один-единственный, который стоил всех нитей, всех путей, всех пространств. Она прижала руки к груди. Что ты делаешь, Алай? Что делаешь?

Небо нависло над ней, почти соприкасаясь с землей, Алай была словно чудесная жемчужина в раковине, сокрытая от всех. Здесь и сейчас она должна родиться заново,

единожды и навсегда. Девушка закрыла глаза. Ей почудилась песня, такая тихая, что, казалось, звучит в унисон стоявшей вокруг тишине. Голос был ласковый, слов не разобрать, они просто сливались в напевные звуки. Алай почувствовала что-то родное в этом голосе, в непонятных словах. Она любила этот голос, эту песню, она не хотела с ней расставаться.

«Пой», — сказала она в неизвестность. Такой красивой песни не слышала она никогда, в ней сплетались падающие звезды, горные вершины и холодные ручьи, щебет птиц, шепот травы, распускающиеся цветы по весне, хруст снега и кружева снежинки, ягненок, прижимающийся к матери, мяуканье рысят, эта песня обнимала собой весь мир, не забывая никакой мелочи. Алай напрягала слух, чтобы услышать хоть слово, ей так хотелось запомнить, о чём поется, не забыть бы, не забыть. И вдруг до неё донеслось ясно:

Там, где нет мира, была соткана песня
И отпущена на свободу,
Она была ветром, она была птицей,
Она искала одну-единственную дорогу:
Она искала сердце, из которого литься.
Там, где мир спрятан горами,
Между травами и небесами,
Она нашла уста,
В которых стала словами.

Ты, моя песня, данная свыше,
Ты началась, когда меня не было.
Ты закончишься, когда меня не будет.
Ты звучишь из сердца моего,
Ты поводырь между землей и небом,
Ты отводишь беды,
Ты спасаешь от смерти,
Ты зовешь за собой и знаешь ответ,
Как рождаются звезды, травы и люди.
Ты оберег земли моей, людей моих.
Сердце будет оплакивать жертву мою,
Но я тебя слышу и отныне пою.

«Мой голос», — она улыбнулась. «Мой голос и моя песня»

Как предать любимого человека, как солгать и быть жестокой? Внезапно Алай пронзила сильная боль, от которой хотелось согнуться, лечь на траву и лежать, не вставая. Страдания её брата, её собственная тоска и отчаяние слились воедино. Что ж, Алай, пришло время жертвоприношений. Вымолить бесчувствие, когда твоя способность — чувствовать. «Я бы никогда не предала тебя, я бы любила тебя вечно, я...»

Но губы должны вымолвить иное, то, что навсегда изменит их жизнь.

— Я хочу подарить тебе амулет, — она протянула ему золотую фигурку оленя с головой грифона. — Где бы ты ни был, он убережёт тебя в самые трудные минуты. — Улагаш шагнул к ней, хотел обнять, но Алай сказала властно и холодно:

— Прежде выслушай меня. Сегодня духи говорили со мной, тебе предстоит долгая дорога. Ты не можешь остаться с племенем, ты должен уйти. Твой путь лежит на запад, в войска скифского князя.

— Что ты говоришь, Алай? Любимая моя, почему ты отсылаешь меня?

— Это воля духов, я не в силах что-либо изменить.

— Если так, пойдём со мною, Алай. Мы не можем разлучиться. — Он ещё до конца не верил, что всё происходит всерьез.

— Ты уйдёшь один. А я останусь. Я принадлежу духам и племени, моя судьба — служить им.

— Что за твари, эти духи? Где они? Я не вижу их!

— Прощай, Улагаш.

— Где они, скажи? Почему они имеют такую власть над тобою?

— Духи повсюду. Они говорят мне, чтобы ты уходил. Твоя жизнь не здесь. Не я — твоя жизнь. — В её руках был холод, почти лед. Она вложила ещё немного ненависти в его сердце и почувствовала, что всё кончено. Он не простит. Никогда.

— Тогда оставайся с духами, ведьма. — Он развернулся, чтобы уйти. И бросил в темноту:

— Я не думал, что *ты* предашь меня. Лучше бы подарила мне смерть...

Когда Улагаш ушёл, она заплакала. Одиночество отныне будет её вечной участью. Больше никто из людей не подойдёт ближе, чем он. Никто. Алай плакала, размазывая синюю ритуальную краску по щекам. Потом закричала в небо злые слова, но небо не отозвалось, духи безмолвствовали. Люди грелись вокруг костров, с любимыми, с семьями, разговаривали, смеялись и только Алай, молодая шаманка, сидела одна посреди плато, раскачивалась и пела заклинания, заклинания о себе самой, которым не суждено было подействовать. «Мы ещё будем вместе», — всхлипывала Алай, но это не утешало её, знающую всё наперёд. Такого будущего она не хотела, но лавина жизни не спрашивала о её желаниях, все для неё было предуготовлено, только Алай не знала, кем и когда.

К двадцати годам она почиталась как сильнейшая шаманка среди окружающих племен. Её авторитет был непререкаем — она знала и умела то, что другим шаманам было не под силу. Вожди одаривали её самыми красивыми одеждами и украшениями, ей жертвовали самых лучших ягнят и лошадей, а весной двадцать первого года её жизни Алай была татуирована. Обе руки, от плеч до кистей, украсили изображения удивительных животных.

Олень с клювом грифона, рогами оленя и козерога — на левом плече. Ниже — баран с закинутой назад головой, у его ног — пятнистый барс с длинным закрученным хвостом. Под барсом — зверь с когтистыми лапами, хвостом тигра, туловищем оленя и головой грифона. Возможно, то были именно духи, пришедшее когда-то за прежней шаманкой племени и поменявшими ей обычное человеческое сердце на железное. Алай не знала — она никогда не видела их, но сейчас таинственные существа из другого мира были призваны ей в помощь. И это должен был видеть каждый.

И все же, несмотря на оказанные ей почести и уважение соплеменников, Алай понимала — она не всемогуща и не всеведуща, её знаниям были положены пределы, и, как ни стремилась она преступить их, ничего не получалось.

«Человек так мал в размерах не то, что Вселенной, он мелок для планеты, для её масштабов, её истории. Что значит человеческая жизнь, в чем её суть? Для чего люди рождаются и умирают? Песчинки, песчинки и ничего более, так кажется иногда. Чем уникален каждый из нас, старуха Болган или младенец Уюль?»

Алай часто исподтишка разглядывала людей своего племени, прогуливаясь, проходя мимо, сидя около жилищ, она знала про них многое, но в то же время они были загадочны, как ничто иное в мире. Они родились в это время, в этом месте. У них была определённая внешность и черты характера. Судьбы их переплетались самым странным образом —если бы Кертек выбрал не Кыдым, не родился бы Улагаш, да и сама Алай, была бы она найдена под копытами коня?

Или животные. Алай брала в руки маленькое существо, которое послушно замирало в её руках, только сквозь шкурку чувствовалось неистовое биение сердца. В этом сердечке, крохотном, дрожащем, и была самая большая тайна. «Кто завёл его? Для чего оно бьётся? Как осознаёт себя это создание? Что у него за мысли и есть ли душа? Непонятно было и тяготение животных к человеку, например, лошадей. Что им человек? Почему они живут рядом, даже если люди бывают жестоки по отношению к ним? Приручены, но что это значит? Почему любят эти руки? Жизнь, жизнь, она такая разная и такая хрупкая».

Их племя жило в красивом месте — на высокогорном плато, в междуречье двух рек, в небольшой долине с прижатыми к земле травами и кустарником. Странное сочетание — горы и степь. Словно земля подняла ладонь к небу, чтобы оттуда кто-то мог лучше видеть свое творение. Иногда Алай казалось, что она дышит здесь не воздухом, а вечностью, тем, что не имеет ни начала, ни конца.

Быстрокрылые птицы небесные поднимались ввысь, и Алай часто устремлялась за ними в бездонную синеву и сама становилась птицей. Холодный ветер, чувство разрывающей на части свободы, и там внизу — земля, её земля, белоснежная, изумрудная, цветущая, медно-золочёная, увядающая, но всегда прекрасная. Тогда сердце Алай преисполнялось нежности, и она давала клятву то ли себе, то ли небу:

— Никогда не предавай свою землю. Что бы ни было — защищай, бейся, умирай, но не сдавайся, не оставляй то, что дороже всего.

Какая-то весть летела издалека, весть, важная именно для нее, Алай. *Он* возвращается. Все эти годы Алай хранила Улагаша от смерти, посылала ему вещие сны и добрые знаки. А ещё поддерживала в нём огонёк обиды, который тлел, жёг и не давал ему вернуться. Но потом огонь погас. Человек умеет прощать. И в своем прощении может быть сильным и великодушным, как никто. Алай уже не смогла пробиться к чужому сердцу, заставить его обижаться или ненавидеть, потому что сердце стало твёрдым в своей любви и доброте.

Там, за многие дни пути, у спешащего человека билась в голове только одна мысль. Улагаш, не сведущий в предсказаниях, лучше её самой знал, что вернётся к ней, отберёт её у духов, отнимет силой. Он не боится. Всё его существо было подчинено одной цели, как когда-то сбежать от неё, так теперь во что бы то ни стало вернуться. К Алай, к Жеребёночку из тумана. Он сжимал в руках амулет с щербинкой у оленя в подбрюшье, и эта щербинка была ему дороже всего на свете.

Когда утром её позвали в посёлок, она ничего не предчувствовала. Не уловила странного во взгляде девушки, что пришла за ней. И только когда увидела знакомый дом, сердце дрогнуло и покатилось вниз. Отец лежал на войлочной подкладке, укрытый мехом. Мать стояла рядом, печальная и потерянная.

— Жеребёночек, отец умирает... — Нет, ни за что. Этого не могло быть, потому что не могло быть. Это сон, дурной сон, одно из её видений. Алай подошла к постели, перед ней лежал совсем седой, старый человек. Сердце её сжалось на мгновение так сильно, как будто его и вовсе не было.

— Ничего не случится, мама, — она взяла Кертека за руку. Рука была холодная и слабая. Алай села на край постели, пытаясь понять, что случилось, чем болен её отец, как она может помочь ему. Она согревала его руки, она подгоняла кровь, уговаривая уставшее сердце биться, не останавливаться, не предавать отца.

— Отпусти меня, Жеребёночек. Просто моё время пришло. Ты сама это знаешь. Теперь моя дорога — туда. Не кори себя, ведь не ты придумала старость.

— Папа, я смогу, я сумею. Тебе только кажется, что ты умираешь. Надо прогнать болезнь, и все будет, как раньше, ты будешь сильным и молодым, будешь пасти лошадей и играть с внуками. У тебя ещё много времени, не поддавайся.

— Мое время пришло, Алай. Будет час, когда ты поймёшь, как это бывает. А сейчас отпусти меня, не трать зря силы. Прощай. — Кертек закрыл глаза, и Кыдым в слезах бросилась оплакивать его.

Алай встала с постели. Вот как это бывает. Вот как это бывает. Одна фраза вертелась у неё в мозгу, как веретено, закручивая всё её существо в воронку. Просто умер, ушёл. Вот как это бывает. Боль о других бывала сильной, но сейчас ничто не могло сравниться с тем горем, которое охватило Алай. Завыть, как бродячий, раненый пес, выть, как волчица, потерявшая волчат, и чтобы от плача рушились горы, небо падало вниз, а звёзды уплывали по реке, сжигая всё вокруг. Завыть. Заплакать. Папа!

Всю ночь в долине бушевал ураган. Ливень был злой и холодный. Алай сидела в своем убежище, смотря на пламя костра, и тихие слёзы текли по её лицу. Она не понимала, кто и для чего так устроил мир.

В ту ночь ей был сон, страшный и правдивый. Будто вечером далекий голос звал её, и она вышла на пустынное плато. Серебристо-синий воздух неслышно висел вокруг. Далекий голос умолк. И в то же мгновение ветер сорвал сумерки с земли и унёс в небо, где они заклубились, как в пыльной буре, невообразимый грохот, как будто горы сталкивались между собой, заложил уши, ничто не стояло на месте, всё двигалось, гудело, неслось, и лишь посреди плато стояла Алай, тоненькая, маленькая фигурка. Ураган рвал её одежду на части, ураган пытался унести её, но не мог, потому что Алай держал корень, уходивший глубоко в землю, и что бы ни случилось, земля держала её крепче крепкого, как мать дитя. Потом ветер стих, и Алай услышала голос прямо у себя за спиной.

— Я здесь, — сказал голос, и от него пошли мурашки по телу, и задрожали руки, но когда Алай собралась повернуться и ответить, она проснулась. «Значит, вот как это будет». Неотвратимое надвигалось, и оставалось совсем мало времени.

Человек выступил из тьмы неслышно, появился из ниоткуда, словно вырос из границы между светом от костра и окружающей ночью. Алай ждала его прихода, но всё же вздрогнула.

— Приветствую тебя, госпожа Алай! Знаешь ли ты, зачем я здесь?

— Да, вождь.

— И что же ты мне ответишь?

— Это мой народ, и хочешь ли ты того или нет, я не отдам его тебе. Там, откуда ты пришёл, все можно решить силой, не так ли? Вас взрастили как воинов, и вы не знаете другой жизни, кроме войны. Но мой народ не таков, это племя жизни, для нас главное — жизнь, даже умирая, мы просто переправляемся на небесные пастбища. И чего же ты хочешь? Прийти, убить, подчинить? Лишить свободы?

— Ты очень высокомерна. Даже для шаманки.

— Я знаю цену своему высокомерию. Ты хочешь эту землю, но не знаешь, как подступиться. Твой злой голос говорит тебе: «Убивай, грабь, хватай, властвуй!». Но другой голос, у тебя в голове, шепчет: «Не трогай». Это мой голос. Я никогда не пущу тебя сюда, пока ты не сменишь намерения, пока ты не поймёшь, что нам нужен только мир.

— Думаешь, что сильна? Слишком дерзко говоришь. Я бывал в таких битвах, где оружие плавилось от ярости, я был так изранен,

что живого места не оставалось на теле, но видишь, я жив. А ты хочешь испугать меня шаманскими россказнями! На всякое оружие найдётся другое оружие. — Он поднял глаза, и в них засверкала тьма. — Берегись, ведьма!

— Убирайся прочь! — Сноп искр взвился в воздух и окатил чужака. Тот даже не шевельнулся. Медленно встал, и, уходя в черноту, бросил:

— Ещё не встанет солнце, а всё здесь будет моим.

Вождь пришёл немедля. Он сел к костру, суровый, сосредоточенный человек, старше Алай всего на несколько лет. В его лице, озаряемом огнем, перед Алай промелькнули сотни лиц вождей племени, прошлых и будущих. Потом они исчезли, и осталось только одно лицо, с упрямо сомкнутыми губами.

Алай на мгновение залюбовалась. Она восхищалась им, как воином, восхищалась тем, чего ей не было дано — ни силы, ни мужественности, ни жестокости, ни умения владеть боевым мечом, ни отчаянной храбрости при встрече с врагом. Перед ней же был мужчина, который защитит свой народ ценою жизни.

— Эркат, сегодня ночью я должна буду одолеть врага, с которым ещё никогда не сталкивалась. Он обладает редкостной силой и очень жесток. Не знаю, сумею ли справиться. Но что бы ни случилось, ты, Эркат, должен будешь убить вождя. Духи будут благоволить тебе. Тогда его брат станет во главе чужеземцев. Он человек с холодным сердцем, расчётливый, спокойный, он не станет воевать, вы сумеете договориться. Не жалей золота во искупление смерти старшего. Ты понял меня?

— Зачем тебе сражаться с ним? Я сам убью его.

— Так нужно, Эркат. — «Так нужно, потому что если я не одолею его, он зальёт здесь все кровью. И первым, кого он убьёт, будешь ты, молодой вождь».

Алай проводила князя. Приближалась середина ночи, и нужно было собираться в мир между небом и землей, мир, куда не дано попасть простому смертному, где живут духи и бродят шаманы. Главным было не думать о предстоящем, иначе можно испугаться и всё сорвать.

Алай постояла несколько минут под созвездиями, такими яркими и громадными ранней весной, вдохнула холодный воздух. Она плохо видела будущее, всё было непонятными обрывками: мать держит в руках жёлтую ткань, рассыпавшаяся синяя краска, бронзовое зеркало, ржание лошадей, тихое пение. И запах сухой травы, приятный, горько-сладкий, родной. «Всё будет хорошо!» выкрикнула она в небо, улыбаясь кому-то далёкому. Алай вернулась к себе, легла на кровать, укрытую мягкими шкурами и погрузилась в сон.

Проснувшись, она обнаружила себя свернувшейся в клубок на пожухшей осенней листве. Это был чужой незнакомый лес. Было тихо, пустынно и от того тревожно. Потом раздался рык зверя и звук приближающегося большого животного, шуршали листья, трещали ветки, сжималось сердце. «Почему духи не дали мне другого — железного, которое бы не боялось?» успела подумать Алай и схватила медведя за передние лапы. Медведь попытался вырваться, но хватка Алай была сильна, в этом мире она могла побороть такого зверя. Он был большим, но и она превратилась в великаншу. Медведь ревел и обливался слюной, от него пахло густым животным запахом. Алай не давала ему вырваться. Они так и стояли — громадный, почти черный медведь и высокая женская фигура. «Прочь!» закричала она ему и оттолкнула. Медведь отошёл назад, но тут же напустился снова.

Он увеличился в размерах, и рычанье его громыхало по всему лесу. Алай знала, что силы ещё есть, и она тоже может расти. Вновь схватка, вновь медвежьи лапы в замке девичьих рук с надувшимися жилами. Вдруг медведь дернулся и опрокинул её на землю. Алай почувствовала сильную боль во всём теле и, особенно, удар головой. Она судорожно вдохнула воздух, пахнуло прелым листом. Медведь висел над ней черной тушей, и ей казалось, что он усмехается. Слюна из его пасти капала ей на лоб. Нужно было подрасти, ещё чуть-чуть, чтобы отбросить его. Алай собрала последние силы, она уже едва могла двигаться и дышать. Потом сделала рывок, медведь скатился с неё, Алай сжала руками его толстую шею. Раздался хруст. Девушка с плато все-таки победила медведя. В следующую секунду её охватила небывалая слабость, она почувствовала, как сейчас внутри разорвётся сердце, переполненное кровью.

«Может, я просто хотела жить. Но возможно ли это — просто жить? Даже обладая многими знаниями, имея в руках бесчисленные нити, ведущие к разгадкам, я не сумела ничего понять. Я была включена в мироздание, как бывает включена в него гора, я была чем-то, но не знала, с какой целью. Я чувствовала

что-то нездешнее, высшее, я бывала почти рядом, но всегда какая-то грань не давала мне идти дальше. Вот и сейчас, не знаю, что будет дальше. Конец ли это?»

«Не я тебя родила, но я тебя хороню, я отправляю тебя на небесные пастбища, я обряжаю тебя, как невесту, спи, Жеребёночек, ты проснёшься уже там, на небе, и встретишь своего отца, которого так любила», — Кыдым пришла к умершей дочери, когда тело уже было подготовлено к погребению.

Следуя похоронному обряду, из тела шаманки вынули внутренности и заполнили его сухой травой, корешками, овечьей шерстью, лошадиным волосом и земляной смесью. Кожу покрыли снадобьем из ртути. Теперь её тело могло сохраняться длительное время, и Алай была не страшна долгая дорога до небесных пастбищ.

Эркат вспоминал, как рано утром пришёл к ней в дом, чтобы сказать о смерти вождя чужаков. Он смотрел на светлолицую спящую женщину, пока не понял, что она умерла. Он всё ещё не верил, думал, что она очнётся, даже позвал её:

— Госпожа Алай! Госпожа Алай! — потом дотронулся до ледяной руки и заплакал.

Он сам выбрал лошадей, с которыми шаманке следовало отправиться в путешествие. Это были самые лучшие и надёжные кони, и он знал — они не подведут. Шестеро коней были убиты и уложены на дно могильной ямы. Туда же Кыдым поставила посуду с пищей и кувшины с водой. В последний раз взглянула на Алай.

Вот она лежит тихая, недвижимая, в нарядной желтой рубашке из шелка, в краснобелой юбке из тончайшей шерсти, в золотых серьгах и украшениях, в амулетах, одетая, словно на праздник. На обритой голове — высокое, замысловатое украшение из её собственных волос, конского волоса, войлока, шерсти и дерева, с фигурками золотых оленей и золочёных птиц. Птицы, знающие тайные пути, скоро взмахнут крыльями и укажут верное направление своей госпоже. «Доброй дороги тебе, Алай!»

Её останки были обнаружены в деревянном срубе из лиственницы на дне могильной ямы, заполненной льдом. Женщина лежала в позе спящей на правом боку, со слегка согнутыми в коленях ногами и скрещёнными на животе руками. Она была укрыта меховым покрывалом с узорами из золотой фольги.

Археологи из Северо-Азиатской экспедиции не могли поверить своим глазам — тело молодой женщины было в прекрасном состоянии, хотя пролежало во льду две с половиной тысячи лет. Возможно, могила женщины сохранилась благодаря тому, что над основным погребением в деревянном гробу располагались останки мужчины.

В его могиле был найден боевой чекан и золотой амулет в виде оленя с головой грифона. Там же были захоронены три коня. Видимо, верхнее погребение было ограблено, а усыпальница женщины уцелела. Мумия «алтайской принцессы» была одной из важнейших находок экспедиции, проводившей в 1995 году исследования на высокогорном плато Укок, расположенном в пограничной зоне с Китаем, Монголией и Казахстаном. Долгое время тело спящей царевны выставлялось в разных музеях мира вместе с экспозицией, посвящённой истории и этнографии Сибири, после чего было отправлено в Новосибирск.

Моя одинокая песня,
Совсем одинокая,
Меня не было,
Когда она началась,
Меня не будет,
Когда она закончится.
Только один голос,
Знающий все,
Такой нежный,
Такой грубый,
Такой ласковый,
Такой яростный,
Голос моей жизни...

Галина ТЕРТОВА

НЕУЖЕЛИ ТАК И БУДЕТ?!

Слава Богу — Гоголь всё прав: «Нет уз святее товарищества». Добрые друзья неизвестной мне Галины Тертовой из Твери переслали мне её рассказы с просьбой «посмотреть». Сказали,что она по профессии художник и учитель.

Сочинения могли бы показаться жестокими, когда бы не покрывала всё горькая любовь к человеку. Нет-нет, повеет в повествовании и судьбе героев безумием, и подумаешь, что писатель сейчас отвернётся от них. Но, слава Богу, русское сердце всё оказывается милосерднее жизни, и даже жестокие финалы прорастут в читательском сердце спасительным состраданием.

Валентин Курбатов

СЛОВЕСНИЦА

Жила-была одна рыба. Нет. Рыба — молчаливая и в воде. Рыба тут не подходит. Жила-была одна птица. Да. Вот именно. Птица — это хорошо. И поэтично так... летает себе и горя не знает. Поет самозабвенно! А что это значит — самозабвенно? Забыв себя? Нет, тогда не подходит. Себя Татьяна Андреевна никогда не забывала. Она — самая умная — всех учила. Что? Почему птица — Татьяна Андреевна? Ну, пусть не птица. Ну пожалуйста — пусть учительница. Так вот — летает себе эта учительница, поет... Как не летают? А что же? Учат? Ну и пожалуйста — летай себе и учи. Что значит — неправдоподобно? А такое лицо учительнице иметь правдоподобно? — носик остренький, как клюв, шейку вытянет, головку гордо вздернет, руками машет — ну, точь-в-точь, как молодой гриф. Или бойкая сова. Да, точно, на сову похоже. Головкой вертит, глазками посверкивает. Над партой нависнет, думается — так и долбанет сейчас острым клювиком. Что, что? А почему же тогда про неё говорили: «Та ещё птица!». Вы меня не сбивайте. Ну, ладно, ладно... Ну, не птица. Учительница. Всё, всё. Словесница. Вот бывают соловьи, сойки, сапсаны, синицы..., а эта — словесница. Порода такая. Тем более, она и сама так представлялась — словесница, мол, и все тут. Прошу любить и жаловать.

Учительницей эта птица (тьфу ты...) Татьяна Андреевна была ни то, ни сё. Ни плохой, ни хорошей. Факультатив вела с любимчиками. А что? — хорошо. Ещё одна концертная площадка: на уроке поет — заливается и после уроков, на факультативе. На плохих учеников покрикивала, а с хорошими душу отводила. Репертуар, правда, довольно однообразный: одна песня называлась «Кирилл Андреевич», другая «Виталик». «Ах, Виталик то, Виталик сё... уж такой чудесный мальчик, каких и не сыщешь, не то, что ты, Иванов (Петров, Сидоров)!». И отличницы на факультативе вместо того, чтобы голову забивать Катериной — лучом света или лишним человеком Печориным, забивали её Виталиком — уж никак не лишним. Какой же он лишний, когда лучше его и нету?!

И вот эти бедные ученики, после окончания школы сойдутся и давай спорить до хрипоты: «Хорошая учительница Татьяна Андреевна! Нет, плохая! Нет хорошая! Нет плохая!». Уж ночь на дворе, шампанское на столе киснет, а они всё горло дерут. До драки другой раз доходило!

Деток Татьяна Андреевна не помнила ни в лицо, ни по фамилиям. И уж тем более их родителей. И встречая на улице какую-нибудь мамашу, радостно бросавшуюся к Татьяне Андреевне похвастаться успехами своего чада, дипломатично выходила их положения, спрашивая одно и то же: «Ну, как ваша деточка?». Это годилось на все случаи: и если деточка окажется Петей Ивановым, и если Машей Петровой... Оказывалось, что деточка служит в армии или, наоборот, замуж вышла.

Однажды трое этих деточек-пятиклассников удумали Татьяну Андреевну на дому навестить. Школы им мало! Адрес где-то узнали, ботинки начистили и с букетом припёрлись. На площадке стоят, на звонок жмут,

лыбятся, лепесточки расправляют. Татьяна Андреевна тихонько к двери подошла, в глазок глянула и на цыпочках в свою комнатку прошмыгнула — нету меня. Ни покою, ни отдыху! В школе с ними майся, ещё и дома достают. А вечер уж на отдых распланирован: у телевизора чайку попить да с приятной книжечкой подремать... Деточки уныло помялись и под окна пошли. Ба! Да в окнах-то свет! Дома! Нет. Опять никто не открывает. Уж волноваться стали — не случилось ли чего? Уж не милицию ли звать? Часа полтора, сволочи, названивали. Уж лучше бы сразу открыла, весь вечер — коту под хвост, все нервы до горла подняли.

Татьяна Андреевна Достоевского любила. А спроси — чего она там любила? А вот одну эту фразу: «Широк человек, я бы обузил!». Это она на себя всё переводила — широту души-то. А и то правда — натура широкая, чего только нет: скупая до жадности, эгоистичная, хвастливая и злобно-завистливая. Комплексы, как у подростка. На детях отыгрывалась. Дотошный ученик въедливо спрашивает: «Как Манилова звали?». А она и не помнит... Ну, на кой тебе его имя? Нет, надо учителя опозорить! Ух, ненавижу прямо!

Ну, что — не бывает?! Да сплошь и рядом. Особо только вдумываться никому не охота — учитель ведь не человек. Не ест, не пьет и в туалет не ходит. В школе живёт, вечерами в учительской тетрадки проверяет. А может, и вовсе — директор на ночь их в лаборантской кабинета физики складирует, а утром железным ключиком заводит их жёсткие, железные сердца... Всё может быть.

А Маяковского не любила. И вот особенно Горького — прям до тошноты. И нечего там читать. Вот лучше послушайте, какое мне письмо Виталик из армии прислал! Виталик Некрасова любит. Всё! Все читаем Некрасова! Не нравится? Ну, это ты, детка, мало понимаешь! Виталик сказал — всё! Не обсуждается.

Или вот ещё — Камю. «Какой Ваш любимый писатель?». Татьяна Андреевна ротик куриной гузкой сложит — Камю. Ка-м-м-ю-ю. «А какое произведение?». «А мне у него всё нравится», — глазки закатит и нежно вздохнет. Другой раз вопрошающие-то и сомневались, но слово-то, и правда, уж больно красивое — Каммммюю..

Татьяна Андреевна росточка небольшого, рано поседевшие волосы круто кудельками завивает. Черный костюмчик с белым воротничком. Униформа. Тонкую ножку в черном капроне (шов вечно винтом завивался) вперед выставит, глазки закатит, лицо к небу поднято, словно Бог его в ладонях держит, чашей выгнуто, и плещется в этой чаше вдохновенный свет — ну, всё, сейчас стихи читать начнёт! Нет. Не стихи... Фу-ты, ну-ты! Опять про Виталика! Ну, что ты будешь делать! Ну, ладно. Уж не исправить.

Уже то, что у Татьяны Андреевны были муж и сын, выделяло её среди других учителей, о которых не знали ничего. Но детской любви ей это не прибавляло, хотя сама она по-другому считала. Вот однажды Ирка Коновалова через пять лет после окончания школы попала в больницу, в одну палату с Татьяной Андреевной. Ирка была из числа «плохих», и Татьяна Андреевна её не помнила. А Ирка и не настаивала. Так проще. Можно и поорать на старушку, чтоб дверь в палату закрывала. И в первые дни, пока не привыкла, аж на мыло исходила, слушая ежевечерние эпические монологи Татьяны Андреевны, всё о том же гениальном Кирилле Андреевиче да чудном Виталике, о том, какой она была замечательный педагог и как дети её «ну, просто обожали!». Обалдеть — наглёж какой!

Была, правда, одна девочка, долго после школы Татьяну Андреевну не забывавшая и поздравлявшая с каждым праздником: то открытку пришлёт, то сама с цветами явится. Татьяна Андреевна к этой девочке Лене испытывала двойственные чувства: с одной стороны, гордую радость (не забывают!), а с другой, и явное раздражение — о чём с ней говорить-то? А Лена сидит и сидит, бестолочь, другой раз по полдня. Лена в художественном училище училась. Приносила картиночки — Татьяну Андреевну порадовать, успехами похвастать. Влюблена была, дурочка. И картинки для Татьяны Андреевны, и глазки накрашенные, и колечки, вдумчиво подобранные, — всё для неё. Готова была в дождь и ветер под окнами стоять. Свидания с кавалерами отменяла — некогда, сегодня к Татьяне Андреевне идёт!

Лена приносила гиацинты, сама их в хрустальный стаканчик ставила, вдыхала сладкий запах книг, гладила старенькое пианино, тонкими пальчиками трогала чёрного, каслинского литья рогастого оленя и смешного Дон Кихота. Таяла от любви и счастья. Матери у девочки не было, вот оттого и Татьяна Андреевна. Хотелось ей материнской любви, тепла и понимания. Слов любви, утверждавших и окрылявших её робкую душу. А Татьяна Андреевна на слова-то щедра была — словесница! Яичко в рот пальчиком заталкивала и

с набитым ртом в честь Леночки витиеватые тосты произносила: и талантливая-то Леночка, и необыкновенная, и самая-самая, родная, как Виталик!

Но только на слова Татьяны Андреевны и хватало. Всё обещала летом Леночку на дачу взять (пока Кирилл Андреевич жив был, снимали у постоянной хозяйки домик в деревне). Глазки закатив, вслух мечтала, как им там вдвоём с Леночкой хорошо будет. И Леночка мечтала. Так двадцать лет и промечтали...

А когда Лена стала художником и пригласила Татьяну Андреевну на открытие своей первой выставки, та, будучи уже на пенсии, времени прийти не нашла... Лена очнулась, огляделась и увидела, что осталась у неё на ладошке от двадцатилетней этой любви грязная лужица лжи... Лена обиделась и больше открыток не присылала, что и Татьяну Андреевну тоже очень обидело: вот ведь — жизнь им отдаёшь, а они...

Татьяна Андреевна долго обиду лелеяла: «Ишь, бросила она меня! Нет уж, дудки! Последнее слово за мной останется! Я тебя приличиям научу!» Недели три всё вынашивала отлупную отповедь для Леночки. Накручивала себя, злость копила... Наконец, как пар из чайника, попёрло, Леночке позвонила, а той-то и нету! Хороший заказ получила и в Саратов на два месяца укатила, паразитка!

Нет, всё же никакую Леночку с Виталиком не сравнишь. Чужие — они и есть чужие. А уж Виталик! Да как же его и не любить-то? Дорого достался.

Юность у Татьяны Андреевны на войну пришлась. Ну, чего тут говорить — нелегко, конечно, как и всем. И вспоминать не хочется. Без папы росла. Расстреляли папу-то. Ну, это дело ясное, не у неё одной. Но очень эту болячку ковырять любила. Даже (чего греха таить) гордилась этим — ну, тем, что вот судьба-то такая тяжёлая, необыкновенная. А уж как Татьяна Андреевна папу любила! Реальных воспоминаний осталось немного — ведь семи лет не было, когда папа сгинул. Так, смутное что-то: как на коленках у него сидит и глобус вертит. Как в книжке «Песнь о Гайавате» картинки разглядывают. («Если спросите, откуда эти сказки и легенды...»). Да 1-го мая на демонстрацию идут, и папа за руку держит (носочки белые с голубой полосочкой). Но потом уж по маминым рассказам, по сохранившимся фотографиям (ещё письмо одно жёлтенькое осталось — буковки полустёртые, на сгибе дырочки...) вылепила Татьяна Андреевна образ Отца-гения и великомученика. Соткала из воздухов плащаницу любви, которая, сохранись она нетленно, жизнь Татьяны Андреевны иначе бы повернула... Семейная мифология передавалась детям и внукам, с каждым годом пополняясь новыми главами, в коих живописались подвиги богочеловека, а все жизненные неудачи списывались на отсутствие сего Одиссея. (И как-то забылось, что папа-то был ходок и выпивоха...). И старенькая, подслеповатая уже Татьяна Андреевна не удерживала прозрачной слезинки, как и в семнадцать лет, по папе убиваясь... Секрет такой редкой силы дочерней преданности был прост: папа был единственным человеком на всей земле, считавшим Татьяну Андреевну и умной, и красивой, и талантливой, и прямым текстом ей это сообщавшим.

В 46-ом Кирилл Андреевич посватался. Уже пожилой человек-то был. Но других претендентов не нашлось. Хоть такой-то и то слава Богу. А что? Человек приличный, доктор наук. Но тоже (вот как люди друг друга находят?) Кирилл Андреевич на филина был похож. Вылитый филин: нахохленный, брови торчком, пегенький такой. Опять же паек у доктора — повышенной калорийности. Для мозгов. Как уж там с мозгами, не знаю, а вот характер — это да! Педантичный до занудливости. Шнурки на ботинках долго завязывал, чтоб свободные концы аккуратного бантика одной длины были... Вместе куда соберутся, так Татьяна Андреевна в десять минут готова, а он все у зеркала стоит — шарфик прилаживает, чтоб ни одной морщинки. Галстук — это уж отдельная история: по полчаса перевязывал — все узлом недоволен. И Татьяну Андреевну к порядку приучал. К экономии — нечего деньги транжирить. И чтоб полный отчет: сколько потратила, сколько осталось. Расходную книгу велел завести. Этой птице не до песен — сидит, считает, круглым ротиком шевелит.

Вот только деток всё нет и нет. А Татьяне Андреевне так ребёночка хотелось! Кирилл Андреевич уж очень пожилой. Печень больная. Ну, как помрёт?! Или по возрасту уж не сможет... Что ж — так без ребёночка и оставаться? И когда, по случаю, из жилконторы сантехник Фёдор явился, Татьяна Андреевна его повертела, с пристрастием поразглядывала и осталась довольна: высокий, чернобровый красавец, чуб из-под фуражки волной. С

тех пор стала в их доме сантехника ломаться, прям каждую неделю: то кран в кухне подкапывает, то унитаз засорился, то батареи холодные... Фёдор регулярно приходил и дело свое знал. Ещё бы! Поест, поиграется, да ещё и с собой из калорийного докторского пайка дадут. Так Фёдор два месяца как сыр в масле катался, пока Татьяна Андреевна не поняла, что беременна. Фёдор больше не нужен был.

Обрадовалась Татьяна Андреевна, но рожать боялась — а ну, как ребёночек на Фёдора похож выйдет? Кирилл Андреевич не простит. Что ж, одной оставаться? Но мальчик, слава Богу, родился беленький, носик остренький, весь в маму. Фёдором и не пахло. У Татьяны Андреевны от сердца отлегло.

Кирилл Андреевич сыночка не то чтобы не любил, а как-то равнодушен был. Неужто подозревал чего? Или от возраста уже сил на любовь не хватало? Успокоилась Татьяна Андреевна ненадолго — дети с годами меняются — вдруг попрёт в Виталике Фёдор-то... Но когда правнук родился вылитый Кирилл Андреевич, Татьяна Андреевна даже с грустью поняла — сплоховал Фёдор. Виталик, видать, был законным сыном Кирилла Андреевича. Зря переживала. Но Кирилл Андреевич к этому времени уже с небес взирал, и теперь всё равно было.

Виталик вырос. Выучился. Женился. Жить ушел к жене. Светка Татьяне Андреевне не нравилась, это правда. Скандалили часто. Ну, так Светка-то — поганка! Другой раз и смолчать могла бы. Уж наверное учитель лучше знает, что и как! Так нет. Эта стерва так всё Виталику преподаст, словно мать им зла желает! Виталик мальчик тихий, но характер — кремень. Неласковый вырос, колючий, как чертополох. Себе на уме. Уж если чего задумал, сделает, хоть вы тут все тресните. Съехали к Светке. Анечка родилась. Татьяне Андреевне её всего раза два и привозили. Светка всё, кто ж ещё! Вот Бог-то её и наказал: померла голубка от воспаления легких. Татьяна Андреевна-то как обрадовалась: теперь Виталик с Анечкой вернутся и заживут семьёй, как люди.

А Виталик-то не вернулся. Упрямец! Два года у тёщи пожил, потом ему место хорошее в Дубне посулили. Анечку на тёщу оставил и в Дубну укатил. Лет десять не писал. Открытку в день рождения пришлёт — жив— здоров, поздравляю. И всё. Ну, а что, людям-то разве скажешь? Учительница! Единственного сына воспитать не смогла. А нечего и говорить — хороший Виталик, хороший, лучше всех! Пусть завидуют! У христиан молитва, у буддистов медитация, у пионеров утренняя речёвка, у Татьяны Андреевны аутогенная тренировка: «Виталик, иже еси на небеси!...»

Потом Виталика в Москву перевели. Анечку забрал. Она там замуж вышла за молодого учёного Олега. Вместе с Виталиком в одной лаборатории работал. Когда Анечке лет тринадцать было, Татьяна Андреевна на ней отыграться решила. С Виталиком не вышло, так я из этой брошенной сиротки человека сделаю! Стала Анечку в гости зазывать и «Войну и мир» вслух читать бедняжке. Анечка сперва бабушку по-хорошему убеждала, что не в Толстом, мол, счастье; потом терпела-терпела и, наконец, далеко-далеко бабушку послала, пальцем у виска покрутила и дверью хлопнула. На том воспитание и закончилось.

А через четыре года Олег в Питере свою фирму наладил. Год там один пожил, дела разгрёб, сам устроился и Анечку увёз. Анечка отца очень любила, хоть немного вместе пожили, и уезжать не хотела. Но тут Виталик второй раз женился. С мачехой у Анечки не сложилось. Из-за неё с отцом часто ругаться стали. И через три месяца уехала, уже без сожаления. В Питере у неё свои детки быстро пошли. Года три назад фотографию прислали — Соне, правнучке, уже пятнадцать, младшему, Александру, десять. Маленький филин. Копия Кирилла Андреевича, только что не лысый...

Родные-то все разъехались. Но кой-какие и друзья были. Праздники Татьяна Андреевна любила, хоть в копеечку и обходилось, но тосты-то, хозяйку превозносящие, как мёд по сердцу. Ради них и собирала гостей-то.

Татьяна Андреевна дружбу водила исключительно с людьми необыкновенными, личностями неординарными, и все, как на подбор, — конгениальные (любимое словечко: Кирилл Андреевич — конгениален, пирог нынче — конгениальный, Вы смотрели фильм? Ну, что Вы — конгениально!) Если там добрая соседка — простая работница со швейной фабрики, ну, заботливая, ну, хорошая, ну, кто же спорит, но не в подруги же! Разве она сможет культурную беседу поддержать? А вот познакомьтесь (преподносила гостям, как на блюдце, необыкновенное

угощение) — Леночка — художница, Аркадий — актер. Уж что там эта Леночка за художница и что за актер этот Аркадий, кто его где видел? Какое-нибудь до сорока лет «кушать подано».Но гости в основном коллеги-учителя, так для них и Аркадий — небожитель. И Татьяна Андреевна так слегка утомленно (ну, что такого? — обычное дело): «А, это? Это мне подарила ленинградская поэтесса А. Ой, вчера до полуночи засиделись с режиссёром Б. Ах, как он Чехова видит! — конгениально!» Гости ахали и тщательно вспоминали, в какой руке нож, в какой вилка...

А костюмированные праздники! Новый год особенно. Нет, без костюма нельзя! И вот сидит какой-нибудь Алексей Петрович, учитель физики, потеет в дартаньяновской шляпе и бумажными манжетами боится в селёдку попасть, оттого почти и не закусывает... А давайте фанты! Помнутся гости: ну, если без фантов выпить нельзя, то уж, что ж уж, хоть фанты... Ишь, затейница! А живые картины?! Нет уж, Татьяна Андреевна, это уж перебор, Вы у нас, конечно... и все мы отдаем... но это уж, пожалуй, того.. Ну, тогда танцы!!! Закусить бы... Нет, нет, танцы! Только танцы! Самого молоденького, учителя рисования, выберет, цепкими ручками скомкает и таскает его за собой, обмякшего, растерянного, в страстном танго. Запыхается, раскраснеется, к зеркалу подлетит, на каблучке повернется: «А что — хороша ещё!» Гости носики в тарелки опустят и чего-то невнятное бормочут.. ну, мол, что есть, то есть...

В пятьдесят-то мы ещё молоды, ещё, поди-ка, и на глупости горазды! Когда там — баба ягодка-то опять? Татьяна-то Андреевна и в шестьдесят ещё ого-го! Да уж, с подругами не сравнить! — вишь, старухами заделались: волос не красят, каблуков не носят — деревня! А лица? — урюк сушеный. У Татьяны Андреевны ни одной морщинки (зеркало, правда, в темном уголке...да что ж с того!). Коленки вот только...немножко. Особенно на лестнице. И с учениками тяжело стало: никаких нервов не хватает, такие уроды растут, ни к кому уваженья нет, тупые бездельники, не то, что прежние.

А что — на пенсии? Это только слово страшное, а так-то — полная свобода да жизнь в свое удовольствие. А какой юбилей отличный вышел! Всё по полной программе: с танцами, с живыми картинами, цветы и подарки! А директор-то, директор — пиратом нарядили! Татьяна Андреевна — королевой, так мужья-то наших клуш и глаз не сводили! Ах! Ах!

Но свободы хватило на два месяца. А дальше что? К старухам на лавочку? Испугалась Татьяна Андреевна, немного погрустила, но выход сам собой нашёлся: открылся Клуб Здоровья. Недалеко от дома. И йога там, и экскурсии, лекции и вечера встреч с чаепитием. Тут уж Татьяне Андреевне было где разгуляться, с её-то энергией да артистизмом! Ничего без неё не ладится, и то, и это — всё на ней!

Но тут вдруг какие-то интриги, какие-то нелепые проверки: гонорар лекторов, расходы на чай... глупость какая-то, но, однако ж, Клуб закрыли.

Снова Татьяна Андреевна одна, без дела, в тоске по квартирке вышагивает; книжку с полки снимет, равнодушно повертит и на место поставит. Скучно. О Леночке часто жалеть стала — Лена-то слушать умела... Даже другой раз и Кирилла Андреевича без обиды вспоминала — всё живой человек в доме...

Да тут ещё знакомые и коллеги один за другим помирать взялись. С чего бы, Господи, разве это возраст?! Сколько птицы-то живут? Ну, это какие как... Ну, совы, к примеру? Брось, Татьяна Андреевна, живи-радуйся, ни о чём не думай. Вот же, смотри — в доме новый жилец появился. У соседки по лестничной клетке, у Антонины, комнату снял. Полковник. Настоящий полковник: в кителе, с орденскими планками, с палочкой, с ранением ноги — всё как следует. Чуть постарше Татьяны Андреевны, но герой — глаз так и горит, как у кота. Ну, а толку-то? В магазине вместе в очереди постояли, да пару раз у мусорных бачков встретились — всё и знакомство. И только с балкона Татьяна Андреевна жадно воину вслед глядит. Вот оно удаляется: опора, надежда, легкая, нескучная старость. Взмахнёт полковник сабелькой, ну, палочкой своей — всё равно — и вмиг развеет, победит страх и одиночество Татьяны Андреевны. Ах, герой, герой, Петр Фомич!

А герой-то возьми и захворай, тяжело — воспалением легких. Не встает, в магазин не ходит. Антонина дома почти не бывает: у неё и работа, и внуки на другом конце города. Кто ж за больным уходит? Ну-ка, догадайтесь! Ах и обрадовалась Татьяна Андреевна! С вечера в аптеку слетала, бигуди накрутила и тесто поставила. И утром, к завтраку, у Петра Фомича, и спасительный укольчик, и сладкий

пирожок, и приятная собеседница! А уж что Татьяна Андреевна приятная собеседница — это уж — будьте уверены! — словесница!

И столько Петр Фомич за время болезни узнал нового, интересного и познавательного, что кругозор его расширился неимоверно. Среди прочего, узнал Петр Фомич и то, что раньше Татьяна Андреевна была актрисой... (Да-да! А что Вас удивляет, разве я на актрису не похожа? Да где ж — не похожа, что Вы — вылитая Любовь Орлова! Я уж и сам подозревал...) И что было у неё два мужа. Один, конечно, режиссёр — Аркадий. А другой большой учёный — Кирилл Андреевич. (Нет, детей не было, да на что они? С нашей-то самоотверженной жизнью, наполненной высоким служением искусству, науке, просвещению! Ах этот, в альбоме-то, это... так, племянник...)

Татьяна Андреевна, разрумянившись, как пышные её пирожки, из квартиры в квартиру порхает, у плиты напевает, сочиняя Петру Фомичу конгениальный супчик; задумчиво улыбаясь, коротенький локон на пальчик накручивает... Ах, какие руки-то у Вас, Татьяна Андреевна, красивые! Шутник Вы, Петр Фомич! Ха-ха-ха! Вот Вы всё смеетесь, а я ведь человек военный, серьёзный, какие шутки?! — Вы одна и я один, не объединить ли нам два наших фронта, так сказать. Вы бы мне квартирку подписали, и зажили бы мы с Вами душа в душу! — Наша-то сова глаза вытаращила, очнулась, крылья подхватила и дёру!... Как ещё Бог-то уберёг! Ишь, змей!

Долго от Петра-то отходила. И всплакнуть пришлось и ночами поворочаться.

Ах, шестьдесят лет — прекрасный возраст! Но понимаем мы это только в семьдесят... Но и в семьдесят птице петь охота. Репетиторство придумала. Опять же и денежки кой-какие. Две очкастые восьмиклассницы и мальчик — двадцать лет: на журфак готовится. А главное, зовут — Виталик! Ах, Татьяна Андреевна снова молодая! Остатки куделек взобьёт, собачью шерсть с платья счистит и рыбным пирогом Виталика балует. Вместо «жи и ши» в который раз Виталику рассказывает, какой она актрисой была, как со Смоктуновским дружила, как Бондарчук за ней ухаживал, как на кинофестиваль в Париж ездила, и Мастрояни ей руки целовал... Нет, не лжёт — сама верит!

А какие мужья у неё были! Режиссёр Аркадий — конгениальный! Кирилл Андреевич — большой учёный... Но разве такого мужа ей надо было? Достоевского — вот кого! Вот кому бы жизнь посвятить, всем пожертвовать, так уж было бы ради чего!... Ах, Виталик, ты — мой Достоевский. Я из тебя Достоевского сделаю! И стихи твои — конгениальны! Но зато уж третий мой муж — вот уж личность! — генерал. Петр Фомич. Ах, как хорошо с ним жили: и служебная «Волга» с шофёром, и дача, и в Крым каждое лето! Виталик, да ты слушаешь?! А что, красивые у меня руки? Этот птенец длинными ресницами хлопает, стесняется. Молоденький, дурачок!...

Но и это все быльём поросло, как говорится. Промелькнули, улетели и растаяли так незаметно годы, горести и радости. И теперь внимательный глаз находил уж в Татьяне Андреевне сходство не с бойкой совой, а из всего птичьего племени в сравнение годилась, пожалуй, лишь больная курица, бредущая по двору, свесив клюв и подволакивая бессильные крылья. Головка уж больше гордо не вздергивалась, а выгнув кривеньким мосточком «вдовью» спинку, Татьяна Андреевна растоптанными тапками по коммунальной квартире шаркает, котлетки у соседей подворовывает; полотенчики свои, стыренные с верёвки соседской внучкой наркоманкой Веркой, с боем отвоёвывает. Верка, пока её бабки, татарки Мансуровой, нет, тайком «оттянуться» приходит. Пятнадцать лет Верке, как Сонечке.

Четырёхкомнатную профессорскую квартиру Кирилла Андреевича пришлось разменять. Потом ещё несколько раз всё местами менялись, переезжали, чтобы и Анечке отдельную и тёще Виталика; пускали жильцов для денег, продавали и покупали... Да такие дела-то из них никто делать толком не умел, вот оттого-то с обменами не улучшалось, а только метры теряли. В конце-концов, досталась Татьяне Андреевне двадцатиметровая комната в коммуналке.

В комнатке Татьяна Андреевна расходную тетрадь заполняет (для кого теперь-то?) да фотографии в альбомчик клеит — историю семьи для правнуков сочиняет. Светкину фотку выкинула. Словно и не было Светки. Кирилла Андреевича в руках повертит — повертит да и плюнет на фотку. На пианино теперь вместо чугунного оленя и Дон Кихота пять фотографий в рамочках — на трёх Татьяна Андреевна в молодости, на двух Виталик в матросском костюмчике. Виталик спился

совсем... Жена выгнала. Только бы приехать не удумал — стыда не оберёшься.

Татьяна Андреевна полдня телевизор смотрит. Всех ведущих по именам знает. Другой раз книжки читать возьмётся. Да чего-то скучно, хотя классику подзабыла так, что и сюжета часто не помнит. Но иногда и интересно, особенно исторические, про цариц да княгинь, про любовь к фаворитам. Поделиться бы впечатлениями, да не с кем. Начнёт старым знакомым названивать, в гости зазывать; часа на три пронзительным голоском к телефону привяжет, но прийти навестить никто не торопится — маразмик уж сильно выпячивается и бывших подруг пугает.

Собачка, тоже старенькая, уж не забавляет, а только хлопоты одни — гулять с ней тяжело стало. Другой раз повизжит-повизжит собачка да в уголке и набезобразничает...Вытирай за ней. Ковёр псиной пропах, убираться сил нет.

Татьяна Андреевна в окошко выглянет — всё дождь льет. Вот ведь — на удивление прямо — в молодости-то всё солнце, а теперь всё дождь и дождь...

Татьяна Андреевна живёт напротив школы. Раньше очень удобно было — две минуты до работы. А теперь злится — школьники на переменках к ней во двор покурить бегают. Она с собачкой гулять выйдет и начнёт ребятишек гонять-стыдить. Да те не больно-то и боятся. Пошлют подальше и нагло в лицо смеются. Собачка лаем исходит. Все нервы до горла поднимут, паразиты.

А два дня назад у Верки за стенкой музыка грохотала так, что стены тряслись, а потом смолкла и тишина. Татьяна Андреевна пошла проверить, а Верка пьяная, что ли, или обкуренная в ванной спит, и вода уж через край льется. Татьяна Андреевна так её намахала, что та, ничего не соображая, на мокрое тело одежку натянула, стоит, покачиваясь, стеклянными глазами хлопает и, спьяну, что ли, бормочет: «Куда ж я с мокрой головой-то?» Трезвая сама б Татьяну Андреевну матюгами обласкала так, что та командовать-то быстро б забыла. Но Татьяна Андреевна остатки профессионального командного голоса включила и сухонькими кулачками в спину нахалку выперла. И дверь на цепочку закрыла.. Ну, и на мороз! Ну и фиг-то с ней! Баню тут устроили! К себе иди — там тебе и баня! Никакого покою со сволочами этими!

Воевать притомилась, капельки выпила и легла. А руки всё дрожали, сердце барабанило и в голове стрельба.

Долго лежала, и сердце ныло. Верка эта, сволочь, конечно, но ведь ребёнок ещё... Как Анечка. Нет, не Анечка, Сонечка. В голове всё перепуталось... На мороз ребёнка выгнала... Ну, и правильно — им только дай волю.. А Анечку вот так кто выгонит... Нет, не Анечку, Сонечку... Сонечка не такая: умная, красивая девочка... Да и Верка... нежное личико, щечки по-детски пухлые... Глаза татарские — раскосые. Красивая тоже, как Сонечка... Нет — Анечка... Ну, хватит! Что себя корить-то! Сделала и сделала. И все тут!

В четыре утра у Татьяны Андреевны случился инфаркт. Из последних сил стукнула Мансуровой в стенку. Та вызвала скорую. Увезли в больницу.

В приёмном отделении дежурила Светка Ямщикова — ученица Татьяны Андреевны, выпуск 88-го года. На Татьяну Андреевну она не взглянула: бабка и бабка на каталке. А эта птица крылушки сложила, головку под крыло сунула и не шевелится. Светка отмахалась от врача со скорой: «Ладно — срочно, всем им срочно, а завтра орать на все отделение будет — то им не так, и это не этак!» Светка, не спеша, допила кофе, смахнула крошки от печенья и пошла звонить в кардиологию (в реанимации никого не было, куда все подевались?).

В отделении в эту ночь дежурил Славик Поздняков. Из любимчиков Татьяны Андреевны, выпуск 80-го года. Славик пьяный в лоскуты храпел в ординаторской. Его еле добудились. Славик пошёл, шатаясь, на ходу застёгивая халат. В коридоре зацепился за каталку, с грохотом упал. Медсестра Вероника махнула рукой и побежала звонить Андрею Лотовичу, другу Славика, в хирургию.

В семь утра Славик принял комплекс постджентельменского набора и выглядел, как огурчик. Пошёл на пост к Веронике.

— Ну, что там — ночью поступившую разместили?

Вероника подняла глаза от журнала, холодно взглянула, но увидев Славика (симпатичный гад!) при полном параде, смягчилась.

— Бабулька, Вячеслав Геннадьевич, не дотянула. Только в реанимацию ввезли, она и того... отъехала. Бабульке-то под восемьдесят. Ей уже всё равно. А вот Вам с Андреем Лотовичем объясняться придётся...

Славик притянул Веронику за плечи, погладил по волосам и в ухо жарко дыхнул.

— Вероничка, ну, ты же умница? И мы друзья? И мы всё по полной программе сделали, ведь так? А чего уж бабульке взбрендило коньки отбросить — кто ж её знает! Правда? А с Лотовичем я всё улажу, не волнуйся.

Славик пошёл в хирургию, по дороге напевая: «Дорогая моя бабка / Подарила ты мне скрипку / А тебе за это, бабка / Наловлю я свежей рыбки!..»

В полдень Мансурова пришла в больницу. Принесла зубную щетку, очки Татьяны Андреевны, письмо и два яблока. Узнала в справочном окошке поразившую её весть, рот открыла, на стул упала и замерла. А когда в себя пришла, письмо вскрыла и прочитала: «Бабушка! Олега в Москву в командировку посылают, на неделю. И я с ним поеду, давно папу не видела. 20-го заедем к тебе. Я хочу дедушкины золотые часы забрать для Александра. На память ему о дедушке. Жди. Аня».

Мансурова губами пошевелила, пальцы поскладывала — двадцатого... А сегодня четырнадцатое. Кто ж хоронить-то будет?! Обнаглели совсем! Сволочи!

В ПЕТЛЕ

Она опять разговаривала во сне. Ни одного слова не понять, переставляя в беспорядке слоги (точнее, в порядке, понятном и необходимом Ей одной), отчего слова становились настолько странными и совершенно теряющими хоть отдалённое напоминание и созвучие с обозначающими их предметами, словно на иностранном языке, не английском, не французском, на языке каких-то диких племен, который знают пять замшелых профессоров в мире, и никто никогда им не пользовался, кроме самих этих диких народностей, каких-то африканцев, что ли, в душных воняющих диким зверьем кусках кое-как сшитых шкурок, сухо загибающихся по краям и затёртых потными шоколадными ладонями. И даже не так. Даже, скорее, это похоже на чужой, совсем не человеческий язык инопланетной расы. Да, язык инопланетян, который нам, при разнице гортанного аппарата, невозможно повторить — все эти птичьи клокотанья, бульканья и длинные периоды из одних гласных... И, несмотря на прежние (уже столько раз) безнадёжные попытки услышать, понять и перевести на человеческий язык, язык живых, этот торопливый, мучающий Её монолог, снова и снова я прислушиваюсь, низко наклонясь к самым губам, словно это что-то может изменить, словно лучше расслышав, я смогу понять — о чём этот бред, словно тогда что-то можно будет поправить или разорвать окончательно; словно хочу услышать пароль, из того, другого мира, из параллельных пространств, в которых уже так легко, как своя, бродит Она день и ночь. И тогда и я, вырвав из бескровных Её губ этот пароль, смогу проникнуть, прорваться, проскользнуть в этот притягивающий (и меня, и меня!) другой мир, в это дымное ничто, о котором Она, видимо, уже так много знает, и так безжалостно не хочет делить его со мной — это предел моего желания, ибо порой так страстно тянет меня туда, где чую я наше с Ней освобождение, когда с нестерпимым резким оглушающим звуком порвётся, наконец, эта связь, струна, веревка, путы, кандалы и чёрт знает — что, держащая нас так слипшись — вместе, в одно, и в то же время привязав нас к этой душной темноте, бесконечной безысходностью, тщетностью любых усилий, невозможностью даже слёз, невозможностью произнести это страшное, что гниёт в душе и так остро рвётся наружу. Но нельзя, нельзя, ибо то, что тогда может произойти (совсем не так, как должно, как надо) пугает ещё больше, ещё больше этой душной бесконечности, как новое, неведомое, но вдруг — ещё хуже, ещё болезненней... Нет, нет, нельзя сказать, нельзя произнести, нельзя порвать, ведь что же тогда — совсем уж неизвестно... Пусть уж лучше это привычное, устоявшееся, долгое, как смерть, но уже обжитое, своё, привычное... Можно ведь и к смерти привыкнуть... И находиться в ней, как в жизни, выдавая её за жизнь (для себя? для кого?). Ведь смерть — не хуже жизни, почти неотличима скользящему, торопливому взгляду равнодушного живого; её не узнать, не отличить сразу, если не завелась она в тебе, не проклюнулась хоть малюсеньким черным ржаво-железным росточком, воняющим кислой кровью и испражнениями живой ещё плоти, ещё ни о чем не догадывающейся, хорохорящейся, жалкой в своей наивной вере...

Этой верёвкой, этими путами, этой пуповиной привязала Она меня к себе с самого начала. С рожденья. Не хотела отпускать и оплела пуповиной мою голубенькую тонкую шейку с прозрачными ещё позвонками...И еле вырвали, еле оторвали, причинив мне родовую травму, от которой страдал я всю жизнь, все сто тысяч лет, стремясь освободиться,

порвать, вырваться... но — тщетно. Она крепко и навсегда привязала меня этой (даже уже и разрезанной) пуповиной и держала всю жизнь, и дергала меня за неё, за ниточки, как тряпичную куклу. И когда-то, в какой-то момент, ещё в детстве, я смирился, и принял это её верховодство, и долго считал должным. Но теперь, когда ненормально, не как у разумных, а невероятно, непостижимо, как у всех сумасшедших, Её неправдоподобно сильные руки вдруг отпустили кукольные веревочки, переключившись на иные, именно теперь я замер, не веря, радуясь и ужасаясь своей свободе одновременно, теперь, не зная, что с ней делать, я уже сожалел, уже сам желал нового дёрганья веревок, привычного послушания, своей теплой уютной несвободы, но Она уже забыла обо мне (во что невозможно было поверить вначале, если бы Она была всё той же, но...) Она, обманув меня в какой-то ускользнувший от моего внимания момент, вдруг отвернулась, бросив здесь, на земле всё (и даже меня!) и быстро-быстро, с каждым днём всё удалялась, уходила, убегала тоже отчаянно, тоже, видимо, стремясь освободиться, — в те пределы свободы, грезившиеся и Ей всю жизнь.

Наша общая пуповина легко заменилась верёвками. Обрывками верёвок, которые повесил я Ей на кровать. Она теперь плела их целыми днями, вязала петли и узлы, такие тугие и крепкие, что мне приходилось разрезать их ножницами, чтобы повесить новые, так как от старых оставались лишь крошечные хвостики, и в Её неуёмную, неостановимую, изнуряющую Её работу они уже не годились.

Иногда я засыпаю возле Неё на стуле. И тогда (даже во сне) я боюсь, что Она накинет мне на шею свои хитрые крепкие петли, которые с таким проворством и тщательностью безумного всё вяжет и вяжет Она целыми днями. Эту новую пуповину, от которой теперь уже окончательно задохнусь, и не будет никого рядом (как врачей, спасших меня от Неё при рождении). Теперь Она уже не отпустит меня, наученная опытом всей жизни со мной, частенько, на удивление даже и мне самому, — упёртого, выворачивающегося и порой умевшего выскользнуть из жёсткой петли ошейника, что всегда приводило Её в бешенство, ибо я был Её вещью, Её собственностью, её нежностью и ненавистью, Её тяжёлой заботой, Её бременем, Её надеждой и отчаяньем. И порой я ловлю на себе Её сумасшедше-хитрый взгляд, в то время, как быстрые и хищные пальцы Её всё плетут и плетут виртуозные эти петли, и я действительно верю, что, глядя на меня (а, может, и конкретно — на шею), примеряется Она, прикидывает — какого размера нужна тут петля и какой крепости нужен узел...

А порой мне кажется, что из этих тугих петель плетёт Она паутину, опутывая кровать и комнату, всё пространство вокруг меня, стремясь захватить, запутать, загнать меня в эти крепкие сети, чтоб, как муха, попался я в них уже навсегда, и утянуть меня с собой — в смерть — завладеть, победить окончательно. Эти петли, эта паутина словно висит в воздухе, вытесняя его и делая тугим и упругим, не оставляющим надежды вдохнуть его. Белёсыми юркими червями проникает она в мой мозг, опутывая, стягивая, заматывая в мёртвую «куколку», до тупой боли, до потери ориентации, когда не понимаю я, — где пол, где потолок, и только висят, извиваясь и множась, перед затухающим взором правильными трапециевидными сегментами расходящиеся петли — всё новые и новые, всё ближе и туже охватывая, связывая мое тело и волю...

Если бы я мог ходить, я бы ушёл, даже убежал сразу, бросив ВСЁ. Каждый раз, перед сном я мечтаю об этом побеге, со сладкой мучительной болью представляя себе этот радостный солнечный мир живых и весёлых людей, людей, умеющих смеяться, свободных и бесстрашных от своей свободы, ничего не знающих о другой жизни — о смерти, о моих четырёх углах и Её паутине, о тёмном (и днём, и ночью), затхлом воздухе, плотном и страшно шевелящемся, который тоже стал сам по себе отдельным существом, не дающимся вдоху, хоть силком заталкивай в легкие, и таящим в кислой своей темноте неизбежную угрозу.

Однажды, глядя в окно, я увидел на остановке молодую девушку. Она отворачивалась от ветра, поправляя то и дело каштановые локоны, облепившие ей лицо и шею. А ветер вдруг поворачивался и забегал с другой стороны и вновь бросал ей в глаза тяжёлую волнистую прядь. И девушка всё вертелась, и легкая её белая юбка опасно вздымалась, норовя открыть прелестные тайны, не предназначенные постороннему взору; и, охая, девушка бросала волосы и хваталась за подол юбки, пытаясь удержать его, и ей не хватало рук отбиваться от игривого теплого ветра, и она вертелась юлой. И в какой-то момент мне показалось, что она посмотрела на моё окно, прямо мне в глаза, и я увидел, наконец, её

лицо — на миг не заслонённое прядями волос, — нежно-розовое с большими серыми глазами под чуть нахмуренной бровью. Я отшатнулся от окна и опустил занавеску, но как забилось тогда моё сердце! Если бы я мог ходить, я бы выбежал и догнал её, и сказал, сказал что-то нежное и прямое про свою любовь и долгое, дольше жизни, одиночество, и не вспомнил бы о Ней, словно Её никогда не было; не было этой душной тюремной камеры с шевелящейся кислой темнотой и Её страшным саркофагом (в центре комнаты, в центре Вселенной), обитым с двух сторон досками (чтоб не упала) и оплетённым слепяще-белыми пеленами верёвок... Я начал бы Новую Жизнь, ведь ещё не поздно... И какой прекрасной могла бы она быть!..

Но (бесплодные мечты!) ходить я не могу. Я не могу, не смею отойти хоть на миг, я сижу возле Неё, возле этого никак не закрывающегося, но уже принаряженного и осыпанного невидимыми цветами гроба уже тысячу лет, и явственно и всё сильнее чую исходящий от невидимых (но уже существующих в будущем времени) этих цветов страшный, ни с чем не сравнимый, чуть лекарственный (как лекарством от жизни бывает смерть...) запах тления, и он стоит у меня в носу и днем, и ночью, и днем, и ночью...

Я хожу на цыпочках — тихо-тихо, боясь потревожить Её чуткий сон (когда ненадолго Она засыпает), боясь невыносимого Её бреда, боясь разбудить этот бред, неостановимый уже до самой глубокой ночи, боясь этого вязанья — Её опасных петель и своей паутины, стягивающей мой мозг... Но вот уже третий день так тщательно охраняемую мной тишину то и дело разрывает невыносимый и монотонный звук, мерзкий и надрывный, хуже сверла стоматолога. Он впивается мне в мозг, высверливая в нем тупые полости, опустошая от мыслей (вяло, еле-еле, заплетаясь и спотыкаясь, но упорно снова и снова влачащихся по замкнутому кругу — безнадёжных, бесконечных, невнятных и страшных мыслей); заполняя все тело до кончиков пальцев каким-то острым нестерпимым электрическим раздражением, настолько сильным, что я становлюсь связан этим раздражением, как верёвками (опять веревки!) и привязан к стулу, не имея сил пошевелиться, не имея сил и воли встать и прибить, наконец, эту большую сине-зелёную жирную муху, которая вот уже третий день бьётся о стекло, не находя выхода. Сколько раз видел я таких мух, тупо башкой пытавшихся вновь и вновь пробить невидимую, но непреодолимую преграду, и испытывал к ним то жалость, то брезгливое отвращение, то неуёмное от их тупости раздражение, и только теперь, вот сейчас, в эту минуту, понял и ощутил всем существом, — что муха эта — моя горестная судьба, это я, и конец у нас один — погибнуть в этих душных четырёх стенах, где нет выхода, где навсегда плотно закрыты окна и даже форточки (Она всё время мёрзнет), и нет отсюда исхода, нет ни щёлки, ни малюсенького лаза, не вырваться нам, не освободиться, и остается только биться тупой зелёной башкой о стекло, пока не иссякнут последние силы и не упадёшь кверху лапками в толстую серую пыль междурамья, и не высохнешь до пустой потрескивающей скорлупки (да и то — это судьба лишь для мухи, а я — то? я — и биться уже не смею и не мечтаю даже); и выметут в мусор сухие старушечьи руки какой-нибудь безымянной добросердечной соседки, той, что придёт убраться после нас — после ЕЁ и меня, когда и меня уже не будет... Муха, с периодичностью в пять минут, то взлетает высоко и бьётся о верхнюю часть стекла, то обессилено сползает вниз, к подоконнику, и замирает, дав передышку натруженным крыльям; и тогда на короткое мгновенье обрушивается блаженная тишина, (но уже зная, что ненадолго, — и она раздражает мой мозг ежеминутным ожиданием нового, ещё более высокого и сильного звука), и снова взлетает и тупо жужжит, без конца, без конца, сводя меня с ума, словно неистовостью и неистребимостью своей добивается она — посланница темных сил и Её поверенный — моего сумасшествия, моей скорой смерти... хотя зачем? ведь и Ей невыгодно — ибо кто же тогда уходит за Ней? Но безжалостная бессмысленность смерти, захватившей, пленившей уже Её, не хочет (не может?) уже обратиться к разуму (умершему задолго), глухому к любым доводам живого (где оно — живое?), к логике, жалости и состраданию. ТАМ — просто нет таких чувств и понятий, а то, что ТАМ есть — никогда, никогда не постичь мне — ещё полуживому, не осмыслить и не принять... хотя — что же — никогда... лишь до тех пор, пока и сам я не переступлю этой (пугающей, страшной? — уже почти нет, желанной?) черты, не вдохну это отсутствие воздуха без запахов, без единой живой молекулы, этот эфир, наполняющий меня Вечностью, как наполняют куски черного острого и блестящего угля ветхий мешок, не заботясь о том, каково ему, протёртому до дыр и трещащему

по швам, распираемому остро-болезненной этой тяжестью — быть наполненным...

Я думаю, в тот день, когда Она умрёт, умру и я. Нет, я не буду лежать пошлым трупом возле Её кровати. Мне кажется — я как-то растворюсь, истаю, и дым от моей высохшей скорлупки поднимется вверх, к потолку, и по-прежнему не будет ему исхода, и будет он витать здесь ещё сто лет. А может, и не так — может, Она и дым мой не захочет, не сможет здесь оставить, а и его утянет с собой в те безмолвные пределы, куда уже так неудержимо стремится, куда безжалостно (как всё, что делала Она при жизни) насильно вытолкнет и меня, всё ещё считая меня своим рабом (вспомнив об этом), своей частью, одним из изжитых и уже ненужных органов огромного рыхлого своего тела, но всё равно — своим, привычным, с которым нельзя расстаться, и, пересчитывая и подводя итог, вдруг вспомнит и про этот жалкий рудимент (про меня) и утянет с собой уже из простого своеволия...

Уже теперь я знаю, что я не вынесу Её смерти. Я буду жалеть, страдать, грызть и терзать себя упреками, испытывать чувство вины. И обиды на Неё, так безжалостно бросившую меня. Я не вынесу своей свободы, когда некого будет обвинить в своей судьбе, не на кого переложить тяжкий груз моей растерянности и отчаянья, ответственности за жизнь. Что делать мне тогда со своей свободой?..

Зачем это надо? Кто и зачем связывает навек мать и сына, жену и мужа, двух сестёр, не похожих друг на друга, совсем чужих, ненавидящих друг друга до любовной страсти, не имеющих сил ни убить, ни жить вместе, мучающих и ломающих друг друга, где ненависть сильнее любви связывает их навек в тугой, гноящийся узел, который не разорвать даже смертью одного из них, ибо навеки, навсегда оставшийся будет связан, скован, приторочен к ушедшему путами больной памяти, неизжитой обиды, ненависти и невысказанности больше и сильнее, чем самой большой любовью.

За всю нашу совместную жизнь у меня накопилось великое множество обид на Неё. Она не давала мне жить, Она ломала и топтала меня, как хотела, и теперь я мог бы отомстить Ей, выплеснуть и изжить все свои ещё детские обиды, но как? — не мыть, не кормить Её? Это смешно! Может ли Она теперь понять, что это — и есть моя месть и Её расплата?! Я опоздал. Теперь все не только поздно, но и бессмысленно — Её ведь уже нет, Она смогла (Она-то успела!) ускользнуть от меня, от моего гнева и обиды, от моего жалкого щенячьего визга о защемлённом хвостике! И всё, что пятьдесят лет так болезненно истекало кровавой сукровицей в моей душе, так и останется навек неотомщённым, даже невысказанным, то, что не смог я (а как часто хотел!) бросить Ей в лицо, как ударить, — теперь всё стало слежавшимся палым листом, мокро-вялым, не имеющим ни важности, ни ценности, ни смысла, который и годится только лишь на то, чтобы в шутливом, напоказ преувеличенном театральном гневе — поддать ногой, сам для себя, не имея зрителей и надежды на понимание, сочувствие, одобрение. Да хотя бы и осуждения, лишь бы разделить этот неизжитый, неразрушимый камень в душе хоть с кем: хоть с врагом, хоть с завистником, лишь бы облегчить, освободиться, излечиться и стать свободным! Пустые надежды! Всё поздно. Моя трусость, моя зависимость от Неё, мое жалкое, недостойное мужчины подчинение, — и были должной ценой моей теплой и *уютной* несвободы, моего *удобства* и лени, достойные моей никчёмной, робкой и бездарной душонки. Ведь я сам, сам (!) легко соглашался быть под крылом! И только когда крыло стало жесткой пятой, — только тогда забилась моя ущемлённая гордость. Я трус, я боюсь Её смерти, боюсь своего освобождения, ибо не знаю, что мне делать тогда со своей свободой. Ведь и это моё теперешнее хождение на цыпочках, мытьё, кормление и прочее строго по часам, ублажение и усюсюканье сумасшедшего полутрупа — это *трусость*, мной неизжитая и навеки пребудущая со мной. И все мои мечты об освобождении — не есть ли жалкая поза, простая трепотня бесхребетного моллюска, только и смеющего на миг высунуться из крепкой и надёжной, уютной и привычной своей раковинной тюрьмы, чтобы показать язык пустоте, пока никто не видит...

Иногда, когда я мою Её, я впадаю, в страшное мне самому, горячее неистовство, в гнев и раздражение Её тупостью, Её нежеланием (не возможностью?) самостоятельного движения, и тогда я истерично ору на Неё, и даже однажды ударил Её по руке, отчего Она болезненно вскрикнула, и я увидел в Её глазах страх и согласие полного подчинения, что уж было совсем — ни в какие ворота, учитывая наши предыдущие отношения. Я еле удерживаю так яростно рвущееся с моих губ, как желанное облегчение, как колдовское за-

клинание, способное все разрешить одним махом: «Умри же, наконец, умри!!!»

В эту минуту боюсь я себя, боюсь не выдержать, не удержать своего отчаянья, боюсь когда-нибудь вслух крикнуть то, что гниёт в моей душе, разлагая её, делая поганым помойным ведром мою, когда-то чистую и прекрасную, исстрадавшуюся душу... Через минуту с той же горячей злобой, только что направленной на Неё (на весь мир, на всех живых и счастливых, на незаслуженную свою судьбу), я ненавижу себя черной, душной, огромной ненавистью. Я кажусь себе мерзким, гадким червем, членистоногим мутантом, не способным в своем тупом примитивно-животном эгоизме ни к жалости, ни к состраданию. Я ужасаюсь себе. Я желаю наложить на себя руки, бросить всё и убежать, исчезнуть, пойти и утопиться, напиться в стельку, я схожу с ума, раздираемый последним, безнадёжным отчаяньем, злобой и жалостью (?), я падаю, куда придётся, и тут же, измученный и обессиленный, впадаю в полусон, в своего рода кому, в тяжёлое, тёмное и глухое небытие, спасающее меня на два-три часа от самого себя... А потом всё повторяется вновь, чем бы ни клялся я себе...

Я разговариваю с Ней, как с ребенком, ещё не умеющим говорить и реагирующим лишь на интонацию голоса, и, усюсюкая, читаю детские стишки, и тогда Она вдруг улыбается именно, как ребенок — растерянно и благодарно откликаясь на ласку моего голоса. И бесконечная жалость и раскаяние охватывают меня, и я глажу Её отросший седой пушок волос, и Она счастливо жмурится, как котёнок, дождавшийся внимания хозяина, и отчаянье упущенного перехватывает мне горло...

Я купил Ей игрушечного зайца. Длинноухого и смешного. Она играет с ним, когда устает от своего плетения. Иногда Она сердится на него и бросает на пол, как дитя из люльки. Я поднимаю и кладу зайца рядом с Ней. Тут же, забыв свою обиду, Она снова играет. Игра заключается в отрывании заячьих ушек и лапок. Её сильные руки не знают покоя. Уже трижды я пришивал бедному зайцу уши. Не знаю, что чувствует она (может ли Она ещё что-то чувствовать и понимать?), но я горячо полюбил бедняжку. Он стал моим другом, нашим третьим заключённым, нашим посредником: я разговариваю с ним и через него, как через переводчика, — с Ней. Я берегу его, старательно штопаю, чтобы он продержался подольше — мой длинноухий спасательный круг. Но как долго ещё — этот крошечный комочек ваты и затёртого тряпья — сможет он (даст Она) спасать меня от сумасшествия?...

Самое страшное — Её глаза по утрам, когда я кормлю Её, приподнимая в подушках, когда на короткое время, на несколько минут к Ней словно возвращается разум, и Она равнодушно, с последней безнадежностью понимания смотрит на верхушки мира за окном, в пустое выцветшее небо, на мелькнувшую птицу, и я читаю в Её белёсых, мутных глазах смирение трупа, которому нет уже надежды даже на покой...

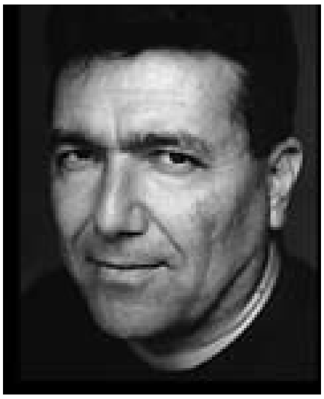
В последнее время Она стала много и жадно есть. От одного перепелиного яичка вначале дело дошло до глубокой с краями тарелки, и стыдные мои надежды на скорое избавление рухнули. Она проживёт ещё сто лет. Сто два года. Почему-то именно сто два года запали и сверлят мой мозг раскалённым гвоздём. Сколько же тогда будет мне? Семьдесят пять! Я истерично хохочу, силясь представить себя дряхлым, сгорбленным стариком, попрежнему сидящим у Её кровати, в тяжёлой вони наших (уже общих) испражнений, в душной темноте замурованного склепа, до потолка набитого заячьими ушками и лапками, с петлей на слабенькой, сморщенной старческой шее..

Боже! Боже! Неужели так и будет?!

г. Тверь

Ак ВЕЛЬСАПАР

У ОВРАГА, ЗА ПОСЛЕДНИМИ ДОМАМИ...



Тёмной неприветливой осенней ночью по обочине дороги на окраине огромного города вяло трусил усталый пёс. То и дело останавливаясь у мусорных ям, которых было немало на этой улице, он искал пищу. До рези в красных усталых глазах всматривался в содержимое придорожных помоек, исторгающих невыносимую вонь. Принюхивался... Наконец, задержался у одной из них. Даже под тусклым светом раскачивающейся на ветру лампочки, были заметны впавшие бока пегого волкодава Алабая. Заострившееся от продолжительного голода обоняние бродячей собаки уловило среди прочего разнородного мусорного гнилья запах недавно выброшенной кости. Пёс затрепетал всем телом, потому что притупившийся было голод взбудоражил его с новой силой. Выхватив цепким взглядом лакомый кусок и, не спуская с него глаз, Алабай несколько раз обежал вокруг ямы. Уже много дней у него не было такой удачи. В знакомых с рождения Алабаю местах не осталось двора, им не обнюханного; мусора, им не перерытого; не обследованной им помойки... Но псу определённо не везло, ведь то, чем можно утолить голод хотя бы ненадолго, успевали перехватывать другие. Старый же Алабай к неприхотливой собачьей трапезе являлся последним... Более сильные сородичи, которые вели себя всё увереннее и наглее на его же территории, шансов на выживание оставляли всё меньше.

Раньше сюда чужие не смели совать и носа, теперь же всё изменилось: его опережают повсюду! Вот и приходится породистому волкодаву рыскать по помойкам, как последней дворняге! Когда-то костей в помойных ямах хватало всем, и они не были обглоданными до такой степени... Что происходит с людьми? Давно ли на этих улицах стаи бездомных собак устраивали настоящие собачьи пиры вокруг богатых помойных ям?! Но теперь такие пиршества редкость. Больше, чем о какой-то роскоши или об изобилии, приходится думать о выживании, только бы не умереть от голода! Целыми днями он вынужден околачиваться у мусорных контейнеров в ожидании, пока кто-то бросит туда остатки мяса или хотя бы кости. А последние три дня, насыщенные встречами с озлобленными собаками да кликушами-кошками, такими же голодными, как и он сам, из съестного ему так ничего и не перепадало.

Голод настолько проник в его мозг и в старое тело, что для пса оставалось теперь не так уж много развлечений, не считая самых ярких воспоминаний о доме у оврага, где он родился; о вкусе свежей кости с клочьями мяса, костного мозга или о тугих, сытных сухожилиях... И эти воспоминания он не в силах забыть даже под страхом смерти. А ведь когда-то, когда в его лапах было больше сил, грызясь до смерти с такими же, как он сам, горячими кобелями из-за приглянувшейся встречной суки, он даже не думал, есть ли на свете голод. Ведь не пустота в желудке была тогда в его жизни главным чувством. Он помнил это чётко — так было! Он мог провести сколько угодно дней без воды и пищи, учуяв запах незнакомой суки: только бы не упустить её, только бы другим она не досталась. Сейчас же, вот уже три дня и три ночи, пустой желудок вертел его вокруг себя, как веретено. Именно желудок, а не какая-нибудь другая часть его измученного тела!

Отплясав вокруг ямы грустный танец голода, пёс стал подползать к заветной цели на брюхе, и вскоре его тело уже нависло над ямой на треть. И когда ему пришлось проползти ещё, вид его стал чрезвычайно жалким. Кость была уже рядом, и от этой близости пёс задрожал всем телом. Он попробовал достать мосол лапой — безрезультатно, тогда, неуклюже водя шеей, потянулся мордой. Но всё было напрасно! Алабай снова продвинулся немного вперёд к манящей цели. Теперь тело его опасно висело над ямой, а огромная голова торчала аккурат над злополучной костью, но всё равно ничего не получалось. Злясь на свою беспомощность, пёс заскулил,

подёргивая обрезанными ушами. Лежавшая на дне ямы бедренная кость овцы, казалось, была не так уж безнадёжно далека. Не потому ли воображение пса распалялось всё сильнее, что лакомый кусочек продолжал манить его вкусным ароматом, подавляя кисло-горькую вонь разнородного гнилья?

Запах мяса на свежей кости! Ни на секунду Алабай не мог оторвать от неё своих жадных глаз, а дурманящий запах привёл в действие всю его внутренность - из пасти непрерывно текла слюна. Доведённый до отчаяния пёс давно прыгнул бы в яму, будь она чуть мельче, но помойка выглядела не в меру глубокой, и он никак не решался вступить в подозрительную, вонючую жижу. Алабай осторожно отполз назад.

Страх перед «нечто» сидел в нём очень глубоко с самого детства. А мусорная яма, как он запомнил навсегда, таила в себе ужасную смерть. Она может проглотить тебя всего, как обглоданную кость, а напоследок ещё и вкусно чавкнуть...

В потускневшей памяти стали всплывать живые картинки того, как много-много лет назад, когда они ещё кормились молоком заботливой и ласковой матери — Большой белой суки, когда их было много — целая свора: семеро беззаботных щенят, дерущихся по поводу и безо всякого повода, погиб один из них. То время было особым, незабываемым... Они были совсем маленькими, и у них ещё не успело возникнуть понятие заботы о еде — достаточно было того, чтобы не дрались, вели себя прилежно, а в награду они получали материнского молока столько, сколько влезет! Но этого им было мало, хотелось ещё и поиграть, порезвиться, а потому послушность давалась нелегко. Их мать — Большая белая сука, всегда возвращалась с отягчёнными сосцами и ложилась между детёнышами набок. Бывало, они не успевали даже проголодаться как следует, а мать уже приходила к ним с новой порцией молока. Семь щенят бросались на неё со всех сторон, и для них не имело никакого значения — были голодны или нет, тут же начиналась борьба! Ведь они не только единоутробные братья и сёстры, но и постоянные соперники! Потому бежали, падая, кусая друг друга и в шутку, и всерьёз, хватали за уши, за носы, рычали — как же без этого! И если вдруг в пылу азарта кто-то нечаянно кусал источник живительного, пахучего молока жёстче, чем дозволено, то терпение мамы, бывало, лопалось. Тогда Большая белая сука вскидывала огромную голову и ласково рычала, делая замечание: ”Будьте разумненькими!” И щенята на мгновение утихали, а зачинщик, пряча голову между неслухов, застывал меж ними. Но это только на миг! Как только мать, сузив глаза, с наслаждением клала морду на передние лапы, шум-гам, дележ начинался снова, и бесконечно вкусное молоко, кружа головы, своим теплом и ароматом при малейшем усилии продолжало струиться из полных материнских сосцов. Насытившись, они гурьбой предавались сладкому сну или же бежали играть на улицу, резвиться. Именно в один из таких дней, счастливых и безоблачных, они и понесли первую потерю в своей большой собачьей семье.

Случилось это так... Как всегда, подремав после очередной кормежки, мать медленно поднялась и сладко потянулась. Наступала пора уходить — добывать пищу. Она окинула ласковым взглядом собственных несмышлёнышей, занятых игрой, и отправилась в своё привычное путешествие, шагнув в зияющий проём...

Туда же полезли следом, погнавшись друг за дружкой, и щенята. Разноцветные комочки весело разбегались в разные стороны. На улице их ждал мир, залитый щедрым высоким солнцем. Играя вперегонки, резвясь и кувыркаясь, они стали удаляться всё дальше от своей мазанки, где их произвели на свет и держали подальше от людских глаз. В тот день беготня завела их гораздо дальше привычного круга, и они столкнулись с чем-то непонятным — перед ними оказалась яма, источавшая иные запахи, отличные от запаха материнского молока, и это их заинтриговало. Один из них, Белоснежный, подошёл к краю ямы ближе, чем остальные и нежданно-негаданно угодил в неё. Яма отчаянно завизжала по-щенячьи, но потом чавкнула и утихла... Никто из оставшихся наверху ничего толком и не понял, но все жутко испугались, заскулили, не смея подойти ближе к зловещей тёмной пропасти. Все шестеро в ужасе убежали домой.

Когда же вечером вернулась мать, щенята встретили её, как всегда радостно, ведь они уже успели подзабыть о своём недавнем страхе. Но Большая белая сука почему-то встревожилась: в мазанке витал запах беды. Она стала поочередно обнюхивать детёнышей, искать среди них ещё одного — своего любимца. Однако она так и не уловила родного запаха самого младшего, самого глупенького — Белоснежнего. Кто-то из щенят

нетерпеливо потянулся к сосцам матери, но Большая белая сука отшвырнула его в сторону и выбежала из мазанки вон, оставив малышей в долгом недоумении. Вернулась она поздно, когда совсем стемнело; и встретил её писк голодных щенят. Мать в тот раз впервые накормила их безвкусным молоком, свернувшимся от горечи утраты, потому что она уже точно знала, что её любимец навечно остался на дне вонючей ямы, и что им никогда не доведётся больше встретиться.

...Алабай продолжал метаться вокруг ямы, потеряв всякое терпение. Глядя на него, нетрудно было догадаться — насколько он проголодался. Пёс периодически прятал язык за острые зубы, но он опять вываливался из пасти. Целиком поглощённый охотой за недоступной костью, он чуть было не угодил под колеса грузовика, с грохотом несшегося вверх по безлюдной в этот час улице. И если бы Алабай не успел вовремя отскочить — то всё могло бы кончиться очень печально.

Отбежав к обочине, он стал облизывать лапы, не раздавленные в этот раз совершенно случайно. Но всё равно ему было очень больно: пегий наткнулся на острие камня... Может, поэтому, хотя опасность и миновала, он никак не мог успокоиться, вскочив, вдруг злобно залаял вслед сердитому грузовику, канувшему в темноту. А потом, будто поняв, что его лай ничего не изменит, пёс просто улёгся у края помойки. В голове сильно туманилось от голода... В памяти стали оживать прожитые дни, ранее подзабытые им надолго... Мазанка, где они родились и провели первое, относительно счастливое время жизни, не была похожей на дом, в котором ещё недавно жили люди. Лучи солнца, проникавшие сквозь высокое оконце с выбитыми стёклами и зияющую дыру тонкой глиняной стены, выхватывали и валявшуюся под заколоченной дверью разбитую деревянную чашку-керсен, и черпак без ручки; какие-то тряпки, висевшие на ржавых гвоздях; изодранное платье из домотканой материи-дарайи — всё, что досталось щенятам в наследство от бывших хозяев. По всему было видно, что люди уехали куда-то спешно, даже не успев взять с собой щенную собаку. И в полуразвалившейся лачуге вскоре и появились щенята.

В самом начале, когда мир для них оставался ещё тёмным и подозрительно неудобным, когда у них ещё не прорезались зубы, они изучали всю эту рухлядь по запаху, щекотавшему их неопытные ноздри и несмышлёный мозг. Да и позднее, когда уже открылись глаза, жизнь ещё надолго оставалась такой, какой им показалась в первые дни. Просто к запаху предметов добавились и очертания. Заботливая мать часто исчезала в белой дыре хибары, а затем возвращалась оттуда же с набрякшими сосцами, полными вкусного молока. И после еды щенята, сытые и счастливые, спали, закопавшись в старую солому, собранную когда-то и кем-то. Никому не было до них дела, никто их не тревожил. То, что мать — Большая белая сука, могла на каждый обед находить свежую кость или кусок мяса, и было основой их щенячьего рая.

А что потом? А потом началось знакомство с настоящей жизнью: неприветливой и грубой... В первые два месяца Пегий потерял одного из своих братьев — Белоснежного. А дальше будто кто-то запустил в семью Большой белой суки свою грязную когтистую лапу — не прошло и пары месяцев, как их родное пристанище опустело полностью. Всё катилось от плохого к худшему. И это по мере того, как щенята расширяли круг своей беготни вокруг мазанки. Однажды щенки проникли в чей-то огород. Забыв об опасности, они играли в цветущем клевере, полном разноцветных бабочек и стрекоз со смешными, выпуклыми глазами. Малышей долго никто не тревожил, и резвились они, как хотели: бегали вперегонки, катались, валялись на молодом клевере. За полдня отсутствия мамы-кормилицы они успели не только вытоптать заметный участок клевера, но и основательно проголодаться. Пришла пора возвращаться домой. Но тут, буквально рядом, появился мальчишка, который, спустив штаны, стал писать. Мальчик не заметил в высоком клевере затаившихся щенят, а не разумным щенятам страсть как захотелось поиграть с ним! Первым бросился он, Пегий — понёсся к мальчишке с лаем, приглашающим к игре. Но мальчик не понял его намерений, и со страшным рёвом кинулся бежать домой. И щенята испугались, не знали, что делать дальше. А мальчик, не переставая орать, улепётывал, придерживая одной рукой штанишки. Так он — стрелой в дом!

Ах, что началось потом!.. Невинное, казалось бы, желание обрести нового друга обернулось для них началом очередных несчастий. Дверь дома, куда влетел мальчик, снова открылась: выскочил щуплый человек со злым выражением на лице. Подбирая на ходу камни, он стал швырять ими в шевелящийся клевер. Щенки — врассыпную, но кое-кто из них всё же успел почувствовать

их летящую тяжесть на своем теле. Дрожа от страха, на последнем дыхании они добежали до своей лачуги. Раньше никто так не гнался за ними. Когда преследователь проник в мазанку почти наполовину, закрыв туловищем проём, собачата начали спешно зарываться в солому. Но он не стал входить в дом, ему было достаточно увидеть, где живут щенки. Рассмотрел и спокойно удалился. И щенята поспешили о нём забыть. Когда вернулась Большая белая сука, радость встречи затмила неприятное впечатление от недавнего опасного приключения. А после еды они, как всегда, заснули, некоторые — прямо на сосцах. Однако на следующее утро, как только их мать исчезла в сияющем проёме стены, прямо там же показался вчерашний щуплый человек с мешком в руке... Он ловил щенят по одному, доставая их за уши из-под соломы, где они пробовали прятаться, и, поймав, засовывал в мешок. Щенки по мере сил оказывали сопротивление, царапая и покусывая щуплого за руки, а тот только похохатывал, приговаривая что-то. Его громкий смех прервался лишь однажды, когда Чернолобый укусил его за палец. Тогда щуплый взвыл от боли по-собачьи, будто был одним из них, и даже присел на корточки. А потом, вскочив, стал сердито оглядываться вокруг. Его взгляд остановился на деревянной чашке... Схватив её, он с размаху ударил по пушистой головке Чернолобого, а вдобавок ещё и выругался: «Слюнявый!» А после, глядя на обмякшего щенка, брезгливо взял его за уши и с отвращением швырнул в мешок. Туда, где уже скулили в тесноте остальные. Последним оставался Алабай — самый упрямый. И когда человек протянул руку, пытаясь схватить его за шею, тот стал энергично защищаться. Щуплый догадался, что его снова могут больно укусить и, смачно плюнув, ретировался. Уходя, гневно буркнул:

— Как-нибудь ещё встретимся, щенок!

Едва Щуплый исчез в провале стены хибары с мешком на спине, как там, мгновение спустя, появилась их мать. Почувствовав неладное, она с лаем бросилась искать своих детёнышей, обнюхивая, обшаривая десятки раз одни и те же углы. Не найдя, устремилась назад, на улицу, потом вернулась... Она уходила и возвращалась в тот вечер множество раз, прислушиваясь к каждому шороху за тонкими стенами глиняной мазанки. Только поздней ночью легла на земляной пол, и тогда наступила в мазанке настоящая печаль. Большая белая сука выла до самого утра. А когда рассвело, они вдвоём навсегда покинули родную лачугу. И больше никогда туда не возвращались. Будучи уже взрослым, Алабай лишь однажды забрёл туда, и то чисто случайно. Но к этому времени от той мазанки не осталось и следа. А ряды соседних домов подошли уже к самому краю оврага, на котором раньше стояла одинокая, покосившаяся от времени глиняная мазанка...

Неизвестно как сложилась бы его судьба, угоди он в тот раз в мешок вместе с другими щенками. Возможно, не пришлось бы ему пережить всего, что началось позже; ведь не было бы ни коротких мгновений счастья, ни продолжительных гонений. Он никогда не познал бы ни сиюминутной радости в бродяжнической, с постоянными лишениями, жизни, с её туманящей голову безграничной свободой; ни отчаянных любовных связей, сопряженных всегда со смертельным риском в жестоких драках между собаками, такими же одинокими, свободными и независимыми. Конечно, не было бы также и этих изнурительных хождений в поисках пищи, до рези в глазах и болей в теле, которые он переживал последние годы почти ежедневно, вынюхивая уже кем-то обглоданные и небрежно брошенные в помойку кости! Хотя так же сомнительно и то, что унесённые щуплым сердитым человеком его единоутробные братья и сестры зажили сладкой жизнью в неволе. До сего дня, пожив до немощи в лапах, многократно просеменив по множеству дорог, обойдя в свете дня и темени ночи в поисках лакомого кусочка, а чаще всего того, что лишь на время утоляет постоянный голод, бесконечные ряды дворов, он никого из них не встречал. Впрочем, нет, лишь однажды такой случай в его жизни всё-таки был, одного из своей семьи он встретил, а именно — Чернолобого. Но то событие, пожалуй, было не радостным свиданием, а сущим наказанием. Лучше бы его никогда не было! Помнится, из-за вечного спутника его свободы и безграничной независимости — проклятого голода, преследовавшего его по пятам все эти годы — в одночасье забрёл он в какой-то незнакомый двор... И увидел в дальнем углу двора миску, полную еды. Хлынула в сердце нечаянная радость. Он оказался у цели в мгновение ока, но как только вытащил увесистую кость с мясом из чашки, тут же, звеня тяжёлой железной цепью, невесть откуда появился огромный пёс. И, обнажив зубы, сходу бросился на него...

От неожиданности Алабай застыл на месте. Не мог сделать ни шага, ни одного резкого движения, более того, не пытался что-либо предпринять. Нет, он не испугался, не струсил перед внезапной и стремительной атакой откормленного сильного соперника! Нисколько. Он углядел в нём ещё не совсем понятные, но какие-то до боли знакомые черты, узнал родной запах... И догадался, кем был раньше высокомерный неприветливый пёс... Это его братик, кого много лет назад, в самый чёрный день в жизни их семьи, предварительно оглушив, полуживого, унёс в мешке щуплый человек. Унесённый! Чернолобый! Кажется, и тот узнал его, непременно узнал, а как же иначе? По запаху, по внешнему виду! Ну, а если не узнал, то хотя бы смутно догадался. Иначе и быть не могло! Но глянь, с какой суровостью, с какой ненавистью бросился он на Пегого! Все же Алабай отказывался верить в серьёзность намерения своего брата, в его ненависть и ярость, в то, что тот хочет подраться с ним. Более того, окончательно убедившись, что перед ним не кто-нибудь, а родной брат, он, дружелюбно, приветственно зарычав, спокойно взялся за еду. Ему не терпелось овладеть сытной мясистой костью, манящей свежим ароматом варева. Но Чернолобый не шутил — бросился на чужака повторно, с такой же яростью, оскалив зубы. Он и не думал подпускать его к чашке с едой, хотя было видно, что хозяйский пёс вовсе не умирал с голоду. Пегий не мог не заметить, что его брат был почти равнодушным к содержимому миски, благоухающей мелкими бараньими косточками. Но, тем не менее, уступать своего Чернолобый не собирался.

Тогда Алабай ушёл оттуда голодным и злым. Он возненавидел верного слугу жестокого щуплого человека, который когда-то безжалостно разорил их собачий дом, семью, уют, их рай в неказистом глиняном домике. После у них никогда не было такого пристанища. Конечно, голод притупился на следующий же день, но обида, нанесённая ему родным братом, ставшим верным рабом чужого жестокого человека, того, кто уничтожил их семью, не забылась до сих пор. Боль не проходила, напоминала о себе постоянно по любому поводу. Потому что мысль о том, что его Чернолобый брат служил тому, кто когда-то уничтожил на корню всё самое для них дорогое, а его самого унизил побоями, невозможно было забыть. Он и представить себе не мог, что такое возможно, что это случится с его единоутробным братом, вскормленным молоком Большой белой суки... Какой-то вислоухий пёс, внезапно вынырнув из темноты, подошёл к помойной яме. Алабай остался недовольным своими глазами за то, что они вовремя не заметили возможного соперника. Издали. Что же стало с ним? Раньше такое было немыслимо. Бесконечные дороги, которые он проходил в поисках пищи, пережитые страдания, бесчисленные жестокие драки со своими конкурентами, всё это, видимо, состарили его раньше времени. Да и голод, никогда не отстававший от него, а в последние годы постоянно наступавший на пятки, тоже сделал своё дело: расшатал его зубы, ослабил когти, притупил остроту глаз...

Вислоухий стал вертеться вокруг помойки, но он зря старался. Зря исходил слюной. Все его жалкие потуги были напрасны, Алабай знал это точно. Но появившийся так некстати пёс ещё на что-то надеялся, пробовал дотянуться даже лапой до кости на дне ямы. Словно он и не собака, а будто хитрая лиса или шакал! Его старания обеспокоили Пегого, и он, медленно встав, подошёл к краю ямы, окинул дно хозяйским глазом — кость лежала там, где и должна была лежать. Всё в порядке. Пегий принюхался, чтобы удостовериться в увиденном ещё раз. Но это, кажется, не понравилось вислоухому, и он злобно зарычал на него, защищая свою законную добычу, точно кто-то собирался оттяпать её прямо из его пасти! Вот вислоухий и двинулся в атаку. Зарычал суровым гортанным голосом, а затем и вовсе стал на бросаться на Пегого. Петушиное поведение нежданного соперника разозлило волкодава. Он исторг ответное рычание, как бы предупреждая драчуна: осади, парень, а то плохо будет! Но не тут-то было! Соперник лез на рожон. Алабай почувствовал, что в теле накапливается былая сила: твердеют мышцы груди, выступают вперёд зубы. Но вислоухий и не думал отступать, наоборот, он искал возможность напасть первым. Наконец, сделав быстрый крюк вокруг противника, хватанул его за переднюю лапу, сразу же сомкнув зубы и нанёс тем самым Пегому острую боль.

Алабай растерялся всего лишь на мгновение, но потом перешёл к действию — проворно взял обидчика за загривок, и, плотно сомкнув мощные челюсти, стал трясти. Сопернику пришлось мигом ослабить зубы, и он жалобно заскулив, принялся вырываться. Но Алабай, прежде чем отпустить вислоухого

восвояси, заставил его изрядно помучиться, повозив за шею туда-сюда. И когда наконец-то пасть разомкнулась, вислоухий, скуля и визжа годовалым щенком, со всех ног бросился наутёк. И был таков!

Пегий же вернулся на обочину и улёгся на прежнее место, предварительно убедившись, что кость — в яме. Он вспомнил, что его матери — Большой белой суке, однажды тоже пришлось схватиться с таким же злым псом. Это случилось тогда, когда они остались только вдвоём, и мать была готова разорвать на куски любого, кто посмел бы причинить зло её последнему выжившему детенышу. Однако нашёлся такой злодей и внезапно напал на него, стал душить! Большая белая сука успела вовремя, иначе бы не миновать беды. Ему могли свернуть шею буквально за мгновение. Только потом, повзрослев, он понял, что тогда он второй раз за несколько дней был на волосок от смерти. Что именно так и погибают многие щенки — от клыков завистливых взрослых сородичей.

Матери удалось отстоять Пегого. Но, днями позже, случайно поймав щенка во дворе, ватага мальчишек подвергла его непонятному жуткому ритуалу. Они обрезали ему лезвием бритвы уши и хвост, и никто не пришёл на помощь. А мать, гавкая, бегала вокруг, но не смела напасть на мальчишек. Она виляла при этом обрубком хвоста, растопырив обрезанные уши — в этих краях верный признак того, что собака изначально была домашней, а не бродячей... Дети, показывая пальцами на истекающего кровью перепуганного щенка, кричали: «Алабай! Алабай!», наградив его кличкой, свистя и улюлюкая.

Таким образом, утратив кончики хвоста и ушей, щенок в одночасье обрел кличку. Уже после, когда мальчишки отпустили Алабая, мать призывным лаем увела своего дитёныша подальше и долго облизывала его кровоточащие раны, успокаивая, как могла. Так, совершенно случайно, Пегий выделился из своры бродячих собак и стал похож на обычных, домашних. Потом он часто слышал свою кличку из уст мальчишек, постепенно стал её узнавать.

Алабай не любил уличных собак за их сварливость и патологическую тягу к дракам. Но и они с матерью очень скоро оказались в самом центре таких кровавых споров, когда зажили бродячей жизнью. Как-то в самом ещё начале их вольницы, помнится, разгорелась настоящая собачья битва на окраине города. Неизвестно по какой причине бродячие собаки сцепились целыми стаями. Но, скорее, конечно же, из-за дележа территории, контроля над богатыми улицами. Что бы ни было причиной, тогда, как ему теперь кажется, он впервые в своей жизни увидел настоящую собачью драку.

Он вспомнил ощущение, будто и у него зубы, как бы сами по себе, стали вдруг удлиняться, выступая вперёд, а в нём самом загорелось желание попробовать их в деле...

Когда матерые собаки исступленно рвали друг на друге шерсть, хватая за уши; с хрустом запускали закалённые в боях клыки в тела своих врагов; брали друг друга за шеи — он, скуля от леденящего душу страха, тоже начинал рычать, набрасываясь и кусая всё, что валялось кругом. Им были изгрызены и палки, и ветки деревьев, и старая обувь... Словом, всё, что тогда было ему по зубам! Так он утешал, или утишал кровь, обильно приливавшую к дёснам, раздражавшую их. Кровь, искавшую выхода. Чем больше он хотел помочь матери, тем сильнее и сильнее сжимались его челюсти... Но его мать — Большая белая сука, всё ещё находилась в самой гуще этой жестокой баталии. Иногда она на какой-то миг выныривала из плотной кучи рвущих друг друга на клочки собак, но потом снова бросалась назад — в самую гущу схватки. И вид у неё был таким, будто она одна дралась против всех и вся! Конец драки был для него таким же непонятным, как и её начало. Бездомные собаки по одной, по паре, кто, истекая кровью, кто жестоко хромая, кто на двух, кто на трёх лапах, стали покидать поле боя. Схватка была более чем жестокой. Возможно, среди сражавшихся были и такие, кто получил смертельные раны. Но пока никто не остался лежать мёртвым здесь, ушли все — даже те, кто был ранен смертельно — они унесли с собой свою смерть отсюда, чтобы пожить с ней несколько дней в одиночестве. В свою очередь, и Большая белая сука вышла из боя. Никто и не подумал гнаться за ней. Вероятно, среди дерущихся вовсе и не было её врагов.

После того случая, он, хотя и продолжал следовать повсюду за матерью, постепенно стал отдаляться от неё: начинал с того, что уходил немного вперёд, а позднее и вовсе стал бродить где-то неподалеку сам по себе. Он быстро набирался новых впечатлений, которые овладевали им сильнее материнской любви. Улица влияла больше, чем всё остальное. Его не оставляли в покое новые чувства. Ему не терпелось стать взрослым, самостоятельным,

он хотел полагаться дальше только на свои молодые лапы. С матерью жизнь становилась скучной. Большая белая сука не возражала против его отлучек, она больше не опекала его, как раньше, давая ему столько свободы, сколько он мог взять. А вскоре она охладела к нему совсем, как бы говоря: «Иди, и живи сам! Ты теперь уже взрослый!»

Так он пустился во взрослую жизнь. А Большая белая сука выпала из его жизни. Надолго. Менялись времена года, а её всё не было, но однажды, с наступлением третьей весны их разлуки, он заметил её в чужой стае... Сам он тоже давно входил в другую такую же стаю. Был полностью свободным и самостоятельным. Но, завидев мать, на миг забыл обо всём, бросился к ней со всех ног, как маленький щенок! Но Большая белая сука не стала выказывать ему особого внимания, обнюхала со всех сторон и отошла. Кобели из её стаи неприветливо зарычали... Он понял, если проигнорирует предупреждение, добром для него это не кончится, будет драка. Ему не оставалось ничего, как ретироваться. На этот раз они расстались с матерью навсегда. А теперь вот он стал стар и немощен. Даже самая лёгкая добыча была ему уже не по зубам. В свои лучшие годы он бы достал эту треклятую кость со дна помойной ямы запросто, привычным тогда для него лёгким двойным отталкивающимся прыжком! Но теперь двойной прыжок ему не под силу, помойка его просто проглотит, если он попробует это сделать. Всему своё время. Наверно, ему нынче только и осталось довольствоваться чужими объедками. Это уже конец. И ничего нельзя переиначить. Когда даже его единоутробный брат, вскормленный, как и он, молоком Большой белой суки, не хотел с ним делиться едой, прогнал подальше от своей богатой чашки, стоит ли говорить о других, чужих? Пегий Алабай снова стал вспоминать: почему брат поступил так? Неужели он не признал его? Может, щуплый хозяин кормит его плохо? Нет, не похоже, чтобы он страдал от голода! Он сыт! Но, возможно, его брат перевоплотился в другого! Изменил своей первоначальной сущности!..

У Пегого снова, как уже было раньше, словно сами по себе стали расти и выступать из огромной пасти ещё острые клыки, затвердевали мышцы, будто по всему телу разливалась горячая кровь. Глаза его засверкали по-боевому. Охватившие его тело старость, медлительность и лень отступили на время. Обострилось обоняние. Хотя его собачье чутье давно уже подсказывало ему о приближении чего-то такого, что нависало над ним неотвратимо и чему он пока не поддавался. Однако тяжесть в теле росла и не давала покоя, отравляла воздух, которым он дышал, обременяла легкие, проникала вместе со скудной пищей в желудок, когда он с собачьей поспешностью глотал очередную подвернувшуюся ерунду. Он подозревал, что приближается что-то незнакомое, тёмное. Оно беспощадно поднимало голову во всех его старых ранах, шло по пятам днём и ночью. Не есть ли это смерть? Тот самый вечный покой, что одновременно страшит всё живое, но и манит отживших свой век.

Чутьём бессловесной твари он догадывался, что длина дорог, которые ему осталось отмерить, не велика. Однако не это беспокоило его. Главное, он хотел дожить свою жизнь так, как желал: не отнимая еду у слабых, не унижаясь перед более сильными и удачливыми. Всё чаще думал он именно об этом, когда лежал где-нибудь на обочине, опустив голову на усталые лапы. Лежал он теперь чаще и дольше обычного, мог пролежать даже дни и ночи напролёт! Сырая земля тянула его к себе больше, чем жизнь. Если бы не Его величество голод, он бы оставался на одном и том же месте, пока не передал бы сырой земле все остатки тепла своего дряхлого тела. Но голод напоминал ему, что он пока жив и что всё-таки придётся искать пищу. Проклятый ненавистный голод с той же легкостью, с которой он сам брал в зубы кость, поднимал его по утрам, ставил на лапы и выгонял на поиски пропитания. И он с покорностью семенил по дорогам до глубокой ночи.

И вот всё кончилось, всё! Вот она, его последняя добыча, таящаяся на дне ямы... Добыча, которую он уже не в силах достать!

Пёс лежал на обочине, грустно вглядываясь в темноту. События, которые приходили в его память и уходили из неё, были спутанными, беспорядочными; память ни на чём надолго не останавливалась. Однако пережитое во дворе у щуплого хозяина унижение, которому подверг его родной брат, не забывалось. А в этот вечер оно пришло на ум повторно. Может, потому, что происшедшее он считал самым отвратительным унижением за всю свою собачью жизнь?! Воспоминания того дня не оставляли его, давили на сердце, от них болела голова. Он закатывал свои умные, понятливые глаза, казалось, вот-вот заскулит - от боли и обиды давно минувших

дней. Но лохматая голова оставалась лежать на передних лапах неподвижно.

Живущие на окраине петухи торжественно прокукарекали полночь. В этой части города, больше похожей на провинцию, чем на столицу, прекратилось всякое движение на дорогах. Погасли последние светлые окна в веренице кирпичных и глинобитных домов, тесно прижимающихся друг к другу. Ночь съежилась. Кругом воцарилась темень. Люди, оставив улицы бродячим животным, насекомым и другим ночным существам, забылись глубоким сном в домах.

В этот миг в темноте вдруг явился некто. Он шёл, словно бездомный... или это его выгнали из дома в ночь? Шёл вверх по улице, туда же, куда проехала немногим раньше последняя машина. Шумная, вонючая. Алабай сначала заметил силуэт, потом различил, что тот движется и, приближаясь, увеличивается в размерах. Постепенно «нечто смутное» превратилось в человека. Теперь пёс слышал его неровные, нервные шаги. Уловив человечий запах, Алабай понял, что прохожий боится. Поэтому, когда тот сравнялся с ним, не зная почему, чисто инстинктивно зарычал. Человек шарахнулся в сторону, а потом швырнул в него подвернувшийся под руку увесистый камень, полёт которого оборвался на левом боку пса. Пегий мгновенно вскочил на лапы. От боли замешкался лишь на секунду, а потом, перемахнув через помойную яму, бросился за неосторожным запоздалым путником. Он погнался за ним не на шутку, и, если бы догнал, тогда человеку, конечно же, не поздоровилось бы. Но тот вовремя сообразил — ворвался в первый же удобный двор, перемахнул через забор, тем и спасся. Пёс облаял его как следует с этой стороны забора, а потом двинулся прочь.

Он не стал больше сомневаться, куда ему идти, а прямиком направился к щуплому хозяину. Туда, где со звенящей на шее длинной цепью проживал его единоутробный брат Чернолобый, вскормленный, как и он сам, молоком Большой белой суки. Было видно, что Пегий задумал что-то серьёзное... Решил даже не сегодня, а уже давно, может, в тот день, когда они, после стольких лет разлуки, столкнулись впервые.

Кроме Алабая, некому было помочь пленнику щуплого хозяина, потому что из всей семьи Большой белой суки остались в живых только они вдвоем. Значит, никто не в силах вызволить брата из плена унижения. Пегий - последний из семьи Большой белой суки, кто на воле. Может, меньше всего повезло Чернолобому? Ведь именно ему выпала жестокая доля — служить кровному врагу! Несчастный... Нет, он не может оставить брата в беде! У Алабая в запасе — лишь одна, последняя ночь, совсем немного жизни, а потому мешкать не следует. Он бежал вперед без передышки, миновал уже несколько маленьких улиц, дальше взял вверх по узкой старинной в сторону гор, в конце свернул на светлую, широкую. Он хорошо знал эту улицу — и, хотя на ней не было ни одной мусорной ямы, дворняги все равно постоянно караулили здесь, потому что на обратной стороне теснящихся в один ряд магазинов можно было часто поживиться чем-нибудь съестным, а то и сытной костью. Это обычно случалось у мясных лавок. И возможность урвать кусок мяса притягивала сюда бесчисленное количество бродячих или просто голодных собак разной масти со всего города. Недаром этот участок был местом постоянных собачьих схваток и драк. Эта улица помнила множество оторванных или покусанных ушей да хвостов, покалеченных лап, поломанных ребер, перегрызенных глоток. И он бывал здесь нередко, а где же ещё ему быть, если только тут можно рассчитывать на настоящий лакомый кусочек! Но сейчас он был равнодушен к привычным для этих подворотен запахам, а потому бежал без заминки дальше. Давно притупившийся голод напоминал о себе лишь изредка острыми уколами в желудке, но пес старался не обращать на это внимания.

Светлой улицей он будет бежать до маленького базарчика по левую сторону дороги, миновав его, поднимется немного вверх, до старого сада, по выходу свернет на последнюю, хорошо освещённую улицу, по которой ему бежать, пока не устанут лапы. Дальше простираются в сторону гор узкие, извилистые улицы, там по вечерам не бывает света. Особенно в это время года, поздней осенью, когда люди в ожидании скорой зимы вечерами предпочитают оставаться дома. Там ему предстоит разыскать двор ненавистного ему, щуплого человека. Там же он этой ночью встретится лицом к лицу с существом, бывшим ему когда-то родным братом...

Он бежал. Бежал долго, пока начисто не забыл про усталость. Наконец остановился на одной из самых тёмных улиц. Оглянулся. Что-то уточнив для себя, обнюхав придорожные деревья, пробежал ещё немного вперед. И вот она — та развилка! Если двигаться

дальше вверх по улице, то она выведет его к краю оврага, а если — направо, то к тому памятному двору. Он немного постоял. Тихо завыл. И выбрал пока первый путь.

Пегий достиг самого края города. За последними домами, стоящими на краю оврага, с высокого холма, обернулся назад. Город лежал далеко внизу. Тысячи разноцветных фонарей в его сердцевине, подобно холодным звёздам на небе, светили безучастно и равнодушно. Глаза собаки не задержались на них долго, а поднялись выше, где уже занималась тусклая заря грядущего дня, и откуда обещало взойти солнце одного из последних дней этой хмурой осени. Пегий отвернулся от слабых сполохов зари и уставился в другую сторону. Там лежал тёмный овраг, а дальше, прямо до самых гор, расстилалось такое же тёмное пространство. Ночь будто стекала на город с высоты ближних невидимых гор. Собрав остаток сил, пёс устремился с холма туда, куда все эти годы тянули его тяжёлые воспоминания. Он точно знал куда направляться, и потому взял кратчайший путь: через чужие огороды и дворы. Быстро добежал до не любимого знакомого двора. И вот предстал перед здоровым, со звенящей на шее цепью, сытым и неприветливым слугой щуплого хозяина!

Псы предупредительно зарычали, как непримиримые враги. Но пока ещё никто из них нападать не стал. Однако в глазах у обоих было достаточно злобы и взаимной неприязни. Первым на атаку решился цепной Чернолобый. Он отошёл немного назад, вскинул откормленную морду, оскалил зубы, и ринулся в бой. Но хитрая железная цепь - гарант его благополучия в предписанном кругу - беспардонно потянула его обратно за шею и усадила на место. Она не позволила делать резких движений. Пёс с сожалением и злобой заметался, издав вой, стал рвать когтями свою конуру. Железная цепь, звяканье которой было холодным и расчётливым, сдерживала и сковывала каждое его движение. Тогда хозяйский пёс пошёл на хитрость... Сделал вид, что передумал драться, ретировался и лёг у своей конуры. Алабай был удивлен, но принял это как знак примирения; сделал несколько шагов в сторону брата. Тоже лёг. Тут-то разыгралось самое опасное — за свою доверчивость он чуть было не поплатился жизнью. Чернолобый набросился на него безо всякого предупреждения и схватил за обрубок уха. Но долго противника удержать не смог. Отбросив его мощным ударом лап подальше от себя, Алабай, истекая кровью, стал смотреть, что будет делать брат. Долго ждать не пришлось... Тот предпринял ещё одну попытку, смысл которой заключался в том, чтобы броситься под противника и, взяв его за горло снизу, перегрызть ему глотку. Увернувшись от этого коварного выпада, Алабай выбрал безопасное расстояние и застыл.

Он почему-то не торопился нападать на своего нынешнего врага, стоял и рассматривал его внимательно, с болью, как самое дорогое существо, которое, быть может, он видит последний раз в жизни. Как бы неприветливо ни выглядели налитые кровью глаза Алабая, как бы злобно он ни рычал, весь его вид показывал, что он хорошо понимает последствия, и поэтому пёс глубоко страдал. Может, поэтому и не спешил...

Ну вот, похоже, обдумав всё последний раз, принял окончательное решение. И тогда двинулся с места... Вид его был устрашающим: тяжесть всего тела перенёс на задние лапы, упёрся ими о землю, будто собирался оттолкнуть её от себя подальше, выпрямил короткую, мощную шею и вытянул голову. Зрачки его глаз расширились, мыщцы по всему телу затвердели, как в лучшие годы, в зубы ударил солёный вкус крови... Пегий грозно оскалился, в его горле заклокотало.

Дальше всё произошло в мгновение ока. Алабай, разбежавшись, высоко прыгнул и навис над противником. Ошеломив неожиданностью, сходу крепко схватил его за шею. Следом сомкнул пасть так мощно, что у Чернолобого стали поддаваться и хрустеть шейные позвонки. Цепной пёс отозвался на эту боль истошным воем. Отчаянно забился под тяжестью отвергнутого брата, пытаясь вырваться из объятий неминуемой смерти. Но у него ничего не получалось. Это был отработанный годами приём жестокой уличной схватки, с которым домашнему псу никогда не приходилось сталкиваться. Если бы даже он знал, как, то всё равно ошейник не дал бы ему возможности отразить такое стремительное нападение.

По телу хозяйского пса разбежалось холодное покалывание и судорогой свело лапы. Он рухнул навзничь, чем и воспользовался Алабай, чтобы взять его за глотку. Покорный слуга щуплого хозяина не успел даже понять, что с ним случилось, ему не хватило на это времени. Бродячий пёс задушил его, не дав опомниться. Когда зубы его сомкнулись плотно, прозвучал мягкий хруст

гортани, и всё кончилось мгновенно. Чернолобый напоследок вскинулся, как бы ища опору в воздухе, но силы быстро покинули его, и он забился в предсмертной агонии. Так, дернув лапами, он успокоился навсегда. Рёв псов и предсмертный вой побеждённого разбудили хозяина дома. Отворилась входная дверь и наружу высунулась маленькая головка щуплого мужчины. Его глазам предстала странная картина: Чернолобый лежит бездыханным, а какая-то бродячая псина обнюхивает его тело. Хозяин пришёл в ярость от увиденного, и, схватив длинную палку, отчаянно бросился на убийцу. Огрел пса по голове со всего размаху, как когда-то ударил Чернолобого. От силы удара у Алабая зазвенело в ушах! Он отрыгнул хлынувшую в глотку кровь на поверженного и откинул голову назад. Взгляд его встретился с трусливым взглядом щуплого, своего давнего кровника!

Бродячий пес зарычал с такой силой, что хозяин дома вприпрыжку, степным тушканчиком, бросился назад. Заскочив в дом, плотно закрыл за собой дверь. А дальше с удивлением наблюдал из окна за поведением незнакомого пса. Тот, сделав своё дело, не спешил уходить. Склонил огромную голову над своей бездыханной жертвой, принялся обнюхивать её с головы до лап, жалобно завывая, словно плача по повергнутому брату. А потом покинул двор через огород, медленно удаляясь наискосок по тропинке, которая вела к оврагу.

Щуплый юркнул в спальную комнату.

— Какой-то взбесившийся бродячий пёс убил нашего, — начал он отчитываться перед женой, которая слушала его вполуха, повторно впадая в сладкий, утренний сон. А потом, глядя на потолок, заворчал: — Сколько мы его, однако, кормили, ухаживали за ним, воспитывая в нём сторожевого. Ан нет, всё оказалось, напрасно — значит, каким он был, таким и остался. Слюнявым. Буду я ещё по нему горевать!

— А, не все ли равно..., — лениво промямлила спросонья его полная, плечистая жена, легко погружаясь во взбалмошную предпробудную дремоту. — Сам же говорил, что он стал старым, плохо ест, значит, не сегодня, так завтра, самим бы пришлось избавиться от него. С пищевыми-то остатками справляется еле, куда уж ему до драки. Спи лучше! Муж спрятался под одеялом, бормоча:

— Надо было мне тогда оставить себе когонибудь другого из них. Был там один, драчун, да не дался, помню чётко, как сейчас, а потом исчез отсюда. Приручил бы его, все было бы по-другому.

Ранним утром того дня, когда солнце медленно поднялось в холодное небо, дети из соседних дворов увидели огромного пегого пса, бездыханно лежавшего на самом краю оврага, за последними домами. Пёс казался живым, просто спящим, но с открытыми глазами. Уложив мохнатую голову на передние лапы, он пристально глядел на просыпающийся там, далеко внизу, город.

В глубине же его, больших, умных, навеки застывших глаз, отражались неказистые близлежащие дома округи — дома, съёжившиеся, словно перед кем-то виноватые...

г. Стокгольм, Швеция

Ирина ГОРЮНОВА

СТРАДИВАРИ В АВОСЬКЕ

Расскажу-ка, я вам одну историю. Причем взаправдашнюю, вернее всамделишную. Ну, в общем, вы поняли. История эта о скрипке Страдивари.

Надо вам сказать, что дед мой был полковником авиации, дружил с Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой и многими известными тогда людьми, которые имели прямое отношение к авиации и космонавтике. Он прошел через всю войну, был в Берлине и повидал за эти боевые годы немало. Кроме того, родом он был из купцов, которые на бедность никогда не жаловались, особенно до революции 1917 года. Успешно всё распродав, под раскулачивание они не попали, а довольно таки мирно проживали в своё удовольствие.

Так вот, после смерти деда нам в наследство достался гараж и старая машина ВАЗ-2110, которая благополучно проржавела в гараже двадцать лет из-за скупости моего деда. Остальное благополучно прибрала к своим заботливым ручкам его родная сестра тётя Нюра, обделив при этом его родную дочь Алёну (мою маму) и жену Елизавету Тимофеевну (мою бабушку). Сберкнижки с большими суммами денег, старинное золото, антикварную саблю и кортик. Но, не будем вдаваться в подробности, прибрали и на здоровье, счастья им это не принесло — через несколько лет её сын попал в аварию и много лет лежал парализованным. Не подумайте только, что я злорадствую, ни в коем случае, просто это подтверждает мои мысли о том, что каждый человек несет за свои поступки ответственность перед мирозданием и всегда, рано или поздно, в ответ на добро ты получаешь добро, а на зло — какие-то потери и болезни.

Прошло лет восемнадцать с тех пор, как это чудное наследство обрело своих хозяев. Конечно, я имею в виду гараж, ведь о чужих деньгах да кладах рассказывать не так интересно, как о своих. Бабушка моя собралась ложиться на операцию по удалению щитовидной железы, а мама давно уже проживала в Америке и имела там гражданство, мужа, работу и некоторую известность в музыкальной среде.

Человек, ложащийся на операцию, всегда думает о том, что он смертен, и произойти может всё, что угодно. Надеясь на благополучный исход, не стоит забывать о бренности нашего существования. Помните как там у Булгакова? Ну вот, об этом все помнят, особенно, если к случаю приходится.

Позвала меня бабушка в гости, и, закрыв все двери и окна на запоры и закупорив возможные щели тряпочками, торжественным шёпотом произнесла:

— Я хочу тебе доверить страшную тайну, внученька! — (Ей-богу не вру, так и было). — В нашей семье есть клад — поклянись хранить молчание и не говорить об этом ни одной живой душе.

— Клянусь, — сказала я, думая про себя, что бабуля немного не в себе от страха перед операцией или по каким-то другим причинам, но, тем не менее, стало интересно. Какие такие тайны водятся в нашей семье?

— У нас в семье есть величайшая ценность — скрипка Страдивари.

С этими словами она начала разматывать странный кулёчек, завёрнутый в десятки газет, каких-то самостоятельно сшитых жалобных сумочек и тряпочек. Наконец, на свет появилась скрипка, достаточно рассохшаяся, с порванными струнами и абсолютно не впечатляющая. Ещё бы, пролежать в гараже лет сорок или больше, в таком неподходящем для неё климате, где постоянная смена температур, высокая влажность и вообще чёрт знает что. Как ни странно, присмотревшись поближе, я действительно обнаружила внутри скрипки надпись *Antonio Stradivari*. Это меня подкосило.

А скипочка-то, действительно могла быть: дедуля через всю войну прошёл, (помните?) мог и помародерствовать в разрушенном Берлине, али ещё где, да скрипочку то и

взять бесхозную, до воровства он не унизился бы, а так, зачем добру пропадать? Лежит себе где-то гниёт, хозяев нет, и не предвидится. Может, конечно, истинной цены ей не знал (лежала бы она тогда в гараже!), а по привычке купеческой прихватил — в хозяйстве, мол, всё пригодится!

Понятно, что с этим надо было долго разбираться, но бабушка боялась обмана и не хотела её (скрипку) оценивать. Кто знает: либо подменят и ищи потом правды — ничего не докажешь, либо проследят и обворуют, если не зарежут: не за такие вещи убивали, а Страдивари ого-ого, сколько стоит, только значки доллара в глазах мелькают, как у дядюшки Скруджа. Перевозить её надо в Америку, там знаменитые аукционы — Sotbis, например, на которых права владельцев соблюдаются, и меньше шансов, что тебя облапошат. Вот только как? На таможне остановят, и выцарапывай потом скрипочку...Не вернут же гады, ой не вернут!

Позвонила я маме, и её муж, Арни, тут же решил ехать в Москву и пытаться что-то сделать. У американцев вера в свои возможности безгранична. Правда они все законопослушны до одури, но это не распространяется на другие страны и на такие суммы (миллиончиком попахивает и не одним).

Бабушка к тому времени благополучно выздоровела, и Арни мы встречали вместе.

Пару дней со всеми предосторожностями мы носились по знакомым и не очень знакомым специалистам в области антикварных музыкальных инструментов. Антиквары ничего сказать не могли — бабушка скрипку из рук не выпускала, и отдать её на экспертизу отказывалась. В итоге, чтобы не напороться на неприятности, было решено вывезти скрипку в Америку. Каким образом? А совершенно по-идиотски, по русскому обычаю — надеясь на... авось! Вы спросите меня как два взрослых и неглупых человека (каждый с высшим образованием) решились на это? Остается только развести руками и ответить:

— Вот так! И на старуху бывает проруха, $ в глазах у всех прыгали, смотреть нечем было, да и мечты сладкие мозг туманили.

Поехали в аэропорт. Арни с каким-то маленьким чемоданчиком да с дешёвой авоськой в руке. На таможне часто вообще не досматривают, времени на всех не хватает, работнички — чемоданы не проверяют (надо было её в чемодан засунуть). А тут интересно стало: импозантный такой человек, одет хорошо и... с идиотской авоськой. Таможенники, хоть и бывают небольшого ума (не все конечно, некоторые), но не насторожиться просто не могли.

— А ну-ка, — говорят, — развяжите, пожалуйста, господин *Davidoff* вашу кошёлочку.

Арни и развязал, а что ему было делать, бедолаге? А там скрипочка. Ага.

— Ваша, — ему говорят, — кошёлочка-скрипочка?

— Моя, — говорит. — Вот, любимая тёща подарила.

— Ну, само собой, тёща — ему отвечают. — Кто ж еще-то мог такой подарок сделать. Гы-гы-гы!

Тут, сразу милиции набежало видимо-невидимо, Арни под белы рученьки и в сторонку — до выяснения. На самолет он, понятное дело, опоздал, да тут быть бы живу. Кстати, не повезло господину Davidoff просто коллосально. За месяц до описываемых событий, *настоящую* скрипку Страдивари украли из музея Глинки. Чувствуете, какой сюжет? *Супер*. Но, всё равно смешно, особенно теперь, тогда меньше.

А по всему Шереметьево-2 слухи ползут, что на таможне скрипку нашли Страдивари. Держали Арни там несколько часов, скрипочку забрали на экспертизу, а господина Davidoff временно отпустили.

Поехали домой. Арни с горя просидел всю ночь в казино и оставшиеся бабки спустил — ну тут уже миллионом больше, миллионом меньше... какая разница?

Через некоторое время Арни разрешили уехать... без скрипочки.

Бабуля же ещё долго ходила и пыталась скрипочку вернуть.

Вернула.

Отдали.

Почему?

А потому, что это не Stradivari.

А что написано было?

Да мало ли что где пишут, на заборах, например, а тут на скрипке хохмач какой-то написал *Stradivari*.

г. Москва

ПИСЬМО С САХАЛИНА

Анна САФОНОВА

ВЕСЁЛЫЙ АНГЕЛ

***

Приходит каждый день прилив,
как в дом газета...
Раймон Кено

Как приходит газета в каждый дом,
Так прилив каждый день приходит.
Сколько сил незримых сокрыто в нем –
Вместе с солнцем и он восходит.

Тишь да гладь давно отрицает он
И прибрежные точит скалы,
Чтобы, как цветы, расцвели потом
Всеми красками минералы.

И стада его к берегам бегут,
Оставляя редчайшей формы
Камни, что ладонь океана жгут, –
Будто выпавшие из горна.

Так и мир земной — океан чудес:
То волною прилив накатит,
То отлив придёт, оставляя блеск
Халцедоновый на закате.

***

Город из спичек построю
И пропишу людей
На улице Водопоя
И в тупике Дождей.

Расклею везде объявленья –
«Все собирайтесь в путь!
В городе Со-Жаленья
Пожалуйте отдохнуть».

Конечно, огнеопасно
В городе жить моём.
Но лучше, чем быть несчастным –
Без зонтика под дождём.

***

«Земля, по которой ты шагаешь,
на самом деле и есть небо...»
Рабиндранат Тагор

Земля мне радостней небес
В разливах ранней голубики…
Прими меня, суровый лес,
Я стану ягодою дикой.
Росой июльской окропи,
Убереги под спелым солнцем.
Дозреть меня не торопи,
Ведь жизнь единожды дается.

Охотник, не спеши, не тронь –
Мой плод бедою обернётся…
Упала ягода в ладонь,
Что волчьею зовётся.

***

Тих, как всегда, бездомен
Мимо тебя идущий.
Знает, что мир — огромен.
Знает, что — отстающий.

Сердца его биенье
Тише стократ, без боли.
Знает, что утешенье
В том, чтобы быть довольным.

Бросит свою улыбку
В море потухших взглядов.
Выловит страх, как рыбку,
Больше — ему не надо.

Дальше ему — на север,
В облако над рекою.
Мять придорожный клевер,
Жизнь пить одной рукою.

Знаю, что отстающий,
Мимо уже прошедший.
Только режим мой — ждущий,
Солнечный, сумасшедший.

***

Зачем ссудил ты мне печаль,
Весёлый ангел?
Чтоб радость Божью источал,
Над всеми плакал?

Ничьей судьбы не изменив,
Не потревожив,
Лишь только солнца реактив
Я чую кожей.

Иду к спасительной реке,
К своим останцам,
Чтоб раствориться вдалеке
В протуберанцах.

И эту первую листву,
Ее цветенье,
На радость ангелу сорву –
Не повторенье.

***

Чем пахнет кожа ребенка?
Медом и молоком...
Благоухает зелёнка
Над одиноким пупком.

Девчонки пахнут клубникой,
Пыльцою солнечной и
Патокой, вербой дикой
Проклюнувшейся любви.

А женщины пахнут странно:
Запахи их резки.
Как будто цветки герани
Слетают с твоей руки...

Лишь старость покоем дышит.
По истеченью лет
Любое дыханье слышит,
Свой источая свет.

***

Не огорчи меня, пустыня,
И свой оазис подари,
Чтоб не будить твои долины,
Где спят минувшие цари.

Спят беспробудно и сурово,
Не зная, что разорены,
Сжигает всё песок багровый
К восходу молодой луны.

Твоих сокровищ мне не надо –
Будь снисходителен, Восток!
Я обжигающей прохлады
Хотя б один прошу глоток.

Покуда держат минареты
Мир — от беды на волосок, –
Цвети, оазис, буйным цветом
И мертвый оживляй песок!

***

Цветы приходят с юга,
Из розовой долины,
Где семена надежды,
Как Божий дар, — просты.
Из неземного круга,
Из первозданной глины
Рождаются, как прежде,
И гибнут те цветы.

Вот так, перед рассветом
Из ледяной пучины
Приходит и уходит
Весь человечий род –
Рассеянный по свету
Наследный свет лучины,
Что до небес восходит
И пламенем падет.

О колдовское лето!
Тебе ли знать забвенье,
Когда живое слово
Само в тебе растёт?
И вновь душа согрета,
И скоро — воскресенье,
И так солнцеголово...
И жизнь во мне поет!

***

Чайханщик жаркую пиалу
Подносит к пыльным топчанам,
Алеют маки на дувале –
Легко и беззаботно нам!

Халва, лукум, рябые дыни
Медовый источают дух,
Зеленый чай — да не остынет!
И аския взрывает слух!

Поет арык, вода смеется,
Ни облачка над чайханой.
Но если шутка удается,
То нипочем бухарский зной.

Куда все делось? Где арыки
И где смешливая вода?
Где, Азия, простор твой дикий?
Увидимся ли мы когда?

Не суждено испить нам чаю
И плов твой щедрый разделить.
На диком острове встречаю
Свою судьбу.
И здесь — мне жить!

***

С.В.

Загадаю тебе страницу
И, не видя еще строки,
Рукавицей схвачу жар-птицу,
Чтоб твоей не обжечь руки.

Эта птица чудная бьётся,
Золотым шелестит пером.
Не пугается, а смеётся
Горловым своим серебром.

Крылья хлопают, клюв отточен,
Так и метит в пустой зрачок!..
Загадай-ка мне многоточье,
Чтобы выскочил — светлячок.

Чтобы — тихо! И только слышать
Его шорох в своей руке...
Ну, рассказывай, что там вышло
В недочитанной мне строке?

***

Непогожие дни похожи,
Чисто вымытые дождём.
Нет, не я разуваюсь в прихожей,
Отражаясь в окне твоём.

Это ветер качнул занавески
Угловатым своим плечом.
Испугался и — так по-детски –
Забубнил, что он ни при чём.

Это облако заглянуло
На секунду спросить: Ты — здесь?
Улыбнулось, легко вздохнуло
Оттого, что ты просто есть.

Это ангел твой тихо бродит
В паутинках июльских трав.
Это солнце опять восходит,
Воскресением смерть поправ.

Ася СЕНИНА

ЛОШАДИНАЯ ДОЛЯ

Я — не бурка, я — баба с возу,
Я пешком — и кобыле легче,
И — любовью гнедой искалечена –
В сивый стих выправляю прозу.

То ли принц мой совсем без принципов,
То ль буланый забыл дорогу,
Я вчера подвернула ногу,
Убегала от колесницы.

А сегодня тропинка вывела
На утёс с лошадиной мордою.
Море — фыркало, море — гордое –
Жрать просило у тучи с выменем.

Завтра что ж? Вороная конница?
Али крылья единорожьи?
Я Тебе доверяю вожжи,
Я Себе даю успокоиться.

Новый месяц на небе вывешен
Над порогом златой подковою.
Я посплю. Пусть приснится Новое.
Будто лошадь в ухо подышит.

МОСКВА

Я в городе
Город во мне
Проделывает брешь
Брешет в неё рекламой,
Будто и впрямь что-то знает.
Город опутывает меня паутиной.
Впаривает счастье в подарочной упаковке
С хорошей скидкой и сроком гарантии.
Эй, город! Ну, может, хватит?
Ковырять пальчиком
Плотину.

***

Я знаю, твой город встревожен,
В нем нету меня больше суток,
В оттаявших окнах маршруток
Мой профиль, увы, невозможен.

И даже в кофейне напротив
Остались табак и корица,
И только тревожные лица –
Увидят и взгляды отводят.

Ну что же! Мой город похожий –
Конвейеры улиц и пляжей –
И жизнь в нём течет ненапряжно,
И все, что захочешь, — возможно.

Но вдруг всколыхнёт атмосферу,
Промчавшийся мимо Лэнд Ровер
И чей-то улыбчивый профиль
Не будет мной принят на веру.

А где-то в верховьях Тибета
Анфас — веселящийся Будда:
Не вера, но знание чуда,
Не future, а прошлое лето.

И пусть кинопленка сознанья
Не многим прочней CD-Rok,
Ну, может, довольно проверок?
Ну, может, и впрямь «До свиданья»?

***

Имар — вот так слово привиделось!
Кочевник с валдайских предгорий.
Шестиногое облако в юбке апрельских дождей.
Свет, оцифрованный в запах сырых фонарей.
Бег горностая по выжженной топи.
Имар.
Соки осоки,
где лишь через пять километров ручей.
Ты чей, Имар?
Чашка густого кофе,
Когда поджимают срок,
Лунный и звёздный день,
Или тот же лунный кусочек масла на сковородке
Мечты
и прочая дребедень — стоит только учуять запах
Дождя ночного
И марта во льдах прибоя.
Имар –
Тёплые гольфы к артритно промокшим ногам,
Но не здесь, а где-нибудь там –
Покоряя горные тропы,
Или шоссейные тромбы
Под звуки собственных мыслей.
Имар — ты — послеобеденный кошмар,
Замерших в воздухе листьев,
Не пойманных временем в сачок паутинной мороси.
Имар — штампованный дар,
Черновой, но набело переписанной молодости.

Ирина ЧАЛЕНКО

БЕЛАЯ ДЕПРЕССИЯ

1.
Не могу без мечты. Не могу без надежды.
Не боюсь я плиты, стирки грязной одежды...
Одиноко мне, друг.
Ты один это знаешь.
Я слетала на Юг.
Ты — повсюду летаешь...
Я хотела уйти
От болезни и грусти.
(Отдыхала в пути),
Только грусть стала... грустью.
Стала черной тоской,
Птицей умалишённой...
Ведь один ты такой,
Кто позвал меня в жёны.

2.
Я, наверно, тебя люблю,
Но об этом еще не знаю.
Я, наверно, тебе куплю...
Что конкретно? Пока не знаю.
Я, наверно, тебе отдам...
А вернёшь ли? Пока не знаю.
Поселился ты (где-то там...)
В моем сердце. Я это знаю.

3.
Я сегодня поставлю под дождь бокал,
(Буду пить за твое здоровье).
Нарисую портрет твой: начну с виска,
А закончу тоской (под бровью).

Я сегодня поставлю бутылку и
И цветы в неё — (луговые).
Буду искренне улыбаться им,
(Ведь они у меня живые).

Хочешь — песнею? Хочешь — каплею?
Хочешь — радостью обернусь?
На обиды прежние просто наплюю!
(Я к тебе все равно вернусь).

Будет солнце. И солнце сильное!
У подъезда меня найди.
Одуревшая и бессильная,
Но твоя! На твоей груди!

Я сегодня поставлю под дождь бокал,
(Буду пить за твое здоровье).
Буду бить наше прошлое (из зеркал)
И — на счастье! И — на здоровье!!!

Станет утро. Свет. К луже наклонюсь...
И умою свои ладони.
Потому что дождь... заливает грусть,
Потому что любовь... не тонет.

4.
Нет. Не ангел ты с картин в белом свете.
Просто... ты такой один в Белом Свете.

Наталья ЕРШОВА

***

Песни рыжих паладинов
За окошком свищет ветер,
За окошком лед немножко
Оголился перед бурей.
За окошком ходят кошки
По холодным тротуарам.
За окном немые учат
Неосмысленного жить.

Что ли, выйти за окошко?
Может, там немного лучше?
Может, там гуляют люди

И смеются невпопад?
Может, там седые вьюги,
Ну, а может, — листопад.

Никогда уже не выйдем,
Нам с тобой осталось только
Улыбаться из окошка,
Только думать да гадать:
Хорошо ли там иль плохо,
То ли буря, то ли ветер,
То ли дождик, то ли тень…

БАЛЛАДА О ПОТЕРЕ ОПЫТА

У старых рыцарей есть кодекс,
У старых девочек есть кошки,
У старых мальчиков — квартира,
В которой бродит пустота.
Печаль моя пуста…

У старых кошек есть помойка,
У старых псов есть новостройка,
На стройке — старые бомжи…
Что, боже, делать нам — скажи?
В нас поселилась пустота,
Печаль моя пуста.

У старых рыб есть только тина,
У старых птиц — немые скалы.
Нам ничего не рассказали
Безумно старые картины…
В них бродит пустота.
Печаль моя пуста…

И грудь стареющей кокетки —
Совсем не то, что нужно свету,
И бредни старого поэта
Уже не вызовут фурора…
Усталый вор под аркой встретит
Седеющего прокурора…
И скажет: «Здравствуй, пустота…»
Печаль моя пуста.

САМОЕ ЛЮБИМОЕ

Когда совсем уж станет плохо
И кончить с жизнью невтерпеж,
Скажу: пойдем со мной, Алёха,
В мою страну, где вечно дождь.

Пойдем туда, где мокнут ивы
И где целуются зонты,
Дома под тучами красивы
И не чужие я и ты…

Чего-то в жизни не хватает,
И не горит ни фонаря,
На улице листы считает
Ночная фея октября.

Ну, что так держишься упорно
За этот мир своей рукой?
Не верь ни ангелу, ни черту —
Там боли нет, там есть покой!

А ветер вновь кусты листает,
Все не горит ни фонаря.
Опавшие листы считает
Ночная фея октября…

***

Лежит в снегу Кармен,
Упавшая с берез.
Казалось мне, что я
Червивый абрикос.
Без водки и тепла
Червяк во мне умрет,
Сгнию и я сама —
Так кончит всякий плод.

Лежит в снегу Кармен,
Упавшая с берез,
Я русский вариант
Всех мексиканских слез.
Стираются носки,
Кончается зима,
От горя и тоски
Мы все сойдем с ума.

***

Дни суеты, а вечера — покоя,
Чист воздух, канул в лету зной дневной.
И кажется на лавочке сидящий алкоголик
Хранителем всей мудрости земной…
Дни суеты, а вечера — покоя.

И старый, очень старый майский двор
В развесистых, метущих небо липах
Со стайкой детства, смеха и улыбок
Свой вечный продолжает разговор…
Дни суеты, а вечера — покоя.

И кружится под липами земля
И тополя
Свой пух роняют.
Такие вечера — лекарство для
Всех нас, больных, —
Мгновенно душу исцеляют.

***

Холода бегут по кругу,
Образуя злую вьюгу...
Ни врагу уже, ни другу,
Никому и никогда...

Не закончен круг печали,
Листья небо раскачали,
Сны бежали, дни мелькали,
И молчали города...

Где-то мало, где-то — больше,
Нам в Париж бы, или в Польшу,
Нам куда-нибудь подальше –
Много фальши, господа...

Много грешных, много чистых,
Жизни смысл затмили листья...
В мире слишком много истин...
Круг закончен, господа!

Вадим ГОРБУНОВ

***

На Курилах, где парила
Злая птица альбатрос,
И волна, вставая, крыла,
Словно списанный матрос,
Где без смысла и без толку –
Лишь бы только не дурил –
Рвал вулкан клыками волка
Небо низкое Курил,
Был и я. Не очень нужен
И, конечно же, не нов,
Но меня качали туши
Уходящих островов,
Что б однажды ветром прежним,
Ходом сил и скрипом жил
Накатила неизбежность
Нахождения Курил...

***

Эта тема неглубока.
Словно донышко котелка.
Ни сладка она, ни остра.
Наспех сделана у костра.
Просто в этих глухих местах
Речь проста, и судьба проста.
Вот рубаха — просолена.
Все, как в добрые времена.

***

Паучок у ангела на щеке.
А в одной из лапок его — пакет,
А в пакете — ниток большой моток,
Пара спиц, цветок, носовой платок...
Божья тварь... Бездушная божья тварь...
Автомат вязальный...
Когда в янтарь
Облечет тебя ангельская слеза
Ты поднимешь грустно свои глаза
Из глубин посылая прощальный жест...
...Вот у женщин душу нашли уже...
...Вот уже и псы попадают в рай....
Может быть, и наша придёт пора...

***

Не привыкать понтоваться у Понта,
Но посмотри, Фортинбрас, –
Дамы стандартного евроремонта
Даже не смотрят на нас.
Выпасть из моды — почти из пространства,
Стать невидимкой почти.
Впрочем, про женское непостоянство
Лучше Сенеку прочти.
Впрочем, и нам не до взоров прелестниц,
Пусть хороши и горды.
Просто — пройти чередой этих лестниц,
И постоять у воды.
Видишь — все то же, все волны, да ветер,
Пламя по краю небес.
Путь кораблей будет легок и светел.
И еще жив Ахиллес.

***

В краю, где ленивой реки плеск
Становится морем через мгновенье.
На краю не столь отдалённых мест,
Куда ссылали на поселенье.
И ссылают. Где мерно грызёт волна
Ребра несозданных шхун и бригов.
В краю, где, в общем-то, тишина.
Где именами битв и комбригов
Называют и проклинают даты.
Под небом, где облака плывут –
Я, помнится, жил когда-то...
И сейчас, похоже, ещё живу.

Да, где же ещё, как не здесь, в краю
(Счастливом? Вряд ли... Неторопливом...)
Всё рисовавшем судьбу мою
Закатом по полосе отлива.
Хотя, конечно, уже с тех пор...

Но город так же, как и когда-то
Сбегает к морю со склонов гор,
И бьёт навстречу накат заката.

Александр АСТРАХАНЦЕВ

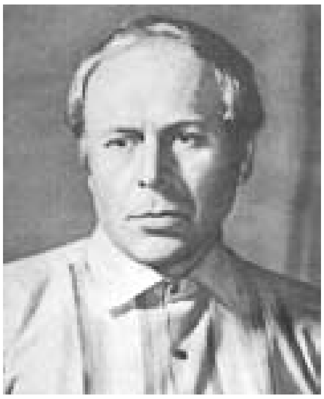
ЗЕМЛЯ ПОЛЫНЬ

пьеса в 2 действиях
(по мотивам прозы Тимура Назимкова)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Вячеслав Волянский, молодой человек без определённых занятий
Валентина Васильевна, мать **Вячеслава**
Павел Степанович, отец Вячеслава
Юрий Дерябин, художник, друг Вячеслава
Виталий, бывший одноклассник Вячеслава и сосед по двору
Жанна, бывшая одноклассница **Вячеслава**
Нина
Женщина, мать Нины
(могут исполнятся одной актрисой)
Мальчик, двойник Вячеслава (лет 10)
Юноша (лет 15)
Некто в белом (лет 33)
Мертвец
Двойники **Вячеслава**, могут исполняться одним актером; внешне похожим на Вячеслава
Алла Николаевна, психотерапевт районной поликлиники, лет 25
Илья Семенович, врач-психиатр в психиатрической больнице, неопределённого возраста
1 больной
2 больной
1 милиционер, Толян; он же — **санитар** Толян
2 милиционер, Серёга;
он же — **медбрат** Серёга
Официант

Задник сцены представляет собою серую стену. Стена разгорожена фрагментами перегородок слева, справа и посередине. В правой и левой половине стены — по двери. В правой перегородке — тоже дверь. Реквизит на левой половине сцены меняется в зависимости от того, какое назначение имеет это помещение по ходу действия. Правая половина представляет собою жилую комнату; в ней постоянно находятся стул, диван, трюмо и телефонный аппарат; остальной реквизит — по желанию постановщика. Трюмо, прислонённое к задней стене, устроено так, что в нем могут появляться **двойники Вячеслава**, когда он в него смотрит.
Часть действия пьесы происходит на авансцене; в левой стороне авансцены стоит уличный фонарь, в правой — скамья.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена 1

Правая половина сцены. **Вячеслав** в джинсах и майке с короткими рукавами, обутый в домашние шлёпанцы, сидит на диване с гитарой в руках; перед ним на стуле — раскрытая тетрадь.

Вячеслав. А ну-ка, еще раз. *(Поёт, аккомпанируя себе на гитаре)*.

По ночам, когда спят,
Я скую себе меч,
В живодёрне куплю коня,
Добрых старых поэтов
Сложу в рюкзак,
А потом — добром помяните меня.

Ну, и как, Вячеслав Палыч, находите? Недурственно, а? *(Другим голосом)*. По-моему, все о,кей. Вы — просто гений. *(Полушёпотом в сторону)*. Для удобрений... Ну, ладно, аплодисменты потом, поехали дальше. *(Заглядывает в тетрадь, читает про себя, водя пальцем по странице, затем продолжает петь)*.

Буду Дон-Кихот.
Веселитесь, сброд!
Объявляю миру войну!..

(Делает нервный жест). Нет, не так! *(Поёт снова, более энергично)*.

Буду Дон-Кихот.
Хохочите, сброд!
Начинаю с миром войну!
Я сегодня один,
Но иду на «вы»,
Запевая песню мою!

Ну, вот, это уже лучше. Вот так, Вячеслав Палыч, песни сочиняют! Это вам не дерьмо собачье, это песня. Ладно, как там у нас дальше? *(Водит пальцем по странице, затем снова продолжает петь)*.

В месиве тел
Устал мой конь...

Когда он поет последнюю фразу, из задней двери входит и останавливается на пороге **Валентина Васильевна**. Она в деловом костюме, но разута; в руках у нее — тяжёлая сумка.

Валентина Васильевна. Привет, Слава!

Вячеслав *(обрадованно)*. Маму-уля пришла, молока принесла! *(Откладывает гитару, вскакивает, бежит к матери, отбирает у нее и ставит на пол сумку, обнимает и целует мать)*. Привет, ма!

Валентина Васильевна. Почему ты с гитарой?

Вячеслав. Мам, я сегодня на работе песню сочинил. «Песенка Дон-Кихота»! Как тебе это, а? Аранжировку пробую.

Валентина Васильевна. Опять песни! Милый мой, тебя с этими песнями снова выгонят!

Вячеслав. Мама, я уже ушёл оттуда.

Валентина Васильевна. Как «ушёл»? Совсем, что ли?

Вячеслав. Да.

Валентина Васильевна. Ну почему, почему ты опять ушёл?.. *(С укором)*. Когда ты повзрослеешь?

Вячеслав *(ноющим голосом)*. Мам, ну не могу я там работать!

Валентина Васильевна. Опять в грузчики хочешь? Ведь отец тебя по знакомству устроил и второй раз не пойдёт — ты знаешь!

Вячеслав. Мамочка, ну, не ругайся! (*Снова целует её)*.

Валентина Васильевна. Ох, и лизун ты! *(С отчаянием)*. Опять отец пилить будет за тебя: не мужчина, скажет, а черт знает что!

Вячеслав. Ну что ты всё — «отец» да «отец»! А мне нравится тебя целовать, и я буду делать, что хочу! Если ему не нравится — это его проблемы. *(Смягчаясь)*. Пойдём, мам, сядь, отдохни, а я тебе спою.

Валентина Васильевна. Некогда мне сидеть. Ты хлеба купил?

Вячеслав. Нет.

Валентина Васильевна *(взрывается)*. Вот иди сейчас же и купи! *(Берет сумку и уходит в заднюю дверь)*.

Вячеслав *(вслед ей)*. Сейчас схожу!

(Вместо того, чтобы идти, снова садится на диван, берет гитару и тихо, задумчиво играет). Немного спустя ***Валентина Васильевна****, уже переодетая в домашний халат, снова заглядывает в дверь.*

Валентина Васильевна *(строго)*. Ты ещё не ушёл?.. Кстати, когда ты будешь готовиться в университет? Ты же нам обещал!

Вячеслав *(отвечает вяло, продолжая играть на гитаре)*. Ну, обещал. *(С решительной интонацией)*. Мама, я не хочу в университет!

Валентина Васильевна *(решительно проходит, берёт стул, сбросив с него на диван тетрадь*

Вячеслав *(опирается руками о спинку стула, затем, в продолжение разговора, садится на него)*. Опять не хочешь? А что будешь говорить отцу? Опять — пыль до потолка?

Вячеслав. Мама, мне надоело жить по вашим правилам!

Валентина Васильевна. Это не наши правила, сынок, это правила общечеловеческие. Пока ты молод, ты должен учиться. Это даже дети животных знают — посмотри, как они торопятся постигать науку жизни. Ты и так уже столько лет нам с отцом головы морочишь: горный тебе не подошёл, пединститут не нравится... Ты пишешь, рисуешь, сочиняешь песни — всё это мило, конечно, но взрослому человеку, Слава, надо иметь профессию и уметь зарабатывать!

Вячеслав. Я не хочу, мама, просто зарабатывать — мне это противно.

Валентина Васильевна. Хочешь быть вечным нахлебником у нас с отцом? Но, во-первых, это безнравственно, а, во-вторых, мы не вечны.

Вячеслав *(понемногу распаляется)*. Ради Бога, чего тебе надо? Да, я не люблю подёнщину — но я же не отказываюсь! Найду я себе работу, так что не укоряй меня вашими милостями!

Валентина Васильевна. Сынок, но зачем тебе, с твоим-то интеллектом — грузчиком, лаборантом?.. Плохо, что мы с папой не настояли, чтоб ты тогда закончил. Нам стыдно, что наш сын — неуч.

Вячеслав. Ничего, что-нибудь и из меня получится... Почему вы мне тогда не разрешили в художественное училище?

Валентина Васильевна. Мы хотели, чтоб ты закончил нормальную среднюю школу.

Вячеслав. Теперь хотите, чтоб закончил ещё и «нормальный» универ?

Валентина Васильевна. Я понимаю, тебе сейчас трудно рядом с семнадцатилетними, но превозмоги себя!

Вячеслав. Да не в этом дело! Просто как представлю опять эту учёную жвачку! Ничего он мне не даст!

Валентина Васильевна. Он тебе даст диплом. Ну, нельзя нынче, Слава, без диплома! Вон твой одноклассник Виталий: средненький,

серенький — а закончил вуз, зарабатывает, и, по-моему — неплохо! А где вы, высоколобые, которые блистали в классе? Один в трубу дует в занюханном оркестре; ты вот комнатным философом становишься. У тебя даже приличной девушки нет — они шарахаются от твоих монологов и твоей бесперспективности!

Вячеслав *(вскакивает и возбуждённо ходит по комнате, энергично жестикулируя)*. И всё равно я не хочу жить по заданной программе! Опутали себя правилами, приличиями — и ты с ними? Ты же умная, мама!.. Я хочу, чтоб моя жизнь была актом творения, в ней огонь должен гореть, огонь души, любви, дружбы! Пусть ошибки, пусть глупости — но аромат жизни, мама, он должен окружать нас, иначе зачем она, такая? Аромат, мама, а не зловоние! А вы, с вашими дипломами, диссертациями, придали вы ей красоты? Так на фига мне этот ваш диплом? Чтобы лгать, притворяться, повторять глупости? Эта гонка за зарплату, за квартиру, за машину — я не желаю в них участвовать!

Валентина Васильевна *(укоризненно качая головой)*. Слава, ну, нельзя так по-детски рассуждать! Пока ты молод, это, может, в самом деле скучно, но когда у тебя появятся жена, дети...

Вячеслав. Да на фиг мне такая жена, которая меня не поймёт? Каждый день говорить с такой, ложиться в постель? Кошмар!

Валентина Васильевна. Все так думают, пока петушок не клюнет.

Вячеслав. Да я лучше повешусь!..

Валентина Васильевна. Зачем глупости молоть?

Вячеслав. Ты еще не знаешь, какие глупости приходят мне в голову.

Валентина Васильевна. Знаю! Ты больше сиди над дневниками и гадости в них пиши! Это же ужас, что ты там пишешь!

Вячеслав *(строго)*. Ты опять мои дневники брала?

Валентина Васильевна. А ты их больше разбрасывай! И вообще, в тетрадях их пишут, а не на клочках разных!

Вячеслав. Я не для тебя их пишу, а для себя — это мои будущие романы!

Валентина Васильевна. Знаешь, что я тебе скажу? Не след нести туда всё, что на ум взбредёт — тебе самому потом стыдно будет.

Вячеслав. Нет, мама! Пусть я гадкий, порочный, похотливый — но я буду честным, я не собираюсь ни лгать, ни лицемерить и ни трусить ни перед кем, как это делаешь ты, как отец, как вы все!

Валентина Васильевна *(гневно)*. Знаешь что? Ты еще не жил, ты жил под крылышком — какое право ты имеешь нас с отцом учить?

Вячеслав. Почему у тебя вместо доводов — одни упрёки? И почему я не могу говорить, что думаю? Опять ты меня учишь лицемерию? И почему ты меня укоряешь вашим хлебом? Придёт время — отдам!

Валентина Васильевна. Ну, почему ты такой, а? Говорить с тобой — это какие нервы надо иметь! *(В голосе её слышатся слёзы)*. Я, между прочим, работала целый день, а ты баклуши бил!.. И вообще, давай-ка, Дон-Кихот Ламанчский, спускайся на землю и шуруй за хлебом — не желаю тебя слушать! *(Уходит, хлопнув дверью)*.

Сцена 2

Вячеслав взволнованно ходит по комнате, останавливается перед зеркалом. Одновременно в зеркале появляется **Мальчик**; он в школьном костюме с белой рубашкой; в руке у него футляр от скрипки. **Мальчик** у трудно стоять неподвижно — во время диалога он то серьёзен, то корчит рожицы, то чешет ногу об ногу.

Вячеслав *(как старому знакомому)*. А-а, это ты? Привет!

Мальчик *(доброжелательно улыбаясь)*. Я. Привет!

Вячеслав. То есть ты — это я, только маленький.

Мальчик. Нет, ты — это я, только большой.

Вячеслав *(с напускной строгостью)*. Ладно, кончай софизмы.

Мальчик. Чего?

Вячеслав. Приколы, говорю, кончай! Как живешь?

Мальчик. Ничего, нормально.

Вячеслав. Ничего — или нормально?.. Чем занимаешься?

Мальчик. Всем: читаю, рисую, на скрипку хожу.

Вячеслав. Да, нагрузки! Мамочка это любит.

Мальчик *(запальчиво)*. А я маму люблю, понятно?

Вячеслав. Она всё ещё читает тебе перед сном?

Мальчик. Читает.

Вячеслав. И целует в веки, и ты уходишь в сон, как в сказку?

Мальчик. Целует. И папу я люблю — я всех люблю!

Вячеслав. Да-а, брат, золотое время. А я вот уже никого не люблю.
Мальчик. И маму?
Вячеслав *(кивает)*. Перегорело, брат. Отца просто уже видеть не могу, и с мамой, как видишь... Ей ещё молодой побыть охота, а я у неё такой большой и неудобный. Самец. И мне эти её воспитательные порывы — во! *(Чиркает пальцем по горлу)*. Срываюсь... Такие, брат, дела... *(Грозит пальцем)*. Знаю: тебе бы скорей — взрослым, да?
Мальчик. Конечно! Взрослым — хорошо.
Вячеслав. Да ничего хорошего. Не торопись, держись там подольше... *(Далее — скорее, себе самому)*. Это же сплошной сладкий сон: все — добрые, всех любишь, мир такой яркий; ни скуки, ни смерти — даже думать не надо... Ну, ладно, мне за хлебом. Побежали?
Мальчик. Мне на скрипку надо, урок сдавать.
Вячеслав. Ладно, сдавай, а я пошёл. Заглядывай! *(Машет ему рукой)*.
Мальчик *(тоже машет рукой)*. Пока!

Вячеслав отходит от зеркала. Одновременно исчезает **Мальчик**. **Вячеслав** исчезает за боковой дверью, возвращается уже со спортивной сумкой в руке и уходит в заднюю дверь.

Сцена 3

Слева на авансцену выходит **Жанна**; она — в элегантном платье, в туфлях на высоких каблуках, с дамской сумкой. Из-за сцены — голос **Вячеслав**а: «Жанна! Погоди!» **Жанна** останавливается и ждет. Из-за сцены слева выбегает **Вячеслав**. Он в той же одежде, только обут в кроссовки, и — со спортивной сумкой на плече.
Вячеслав *(широко улыбается; слегка запыхался)*. Привет!
Жанна *(с достоинством)*. Привет.
Вячеслав. Ну, ты и пилишь — еле догнал!
Жанна. Некогда.
Вячеслав. А я вижу издалека — вроде, ты. И, как всегда, неотразима.
Жанна. Леща кидаешь?
Вячеслав. Честное слово — клянусь своим будущим, единственным, что у меня есть... Как жизнь?
Жанна. Догнал затем, чтоб спросить?
Вячеслав. Не только. Нам что, уже и поговорить не о чем? Ты куда?
Жанна. Маму проведала. В аптеку надо, лекарство ей купить.
Вячеслав. Разве ты не тут теперь живешь?
Жанна. Нет.
Вячеслав. А я думаю: чего это тебя не видать? Ну, пойдем? (*Берет ее под руку; далее во время диалога они прогуливаются по авансцене; увлекаясь разговором, он иногда забегает вперед, пятясь задом, и горячо жестикулирует)*. Как работается? Дети не замучили?
Жанна. Тяну лямку, как все. Благо большой отпуск летом — успеваешь отдохнуть. А работа нравится. Школа, видно, — моя судьба.
Вячеслав. Ты серьёзная стала.
Жанна. Так жизнь научит... А ты чем занимаешься?
Вячеслав. Ничем пока.
Жанна. Универ закончил?
Вячеслав *(отрицательно мотает головой)*. М-м.
Жанна. Странно! Ты же такой способный был. Светился весь.
Вячеслав. А я и сейчас свечусь — разве не видно? *(Серьёзнеет)*. Да неохота эту жвачку жевать, ушёл. Вся их мудрость мне уже известна.
Жанна. Ой, Славка, ты так и остался хвастунишкой: всё-то ты знаешь!
Вячеслав. А я и в самом деле всё знаю *(**Жанна** при этом усмехается и качает головой)*. Ну, хорошо, не всё. Но там я только время теряю.
Жанна. Слава, милый, все лентяи так говорят.
Вячеслав. Жанка, я не фуфло, я умею работать, и сил полно. Куда их девать? Протирать штаны?
Жанна. А диплом?
Вячеслав. Ты прямо как моя мама.
Жанна. Так твоя мама, наверное, права... А я на тебя, помню, как на небожителя смотрела... Ты ведь музыкой интересовался, да с такими загибами: то барокко, то рок самый крутой. Всё интересуешься?
Вячеслав. О, это уже далеко! Хотя идешь иногда по улице: грязь кругом, рожи пьяные, и вдруг — мелодия! Как резанёт, и — поплыл: над пьяными нимбы светятся, вместо грязи — алмазы россыпью!
Жанна. Красиво... Ты ведь и рисовал здорово.
Вячеслав. А я, может, тебя хотел покорить, такую неприступную!
Жанна Я? Неприступная? *(Смеется)*. Стыдно вспомнить — такой опытной хотела казаться. Курить взялась... Кошмар!
Вячеслав. Ты и была опытной.
Жанна. Ну уж... Да и ты не таким уж лопушком был!
Вячеслав *(показывает рукой вдаль)*. Смотри, какая перспектива! Этот ритм домов, эти тополя — какие они налитые силой: как

кованые стоят! И — небо. Эти переливы света, холмы вдалеке... Я люблю нашу улицу — никуда не хочу уезжать: здесь ведь жила ты. Слышишь?
Пауза.
Жанна. Почему ты не стал художником?
Вячеслав. Спроси лучше, кем ещё я не стал.
Жанна. А как же ты?.. *(Запинается).*
Вячеслав. Добываю на хлеб, хочешь сказать?
Жанна. Да.
Вячеслав. А папа с мамой есть. Иногда сам зарабатываю.
Жанна. Но как же?.. А состарятся?
Вячеслав. Я состарюсь раньше их. Они бодрячки — долго проскрипят.
Жанна. Зачем ты так? Не стыдно?
Вячеслав *(мотает головой).* М-м... А помнишь, как мы с тобой?..
Жанна *(хмурясь).* Зачем вспоминать?
Вячеслав. Нравится. *(Торжествующе).* И я у тебя был первый!
Жанна. Не надо!
Вячеслав. А я буду!.. Как у тебя сейчас с этим?
Жанна. Нормально.
Вячеслав. Ты его любишь?
Жанна *(возмущённо).* Зачем тебе знать?
Вячеслав. Да, ты права, незачем — я ведь человек неопределённых занятий, и — без диплома... А стихи помнишь?
Жанна *(резко).* Что же я, склеротичка?.. А как у тебя в сердечном плане? *(Делает ударение на слове «у тебя»).*
Вячеслав. Никак.
Жанна. Странно: девчонки от тебя тащиться должны. Ленишься, значит.
Вячеслав. Прости, но на правах первого любовника — если откровенно: мне до сих пор, как тогда, половой акт — лишь довесок к состоянию. А если сам по себе — то это лишь конвульсии...
Жанна *(возмущённо).* Хватит! Стань монахом — теперь это легко!
Вячеслав. А тестостерон куда?.. Монастырь — это слишком просто; хочу здесь выстоять. *(Далее — страстно и торопливо).* Жанна, я отравлен тобой, понимаешь? Всё — как вчера: вкус на губах, осязание пальцев, запах волос, шеи, груди — всё помню! А главное — как парю над бездной! Я не могу повторить это — всё не то, женское тело мясом кажется: сытое тело — оно ведь мясом пахнет, Жанна!
Жанна. Перестань, не хочу тебя слушать! Ты безумец!
Вячеслав. Да, безумец. Чувствую, потерялся в этом мире, хожу и ищу себя. Но я тихий безумец: никому не мешаю, никого не убил.
Жанна. Я не хочу тебя слушать! Уйди, я тебя прошу!
Вячеслав. Жанна! Мне нужна ты!
Жанна. Отстань!.. Всё, Славка, проходит! Надо жить, дурачок, а не дразнить себя тем, что было! Найди себе девицу — вон их сколько; тебе это — тьфу! — а не ходи за мной и не лей слёзы о том, что было! Проехали!
Вячеслав. Ну не могу я, Жанка, найти — они утратили тайну! Честное слово, они мне спрутами кажутся с щупальцами, с присосками — ловить жертвы! Там ничего нет, только зоология и инстинкты!
Жанна *(смеется).* Славка, Славка! До чего ты дошёл!
Вячеслав. Смешной, да?.. Но я могу быть только с тобой — или с твоим двойником. Я пройду мир и найду его — бывают же?
Жанна. Не бывает, Славик. *(Она касается ладонью его щеки).* Бедный мальчик. *(Меняя тон, говорит резко).* Не ходи за мной, обещай мне!
Вячеслав. Раз хочешь — обещаю.
Жанна. Надо, Славик, учиться терпеть.
Вячеслав. Да на черта мне такая жизнь!
Жанна. Ну-ну, не надо. Может, у тебя и в самом деле блестящее будущее? Но что ты можешь мне дать? А у меня муж, сын. Роль любовницы, этакой Музы возле бедного гения, меня не соблазняет. Мне, Славка, надо жить сегодня. Женская доля — она такая короткая: ты еще мальчик, а я уже баба... Тебе пахать надо, работать как следует.
Вячеслав. А я не работаю? Откуда тебе знать, как я живу?
Жанна. Вот и работай. *(Улыбается).* А сделаешь что-нибудь путнее — встретимся, и покажешь, на что способен, ладно? А пока, Слава, извини, мне надо бежать! *(Чмокает его в щеку, машет рукой и уходит).*

Сцена 4

Вячеслав медленно идет по авансцене. Навстречу — **Виталий**; он ниже **Вячеслав**а ростом и склонен к полноте.

Виталий. Вяч, привет! *(Протягивает Вячеславу руку).* **Ты же вроде как с Жанкой сейчас гулял?**
Вячеслав *(безучастно).* Да.
Виталий. Прямо тротуар до дыр протёрли: туда-сюда, туда-сюда! Дай-ка, думаю, накрою вас тут... Как она?

Вячеслав. Давно не виделись, «за жизнь» поговорили. Она замужем.
Виталий. Во заправила тебе мозги! Они давно разбежались!
Вячеслав. Врешь ты.
Виталий. Ну, хорошо, не так давно — месяца два.
Вячеслав. Брешешь!
Виталий. Да зачем мне врать, если я её Олега, как вот тебя, знаю?
Вячеслав. Странно... А что ж она тогда?..
Виталий. Значит, не кадр — они же за версту чуют, где пожива!
Вячеслав. Жалеет, что не может встречаться...
Виталий. Да они все — дай Бог какие актрисы!.. А жена бы — вот такая! *(Показывает большой палец)*. И тут, и тут *(показывает на грудь и бедра)* — всё при ней, с гонорком: такая, чуть что, налево не побежит. И квартира своя, и у матушки квартира шикарная: папочка-то у нее шишкой был... Смотри, не проморгай — ты же её отоваривал?
Вячеслав. Я? Нет!
Виталий. Брось темнить! Да ладно, дело прошлое... Как ты, не женился?
Вячеслав. Пока нет. А ты?
Виталий. Поищи дураков! Мне только такая, как Жанка, нужна... А ты всё пишешь?
Вячеслав. Пробую.
Виталий *(иронически)*. Ну, давай... Ты же у нас в гениях ходил!
Вячеслав. Ладно, не подначивай. Ты-то как?
Виталий *(хохочет)*. С хлеба на водку. Братец сродный на фирму пригласил, раскручиваем. Хожу вечерами в спортзал, качаюсь. Во, видал? *(Напрягает бицепс, хлопает по нему ладонью)*.
Вячеслав *(усмехается)*. Что, помогает фирму раскручивать?
Виталий. Зачем? Радость от мышц, здоровье! Девки это любят. *(Оглядывает Вячеслава)*. Тебе бы тоже не мешало качнуться. Давай?
Вячеслав *(отрицательно качает головой)*. М-м.
Виталий. Нам бы с тобой скучковаться, а? Пойдём на дискотеку?
Вячеслав *(опять отрицательно качает головой)*. М-м.
Виталий. Чего ты такой малохольный? Зачалим по телке — и ко мне на дачу, а? С этим делом *(щелкает ногтем по глотке)*.
Вячеслав. Возьми, Вит, другого.
Виталий. Ты — подходящий. Вдвоём-то бы мы такого наворотили!
Вячеслав. Устарел я, Вит, для этих скачек. Толкотни не люблю.
Виталий. Ладно, новый проект выдаю! У меня один кадр есть, Нинка. Займись, а? Такая рясная девка! Только ломается, принца ждет. Зачем тогда, падла, на дискотеку прёшься? Вот я ей тебя, вместо принца, и подсуну: отоварить её надо, чтоб не ломалась. *(**Вячеслав** отрицательно качает головой)*. Что, по Жанке всё?.. Да плюй ты на них!
Вячеслав *(машет рукой)*. Ладно, пошли! Только домой забегу.
Виталий. Вот это — дело! Давай — жду! *(Хлопает **Вячеслава** по плечу, и они расходятся в разные стороны)*.

Сцена 5

Вячеслав *(с сумкой на плече входит из задней двери в правую комнату и громко кричит)*. Мама, хлеба я не купил!
Валентина Васильевна *(входит следом)*. Почему не купил?
Вячеслав. Закрыто уже.
Валентина Васильевна. Почему на Нижнюю не сбегал?
Вячеслав. Там тоже нет.
Валентина Васильевна *(грозит пальцем)*. Слава!
Вячеслав. Ну, не бегал, не бегал.
Валентина Васильевна. Как я тебя кормить буду?
Вячеслав. Не надо меня кормить — я тороплюсь.
Валентина Васильевна. Что за спешка?
Вячеслав. С Виталиком договорились книгу интересную посмотреть у одного человека.
Валентина Васильевна. И что ты с Виталием нашёл общего?
Вячеслав. Так я же говорю: книги, мам.
Валентина Васильевна. Пустой он парень. И, по-моему, циник.
Вячеслав. Но с ним я вижу спектр жизни смещённым в красную сторону, исправляю перекосы вашего воспитания. Моя сторона — ультрафиолет.
Валентнна Васильевна. А чем он сейчас занимается?
Вячеслав. О, большой человек! Говорит, брат на фирму устроил.
Валентина Васильевна. Вот видишь: посредственность — а вуз закончил, профессию получил.
Вячеслав. Мам, ну хватит, а?.. Пойду учиться у него жить. А пока мне надо переодеться, извини. *(Уходит в боковую дверь)*.
Валентина Васильевна уходит.

Сцена 6

Вячеслав входит, переодетый в другие, свежие, брюки и рубашку. Застёгивая их на ходу, подходит к зеркалу. В зеркале появляется **Юноша**. При внешней схожести с **Вячеславом** он потоньше статью. Волосы его висят до плеч; одет неряшливо: на майке — портрет какой-то бородатой личности, рваные джинсы — с заплатами. Он насторожен и угловат в движениях. Во время диалога с ним **Вячеслав** продолжает застёгиваться, затем прихорашивается перед зеркалом.

Вячеслав. А-а, это ты?

Юноша. Не помешал?

Вячеслав. Немного. Да ладно... Всё такой же пижончик?

Юноша. Не пижончик, а классный пижон. А ты уже зашершавел?

Вячеслав. В каком смысле?

Юноша. В смысле — шерстью обрастаешь?

Вячеслав. Пошёл к чёрту!

Юноша. Думал, ты юмор сечёшь.

Вячеслав. Ну, обрастаю. А ты ещё видишь мир через цветные стёкла?

Юноша. Смеёшься?

Вячеслав. Уже разучился. Я, брат, много чего разучился делать: смеяться, плакать, восхищаться. Зато научился притворяться взрослым.

Юноша. Ох, как мне эта ваша жизнь противна!

Вячеслав. Тебя что, кто-то обидел?

Юноша. Не в этом дело! Почему они все тащат меня на аркане: должен, должен! По команде спать, учиться, в театр ходить!..

Вячеслав *(усмехается)*. Да, брат, тяжёлая жизнь — в театр ходить.

Юноша. Некогда подумать! Я бы сам всё делал!

Вячеслав. Но если всё время думать — только и будешь стоять и думать. Они хотят, чтоб ты научился жить автоматом — так легче.

Юноша. А я не хочу автоматом, я личность!

Вячеслав. Но не может же личность долго думать, как надевать рубаху!

Юноша. А я хочу и рубаху надевать, думая — может, и надевать не стоит!

Вячеслав. Стоит.

Юноша *(безнадёжно машет рукой)*. И ты туда же!

Вячеслав. Знаешь, что я тебе скажу? Береги психику. Дальше — ещё страшней: такие вопросы пойдут!..

Юноша. Какие?

Вячеслав. Так тебе всё сразу и скажи!

Юноша. А хочешь, по секрету одну эпохальную мысль? Чтобы жить с ними заодно, надо входить в их занюханные проблемы, хохотать над их анекдотами и вообще быть, как все. Тьфу!

Вячеслав *(насмешливо)*. Ну, ты, брат, и суров! А я сдаюсь потихоньку. И стало даже нравиться жить.

Юноша *(иронически)*. Как корове на ферме, да? Вот загадка: как можно жить, не зная, зачем? И ведь живут!

Вячеслав. Коровы, что ли?

Юноша. Да зачем? Люди! И, главное, притворяются, что знают.

Вячеслав. Привыкли. Ты просто ещё не привык.

Юноша. Да разве можно к этому привыкнуть?.. Все говорят: мальчик, мальчик, многого не понимаешь.

Вячеслав. Да пусть говорят, тебе-то что?

Юноша. Ага, а сверлилка? *(Показывает пальцем в лоб)*. Как можно — без цели? Так и чешутся руки: и себя, и весь мир грохнуть разом, чтобы кончить с этой загадкой!

Вячеслав. Да главная загадка в том, что цели-то нет: ты сам себе — и цель, и средство... У тебя что-то случилось? Такой взъерошенный.

Юноша. А помнишь, как я из дома сбежал?

Вячеслав. Это в который раз? В первый, что ли?

Юноша. Ну, когда Кольку Петрова хоронили — на мотоцикле сбило.

Вячеслав. А-а!

Юноша. Такая бессмыслица — просто вот некуда деться! Взял и ушёл.

Вячеслав. Ага, и с милицией привели!.. А матушка-то при чём? Она же поседела тогда! Пойми, дурень: пока ты взрослеешь, она старухой становится, в тебя жизнь переливает. Не жалко?

Юноша *(с вызовом)*. А чего она надо мной смеётся?

Вячеслав. Может, это её последняя защита от тебя.

Юноша. А чего в душу лезть: расскажи да расскажи, что думаю? А как я расскажу? Ей страшно будет!

Вячеслав. И всё-таки ты с ней по-свински.

Юноша *(усмехается)*. Это ты уже про себя!

Вячеслав. Не надо грязи! Помню, какой ты был: капризный, как старик. Один отец мог тебя приструнить — только его и боишься.

Юноша. Не боюсь вовсе!

Вячеслав. Боишься. И ненавидишь. За то, что сильный, что работает, как вол, и тебя кормит!..

В дверь заглядывает **Валентина Васильевна**. **Юноша** в зеркале исчезает.
Валентина Васильевна. Ты ещё не ушёл? С кем ты разговариваешь? *(Входит, оглядывает комнату).*
Вячеслав *(продолжая стоять перед зеркалом).* Сам с собой.
Валентина Васильевна. Ты часто стал сам с собой разговаривать.
Вячеслав. Я что, кому-то мешаю?
Валентина Васильевна. Нет. Просто надо сходить к невропатологу.
Вячеслав. Ещё чего!
Валентина Васильевна. Что у тебя за привычка спорить по любому поводу?.. Собрался — так иди!
Вячеслав. Сейчас.
Валентина Васильевна еще раз оглядывает комнату и уходит. **Юноша** снова появляется в зеркале.
Юноша. Ушла?.. Да, я презираю взрослых! Как они сосут взапой эту жизнь! Смотреть противно: всё подгрести под себя готовы!
Вячеслав *(громким шепотом).* Чего кричишь — опять услышит!
Юноша. Да надоело!
Вячеслав. Всё сказал? Мне идти надо.
Юноша. Положим, всё.
Вячеслав. Какой ты ещё дурачок! И это — я?.. А мне, знаешь, всё больше нравится быть взрослым: хавать, грести под себя — нормальным быть... Скорей всего, таким и стану.
Юноша *(презрительно).* Да, ты уже старый.
Вячеслав *(хохочет).* Неужели?
Юноша. Конечно! На целых семь лет старше!
Снова заглядывает **Валентина Васильевна**. **Юноша** в зеркале исчезает.
Валентина Васильевна. Ты ещё не ушёл? Возьми трубку. Кажется, твоему Виталику невтерпёж. *(Продолжает стоять в дверях).*
Вячеслав *(подходит к телефонному аппарату, снимает трубку).* Алло! Это ты? Погоди! *(Опускает руку с трубкой и с укором обращается к матери).* Ты, мам, всё сказала?
Валентина Васильевна. Ухожу, ухожу. *(Ещё раз оглядев комнату, исчезает, прикрыв за собой дверь).*
Вячеслав *(в трубку).* Ну, ты чего? Не терпится?.. Сейчас, готов уже!.. *(Вешает трубку, уходит в боковую дверь, возвращается с курткой в руках, подходит к зеркалу. В зеркале вновь появляется* **Юноша***).*
Юноша *(усмехается).* Ой, кино!
Вячеслав *(надевая куртку).* А сам-то не кино гонишь?
Юноша. Да эта ваша жизнь кого хочешь достанет! Тошнит уже.
Вячеслав. Неужели всё так плохо?
Юноша. Н-нет, есть к-кое-что.
Вячеслав. Например?
Юноша. Н-ну, девчонки.
Вячеслав. Как у тебя с ними? Ты уже?..
Юноша *(смущенно опустив глаза).* Н-нет... ещё.
Вячеслав. Неуверен в себе?
Юноша *(запальчиво).* **Не в этом дело!**
Вячеслав. Видишь, как всё неоднозначно!
Юноша. Ты взрослый — с тобой неинтересно.
Вячеслав. А чего тогда явился?
Юноша. Да скучно.
Вячеслав. Скучно ему, видите ли! То тебя тянет пивко пробовать, то травку смолить, то к девкам развязным. Кино мне тут гонишь...
Юноша. Какой ты зануда!
Вячеслав. Да ведь всё, что тобой было, стало мной, понятно? Ничего даром не бывает — за всё, дружок, надо платить, вот так-то! Ладно, я побежал, держи хвост пистолетом! *(Идет к двери;* **Юноша** *исчезает).*

Сцена 7

В задней двери **Вячеслав** сталкивается с **Павлом Степановичем**; тот — в светлом костюме и белой рубашке с галстуком. **Вячеслав** отступает, пропуская отца в комнату.
Вячеслав. Добрый вечер, папа. Сегодня ты рано.
Павел Степанович. Привет. Спешишь?
Вячеслав. Да. Товарищ пригласил книги посмотреть.
Павел Степанович. Может, подождёт? Мне надо поговорить с тобой. Как у тебя с работой?
Вячеслав *(тихо).* Ты уже знаешь? Я бросил работу.
Павел Степанович. Знаю. А в чём причина?
Вячеслав. Конфликт.
Павел Степанович. И что ты теперь намерен? В университет?
Вячеслав. Нет.
Павел Степанович. Учиться не хочешь, работать — тоже...
Вячеслав. Я хочу писать.
Павел Степанович. Но это же не работа! То, что ты пишешь, или там на гитаре бренчишь, никому нынче не нужно и не интересно. Мы с матерью, конечно, в состоянии тебя прокормить, но это будет безнравственно и с нашей, и с твоей стороны. Ты уже взрослый.

Вячеслав. Не надо меня кормить.
Павел Степанович. Пиши вечерами, пусть это будет твоим хобби, а днём будь здоров трудись.
Вячеслав. Вечерами я и так занимаюсь.
Павел Степанович. Чем? Что-то не вижу.
Вячеслав. Стараюсь развить то, что дала природа.
Павел Степанович. У тебя на все возражения, причём самые демагогические. Вот куда ты сейчас? Почему не сидишь, не занимаешься?
Вячеслав. Я же сказал: меня ждёт товарищ. *(Делает нетерпеливое движение).* Извини, пап, но я бегу! *(Исчезает за дверью).*
Павел Степанович *(глядя вслед ему).* Убежал, паршивец! *(В дверях появляется* **Валентина Васильевна***).* Вот твоё слюнтяйство!
Валентина Васильевна. Павлик, успокойся! Пойдём ужинать.
Павел Степанович. Вот до чего твоё мягкосердечие доводит — он в тряпку превращается, в слизняка! Такие, к твоему сведению, кончают алкоголизмом, наркоманией и гомосексуализмом! Ты же знаешь, как я презираю такой тип мужчин!
Валентина Васильевна. Успокойся, прошу тебя! Я знаю, ты сам для себя идеал, но не надо так третировать сына! Да, ему не хватает характера, но нам надо поддерживать его, а не воевать с ним!
Павел Степанович. Зря я позволил тебе не рожать кучу ребятишек! Если один — неудачник, так хоть двое-трое остальных будут людьми; не так обидно за ошибку.
Валентина Васильевна. Не говори так про Славика, я тебя прошу! Никакой он не неудачник — из него всё ещё может получиться. Пойдём, Павлик, пойдём ужинать! *(Уводит его. Затемнение).*

Сцена 8

Вспыхивает уличный фонарь на авансцене. К нему выходят слева **Вячеслав** и **Нина**, не спеша идут вправо, в сторону скамейки. **Нина** — в топике и юбочке, причём юбочка едва прикрывает пах. На ногах у неё — босоножки на высоких каблуках.
Вячеслав. Тебя что, так и зовут — Нинон? Или — Нина?
Нина. Не-а, «Нинон» — красивше.
Вячеслав. Слушай, божественное создание — как ты танцуешь, как движешься! Училась танцам, что ли?
Нина. Не-а.
Вячеслав. А я, знаешь, сто лет на дискотеке не был. Какой серый маскарад! Столько отрицательной энергии выбрасывается!
Нина. Мне ничо, интересно.
Вячеслав. Ужасно смешные поскакушки. Часто бываешь?
Нина. Летом — каждый раз. А чего еще делать?
Вячеслав. А я в тебя втюрился без зазрения совести! Твои каблучки прямо по сердцу мне прошли. Заметила?
Нина. Ну.
Вячеслав. Какой обворожительный образ порока! Какой роскошный каприз природы — эти изгибы тела! *(Останавливается перед нею и бережно проводит ладонями по ее шее, плечам и груди).*
Нина *(легонько бьёт его по рукам).* Но-но, не цапайся!
Вячеслав. Ты что, девственница — или притворяешься? *(***Нина** *фыркает).* Молчание — знак согласия. Или сомнения?
Нина. Тебе-то какое дело?
Вячеслав. Я просто не могу не дотронуться до твоих прелестей; я их трогаю — как художник кистью! Насколько талантлива природа, единственный гениальный художник; все остальные — копиисты! Глядя на тебя, хочется стать на колени, поверить в Бога!
Нина. Не пойму: что ты говоришь? Вроде, порусски, а — непонятно.
Вячеслав *(порывисто целует её).* Простота ты моя божественная, я восхищаюсь тобой! И стараюсь говорить просто. Потерпи, ладно?
Нина. А я что делаю?
Вячеслав *(озадаченно, про себя).* М-да-а... Диалога не получается... Пойдём другим путем. *(Доходят до скамейки).* Давай посидим? *(Садится первым, увлекает* ***Нину*** *за собой и сажает себе на колени).* Вот так! Мёрзнешь? Давай, согрею. *(Обнимает ее).* И, знаешь, милая, ты помолчи немного, а?
Нина. Изо рта воняет, что ли?
Вячеслав. Ну что ты, от тебя амброзия исходит! Просто, боюсь, разочаруюсь. Хоть час побыть счастливым.
Нина. На черта ты мне сдался, если на час? Что я тебе, прости-господи?
Вячеслав. Смею ли так думать, Нинон? Зачаруй меня, увлеки, чтоб я сдался — и я твой навсегда!
Нина. Как — «навсегда»?
Вячеслав. Так, как понимаешь.
Нина *(помолчав).* Твои шнурки, небось, классно живут?

Вячеслав. Родители-то? Да, если с бытовой стороны — всё устроено. *(Усмехается)*. Представляю их лица... Что, замуж охота?
Нина. А тебе какое дело? Ты меня, вроде, ещё не звал.
Вячеслав. Я условие поставил: зачаруй! Я устал быть один. Миллион жителей вокруг — и ни души... А если дама открывает рот — то жабы прыгают. А однажды — ей-богу, сам видел! — крокодил выполз.
Нина. Х-хэ!
Пауза.
Вячеслав. Светлячок мой ночной, почему ты молчишь? Тебя не научили говорить? Что мне сделать, чтоб ты ожила? Я расколдую тебя, стану твоим Пигмалионом! Не может эта роскошная плоть быть тупой и грубой! Я научу тебя мечтать, слышишь? Ты будешь светиться разумом и радостью; ты у меня сиять начнёшь!
Нина. Ну, уж, скажешь: сиять!
Вячеслав. Да, девочка моя, только поверь! Начнём прямо тут. Зачем тебе этот камень на лице? Освети ночь улыбкой!
Нина. Х-хэ! С тобой не соскучишься.
Вячеслав. Ты права — никогда не соскучишься!
Нина *(ухмыляется)*. Знаем, чем кончается!
Вячеслав *(потухая)*. Хорошо знаешь, да?
Пауза.
Нина. А твой друг Виталий — забойный мужичок. Такой прикольный! Только вытыкивается.
Вячеслав. Каждый, Нинон, вытыкивается в меру способностей. Но, чем злословить, давай скажем ему спасибо — он свёл нас с тобой.
Нина *(помолчав)*. А ты — не женатик?
Вячеслав. Что, похож? *(Справившись с досадой, начинает ласкать её, постепенно возбуждаясь;* **Нина** *удерживает его руки, так что одновременно с дальнейшим диалогом у них идет борьба рук)*.
Нина. Ты ж дружил с одной.
Вячеслав. С чего ты взяла?
Нина. Ты в нашей школе учился — я помню.
Вячеслав. А я тебя — нет.
Нина. Так я малявкой была, а ты заканчивал — откуда тебе помнить?
Вячеслав. И какой же я был? *(Пытается запустить руку в её топик)*.
Нина. Тоже вытыкивался. Больше, чем щас. Отвали! *(Отталкивает его)*.
Вячеслав. И ты что, кончила школу?
Нина. А то!
Вячеслав. А чем занимаешься?
Нина. На юрфаке учусь.
Вячеслав. Ни фига навороты! И сама поступила?
Нина. Не-а, отчим по блату.
Вячеслав. Заботливый отчим.
Нина. Ага! Теперь соблазняет за это.
Вячеслав. Мра-ак... Еще не соблазнил?
Нина. Мать следит.
Вячеслав. Кем же ты стать хочешь?
Нина. Кем все. Может, адвокатом.
Вячеслав. Мрак сгущается. *(Снова запускает руку в её топик)*.
Нина *(снова отталкивает его руку)*. Отвали, говорю!
Вячеслав. Это не я, это моя кровь бесится. Знаешь, какая она у меня? Матушка её на травах настаивала, а папаша шампанского добавлял.
Нина *(усмехаясь)*. Н-ну, шуточки!.. *(Смотрит на часы, лениво потягивается)*. Домой надо — мать орать будет.
Вячеслав *(удерживая её на коленях)*. Побудь еще немного, а? Так приятно держать тебя в руках — как зверушку.
Нина. Такой странный: все бормочешь, бормочешь...
Вячеслав. Я ж не виноват, что ты фразы из трёх слов не воспринимаешь. Привыкла, когда молча? Так мы ж не черепахи. Я хочу быть с тобой, я хочу тебя, слышишь?
Нина. Сразу, что ли?.. Я ж тебе сказала: я не прости-господи!
Вячеслав. А когда, если не сразу? Ты меня возбуждаешь.
Нина. Потом...
Вячеслав *(про себя)*. Нет, меня с этой беседой и на час не хватит... Ладно, пошли, адвокатка, сдавать тебя матери... Только вот, что с тестостероном делать? *(Отпускает её с колен)*.
Нина (*спрыгивает, одергивает юбочку*). С чем?
Вячеслав. Да штука такая: не дает человеку покоя.
Нина *(грозит ему пальцем)*. Ох, хи-итрый!
Вячеслав. Ладно, пошли. *(Берет её за руку; они идут сначала к фонарю, потом к двери в левой стороне стены)*. И зачем тебе столько прелестей сразу? Это же аморально.
Нина. Странный какой... Придёшь еще?
Вячеслав. На дискотеку-то? Боже упаси! Ты ничего не поняла: другого раза не бывает. Надо, чтобы всё сразу повторилось: день, час, протуберанцы радости, ожидание счастья. Скажи, можно это повторить?
Нина *(пожимает плечами: они подходят к левой двери)*. Я пришла. Пока!

Вячеслав *(держит её за руку)*. Погоди.
Нина. Да мать орать будет.
Вячеслав. Ты знаешь, как растёт бамбук?
Нина *(отрицательно качает головой)*. М-м.
Вячеслав. Древние китайцы такую казнь придумали: сажать приговоренного на вот такой маленький *(показывает ноготь)* росточек бамбука, и он в течение суток пронизывает его насквозь. Так вот я чувствую себя таким приговоренным: мое состояние растёт, как бамбук, и дырявит меня напрочь. Торопись, девочка, пока он твёрдый и зелёный. Завянет.
Нина. Х-хэ, ты прямо как поэт!
Вячеслав. Почему «как»? Я и есть поэт.
Нина. Поэты — не такие. Пусти! *(Решительно вырывает свою руку из его, открывает дверь и входит туда, оставив щель)*. Приходи на дискотеку! Пока! *(Захлопывает дверь)*.
Вячеслав *(стоит перед закрытой дверью; затем поворачивается к ней спиной, опершись о дверной косяк. И начинает говорить сам с собой, сначала спокойно, постепенно оживляясь и жестикулируя)*. И правильно сделала, козявка, что сбежала... Нет, но замашки! Манеры, пардон... Почему их так тянет быть шлюхами? Инстинкт самки, что ли? Дикая смесь застенчивости, развязности и пустоты. Homo vulgaris!.. А росточек завянет... Да зачем тебе, Вячеслав Палыч, эта обуза, верно?.. Какие глупости нас волнуют! Чары разрушены, прелестница превратилась в ведьму. Я свободен — слышишь? Сво-бо-ден!.. Странно как: я больше люблю прощаться, чем знакомиться. И опять буду праздный и счастливый! Моя избранница, наверное, где-то ещё в куклы играет. Потерпи, Слава... *(Показывает на дверь)*. А ты ходи себе на эти скачки! Найдешь себе там дебила, то есть, простите, хорошего человека: он тебя огуляет, женится на тебе, ты ему розового дебильчика родишь; потом дебил тебе надоест, ты ему рога вот такие *(показывает)* наставишь, а он тебя будет бить по праздникам. Ты будешь пить, курить и говорить басом: бо-бо-бо! Вот твоё счастье, адвокаточка!..

Сцена 9

При последних словах его монолога за сценой слышен шум подъехавшей машины. Почти одновременно слева на сцену быстро выходят **2 милиционера** в униформе, с дубинками и наручниками на поясах.

1 милиционер *(показывая на дверь)*. Вот, точно: первый этаж, тринадцатая квартира. *(Показывает на* **Вячеслава***)*. А вот и он!
2 милиционер *(Вячеславу, грубо)*. Чего тут делаешь?
Вячеслав. Стою.
2 милиционер. Брось закидоны! Чего делаешь, спрашиваю!
Вячеслав. Стою. Что, нельзя?
2 милиционер *(смотрит на свои часы)*. В час ночи, да?
1 милиционер *(Вячеславу)*. С кем сейчас разговаривал?
Вячеслав. С дверью.
1 милиционер *(приближает лицо к лицу Вячеслава)*. А ну, дыхни!
Вячеслав шумно выдыхает ему в лицо.
1 милиционер *(с радостью)*. Есть маленько!
Из двери выходит **Женщина**. Она похожа на Нину, только — старше ее. Голос у нее зычный, а изо рта торчат клыки.
Вячеслав *(растерянно оборачивается к ней)*. Нина?
Женщина. Я те дам Нину! *(Обращается к милиционерам)*. Это я вас вызвала по телефону — стоит тут, за дверью, и оскорбляет дочь всяко!
1 милиционер *(Вячеславу)*. Что, из-за девчонки, что ли?
Вячеслав. Нет, я с дверью разговаривал.
Женщина. С какой дверью? Я же с той стороны стояла, всё слышала! Поносит и поносит — перед соседями стыдно! Напьются и хулиганят! Дочь на юриста учится, порядочная девушка! Защитите нас от хулигана!
Вячеслав. Да нужна мне ваша дочь! Я, правда, с дверью разговаривал.
1 милиционер *(крутя пальцем у виска)*. Ты что, парень, того?
Вячеслав. Да, есть маленько.
1 милиционер. Х-хэ!
2 милиционер. Берем его, Толян?
1 милиционер. Ага. Поедем с нами, там разберемся, кто такой.
Женщина. Я протокол подпишу — учить их надо, чтоб не мешали людям!
2 милиционер. Хорошо, поедемте тоже.
Все уходят за сцену влево. Затемнение.

Сцена 10

Вячеслав входит из правой задней двери; он в той же одежде, только на ногах у него — носки. Включает свет и на цыпочках крадется к боковой двери. В это время из задней двери входит **Валентина Васильевна**; она в халате

и тапочках на босу ногу. Когда **Вячеслав** берется за ручку боковой двери, **Валентина Васильевна** окликает его. Говорит она громким полушёпотом.
Валентина Васильевна. Слава!
Вячеслав *(вздрогнув, оборачивается).* А-а?
Валентина Васильевна. Где ты был? Почему так поздно?
Вячеслав. Ой, мамочка, в приключение попал...
Валентина Васильевна. Почему не позвонил, раз задерживаешься?
Вячеслав. Значит, не мог. Иди, иди, свободна! Отдыхай!
Валентина Васильевна. Спасибо за совет!.. Звонил Юра Дерябин.
Вячеслав. Из Москвы, что ли?
Валентина Васильевна. Да нет, приехал. Тебя хотел видеть.
Вячеслав. Когда звонил?
Валентина Васильевна. Только ты ушёл.
Вячеслав. Ах, как жалко! *(Садится на диван, обхватывает голову руками).* Лучше бы я с ним встретился! *(Напряжённо думает; затем вскакивает, подходит к матери, целует ее).* Спасибо, мам, что сказала! Сейчас пойду к нему.
Валентина Васильевна. С ума сошёл! Посмотри, сколько времени!
Вячеслав. Иди, мамочка, спи! Я должен увидеть его — вдруг он прилетел всего на день? Пока, мамочка! *(Машет ей рукой и быстро уходит).*
Валентина Васильевна стоит, опустив руки и задумчиво кивая головой. Затем выключает свет и тоже уходит. Затемнение.

Сцена 11

Раздаётся звонок в дверь. В левой половине сцены вспыхивает свет — его включает **Юрий Дерябин**. Он в добротном халате на голое тело и шлёпанцах на босу ногу. В помещении — мольберт с холстом на подрамнике, на холсте — несколько цветных мазков; посреди помещения — грубый стол, возле него — старинное вычурное кресло и грубая табуретка. **Юрий** отпирает дверь. Входит **Вячеслав**.
Юрий. Ух ты, Славка!
Вячеслав. Привет, Деряба!
Они протягивают друг другу руки и порывисто затем обнимаются.
Юрий. Ну, ты даёшь! Позже не мог?
Вячеслав. Извини, с девицей заболтался, а тут еще менты прискреблись. Прихожу домой — матушка говорит: ты звонил.
Юрий. Проходи... Продолжаешь терять время на девиц?
Вячеслав *(проходит, осматривается).* Ты же знаешь, я позднего зажигания. Только недавно научился им врать и не краснеть.
Юрий. А ты понял, что ложь имеет больший успех, чем мямлить правду?
Вячеслав. Да!.. Решил сбегать к тебе, а то опять умелелишь.
Юрий. Да, приехал на три дня, не больше.
Вячеслав. Может, завтра тогда?
Юрий. Нет уж, раз пришёл, садись! *(Берёт гостя под руку, усаживает на табуретку).* А я только что компанию выпроводил, лёг поспать.
Вячеслав. Нет, может, в самом деле, завтра?
Юрий. Не трепыхайся — завтра много дел, послезавтра — тоже.
Вячеслав. Просто раньше к тебе можно было в любое время.
Юрий. Ой, дед, те времена канули в Лету. Но тебе можно в любое. Пить будешь?
Вячеслав. А что у тебя?
Юрий. Чай, кофе. Коньяк есть, вино сухое.
Вячеслав. Красиво живёшь. Давай сухое.
Юрий уходит за кулисы, приносит бутылку вина, два стакана, тарелку с яблоками, откупоривает бутылку, наливает в стаканы, садится в кресло. Они неторопливо пьют вино. Диалог их, пока **Юрий** ходит и готовит стол, ни на секунду не прерывается. Во время последующего диалога **Юрий** подливает вино в стаканы.
Юрий. Вообще-то я теперь не пью. Но с тобой выпью. За всё, что было.
Вячеслав. Спасибо... Ну, как столица?
Юрий. Обрыдла. В Париж собираюсь.
Вячеслав. Ни фига закидоны! Надолго?
Юрий. Как масть пойдёт. Приехал вот с матушкой увидеться — да *(кивает на мольберт)* распродать здесь всё к чёртовой матери.
Вячеслав. А как же ты там? А деньги?
Юрий. Работать буду. Живут же люди?
Вячеслав. Зачем тебе это, Юра?
Юрий. Ты знаешь, Вяч, Москва — совсем не то, что мы себе представляли, сидя тут *(стучит пальцем по столу).* Москва большой барахолкой стала — торопится распродать всё, от женских половых органов до целых регионов. А художнику, сам понимаешь, нет места на барахолке. Правят бал сытые. Сытость — мечта и цель жизни. После неё второе дело — секс. После этого, само собой, кич подавай — слишком сытый желудок другого не принимает. И вся эта кичня любит называть

себя «измами«, чтобы, значит, поприличнее выглядеть. Вот такие навороты.
Вячеслав. Что, всё так безнадёжно?
Юрий. Да нет, материковая культура чувствуется, но она, как я понимаю, ушла в катакомбы, и мне, пришлому гунну, не открывается.
Вячеслав. Но ведь настоящая культура всегда жила в катакомбах.
Юрий. Неправда. Это мы так привыкли.
Вячеслав. Но ведь нынче, сдаётся мне, все цивилизованное человечество тонет в сытости, в собственном дерьме и сперме.
Юрий. Да пусть тонет, раз ему нравится, но меня увольте: дешёвкой и холуём в этой обжираловке быть не желаю. Хочу делать своё.
Вячеслав *(усмехается)*. В Париже, думаешь, по-другому?
Юрий. Может, и так же, но я там не был. Поеду, посмотрю. В Москве мне дают божескую цену только иностранцы. Свои — непременно на халяву норовят. Потому что как не было, так и нет ни пророков, ни художников в своем отечестве. Надо, чтобы тебя признали *там* — вот тогда прибегут и хороводы станут водить. Вернусь, но — только на коне.
Вячеслав. Тебе что, надо много денег?
Юрий *(смеётся, грозя пальцем)*. Поймать хочешь? Не выйдет! Да, хочу, но не затем, чтобы стать сытым — а только чтоб ни от кого не зависеть!
Вячеслав. Мне тебя будет не хватать, Деряба.
Юрий. Я пришлю тебе парижский адрес. Пиши.
Вячеслав. Что письма!..
Юрий. А ты знаешь, твои письма... Не знаю, как сказать... В них столько юмора! И боли тоже... Они у тебя — пронзительные.
Вячеслав. А от тебя дождёшься, как же! Одни открытки с пиктограммами. Тебя что, писать не учили?
Юрий. Прости, Вяч, но письма мне не даются. А твои я не выбрасываю — целая папка скопилась. *(Выливает из бутылки в стаканы остатки вина)*. Смотри-ка, хорошо пошла! Может, ещё?
Вячеслав. Давай!
Юрий уходит за кулисы, приносит следующую бутылку, садится, откупоривает, наполняет стаканы. Они продолжают не спеша пить вино, и **Юрий** подливает в пустеющие стаканы. Между тем, диалог их не прерывается; только заметно, что они понемногу пьянеют.
Юрий. Всё собирался показать твои письма там кому-нибудь из матёрых писателей. Позволил бы?
Вячеслав. Я — не против. Даже интересно!
Юрий. А я чувствовал в тебе потенциал и все думал: в чем он выльется? Ты все ходил, рисовал, но я же видел: не твоё это. Про себя-то я знал: те предки за спиной — они дышат мне в затылок; и где-то же они должны были выкрикнуть своё, верно? Мне было шестнадцать, а я понял: на меня этот крест ляжет! Но ты... За тебя было обидно: не может быть, чтобы всё ушло в пустоцвет! Наши — помнишь? — острые, как бритва, ощущения извест*и* на девок, на деньгу? Как-то не тянет на смысл жизни. И вот, оказывается, куда выперло: тексты, письма...
Вячеслав. Да это осколки! У меня в дневниках знаешь сколько этого добра? На всю жизнь хватит. Я роман, Деряба, начал — это будет во! *(Поднимает большой палец)*.
Юрий. Ну, давай! Только в нашем возрасте и можно быть гениальным!
Вячеслав. А в письмах — это так... продолжение споров, наши с тобой стрелы друг в друга. Наши истины — стоят же они чего-то?
Юрий. Стоят! За судьбу, что свела нас тогда! *(Поднимает стакан; чокаются с Вячеславом и выпивают)*.
Вячеслав. Я же знаю, как они все думали: если двое парней уединяются — не иначе как для чего-то грязного.
Юрий. Да плюй ты на них! Взглянул — и мимо! Они же по телевизору жить учатся, а любить — по справочнику. Их пророки даже искусство понимают как извращённый секс...
Вячеслав. Ты, я смотрю, подковался.
Юрий. Так с кем поведёшься...
Вячеслав. Как ты жил в белокаменной?
Юрий. Да как все. Я же, как приехал — сразу выставку сделал на Крымском Валу. Затраты офигенные: аренда, буклет, междусобойчик для приглашённых. Пришлось распродать много. По дешёвке гнал; всё поставил на кон. Поверишь ли, после закрытия на бутерброд не было. А потом куда? На улице торговать?.. И, ты знаешь, ноль внимания — никто. Чувствую, пролетаю. Но был там один член-кор: увидел мои работы и, ей-богу, об...ся от кайфа. А у него дочка, умненькая такая мартышка, полное извращение женской сути: с дипломами, про искусство лихо чирикает. Ну, я к ним и пристроился — чего мне терять, верно? Мартышка втюривается в меня капитально... В общем, поженились.
Вячеслав. Что ж ты молчишь? Поздравляю!
Юрий. Нет, а что делать? Я же для них инопланетянин! Ей надо было меня трахнуть, а мне — их: баш-на-баш... И, смотрю, сразу

всё по-другому: мастерская мне, статейки в печати, именитые гости, покупатели.
Вячеслав. Это тесть тебе Париж устраивает?
Юрий. Да ну, зачем! Теперь-то мне и нужды в нём нет.
Вячеслав. Да, ты изменился.
Юрий. Думаешь, мои устои метрополия подпилила? Я всегда анархистом был — ты забыл? У них же всё давно схвачено: каждый на двух стульях сидит и толкует тебе о правах. Всё, что можно заболтать, заболтают. Какая-то болезнь, ей-богу. Простой, как черный хлеб, язык им диким кажется. А я, ты знаешь, не мастер говорить — я чернорабочий, мне работать надо! Большой болт я забил на их условности: прихожу и спихиваю их со стула: отдай мне один! Ты, я знаю, заражён этой их культурой, а я свободен: я же пятым в семье родился, у меня тятька с мамкой вчёрную пили, и спал я с братьями на полу впокат и вырос в интернате — ты знаешь!.. Ну, ладно, расскажи лучше, как ты.
Вячеслав. Да скребусь по жизни.
Юрий. Работаешь?
Вячеслав. В смысле денег — нет. Какой-то разлад: не могу с людьми.
Юрий. Но пробуешь же?
Вячеслав. Конечно! Пошёл на лесопилку — думал, буду каждый день среди запаха смолы, опилок. Посмотрел, как бревна пилят: всё визжит, лязгает, — каждое дерево будто плачет под пилами. А люди накидываются на них, как пауки, кромсают, рвут, потом бегут в обед за стол, хватают домино, стучат, орут: «Дурак!» «Козел!» Мне говорят: не думай ты ни о чём, в дурдом попадёшь!.. Бросил к черту, подался на турбазу за городом, в завхозы. А туристы там собак бездомных прикормили; приходит врачиха и даёт предписание: собак уничтожить! «За что?» — спрашиваю. «А ни за что. Просто нельзя», — говорит. «А если вас вот так, ни за что, уничтожить?» — спрашиваю. И назавтра я там уже не работал.
Юрий. Да, трудненько тебе.
Вячеслав. Отец рычит на меня: слюнтяй! Мать поддакивает. Двое взрослых родили одного, измываются над ним и называют это воспитанием. Но, чувствую, до того им это обрыдло: куда бы меня спихнуть?... Тут отец взялся за меня, устроил лаборантом в НИИ: публика приличная, и всё такое. А завлаб — дама, бывшая отцова любовница.
Юрий. Да тебе-то какое дело?
Вячеслав. Так эта дама глаз на меня положила — зажимает в углах.
Юрий *(насмешливо)*. Испугался, что ли?
Вячеслав. Да ну! Во-первых, ей за сорок, курит, матерится. У отца плохой вкус. Такая приснится — в холодном поту проснёшься. А во-вторых, игрушкой быть не хочу: может, она — назло отцу?.. В общем, ушёл. Так отец меня чуть не за грудки трясет. И матушка пилит, а объяснить ей не могу — у неё и так расстройств хватает.
Юрий *(обнаруживая, что бутылка пуста)*. Может, ещё откроем, а?
Вячеслав. Давай!
Юрий приносит новую бутылку, садится, откупоривает, разливает. Разговор при этом не прерывается.
Юрий. Правильно делаешь, что подальше от баб: высасывают силы. Я стараюсь беречь.
Вячеслав. Нет, у меня другое: увижу красивую — всё вверх тормашками, и опять в дураках. Какое-то бешенство плоти — как вот его усмирить?
Юрий. А надо, Вяч. Иначе ни черта не сделаешь — так тебе тут и торчать.
Вячеслав. Но мне надо, чтоб меня захлёстывало от избытка, не знаю чего: любви, тоски.
Юрий *(насмешливо)*. Романтик! Такие нынче не живут. Нет, а я с ними — как с дезодорантом: спрыснул — и пошли они в черную дыру! Им ведь еще и душу отдай. Но — шалишь! — берите всё, что ниже *(жестом ладони режет себя по поясу)*, а выше — извините: это моя ценность, я люблю её и лелею — и отдать ни за понюх? Вот им! *(Показывает кукиш)*.
Вячеслав. Да-а, ты изменился.
Юрий. Не меняются одни тупицы.
Вячеслав. Пью за твои успехи! *(Поднимает стакан; они чокаются и выпивают залпом, заметно пьянея: речь их делается неотчётливой и при этом агрессивной, а движения — размазанными)*.
Юрий. И всё же метрополию я покорил; еду покорять Европу.
Вячеслав. А не жалко — бросать?
Юрий. Россию-то? Да-а... Проживёт без меня!
Вячеслав. Но она вырастила тебя, образовала, как-никак.
Юрий. Ну, образование у меня, ты сам знаешь, какое: вырос без чужой помощи. Может, даже вопреки.
Вячеслав. Но это же Родина, Деряба! Не чуешь связи? Разве этот народ — не твои братья в двадцатом, тридцатом колене?
Юрий. Знаешь, Вяч, надоели эти сопли про любовь к народу. Случается, конечно — всех люблю, особенно под это дело. *(Щелкает ногтем по бутылке)*. Но почему я должен любить

какую-то сволочь: вора, насильника, или чинушу-взяточника? Знаешь, сколько их? Не перехлебать! Человек — это такая скотина, Вяч, которая прыгает на двух лапах и чего-то о себе воображает, а на самом деле родился, чтобы только хавать и грести под себя. Похавал, и на бочок, в зубах поковырять.
Вячеслав. Сам-то не из такой, что ли, породы?
Юрий. Такой, да не такой! Я люблю тех, в ком Прометеев огонь горит! Но это уже не люди — это боги.
Вячеслав. Да-а, Деряба! Ты стал циником.
Юрий. Да, циником.
Вячеслав. Честно говоря, когда я таких встречаю, то руки не подаю, и в споре с ними довод один: в рожу.
Юрий. Ну, ударь! Довод слабый, но повод отличный.
Вячеслав *(встает, сжимая кулаки, подходит к сидящему* ***Юрию*** *и останавливается перед ним, покачиваясь).* Н-нет, не могу.
Юрий. Потому что характера нет.
Вячеслав. Да я знаешь как дрался!
Юрий. Врёшь ты! Потому что ты юродивый с душой ребёнка и не хочешь взрослеть! А теперь не время юродивых — теперь время злых: только они могут выстоять среди этого дерьма. И ты защищаешь это дерьмо? Ты же только что говорил, как тебя гнобят!
Вячеслав. А пошёл ты!
Юрий. Я-то пойду, а куда ты пойдёшь? Они тебе ещё покажут! Камни таскать будешь, делать им дешёвку, но быть собой они тебе не дадут!
Вячеслав. И буду таскать! Но дерьмом не буду! Пока! *(Идёт к двери).*
Юрий *(встаёт).* Вот и иди, таскай, а я спать пошёл. Мне в Париж надо.
Вячеслав *(в дверях).* Катись в свой Париж, а я останусь в родном дерьме! Но я таких бью по морде, понял? *(Уходит, хлопнув дверью).*
Юрий *(берёт бутылку, в которой осталось немного вина, трясёт ее, смотрит на свет, выпивает остатки прямо из горлышка. Сокрушённо качает головой).* Хм-м... А пишет — т-твою мать! Умная голова дураку досталась. *(Потягивается, смотрит на часы).* Утро скоро. Пойти ещё вздремнуть, что ли? *(Покачиваясь, уходит и выключает свет).*

Сцена 12

Вячеслав выходит, покачиваясь, на авансцену, благодушно беседуя с собою, выдавая свою явную нетрезвость.
Вячеслав. Ну, денек! *(Глядит на часы).* Двадцать часов — без перерыва на обед и ужин... Ну, Деряба!.. Катись в свой Париж, а я останусь в родном дерьме — оно меня, знаешь, как-то греет. Родное потому что!

Справа выходят на авансцену **2 милиционера**, сталкиваются с идущим навстречу и беседующим с собою **Вячеславом**.
1 милиционер *(грубо, всматриваясь в* **Вячеслава***).* А-а, это ты опять? А ну, вали с дороги!
Вячеслав *(добродушно).* Извините, ребята, но я иду себе и никому не мешаю. Вы здесь, чтобы меня охранять, между прочим!
1 милиционер *(напарнику).* Серёга, делаем его? Надоел.
2 милиционер. Давай!
1 милиционер бьёт Вячеслава кулаком в живот.
Вячеслав *(схватившись руками за живот).* Ребята, вы чего?
2 милиционер *(бьёт Вячеслава по голове).* Вот чего!
Вячеслав *(падает на колени, пытается встать).* За что?
1 милиционер. Уважать нас надо! *(Пинает Вячеслава).*
Вячеслав *(падает, но снова пытается встать).* За что, подонки?
2 милиционер *(пинает его).* А это тебе за «подонков»!
Вячеслав *(снова пытается встать).* Вы за это ответите!
1 милиционер. А-а, ты еще угрожаешь? Серега, берем его!
1 милиционер снимает с пояса наручники, пытается надеть их на Вячеслава. **2 милиционер** помогает 1-му. Надев их, волокут **Вячеслава** влево. Он продолжает сопротивляться.
1 милиционер. Смотри-ка, сопротивляется!
2 милиционер. Ага!
Продолжая избивать Вячеслава, **милиционеры** уводят его со сцены.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена 1

Правая половина сцены. Входит **Валентина Васильевна**; она в парадном костюме, в туфлях на высоких каблуках, с сумочкой в руке. Следом, жуя на ходу, входит **Павел Степанович**, одетый по- домашнему: в трико, майке и тапочках. В одной руке у него журнал, в другой — тапочки для **Валентина Васильевны**
Она проходит к зеркалу и мельком оглядывает себя в нём.

Павел Степанович *(бросает ей под ноги тапочки).* Вот твои тапочки. Чего такая взволнованная? Что-то ещё случилось?

Валентина Васильевна *(переобуваясь в тапочки).* Спасибо. Опять жуёшь на ходу? Павлик, сколько можно говорить: ужин в холодильнике! Трудно разогреть? *(Садится на диван, массирует себе лодыжки).*

Павел Степанович. Ты знаешь, не люблю один, хотел тебя подождать.

Валентина Васильевна. Лентяй! Как я устаю за день на каблуках!

Павел Степанович *(садится рядом и утыкается в журнал).* Давно тебе говорю: пора переходить на низкие каблуки.

Валентина Васильевна. Хочешь записать меня в старухи? Не выйдет! И оставь в покое журнал — поговорим серьёзно!

Павел Степанович. Мне завтра выступать на учёном совете.

Валентина Васильевна. Речь о судьбе сына, а тебе хоть бы хны!

Павел Степанович. Хорошо. *(Откладывает журнал).* Так что у тебя?

Валентина Васильевна. Я разговаривала с адвокатом. Он говорит: от суда не отвертеться. Славке грозит два-три года!

Павел Степанович. А свидетели-то были? Славка ж говорит — не было?

Валентина Васильевна. Оба милиционера — они же и свидетели. И эта женщина тоже... Кошмар, что она пишет! Чтобы наш Слава...

Павел Степанович. Ты хочешь, чтобы я занялся? Я никогда с этими судами не связывался. Да мне просто некогда!

Валентина Васильевна. Павлик, но ведь речь о судьбе сына! Они засудят его — такие все злые, мстительные!

Павел Степанович. А где он сам? Почему нас это волнует, а его — нет?

Валентина Васильевна. Потому что молод, не понимает.

Павел Степанович. Я в его годы, знаешь!..

Валентина Васильевна. Ой, Павлик, не время сейчас про твои годы!

Павел Степанович *(обиженно).* Не хотите меня слушать, а когда петух клюнет, я — выручай, да?

Валентина Васильевна. Адвокат говорит: у Славика есть отклонения. Может, говорит, к психиатру? Он возьмёт в суде решение на экспертизу. Но если диагноз подтвердится, придётся пройти курс лечения.

Павел Степанович. Не верю я нашим психиатрам.

Валентина Васильевна. Но не в тюрьме же ему сидеть!

Павел Степанович. Не знаю, не знаю.

Валентина Васильевна. Почему ты такой: чуть что — в кусты?.. Наша Галина говорит: надо взятку давать.

Павел Степанович. Кому?

Валентина Васильевна. Не знаю! Следователю, прокурору, судье.

Павел Степанович. И ты готова?

Валентина Васильевна. Но я никогда не давала! Как это делается?

Павел Степанович. А в психушках, я слыхал, ужасные вещи творятся.

Валентина Васильевна. У тебя представления, прямо как у деревенской бабки. Они теперь вооружены психоанализом, полно научных разработок. Разве ваша наука не продвинулась за последние годы?

Павел Степанович. Сравнила! Наша отрасль дает прибыль экономике!..

Стремительно входит **Вячеслав**; он со спортивной сумкой на плече, что-то поёт про себя.

Вячеслав. Привет! Заседаете?

Валентина Васильевна. О тебе думаем.

Вячеслав. И что придумали?

Валентина Васильевна. Пойдём к психиатру — адвокат советует.

Вячеслав. Зачем?

Валентина Васильевна. Иначе тебя засудят — у тебя нет свидетелей.

Вячеслав. Как так можно: меня избили — и меня же засудят? Так быть не должно! Я им такое на суде устрою!

Валентина Васильевна. Слава, что ты несёшь!

Павел Степанович. На твоём месте я был бы посерьёзнее.

Вячеслав. Природе, пап, угодно, чтобы каждый был на своём месте.

Павел Степанович. Вместо того, чтоб слушать, у тебя одни отговорки. Напился, натворил чёрт-те чего!

Вячеслав. Ну, сколько можно твердить: они первые напали!
Павел Степанович. А женщину кто оскорблял? Тоже они?
Вячеслав. Я не оскорблял!
Валентина Васильевна. Господи, ну зачем сразу ругаться?
Вячеслав. Можно, я пройду в свою комнату? *(Проходит к боковой двери)*.
Валентина Васильевна. Но ведь мы же не договорили!
Вячеслав. Я, конечно, пойду, даже к психиатру — только чтоб хоть кому-нибудь доказать, что я не виноват! *(Уходит и закрывает за собой дверь)*.
Павел Степанович. Я пошёл заниматься?
Валентина Васильевна. Вот, всегда ты так...
Павел Степанович. Валюша, ну...
Валентина Васильевна. Ладно, иди, иди; я приглашу к ужину.
Павел Степанович уходит. **Валентина Васильевна** сидит на диване, опустив руки и голову. Делает над собой усилие, встает, захватывает сумку и уходит. Затемнение.

Сцена 2

Левая сторона сцены. **Алла Николаевна** в белом халате что-то пишет за столом. На столе перед нею стопка тетрадок: медицинских карт. Перед столом — табуретка. Раздаётся стук в дверь.
Алла Николаевна. Да-да, войдите!
Входит **Валентина Васильевна**. Она — в парадном костюме, с дамской сумкой в руке.
Валентина Васильевна. Вы Алла Николаевна? Здравствуйте.
Алла Николаевна. Да, я. Здравствуйте. Садитесь.
Валентина Васильевна. Спасибо. *(Проходит, садится)*.
Алла Николаевна. Как ваша фамилия?
Валентина Васильевна. Полянская Валентина Васильевна.
Алла Николаевна. Я вас слушаю. *(Перебирает стопку тетрадок)*. Вашей карты нет. Тут есть Полянский Вячеслав Павлович.
Валентина Васильевна. Это мой сын. Я, собственно, по его поводу.
Алла Николаевна. Давайте, только короче. *(Вынимает тетрадку)*. У меня, видите, сколько пациентов? *(Показывает на стопку)*.
Валентина Васильевна. Я хотела, чтобы вы отнеслись к нему повнимательнее. Вы, наверное, тоже мать — поймёте меня.
Алла Николаевна. Здесь я не мать, а психотерапевт.
Валентина Васильевна. Я понимаю. Но, видите ли, Слава был всегда таким впечатлительным, неординарным ребёнком.
Алла Николаевна *(заглядывая в тетрадку)*. Позвольте, какой же он ребёнок? Почти мой сверстник!
Валентина Васильевна. Да, но я хотела пояснить — сам он об этом, конечно, не скажет: он сочиняет стихи, песни, сказки...
Алла Николаевна. Хм... И что, публикует где-нибудь?
Валентина Васильевна. Нет пока.
Алла Николаевна. Ну, и ничего особенного — нынешняя молодежь чуть ли не через одного сочиняет. Мы ж не можем признать их ненормальными, верно? Чем он занимается, где работает?
Валентина Васильевна. Сейчас он не работает.
Алла Николаевна. Учится?
Валентина Васильевна. Нет. Учился, но бросил.
Алла Николаевна. Почему?
Валентина Васильевна. Решил, что неинтересно.
Алла Николаевна. Хм, странно.
Валентина Васильевна. Он некоммуникабелен — с трудом находит язык со сверстниками, со взрослыми. И с родителями тоже.
Алла Николаевна. Понятно. А что привело вас с ним ко мне?
Валентина Васильевна. Его избили милиционеры; он под следствием, но подал встречное заявление. Его направили на психиатрическую экспертизу. Вот направление. *(Достаёт из сумки и подаёт лист бумаги)*.
Алла Николаевна *(берёт его и бегло просматривает)*. Как же так? Его, говорите, избили — и он же под следствием?
Валентина Васильевна. Сын уверяет, что именно так.
Алла Николаевна. Но ведь он мог сказать вам неправду?
Валентина Васильевна. Он никогда не врёт. Он утром пришёл...
Алла Николаевна. Почему утром?
Валентина Васильевна. Его продержали всю ночь. Не знаю, что с ним там делали — он так и не сказал — но он был в таком состоянии!
Алла Николаевна. В каком? Точнее, пожалуйста.
Валентина Васильевна. Он был в шоке. Я хотела дать ему валерьянки — швырнул склянку так, что она — вдребезги. Хотела заставить

его принять ванну и уложить, но он всё метался, метался. Взял на кухне нож...

Алла Николаевна. И что дальше?

Валентина Васильевна. Я поняла: он хочет кого-то убить. Я преградила дверь и сказала ему: сынок, убей сначала меня! Это было страшно; он бормотал: «Я убью их, мама, я не смогу жить с этим оскорблением!..» Господи, сколько мы с ним переговорили в то утро! И всё же он подал в суд. Я не могла его удержать. Я говорила: «Эта машина тебя раздавит, надо, сынок, учиться прощать врагов», — а он кричал на меня: «Зачем мне ваша культура, если я не в состоянии защитить свое достоинство?» Это было ужасно! *(Достаёт носовой платок и вытирает глаза).* И тут оказывается, что они сами на него подали.

Алла Николаевна. Хм... Понятно. Он тут? Давайте, зовите его, сейчас посмотрим и дадим направление.

Валентина Васильевна. Куда направление?

Алла Николаевна. В психиатрический стационар, на экспертизу.

Валентина Васильевна. Скажите, а это не опасно?

Алла Николаевна. Что ж тут опасного? Подержат под наблюдением.

Валентина Васильевна. Сколько его будут держать?

Алла Николаевна. Пока не поставят диагноз. Если найдут отклонения, то по решению суда проведут курс лечения.

Валентина Васильевна. Скажите, его там не залечат?

Алла Николаевна. Такого быть не может. Давайте вашего пациента.

Валентина Васильевна. А мне можно побыть?

Алла Николаевна. Нет, подождите за дверью.

Валентина Васильевна уходит. Входит **Вячеслав**.

Вячеслав. Здравствуйте.

Алла Николаевна. Здравствуйте. Садитесь.

Вячеслав проходит, садится.

Алла Николаевна. Полянский Вячеслав Павлович?

Вячеслав. Он самый.

Алла Николаевна *(листает тетрадку).* Та-ак. Перенесённые болезни... Прививки... *(**Вячеславу**).* Вы что, всегда о себе в третьем лице?

Вячеслав *(улыбается).* Это не шизофрения, это шутка.

Алла Николаевна. А отчего улыбаетесь?

Вячеслав. Просто не ожидал увидеть такого молодого и симпатичного врача. Готов ходить к вам каждый день. У вас муж строгий?

Алла Николаевна *(строго).* Давайте сразу договоримся: без панибратства, иначе я вас просто выставлю.

Вячеслав. Намёк понял.

Алла Николаевна. А мама ваша заявила, что вы некоммуникабельны.

Вячеслав. Мама — это мама. На самом деле я кабелен.

Алла Николаевна. Оставьте ваши глупые шутки!.. Та-ак, обращался в последний раз... Мгм. Анализы, ЭКГ... У вас что, с ней конфликты?

Вячеслав. С мамой? Нет.

Алла Николаевна. А с папой?

Вячеслав. Бывает.

Алла Николаевна. Итак, что вас беспокоит?

Вячеслав. Меня? Ничего. Мама вас посвятила в ситуацию?

Алла Николаевна. Да. *(Делает запись).* Садитесь ближе.

Вячеслав. С удовольствием. *(Придвигается ближе к врачу).*

Алла Николаевна *(берёт со стола молоточек и держит перед глазами **Вячеслава**).* Смотрите сюда. *(Ведет молоточек влево, потом вправо).* Смотрите... Та-ак, хорошо. Протяните вперед руки. (**Вячеслав** *протягивает руки. Она поочерёдно бьёт по ним молоточком).* Хорошо. Закиньте ногу на ногу. (**Вячеслав** *выполняет её просьбу. Она бьёт молоточком по колену).* Та-ак, теперь — другую. (**Вячеслав** *закидывает другую ногу. Она снова бьёт по колену).* Та-ак, хорошо. Садитесь на место. *(Пока* **Вячеслав** *пересаживается,* **Алла Николаевна** *делает запись в тетрадке).* Вас действительно били милиционеры? Я правильно поняла? Не наоборот?

Вячеслав. Да, правильно поняли.

Алла Николаевна. По голове били?

Вячеслав. По голове?.. Да, везде били.

Алла Николаевна *(делает запись).* К травматологу обращались?

Вячеслав. Да. Мне справку дали. Были синяки.

Алла Николаевна. Вы её следствию предъявили?

Вячеслав. Да. Но менты уверяют, что я вынудил их защищаться... У меня, конечно, есть заскоки, но, надеюсь, я не настолько психический, чтоб меня лечить? Просто маме уступаю. Я всё равно настою, чтобы их судили!

Алла Николаевна. Хорошо. Как вы спите? Сон нормальный?

Вячеслав *(пожимает плечами).* Нормальный.

Алла Николаевна. Сны видите?

Вячеслав. Да. Иногда от снов голова вот такая. *(Показывает).*

Алла Николаевна *(делает запись)*. Какие сны? Страшные? Тревожные? Цветные? Черно-белые?

Вячеслав. И тревожные тоже. И красивые. Они у меня все цветные.

Алла Николаевна *(пишет)*. А почему не работаете?

Вячеслав. Пока нет такой работы. Я бы только сидел и писал, писал.

Алла Николаевна. А то, что пишете, в журнал или в газету пробовали?

Вячеслав. Да знаю я вкусы наших журналов!

Алла Николаевна *(пишет)*. Сейчас дам вам направление в стационар.

Вячеслав. Зачем?

Алла Николаевна. Потому что только они делают экспертизу. Вам там придётся побыть с месяц; вас понаблюдают.

Вячеслав. Да вы что!

Алла Николаевна. А как иначе? Пожалуйста. *(Протягивает лист)*. Только у главврача подписать и печать поставить.

Вячеслав. Не возьму я направление! *(Встаёт и уходит, бросая на ходу)*. Ничего себе, месяц!

Алла Николаевна *(вслед ему)*. Как хотите.

Вячеслав уходит; входит **Валентина Васильевна**.

Валентина Васильевна. Видите, какой импульсивный! Он не грубил?

Алла Николаевна. Нет, ничего особенного, но он действительно... Жаль: такой симпатичный парень.

Валентина Васильевна. Что с ним?

Алла Николаевна. Налицо психастенический синдром.

Валентина Васильевна. Что это?

Алла Николаевна. Сложный комплекс отклонений: неадекватная связь с миром, завышенный уровень притязаний... Эйфория заметна, нарушение иерархии мотивов. Приглушены переживания успеха и неуспеха. Зачатки личностной деградации — ни работа, ни учеба его не интересуют.

Валентина Васильевна. Но он же занимается, пишет много!

Алла Николаевна. Маниакальный синдром на фоне депрессивного состояния просматривается; чувство собственной гениальности.

Валентина Васильевна *(растерянно)*. Что же делать?

Алла Николаевна. Ему в самом деле лучше пройти экспертизу: уточнят отклонения. Среди молодежи это не редкость: психика, знаете, неустойчивая, раздражители сильные — вот вам и готовый синдром. Возьмите направление. (*Показывает лист)*. Там понаблюдают, подкорректируют. Вон он у вас какой рослый, красивый — и будет здоров, вот увидите.

Валентина Васильевна *(берет бумагу)*. Спасибо. До свидания.

Алла Николаевна. Только у главврача подписать и печать поставить. И пусть там следующий заходит. До свидания.

Валентина Васильевна уходит. Затемнение.

Сцена 3

Вячеслав и **Валентина Васильевна** выходят слева на авансцену и, возбуждённо разговаривая, медленно идут вправо.

Вячеслав. Мама! Ну не хочу я туда!

Валентина Васильевна. Славик, послушай...

Вячеслав. Что она тебе наплела? Что я маньяк? Параноик?

Валентина Васильевна. О паранойе не говорила.

Вячеслав. А хочешь, я сам ей диагноз поставлю: дебилизм на фоне непроходимой тупости! Она же по учебнику психиатрии шпарит; я этот учебник в девятом классе прочитал! Ты же умница у меня, мама!

Валентина Васильевна. Славик, послушай меня! Давай сядем и спокойно все обсудим. *(Показывает на скамью)*.

Вячеслав. Ну, хорошо, давай. (*Садятся)*. Так что ты хочешь сказать?

Валентина Васильевна. Слава, ты молод и плохо знаешь жизнь... Тебя окружает враждебный мир. Есть факты: ты был пьян, избил милиционеров, оскорбил женщину.

Вячеслав. Мама! И ты тоже?.. И ты не веришь?

Валентина Васильевна. Верю. Но всё против тебя. У тебя — ни алиби, ни свидетелей, а у той женщины, что кляузу на тебя настрочила, их целый дом, и милиционеров двое, и они на службе. Тебя просто засудят!

Вячеслав. Но хоть на суде-то я могу сказать, что я о них обо всех думаю? В конце концов, справедливость, мама, должна восторжествовать?

Валентина Васильевна. Слава, я разговаривала с адвокатом...

Вячеслав. Я — тоже.

Валентина Васильевна. Но тебе-то он не говорил, что тебе реально грозит? Всех будет просто раздражать, что ты не работаешь, не учишься.

Вячеслав. Да кому какое дело?.. Я, мама, найду честного следователя, честного судью, я добьюсь...
Валентина Васильевна *(перебивая его)*. Слава, милый, какой сумбур в твоей голове! Да у нас просто денег на хорошего нет!
Вячеслав. Верить, мама, надо и бороться! Ну почему вы все такие? Вместо того, чтоб упекать меня в дурдом — помоги! Если я никого не найду, я просто убью их — не смогу я жить с оскорблением, оно горит на мне!
Валентина Васильевна. Знаю, сынок, какой ты несдержанный и какими фантазиями набита твоя голова. Но как ты не поймешь, что кончится тем, что тебя посадят и там просто сломают!
Вячеслав *(ядовито)*. А психушка?
Валентина Васильевна. Но, по крайней мере, ты будешь рядом, я тебя смогу навещать. *(Голос её срывается)*. Ты такой стал злой, взвинченный — тебе, в самом деле, надо подлечить нервы. И папа так считает.
Вячеслав. Ну так вы же все заодно!.. Вот чувствую подвох, и ты, мама, взрослый человек, старенькая уже — а не понимаешь!
Валентина Васильевна. «Старенькая»! Спасибо, утешил.
Вячеслав *(покаянно)*. Извини, мам!
Валентина Васильевна. Да чего уж... Я тебя умоляю: надо решаться, Славик! *(Она вытирает глаза платком)*.
Вячеслав *(угрюмо)*. Знаешь, что я не могу видеть твоих слёз. Пойдём.
Они встают и уходят в левую сторону.

Сцена 4

На левой половине сцены — 3 больничных койки; между ними 2 тумбочки; на одной стоит пластмассовый стакан. **1 больной**, средних лет мужчина в пижаме, заложив руки за спину, ходит взад-вперед; остановится, пробормочет что-то, погрозит кому-то пальцем и снова продолжает ходить. **2 больной**, пожилой щуплый человечек в застиранном халате, неподвижно сидит на средней койке, подперев кулаком подбородок. Входит **Санитар** в сером халате; подмышкой у него постельное белье. Следом за ним входит **Вячеслав** в футболке, спортивных шароварах и шлепанцах; в руке у него книга.
Вячеслав *(больным)*. Здравствуйте.
Санитар *(кивает на больных)*. Ты — им, что ли? Они в отключке.
2 больной остается неподвижен; **1 больной** резко останавливается перед **Вячеславом**; **Вячеслав** невольно отшатывается.
1 больной *(запальчиво)*. Здравия желаю! Ты понимаешь: генерал-майор библиотечной службы подходит ко мне и говорит: ты брал книги? А зачем они мне? Я сам полковник! Она у меня в библиотеке работает. Я ей говорю: ты с кем спуталась? Задушу, сука! Я сам полковник!
Санитар *(спокойно, отстраняя с дороги **1 больного**)*. Вольно, товарищ полковник, занимайся своим делом.
1 больной поворачивается и продолжает ходить.
Вячеслав *(кивая на **1 больного**)*. Он что, в самом деле полковник?
Санитар. Да кой полковник! Прапор, Афганом долбанутый. Да стал бы, если б сюда не загремел — мужик, видать, хваткий был. Но если с ним по-хорошему, он как шелковый. А этот вот *(кивает на **2 больного**)*, Пушкин сраный — тихий, но упрямый, как козёл. Вот, земляк, твоя койка. *(Бросает на третью койку постельное белье)*. Сам застелешь?
Вячеслав. Да, спасибо. *(Начинает застилать постель. Кивает на **2 больного**)*. А почему он — Пушкин?
Санитар. Стихи пишет! Если б мы их по нужде не использовали, томов бы десять набралось... Как звать-то?
Вячеслав. Меня? Вячеслав.
Санитар. Слава, значит? Меня — Толян. Ты, я смотрю, вроде ничего, в норме. Глаз у меня на придурков намётанный. Косишь под психического?
Вячеслав. Да нет. На экспертизу направили.
Санитар. На дно ложишься? Ясненько. От военкомата? Или от ментовки?
Вячеслав. От ментовки.
Санитар. Свой, значит, земеля.
Вячеслав *вдруг внимательно всматривается в* **Санитара**.
Санитар *(с беспокойством)*. Ты чего?
Вячеслав. Показалось... На мента похож, который меня брал.
Санитар. Крестись, если кажется... Закурить нет?
Вячеслав. Пока нет. Не научился.
Санитар. Ясно. Здоровеньким помрёшь. Ну, отдыхай. Завтра тебе на работу, конверты клеить. *(Уходит)*.
Вячеслав *(вслед ему)*. Конверты так конверты. *(Застелив постель, кладет под подушку книгу, садится на койку. Рассматривает **2 боль-***

ного, затем обращается к нему). Извините, пожалуйста, как вас зовут?
2 больной *(глухим, тихим голосом).* Зачем? Не все ли равно?
Вячеслав. Да просто по-соседски... Вы в самом деле стихи пишете?
2 больной. Какие стихи, помилуйте!.. Да, писал в свое время.
Вячеслав. Почитайте, а?
2 больной. Пожалуйста. Из того, что помню. Сейчас... *(Напряженно вспоминает).* Извините, давно не читал... Вот! *(Тихо читает наизусть).*

Дорога жжёт подошвы
За отраженьями — реки
От запахов — к радугам
В сны птенцов и звёздные вихри
От первого крика до высохшего русла
Тут на Земле
Пока не остынет Солнце
Мне идти и плакать
О дальней дали.

Не правда ли, бред сивой кобылы, а?
Вячеслав. Помилуйте, да это же прекрасно!.. Можно ещё?
2 больной *(слабо смеется).* Пожалуйста! *(Читает, уже охотней).*

Гроздь рябины
Брызнула бемолем
Луна спрятала щупальца теней
И мёдом снов запахло утро
Радость и боль
А если нет — отдай всё нищим.

Вячеслав *(возбуждённо).* «И медом снов запахло утро» — как здорово! Это же прекрасные верлибры, поверьте!
2 больной *(сдержанно).* Спасибо.
Вячеслав. А я ведь тоже пишу!
2 больной. Почитаете?
Вячеслав. Была б гитара — я бы вам спел. Давно их писали?
2 больной. Лет тридцать назад.
Вячеслав. Как? Тридцать лет назад? Вы — один из зачинателей современного свободного стиха?
2 больной. До меня, пожалуй, разве что Ксюша Некрасова так работала. Чудом избежала моей судьбы. Только потому, что мыла полы литгенералам, рано умерла и её не приняли всерьёз. И жила не в провинции.
Вячеслав. А я-то подумал, вы сумасшедший — так тихо сидите!
2 больной. Так легче. Боюсь молодых людей — они такие агрессивные.
Вячеслав. А почему вы здесь?
2 больной. Так за верлибры и сижу — посчитали шизофреником.
Вячеслав. И давно вы тут?
2 больной. Ой, давно! Я ведь в своё время внутренним диссидентом был. Грехи молодости. У меня никого нет, я ничего не умею, жизнь прошла. Здесь кормят. Боюсь отсюда уходить.
Вячеслав. Вы и сейчас пишете?
2 больной. Ну, что вы! Так, стараюсь иногда записать по памяти, когда бумагу найду. Голову освобождаю. Записываю и раздаю — может, что-нибудь сохранится? Знаю, что выкидывают...
Вячеслав. Я вам помогу! Выйдем отсюда — обязательно помогу и стихи устроить, и с жильём — вы будете жить у меня!
2 больной. Спасибо, мой юный друг, только едва ли получится.
Вячеслав. Нет-нет, обязательно получится!.. Вас тут лечат?
2 больной. Дают антидепрессанты. Но я *(шепчет)* симулирую: я их тихонько в рукав, воды глоточек сделаю, и всё...
Входит **Санитар***, зорко оглядывает палату.*
Санитар. Всё нормально? Оправьте койки, дежурный врач идет!
Вячеслав поправляет постель. **2 больной** продолжает сидеть.
Санитар *(подходит ко 2 больному).* Ну, ты, Пушкин сраный, встань! *(***2 больной** *встаёт;* **Санитар** *поправляет его постель).* Садись!
2 больной покорно садится. Входит **Илья Семенович** в сопровождении Медбрата; оба в белых халатах. У Медбрата в руках ручка и стопка тетрадок — истории болезней.
Илья Семенович *(ко всей палате).* Добрый день! Как самочувствие? *(Проходит, смотрит внимательно на* **1 больного***, который продолжает неутомимо ходить взад-вперед, заложив за спину руки).*
Медбрат *(заглядывает в одну из тетрадок, негромко подсказывает врачу).* Маниакальный синдром в стадии ремиссии.
Илья Семенович. Да-да, знаю. Но наш бравый полковник сегодня что-то взволнован. Пожалуй, возобновим аминазиновую блокаду.
Медбрат делает запись в тетради.
1 больной *(круто останавливается).* Не хочу блокаду!
Илья Семенович. Надо, товарищ полковник. Вы же мужественный человек — покажите всем пример.
1 больной *(выпячивает грудь и возобновляет ходьбу).* Да, конечно! Кто, если не мы? Только вперед!

Илья Семенович *(проходит ко **2 больному**)*. Что у вас сегодня?
Медбрат раскрывает следующую тетрадку и показывает врачу.
Илья Семенович *(просматривает запись)*. Та-ак, хорошо. *(Садится на койку 2 больного)*. Позвольте. *(Выворачивает ему веко, затем берет его руку и считает пульс)*. Состояние удовлетворительное. Продолжим антидепрессанты. *(Поднимается, подходит к **Вячеславу**)*.
Медбрат *(подсказывает)*. Полянский Вячеслав. Поступил сегодня.
Илья Семенович. Помню. *(**Вячеславу**)*. Как чувствуете себя в непривычной обстановке?
Вячеслав. Пока никак. Надеюсь, меня не от чего лечить?
Илья Семенович. Да, просто понаблюдаем. Разве что-нибудь лёгкое, успокаивающее — чтоб снять возбуждение; возможно неадекватное восприятие обстановки. Главное, не бойтесь и доверяйте нам. *(Похлопывает **Вячеслава** по плечу; обращается к спутникам)*. Пойдемте дальше.
Илья Семенович, **Медбрат** *и* **Санитар** *уходят*.
Вячеслав *(2 больному)*. Какие у них застывшие лица! Смахивает на ритуал древних жрецов... Это и вся процедура?
2 больной. Нет, молодой человек, все не так смешно, как кажется... Да Бог с ними — расскажите теперь что-нибудь вы: вы ведь пришли **оттуда**? Что там новенького?
Вячеслав. Там — так же, как всегда: едят, пьют, совокупляются, причём большинство такая жизнь устраивает. Чтобы этим заниматься, надо или работать, или воровать, или обманывать простаков. В общем, живут.
2 больной. А вы? Не едите, не пьете и не совокупляетесь?
Вячеслав. Да проверил: скучно. Подозреваю, что переводить жизнь на удовольствия — ужасно бессмысленно.
2 больной *(хихикая, грозит пальцем)*. А-а, молодой человек, так вас по адресу определили! Расходиться с большинством во мнении — опасно.
Вячеслав. А вы юморист! В такой-то обстановке... Я вами восхищаюсь!
1 больной продолжает сосредоточенно ходить взад-вперед. Входят **Медбрат** и **Санитар**. У **Медбрата** в руке — большая никелированная коробка. Он проходит, ставит коробку на тумбочку, открывает, достаёт ампулу и шприц и начинает готовить его для укола. **Санитар** подходит к ***1 больному*** крепко обнимает его.
Санитар. Пошли, товарищ полковник, ляжем, аминазинчик примем.*(Ведёт его к первой койке, преодолевая его пассивное сопротивление)*. Давай, отец родной — за Родину, покажи им всем пример. *(Кладёт его животом на постель и наваливается на него всем телом, при этом «заговаривая зубы»)*. Ты же вон какой молодец! И опять ты у нас орёл будешь. Героя дадут, генералом сделают. Документы уже ходят.
Медбрат, заслоняя собою больного от зрительного зала, склоняется над ним и делает ему укол в ягодицу. ***1 больной*** дергается, стонет. **Санитар** продолжает крепко его держать.
Медбрат бросает шприц в коробку ***1 больной*** продолжает стонать, но дергаться перестаёт. **Санитар** отпускает его, встаёт.
Санитар. Потерпи, полковник, скоро, скоро уже генералом станешь.
Медбрат *(достаёт из коробки несколько пилюль и передаёт* **Санитару**, *сыплет их ему в ладонь)*. Возьми, проследи *(кивает на **2 больного**)*, чтоб выпил. Я пошёл в седьмую палату. *(Закрывает коробку и уходит)*.
Санитар *(дожидается, пока* **Медбрат** *уходит, бросает 1 таблетку себе в рот, затем подходит ко **2 больному**, трясёт за плечо)*. Эй, Пушкин, кончай дремать, на-ка, заглоти. *(Берёт его руку, пересыпает таблетки в его ладонь и ждёт)*.
2 больной делает движение, будто кладёт в рот таблетки, поворачивается, берёт с тумбочки пластмассовый стакан и подносит ко рту.
Санитар *(грубо)*. А ты почему таблетки не заглотил, а? Зачем выбросил? Я тебе покажу, падла, выбрасывать! *(Бьёт его по лицу)*. А ну подыми!
2 больной, зажав лицо одной рукой, лезет под койку.
Санитар *(пинает его ногой)*. Быстрей! Некогда мне!
Вячеслав. Не смей его бить!
Санитар. А ты-то чего? Сиди, не твоё дело! Нам разрешено силу применять! А ты давай-давай, доставай! *(Снова пинает **2 больного**, ползающего под койкой)*. Защитника нашёл, да?
Вячеслав *(вскакивает, толкает* **Санитара***)*. Я ж тебе сказал: не бей!
Санитар *(отлетает)*. Ах, ты так? Здоровый, да? Ну, погоди, я щас! *(Бежит к двери и исчезает за ней)*.
Вячеслав помогает ***2 больному*** подняться, усаживает.
2 больной. Зря вы так. Сейчас хай поднимут.
Вячеслав. Да разве можно позволять такое?
2 больной. Сам я виноват. Никому тут ничего не докажешь.

Вбегает **Санитар** со смирительной рубашкой в руках. Следом за ним — **Медбрат** с никелированной коробкой, ставит коробку на пол. Оба подходят к **Вячеслав** у, сбивают с ног, надевают смирительную рубашку, валят на койку. **Вячеслав** рычит, пытается вырваться.

Вячеслав. Пустите! Пустите!

Санитар. Полежи, полежи! Щас успокоим!

Медбрат *(несет коробку, ставит на тумбочку, достаёт шприц, набирает из ампулы раствор; обращается к* **Санитару***)*. Держи ему ноги!

Санитар *(валится* ***Вячеславу*** *на ноги)*. Что ты ему?

Медбрат. Аминазинчика вкатим — успокоится!

Санитар. А врач?

Медбрат. Согласуем. Держи крепче! *(Стоя спиной к зрителям, делает* ***Вячеславу*** *укол в ягодицу и бросает шприц в коробку)*.

Вячеслав бьется, дергается, выгибает спину и непрерывно кричит. **Медбрат**, наклонившись, наблюдает за ним. Через некоторое время **Вячеслав** перестаёт дергаться; крики его переходят в глухие стоны.

Санитар. Ну вот. Как шёлковый сейчас будет.

Медбрат *(наклонившись, поднимает* ***Вячеславу*** *веко)*. Вроде не смертельно. *(***Санитару***)*. Можно развязать. *(Развязывают его, снимают смирительную рубашку)*. Ты побудь с ним ещё. Мало ли? Реакция, может, отрицательная... Зови, в случае чего. *(Забирает коробку и уходит)*.

Санитар *(садится в ногах* ***Вячеслава****. Обращается ко* ***2 больному****)*. Нашёл таблетки?

2 больной, который всё время, пока вязали **Вячеслава**, сидел безучастно, молча кивает головой.

Санитар. Заглотил?

2 больной молча кивает.

Санитар *(удовлетворенно)*. Ну вот, давно бы так.

Вячеслав перестает стонать.

Санитар *(всматривается в лицо* ***Вячеслава****. Затем обращается ко* ***2 больному****)*. И ты ложись. И чтоб тихо у меня, без разговоров!

2 больной покорно ложится. **Санитар** идет к двери, выключает свет и уходит. Затемнение.

Сцена 5

На той же половине сцены луч выхватывает стоящую посреди больничной палаты фигуру **Некоего** в белом хитоне и сандалиях на босу ногу, с темной бородкой и длинными, зачесанными назад волосами. Во всем его облике — одухотворенность. В движущемся вместе с ним луче света **Некто** подходит к койке **Вячеслава**, наклоняется над ним, кладёт на его лоб ладонь. **Вячеслав** говорит вяло, через силу.

Вячеслав *(постанывая)*. Ой, как мне плохо!

Некто. Что у тебя болит?

Вячеслав. Всё болит... Не отнимайте руку — так легче. Какая она у вас прохладная, легкая! *(Вдруг резко приподымается, испуганно всматривается в* **Некоего***)*. Вы кто?

Некто. Разве это важно? *(Делает ударение на «это». Садится на койку)*.

Вячеслав. Нет! Вас нет, вы — плод моего воображения!

Некто. Пусть, если так удобнее. Я пришёл облегчить твои страдания.

Вячеслав. А если я не верю в тебя?

Некто. Но ведь тебе уже легче?

Вячеслав. Да!

Некто. Значит, я обладаю возможностью облегчить твои страдания?

Вячеслав. Да.

Некто. Но как я могу обладать некой возможностью, если меня нет?

Вячеслав. Вы пришли меня утешить?

Некто. Да, и утешить тоже. Человек без веры — абсурден. Но вера в знание не дает утешений. Знание — яд, с ним осторожней надо: в больших дозах он смертелен. Его создают все вместе, а расплачивается каждый в отдельности. Под коркой твоего разума твоя хрупкая душа вянет.

Вячеслав. Почему она — хрупкая?

Некто. Потому что неразвита: боится страданий, любви, жизни. Не бойся их. Душе нужна работа. Не бойся ни страдания, ни любви. Только они и называются жизнью; всё остальное — удел мёртвых.

Вячеслав. Почему вы не пришли к ментам, когда они меня били? Им бы вы нужнее. Или — к нашему санитару?

Некто. Я им не нужен — они мертвы. Их души тоже были хрупкими и неразвитыми и умерли. Мир кишит мертвецами. Я иду к живым.

Вячеслав *(со стоном)*. Чуть бы пораньше — столько глупостей сделано!

Некто. Я один. Ко всем сразу не успеть.

Вячеслав *(с отчаянием, почти плача)*. А зачем мне душа? Я просто жить хочу. Хочу быть счастливым! Не нужна мне душа! Если ты вложил её в человека — ты сделал его одиноким! Зачем мне одиночество?

Некто. Большому — многое и дано. Кто-то же должен нести этот груз?.. Тебе разве неизвестно, что всё можно легко насытить, кроме духа?

Вячеслав. Но что делать, если они упекли меня сюда?
Некто. Для начала — не спорь. Споря с невеждами, сам становишься невеждой. И уясни: страдание всегда было утончённым пиршеством духа.
Вячеслав. Почему ты раньше не приходил?
Некто. Я иду туда, где нужнее. Много работы...
Входит **Санитар**, включает свет и видит **Некоего**.
Санитар ***(Некоему)***. Ты кто такой? Зачем здесь?
Внезапно гаснет свет.
Санитар *(во тьме)*. Т-твою мать-то!.. Кто свет погасил?
Уходит, через минуту возвращается с фонариком, шарит лучом по палате. Снова включает свет. **Некоего** в палате нет.
Санитар ***(Вячеславу)***. Кто это был? Кто разрешил?
Вячеслав *(слабым, больным голосом)*. Тебе показалось.
Санитар. Я те дам «показалось»! Мне еще никогда ничего не казалось!
Вячеслав. Мой двойник приходил.
Санитар. Ну, так бы и сказал, а то — «показалось»!.. Значит, по адресу тебя упекли, раз двойники являются... Ладно, пойду, в журнал запишу, чтобы врач знал. Или, может, Серёга ещё не ушёл — пускай они с твоим двойником разбираются. И чтобы тихо у меня! *(Выключает свет и уходит)*.
Пауза
Вячеслав *(в темноте)*. Эй, кто ты — вернись! Мы не доспорили...
Голос некоего. Я здесь. Ты молишь лишить тебя души?
Вячеслав. Я устал от неё!
Голос некоего. Хорошо!
Входят **Санитар** со смирительной рубашкой и **Медбрат** с никелированной коробкой.
Санитар *(включает свет)*. Опять блажит. С двойником разговаривает. Повторить надо, а то ночью спать не даст.
Медбрат *(идет к койке **Вячеслава**, ставит на тумбочку коробку, обращается к **Вячеславу**)*. Вязать будем, или так дашься?
Вячеслав. Да делайте, что хотите! *(Поворачивается животом вниз)*.
Медбрат ***(Санитару)***. Подержи на всякий случай.
Санитар держит **Вячеслава** за ноги. **Медбрат** достаёт из коробки шприц, набирает из ампулы раствор, наклоняется над **Вячеславом** и делает укол в ягодицу, затем бросает шприц в коробку. **Вячеслав** начинает громко стонать. **Медбрат** закрывает коробку.
Санитар *(встаёт)*. Ну, вот. Тебе же лучше, дурачок. Уснешь спокойно — и никаких двойников.
Медбрат, взяв коробку, уходит.
Санитар *(подходит к двери, берется за выключатель)*. Ладно, отдыхайте. *(Выключает свет и уходит)*.
В темноте стоны **Вячеслава** постепенно затихают.

Сцена 6

Левая половина сцены. В помещении — только скамья. У двери — **Валентина Васильевна** в строгом костюме, с пластиковым пакетом в руке. Она нажимает кнопку в стене. В двери появляется **Санитар**.
Санитар. Передача Полянскому? Давайте. *(Забирает у Валентины Васильевны пакет, роется в нем)*. Компот, яблоки, книга... Водки нет?
Валентина Васильевна. Нет-нет. Вы можете пригласить сына?
Санитар. К больному пока нельзя.
Валентина Васильевна. Он не больной, а на экспертизе...
Санитар. Всё равно нельзя.
Валентина Васильевна. Что у вас за порядки? Как в тюрьме.
Санитар. Выпишется — насмотритесь. Чего на него смотреть?
Валентина Васильевна. Это не ваше дело! Пропустите, пожалуйста, я хочу поговорить с главврачом! *(Пытается пройти в дверь)*.
Санитар *(не пускает её)*. Нельзя. Его всё равно нет.
Валентина Васильевна. Позовите лечащего!
Санитар. Он занят.
Валентина Васильевна. Если они так заняты, передайте им: я сейчас поеду в горздрав — может, там найдут время? Я ведь найду на вас управу!
Санитар *(нехотя)*. Щас, посмотрю. *(Уходит с пакетом, закрыв дверь)*.
Пауза. Входит **Илья Семенович** .
Илья Семенович *(сухо)*. Что вы хотели?
Валентина Васильевна. Во-первых, здравствуйте.
Илья Семенович. Здравствуйте.
Валентина Васильевна *(возмущённо)*. Я хочу видеть сына, а мне не дают с ним видеться — какие-то отговорки. Он мне пишет странные записки. Что с ним? Ведь он же не больной, он на экспертизу направлен!

Илья Семенович. Видите ли, ваш сын... Он не вполне здоров.
Валентина Васильевна. Что с ним?
Илья Семенович. В нашем деле трудно ставить диагноз на глазок, надо наблюдать, пробовать разные средства. Но налицо склонность к бредовым идеям, переоценка личности; просматривается, я бы сказал, неадекватная аффектированная агрессивность.
Валентина Васильевна. Бедный мальчик! И вы его лечите?
Илья Семенович. Только профилактические меры.
Валентина Васильевна. Я хочу его видеть!
Илья Семенович. Я бы порекомендовал не торопиться. Пациент впечатлительный. Сейчас он спокоен, но встреча выведет его из равновесия.
Валентина Васильевна. Но я хочу его видеть! Я чувствую, ему плохо!
Илья Семенович *(мнется)*. Н-ну, смотрите.
Валентина Васильевна. Я хочу его видеть, позвольте!
Илья Семенович. Хорошо, пожалуйста. Подождите немного. *(Уходит)*.
Валентина Васильевна беспокойно ходит взад-вперёд, ломая пальцы. **Санитар** вводит **Вячеслава** и уходит. **Вячеслав** уныл, апатичен, с матерью холоден, говорит медленно, с запинками.
Валентина Васильевна. Слава, наконец-то! Здравствуй, милый! *(Обнимает и целует его)*.
Вячеслав. Здравствуй, ма.
Валентина Васильевна. Давай сядем, я устала — около часа добиваюсь с тобой свиданья. *(Садятся на скамью)*. Почему такая секретность?
Вячеслав *(пожимая плечами)*. Скажи: какое сегодня число?
Валентина Васильевна. Семнадцатое.
Вячеслав. А месяц? Месяц?
Валентина Васильевна. Июль, сынок. Ты что, потерял счет дням?
Вячеслав *(сосредоточенно думает)*. Это я, значит... Не могу посчитать.
Валентина Васильевна. Двенадцать дней, сынок.
Вячеслав. Я думал, больше. Дни перепутались.
Валентина Васильевна. Как ты тут? Тебя кормят?
Вячеслав *(раздраженно)*. Кормят, конечно! Не носи ты мне эти сладости — не могу уже! Отдаю, кому не носят.
Валентина Васильевна. А чего тебе носить?
Вячеслав. Ничего не надо. Яблоки можешь. Сигареты.
Валентина Васильевна. Как? Ты куришь?
Вячеслав. Тоска, мам, такая, что не только закуришь — запил бы!
Валентина Васильевна. Что с тобой, сынок? Что они с тобой делают?
Вячеслав. Трудно объяснить, ма.
Валентина Васильевна. Что, что они делают? Они тебя лечат?
Вячеслав. Колют аминазин.
Валентина Васильевна. Зачем?
Вячеслав. Когда сопротивляюсь.
Валентина Васильевна. Чему сопротивляешься? Они тебя бьют?
Вячеслав. Нет. Просто вяжут.
Валентина Васильевна. Как «вяжут»? Веревкой, что ли?
Вячеслав. Смирительной рубашкой. Не слыхала, что ли?
Валентина Васильевна *(в отчаянии хватается руками за щёки)*. Господи, сынок мой! Это ужасно, ужасно!
Вячеслав. Да сейчас уже не вяжут. И колют редко. Иногда. *(Сидит, опустив руки и голову)*. Устал я, ма.
Валентина Васильевна *(в отчаянии)*. Господи, какая же я дура!..
Вячеслав. Если бы они меня сразу не скрутили, я бы убежал — никакие бы заборы не удержали. Они переиграли меня!
Валентина Васильевна. Иди, сынок, позови врача, я буду с ним говорить. Как его зовут?
Вячеслав. Илья Семенович.
Валентина Васильевна. Я теперь буду часто к тебе приходить, пока не вызволю... Иди, Славик, пригласи врача. *(Целует* ***Вячеслава****)*.
Вячеслав. Не знаю, придёт ли...
Валентина Васильевна. Придёт! Иначе я взорву эту больницу!..
Вячеслав уходит. Пауза. **Валентина Васильевна** достаёт носовой платок, прикладывает к глазам. Чтобы успокоиться, встаёт, озабоченно ходит, ломая пальцы. Входит **Илья Семенович**.
Илья Семенович *(сухо)*. Что вы хотели?
Валентина Васильевна. Что вы делаете! Вы превращаете его в сонное, тупое существо! Он пришёл к вам восприимчивым ко всему, он светился весь, он звучал, как музыкальный инструмент!
Илья Семенович *(терпеливо)*. Вы всё сказали?
Валентина Васильевна. Я вырву его отсюда, чего бы это ни стоило!
Илья Семенович. Зачем вырывать? Вы можете его забрать. Но, насколько я помню,

сударыня, у вас не было выбора: или справка — или скамья подсудимых. А справок без экспертизы мы не даём — я несу профессиональную ответственность за это.
Валентина Васильевна. Да если б я знала!.. Я мать — понимаете? — и не могу смотреть на это!
Илья Семенович. Сочувствую вам, но экспертиза вашему сыну в самом деле нужна — он не вполне здоров.
Валентина Васильевна. Он был здоров!
Илья Семенович. Абсолютно здоровых психически людей не бывает. Простите, но вам бы тоже не мешало пройти курс.
Валентина Васильевна. Нет уж, вам меня не заполучить!
Илья Семенович. Это — обывательское понятие о психодиспансере как о камере пыток.
Валентина Васильевна. Да так оно и есть!
Илья Семенович. Нет, не так — мы лечим, и порой — успешно. Что делать, если вся современная медицина ещё пока на довольно низком уровне: химия и скальпель — почти единственные её средства, и ни абсолютного здоровья, ни гарантий они не дают... Да, юноша ваш — с подвижной психикой. Да, всякое лечение причиняет страдания... Если вы не доверяете мне, то я не один тут — у нас коллектив: врачи, сёстры, санитары, больница переполнена. Если бы у меня была частная клиника, а вы бы — в состоянии хорошо платить, за вашим сыном был бы индивидуальный уход. Хотя, уверяю вас, средства лечения были бы те же. Но, увы, у вас нет таких средств, а у меня — клиники, так что давайте применяться к обстоятельствам... Он действительно не совсем здоров. И, насколько знаю, ему грозит срок? Если он попадёт туда, то оттуда он попадёт к нам же — только с отягчающим анамнезом. Процесс может оказаться необратимым. Жизнь, сударыня — грубая штука. Не споткнись он об неё сейчас — споткнётся потом: психический тип вашего сына таков, что он в постоянном конфликте с жизнью. Гибельная судьба всякого талантливого человека.
Валентина Васильевна *(с отчаянием)*. Что же делать?
Илья Семенович. Думаю, потерпеть... Да, была повышенная возбудимость; мы её сняли. Теперь он спокойней — адаптация налицо. Навещайте его, только не возбуждайте при встречах... Еще вопросы есть?
Валентина Васильевна. Я еще посмотрю, как всё будет.
Илья Семенович. Пожалуйста. А пока до свидания, мне нужно идти. *(Смотрит на свои часы, слегка кланяется и уходит)*.
Валентина Васильевна тоже уходит. Затемнение.

Сцена 7

Вячеслав и **Валентина Васильевна** выходят на просцениум слева. **Валентина Васильевна** — в осеннем пальто, с раскрытым зонтиком. **Вячеслав** — в куртке; он вял и грустен.
Валентина Васильевна. Ну вот, наконец-то! Ты теперь здоров и свободен. Можешь отдохнуть после больницы, сколько хочешь: неделю, две. Потом работу тебе подыщем... А, может, учиться хочешь? На заочное ещё не поздно, успел бы документы подать.
Вячеслав. Мама, ты так быстро идёшь — я устаю. *(Останавливается)*.
Валентина Васильевна. Сынок, но мне же на работу надо!
Вячеслав. Ты иди, я сам. Дорогу домой не найду, что ли?
Валентина Васильевна. Нет, Слава, я хочу тебя проводить до дома. Давай посидим? *(Доходят до скамейки, садятся)*.
Вячеслав *(подставляет ладонь дождю)*. Дождь. Как я любил когда-то дождь, осень!
Валентина Васильевна. Почему «любил»? Почему — в прошедшем времени? Ты ещё только начинаешь жить!
Вячеслав. Не знаю почему.
Валентина Васильевна. Ты взбодрись! Забудь о том, что было. Я тебя откормлю, работать пойдёшь, зарядку обязательно делать, влюбишься ещё, а там, глядишь, и женишься!
Вячеслав. Мне скучно об этом.
Валентина Васильевна. Экий ты, Славка, тюлень!.. Может, тебе к сексопатологу сходить?
Вячеслав. Да с этим у меня все в порядке: дамам со мной скучно не бывает. Даже здесь, в больнице. Но когда я вижу вокруг себя человеческие бездны — меня оторопь берёт.
Валентина Васильевна. Где ты видишь бездны? Кругом серая, обыденная жизнь.
Вячеслав. От неё-то, мама, и несет бездной!
Валентина Васильевна. Ну, ладно, ладно... *(Успокаивая, гладит его руку)*. Если захочешь писать стихи или песни, или ещё что-то — пиши, папа не будет сердиться: он понял, наконец, что ты не тот человек, которым бы он хотел тебя видеть, и отступился.
Вячеслав. Спасибо хоть на этом.
Валентина Васильевна. Не насмехайся.

Вячеслав. Да, мам, конечно же, буду писать. То, что я увидел там, в этом доме скорби, всё осветило по-новому.
Валентина Васильевна. Хорошо, ладно. Пойдём?
Вячеслав молча кивает. Они встают и уходят. Затемнение.

Сцена 8

Вячеслав в спортивном костюме, уставившись взглядом в одну точку, сидит на диване в правой стороне сцены. Перед ним стул с тетрадью. Рядом лежит гитара. Раздаётся звонок в дверь. **Вячеслав**, очнувшись, встаёт и выходит из комнаты. Через некоторое время он пропускает в дверь **Виталия** и входит сам.
Вячеслав *(показывает на стул, садится сам)*. Садись. Чем обязан визиту?
Виталий *(проходит, потирая руки)*. Ну и холодина чертов. Начало ноября, а прямо как зима, верно?.. Шёл мимо — дай, думаю, забегу. *(Садится)*.
Вячеслав. Что новенького?
Виталий. Есть новостишки! *(Сладко потягивается)*. У меня — всё классно!.. Это ведь мы с лета не виделись, да? На дискотеку, помнишь, ходили?
Вячеслав. Помню, конечно.
Виталий. А девицу помнишь, на которую я тебя натравливал?
Вячеслав. Нинон, что ли?
Виталий. Ну, да. Я её всё-таки... *(Делает хлопок ладонями, при этом щелкает языком и улыбается)*. Теперь бегает за мной. Матушка её тоже под меня копает — хотят взять на абордаж. Нашли дурака!.. Ну, что ещё? Машину купил. Подержанную, правда, но у меня сейчас масть идёт, деньги будут. Покатаюсь, загоню, куплю новьё... Говорят, ты в дурдоме был?
Вячеслав. Да, так получилось: или в дурдом — или в тюрягу.
Виталий. Ясненько. Давно вышел?
Вячеслав. Два месяца как.
Виталий. А я и не знал! Кто-то мне сказал, а я говорю: да он нормальнее нас всех!.. Как ты? Чем занимаешься?
Вячеслав. Ничем.
Виталий. Надо встряхнуться, старик! Оторвёмся на дискотеку, а? Последний кайф поймать, ещё какую-нибудь дурёху отоварить напоследок. *(Потирает руки)*.
Вячеслав. Почему напоследок-то?
Виталий. Так я женюсь!
Вячеслав. Поздравляю.
Виталий. Чего не спросишь, на ком?
Вячеслав. Да тебе, по-моему, без разницы.
Виталий. Не скажи. На Жанке!
Вячеслав. М-м... *(Задумчиво кивает головой)*.
Виталий. Чего молчишь? Ты ж тоже клинья подбивал! Но тут уж, как говорится, кто смел — полезай в кузов! Квартира у нее — хоть футбол гоняй: сталинская ещё... Так что, вдарим по дискотеке?
Вячеслав. Нет, Виталя, не пойду я; иди сам.
Виталий. Ну, смотри, я хотел, как лучше. Но на свадьбу приглашаю!
Вячеслав. Дохлый номер. Не приду.
Виталий. Нет-нет, вместе с Жанкой просим! Через две недели свадьба. Негромкая такая, для друзей.
Вячеслав *(устало)*. И вообще, шёл бы ты вместе со своей свадьбой, с машиной и дискотекой подальше.
Виталий. Не понял! Я и сам могу послать тебя вместе с твоей матушкой.
Вячеслав. А вот матушку не тронь — она ни при чём.
Виталий. Как ни при чём? Это она просила: развлеки да развлеки Славика!
Вячеслав. Ах, вот оно что! *(Встает с угрожающим видом)*. Тогда вали отсюда быстрее, а с матушкой я сам разберусь!
Виталий *(вскакивает, быстро идет к двери)*. Вот и делай людям добро. *(Отворяет дверь, на мгновение задерживается и крутит пальцем у виска)*. У тебя что, в самом деле, это, да? *(Уходит)*.
Вячеслав *(кричит вдогонку* ***Виталию****)*. Да-да, это, это! Будь здоров! (*Затворяет за ним дверь и снова садится на диван, берет в руки гитару, трогает струны, пробует петь отдельные фразы, аккомпанируя себе)*. «Жизнь уйдет шагами Командора»... Нет, не то... «О, эти мерзкие хари»... Нет! Нет-нет-нет... «Одиночества груз я не в силах нести»... Нет. *(Думает; начинает петь истерически взвинченно)*. «На лету меня жизнь подстрелила, ах, на лету! Кровь моя алым потоком хлещет из ран...» *(Кричит истерически)*. Нет, не то! Не то! *(Роняет голову на руки, положенные на гитару. Откладывает гитару, достаёт носовой платок, вытирает глаза. Успокаивается. Идёт в боковую дверь; выходит оттуда, держа в руках небольшой предмет, завернутый в тряпицу. Садится на диван, разворачивает тряпицу. В его руках — небольшой пистолет.* **Вячеслав** *рассматривает его; увлёкшись, вертит в руках, вынимает и вновь вставляет обойму, оттягивает курок, вкладывает в ладонь и держит на весу; видно, как приятно ему его держать)*.

Сцена 9

Открывается задняя дверь; **Валентина Васильевна**, еще невидимая, окликает **Вячеслава.**

Валентина Васильевна. Славик, ты дома?

Вячеслав. Да! *(Заворачивает пистолет в тряпицу и сует в карман).*

Валентина Васильевна *(появляется на пороге в деловом костюме; в руке у нее тяжёлая хозяйственная сумка).* Что ты там прячешь?

Вячеслав. Так, ничего... Носовой платок. Насморк у меня.

Валентина Васильевна. Немудрено: такой холодище на улице. Будем перед сном ингаляцию делать. Где-нибудь был сегодня?

Вячеслав *(язвительно).* Меня сегодня посетил не кто иной, как Виталик.

Валентина Васильевна. Правда? Ну и что?

Вячеслав. А то, что этот посланец небес с благотворительной миссией мне не нужен. Мне скучно с ним, у нас с ним — ничего общего!

Валентина Васильевна *(ставит сумку на пол и делает пальцами расслабляющее упражнение).* А что ты мне это говоришь? Ему и говори.

Вячеслав. Ему я уже сказал. А тебе говорю — ты знаешь, почему!

Валентина Васильевна. Но нельзя же, Слава, жить, ничего и никого не видя! Ты мне так и не ответил: ты был где-нибудь сегодня?

Вячеслав. Нет.

Валентина Васильевна. Слава, ну почему ты ничего не хочешь делать? Не хочешь учиться — иди работай! Хотя почему бы не доучиться?.. Чего дома торчать? Нельзя так киснуть — ведь два месяца, как ты дома. Мы же как договаривались? Две недели на раскачку, и — за дело!

Вячеслав. Я — не договаривался. Это ты договаривалась.

Валентина Васильевна. Ну, хорошо, я. Но надо же чем-то заниматься! У каждого бывают в жизни кризисы; их надо учиться преодолевать. Писал сегодня что-нибудь?

Вячеслав. Нет настроения.

Валентина Васильевна. Что с тобой, сынок? Скажи мне!

Вячеслав. Сказать честно?.. Меня хорошо вылечили — у меня теперь пустая голова. А тело без головы мне не нужно.

Валентина Васильевна. Да ведь все, Слава, так живут... Кстати, где твой магнитофон? Раньше ты так музыку любил, записи слушал.

Вячеслав. Сломался он — отдал в починку.

Валентина Васильевна. Но хоть ужин-то ты приготовил?

Вячеслав. Нет, мама, прости. Ничего не хочется.

Валентина Васильевна *(со слезами в голосе).* Ну, почему вот я, женщина, могу работать, как кляча, с утра до вечера, потом нести тяжёлую сумку, а теперь ещё становиться к плите и готовить ужин?

Вячеслав. Да зачем, мам, готовить? Давайте так поедим.

Валентина Васильевна. Я не хочу «так»! Что я скажу отцу, когда он придёт поздно и усталый? Я не привыкла жить кое-как! Я знаю, что я обязана сделать, и я сделаю! *(Берёт сумку).*

Вячеслав. Мам, знаешь, что я подумал?

Валентина Васильевна. Что?

Вячеслав. А давайте поедемте все вместе в деревню?

Валентина Васильевна. Как — в деревню? Зачем?

Вячеслав. Жить, работать — как бабушка с дедом! Ты, я, папа! Землю бы взяли... Я бы сам уехал, но один просто пока не смогу.

Валентина Васильевна. Да как же это?.. У меня серьёзная работа, у отца — тоже... Да и тебе надо, чтоб глупые мысли не приходили!

Вячеслав. А вот скажи: сделали вы с отцом в жизни хоть одно доброе дело?

Валентина Васильевна. Ты меня просто ставишь в тупик... *(Раздражаясь).* Между прочим, мы с отцом всю жизнь честно работаем!

Вячеслав. Я, мам, не про работу, а про доброе дело.

Валентина Васильевнаа. Работа, долг — это и есть доброе дело.

Вячеслав *(безнадёжно машет рукой).* Ах, ладно... Иди, исполняй свой долг.

Валентина Васильевна *(гневно).* Вечно ты испортишь мне настроение! *(Берет сумку и уходит).*

Сцена 10

Вячеслав продолжает неподвижно сидеть на диване, уставившись взглядом в одну точку. Рассеянно трогает пальцами гитарные струны. За дверью слышен входной звонок, затем — голоса **Валентины Васильевны** и **Павла Степановича**. Спустя некоторое время входит **Павел Степанович**.

Павел Степанович. Привет! *(Неспешно проходит по комнате).*

Вячеслав *(уныло).* Привет.

Павел Степанович. Что нового?

Вячеслав *(пожимает плечами).* Ничего.

Павел Степанович *(садится на стул напротив **Вячеслава**, некоторое время молчит).* Чем занимаешься?

Вячеслав *(пожимает плечами).* Ничем.

Павел Степанович *(печально).* Ты не хочешь со мной говорить?

Вячеслав. О чем?

Павел Степанович *(печально кивает, встает со стула, подходит к **Вячеславу**, кладет ему руку на плечо).* Ну, ладно. *(Уходит).*

Вячеслав продолжает неподвижно сидеть на диване. Пауза.

Валентина Васильевна *(заглядывает в дверь).* Слава, иди мой руки, сейчас будем ужинать.

Вячеслав. Мама, я не хочу.

Валентина Васильевна. Ну, посиди с нами. Посидишь — захочешь.

Вячеслав. Не захочу.

Валентина Васильевна. Но так же нельзя, Слава!

Вячеслав *(тихо и твёрдо).* Оставь меня.

Валентина Васильевна. Тебе что, плохо?

Вячеслав *(с отчаянием).* Мама!

Валентина Васильевна. Ну, ладно, ладно! *(Исчезает за дверью).*

Вячеслав, сидя на диване, начинает мерно раскачиваться взад-вперед, закрыв глаза и постанывая, как при сильной зубной боли. За стеной раздаётся телефонный звонок; **Вячеслав** не слышит его.

Валентина Васильевна *(заглядывая в дверь).* Ты что, не слышишь? Возьми трубку — тебе Юрий звонит! Из Парижа, между прочим!

Вячеслав *(вскакивает, идет к телефону, поднимает трубку).* Алло!

Юрий *(в дальнейшем диалоге с **Вячеславом** голос **Юрия** слышен, будто издалека, с шорохами помех).* Слава, ты меня слышишь?

Вячеслав. Да! Да! Юра, это я! *(Оборачивается к матери).* Ма, может, дашь поговорить?

Валентина Васильевна молча исчезает, прикрыв дверь.

Вячеслав *(в трубку).* Юра! Деряба! Я слушаю тебя!

Юрий. Да не кричи, я тебя прекрасно слышу. Я получил твоё письмо. Только что. Расстроился ужасно. Тебе что, действительно плохо?

Вячеслав. Да, Деряба, хуже не бывает.

Юрий. Понимаю: если дошло до психобольницы... Но, Вяч, мы же говорили, когда прощались — помнишь? — тем, кто хочет что-то сделать в этом мире, надо много мужества! А нам с тобой ещё надо кое-что успеть, старик!

Вячеслав. Помню, Юра! Но я отступаю! Они загнали меня в угол.

Юрий. Кто «они»? Родители, что ли?

Вячеслав. Не в них дело — они стараются, как лучше. Все вместе.

Юрий. Ты не можешь говорить яснее? Тебя кто-то слушает?

Вячеслав. Нет-нет! То есть всё разом. То есть, я с людьми расхожусь: полное непонимание. Я всегда знал, что я помешанный. Ну и что? Я ж никому не мешал: не крал, не подличал. Почему они нас так боятся? Раньше сумасшедшие были божьими людьми; их устами говорил Бог, а нынче делают из этих несчастных куски сырой глины... Они убили меня, Деряба. Они оставили мне тело с желаниями и убили душу. Я становлюсь хамом. Тупым, ленивым хамом. Я разлюбил людей.

Юрий. Эка! Я давно был о них невысокого мнения и чувствую себя неплохо! Миллионы хамов живут себе припеваючи, а ты, видите ли, не можешь!

Вячеслав. Видишь ли, моя душевная жизнь... Никаких благ я не отдам за неё; плевать, что мое царство — иллюзия!.. А, впрочем, зачем я на тебя своих собак — ты же с этим телефонным разговором вылетишь в трубу?

Юрий. Да плевать! Париж заплатит — пусть тебя это не щекочет! Ты пишешь: «Моей душе тесно в теле — хочется выпустить её на свободу». Как это понимать? Метафора?

Вячеслав. Нет, Деряба, метафоры исчерпаны. Прямой текст. Надо кончать.

Юрий. Не делай этого, я прошу! Ты знаешь, я твои письма привёз сюда, показал ребятам из эмигрантского журнальчика. Их берут в печать! Хотя их тут оценит только дюжина человек, не больше, но я закажу перевести их на французский. Тогда посмотрим! Клянусь, я сделаю это, и я заранее поздравляю тебя с успехом!

Вячеслав. Да мне уже, знаешь, как-то... до фонаря.

Юрий. Ловлю на слове! Когда ты увидишь это воочью — уверен, твое настроение подскочит на порядок!

Вячеслав. Нет, Юра. Они выпотрошили мне голову, а без неё нечего делать. Ты хорошо сделал, что позвонил. Не с кем перекинуться словом. Мать — не понимает, ты — далеко. Тут вопрос о моей... о моей посмертной воле.

Юрий. Брось, Вяч, не забивай себе этим голову, я тебя прошу!.. Давай-ка вот что: я пошлю тебе денег; ты возьмёшь визу и прилетишь ко мне! Договорились? Побродим, посидим — тут такие кабаки! — наговоримся от пуза, и уверяю: всё как рукой снимет! Здешняя атмосфера нашего с тобой брата хорошо лечит! Нашу хандру надо снимать Парижем, Вяч!

Вячеслав. Нет, Юра. Моей тоской сейчас можно залить не только Париж — весь мир. Я всё сказал, всё написал. Нечего больше делать.
Юрий. Я уверяю, у тебя просто кризис!
Вячеслав. Мне скучно, Деряба, повторяться. Думал, ты поймёшь.
Юрий. Хорошо, молчу! Выскажись!
Вячеслав. Я задыхаюсь, Юра. Я среди них чужой и лишний. Писать — не хватает усилий: что-то ушло. Только правлю дневники, всё, что у меня осталось, и лью в них слёзы. Я всё там сказал.
Юрий. Слава, это так серьёзно?
Вячеслав. Серьёзней некуда. Хлопушку достал. Загнал японский маг и купил вот. Мать только жалко...
Юрий. Слава, ты не сделаешь этого! Помнишь, как ты не мог меня даже ударить?.. Ты же ничего ещё не успел!
Вячеслав. Нет, ты не прав — кое-что успел. Значит, большего не дано. А ты давай за нас обоих... Знаешь, я всё думаю: может, я слишком вкусил от плода познания? Но ведь миллионы Адамов грызут сей плод, запивают вином наслаждения — и хоть бы хны! Или просто не выдержал?.. Прости, что несвязно... В общем, ухожу, Деряба, и прощаюсь. Спасибо, что позвонил. Как чувствовал всё равно!
Юрий. Не смей! Слышишь? Мы еще покажем, на что способны!
Вячеслав. Брось ты эту бодрость — она мне как насмешка. Послушай лучше, что скажу. Лучшее, что у меня было — это наша дружба. Не серчай за ссоры. С женщинами вот не повезло — не нашёл: завышал планку. Не умел ценить маленькие радости... Матушку любил. Но дневники ей доверить не могу, слышишь, Юра? Я бы хотел, чтоб они, все двадцать шесть тетрадей, попали к тебе. Не дай им сгинуть: боюсь за них. Половину матушка уничтожит; ей за меня стыдно будет: я ведь ни примерным сыном, ни примерным любовником, ни примерным гражданином не был. Оставляю записку на твоё имя.
Юрий. Погоди! Знаешь что? Жди меня — я приеду! Сейчас кладу трубку, мчусь в Бурже, достаю билет, чего бы это ни стоило, и лечу! Прошу как друга! Я ведь никогда ничего у тебя не просил! Один раз — можно?
Вячеслав. Поздняк метаться, Юра! Всё. Поезда ушли, самолеты улетели. Я всё сказал. Прости меня! И прощай. (Резким движением кладет трубку).

СЦЕНА 11

Вячеслав медленно идет к дивану, садится на него, достаёт из кармана брюк пистолет, отрешённо смотрит на него, затем, взяв его обеими руками, зажимает между колен и в таком положении сидит, опустив голову. Раздаётся стук в дверь. **Вячеслав** сует пистолет в карман. В дверь заглядывает **Валентина Васильевна**.
Валентина Васильевна. Ну, что Юра тебе сказал?
Вячеслав *(ледяным тоном)*. Ничего нового. Что ещё?
Валентина Васильевна. Отчего ты так раздражён?
Вячеслав. Я, мама, сейчас не намерен обсуждать этот вопрос.
Валентина Васильевна *(просительно)*. Пойдём, Слава, ужинать.
Вячеслав. Я не хочу.
Валентина Васильевна. Ты так бледен сегодня.
Вячеслав *(иронично)*. Хорошо, я постараюсь изменить цвет лица.
Валентина Васильевна. Но если захочешь, приходи.
Она уходит, прикрыв за собой дверь. **Вячеслав** устало встаёт, подходит к зеркалу и смотрит в него. В зеркале появляется **Мертвец** в истлевающей одежде. **Вячеслав** отшатывается от зеркала.
Мертвец *(скрипучим, неживым голосом)*. Не узнаёшь? Ха-ха-ха!
Вячеслав *(справляясь с собой, стараясь быть ироничным)*. Н-нет, почему же?.. Двойника — да не узнать!
Мертвец. Торопишься сюда?.. А ведь страшно? Ха-ха-ха!
Вячеслав. Да, страшно. Но я не могу так жить — это унизительно!
Мертвец. Тогда давай. Лежать здесь кучей костей и дерьма — занятьице спокойное, ха-ха-ха!
Вячеслав. Хочешь меня испугать? Не боюсь! Мой дух останется здесь *(показывает на дверь в свою комнату)*: в тетрадях, в друзьях, в тех, кто есть и кто будет! Я тебя переиграю, мерзкая плоть!
Мертвец. Жалкий прах с потугами на бессмертие, не тешь себя иллюзией! Весь, без остатка, станешь землей, ха-ха-ха!
Вячеслав. Врешь! Малая часть меня — но останется! Тебе не взять её! Иди вон! На место!
Мертвец, хохоча, исчезает. **Вячеслав**, держась за карман, где лежит пистолет, ходит

взад-вперед по комнате. Потом резко поворачивается и уходит в боковую дверь. Пауза. Раздаётся выстрел. Пауза. В комнату, озираясь, врывается испуганная **Валентина Васильевна**. За ней входит жующий на ходу **Павел Степанович**.

Павел Степанович. Да нет, уверяю тебя, что-то упало.

Валентина Васильевна уходит в боковую дверь. Раздаётся её душераздирающий вопль.

Павел Степанович идёт туда; **Валентина Васильевна** выскакивает оттуда и сталкивается с ним в дверях. **Павел Степанович** удерживает её в руках.

Валентина Васильевна. Нет! Нет! Он убил себя! Нет!

Павел Степанович уходит вместе с **Валентиной Васильевной** в боковую дверь. Затемнение.

Сцена 12

Правая сторона сцены. **Валентина Васильевна** понуро сидит на диване, обхватив щёки руками; в одной руке у нее зажат носовой платок; **Павел Степанович** шагает перед нею взад-вперед, закинув за спину руки; оба — в темной траурной одежде.

Павел Степанович. Валюша, возьми себя в руки. Надо съездить на кладбище. Поедем, уберём там.

Валентина Васильевна *(мотает головой)*. Нет! Нет! Нет! Я не могу! Я хочу умереть!

Павел Степанович. Я не могу тебя оставить тут одну. Поедем, тебе так легче будет. Надо привыкать.

Валентина Васильевна *(рыдая)*. Ну, как ты можешь! Господи!

Павел Степанович *(садится рядом, одной рукой обнимает её за плечи, другой берет её руку в свою и целует)*. Ты думаешь, мне не больно? Потерять сына — это ужасно! Но ведь... Смирись, милая — грех спорить с судьбой. Нам надо жить, хотя бы во имя памяти о нём...

Валентина Васильевна *(в отчаянии)*. Какая бессмыслица!..

В дверях появляется **Юрий**; он в светлой легкой куртке; через плечо — большая сумка.

Юрий. У вас не закрыто, извините. Здравствуйте.

Валентина Васильевна. Юра! *(Снова рыдает)*.

Юрий *(начиная понимать, что произошло, роняет на пол сумку)*. Где он?

Павел Степанович *(вставая)*. Вчера похоронили.

Юрий *(со взглядом, устремлённым в пустоту)*. Не успел! Они убили тебя. Они тебя всё-таки убили.

Павел Степанович *(запальчиво)*. Знаете что, молодой человек? Его никто не убивал — он сам себя!

Юрий *(горестно качает головой)*. Где? На Северном?

Павел Степанович. Что?

Юрий. Похоронили на Северном?

Павел Степанович *(рассеянно)*. Да. Да-да.

Пауза.

Юрий *(требовательно, протянув руку ладонью вверх)*. Дневники!

Павел Степанович. Позвольте! Почему?

Юрий *(держа руку протянутой)*. Он оставил их мне.

Валентина Васильевна. Юра!.. Да, записка, он написал — но как же я могу? Ведь его душа, его мысли, все его земное — в них! Оставьте их нам!

Юрий *(опускает руку)*. Его душа принадлежит не вам.

Валентина Васильевна. Юра! Не надо! Оставьте, я прошу вас — мне ничего больше не осталось!

Юрий. Он просил меня забрать их — они уже тоже принадлежат не вам.

Валентина Васильевна *(умоляюще)*. Я их буду беречь, как никто не сможет! Пожалуйста! Ну, хоть на время, пока!

Юрий. Поклянитесь, что ни одна строчка не исчезнет.

Павел Степанович. Что за глупости! Что вы себе позволяете?

Валентина Васильевна. Перестань, Паша. Клянусь, Юра! Неужели ты думаешь, у меня хватит сил уничтожить хоть строчку? Теперь они для меня — один свет в окне, моя жизнь, мое всё. *(Плачет)*.

Юрий. Хорошо, пусть пока будут у вас, но о его воле помните! И — не трогать ни строчки... Я глубоко соболезную вам. Скорблю и печалюсь вместе с вами... *(Мучительно закусывает губу и сжимает ладони)*.

Валентина Васильевна. Спасибо, Юра. Ты ведь с дороги? Тебя покормить надо. Чаю... Паша! *(Смотрит на мужа)*.

Юрий. Нет, благодарю вас. Я забегу ещё. До свидания. *(Исчезает)*.

Павел Степанович. Вот они, нынешние! Ни совести, ни сострадания — чёрствость и хамство. Только «дай», и всё!

Затемнение.

Сцена 13

Юрий выходит на авансцену справа. Медленно бредет влево, останавливается у фонарного столба, опирается о него спиной.

Юрий *(сам с собою, с паузами, с горечью и слезами в голосе, постепенно распаляя себя до пафоса)*. Ты все так же жрешь своих детенышей? Когда ж ты насытишься? Родина моя, ну почему ты так жестока? Зачем так губить своих сыновей? Лучших, талантливых! Я весь свет прошёл: нет сыновей лучше. Что ж ты делаешь! Зачем так: гнобить, изгонять, калечить души? Ответь, простодушный мой, святой мой, дикий народ! Что за люди — сами себя будущего лишаете! Когда же вы перестанете ненавидеть ближнего? Когда его полюбите, наконец? Почему вся мудрость мира — мимо вас? Когда же ты повзрослеешь, моя милая Родина? Слышишь? Не юли, не сваливай ни на кого свои беды! Сколько можно притворяться невинной? Где твоя совесть, твоя доброта, твой разум? Слышишь? *(Всхлипывает и, пошатываясь, уходит влево. Затемнение)*.

Сцена 14

На левой половине сцены — накрытый стол, на нем — вино, водка, закуски; за столом — **Юрий**, напротив него — **Виталий**; с одной стороны — **Жанна**, с другой — **Нина**; обе одеты в траур, и в то же время — экстравагантно. Обе заметно кокетничают с **Юрием**.

Юрий *(поднимая рюмку)*. Позвольте вот что еще сказать. Каждый проходит свою молодость с потерями. Мы гасим в себе свет, вытаптываем цветы и не поднимаем глаз к звездам. Но вот мимо нас пролетела и погасла комета с огненным шлейфом, а мы и не заметили... А вообще-то — спасибо вам. Спасибо тебе, Виталий, что нашёл время свозить меня, показать могилу. Спасибо вам, милые девушки. Не знал, что у него были такие хорошие друзья, что он хотя бы не был один: бессмертие наше — в душах наших друзей и близких. Вечная ему память!

Все молча выпивают и закусывают.

Виталий. Я же говорю: был в тот день у него! Спокойно так поговорили. Да если б я знал — я бы не уходил!

Юрий. Да, всё носил в себе... Талант — это количество души. Несовершенство человека он переживал как трагедию.

Виталий. А кто отличит талант от шизофрении? Нам таких сложностей не понять. Правда, Жанн?

Жанна. Нет, я его понимала — но он прошёл мимо.

Юрий *(Жанне — иронически)*. Вообще-то он всё замечал тонко и точно.

Жанна *(томно глядя на* ***Юрия****)*. Хотя я знаю, что могла бы составить счастье человека искусства.

Юрий *(Жанне и Виталию)*. Вы, говорили, женитесь?

Виталий *(кладет ладонь на руку* ***Жанны****)*. Да-а!

Юрий. Поздравляю. Родится сын — назовите Вячеславом, в память о нём, а?

Виталий. Заказ принят! Сделаем!

Жанна. Бедный Слава — так мало пожил, ничего не успел.

Юрий. Да нет, для своего возраста он успел столько, что дай Бог всякому.

Нина *(Юрию — задиристо)*. А он мне нравился — такая лапочка! Я тоже люблю людей искусства! Но что он такое сделал? Объясните мне.

Юрий. Долго рассказывать. Вот издам в Париже его письма и пришлю тебе.

Жанна. Пришлите лучше мне — уж я-то сумею оценить!

Юрий. Я вам всем пришлю.

Виталий. Да мы сами туда поедем — правда, Жанн? Хавать искусство, ха-ха-ха! Адресок не дадите? Зайдём.

Нина *(Юрию)*. Возьмите лучше меня с собой, а?

Жанна *(насмешливо)*. А что ему там с тобой делать?

Нина. А тебе-то что? Натурщицей буду!

Жанна. Ха-ха-ха. Какая из тебя натурщица!

Нина. А что? Фигуры, скажешь, нет?

Жанна. Да уж! *(Фыркает)*. Глазки строить ума много не надо.

Нина. Это ты глазки строишь, умница! Я-то хоть свободная!

Жанна. Дура ты.

Нина. От такой слышу!

Виталий. Да вы что, девочки? Всё было так культурно...

Юрий *(глядит на часы)*. Та-ак; на этом, пожалуй, закончим. Кажется, начались семейные разборки, а у меня, извините — время. *(Извлекает из кармана бумажник, вынимает несколько купюр, хочет сначала положить на стол, но замирает с ними в руке)*. Официант, похоже, про нас забыл... Ладно, я расплачусь. А вы, если хотите, посидите ещё. *(Кричит и машет рукой невидимому* **Официант** *у)*. Эй! Подойди, пожалуйста! *(Подождав немного, встает и идет из-за стола на авансцену)*.

Из-за кулисы выходит **Официант**. В черной паре с черной бабочкой и белой сорочкой, с белым полотенцем на локте и пустым подносом в руке, он имеет довольно надменный вид.
Юрий *(***Официанту***)*. Я расплачиваюсь вон за тот столик *(показывает пальцем),* где сидит та стайка зверушек. Пожалуйста! *(Подаёт купюры)*.
Официант *(забирая их, удивленно)*. О-о, доллары! *(Рассматривает купюры на свет, затем сразу становится услужливым)*. Вам сдачи?
Юрий. Не надо. Но на тот столик принеси еще две — или даже три! — бутылки. И лёгких закусок там сообрази. *(Кивает на купюры)*. Хватит?
Официант *(развязно улыбаясь)*. Вполне!
Юрий *(сухо)*. А чего улыбаемся?
Официант *(прогоняя улыбку с лица)*. Нет, ничего. Бу-сделано, шеф.
Юрий. Ну, смотри, чтоб всё — на уровне. И — без этих пошлых улыбочек. *(Кричит и машет рукой сидящим за столом)*. Адьё! *(Идет к кулисе)*.
Виталий *(машет ему рукой)*. Пока! Мы ещё посидим!
Нина *(вслед уходящему* ***Юрию****, вставая из-за стола)*. Можно, я с тобой?
Юрий. Как-нибудь в другой раз! *(Уходит)*.
Виталий *(****Нине****)*. Да сиди! Нужна ты ему... Ладно, давайте ещё помянем Славку по-хорошему: что ж оно тут, и вино, и закусь, все остается?.. *(Наполняет бокалы, затем с удовольствием хлопает в ладоши)*. Для начала, девчонки, слушаем анекдот: приходит раз, значит, чукча в ресторан...
Подходит **Официант**, молча ставит на столик и откупоривает три бутылки вина.
Виталий. Ого, ништяк! Откуда?
Официант. Шеф, уходя, заказал для вас. Сейчас ещё будет салат.
Виталий *(обеспокоенно)*. А он расплатился?
Официант. Да. (*Откупорив бутылки, уходит)*.
Виталий *(с удовольствием трёт ладонь о ладонь и посмеивается)*. Ну, девки, гулям на халяву!.. Да, так вот, значит, чукча и говорит... *(Далее оглядывается с опаской на зал, машет руками девушкам, чтоб наклонились, что-то шепчет им, и все трое громко хохочут)*.
Затемнение.

Конец

г. Красноярск

Юлиания ЛАЗАРЕВСКАЯ

****

На затхлом чердаке пятиэтажки
Вторые сутки умирает ангел —
Среди окурков и разбитых ампул,
И много раз использованных шприцев,
Разбросанных в зиянии окошка,
В ошметках тленьем тронутой бумаги
И бурым окропленного тряпья…
Разрушенное, скомканнное тело
Отказывает ангелу в служенье,
А кроткий дух усовестить не в силах
Неуправляемую оболочку —
Ни тем, что есть ещё на этом свете
Сугубо неотложные дела,
Ни тем, что есть ещё на этом свете
Сердца, которым будет очень больно
Урату понести… не внемлет тело…
Оно вполне конкретно умирает…
И пульс частит… и жар его сжигает…
И светлое сознание мутится…
И даже христианские заветы
Не помогают ангелу в сей час.
Когда обшарпанное полнолунье
Сползает по царапающей крыше
В разверстый зев чердачного окошка,
Сюда приходит бедный параноик…
Еще вчера неотразимым ломом
Он раскроил вражине черепушку
И затащил — гордяся! — на чердак
Бесчувственное вражеское тело…
Теперь он смотрит… в сумраке чердачном
Изогнутым крестом оно зияет…
Как будто лунка сделана в полу –
И из неё такая веет сила,
Что выдержать не в силах сумасшедший
Ее испепеляющего зова…
Она, как некий яд, струится в вены,
В зрачки и сухожилия безумца,
И тот, впадая в медленный припадок,
Визжит и бьется… и кровавой пеной,
Как мерзким словоблудьем наркомана,
Исходятся зловонные уста…
Тогда — как бы во тьме зачуяв Бога –
Дух отверзает горестные очи…
— Восстань! — глаголет Он –
И виждь, и внемли, и жги сердца людей!..
И параноик,
от судорог и язв освобожденный,
лежит до утра — рядом с хладным трупом…
и мутные зрачки его — как совесть –
сжигает свет божественный… пусть люди
с восторгом говорят: пришел Поэт
Нас известить об Истине предвечной…

Анастасия ПОДБОРСКАЯ

ПОЛЯКИ НА БЕРЕГАХ ЕНИСЕЯ

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ

Депортация народов, которая стала обычным явлением в СССР в 1930-х-1950-х гг., принесла огромный моральный и материальный ущерб. Им пришлось в трудных, непривычных для многих условиях осваиваться на новых местах, потеряв все у себя на родине.

С другой стороны, массовые выселения стали одним из важных компонентов решения многих задач политического, социального и межнационального характера. Депортации оправдывались «государственными интересами» и «интересами трудового народа». В число главных непосредственных причин выселения народов входили:

1) акт мести государства за предательство отдельных лиц и групп этих народов во время фашистской оккупации;

2) депортация как превентивная мера за возможное предательство, а по сути — за принадлежность к национальности, с зарубежными соплеменниками которой ведется или может вестись война;

3) массовое выселение юридически невиновных людей из Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Правобережной Молдавии производились с целью ослабления социальной базы буржуазно-националистического подполья. Всякого рода «государственными интересами» объяснялись и все другие депортации[1].

Это была спецколонизация, т.е. целенаправленная государственная политика освоения необжитых или малообжитых районов страны посредством насильственных переселений. В течение 1930-х-начале 1950-х годов насильственная отправка больших масс людей на спецпоселение служила одним из главных рычагов осуществления государственной политики выравнивания трудовых и демографических ресурсов между западными и восточными районами СССР.

В период 1940-1952 гг. по оценке известного российского историка В.Н.Земскова насильственному выселению с отправкой на спецпоселение или в ссылку было подвергнуто около 3,5 млн. человек, и в этой огромной массе людей первое место по численности занимали депортированные народы. В течение 1930-х-начале 1950-х годов при транспортировке в места высылки и в период нахождения там умерли не менее 1,2 млн. человек.

Характер частичной этнической чистки приняла депортация части населения из западных регионов СССР. В данном случае национальный признак не был обозначен, и речь шла о выселении (независимо от национальности) всякого рода антисоветских и социально опасных элементов, включая раскулаченных крестьян. Однако на практике в подавляющем большинстве депортации были подвергнуты лица вполне определенных национальностей. Это — поляки, литовцы, латыши, эстонцы, молдаване, а также украинцы и белорусы из западных областей Украины и Белоруссии. Среди направленных на спецпоселение беженцев из оккупированной немецкими войсками Польши преобладали евреи.

В результате абсолютное большинство депортированных в указанный период составляли лица, являвшиеся на практике жертвами тотальных или частичных этнических чисток.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В соответствии с Пактом Молотова—Риббентропа Советский союз в сентябре 1939 г. и в июне 1940 г. занял восточные территории довоенного польского государства. Эти территории образовали западные области БССР (Вилейскую, Барановичскую, Белостокскую, Брестскую, Пинскую) и УССР (Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Дрогобычскую, Станиславскую и Тарнопольскую), а также отошли к Литовской ССР. В 1940-1941 гг. советские власти провели насильственное выселение вглубь страны больших групп жителей указанных регионов. Депортации гражданского населения стали самым массовым видом советских репрессий 1939-1941 гг. на захваченных территориях. Принудительному выселению подверглись разные категории граждан, получивших особое название: «осадники» и «беженцы».

1. Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР 1930-1960. М. 2003. с. 282

ПРАВОВОЙ СТАТУС СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Статус и режим переселенцев регулировались решениями высших органов власти СССР. Первое Постановление ЦК ВКП/б/ и СНК СССР по этим вопросам было принято еще 27 мая 1939 г. При Совнаркоме СССР создавалось специальное Переселенческое управление. Положение о нем было утверждено постановлением СНК СССР № 1447 от 14 сентября 1939 г. Соответствующие управления были организованы на основании постановления ГКО №6600 от 25 сентября 1944 г. при Совнаркомах республик, территории которых стали местом размещения переселяемых граждан.

К концу 1944 г. НКВД СССР разработал положение «О спецкомендатурах НКВД». Это положение было утверждено постановлением Совнаркома СССР от 8 января 1945 г. №34-14с. В обязанности спецкомендатур входили учет и надзор за спецпоселенцами, организация розыска бежавших из мест поселения, пресечение беспорядков и наложение взысканий на нарушителей режима. В тот же день Совнарком СССР принимает постановление № 35 «О правовом положении спецпереселенцев», которым определялся их правовой статус. В нем, в частности, отмечалось:

1) Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР за исключением ограничений, предусмотренных настоящим постановлением.

2) Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-полезным трудом. В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с органами НКВД организуют трудовое устройство спецпереселенцев в сельском хозяйстве, в промышленных предприятиях, на стройках, хозяйственно-кооперативных организациях и учреждениях. За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к ответственности в соответствии с существующими законами.

3) Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной комендатурой. Самовольная отлучка за пределы района расселения, обслуживаемого спецкомендатурой, рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в уголовном порядке.

4) Спецпереселенцы — главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в 3-дневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, произошедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.п.).

5) Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур НКВД.

За нарушения режима и общественного порядка в местах поселения спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 рублей или арестом до 5 суток.

С момента размещения в местах спецпоселений все депортированные граждане становились на спецучет в комендатурах. Ежемесячно спецпереселенцы обязаны были отмечаться в этих комендатурах по месту жительства. Никто не мог выехать за пределы своего города или села без ведома и санкции коменданта[1].

КАК ЭТО БЫЛО В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

По данным А.Э.Гурьянова, на 1940-1941 гг. в Красноярском крае находилось 15538 осадников, размещенных в 48 спецпоселках и 1459 беженцев, размещенных в 9 спецпосёлках[2]. По мере прибытия контингентов разных национальностей на спецпоселение, спецпоселки переформировывались, закрывались одни, появлялись другие, укрупнялись штаты комендатур, о чем свидетельствуют архивные документы.

Формально НКВД и производственные ведомства (Наркомлес, Наркомцветмет, наркомат путей сообщения и др.) были связаны договорными отношениями: НКВД, как подлинный рабовладелец, предоставлял спецпереселенцев в качестве рабочей силы другим наркоматам. Те же взамен обязывались обеспечить эту рабочую силу жилищно-бытовыми условиями, продовольственным и промтоварным снабжением, медицинским и прочим обслуживанием, а также отчислять 10 % заработков спецпереселенцев на содержание сотрудников районных и поселковых комендатур НКВД.

---

1. Бугай Н.Ф. Депортация поляков. http://www.nasledie.ru/oboz/N10-11_94/18.htm
2. Гурьянов А.Э. «Польские спецпереселенцы в Сибири 1940-1941» // из Книги “Сибирь в истории и культуре польского народа”. М.2002. с. 370

ОСАДНИКИ И БЕЖЕНЦЫ

Спецпереселенцы — осадники и спецпереселенцы — беженцы различались по национальному, конфессиональному, социальному составу и уровню образования.

Контингент польских «осадников» и «беженцев» был многонациональным по своему составу. По данным на 1 апреля 1941 г. среди 177043 спецпоселенцев, находящихся на спецпоселении, (на которых имелись сведения о национальной принадлежности), удельный вес поляков составлял 54.6%, евреев — 33,3%, украинцев и белорусов — 10,4%. Однако у осадников и беженцев национальный состав существенно различался. Среди осадников доля поляков составляла 82,6%, а среди беженцев — 11,4%, доля евреев — соответственно 0,17% и 84,4%, украинцев и белорусов — 15,7% и 2,3%. Эти данные отражают национальный состав только тех, кто находился на спецпоселении, а не на всех депортированных польских граждан[1].

В феврале 1940 года были высланы «спецпереселенцы-осадники» (или «осадники и лесники»). «Осадниками» по-польски называли колонистов, преимущественно демобилизованных участников польско-советской войны 1919-1920 гг., получивших земельные наделы от правительства Польши в 1920-х годах. Необходимо отметить, что, по польским данным, на восточных территориях Польши проживало не более 6-8 тысяч семей осадников. Депортация осадников 10 февраля 1940 г. по оценке Гурьянова А.Э. охватила более 27 тыс. семей, то есть в 3-4 раза больше истинного их числа. Отсюда следует, что термин «осадник» применялся советскими органами весьма расширительно и был распространен на другие категории выселяемых сельских жителей.

В конце июня — начале июля 1940 г. — за ними последовали «спецпереселенцы-беженцы» (прибывшие в западные области УССР и БССР с территорий, оккупированных немцами).

Всего из западных областей УССР и БССР, а также из Литвы с февраля 1940 по июнь 1941 года было депортировано около 320 тысяч поляков, 60 тысяч из которых оказались в Восточной Сибири. Главные центры «спецпереселения» — Тайшетский, Тулунский, Нижнеудинский районы Иркутской области, районы Красноярского края. Большинство из них оказались на спецпоселении.

На спецпоселении «осадники» и «беженцы» содержались отдельно друг от друга. Совместное их проживание в одном и том же спецпоселке не допускалось. Всего в стране было организовано 563 спецпоселка, из них в 312 жили «осадники», а в 251 спецпоселке — «беженцы»[2].

«Спецпереселенцы — «осадники» — в основном, это сельские жители, обычно с невысоким образовательным уровнем; их выселяли целыми семьями, которые зачастую были многодетными.

В отличие от них «спецпереселенцы — беженцы» являлись городскими жителями, как правило, с более высоким уровнем образования. Это выходцы из Центральной Польши, среди этой категории депортированных было гораздо больше семей с одним ребенком, бездетных и одиноких граждан. Среди спецпереселенцев-беженцев было 15 тысяч высококвалифицированных специалистов и ремесленников[3]. В семьях беженцев по сравнению с семьями осадников было значительно меньше детей. Согласно документам ОТСП, семьи спецпереселенцев — осадников насчитывали в среднем по 5 человек, а спецпереселенцев — беженцев — по 3 человека. Это означает, что работавший глава семьи осадников в среднем имел на иждивении значительно больше членов семьи, чем глава семьи беженцев. Кроме того, именно дети, самые слабые физически члены семьи, были наиболее подвержены болезням, которые часто приводили к смертельному исходу.

Многие беженцы смогли взять с собой на поселение значительно больше денег, драгоценностей, одежды, предметов домашнего обихода, что давало им возможность заниматься меновой торговлей с местным населением и получать таким образом дополнительные продукты питания. Осадники, будучи сельскими жителями, до высылки не располагали таким количеством товаров или предметов, привлекательных для местного населения, как беженцы-горожане.

Беженцы гораздо чаще получали посылки и денежные переводы от родственников, которые не были депортированы. Можно предположить, что у сельских

1. Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР 1930-1960. М. 2003. с. 85

2. Там же, с.87

3. Гурьянов А.Э. «Польские спецпереселенцы в Сибири 1940-1941» // из Книги «Сибирь в истории и культуре польского народа». М. «Ладомир». 2002. с. 372

жителей — родственников осадников, попросту не хватало средств на такие посылки. Как правило, сельское население было беднее городского.

Кроме того, у многих осадников не осталось родных в местах их жительства: из сел высылали всех членов семьи. В городах же депортации не подвергались те члены семей беженцев, которые проживали на восточных территориях довоенной Польши до сентября 1939 года.

Управление исправительно-трудовых колоний и трудовых поселений ГУЛАГа,НКВД дало в ноябре 1940 г. следующую характеристику спецпоселенцам — польским беженцам: «Большинство из них раньше физическим трудом не занималось. Среди них много бывших торговцев, фабрикантов, содержателей ресторанов, коммивояжеров и лиц неопределённых профессий. В их числе некоторая часть трудовой интеллигенции и ремесленников. Крупных специалистов, научных работников среди них 551 человек. Их освоение в лесной промышленности и промышленности Наркомцветмета на первых порах проходит болезненно: не умеют работать, боятся работы. Не хотят работать, думают, что приехали на время, — отсюда «чемоданные настроения». Часть из них материально обеспечена и не заинтересована в работе. Эти ведут себя вызывающе, готовы нанять за себя человека для работы в лесу, некоторые используют своих прислуг, которые приехали с ними на правах членов семьи. Получается двойная эксплуатация: работают за своих хозяев в лесу и, придя, домой, обслуживают их как домашние работницы. Небольшая часть беженцев уже приобщилась к работе и перевыполняет нормы».[1]

МОЛЬБА О ПОМОЩИ

Приведем письмо к тов. Сталину от 6 февраля 1941 г., написанное по просьбе группы из 35 польских беженцев еврейской национальности с участка «Корбик» Манского района, сами беженцы по-русски писать не умели. В письме говорится о том, что среди польских граждан 80% нетрудоспособных. Остальные 20% не в состоянии прокормить всех нетрудоспособных. Они находятся в чрезвычайно тяжёлых материальных условиях. Не могут выходить на работу в эти морозы, так как они голые и босые и не в состоянии прожить в сибирских тайгах. Они, 129 человек, живут в двух маленьких бараках, в очень тяжёлых условиях. Медицинской помощи нет, ближайшая медицинская помощь находится на расстоянии 16 км., куда им приходится идти, они просят принять самые срочные меры для оказания им помощи».[2]

Это письмо было передано заместителю прокурора СССР, и 21 февраля уже отдаётся распоряжение прокурору Красноярского края разобраться в сложившейся ситуации, а 14 марта 1941 г. была проведена полная проверка жалобы на имя тов. Сталина.

Проверку участка «Корбик» Манского района осуществил помощник прокурора Галиновский согласно специальному поручению прокурора Красноярского края.[3] Приведём отрывок из этого документа: «Спецпоселок расположен в глубокой тайге, в 120 км. от реки Енисей, где идет лесозаготовка деловой древесины. В посёлке размещены 123 семьи спецпереселенцев, по национальности евреи, всего 437 чел., из них 200 чел. трудоспособных, из них молодежи до 20 лет — 103 чел., свыше 20 лет — 97 чел., и 237 детей и стариков, не способных к работе. Других подсобных работ в посёлке не имеется». Комиссия утверждает, что жилищные условия удовлетворительные, беженцы размещены в новых бараках по шесть семей. Имеется столовая, но там имеют возможность питаться только работающие. Продуктов, доставляемых в магазин, не хватает. Через магазин выдаётся раз в месяц по одному кг. сахару и крупы, этого для населения не достаточно. Тем более, что на участке живут и работают кадровые рабочие леспромхоза. Да и не все имеют возможность заработать деньги на лесозаготовке. Те, кто мог заработать свыше ста рублей в месяц, жили удовлетворительно, но таких была ¼ часть от общего числа работоспособных».

К документу приложена ведомость на получение заработной платы за январь и февраль 1941г., в которой перечислено всего 22 спецпереселенца из общего числа 437 чел. (9 человек из них получают больше ста рублей, и 13 — меньше ста рублей)

Закономерен вывод о том, что основная масса спецпереселенцев, не приспособленная ни к сибирскому климату, ни к тяжелому труду на лесозаготовках, просто умирала от голода.

1. Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР 1930-1960. М. 2003. с. 86

2. ГАКК, Р. 1434., ОП.12С., Д.7, Л.38

3. ГАКК, Р. 1434., ОП.12С., Д.7, Л.84

НЕСМОТРЯ НА ПРОВЕРКИ НКВД

Отчёты органов НКВД рисуют ужасающую картину существования людей в спецпоселках, при этом подчас ощущается неподдельное возмущение авторов документов. В докладах, в качестве причин отчаянного положения спецпереселенцев, как правило, называются произвол, безответственность, бездеятельность местной производственной администрации, которая обязана организовать полное трудовое использование спецпереселенцев и обеспечить спецпоселки всем необходимым. На деле же повсеместно наблюдалось неудовлетворительное снабжение спецпоселков продовольственными продуктами, низкие заработки из-за необоснованных трудовых расценок, из-за нехватки рабочих инструментов, одежды и обуви, из-за дискриминации спецпереселенцев при распределении работ производственной администрацией. В ответ на жалобы спецпереселенцев время от времени производились проверки, сохранились отчётные документы по итогам проверок, свидетельствующие о настоящем положении дел на местах.

Подобные проверки проводились регулярно, мы можем прочитать свидетельства органов НКВД о содержании спецпоселенцев на поселении. Согласно акту «О состоянии жилищных условий, снабжении и начислении зарплаты спецпоселенцам, находящимся на лесозаготовительном участке «Береть» треста «Краслес» и лесозаготовительном участке «Ярлыковка» Красноярского леспромхоза от 10.02.1941 года»: «На участке «Береть» Спецпереселенцы размещены часть в общих бараках, а часть по отдельным квартирам или в специально перегороженных дощатыми переборками комнатах в бараках. Бараки все побелены, пазы промазаны, два барака на участке «Брод» отштукатурены, имеют в себе 12 чистых и хороших комнат, где имеются 14 семей». «На каждого человека приходится жилой площади 2,8 кв.м., «за исключением двух квартир, величиной в 15 метров, где в каждой из них помещается по две семьи, или 15 человек и на каждого приходится по 1 метру».[1]

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД

Польские граждане принудительно трудились в леспромхозах, в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.[2] Основная их часть использовалась в лесной промышленности — 77,1%. Отношение к труду осадников и беженцев было различным. Как правило, они работали на лесоповале, вывозке, погрузке и сплаве древесины, то есть занимались тяжёлым и изнурительным физическим трудом. Доклады сибирских территориальных управлений НКВД и статистические сводки о «трудоиспользовании» спецпереселенцев свидетельствуют о том, что осадники лучше справлялись с производственными нормами, чем беженцы, их заработок был выше. Однако даже этого высокого заработка не хватало не только на содержание семьи, но и на восстановление сил самого работника. Это обстоятельство отмечают доклады НКВД, в которых приводится средний размер заработка на лесозаготовках при выполнении производственной нормы на 100%, — 100-150 рублей в месяц, а порой даже меньше. Приведём оценку трудоспособности евреев, из заявления начальника Волжского ЛТХ — товарища Черевкова: «евреев вообще не научить работать».[3]

СНАБЖЕНИЕ

Самым большим бедствием для спецпереселенцев был недостаток продуктов питания. В документе от 19.03.1941 г, адресованном управляющему треста Краслес, сообщается: «Дирекции леспромхозов безобразно относятся к снабжению спецпереселенцев, работающих на лесозаготовках, тёплой одеждой и обувью, в результате чего имели место частые случаи обмораживания, а в одном случае (леспромхоз в Манском р-не) спецпереселенец замёрз дорогой, так как был послан дирекцией Леспромхоза в другой посёлок Якушиху без теплой одежды и обуви при 48 градусах мороза. Об этом ведётся также расследование. Кроме того, во всех этих посёлках совершенно безобразно поставлено дело с питанием спецпереселенцев. Овощей нет совершенно, мясо в ларьках продаётся только дорого, каких-либо других продуктов также нет, а главное в ряде спецпоселков, как, например, в Казачинском р-не совершенно не

1. ГАКК, Р. 1434., ОП.12С., Д.7, Л.10

2. Гурьянов А.Э. «Польские спецпереселенцы в Сибири 1940-1941» // из книги «Сибирь в истории и культуре польского народа». М. , 2002. с. 144

3. Там же. с. 373

организованы магазины и спецпереселенцы вынуждены питаться одним хлебом». [1]

Поскольку продуктов было мало, а добывание их требовало огромных усилий, голод постоянно, начиная с первых дней пребывания в ссылке, сопровождал жизнь переселенцев. Приведём отрывок из воспоминай польской женщины, оказавшейся на поселении в Сибири: «Я, как сумасшедшая, бросилась к кастрюле и проглатывала распаренную недоваренную кашу. Опомнилась только тогда, когда увидела дно кастрюли. Голодный психоз действует по своим страшным законам, и кто не голодал, тот никогда этого не поймет».[2]

УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Самым важным в участи ссыльных являлся первый год, особенно трудной была зима. За это время как раз и осуществлялась жестокая селекция, решающая дальнейшую судьбу, проходил процесс адаптации и приспособления даже к «десакрализации акта смерти». Приведём выдержку из воспоминаний, людей, живших на поселении: «В соседнем дому жили две семьи. Две сестры, жены военных из Клецка Несвежского уезда. У обеих было по двое детей. У младшей из сестёр были мальчик и девочка. Очаровательные дети — в возрасте около четырех лет: чёрная кудрявая Тереска и пятилетний Стефанек с прямыми светлыми волосами. Дети в середине зимы 1940-1941 гг. заболели цингой. Один за другим в течение нескольких дней они умерли. Перед смертью на их лицах появились синие пятна, пальчиками они вынимали с плачем изо рта зубки, а мать беспомощно плакала вместе с ними. Отчаяние было ещё большее из-за того, что земля так замёрзла, что даже ломом нельзя было выдолбить яму для погребения умерших». [3]

Погибали, прежде всего, дети, менее устойчивые к климату и тяжёлым условиям жизни, чем взрослые. Самой высокой смертность была среди тех, кто родился уже в ссылке или непосредственно перед ней, — они умерли почти все. Польки, которых впоследствии спрашивали о судьбе самых младших и естественном приросте в ссылке рассказывали: «Новорожденных не было вообще. Ни одна из наших женщин не родила ребенка по той простой причине, что у всех у них прекратилась менструация. Поводом к этому послужила резкая смена климата, а также господствующий там голод. Со всей уверенностью можно сказать, что это была естественная реакция организма. Но в то же время, каким это было огромным счастьем. Какая судьба ждала бы этих детей, пришедших там на свет? Страшно себе представить и положение матерей, ведь не было даже мыла, не говоря уже о других гигиенических средствах».[4]

О большом количестве заболеваний в среде польских ссыльных, кроме воспоминаний, свидетельствуют также документы НКВД. Служащие этого учреждения в своих ежеквартальных отчётах в разделе «Бытовые условия и настроения» информировали начальство «о различных недостатках, наблюдаемых в спецпоселках». Например, из спецпоселка Марошица в феврале 1941 г. сообщали: «Нехватка хлеба, фруктов, жиров и других продуктов питания вызывает случаи истощения, слабости работников и заболеваний авитаминозом, является причиной невыполнения норм труда и смертности (за 1,5 месяца 1941 г. умерло 17 человек). Настроение у взрослых и детей подавленное. Из-за плохого питания и нехватки хлеба население спецпоселка истощено. На вопрос к детям школьного возраста, ходят ли они в школу, дети отвечают: «Умереть можно и безграмотным».[5]

С момента прибытия на поселения и до 1 июля 1941 г, то есть в течение 16 месяцев, на всех территориях умерло 10846 спецпереселенцев-осадников, то есть 7,7% от их общего числа. В пересчёте на 12 месяцев коэффициент смертности спецпереселенцев-осадников составил 5,8% . Из данных таблицы мы видим, что Сибирь входила в тройку зон с наиболее высоким уровнем смертности осадников.[6]

1. ГАКК, Р. 1434., ОП.12С., Д.7, Л.57

2. Эва Ковальская «Адаптация польских ссыльных к условиям жизни в Сибири 1940-1941 гг.», // из Книги «Сибирь в истории и культуре польского народа». М. 2002. с. 437

3. Там же.

4. Там же.

5. Гурьянов А.Э. «Польские спецпереселенцы в Сибири 1940-1941» // из Книги «Сибирь в истории и культуре польского народа». М. «Ладомир». 2002. с. 372

6. Эва Ковальская «Адаптация польских ссыльных к условиям жизни в Сибири 1940-1941 гг.», // из Книги «Сибирь в истории и культуре польского народа». М. 2002. с. 433

«ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ»

В отчётах о состоянии спецпоселков большое значение придавалось настроениям спецпереселенцев. Эти сведения помещались в особом разделе «Политико-моральное состояние». Как правило, авторы докладов отмечали антисоветскую настроенность спецпереселенцев, что проявлялось в несогласии с выселением с Родины, стремлении вернуться, в надеждах на восстановление польского государства.

Сообщалось в датированном началом 1941 года отчете: «Настроения спецпереселенцев по-прежнему антисоветские, можно слышать разговоры о войне с Советским Союзом, о возвращении в Польшу... Спецпереселенка Борис говорила, что их тут морят голодом, заставляя работать, и платят гроши. Спецпереселенка Ванда Ясинская обратилась к коменданту посёлка, чтобы он разрешил ей петь польские песни, а когда он назвал песни, которые можно петь, то она утверждала, что эти песни прославляют только Советскую власть и её руководителей».[1]

В этом же разделе отчётов НКВД содержалась информация о побегах, но они были не часты. Опубликованные воспоминания Марии Бырской позволяют прийти к выводу, что побеги были успешными при соединении личной решимости ссыльных и счастливого стечения обстоятельств, в том числе участия доброжелательных людей.[2]

ТРУДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Приведённые документы свидетельствуют о том, что правоохранительные органы старались соблюсти исполнение предписаний, определяющих жизнь на спецпоселении в Красноярском крае, спущенных сверху. Хотя сделать это было очень трудно по нескольким причинам: во-первых, шла Велика Отечественная война, основные силы были брошены на борьбу с врагом; во-вторых, в Сибирь в связи началом войны хлынул большой поток эвакуированных из оккупированных территорий СССР; в-третьих, власти не были готовы к приёму такого количества спецпереселенцев.

1. Там же.

2. Масяж В. Автореферат «Поляки в Восточной Сибири» 1907-1947 гг.», ИГУ, 1995, с. 30-32

После восстановления дипломатических отношений между Польшей и СССР в 1941 г. всем польским гражданам вернули гражданство и право свободного поселения в любом районе СССР. Многие переехали в среднеазиатские республики, где генерал Андерс формировал польскую армию, но это переселение пагубно сказалось на людях: многие не выдержали резкого изменения климатических условий при постоянном истощении.

Когда в 1942 г. армия Андерса эвакуировалась в Иран, в ее составе было 40000 членов семей, в том числе, детей и других гражданских лиц из ранее депортированных. Среди них несколько тысяч из районов Восточной Сибири, где в конце 1943 г. осталось около 25000 поляков.[3]

После разрыва отношений между Польшей и Россией в 1943 г. у бывших польских граждан, которые остались в Советском союзе, снова были отобраны польские паспорта, и они опять стали гражданами СССР. Кто отказался, был осуждён и вновь отправлен в лагеря. Многие из них уже не вернулись никогда.

В 1943 г. по договору с Советским правительством по инициативе польских коммунистов, особенно Ванды Василевской, возник Союз Польских Патриотов, принявший программу строительства социализма в будущей Польше. СПП принял на себя обязанность опеки над бывшими польскими гражданами, депортированными в глубь Сибири. Он оказывал помощь в снабжении, улучшении условий жизни и работы, открывал школы, детские дома, детские сады и дома инвалидов.

После окончания Второй мировой войны, в августе 1945 г. было подписано Соглашение между Польшей и СССР о репатриации тех бывших польских граждан, которые могли доказать свое гражданство. С июня 1945 г. в Варшаву начали прибывать эшелоны с депортированными, всего во второй половине 1945 г. было репатриировано 22058 человек, что оставляло лишь 8% желающих, в первой половине 1946 г. репатриация была значительно ускорена. Всего было репатриировано 217144 человека, из них 136500 человек составляли евреи, большинство из которых затем выеха-

3. Петр Жаронь «Депортация польского населения в Сибирь 1940-1960 гг. и репатриация на родину 1945-1949 гг.» // из Книги «Сибирь в истории и культуре польского народа», М, «Ладомир», 2002 г., с. 387

ло в западные страны и в Палестину. Поляков было 80644 человека. [1]

При всех трудностях до конца 1946 г. из Красноярского края выехало около 14000 человек. Те, кто не смог уехать сразу, позднее старались в индивидуальном порядке выехать в Польшу. Часть из них возвращалась на родину до 1949 г., другие ждали третью официальную репатриацию 1955-56 гг. [2]

Большинство оставшихся поляков и их потомков до сих пор проживают здесь как российские граждане польского происхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав».

Насильственные переселения 30-50 годов XX века официально признаны преступными. Однако законодательные акты коснулись, в основном, народов, населяющих территорию СССР, поляков этот процесс не коснулся.

Объясняется этот факт якобы недостающей численностью депортированного населения. Это обстоятельство создаёт определённую напряжённость в отношениях между Польшей и Россией. Есть и другие предпосылки для конфронтации между нашими странами и, прежде всего, это отсутствие правды и открытости. Конечно, русским кажется несправедливым мнение, что итогом Второй Мировой войны для Польши стала смена одной оккупации другой. Разве можно забыть, с горечью повторяем мы, что именно советские войска освобождали Польшу от фашизма и что 600 тыс. советских солдат отдали за это освобождение свои жизни и навечно успокоились в польской земле?

Нет, нельзя. Но нельзя не замечать и того, что послевоенные отношения Польши и СССР, несмотря на оживлённый характер в области экономики и культуры в отдельные периоды, все-таки порой воспринимались нашими соседями как отношения побеждённого и победителя, жертвы и палача. Так оценил их бывший Президент Польши — Александр Квасневский. И еще он сказал: «Боль и гнев живут глубоко в историческом сознании и психике поляков. И это будет до тех пор, пока поляки не получат хотя бы морального символического удовлетворения. Хотя, конечно, то обстоятельство, что Россия осудила сталинские преступления и помогла прояснить тайны Катыни, несомненно, сыграло положительную роль».[3]

Ежегодно в Международное общество «Мемориал» и отделы по реабилитации граждан в регионах приходят сотни писем от граждан Польши с просьбой помочь им в получении документов, подтверждающих их нахождение в лагерях НКВД или на спецпоселении. Депортации происходили не так давно: ещё живы сами пострадавшие и их дети. Они хотят восстановления справедливости.

«Нет сомнения в том, как нужны тесные добрососедские отношения между Россией и Польшей. Они, безусловно, отвечают жизненным интересам обоих наших народов, да и интересов Европы в целом. Все, что мешает этому, — мешает как одной, так и другой стране. Поэтому необходимо скрупулёзно устранять все, что вредит взаимопониманию, сотрудничеству и взаимному доверию россиян и поляков. На этом пути, как показывает история, нельзя полагаться только на политиков — тут гораздо больше могут сделать учёные, писатели, деятели культуры и искусства, общественные организации, представляющие интеллигенцию обеих стран.

Наша общая история с её болями и раскаяниями, непониманием и прорывами к открытости взывает к обоюдной совестливости, искренности и честности. Она ждет от нас единственного — служения правде». [4]

г. Красноярск

1. Масяж В. Автореферат «Поляки в Восточной Сибири» 1907-1947 гг.». Иркутск. 1995. с. 30-32
2. Там же.
3. Филатов С.А. «Политики ссорят народы, культура их объединяет» предисловие// из Книги «Сибирь в истории и культуре польского народа». М. 2002. с. 387
4. Там же

Вадим ШКОДИН

ЧИТАЯ МУРАКАМИ

Уважаемые читатели!

*Редакция «ДиН», и я, автор, решились на смелый эксперимент. Вы можете принять участие в создании романа с продолжением. Вашему вниманию предоставляется неоконченное произведение, к которому необходимо написать концовку. Я уверен, что этот призыв найдёт отклик в Ваших сердцах, и, как говорится, не перевелись на земле сибирской..., ну, вы сами знаете кто. Ваши работы присылайте в адрес редакции: почтовый или электронный. После тщательного отбора **лучший текст будет опубликован! Удачи!***

ФРАГМЕНТ ПЕРВЫЙ

За окном шёл ливень. Почти как настоящий, тропический. Такое аномальное лето было уже второй год. Правду говорят учёные, что климат меняется.

Он сидел и с каким-то особенным выражением лица смотрел в окно. Он знал, что ливень продлится недолго, а потом опять зарядит солнце и за полчаса высушит почти все лужи. Плюс тридцать три — не шутки. Действительно тропики, только лиан не хватает. Жара уже стояла третью неделю. Он вышел на балкон и увидел, как струи воды по обочине дороги стекали вниз. Им все равно предстояло быть поглощёнными неумолимыми лучами, но пока эти потоки беззаботно струились вниз. Дорога, по которой он каждый день добирался на работу, в «город», шла немного под уклон.

«Всё, хватит тормозить. Пора выходить, и так уже немножко запаздываю», — подумал он, — «А то опять от начальства влетит».

Уже входя в офисное здание, он был, как обычно, остановлен охранником.

— Пропуск, пожалуйста, — почти металлическим голосом прозвенел охранник.

«Вот придурок, третий год здесь стоит и никак запомнить не может», — раздраженные мысли резанули по черепной коробке. «Хотя, видимо, так и должны выполнять свою работу все ответственные люди. Нет, уж, я таким не буду никогда!».

Построившись перед верзилой, Павел, не проронив не слова, долго копался в карманах. Охранник, со снисходительным видом, ждал, смотря, как бы сверху вниз, хотя роста они были одинаково высокого. Наконец найдя, также молча протянул заламинированную картонку, мысленно сделав издевательский полукниксен.

— Так, — растянуто протянул охранник, — что тут у нас. Морозов Павел Менелаевич, дезашифровщик третьего класса. Допуск на секретный третий этаж. Всё нормально. Проходите.

— Спасибо.

«Ну, слава богу, нашёл», — подумал Павел. Если бы этого не произошло, снова пришлось бы краснеть, как мальчику, перед его венценосной начальницей. Она, наверное, и не была голубых кровей. Да точно не была. Но вела себя однозначно, как английская королева из средневековья, — хочу, казню, хочу, помилую. А её осанка, её, так называемые, манеры! Это было нечто. Хотя нет, возможно, она себя и считала кем-то, вроде заброшенной судьбой в глубь Сибири датской принцессы. Звали её Ульяна Яковлевна, но мало кто знал, что при рождении она была наречена Урсулой, а отца звали Януарий, или в простонародье Янус. Но Урсулой Январьевной она была недолго — до получения паспорта. В ГССР было, в основном, не принято менять ИО, но паспортистка была знакомая, а деревня, куда были сосланы литовские предки сталинским режимом, была достаточно глухая. И Урсула Январьевна стала Ульяной Яковлевной.

ФРАГМЕНТ ЧЕТВЁРТЫЙ

Сквозь сознание, сквозь сон лились рефлекторные звуки. Ещё мгновение, и сознание включится на полную. Это играл гимн Государственного Союза, который работал по дедушкину методу, вместо будильника. Павел просыпался очень туго, и поэтому приходилось каждое утро наворачивать в мозгу: «Союз нерушимый, республик свободных...»,

одновременно пытаясь овладеть жизненноважными членами, чтобы побыстрее встать. Представляете, как было сложно, раньше, когда только слова поменяли, не запеть старые слова, когда включали музыку гимна на корпоративных вечеринках. Конечно, «Россия великая наша держава...», с этим никто не спорит, но уж слишком те, гуманистические, слова въелись в подкорку. А уж «партия Репина, сила народная» прочно засела где-то в районе спинного мозга. Но в этот раз он проснулся от другого.

— А не офигел ли ты, милый! Сегодня же суббота! — Раздался женский, немножко грубоватый голосок, — ой, извини, я забыла, что я не дома.

Павел машинально, когда ложился спать, включил стационарное радио России, на подсознательном, так сказать, уровне, не осознавая, что утром рано вставать не надо — выходной. Да и ложился он, в последнее время, почти всегда один.

— Да ладно, не напрягайся! Всё равно уже Морфей куда-то слинял, — уже промурлыкала она. — Давай-ка я кафеёчку сбацаю, — Павел с трудом, заново, привыкал к её слэнгу.

— Конечно, конечно, любимая, — он почти всех женщин так называл сразу с утра. — Всё вон там, в верхнем шкапчике. «Во, мы вчера дали», — мелькнуло в мозгу, правда, он работал как-то кусками.

— Окай

Она соскользнула с софы как-то особенно, замечательно-грациозно. А, ведь ничего в ней не было особенного в плане телесности. Подросток — переросток, блин.

«Хотя, нет, ей всё-таки за двадцать». Просто есть такие мальчиковые формы сложения женского тела. Но со спины, а она стояла перед ним абсолютно нагой, она была хороша. «Уфф, а как она надела мою рубашку, — поймал себя на мысли Паша. –Просто богиня!».

— Павлентий! — Протяжно донеслось с кухни. — Ой, извини, это будет не слишком фамульярно.

— Правильнее говорить не «фамульярно», а фамильярно! — Паша мысленно согласился на панибратство.

— Не учите меня жить! —Это раздалось уже почти над ухом. Он был крайне удивлён цитированием классиков, тем более, что, любил он это произведение. Павел считал, что все нормальные люди его должны чтить.

Она нежно обняла его сзади за плечи. Её упругие соски призывно уткнулись в район лопаток. Рубашка оказалась не застёгнутой.

— У меня мама была филологом, — сказала она, плюхнувшись на колени к Павлу. — Так что грамотности я обучена, ею измучена. Ты не обращай! А то обращён будешь, — она сделала смешную козу из пальцев.

Коза, сначала направленная в район переносицы, под завораживающий шепоток: «идёт коза рогатая, забодаю, забодаю, забодаю» подозрительно полезла куда-то вниз по туловищу, стремительно минуя живот. Но организм Павла ещё не проснулся. Да и вообще он почти никогда не занимался этим с утра.

— Давай сначала кофе попьём — организм, требует, — организм действительно требовал. Паша редко болел с похмелья, но вчера он, кажется, перебрал!

«Как же она всё-таки вчера здесь оказалась?», — вертелось в голове у Павла. Он почти ничего не помнил.

ФРАГМЕНТ ВТОРОЙ

Наконец, тянувшийся невыносимо долго, рабочий день сладостно издыхал. Пятница. Наконец-то целых два выходных. Полтора месяца такого не было! Яковлевна торжественно, в конце дня, объявила по селекторной: « Всем пока. До понедельника». Не сказать, что бы краткость её была исключительным талантом, но порадовать она умела.

— Пашок, зайдёшь к нам в тридцать третью, надо досопоставить факты, — практически тут же раздался звонок по телефону. Кореша не дремали. Не использовать, ставший практически призовым выходной, было преступлением. Да и начальство, по пятницам, в конце дня, обычно испарялось, как полиэтилен в процессе горения, — быстро и с характерным запахом.

— Да, да, конечно, сейчас подтянусь.

— Давай в темпе. У нас напряжённый график, — целых два факта не сопоставляются. — На международном языке алкоголиков это означало: «две бутылки коньяка ждут тебя в холодильнике, мой дружок». Наш код ещё никому не удалось разгадать! Хотя попытки имели место.

— Да щас, щас, допишу пару сравнений, а то из головы вылетят.

— Эта точно, пиши, пиши. А то, в твоей голове и так редко что задерживается, — это была сущая клевета. Павел, наоборот, слыл в их НИИ за ботаника.

— Вы там смотрите, факты не переморозьте! А я через три минуты буду.

Павел дописал несколько строчек в журнал, с чувством огромного удовлетворения захлопнув его. Затем убрал эту нетленку вместе с композитами в несгораемый сейф. «Дааа, много бы дали за эту информацию агенты иностранных разведок!», растянуто-задумчиво подъюморил в мыслях он. Хотя результаты его трудов были глубоко промежуточными, он нутром чуял, — что-то зреет. Отгоняя крамолу, Павел почти вылетел из кабинета, но остановился на пороге.

«Книга?!». Она сиротливо лежала на краю большого стола, как бы, даже обидевшись.«Страна чудес без тормозов... и Конец света» Харуки Мураками, — этого автора он обожал, лелеял и боготворил. Обычно с достаточно толстыми изданиями этого автора он расправлялся в течение пары-тройки дней. Павел даже научился откладывать все дела в угоду Мураками. Но этой книжкой он ещё не успел затянуться, как смачно затягиваются сигаретой, — прочитал несколько десятков страниц, даже не понял пока, что к чему. Паша любил смаковать Мураками. А для этого надо находиться в кристально взвешенном состоянии. Если нет, — это означало: портить продукт. Чтобы не портить предвкушаемое удовольствие, Павел решил оставить книжку до понедельника. А после разморозки, сопоставления и дефибрилляции фактов-состояние вряд ли будет идеальным.

ФРАГМЕНТ ТРЕТИЙ

— Дывчёнки, можно к вам присатурниться.

— Ну, садись, садись, инопланятянин, — ответила самая бойкая. Хотя определение «бойкий» вряд ли подходило к любой из них.

«Оч стррнно, чойт меня не отбрили», — подумал Паха, — «обычно, такие не в моём вкусе».Он мог даже думать, как говорил — под известным шафе. За столом сидели три девицы, одетые по компьютерной моде. Кто не знает — это смесь неформального стиля с индонезийским.

— Ну, рассказывайте, чем свои головы баламутите?

— Да вот, думаем, что же наука ещё придумает для уменьшения элементной базы, ведь переключение с одного транзистора на другой и так составляет сотые доли фемтоджоуля. Может, этому поможет особый оптоволоконный канал? — как скороговорку, выпалила самая бойкая из них. А в тот момент она показалась ему ещё и самой красивой.

«Ну, наивные чукотские девочки», — усмехнулся в душе он, — «вздумали вздуть меня! Не тут то было!».

— Оптоволоконный канал — это всего лишь технология передачи данных по стеклянным волокнам, — стараясь подавить усмешку, выдавил Паша, — и одними световыми сигналами здесь дело не решить!

С удовольствием, наблюдая за процессом выпадения в осадок, Павел решил их не добивать, и уже менее торжественно воскликнул.

— А не выпить ли пивца, ради ловкого словца! Угощаю, у меня сегодня праздник! — присочинил он, — хотя даже если бы у меня сегодня не было праздника, я бы всё равно вас угостил. — Так как Павел находился в возвышенном состоянии духа после сопоставления, по его собственному разумению, ему надлежало быть пафосным. Но пафос далеко не всегда находит отклик в противоположных сердцах.

С воодушевлением эту идею восприняла только одна из них, и это быстро отрезвило, в переносном смысле, Павла. Первая достаточно быстро засобиралась, Паша даже потом не вспомнил её имя, хотя пытался. А вторая осталась, скорее всего, за компанию с третьей: Алана и Кристина расположились поудобнее, чтобы с комфортом ожидать пока этот прикольный чел отстоит в очереди и доставит им заказанный «Грейсер». Потребительницами и халявщицами их вряд ли можно было назвать, но когда человек угощает, было грешно отказываться. Тем более ,что до этого они пили местное «Дурбаданское», а тут «Грейсер», да ещё и разливной, привезённый с родины этого пива — из Гренландии — не устоять!

— А вот и пивасик! Соскучились?

— Да нет ещё. Иди ещё постой в очереди, а то мы договорить не успели, — Алана была самой язвительностью без элементарной капли благодарности. Будь Павел воспитан, как большинство современной молодёжи, он бы ей ответил так, что она захлебнулась бы принесённым напитком.

— Хорошо, значит, ещё принести, — ему явно нравилась Кристина, только чем, он пока не осознавал. Поэтому он решил не дерзить и быть великодушным и благородным.

— Да ладно, не напрягайся, — она пошутила. — Было видно, что он ей тоже приглянулся. По крайней мере, как интересный собеседник. И она попыталась смягчить си-

туацию. — Садись тут же! — ненавязчиво приказала она.

Паха плюхнулся на пуфик, почти физически чувствуя, как её изрядно вспухшие соски виртуально примагнитили его к креслу. В таком состоянии не расслабиться даже на самом мягком диванчике. Павел даже тряхнул головой, что бы избавиться от наваждения. Навязчивая мысль не выходила из головы.

«Так, надо как-то трансформировать ситуацию», — реанимировал морщины на челе. — «Не то местечко, надо отсюда как-то выбираться. Да и от Аланы надо избавляться. Хотя нет, будет некрасиво, и Кристя может не так понять. Не буду гнать коней. Всё должно разрешиться само собой». Эта, казалось бы, худенькая и не складненькая девчушка продолжала занимать его всё больше и больше.

«Интересно сколько ей лет?, — Задал сам себе вопрос Павел. — По таким сразу не определишь. Да нет, лицо больно взрослое. Видимо, совершеннолетняя. Хотя нет... Да ладно, не посодют, а ты всё равно не воруй!», — вспомнил расхожую фразу из известного фильма Павел.

— Ну, как пивко, правда, ничего? — Вышел из комы Павел. — Холодненькое, недезарбутированное, то есть неочищенное. Классное ведь, правда!?!

— Прикольненькое, — в два голоса ответили, красны девицы.

— Эт точно, только в Гренландии такое же и разливают.

— Да можно подумать, ты там был, — опять подковырнула Алана.

— Ну а як же, — подыграл Павел. Он решил, до поры, пока сил хватает, не перечить.

— Ну и что? — Опять фыркнула Алана. — Ты думаешь, мы нигде не бывали. Это вон, те, — кивнув в сторону неопрятно одетых подростков, — дальше своего Чернопупенска ничего не видали! И что, тебя там никакой медведь не загрыз?

—Понимаешь, дорогая, — начинал выходить из себя Павел, говоря металлическим голосом, как удав на кролика, — это у нас в Краснобугровске, медведи всё злые да бурые, по улицам шатаются. Шатуны потому что. А у них в Гренландии всё белые да воспитанные, сидят по своим лункам, только головы и видать!

Кристина чутко уловила перемену климата в сторону похолодания, даже немножко съёжившись, будто побывав в Гренландии в одной блузке, проворковала.

— А не пора ли нам, Аля, пойти попудрить носики

— Пошли, Кася, а то, правда, я что-то завелась.

И девушки, извинившись, удалились. «Ах, какая молодец!», — восхитился Павлик, — чудно разрулила ситуацию».

Павел огляделся вокруг: «Да, местечко так себе!». Место и вправду было достаточно захудалым. В основном, здесь тасовались малолетки, люди, игравшие в догонялки, и пчелы, не придававшие значения антуражу. «В таком месте, либо в драбадан нахрюкаться нормальным пацанам, либо опохмелиться, и сразу уйти», — опять загрузился он. Ни то, ни другое в его планы сегодня не входило. По крайней мере, не здесь. Фин. ресурсы, мысленно запланированные на это дело, позволяли рассчитывать на более приличное место. «Ну, что ж дело остаётся за малым, точнее, за малыми. А, кстати, где они?».

Они появились только минут через пятнадцать. Число желающих попудриться в дамской комнате, всегда в несколько раз превышало очередь в мужскую. Наверное, потому, что настоящие мужики очень редко пудрятся, — в основном, после синяков. Павел даже успел заволноваться. «Неужели слиняли?, — мелькнула шальная мысль, — «да, нет, куртка Касина, вот она».

— А вот и мы! — отрапортовала внезапно появившаяся Кристина, оказавшаяся почему-то без подруги.

— А где ж моя вторая милая собеседница? — не скрывая радости, спросил Паша, сделав ударение на слове милая.

— Да, она на улицу вышла, по телефону балаболит.

— Ну, что её подождём, или сразу закажем? Я что-то проголодался

— Да, боюсь, что вечер придётся продолжать без неё, — со вздохом сказала Кристя.

— Ничего, ничего, мы справимся, — успел её перебить Павел, ещё до того как она бы успела сказать роковую фразу, с которой можно начинать откат и с которой, видимо, начинается общество «Динамо». — А что у неё?

— Да, её опять бывший чего-то домогается, а она у нас такая слабенькая, — вздохнула Кристина, намеренно делая паузу, — слабенькая почти на все места, того и гляди, согласится. Пожалеет.

— Да уж, а вроде по ней этого не скажешь.

— Что б вы, мужики, понимали в нас, женщинах, — фыркнула она, — но тут

действительно как-то стрёмно, скучно, да и поздновато уже.

— А ты знаешь, тут неподалёку есть превеселенькое заведеньице. «Завитушный креньделябр» называется. — Павел намеренно обратил внимание лишь на первую часть фразы, думая, что проканает.

— Заведение, действительно, прикольное, судя по названию.

— Да и внутри так же. Пойдём, ещё только полдесятого, — перешёл в наступление Павел, — посидим часок, другой. А?

— Ну, ладно. Только вот живу я далековато. На окраинке.

— Обещаю проводить, — Паха вскочил, резво отдав под воображаемый козырёк. — А вот и наша Аланочка вернулась. Ну, как, пообщалась? — спросил её, видимо, находившуюся на том краю счастья.

— Ты что ему уже успела всё растрепать, — в её глазах мелькнули, но быстро угасли молнии. — Всё, сворачиваем лавочки. Сейчас за мной заедет Игорь, и мы забросим тебя домой. Всё: на горшок и в люлю! Кристиночка, скажи дяде до свиданья! — в ней, теперь уже без сомнения для Павла, бурлила горная кровь.

— А я ещё не хочу домой. И ты мне не старшая сестра, чтобы мною понукать. Я вообще тебя старше, — неожиданно для него ответила Кристя. Павел уже попрощался с перспективкой провести романтический вечер.

— Ну, как знаешь. Была бы честь предложена! Ариведерчи! — Она, взмахнув своей красной сумочкой, двинулась по направлению к двери. На полпути она остановилась. Обернулась и бросила звонко. — Эй, Вы? Как Вас там? Павел, кажется. Ты вроде парень неплохой. Отвечаешь головой! Понял! И скрылась за дверью, не дожидаясь ответа. Через минуту от парадного отъехала большая черная машина.

Всё происходящее вокруг вызвало живой интерес у окружающих. Хоть и заведение было почти андеграундное, некоторые всполошились не на шутку. Можно даже сказать, рты пооткрывали. Павлу и Кристине это явно не понравилось. Надо было выбираться оттуда. Хотя окружающих осуждать было трудно. Любая лишняя, а тем более бесплатная, развлекаловка всегда нарасхват. Официантка, как назло, а, скорее всего, специально, добиралась долговато. Пришлось Павлу самому тащиться к барной стойке, под липкие взгляды.

Фу-у-у. Наконец-то они были на свободе. Свежий воздух ещё сильнее опьянил их, и неожиданно для него Кристина приобняла его, чуть притянув к себе, как-то по-особенному нежно,поцеловала. Павел, конечно, офигел. Но пришёл он в себя довольно быстро, и ответил не менее сладострастно. Обнявшись, почти счастливые, они побрели прочь от того места, где они познакомились. А пошли они как раз в обратную, «Завитушному кренделябру» сторону. Но Паша этого не замечал, а Кристина просто не знала дороги. Они брели по центральной улице, и витрины магазинов зазывно манили, но они обращали на них только гипотетическое внимание. Хотя нет, ему хотелось ей подарить, в этот момент всё, но он стеснялся что-нибудь предложить. «Она ведь компьютерщица, ещё подумает, что её хотят купить», — слегка размышлял он, — они ведь такие независимые». А её внимание привлёк лишь элитный магазин сыров.

— Оооо, офигительно, а вот это я обожаю, — показала она маленьким пальчиком на магазин, — я просто тащусь от них.

— Не вопрос, давай зайдём, — обреченно ответил он.

— Пошли, пошли, пошли, мы только посмотрим и пойдём в ресторацию, — она увлекла его за собой.

Витрины ломились, и не было в них ни сусанинского, ни любого другого совкового, типа сулугуни. От шестисот! Не хило. Но цены в этот день Павла не останавливали. Пармезан, моцарелла — это только те названия, которые он знал. И тут Кристинка радостно завизжала. Дикий восторг вызвал удивление даже у продавцов, призванных сохранять лояльность.

— Тише, тише, — прошептал он.

— Обалдеть, — в тон ему, шепотом ответила она, — я думала в Краснобугровске этого не найти. Его и в Макскву только самолётом из Европы доставляют.

— Что тебя так возбудило?

— Смотри. Это знаменитый плавленый сыр с плесенью! Обожаю его!

— Шестьсот рублей за четыреста пятьдесят грамм! Что же в нём такого особенного?— не смог удержаться Павел.

— Это же просто сказка! Особенно если его вкушать, намазав на свежий французский багет, положив сверху свежий огурец! А запивать это следует сидром, настоящим, а не Чавчаковским! — Она была чрезвычайно возбуждена. Это не могло ускользнуть от его

глаз. И он не хотел упускать этот счастливый случай.

— Девушка, подскажите,вот этот сырок свежий? — Павел обратился к продавщице. На ней был стилизованный красно-белый костюм под выставочную средневековую баварскую крестьянку, прямо как из рекламы. Белокурые локоны усиливали эффект.

— Да вы что! У него срок хранения всего неделя, — блондинка понимала, что имела дело с дилетантом, поэтому почти не нервничала. — Он не свежим никогда не бывает. Его утилизуют. И на последние два дня цена падает вдвое. У нас есть три таких коробочки, и я вам уступлю их за девятьсот девяносто девять рэ. И сидр у нас тоже есть!

— Берём, берём, берём, — чуть не изошлась в экстазе Кася. Павлу почему-то в этот момент вспомнилось это, её нелепое, прозвище.

Она отозвала его немного в сторонку и шепотом сказала: «Ты говорил, что можно к тебе — поехали!». Павел онемел, он никак не мог ожидать развития событий подобным образом. Но он, несомненно, был этому рад.

ФРАГМЕНТ ПЯТЫЙ

Утро, на удивление, было хмурым. Обычно оно приветствовало Пашу пробивавшимися сквозь шторы яркими лучами.

«Неужели лето закончилось?», — подумал он.

— Постой, погоди, я только позвоню, — пролепетала она, убирая его руки со своего стана.

— Хорошо, звони, но побыстрей, пожалуйста, я просто изнемогаю.

— Я выйду на кухню, — сказала она, использовав самую милую улыбку, которая только есть у неё в арсенале, — я быстро-быстро!

Она беззвучно исчезла за бордовыми шторами, разделявшими залу с кухней, кто понимал, говорили, что это было выдержано в викторианском стиле. Льстили, наверное. Павел, хотя нет, Павлентий, — ему понравилась её трансформация его имени, было что-то в этом разгульно—бесшабашное, — задумчиво посмотрел ей вслед. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь шторы, только усиливали эффект. «Что же в ней всё-таки такое есть? И как она здесь оказалась?», — буравило его голову. — «Ничего не помню». Реанимация памяти производилась пока безуспешно.

Она вышла очень обеспокоенной.

— Что-то случилось?

— Да Алана почему-то не отвечает, — она выглядела растерянно — расстроенной. — Она никогда не выключает телефон и всегда берёт трубку, во сколько бы я ни звонила. Ругается,конечно, если спит. А сейчас уже полвосьмого! Гудки идут, а трубку никто не берёт, не понимаю, что случилось.

— Ничего страшного, — Павел её решительно не понимал, — ну, иди ко мне. — Он притянул её к себе, преодолевая некоторое её сопротивление. Когда ему это удалось, он стал нежно зацеловывать её короткую шейку.

— Нет, нет, не сейчас, я так не могу, — она отстранилась от него. — Мы ведь с ней, как сёстры. И работаем мы вместе.

— А кем вы работаете, — как будто из уважения спросил Павел. На самом деле ему было жутко интересно. Голова, кстати, почти прошла.

Кристина колебалась, рассказывать или нет. Вчера вечером и дальше ночью ей казалось, что она встретила именно того, кого искала всю свою сознательную жизнь. Не будем бросаться штампами типа «единственный и неповторимый», или, что «она нашла родственную душу», но где-то очень близко это маячило. Павел ей очень сильно нравился, и как бы банально это ни звучало, она не хотела его так быстро потерять. В то же время она была обеспокоена, тем, над чем они с Аланой нынче работали.Слишком тёмные личности вокруг неё крутились во время этой, последней их работы. Их работа и так не отличалась особой чистоплотностью, но сейчас ей было особенно тревожно. Не смотря на всё это, она решилась.

— Мы с ней составляем компьютерные программы.

— Я почему-то так и думал, — перебил её Павел.

— Давай так договоримся. Если ты хочешь меня до конца выслушать, и хочешь мне помочь, — ты не будешь меня по пустякам перебивать. Хорошо?

— Договорились, — Паша увидел в её глазах отблески страха, замешанного на непонимании. — А что ситуация настолько сложна?

— Скорее всего, да. — Кристина, сделала небольшую паузу, видимо, прокручивая в мозгу, с чего бы лучше начать.

— Ну, не томи.

— Хорошо слушай. И не перебивай меня, а то я быстро собьюсь. Я в компьютерах живу уже больше тринадцати лет. Сначала у меня дома был старенький пень, но это мне не

мешало почти через год после его получения зависать в чарах. Учитель информатики удивлялся, как я так быстро осваиваю всё, то, что он даёт к изучению. Ещё в шестых-седьмых классах я легко побеждала в районных олимпиадах, но потом я перестала в них участвовать. Было две причины:первая, мне даже в них стало неинтересно, не говоря уже об уроках информатики, — препод ставил мне оценки экстерном, во-вторых, впервые услышав слово жухер, мне страшно захотелось узнать, что это такое, а когда узнала, мне страшно захотелось ею стать. Ты представляешь, девчонке тринадцать, а ею владеют такие мысли типа: «самая юная в мире жухерша ограбила крупнейший Объединённый Американский банк» — крупными буквами в газетах, — круто, да?

— Да уж! — Всё, что рассказывала Кристина, его, завораживало, как американский вестерн. Он их очень любил — прикольно, но довольно пафосно и нереально. Clint Eastwood — FOREVER! Особенно «Плохой, хороший, злой».

— Давай переберёмся на кухню, я тебе сварю свой, необычный, кофе, — Кристине с какой-то стороны льстило внимание, с каким слушал её Пашенька. Иногда ей даже инстинктивно хотелось закрыть своей маленькой ладошкой чуть приоткрывшийся Пахин рот. Еле сдержалась.

— Пошли, — сказал Паша с неохотой, так как его изрядно раскумарило на мягком диванчике. Кристи сидела на табурете с вензелями, — ей было легче свернуться с места.

— Я тут видела у тебя турку с кофемолкой. Наверно, есть и зёрна.

— Конечно — лучшие сорта «Кораблики» в твоём полном распоряжении.

— Я приготовлю тебе такой кофе, какой ты ещё не пил в жизни! Какие у тебя есть приправы?

— Чего!?! Приправы? А при чём тут кофе?

— Давай, давай! Не задавай лишних вопросов!

— Я вообще-то дома почти не готовлю. Только салаты. А ещё люблю курицу запекать в духовке. Как-нибудь тебя угощу. Сейчас посмотрю, может, что и осталось от старых добрых времён, — Павел открыл створку кухонного гарнитура, который был в тон шторам, странного для него светло-бордового цвета. — Ага, есть — корица, кориандр, кайеннский перец.

— Уже достаточно. Я видела в холодильнике мёд.Сейчас будет что-то завлекающе-завораживаюшее!

— Я весь Ваш, миледи! –сказал Павел с французской интонацией, покорно уронив голову на грудь.

— Смотри мне. Пей и повинуйся! — повелительно вымолвила она.

Когда был готов кофе, они присели за небольшой журнальный столик, нёсший пище производительные и пищеупотребительные функции, за отсутствием кухонного стола. На гарнитуре, на холодильнике модного чёрного цвета, на подоконнике была масса цветов, комнатных цветов. Очень странно для одинокого мужчины. «А может, он не одинок, слишком много цветов», — подумала Кристина. Но она решила не торопить события, посчитав, что сам, со временем, если захочет, расскажет. Кофе источал душераздирающие ароматы. Терпкий запах корицы, накладывающийся на стойкий привкус мёда, почти вытеснял аромат самого кофе. Но его так просто не победишь,кофе все равно брал своё, и получался незабываемый паритет. Не профессионалам не советую повторять всё это в домашних условиях — опасно для жизни! Так ещё говорят в некоторых передачах. А ещё, поставив турку на огонь, доводить до выливающейся пены не надо, для нормального приготовления кофе достаточно девяносто восьми градусов по Цельсию, или шестьсот шестидесяти шести по Фаренгейту. Перед перемещением кофе из турки в пиалу её следует обдать кипятком, что благоприятствует насыщению кофе, — обо всём этом вещала Кристина Павлу, пока готовила кофе. Она делала это достаточно долго, попутно обдумывая своё дальнейшее основное повествование.

— Ну, давай продолжай, —сгорая от нетерпения, отхлёбывая большой глоток, произнёс Павел. Ему Кристина становилась всё более не безынтересна.

— Слушай. Хотя, нет, дай-ка я ей еще раз позвоню. — продержав у уха новую, суперэлегантную раскладушку добрых три минуты. — Не берёт! — она отбросила телефон с некоторым отчаянием.

— Что, и вправду всё может быть так серьёзно?

— Если бы не было серьёзных подозрений, я бы тебя своими проблемами не грузила!

— Ты считаешь, что я тебе могу чем-то помочь?

— Да, я так считаю. Ты мне показался преданным и порядочным человеком. Преданным, в смысле не сможешь предать.

Каламбур получился случайно. Интересно, почему слова « преданный» и «предатель» однокоренные?

— Ты мне очень понравился, и тут я не шучу. — С этими словами она нежно прислонилась к нему.

— Ты тоже очень нравишься мне, — обняв обеими руками, он страстно, как только мог, поцеловал её.

Они занимались этим около получаса, и когда страсти улеглись, Павел предложил перебраться в залу, как он сам её называл. Они завалились на кушетку, ещё не прибранную с ночи. Кушетка была застелена синими шелковыми простынями с белой, кружевной оторочкой. Такими же были и подушки. Смотрелось гламурненько. Обязательно, при попадании в его дом залётных, можно сказать, даже залетевших, женщин, это бельё изымалось из шифоньера и почти торжественно стелилось, если, конечно, стелитель был в состоянии обеспечить торжество.

— Всё. **Attention!** Я продолжаю. Не так давно, года три назад я около трёх дней висла в чарах. Именно тогда я с Аланой и познакомилась, она мне и предложила заниматься тем, чем я щас занимаюсь. Её на самом деле Алевтина зовут, — она не просто так себе выбрала имя Алана, — в честь Алена Делона, героя французских полицейских боевиков.

— Знаю, знаю, он ещё не пьёт одеколон, предпочитая тройной бурбон.

— Точно! Может, помнишь, около трех месяцев назад нашумевшее дело было о вскрытии компьютерных систем Третейского банка. Его ещё хорошо по ящику освещали. Так вот, Алевтина Дурникова, послал же бог фамилию, проходила там как основной свидетель. Свидетель только потому, что доказать ничего не могли. Она после этого три недели у бабули своей в деревне ховалась. Я тогда в больнице была, и поэтому я избежала всяческих пертурбаций. Я, конечно, помогала Алане, но абстрактно, не понимая, что к чему.

— Ни фига себе, — аж присвистнул Павел.

— Вот так вот. Денег, правда, нормально было. Но загреметь лет эдак на... мне это мало улыбалось. Я пообещала себе больше в авантюры не влезать. Устроиться в какую-нибудь компьютерную фирму. Я ведь многое умею. Дизайн, компографика и т. д. и тупэ. Получать, конечно, меньше, пятнадцать-двадцать, но перебиться можно. Я уже устроилась, но она меня уговорила. Сказала, что вообще никакого криминала. Один японский концерн заинтересован в разработке новых технологий. Банана-технологии, слышал про такое? К фруктам никакого отношения, просто был такой учёный по фамилии Бананц, в честь него, видимо, и назвали. Но мы только на первоначальном этапе, а уже творится что-то непонятное, — видимо, закончила свой монолог Кристя.

Павла, как током прошило, — ведь именно этим он и занимался. Но вида постарался не показывать.

— А что это за технологии, расскажи. — Ему хотелось узнать побольше. В голову закрадывалась мысль: а вдруг их встреча не была случайной? Подозревать Касю не хотелось, да и не было видимого повода. Слишком большой она должна быть актрисой! А вот Алана?! Она по ходу настоящая авантюристка. Тут надо будет хорошенько подумать. А, кстати, почему Кася? Надо будет ее, потом об этом спросить».

— Я ещё сама не до конца разобралась, — попробовала отмазаться она, — Паш, а ты мне точно поможешь, если вдруг чего?

— Да успокойся ты, — он перевернул её на спину, и начал нежно водить невесть откуда взявшимся пёрышком, — я думаю, всё будет хорошо.

— Продолжай, продолжай. Вот так. Это меня успокаивает.

Павел прокладывал пуховую дорожку между двух, средних размеров, бугорков с упругими, конусовидными вершинками. Далее путь следовал по гладкой равнине,украшенной небольшой впадинкой, вокруг которой пёрышко проделало несколько замысловатых эллипсоид, которые всё суживали и суживали амплитуду. Вдоволь исследовав впадину, лёгкий путник двинулся дальше и вскоре встретил аккуратно подстриженные, ярко огненные заросли...

ФРАГМЕНТ ВОСЬМОЙ

— Алло, Ульяна Яковлевна?

— Да. А кто это? — её томные интонации могли очаровать, кого угодно.

— Это Павел Морозов из тридцать третьей. Не слишком поздно звоню? — его голос слегка подрагивал.

— Не слишком, — её голос постепенно металлизировался, — что вы хотели?

— Да тут кое-что случилось. Я не могу рассказать по телефону. Так получилось, что мне

пришлось оказаться за городом. Боюсь,могу не поспеть вовремя на работу. Причина очень серьёзная.

— Хорошо, но доводы должны быть очень вескими. Как появитесь, сразу ко мне в кабинет. До свидания.

«Хорошо,что успел договорить», — подумал Павел, так как телефон благополучно умер.

Павел сидел в стогу сена и крупно дрожал. Его бил озноб. Он еле собрал волю в кулак, чтобы нормально поговорить с начальницей. Сейчас он откинулся в небытие, у него было не меньше тридцати восьми. Как он туда попал, он не помнил. А находился он в пригороде Краснобугровска в местечке Сахарцы. Он не помнил, что до звонка венценосной позвонил корешам с работы, и те его уже два часа безуспешно искали. Павел собрал остатки сил, приподнялся на локтях, и, о чудо, ему удалось встать. Он окинул всё происходящее вокруг. Ничего не происходило. Даже вороны не каркали. Вечерело, но утки не взлетали. Могло показаться, что глубокая ночь, так как небо было затянуто мощными тучами. То,что это вечер, а не ночь, выдавали небольшие проблески между ними, но они были тоже темного цвета. Создавался знаменитый эффект «уайт найт». Он, конечно, более характерен для определённых мест на северных широтах нашей необъятной, но Павлу сейчас на это было всё равно.

Паша с трудом сделал три шага. Получилось так, будто он заново учился ходить. Следующие шаги дались ему легче. Он сам себе напоминал Маресьева, в том, что во что бы то ни стало надо дойти. Зачем? Он этого не помнил. Но то, что надо, это сидело у него в крови. Через полчаса он выбрался на дорогу. Она была просёлочной. Зги было не видно. Куда было идти? Вперёд или назад? Ни там, ни там строений не наблюдалось.

Внезапно полутьму разрезал свет фар. На мгновение Павел был ослеплён. Машина остановилась метрах в трёх от него.

— Вот он, вот он!

— Да он едва стоит. Ну-ка давай бери его под руки, а я за ноги — отнесём его в машину!

— Да он нас не узнаёт, — высокий дал Павлу лёгкую пощёчину.

Павел вернулся в реальность.Он узнал своих друзей с работы — Бориса и Глеба — они были, как два брата,как бы специально сведённые помогать людям.

— Вы откуда здесь взялись? — Павел удивился своему чудесному спасению.

— Да он ничего не помнит, — своим звонким пионерским голоском Глеб мог разбудить всё вокруг.

— Да тише ты, — более рассудительный Борис успокоил своего названного брата, — у него, кажется, температура! Ты разве не помнишь, ты мне звонил, просил помощи, но ничего внятно не объяснил. Всё бормотал «жабервоги», «жабервоги». Кто такие «жабервоги»? — Павел не помнил, а немного спустя, вообще отрубился.

— Да ладно, сейчас мы от него ничего не добьёмся. А может это бомжи? Повезли его ко мне. У меня сегодня никого. Есть чудесный отвар, к утру температуру как рукой снимет.

— Ты опять нас самогонкой своей поить будешь!?!

— Да нет, отвар безалкогольный.

— Ну, тогда поехали!

Борис, как ни странно, с первого раза завёл свою «копейку». Он уже в тридцать третий раз вспомнил о своём зажигании. Они не проехали и трехсот метров, как им навстречу вынырнули из темноты три чёрных «крузёра». Не остановившись, не просигналив, они со свистом пронеслись мимо.

— Да, койоты лунки крузер —классная тачка! Не спроста всё это, — промолвил водитель, — дай-ка, мы свернём на побочную дорогу и потушим фонари. — Немногим спустя, он боковым зрением узрел пронёсшиеся обратно чёрные машины. Видимо, это действительно было неспроста.

ФРАГМЕНТ ДЕВЯТЫЙ

Павел проснулся поздно, на часах было тринадцать тридцать три. Что с ним было вчера, он помнил фрагментарно. В голове веяло какой-то тяжестью. Алкоголь он вчера точно не употреблял. Повалявшись, как положено, какое-то время в постели, попутно заметив, что она не его, Павел осторожно встал. Присутствия кого-либо в квартире не ощущалось. То, что он не пошёл на работу, почему-то его мало трогало. Квартира, кстати, кажется, была Глеба, его сослуживца. Осмотрев все помещения и убедившись, что действительно никого нет, Павел немного успокоился. Ему меньше всего сейчас хотелось с кем-нибудь общаться. Надо было переосмыслить происходящее вокруг него. Как он здесь оказался, он не помнил. То, что звонил начальнице и

отпросился, помнил. Как оказался за городом, в стогу сена, помнил смутно. И кстати, зачем он там был? В Сахарцах у него никого не было.

— Алё, привет, — услышал он, подняв трубку, — как самочувствие?

— Да, чё-то хренова-то, а чё вчера было-то? Ничего не помню, — инстинктивно пощупал свою голову Павел.

— Да уж дал ты нам проср.... Лишил ты нас спокойного воскресного вечера. Как тебя туда занесло?

— С трудом вспоминаю, — шепотом начал говорить Паша. — Тут что-то замешано мистическое, и это как-то связано с нашей работой.

— Вот с этого момента я бы попросил поподробнее, — поддержал заговорщический тон Глеб, — это нас всех касается, или только тебя?.

— Я ещё сам с трудом что-то понимаю. Вас вроде нет, поэтому вам надо держаться от меня подальше, — продолжал шептать Павел. — Ну, не подальше, но чуть в стороне. Так что связь будем держать по сотовым. Я, на всякий, сменю себе симку, но оформлю её не на себя, у меня есть возможность.

— Ладно,разбирайся, чуть-что, звони обязательно!Да, кстати, от «королевны» я тебя отмазал до завтра,так что балдей, оклёмывайся.

— Хорошо,до связи.

Поговорив по телефону с Глебом, Павел немного развеялся. Память к нему постепенно возвращалась. «А вообще, что за чёрт? Что за провалы, раньше я что-то за собой этого не замечал.», — размышлял он, готовя себе кофе. «Кристина!, — пронзило его, — точнее, Кассандра, вот уж воистину прорицательница — надо попробовать потянуть с этого конца»

Кася — уменьшительно-ласкательное от Кассандра.

Ещё больше загрузившись, таким образом, Павел решил, что хватит пользоваться Глебовым гостеприимством, возможно, опасаясь как-нибудь подставить его. Да и надо было попытаться всё проанализировать. Кофе чудесным образом прояснял мозги. Домой он тоже решил не возвращаться. Выйдя на улицу, Павел инстинктивно огляделся по сторонам. Прошёл дождь, и народу на улице было немного. Конечно, это был загон, но несколько человек ему показались подозрительными, и он взял такси.

ФРАГМЕНТ ДЕСЯТЫЙ

Сон многое лечит. Он проснулся от какого-то скрежета, или ему показалось. С ним такое уже бывало— проснётся и не может заснуть. И не сказать, чтобы бессонница.С чего бы это, всего чуть-чуть за тридцать. Получается какая-то антитеза, — организм не выспался, не отдохнул, хочет спать, а мозг уже включился и ему по фигу: выспался организм, или нет. Видимо, поэтому у людей, развитых физически, но, так сказать, не обременённых,отменное здоровье по сну.

Мозг свою работу начинает постепенно, сначала анализируя обстановку вокруг. Проделав эту не хитрую работу,он переходит к более серьёзным, по его мнению, вещам. Он переходит к выкапыванию из недр памяти вещей, для него весьма сомнительных, и производит обсасывание их со всех сторон. К оным можно отнести события, произошедшие с хозяином черепной коробки за день. «А правильно ли я поступил, а то ли сделал или сказал», — думает мозг, уже ассоциируя себя с оставшимися частями человеческого организма. Как поётся в древнерусской песне: «А тому ли я дала?!». Ну, это, так сказать, образно. И начинается то, что в серьёзных науках называется самокопанием, а у северных народов — самоедством.

В данном, конкретном, случае мозг Павлу не оставил ни единого шанса. Он, можно сказать, буравил черепную коробку. Павел посмотрел на часы — полшестого.

«Да уж, — подумал он, — от всего пережитого может практически всю жизнь полшестого быть, или, наоборот, намбэ-ван».

К нему начала возвращаться память. Причём не кусками, или фрагментами, а вся, сразу за последние три дня. Так сказать, оптом.

«А ведь это со мной с тех пор, как я начал заниматься этими треклятыми бананотехнологиями. Видимо, эти композиты как-то влияют на организм. Надо заняться китайским фэншуем, или армянской йогой», — лениво подумал Павел.

Гостиница была почти как европейская. Это не на предмет интерьера, нет, — в номере был чайник, и рядом с ним приветливо лежали пакетики, причём не самого плохого чая, а главное, кофе — он был аж, трёх видов.

«Ещё бы сливки рядом поставили», — мысленно усмехнулся Паша. Усмехнуться-усмехнулся, а кофе запарил.

До выхода на работу было ещё достаточно времени. И гостиница была близко от работы. Можно было, конечно, посмотреть крайне содержательные с утра программы, коими изобилует магический предмет прямоугольного цвета, взбодриться тянущей в сон музычкой, или вдохновиться миловидно-дебильными лицами ведущих программ. Но это было не то, что было нужно сейчас Павлу. Ему нужно было разобраться.

ФРАГМЕНТ ШЕСТОЙ

Кася вышла из душа совсем нагой и мокрой. Капельки воды ещё стекали по её влажной спине. По доброте душевной она не заметила полотенца в ванной, а может, они ей не понравились. Не будем вдаваться в подробности, — тому могла быть тысяча причин. Главное, это выглядело очень эффектно, и она об этом знала. Павел лежал на синих простынях почти в позе Христа. Тело, конечно, было не таким загорелым и израненным, но аналогии проводить, без сомнения, было можно. Секс иногда можно сопоставить с болью и терпением, изнеможением, божественным наслаждением, и другими подобными вещами, поэтому, видимо, такие сравнения уместны.

Павел смог дождаться, пока вода стекла, после этого протянул ей руку, чтобы она помогла ему подняться. Но это было всего лишь уловкой, — он легко, но в то же время с определённым усилием, резко потянул её на себя. Она упала, почти не сопротивляясь, но продолжения не последовало, — они просто пролежали несколько минут, обнявшись.

— Ну, хватит расслабляться! — почти подскочил с постели Паша, — ты можешь немножко понежиться, я всё сделаю сам.

— Ага, — растянуто, с полузёвом протянула Кристина.

— Ты только не засыпай, я буду всё время говорить, а ты мне должна отвечать. Хорошо?

— Ага.

— Нам надо разработать план действий на сегодня. Ты ведь говорила, что свободна в субботу?

— Если ты пожелаешь, я для тебя теперь свободна всегда! — томно простонала она, — и ты теперь мой. Не отдам тебя никому! Подойди ко мне.

Павел подлетел к ней со скоростью курьерского.

— Что Вам, моя госпожа? — полотенце, которым не захотела воспользоваться Кристина, свисало у него с руки, как у заправского официанта в эротическом баре, — только бабочки не хватает. — Чего изволите?

— Тебя, и всего! — она перекинула полотенце с его руки на шею, — они слились в едином порыве, но дальше поцелуя дело не пошло.

— Нет, нет, нет, так не пойдёт. Мы о чём с тобой договаривались? Эдак мы вообще сегодня ничего не сделаем, погибнув в лаве любви. Я предлагаю следующее.

— Ну-ка, ну-ка, — Кристя села на корточки, прикрыв низ от греха подальше одеялом.

—Ну, так вот, — сказал он, не отрываясь от неё взглядом, — она ему нравилась всё больше и больше. Он сделал паузу.

— Ну, не томи.

— Хорошо, моя госпожа! Перво-наперво, я предлагаю, как следует подкрепиться. Можно, конечно, сходить туда, куда мы вчера не попали, — в «Завитушный кренделябр».

— Ну, я не знаю.... Заманчиво.... — промурлыкала она. Но невооружённым взглядом была видна неохота.

— Вот и я про то же. Лучше перекусить здесь, потом выбраться в город и с весельем прокатиться по злачным местам.

— Ну, я как-то со злачными местами не особо дружу.

— Тогда тупо пойдём в кино, на последний ряд, на последний сеанс. Ну, как тебе мой план? Не правда ли, гениально?

— Вообще-то тривиально, но для простого инженера-кодировальщика —потянет, — подколола она Павлушу.

«Опаньки, я ей вроде ничего подобного не говорил, — подумал Паша, — хотя я вчера был в романтически коматозном состоянии, мог с дуру сболтнуть». Павел никогда не путал романтику с работой, но так как с некоторых пор в его головку закрались кой-какие подозревалки, это было возможно.

«Скорее всего, проболтался» — сделал он такой вывод, но виду, как обычно, не подал.

— Ну, ладно, это я так, тривиально, гениально — это Эйнштейнам с да Винчами судить, — шутливо обиделся Павлуша, — а не нам, сирым да убогим.

— Мы очень даже не сирые, смотри, какая я разноцветная и загорелая, — Кристина откинула простынку и откинулась сама.

— Ой- ёй- ёй, — разочаровывать он её не собирался, — ну-ка, дай-ка я это как следует, разгляжу. Постой, замри. Оч. интересная

композиция. А схожу-ка я за камерой, и посажу тебя туда, чтобы никуда от меня не сбежала.

— No photo! No photo!, — истошно завопила она, как принцесса Уэльская, скрывавшаяся от папарацци, завернувшись при этом в сине-белый клубок из простыней. Из них торчали только остренький носик, щечки и два зелёных, как у кошки, глаза.

— Нет, нет, нет. Надо это изящество запечатлеть для истории искусства. Не дай бог, экспонат пропадёт, испортится, а у меня есть доказательства, что у меня **чудо** было.

— Ну, если ради искусства, тогда ладно.

— Так, откиньтесь, пожалуйста, сюда, головочку повыше. Вот так, потерпите немного. Хорошо. Давайте с этого ракурса. Отличненько. Всё, хватит, пожалуй. Караул устал, или упал. Как будет точнее?

— Упал от усталости, — точнее не придумаешь!

Справившись с фотосессией на отлично, она опять пошла в душ. «Не иначе, как водяной знак, слишком часто моется», — решил Павел, — ну, это не трагедия, это терпимо, дельфины, такие же умные, почти всю свою сознательную жизнь в воде проводят, и ничего!».

Он решил использовать представившуюся паузу с толком, просмотрел запись, и с удовлетворением перенёс в фотографическом виде на свой компьютер. Он был довольно древний и мог принимать только фотографии.

ФРАГМЕНТ СЕДЬМОЙ

Они выбрались в город ближе к девяти. Такси решили не брать. Рядом остановка, этих остановок ехать им было шесть на девятнадцатом. Тринадцать минут, он засекал. Наверное, они хотели продемонстрировать всем свою, зарождающуюся любовь, поэтому не взяли такси. Автобусы в этом месте и в это время ходят полупустые и часто. Длинный зеленый автобус отечественного производства, подкатил, как по заказу, дав им успеть пару раз от души поцеловаться. Места, возвышавшиеся сзади, были свободны, и они взобрались на них, как на трон под названием «любовь». Естественно, что они не заметили,что через остановку в автобус зашли двое крепких мужичков в сильно поношенных спортивных костюмах. Их верх венчали потрёпанного вида бейсболки, козырьками набок. Им не хватало чёрных очков, чтобы скрыть некоторые синеватости под глазами... И когда выходили, тоже не заметили, что они вышли вместе с ними. Впрочем, выходили они в центре, там все выходят.

Милиция, кстати сказать, гоняет таких «спортсменов», но даже она иногда дозволяет посмотреть на символы города — енота и барсука, смастерённые, непонятно как, из земли и какой-то заморской травы. Они были так искусно сделаны, что невесть откуда взявшиеся на празднике города дикие великие моголы, предлагали за них баснословные деньги. Но наша местная администрация гордо ответила, — символами не торгуем, «Forever svyacshenniy enot», хотя зима в глаза катила, и до середины весны можно было вырастить целое семейство енотов. Показной, квасной патриотизм стоил городской казне несколько десятков тысяч зарубежных баксеров. Зато следующей весной появились стадо сумчатых кенгуру и французская, мокрая курица, уже их символ, поставленная напротив храма Мельпомены. Место, куда направлялись Паха с Касей, было заселено чем-то средним, похожим на мамонтов, или, в крайнем случае, на динозавров, но для краснобугровцев они были более родными, чем заокеанские кенгуру. Краснобугровцы их прозвали «диномамонтами», их было трое, и самый маленький из них, видимо, детёныш, призывно поднимал хобот вверх, видимо, был голодный. Добрые краснобугровцы бросали ему морковь, свеклу, а иногда картошку и помидоры, наверное, не зная, что они были завезены из Южной Америки и в реальной истории мамонтам не встречались. Добротой пользовались «спортсмены», почти подчистую выгребая дары горожан, и утром у людей, проезжавших мимо на многочисленных транспортах, — город был ими переполнен, — создавалось впечатление, что мифологические животные съедали всё. Так как смеркалось, они уже начинали потихоньку копошиться в этих импровизированных вольерах.

— Вот смотри, свободная скамейка! А кстати, вот было бы классно, если бы было, как в «Donald darks»-ах, за скамейками стоял человек, и когда бы она освобождалась, кричал: «Свободная скамейка, свободная скамейка!»

— Ты пока присаживайся, я сгоняю за пивком.

— Окай!

Бежать пришлось через всю площадь, которую разделял длинный фонтан, самый большой в городе. Говорят, он когда-то был музыкальным, сейчас журчание струй, а они

действительно били выше всех в городе, сопровождалось хрипением из кафе, куда направлялся Павел. Скамейка, где сидела Кристина, была, как раз по диагонали. Солнце, иногда пробивавшееся сквозь тучи, при попадании на водную пыль, образованную стараниями фонтана, создавало замечательные спецэффекты, — круче, чем у Спилберга. Если брызги били не слишком высоко, ярко-рыжая голова Кристи выглядела, как в каком-то ореоле, вкупе со спецэффектами образуя радужный нимб. Очередь двигалась медленно, и Паша любовался сим приятным зрелищем. Когда его место переместилось уже ближе к раздатке, Павел начал замечать, что нимб становится ярче и увеличивается. Вдруг яркий свет как бы ударил ему в глаза. Оцепенение продолжалось около минуты.

— Молодой человек, вы брать чего-нибудь будете? — женским басом бабахнуло в него, — Павел продолжал смотреть на то место, где должна была сидеть Кристина, а там её не было.

— Отойдите в сторону, не задерживайте движение. Стоят тут, непонятно зачем! — продавщица неопределённого возраста уже обслуживала следующего клиента.

Скамейка была пуста. Паша отошёл метров на пять от кафе. Оглядев большую площадь, он на самом краю заметил похожий на неё силуэт, но она шла под ручку с двумя крепкими мужиками в спортивных костюмах. Не задумываясь, он бросился вдогонку удаляющейся группе. Он не успел их догнать. Когда до них оставалось метров пятнадцать, они, не оборачиваясь, невозмутимо сели в огромную, чёрную машину и с места рванули так, будто за рулём был Шумахер или, по крайней мере, Кимми Райконен. Паша, не раздумывая, ринулся к таксистам, бросившись к первому попавшемуся.

— Вон за тем «крузёром», ну, заводи, пожалуйста, а то упустим!

— Уважаемый! Давайте договогимся об условиях, — таксист, выражающийся столь культурно, был явно не нашей национальности. Об этом, кстати, говорила его небольшая кагтавость.

— Быстрей, быстрей, — Павел судорожно достал из гомонка документ с видами Архангельска, — вот это за ближайшие тридцать минут.

— Убедительно, щас догоним, в сей момент! — реальное количество денег обычно исключает дополнительные вопросы.

Павел, в запарке, не обратил внимания, что его кабриолетом была обычная совковая «шестёрка». Он подумал, что ошибался, выбрав сей антикварный вид транспорта. Но события развивались стремительно. Наш, с виду неказистый драйвер, искусно лавируя внутри достаточно плотного потока машин, за каких-то шесть минут догнал искомую транспортную единицу.

— Ближе, чем на десять метров не приближайся, а то заметят!

— Окай, шеф, — вопросов, как и в первый раз, не последовало. Что тут скажешь — магия денег.

Павел сосредоточенно глядел вслед, за то удаляющимся, то приближающимся автомобилем, пытаясь разглядеть сквозь затемнённые стёкла, что там творится внутри, — ничего не было видно. Машин на дороге было много, и преследование похитители Кристины, а именно так думал Паша, заметить были не должны. Дорога неуклонно забирала в районы, считающиеся концом города. Это было популярное направление, и количество машин не уменьшалось, что помогало конспирации. Но чем меньше за окном мелькало городских домов, тем сложнее было скрыть свои намерения, — приходилось держаться дальше от преследуемого объекта. На светофоре, перед железнодорожным переездом, чёрный внедорожник остановился.

— Срочно тормози! — резким голосом Павел оборвал движение автомобиля.

— Ви хоть заганее пгедупгеждайте, — обиженно промямлил водитель, — пога уже, мне кажется, объясниться, молодой человек. Что мы едем, куда мы едем? А вдгуг эти кгутые нас спалят и потом голову отогвут? И это всё будет за каких-то жалких пятьсот гублей!

Павел призадумался, как это вообще можно было объяснить. Кучу несуразиц замешанную на компьютерном детективе ему ещё самому предстояло разгрести. Но представителю знаменитой дгевней национальности надо было что-то говогить, да ещё и так, чтобы было убедительно. Предстояло врать. Навскидку в голове всплыла банальная история о неверной жене.

— Это всё она, вертит мной, как хочет, — он сделал горестное лицо, — давно бы бросил! Как заноза в сердце! Не могу её выдернуть.

— И что, всё так на самом деле плохо?

— Когда она со мной, хорошо, когда её нет, хуже некуда. Эх, Светка, Светка, зачем же ты рвёшь меня на части, — тут Павел был недалёк от истины, его бывшую звали Света.

И когда она ушла, он действительно страдал. И внутренние ощущения в отношении Каси были приблизительно такими же. Единственное, что мешало точности, это время.

— Ну, может быть, не всё так плохо? Может быть, больше не надо никуда ехать, и больше денег давать не надо? Отвезу тебя домой и всё. Дома отсидишься, всё на трезвую голову пропередумаешь. А ещё лучше, напейся! А если удастся, на работе на недельку отпросишься, да смотаешься куда-нибудь, да отдохнёшь.

А? — доверительный голос водилы-интеллигента попадал прямо в душу.

Паша задней мыслью уже начинал понимать, — а на фига оно ему? Ехали они уже с полчаса, и наш герой прокручивал все события последнего времени. И ровным счётом мало что понимал. Но интуиция, которая частенько ему помогала, явно велела не останавливаться, идти дальше. Да и Кристина откровенно зацепила.

— Нет, мне надо знать, где она, — шлагбаум медленно поднимался, Павел полез за тысячной, — давай за ними, только держись в метрах ста, или лучше —двести.

— Ну, как знаешь! — водила медленно завёл машину, и она на удивление мягко тронулась с места, — только смотгти, если что-то не так, сгазу уходим?

— Договорились.

Чёрная иномарка свернула на побочную дорогу, следуя мимо поля, на котором уже всё было скошено, и лишь одинокие стога стояли в какой-то странной последовательности. Преследователи благоразумно решили, пока не сворачивать, — поле было ровное, и видно было далеко. Километрах в двух был небольшой лесок, и внедорожник скрылся в нём.

— Давай за ними!

— Чего-то стгашновато. Елки палки лес густой ....

— Поехали, как только будет реально опасно, ты меня высадишь. Поехали, а то потеряем.

И они их почти не нашли. Заехав в лес, они поняли, что он не настолько мал. Осторожно доехав почти до середины,Павел увидел, как в русской народной сказке, полянку, ещё три месяца назад красневшую земляникой, и из неё выходило три пути. Это было почти мистикой, но ему было не до этого. Программа «Интуиция» помогла, ещё неделю назад он бы свернул налево. Только прямо, только

вперёд, — но слишком заброшенная это была дорога. Деревья на обочинах стояли засохшие, создавалось ощущения, что они попали в царство Кащеево. Да и пара ворон, каркнувших чуть вдалеке, усиливало это ощущение. У дюже впечатлительных замаячили бы галлюциногенные лешие с ведьмами. Хотя ехать пришлось всего метров триста, жути было немерено. Дорога виляла то влево, то вправо, когда она вышла на финишную прямую, в лицо им ударил яркий свет. Машина ударила по тормозам.

— Что это?!? — водитель увидел на площади то же самое, что Павел.

— Это, собственно, то, ради чего я здесь. А что, ты тоже это видишь? — не удивляйтесь вопросу, просто то, что произошло на площади, никто не заметил.

— Ни хрена себе иллюминация! Давай-ка, родной, рассказывай всё поподробнее, — от удивления даже картавость, куда-то делась. — Кстати, меня зовут Артур.

— Павел, — они пожали друг другу руки, — ты сначала для себя реши, а тебе оно надо? — Наш интеллектуальный драйвер призадумался, но национальное любопытство пересилило. Правда, пауза подзатянулась, пришлось поторопить, — Ты уверен, что тебе это надо?

— Хорошо, давай, я в доле.

Паша вкратце, насколько мог, поведал о событиях последнего дня. На это ушло чуть больше шести минут, но и они показались ему почти вечностью.

— Ну, всё выбирай, ты со мной?.

— Ой, я и не знаю.... Кажется, я ещё не готов.... Даже и не знаю, когда я буду готов....

— Ну, всё, я пошёл.

— Постой. Вот возьми мою визитку. Я поспрошаю у своих. Позвони мне, расскажешь, чем всё закончилось. Позвони, может быть, я тебе ещё пригожусь....

— Всё, пока.

Павел ещё секунд тридцать отследил движение задом отъезжающей шестёрки. Помахав синей машине рукой, он пошёл вперёд неизвестности. Сияние, казалось, стало чуть менее ярким, но приобрело более чёткие очертания.... Именно в этот прямоугольник ему и предстояло войти.

ФРАГМЕНТ ОДИННАДЦАТЫЙ

Он очень хотел разобраться во всём, но гостиничный номер для этого подходил мало. Вообще для этого больше подходил какой-нибудь инопланетный корабль с планеты Барым-бурым. Коричневого напитка было выпито сверх меры, так что он начал влиять на принимаемые мозгом умозаключения.

Причём стройности у этих умозаключений было столько же, сколько у только что призванного солдата.

«Жабервоги, жабервоги??!», —корёжило его ум. А что это было такое, он не знал, или не помнил. Но он знал, что надо вспомнить всё, как в том фильме про Марс со Шварцем. Конечно, себя он таким терминатором не ощущал, но с детства был научен, иметь активную жизненную позицию.

«Надо проветриться перед работой, — подумал Павел, — или проветриться...». Всё, что случилось за эти три дня с ним, казалось ирреальным, малообъяснимым, иллюзорным и невероятным. Кому расскажи, все по чесноку, сразу бы посоветовали обратиться на улицу Курчатова или Ломоносова, надеюсь, всем понятно, зачем.

— Я хочу оплатить счёт. Сколько с меня?

— А вам что, при заселении не говорили? — консьержка медленно приподняла очки на лоб. В её интонациях сквозили знакомые национальные мотивы.

— Скажите, пожалуйста, ещё раз, я не помню цифру, — процедил сквозь зубы Паша. Он решил не заводиться перед работой.

— Сегодня столько же, сколько и вчера. Тысяча триста тридцать. И не каждому. Нам чужого не надо. Ти слышал, Изя, — она окликнула сидящего в углу, прислонившись к стенке, швейцара. — Они все почему-то считают, что таки мы все такие.

— Надеюсь, этого хватит! — Павел положил полторы тысячи на стойку и, не дожидаясь сдачи, вышел на улицу.

Дохнуло осенью, свежесть по утрам в наших широтах всегда сопровождает приближение осени. И проезжая часть, и мостовая, за последние годы обильно напичканная черепицей, были обильно начинены влагой. Дышалось хорошо. Паша даже остановился на несколько секунд, как бы разглядывая обложку валявшегося рядом с урной очередного появившегося в городе глянцевого журнала. Отойдя несколько метров от урны, он услышал, что его окрикнули.

— Молодой человек, это не вы уронили, — Павел, обернувшись, увидел довольно живописный объект, отдалённо напоминавший опустившуюся статую Пушкина. Это был бомж.

— Нет, это не моё.

— Ну, тогда я сие немножко прихватизирую! Очень интересное, должно быть, чтиво. Так-с, журнал «...ыльник»! — часть обложки у него была оторвана. Никогда раньше не видел. Будет с чем приятно встретить старость, — кучеряво-живописная часть тела с удовольствием крякнула.

— Берите, берите, я на него ни в коей мере не претендую, —ответив в тон ему, Павел, больше не оборачиваясь, побрёл навстречу неизвестности.

Все события в голове начали выстраиваться в определённую последовательность, но объяснений, даже приблизительно толковавших их ход, пока не находилось . Паша решил не гнать лошадей, успокоиться, посоветоваться с товарищами на работе. Вокруг не было ни души, так что предположения о возможных преследователях могли объясняться Павлу лишь его природной мнительностью. Образ Кристины притуплялся с каждой минутой, и Павел твёрдо решил идти на работу. Тем более, что Кася, уходя с незнакомцами, не сопротивлялась.

«Если что, она ведь была у меня дома, найдёт, если захочет! А у меня и так жизнь весёлая, в ней только мистики не хватало. А может, мне что-то подлили, что у меня галлюцинации начались, — думал он, не торопясь, следуя в сторону своего «джобхауса», — так он с корешками называл свой институт. «Что же мне плести своей начальнице?, — появилась, наконец, в голове мысль, уравнивавшая его с реальностью,— Наша принцесса явно не поверит в бредни, творившиеся со мной в последние дни». Если сам Павел и пытался сводить свои мысленные концы с такими же мысленными концами,если его товарищи, подобравшие его за городом,видели его состояние, и чуяли в этом что-то неладное, то Ульяна Яковлевна вряд ли оценит трагикомичность событий от пятницы до понедельника. Не такой она была женщиной, если она вообще ею была.Уж он её знал достаточно хорошо, до того, как стать руководительницей всего института, она была начальницей его научной группы. Если выражаться грубо, он знал её как облупленную. При жестких промахах пощады от неё ожидать не приходилось. Хотя пропуск рабочего дня при иных обстоятельствах и мог бы как-то проститься с её стороны, то то обстоятельство, что работа шла важная и находилась она на достаточно важном этапе,усложняло дело. Поэтому надо было придумывать что-то веское. До начала работы оставалось три квартала и два часа тридцать три минуты. Заурчало в животе, и появилась возможность — с целью убить время. Шикарный ресторан в полседьмого в нашем городе найти было трудно, да и ланчи с

деловым оттенком; по крайней мере, Павел таких не знал, но пара — тройка недурных забегаловок работала круглосуточно. Следуя к одной из них, он прошёл мимо «Завитушного кренделябра», его в последний раз за начинающийся день прошила мысль о Кристине: «А может,если бы мы туда тогда попали, всё бы получилось по-другому?».

— Девушка, вы в свете лучей восхода выглядите абсолютно романтично, — такой незамысловатый комплимент отвесил Паха заспанной буфетчице,— ливаните мне, пжалста, чаю, сикока не жалко, да этих пару бутеров. ,уничтожимых, пока они совсем не позеленели. Сколько с меня?

— Вы, господин хороший, мне с утра тут не грубите, — видимый сон с продавщицы сомнительных деликатесов, как рукой сняло, — у нас весь товар сертифицированный и свежий, — хотя сказала она это, поддельно улыбаясь, на последних словах её подёрнуло, и без того не лиловый нос — кверху.

— Ну,если данное обстоятельство соответствует действительности, посчитай ещё три, и не соблаговолите ли вы разделить со мной эту трапезу?

— Я с утра не ем— только пью, — гордо ответила она, показывая, как ревностно блюдёт свою дородную фигуру.

— Ну, я бы тоже следил за фигурой, кабы не вопрос жизненной необходимости. Уж больно жрать хочется. А с утра пьют только аристократы или ренегаты, — сказал он, засовывая в рот вторую половину бутерброда.

— Такс Вас за сколь считать, за два, или за пять?

— Считай за три. Мне эта цифра ближе!

— Воля Ваша, сударь, — сказала она, покорно свесив голову на солидную грудь. По всему было видно, что образование «продавачки» (так звучит продавец по-чешски) было не ниже средне-филологического.

— Сдачу оставь себе! — бросил Павел, на ходу, вытирая рот салфеткой.

Когда он вышел из закусочной, солнце уже светило ярко. До работы оставалось меньше часа. Дворники уже свои отработали. На улицах было почти идеально чисто. Так как время было, а он выпал из информационного пространства на целых три дня, Павел решил оставшееся до работы время, посвятить изучению текущей прессы. Взяв в киоске три газеты, одну местную, одну общенациональную и центральную спортивную, он уселся на пустующую скамейку.

ФРАГМЕНТ ДВЕНАДЦАТЫЙ

— Привет, Джеймс! Ну что, закончилась твоя Павлентиада? Как ты? Или, может, теперь «how are you» тебя спрашивать?

— Да Глебушка, вроде в голове всё выровнялось. И самочувствие вроде уже получше.

— Так что же всё-таки с тобой было? — неподдельный интерес проглядывался в каждом слове Глеба. Его восторженный пионерский голос, кажется, от нетерпения, стал ещё звонче.

— Я думаю, про этот сюр стоит на время забыть. Непонятное проще разбирать на расстоянии.

Несмотря на то, что Паша утверждал, что чувствует себя нормально, это вряд ли соответствовало действительности. Он сидел на стуле, как на электрическом, но тело как бы существовало отдельно от головы, которая, видимо,находилась в некоторой прострации, поэтому он отвечал несколько рассеяно. Глеба же, наоборот, распирало любопытство.

Раздался стук в дверь. Немая сцена.... Конечно, возможно,это немного потеатральному, но пауза длилась больше десяти секунд.

Так Павел делал ещё в студенчестве. Ну, в смысле дверь не всегда открывал, когда стучали. В те тяжёлые времена, когда студентам не на что было купить даже бутылку водки, когда приходилось скидываться, чтобы забыться от окружающей их суровой действительности. И чтобы потреблять её в комфортных условиях и в подобающем количестве, был придуман девиз: «Нет хвостам!». Если было невозможно уединиться где-то в комнате, существовал сверхсепаратный душ-бар! Там можно было уединиться с кем угодно! Но даже если уединялись парень с девушкой, они использовали предоставленное им время на поглощение божественного напитка, а не на всякие, модные сейчас глупости. Как бы это глупо сейчас ни смотрелось.

Поэтому дверь они сейчас не открыли.

— Вы что там, совсем офигели! — это звонил Борис,—своих уже не признаёте! — разрывалась на части телефонная трубка.

— Да мы не знали, что это ты! — пытался оправдываться Паша. Он взял трубу, только после того, как вслед за тремя звонками с паузой раздались ещё три.

— Там Урсула рвёт и мечет!

— Да ладно ты.

— Она требует от тебя какой-то отчёт.

— Скажи ей, что я только пришёл.

— Вот сам иди к ней и скажи! Я больше под раздачу попадать не хочу! Борис был, кажется, немножко взбешен, — да и нас с Глебушкой надо бы кое в чём просветить.

— А он как раз у меня. Ну, ладно, я схожу к нашей воительнице, а потом уже с вами поговорю.

— Ну, всё пока, удачи на ковре пыток. И корешка, давай ко мне отправляй, а то и у нас работы невпроворот. Всё,встретимся на обеде, — Павел слушал короткие гудки, а сам ещё не представлял, что же он всё-таки будет говорить начальнице.

ФРАГМЕНТ ТРИНАДЦАТЫЙ

Он шел по длинному коридору, постепенно приближаясь к своей «Голгофе». Обстановка соответствовала ситуации. Через каждые три метра были почти довоенные фонари, то есть плафоны круглой конфигурации, которые крепились к стене и светили довольно тускло. Посторонних в их учреждении практически не было, институт был полузасекреченный. Поэтому следить за модернизацией интерьера особых причин не было. Наоборот даже осовременивание помещений и коридоров не происходило именно из-за причин таинственности. Наверное, именно по таким коридорам водили в тридцать седьмом приговорённых.

«Всё, пришёл», — подумал Павел, уткнувшись в довольно модную нынче дверь из красного дерева, но поставленную ещё в те времена. Что говорить Ульяне Яковлевне он так и не придумал, поэтому решил вещать правду, но облекая её в удобоваримую форму, в смысле, не подставляя никого.

Тихонько постучав, он приоткрыл дверь.

— Можно?

— Заходите, заходите Морозов, Вас тут давно заждались, ещё с самого понедельника, — ехидная секретарша, была вне себя, чуть не лопаясь от восторга.

Если бы это вдруг произошло, ремонтировать эту комнату пришлось бы долго. Отношения у Паши с Авдотьей Максимовной не сложились почти с самого начала. Павел человек был не скандальный, но тут он умудрился сделать это аж целых три раза. Всему виной были сплетни, плетением которых искусно занималась Хавронья Куксимовна, как её за глаза называли добрые сослуживцы.

to be continued...

Ди**Н** *юмор*

Александр САВЕНКОВ

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Я люблю тебя так,
Что ни дня не могу я прожить
без тебя и ни ночи,
И последний медяк
На тебя я истрачу,
чтоб дух твой насытить порочный, -
Не от слова «порок»,
Означающий грех и расхлябанность
низменной страсти,
А, скорее, от «рок» -
Приближающий к вечности Время,
нам данное — здрасьте!
Как люблю я тебя,
Когда втайне ты, чувственна,
ждешь моего прикасания,
И, бокал пригубя,
Я по капле тебя пропущу сквозь себя —
это мания!
Я сквозь стену пробьюсь
Плача или дождя; ночью, в осень,
ты очень красива,
Словно розовый куст,
В целлофане зеркальном, —
пожалуйста, это курсивом!
Не надеюсь, увы, на взаимность твою;
как больной, принимая магнезию,
Все ж в любви признаюсь,
опьяняющей ум,
и рассудок теряю, синьора Поэзия!

г. Красноярск

Елена НАМАКОНОВА

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ПИРАТОМ...

ПРОСТУЖЕННЫЙ ЗОНТИК

Простуженный зонтик
Вздыхает в прихожей:
Опять за окошком
Денёк непогожий!

А значит, опять, несмотря на субботу,
Придётся ему «выходить на работу»!

А там — заявляю я ноту протеста, –
Простуженным зонтикам — вовсе не место!
Холодные капли!
Тяжёлые тучи!
И ветер — сердитый, промозглый, колючий!

И зонтик растерян — неужто опять
Предложат ему под дождём погулять?
А чаю с малиной?!
А тёплый компресс?!
А жгучий горчичник?!
(но можно и без...)

И если хозяева очень спешат
Туда, где дворы — как промокший плакат,
Туда, где размок под дождём горизонт,
То дайте, пожалуйста, зонтику зонт!

МОРЕХОД

Ищите в морях-океанах,
На дальних, крутых берегах,
В загадочных, зыбких туманах
И в шумных торговых портах...

Ищите неделю, полгода!
А лучше — не тратьте ни дня:
Нельзя отыскать морехода
Мудрей и отважней меня!

Я рифов опасные глыбы
Легко обхожу стороной.
Смешные летучие рыбы
Играют в пятнашки со мной.

Туда, где беснуется ветер,
Где прятал сокровища Флинт,
Иду на пиратском корвете,
Командую: «Курс фордевинд!»

На гребень девятого вала
Бесстрашно взлетаю в волнах!
Проснулся.
А вместо штурвала
Подушку
Сжимаю в руках...

МОРЕ В КОРИДОРЕ

— Что за лужа в коридоре?
— Нет, не лужа!
Это море!
Если хочешь стать пиратом,
Без морей не обойтись!
Мы играли с младшим братом,
Так что, мама, не сердись!

Стартовали от порога,
Взяли курс на Барбадос.
Трудною была дорога,
Но пират не знает слёз.

Столько приключений было!
Ветра стон и чаек крик,
Море злилось и штормило,
И скрипел пиратский бриг.

Мы сражались с осьминогом,
Он сраженье проиграл:
Осьминог стал одноногом,
Испугался и удрал!

Наши пушки грохотали
Над зелёною волной.
Мы отлично поиграли!
А теперь пора домой.

— Замечательное море! –
Так решили моряки.
Ну, а лужа в коридоре –
Это просто пустяки!!

Ди**Н** перевод

Киприан Камил НОРВИД[1]

НА ПАМЯТЬ...

(перевела с польского Марина Саввиных)

ТРИЛОГИЯ

1.

...
Словно струйка из фонтана,
Что кудрями рассыпалась,
И ласкалась, и шепталась,
И, летая, окропляла,
И звенела — отвечала...
...
Так и я, четырехкрылый,
Для неё одной крылатый, —
К ней, Пречистой, к пани милой,
К ней — в жемчужные тенета —,
К ней — в обманные палаты...
...
Так и я звенел чуть слышно
Пел, стихов не разбирая,
Чтоб слова забавней вышли:
«Выше мысли... выше рая...
Как близки мы, дорогая!
Как не ново то, что знаю!»
...
Разве я и это знаю?

2.

...
Выше смысла... выше рая...
Та, вчерашняя, другая...
Моей милой притворилась,
Чтобы милая забылась.
Но — смотрю, не узнавая...
...
Не шутя мне сердце ранит...
Что мне делать с этим взглядом?
С этой судорогой — рядом...
Как заплачет — водопадом...
Засмеется — громом грянет...

1. Киприан Камил Норвид (1821-1883) — польский писатель, поэт, мыслитель, живописец. Деклассированный шляхетский интеллигент, при жизни не признанный. Умер в польском благотворительном доме для нищих в Париже. «Открыт» был только в 1904 известным польским эстетом-критиком Зеноном Пжесмыцким. Произведения Н. изданы (не полно) З. Пжесмыцким только в 1912 в 4 томах.

...
Дам ей великаньей силы –
В грудь вдохну её и в плечи,
Что так милы и немилы...
Будь что будет! Звезды... свечи..
Так и будет в этот вечер...
...
Лжет! Оправдываться — нечем...

3.

...
Ну и что? Прекрасно... Ладно...
Быть почтительным слугою –
Не отрадно... не накладно...
Не надолго — мне с такою
Госпожою ненаглядной.
...
Чай под месяцем зеленым...
Выпьем с вами под луною,
Как и свойственно влюбленным –
Под оливой... под сосною...
Под зарею... под грозою...
...
Вашим подданным? Отлично!
Романтическим, античным
Утешителем — к порогу ...
Вам — дворянке ли, крестьянке,
И монашке, и мирянке...
...
Ваш покорнейший... ей Богу!
Париж, 1849.

МАРИЯ, ПАНИ АНГЕЛОВ.

Laudato sia il mio Signore per quelli
Che perdonan per suo amore
E che sopportano i travagli
Con pazienza — e l'infirmita
Con allegrezza di spirita
San Francesko d'Assizi (1230)

Мария, Пани Ангелов, — Тобою,
Твоим венцом — взываю о спасенье!
По воле Сына, небом и землею
Пусть вечно правят милость и прощенье -
От южных звезд до северных сияний...
К распятью припаду, покрытый пылью:
Eloi lamma... **в час горя и страданий**
Приди на помощь моему бессилью!
Мария, Пани Ангелов, — Тобою
Твоим венцом взываю о спасенье!
По воле Сына, небом и землею
Пусть вечно правят милость и прощенье...
Аминь.
Берлин, 1845г.

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

ЕРМАКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛИЦЕЙ

ОСЕНЬ — 2007

Дмитрий БОГДАНОВ, 7 класс

НЕДЕЛЬКА С ЛАФТИКОМ

1. Лафтик.

В понедельник у меня появился новый друг. У этого маленького резинового существа — две ручки и две ножки. ещё у него есть маленькие рожки, а сам он синего цвета. И... он питается моими ошибками.

2. Знакомство с Лафтиком.

Мы познакомились очень просто. Однажды в школе мы писали диктант, и у меня было много ошибок. Учительница сказала, что можно взять тетрадку и исправить дома все ошибки. Когда я пришёл домой, то сразу начал исправлять ошибки. Я так злился, что не мог исправить ни одной, и от злости уснул. С этого все и началось.

Я проснулся, посмотрел в тетрадку — и чуть не упал со стула. Честное слово! Я испугался!

— Что случилось с моими ошибками?!- крикнул я.

— Они все исчезли, — прошептал я.

— И что за чудик спит на моей тетрадке? — удивленно спросил я.

Он проснулся, увидел меня и тихо сказал:

— Я — Лафтик.

Я придвинулся поближе, внимательно его рассмотрел и спросил:

— А где все мои ошибки?

— Я их съел, — робко пробормотал он.

— Как — съел?

— Ртом, — ответил он.

— Так... ты ешь мои ошибки?

— Да, — ответил он и с аппетитом слизнул мою последнюю ошибку.

Я тогда спросил его:

— И ты теперь будешь ходить со мною в школу... на завтрак и обед?

— Да, — посмеиваясь, сказал он.

И мы с тех пор с ним никогда не расстаёмся.

3. Внезапная пропажа

Во вторник, когда мы с Лафтиком пришли из школы, я решил перекусить. Я поставил Лафтика возле его домика и сказал:

— Жди здесь и никуда не уходи. Я напишу тебе много ошибок!

— Ладно, — сказал он.

Я достал ручку и листок, сел за стол и стал писать ошибки: бИрёза, вАда, шОл, мяХкий, тИтрадь и так далее.

Потом я пошёл к Лафтику:

— Выходи, Лафтик, пора обедать.

Но не услышал в ответ ни слова. Я заглянул в его домик, но там никого не было. Я запереживал. Куда же он делся? Я стал размышлять. Может, он проголодался и в поисках еды забрался в мои тетрадки? Я перелистал все тетрадки, но и там его не было.

Тогда я представил себя сыщиком, который ищет своего зверька. Я надел папин серый плащ и его черную шляпу и стал настоящим сыщиком.

Я расспрашивал родителей, сестру и братьев, не видели ли они моего зверька? Но они отвечали мне — нет!

Тогда я поймал свою кошку и устроил ей допрос:

— Ты съела Лафтика?

Но она мне отвечала:

— Мяу-мяу.

Я подумал и решил, что она говорит:

— Нет-нет.

Я взял лупу и с её помощью стал искать следы Лафтика. Они привели меня в пенал. Я открыл его, а там — не поверите! — спал Лафтик. Я очень обрадовался, отнёс его в домик, положил на кровать и стал петь песенку. А про себя подумал:

— Наверное, он очень устал после трудного школьного дня.

4. Неудача.

В среду в школе Лафтик, как всегда, прыгал на уроке из одного портфеля в другой и искал ошибки. Вот тут-то его подкараулила неудача: он залез в портфель к Юле и съел там не ошибку, а правильную букву.

Когда мы пришли домой, я его спросил:

— Лафтик, хочешь есть?

Он мне с трудом отвечает:

— Н-нет...

— Странно... ты же всегда голодный после школы...

— Просто я съел не ошибку, а правильную букву, и теперь мне нужно целых четыре часа, чтобы её переварить.

5. Лафтик заболел

В четверг мы с Лафтиком пришли из школы домой, и я, как всегда, стал писать ему ошибки. Но, к моему удивлению, Лафтик снова отказался от обеда.

— В чем дело? — озабоченно спросил я.

— У меня живот болит, — пожаловался Лафтик.

Что же делать? Как помочь другу? И тут я вспомнил, что на третьем этаже живет доктор. Я бросился к нему.

— Помогите, моему другу очень плохо. У него разболелся живот.

— Наверное, твой друг съел много сладкого.

И тут меня осенило: конечно! Он объелся! Ведь сегодня был диктант по русскому языку, и Лафтик, как всегда, поедал ошибки у меня и моих одноклассников. Вот почему он отказался от обеда!

— Пойдём, посмотрим твоего друга, ему нужна помощь.

— Спасибо, дядя доктор, вы нам уже помогли, — ответил я и побежал успокаивать Лафтика.

6. Лафтик знакомится с Тилом

В пятницу был обычный день. Мы с Лафтиком пошли в школу. Первым по расписанию был урок информатики. На этом уроке мы учились печатать. У меня были ошибки, поэтому я сказал Лафтику:

— Исправь, пожалуйста, все ошибки.

Но когда Лафтик приступил к работе, из компьютера раздался голос:

— Не ешь!

Лафтик спросил:

— Ты кто?

— А тебе что?

— Да просто спросил, как тебя зовут.

— Тил.

— А ты можешь показаться?

— Могу... А ... вы мне ничего не сделаете?

— Не бойся!

— Ну, ладно... показываюсь...

Из компьютера вылезло маленькое, зелёненькое, похожее на Лафтика существо.

— Да, ты такой же, как я! Только зелёный, а рога — синие, — удивился Лафтик.

И тут прозвенел звонок. Надо было идти на следующий урок, но Лафтик сказал:

— Ты иди, а я останусь здесь, поиграю с Тилом. После уроков заберёшь меня.

После уроков я заглянул в кабинет информатики. Лафтик и Тил мирно беседовали, сидя на клавиатуре.

Но надо было идти домой. Лафтик попрощался с Тилом и сказал, что завтра ещё придет поиграть с новым другом.

Я подумал: «Как хорошо, что Лафтик нашел друга, похожего на него».

7. Добавление к отряду

Как и у нас, людей, у Лафтика есть зубы. Но он их называет не зубами, а отрядом, и они с ним говорят. Они подсказывают Лафтику, какие ошибки есть нельзя.

Однажды ночью мне показалось, что Лафтик тихонько плачет, утром я его спросил:

— Ты плакал?

— У меня десна болела!

— А сейчас не болит?

— Вроде, нет.

— Ну, тогда собирайся в школу.

Когда мы пришли из школы, я сделал уроки, покормил Лафтика. Мы поиграли немного и легли спать. Рано утром Лафтик закричал:

— Смотри, Дима, смотри, смотри! У меня новый боец вырос!

— Какой боец? — сонным голосом спросил я.

— Ну вот, смотри!

Он открыл рот и показал, где у него вчера болело.

— У-у-у-у тебя новый зуб?

— Да! Я так рад, так рад!!!

После школы мы зашли в магазин и купили зубную пасту и зубную щётку, чтобы Лафтик мог заботиться о своем отряде.

8. Лафтик и Тик

В пятницу вечером я делал уроки. Рядом на столе стояли часы. Лафтик лежал и слушал, как они тикают. Он уже очень долго лежал и смотрел на часы. Вдруг какой-то голос из часов сказал:

— Что смотришь?

— Кто это? — спросил у меня Лафтик.

— Не знаю. Может, какой-нибудь чудик спрятался от нас в часах?

И правда, из часов вышел страшилка с дудкой.

Лафтик спросил:

— Как тебя зовут?

-Тик, — ответил страшилка.

— А почему — Тик?

— Потому что мне нравится делать вот так — «тик-тик-тик». Поэтому и зовут меня — Тик.

— Как же ты это делаешь?

Тик прижал дудку ко рту и стал в неё дуть. Но дудка не загудела, а затикала — тик-тик-тик.

— Здорово! А ты всегда живёшь в часах?

— Ага! Причём — во всех!

— Значит, я к тебе ещё загляну.

— Буду ждать! Ну, пока! Мне нужно работать!

9. Прощай, Лафтик!

В субботу утром я рано соскочил с кровати. Сегодня выходной, и можно вволю поиграть с Лафтиком, написать ему много ошибок и вообще переделать много дел.

Я пошёл будить Лафтика, но его домика не было на месте.

— Мама, мама, где Лафтик? Где его домик?

— Какой домик, какой Лафтик?

— Ну, как же! Ведь целую неделю у меня был друг, мы ходили с ним в школу, он помогал мне делать уроки!

— Какая школа? Какие уроки? Ведь сейчас лето, сынок. Тебе, наверное, что-то приснилось?

Мне стало грустно... Неужели это был сон? Но, с другой стороны, у меня была целая неделя, проведённая вместе с лучшим другом, Лафтиком!

Конец

Алена ЛЕНКОВА, 7 класс

МАЛЕНЬКИЙ ДИЛЁК — ЧУДО-ЗВЕРЁК

Дилёк — обитатель большой красивой страны Лохмандии. Не исключено, что вы уже видели его, ведь он — маленький комочек меха. В Лохмандии жители похожи друг на друга, и поэтому у всех на спинах приклеены бумажки с именами. Дилёк очень добрый и вежливый, он всегда здоровается со всеми лохмандцами, а старeньких переводит через дорогу. К тому же , он умный и сообразительный, даже умеет считать до десяти.

У Дилька большая дружная семья. Она живёт в двухэтажном домике, который папа Дилька построил сам. У домика соломенная крыша. Стены сделаны из мрамора. Окна украшают резные ставни. Этот домик не многим отличается от других.

Лохмандия находится очень высоко от нас. Мы, даже если захотим, туда попасть не сможем. А вот лохмандцы частенько бывают у нас в гостях. Как это сделать незаметно, придумал Дилёк, когда впервые упал к нам. А случилось это так.

Был солнечный день, и Дилёк решил прогуляться. Шел, ворон считал и вдруг увидел на земле ямку, с виду совсем не заметную. Герой наш по натуре любопытный и потому сразу же сунул свой башмак туда. И что тут случилось! Ямка стала расширяться и превратилась в огромную ямищу. Дилёк моментально в неё провалился и камнем полетел вниз. Летел час, второй, третий, и, в конце концов, ему все это так надоело, что он даже начал злиться. Но, как известно, всё хорошее кончается, и он шлёпнулся на сырую землю. У нас была в это время осень, причём очень дождливая. Дилёк встал и осмотрелся. «Как необычно всё в этом мире!» — подумал он. Мимо пробегавшая собака сильно заинтересовала его. «Как много у неё на хвосте лохмандцев!». И, не раздумывая, побежал за ней. Догнав собаку, он по хвосту залез ей на спину и, проведя не один час в поисках собратьев, обессиленный, уснул крепким сном. Проснулся он оттого, что кто-то сильно тряс его за плечи. Открыв глаза, Дилёк увидел свою маму. Он рассказал ей всё, что с ним произошло. «На той планете спать нам нельзя, а то домой вернуться можно!» — так закончил свой рассказ Дилёк.

И с тех пор лохмандцы прилетают к нам, как на курорт: отдохнуть и запастись здоровьем. Вот почему собаки чешут у себя за ухом! Не блох они вычесывают, а незаметных лохмандцев!

Оксана ТОЛСТОНОЖЕНКО, 8 класс

КОГДА Я В ОДИНОЧЕСТВЕ

Тоска и уныние. Секундная стрелка, отбивая в висках свой монотонный такт, нервно и прерывисто движется по циферблату. Пылинка тяжело упала на письменный стол. Надоедливый кот потёрся мордой о мою ногу и ушел куда-то. Этим незатейливым предназначением ограничилось моё присутствие в комнате. И правда, что ещё от меня требуется? Неумолимое время, с треском двигающее стрелку, обойдётся без моей помощи. Пыль будет только рада, если я не обращу на неё внимания. А кот... Он вообще ничего не

ценит, кроме, разве что еды и кресла. Даже луна, луна! Ей тем более все равно, вижу ли я её, отражается ли она в моем зеркальце или на глади воды. Зачем ей об этом знать?

Но на губах — предвкушение свободы и покоя. Горячая голова отказывается страдать. Волосы упали на глаза. Скоро мне тоже станет всё равно, нужна ли я бездушным стенам, потолку, любимой полке с книгами и всему тому, что есть в моём мире. Да, станет совершенно безразлично. Я есть, и этого уже достаточно. Я забудусь, освобожусь. И наплевать, что эта пытка начнётся ab ovo. Важнее то, что на свете есть замечательные слова: «Спокойной ночи!».

НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Странная история произошла со мной некоторое время назад. Однажды, очень давно, силясь избавиться от привычки носить деньги в карманах и перчатках, я купила себе кошелёк. Страсть к подобным вещицам преследует меня и поныне: на моей полочке пылятся записная книжка с висячим замочком, ставшая личным дневником, который я давно не раскрывала, ненужные блестящие заколочки, дешёвые серёжки, бисерные браслеты и брошки, испорченные диски и огромное количество прочего мусора, греющего мою беспокойную душу. Но теперь появилась вещь с конкретным назначением. Внешне она не очень отличалась от остальных — пестрая, блестящая. Но этого мне было мало. Я всячески преображала внешний вид кошелька: расшивала его бисером, купила красивый брелок с прозрачным красным сердечком. И кошелёк долго служил мне не только хранителем денег, но и вечным пристанищем ключей от личного дневника с висячим замочком. Там же был и ключ от дома.

Однажды зимой мы гуляли с подругой Аленой и зашли в магазин. Я не люблю носить сумочки и положила кошелёк в карман. «Ведь выронишь!»- напророчила Алена. Её слова почти всегда сбываются. Я лишь отмахнулась. А придя домой, расстроилась, потому что действительно потеряла кошелёк. Мне казалось, что я выронила его именно рядом со школой. Но все поиски закончились одним большим неутешительным результатом. В кошельке было около семидесяти рублей. Но самое главное: там были ключи! Дневник пришлось открывать «невидимкой», а в ключе от двери я почему-то перестала нуждаться

Прошло больше года. Я не завела нового кошелька, а о прежнем и не вспоминала. Вернулась привычка носить деньги, где попало. У меня поменялись некоторые взгляды на жизнь. Я перестала жалеть о потерянном и начала беречь приобретённое. Я не считала пропажу кошелька чем-то особенным, не думала, что эта история имеет продолжение.

Тот день ничем не отличался от других весенних учебных будней. Только на большой перемене я пошла на почту, притаившуюся в двух шагах от школы. Мне срочно нужен был конверт, не помню, зачем. Я заглянула в помещение. Там была очередь, но я не обратила на неё внимания. Я просто остолбенела. На решётке висело что-то пёстрое, выцветшее, поблёскивающее чем-то металлическим и очень знакомое. Я не сразу поняла, что это. Мой Кошелёк! Было трудно представить, что он нашёлся.

— А это... чьё? — дрожа, спросила я у тети Наташи, работающей на почте.

— Кошелёк чей-то. Месяца два назад бабушка одна принесла — ответила она.

— Так это мой... — я растерялась.

— Забирай, раз твой. И больше не теряй!

Я взяла свой кошелёк, и, совсем забыв о конверте, пошла в школу. Внутри, конечно, денег не было, брелок тоже сорвали, от него осталась только цепочка. Но мне все равно было весело оттого, что он все-таки нашёлся, а главное, что ключи остались на месте. Первым делом я подбежала к Алене. Она почти не удивилась. Меня это немного расстроило. Потом я рассказывала удивительную историю путешествия и невероятного возвращения всем домашним и друзьям.

Но я и не предполагала, что на самом деле «пережил» кошелёк. Через несколько дней в магазине мы встретились с той самой бабушкой, что нашла мою вещь. Она побывала на почте и узнала о том, что хозяин пропажи нашёлся. Мои предположения оказались верны: я потеряла кошелёк именно рядом со школой; бабушка живёт в соседней квартире — в доме, где почтовое отделение. Там и нашёлся кошелёк. «Как снег сошёл, я коров стала выгонять. Выхожу как-то и вижу — у калитки в загоне с моей стороны блестит что-то. Да не в грязи, а на дощечке. Подошла — ключи и эта вещичка. А я-то напугалась! Думала, порчу навести хотят! Ну, я перекрестила её осторожно, взяла кончиками пальцев да за калитку выкинула. Весь день ходила, боялась. А потом думаю, что мне с того будет? Пожила уж! Пошла, подобрала. Гляжу, а это кошелёк! Я его

открыла — денег нет. А вот за ключи боязно. Потеряли ведь! Ну, и унесла на почту. Хорошо, раз нашёлся, деньги-то там были?» — закончила бабушка свой захватывающий рассказ. «Были», — ответила я. «Ну, я не брала! У меня пенсия хорошая. Я за вас, за молодых, переживаю. Наверно, как ты его потеряла, кто-то сразу нашёл, деньги вытащил и кинул мне через забор. Его снежком-то и присыпало. А весной он оттаял и мне попался. Ну, ни стыда, ни совести! Вот молодежь пошла...»

Я, конечно, поблагодарила бабушку. А кошелёк теперь пылится на полочке. Не смогла я к нему заново привыкнуть. Так и ношу деньги, где придётся...

ТЫ

Кажется, ты единственный человек, который меня понимает. Но ты мне не друг. И я тебе никто. Говорят, что чужому человеку легче излить душу. Это так. И ты именно чужой. И ты единственный, кто понятен мне от головного убора до кроссовок, от самых глубоких мыслей до посторонних фраз.

Помнишь, как мы познакомились? Ты прав, такое забыть невозможно. Впрочем, мы тогда прекрасно знали о существовании друг друга — у нас много общих друзей. Но личное знакомство произошло совсем недавно, летом. Ты меня спас. Нет-нет! Не от собаки или хулиганов! От непонимания и тоски. Я была слишком одинока на ненавистной мне улице.

Был праздник — 7 июля. Хотя праздником этот день считают немногие. С раннего утра, с прохлады, я тяпала тыкву. Такова уж моя участь! Плантации тыквы, картошки, десятки грядок... Неважно! Управившись к обеду, я, изнемогая от июльского зноя, вышла на улицу. Разумеется, я желала только одного — что бы меня кто-нибудь облил. А ты в это время маялся от скуки, расхаживая вдоль села с ведром воды. Больше никого не было. Но мы не бросились друг другу навстречу, как два одиночества. Хотя цели у нас были вполне совместимые. Но ты не смел бесцеремонно окатить меня ледяной водой. Я тем более не подавала вида, что мне жарко.

Нас спасла Аня, моя одноклассница, живущая напротив. Видимо, она хотела с тобой познакомиться, но боялась быть облитой. Поэтому она пошла навстречу мне, а тебе показала книгу, кажется, какого-то классика. «У меня книга. Меня нельзя обливать!» — торжествующе воскликнула она, как бы говоря в пустоту, ни к кому не обращаясь.

Мы тогда редко общались. Даже не знаю, почему я направилась к ней. Наверное, просто не видела лучшего выхода. Сейчас вся эта история кажется мне такой чепухой! А тогда в голове вертелись целые планы, стратегии, варианты фраз... И ради чего? Ради грандиозной цели — быть облитой!

Мы с Аней остановились на дороге. Ты подошёл, сочувствующе посмотрел на меня и безмолвно показал ведро. «А я без книги. Меня можно обливать», — сказала я тоже как бы между прочим. Ты с нескрываемым наслаждением вылил воду на мою голову. Все были несказанно довольны. Понятно, почему радовались мы с тобой. А она? Ты не думал? А я давно и прочно это усвоила. Она была довольна тем, что я мокрая. За все: за то, что я отличница, за то, что учусь в лицее, за внимание мальчишек, даже за новые шорты — она, как и мои одноклассники (и не только одноклассники), считала меня белой вороной, выскочкой, картавящей Оксаночкой и лицемерной любимицей всех учителей. Это зависть, я знаю.

В тот день мы и ещё несколько человек весело обливались, бегали, шутили. Но только когда слепень сел на твое плечо и вот-вот хотел укусить, а я его убила звонким ударом ладони, да так, что ты согнулся, ты спросил: «Тебя ведь Оксаной зовут?» Твое имя я тоже знала. Часа через четыре мы разошлись — мокрые, но довольные. А вечером мы снова встретились. Я шла в магазин за мороженым, а ты ехал на мотоцикле с двумя из тех немногих, кто ко мне хорошо относится. И мы помахали друг другу рукой. Я не ожидала, что ты вообще меня запомнил. А потом оказалось, что ты любишь такое же мороженое, как и я.

Но я очень скучала. Каждый вечер я ходила на самый отдалённый край деревни, где, как ни странно, была хоть какая-то сотовая связь. Я бесконечно слала SMS-ки своим лицейским друзьям, но ответы обычно приходили на следующий день. Текст был примерно такой: «Извини, что не писал (а), мы с друзьями играли в волейбол», — или что-то в этом роде. Но я никогда не осуждала их. Я за них радовалась и знала, что эти люди не станут обсуждать за моей спиной мою персону. Знала и знаю, что они мне не завидуют, не желают мне зла. Мы равны! Просто им удалось найти общий язык с окружающими, а мне нет.

Да, у тебя здесь есть друзья, к которым ты приезжаешь. Но ты тоже одинок. Я знаю множество людей, которые о тебе не лучшего мнения. Просто они вечно сравнивают человека с несуществующим образцом. Тебя считают городским изнеженным мальчиком, боящимся трудностей сельской жизни. А одноклассница, которая в тебя влюбилась и не получила горячих ответных признаний (ты знаешь, о ком я), распространяла о тебе такие слухи, что нормальному человеку в голову приходить не должно! Мне же это было неважно. Ты тоже равнодушен к моим оценкам, к моему положению среди сверстников.

Однажды я совсем отчаялась, нарвала ромашек и снова отправилась на поиски общения. Дошла до места, остановилась и стала гадать: опять останусь без ответа? А ты меня увидел и подошёл. Мы начали говорить о чем–то постороннем, о здешней природе, о закате, о покосе, на котором ты впервые побывал. Потом ты извинился и сбегал за сигаретами, благо дом был рядом. Вообще, я терпеть не могу курящих парней! Я даже сначала удивилась. Но потом мне стало даже нравиться. Нет, ко всем остальным мое отношение осталось прежним. Но тебе так идет сигарета! Сама не понимаю, как смогла прийти к такому парадоксальному мнению.

С этого момента разговор пошёл на более глубокие темы. Оказалось, что у нас совершенно одинаковое мнение об общих знакомых. Нет, мы не обсуждали их поступки и недостатки. Мы лишь делились впечатлениями. Я позволила себе спросить, правда ли, что ты наркоман (по сведениям той несчастной и отвергнутой). Я даже не назвала её имени, но ты сразу догадался, о ком я говорю. Она уже многим насолила. А ты в оправдание закатал рукава, мол, нет у меня дорожек от уколов, и показал пачку сигарет. Такие в любом ларьке продаются. Я успокоилась. Пусть мне почти безразлично твое здоровье, но с подозрительными личностями связываться опасно, правда? Ты сам таких не любишь. И странно, хотя и приятно, что за время нашего общения мы не произнесли ни одной шутки сомнительного содержания. Уже мало кто обходится без «таких» анекдотов. И мы говорили совершенно откровенно. Ты сказал, что тебя никто не понимает. Как мне это знакомо! ещё сошлись на том, что очень трудно сейчас встретить человека, который был бы таким же, как ты сам. Так продолжалось несколько вечеров подряд. Это было замечательное время, за которое я не отправила ни одного сообщения.

Потом я уехала, и с тех пор мы не встречались. Так получилось, что мы не обменялись телефонными номерами. Поначалу я жалела. Даже попыталась узнать у знакомых, но все они, будто сговорившись, говорили: «Ага, влюбилась!» Я гордо отрицала. Я знаю, что это не любовь, не дружба и даже не симпатия. Я не засыпала с мыслями о тебе, не строила планов встреч, не думала даже о самых обычных отношениях. Надеюсь, что ты тоже. А телефонный номер помог бы нам хоть иногда жаловаться друг другу на всех этих «непонятливых». Но со временем я поняла, что это только помешало бы. Постоянно общаясь, мы могли начать надеяться, сомневаться...

И все же спасибо тебе за откровенность, за участие и добродушный взгляд! Я тебе очень благодарна за те вечера, когда можно было говорить и не думать, что кто-то узнает. Большое спасибо тебе, Никита!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Вряд ли я когда-то раньше так поздно гуляла. Да ещё и зимой. Да ещё и одна. Но мне не страшно. Скорее наоборот — несказанно весело!

Вы видели когда-нибудь мультфильм «Ночь перед Рождеством»? Конечно, видели. А помните, какие там линии теней на снегу? Четкие, ясные, нереальные. Но, представьте себе, я вижу такие наяву. В моём дворе, обрамленном постройками, на сугробах разлеглись ровные пятна теней заснеженных крыш. А месяц? Просто блеск! Притом в прямом смысле. ещё никогда я не видела такого ясного и чистого свечения, как сейчас. Висел бы он ниже, и я посмотрелась бы в него, как в зеркало.

Нечистая сила проведала о моих мыслях. Ведьма сделала на метле пару кругов над месяцем, присмотрелась к ближайшим звездам, поплевала на них по очереди, протёрла грязным рукавом и, как ни странно, осталась довольна своей работой. Потом она ещё немного полетала по небу и свистнула верного друга. Он незамедлительно прибыл. Прихрамывая и охая, весь в саже и пыли, по звездам расхаживал чертик с мешком. Я не расслышала, что именно он спросил у ведьмы, но мордочка с озябшим пятачком перекосилась беззубой улыбкой.

Чертик припрыгнул на месте и поскакал к месяцу. Тот не сопротивлялся. Косматый послюнявил копыта и быстро засунул светило в

мешок. Потом чертик лихо, прыгая по звездам, спустился на забор и вытряхнул месяц к моим ногам. Я испугалась и вскрикнула. До сих пор все происходило в недосягаемой вышине, а теперь эта сила оказалась рядом.

Незадачливое небесное тело тяжело и даже нехотя стало приподниматься. Оно светилось само по себе, щедро орошая снег прозрачно-серебристыми блёстками. А на месте в небе, где оно было раньше, остались два ржавых гвоздя. Я успела заметить своё румяное отражение, прежде чем месяц, подобно воздушному шарику, неторопливо полетел и занял свое место среди звезд.

Я долго смотрела вслед удаляющемуся чуду. Потом перевела глаза на сугробы в саду. Там шевельнулись два зеленоватых глаза. Потом они поднялись и стали видны усы. Тогда замеченный Гоголь сказал: «Шалят мои! Но бояться их не надо. Что в них злого?»

И, правда, ничего страшного нет. Тем более что искрящийся образ зимней ночи разорвался от резкого звука и духоты июльского утра. Откуда этот хлопок? Просто из ослабевшей сонной руки выпала книга «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Не надо зачитываться допоздна!

Юлия УЛЬЯНОВА, 7 класс

КЛЯКСА

Как-то раз я пошла на улицу погулять. Иду себе тихонько, мечтаю. И вдруг послышался из-за кустов шорох. Что-то кряхтит да шуршит. Я стала идти тише, прислушиваясь. А потом наклонилась и увидела какого-то маленького старичка.

- Ты кто?
- Я гномик.
- А как тебя зовут?
- Меня зовут Евлампий Захарович.
- Евлампий Захарович, это вы кряхтели?
- Нет, это не я. А вон то существо.
- **Какое существо**?!!
- Пойдем, покажу, если хочешь.

Он повел меня куда-то в кусты. Я увидела там странное существо, похожее на кляксу и сразу сказала: «Я заберу её домой».

Дома Клякса пыталась заговорить со мной, но я ничего не понимала. У неё был свой язык, неизвестный мне. И я стала учить Кляксу разговаривать. Говорю ей: «Скажи ма-ма»! А она: «га-га»! «Скажи мама», — а она все равно «гага». «Ма-ма» — «Га-га»! Вдруг Клякса говорит: «Мама, я хочу есть!». И до меня дошло, что она научилась разговаривать..

Юлия КУКАРСКИХ, 10 класс

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

Запах жизни

Она ушла. И вроде бы ничего не изменилось. Так же шипел вечно включённый древний электрический чайник. Монотонно отсчитывали секунды круглые настенные часы. В углу, чуя запах портящейся пищи, скреблась вечная мышь. Невнятно бормотал старенький телевизор, попыхивая неясным светом. Они сидели, тупо уставившись в заросший пылью экран. В темноте не видно было их лиц, пустых и безразличных. И только вечная мышь, впервые высунув нос из дыры в углу, с тревогой нюхала воздух... Мышь учуяла запах, которого никогда здесь не было — запах, принесённый Ею, запах жизни.

Побег

Слушай, а давай сбежим! Умчимся куда-нибудь в глушь, подальше от опостылевшей цивилизации, суеты и скупых на чувства людей. Туда, где ещё не оставил человек след ботинка на белом снегу. Построим в лесу крепкий шалаш, будем собирать дары природы, печь картошку на костре и читать звёздной ночью при свете фонарика твоего любимого Толкиена, моего Брэдбери и нашего Пушкина. Представь: нетронутая, великая в своей силе природа, чистый воздух, птицы и Пушкин! Никаких докапываний, навязываний чужого мнения, принуждения жить, как все. Свобода! Моральная и физическая!.. Хотя, что это я говорю? Где его взять — место, не тронутое цивилизацией? В крохотных деревнях — и то уже мобильная связь есть. Если только уж в Новую Гвинею бежать. Да туда без денег и прочих благ цивилизации — никак. Ох, неуёмная моя фантазия! Ну, давай хоть в поход сходим... В бор, что за городом. Ну, на два часа — от города сбежим. Давай?

Ангел в луже

В луже отражается луна. У неё твоё лицо. Прекрасное, чистое, родное и... такое далёкое.

Носком кроссовки разбиваю луну на тысячу маленьких лун. У каждой из них твоё лицо. Ты смеёшься своим кротким смехом. Даже когда тебя обливают грязью, пытаются унизить или оскорбить, ты остаёшься

ангелом, эфемерным белокрылым чудом. Ты выше человеческих предрассудков. Ты вообще выше всего и всех. Ты идеальна. Слишком идеальна для нашего задымленного, прокуренного, опустившегося и сквернословившегося мира. За твою кротость, невинность и чистоту тебя когда-нибудь обязательно причислят к лику святых... Хотя — нет. Ты же бессмертна.

Но нет места на земле такой бессмертной святости! И рядом с нами, грешными, тоже. Только луна тебе и пара, ангел!..

Убегаю в ночь по лужам, рассекая твое лицо на множество капель.

Воробей

Я птица. Я маленький серый воробышек. Парящий под сводом небес и омывающий тело в хрустальных ручьях ветра. Меня никто не поймает и не сломает. Я свободен.

Зарисовка со скукой

Я сижу в пустой комнате. В темноте. От скуки смотрю в окно. Там, за стеклом, сыплет снег. Под тусклым фонарем смешно ковыляет старая ворона, каркая на бледный блин луны. Луна лениво зевает и прячется за пеленой снега. Ворона возмущённо взмахивает ободранными крыльями, летит, опускает дряхлое тело на ветку берёзы и продолжает ожесточённо облаивать луну. Та с невозмутимой медлительностью уплывает на соседнюю улицу. Вредная птица, с яростью выбрасывая из глотки возмущённые бульканья, шуршит вслед за луною. Я открываю окно, растягиваюсь на подоконнике и начинаю ругаться с зимой.

Отверженные

Не принятые обществом. Оттолкнутые. Отогнанные. Непонятые. Не согретые. Не признанные. Изгои. Белые вороны. Синие чулки. Замкнутые. Тоскующие. Печальные. Не оценённые. Плачущие. Одинокие. Противостоящие всему миру. Ищущие поддержку, тепло, понимание. Страдающие без дружбы, семьи, любви. Не понимающие жестоких людей. Недоумевающие. По-своему хорошие. Умные. Талантливые. Гениальные.

Бедные. Несчастные. Отверженные.

Про ненависть и про жизнь

За дверью поют. Что-то нелепое, глупое, убогое в своей помпезности и вульгарности. По-видимому, модное. Им весело.

Они орут незатейливые слова так нестерпимо громко и с такой неистовой радостью, что окна дребезжат, огромная неуклюжая люстра танцует под потолком, а мои барабанные перепонки и черепная коробка просто лопаются!

Я их ненавижу! Самодовольные, самоуверенные, недалекие... животные по натуре, отвратительные подлые гиены. Паразиты, питающиеся мозгом, силой воли, сущностью человека и за счёт этого продолжающие своё жалкое влачение, которое и жизнью-то не назовёшь. Они существуют так сами и склоняют к этому меня. А я не хочу существовать, я хочу **жить**! Нормальной, полноценной жизнью — с семьёй, друзьями, коллегами, общением! А какое с ними общение, с этими слащавыми лицемерами? Ненавижу! Не могу больше так!

Распахиваю дверь. Их безумный ор обрывается. В леденящей душу тишине под их недоумевающими взглядами: «Я ухожу». Они ничего не понимают, пытаются глазами «вразумить» меня. Но я всё решила. Разворачиваюсь и выхожу из квартиры, навсегда покидая логово гиен.

Свежий воздух ударяет в голову. Солнце слепит глаза. От птичьих голосов звенит в ушах. Жизнь, ты прекрасна!

Неправильная весна

В город пришла весна. Только оказалась она вовсе не эпатажной вечно юной красавицей, окружённой поющими птицами, звонкими ручьями и нежными подснежниками, а просто девчонкой-подростком, в старых кроссовках и с растрёпанными волосами. Одни глаза — большие, голубые, глубокие и лучистые, как переполненные тёплой водой озёра.

Незаметно оказавшись в совсем ещё зимнем царстве, она впустила хулиганистый, свежий и тревожный ветер... И затерялась в толпе.

Про весну, воробьёв и любовь

Как надоела зима! Жгучие-жалючие морозы, кусающие за носы, уши, руки и ноги всех, задержавшихся на улице... ветры, засыпающие колючим снегом глаза и срывающие шапки... даже сам этот ослепительный снег опостылел.

Не могу я больше мёрзнуть. Не мо-гу! Весны хочу. Вес-ны. Чтобы выбросить шапки и шубы. Хочу ручьёв, луж, грязи! Солнца, нежного и теплого! Счастливых воробышков,

плюхающихся в грязных потоках! Тревоги, свежести, полёта, любви, весны в сердце! Отогреться самой и отогреть кого-нибудь...

Эх! А пока меня греют только электрическая печь да кот.

Полёт

Перехватило дыхание.
В ушах — духовой оркестр.
В глазах — фейерверк и искры.
Воздуха не хватает.
Нет сил на земле стоять.
Взлетаю.
Парю.
Мечтаю.

КРАСНОЯРСКАЯ ГИМНАЗИЯ №10

Алеша ДОРОХИН, 5 класс

ЧТО ТАКОЕ — ХОРОШО? ЧТО ТАКОЕ — ПЛОХО?

Мы всегда что-то делаем. Независимо от того, хорошо это или плохо. Даже если нам кажется, что мы ничего не делаем, мы всё равно что-то делаем. Но про такие факты, как работа мозга или смена клеток кожи, я расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас речь пойдёт о поступках, которые поневоле заметны не только тебе самому, но и другим людям, то есть о поступках — **плохих**. Объяснить, почему люди разумные (или homo sapiens) совершают плохие поступки, пытались многие учёные. За всю свою жизнь каждый человек совершает неисчислимое множество плохих поступков, хочет он того или нет. Это, если подумать, объясняется очень легко и понятно. Кто-то кого-то обижает, унижает, кто-то против кого-то проявляет агрессию. В результате у этого «кого-то» появляется чувство мести, которое он примерно в 10% изливает не на обидчика, а на другого, того, кто слабее и беззащитнее. Ведь если одиннадцатиклассник обидел первоклассника, тот обидчику ничего не сможет сделать. Правда, примерно 5% всех людей вообще могут подавить в себе жажду мести, разорвать «цепочку мщения». Но так как таких «цепочек» огромное количество, люди всегда совершали, совершают и будут совершать плохие поступки. После этого вы, наверное, подумаете, что не виноваты в том, что разбили окно в спортзале. Но это не так! Любой инстинкт подавляем. Вы просто не смогли подавить свою эмоцию и сделали это, потому что не побили кого-нибудь на перемене. НО! Почему бы именно вам не стать точкой разрыва пресловутой «цепочки»? Ведь каждый человек, в каком-то смысле, не только «звено» в ней, но и «первоисточник»! Подумайте об этом!

***

Тихо и безответно
Душа ребенка распалась
На берегу ветра...

Татьяна ПАХИЛОВА, 11 класс

ПОСПОРИМ О ЛЮБВИ?

«Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире». Это слова генерала Аносова, резонёра из рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет».

Куприн пишет о безответной безумной любви простого телеграфиста Желткова к графине Вере Шеиной. Возможно, писатель стремился продолжить уже давно не новую в русской литературе тему «маленького человека». Дескать, он так же способен любить, любить искренне, всем сердцем, и ошибкой было бы предполагать, что высокая любовь — прерогатива высших слоев общества. Действительно, тема любви всегда останется актуальной и востребованной в кругу поклонников искусства (не только литературы!). Но... что же нам о ней говорит Куприн?

В школе нам «подают» купринский рассказ именно как рассказ о любви. Но я, читая, не увидела в нём любви. Никакой. Ничьей. Говоря о семье Шеиных, автор подчеркивает, что их любовь давно переросла в крепкую дружбу. Вера Тагановская вообще не выносила своего мужа. Аносов тоже пережил разочарования и неудачи в любви. Где же тогда любовь? Неужели болезненную страсть Желткова можно назвать любовью? Может быть, автор напрасно взял на себя роль рассказчика? И ему просто не удалось достаточно глубоко передать состояние своего героя? Может быть, если бы сам Желтков рассказывал о своем чувстве, его внутренний мир был бы раскрыт ярче и полнее? Как, например, в повести «Поединок», где — без посредников — раскрыты мысли, взгляды и чувства героя-повествователя Ромашова...

Желтков же выглядит смешно и глупо. Со своими слезливыми письмами к незнакомой в сущности женщине. Как вообще он мог любить Веру? Он её совсем не знал! Лишь преследовал 7 лет. Докучал признаниями в любви и подарками. Он был одержим безумной идеей — добиться внимания Веры.

Рассуждения генерала Аносова очень интересны, но я не со всем могу согласиться. Он говорит, что когда по-настоящему любишь, то готов на любой подвиг, и это должно быть в радость. Причём добавляет, что он давно уже не встречал такой любви. Он приводит пример: историю любви, которая закончилась трагедией. Мужчина, наскучив своей возлюбленной, по её же предложению бросается под поезд. Но разве любви нужны такие жертвы? Любовь — светлое чувство, она не может питаться кровью, смертью... Или это уже что-то другое, не любовь!

Разве можно доказать силу любви, прыгнув из окна или бросившись под колеса? В чем здесь подвиг?

И все-таки грех смеяться над любовью, какой бы нелепой она ни была (как это делали гости Шеиных). Нельзя испытывать любовь на прочность, глумиться над ней. Для автора «Гранатового браслета» это очень важно! Каждый имеет право на свою единственную любовь, каждый сам выбирает, как любить, лишь бы эта любовь не была во вред любимому...

Не нам судить или оправдывать Желткова. Но у меня — как у читателя — эта история вызвала неприятное впечатление. По-моему, Желтков — эгоист. Он думает только о себе. И его смерть — вроде театрального представления. Он готов умереть, чтобы Вера хотя бы задумалась о нём. Я не могу назвать подвигом самоубийство Желткова. Он оставил записку, в которой указано название сонаты Бетховена... Значит, Желткова грела надежда, что когда-нибудь — пусть даже ценой жизни — он заставит Веру думать о нём. Разве это не унижение? А на что своим поступком он обрёк Веру? На пожизненное чувство вины? Он стал для неё обузой, тяжким грузом на душе! Вера будет винить себя в его смерти. Если человек по-настоящему любит, то для него радость — знать, что предмет обожания счастлив. Ведь основа любви — самопожертвование! Я не говорю сейчас о своеобразном жертвоприношении Желткова. Я о другом. Он мог бы пожертвовать своими чувствами ради счастья милой... Хотя... мне неясно, что это вообще за чувства, откуда-то взявшиеся, беспочвенные, жалкие... Может быть, я говорю резко, но, по-моему, действительно, так оно и есть.

Вообще я считаю любое самоубийство проявлением эгоизма. Минутная слабость ли, прихоть ли, но все-таки — с чем самоубийцы оставляют близких? Перед тем, как совершить опрометчивый шаг, нужно вспомнить о родителях, о людях, которые тебя любят. Подумать, ради чего родители поднимали тебя, растили... неужели для того, чтобы вот так всё закончилось? Как им-то жить дальше? Мало-мальски достойный уважения человек вытерпит острую боль и постарается просто дожить до завтра...

Желтков навязался Вере сам и своей смертью обрёк её на страдания и угрызения совести. Его безумие стало причиной новой трагедии.

Нет! Для меня любовь — не трагедия. Подчиняясь недолговечной страсти, рано говорить о любви. Страсть проходит, а что после неё? Порой — разлука, ведь влюблённых с первого взгляда, как правило, ничто ещё не связывает. Гораздо сложнее — понимать любимого человека, терпеть его слабости и недостатки, поддерживать в трудную минуту. Жизнь прожить вместе — не поле перейти, для этого нужно научиться любить друг друга. Любовь — это когда любишь не за что-то, а вопреки, значит, прощаешь недостатки и промахи. Пример такой любви — семья Шеиных. Пусть их страсть переросла в дружбу, но ведь так, думаю, и должно быть! Супруги понимают друг друга с полуслова, делятся тайнами... Их любовь — как вино, чем оно старше, тем выше его цена!

Даша СЕРГЕЕВА, 10 класс

ПРИВЫЧКА К ДЕПРЕССИИ

Уже стемнело, но не слишком поздно. Люди пытаются спастись от мороза, забегая в маленькие ларьки, магазины, отчаянно втискиваются в подъезжающие маршрутки. Люди на остановке трясутся от холода, выпуская изо рта призрачный пар и с тревогой глядя вдаль. Укутанные в шарфы прохожие тускло смотрят себе под ноги... Все спешат.

С темно-синего неба падает мелкий снежок. Все забыли о радости, как будто потеряли смысл жизни. Да и само слово «жизнь» растворилось в нежной ряби снежинок. Люди словно не живут, а просто существуют. Потому что так надо. Они не могут по-другому. Атмосфера серой и однообразной скуки.

Я сижу на спинке лавочки, мне не холодно. Я привыкла к холоду. Просто сижу и наблюдаю за людьми. В наушниках — песня любимой группы. Слова песни очень подходят ко всему происходящему:

Падает снег с черных небес
Дремлет под ним обугленный лес...

Или вот:

Атомная зима
Заморозила сердце, лишила сна.
Мир от вспышки ослеп,
От взрыва оглох.
И над миром царит
Хромированный Бог...

Очень похоже. Вместе с зимой приходит холодная депрессивная атмосфера. Депрессия... ужасное тёмное состояние. Все считают это болезнью, когда только боль, раздражение, неуверенность... Но ведь именно в такие минуты можно осмыслить причины проблем. Мне вот кажется, что во время депрессии человек имеет право отстраниться от людей. Убежать, скрыться ненадолго от того мира, в котором мы живём. И уйти в свой... пусть тоже полный тревог и страхов, но в свой, собственный мир. Ведь у каждого есть страхи!

Ветер подул сильнее, немного заслезились глаза. Снег стал падать мягкими хлопьями. Ко мне подсел молодой парень и закурил сигарету. Ветер подхватил дым, и я медленно вдыхала его струи. Сигаретный дым приносит намного больше вреда не курящему, а тому, кто рядом. Да, я знаю, но что поделаешь... лучше уже не станет. Я привыкла находиться в компаниях курящих, они мои друзья, и я не виню их за то, что они курят. Люди сами сделали свою жизнь такой. Стоит только осмотреться — всюду зловещие, дышащие тяжёлым газом трубы. Может, не каждый со мной согласится, но по сути с самого рождения мы только и делаем, что умираем. Мы сами приближаем свою гибель. Не очень весело, конечно. Зато мы — уникальные существа. Я думаю, что это из-за того, что люди могут любить, переживать, чувствовать.

Почему-то не всем нравится зимнее время. А я люблю зиму, люблю это пронизывающее до костей замирание темных переулков и дворов. Их ледяную депрессию... Летом мне не хватает зимнего уныния.

Теперь здесь пусто и холодно. Наша лавочка засыпана пушистым снегом. Стоит подойти и смахнуть с неё снег, и сразу видны до боли знакомые цветные надписи. Что-то вроде: «Убей в себе ЭМО» или «Нафаня, ХОЙ». Да, когда-то здесь было тепло и уютно, всюду слышался смех, парни катались на скейтах... Теперь только прах воспоминаний. Однажды мой друг, который гулял здесь с нами, сказал, что всё очень скоро развалится. Я не верила. Мне было больно об этом думать. Он был прав. Стоило осенним ветрам прийти в сквер, всё стало разваливаться. Нет, не из-за холодов... Дело в принципах людей, которые все разрушают.

КРАСНОЯРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «УНИВЕРС»

Ульяна ИСАЧЕНКО, 10 класс

****

Слово пахнет дружбой народов.
Слово пахнет третьей мировой.

Слово — коварное.
Слово — жестокое.
Слово превращает королеву
В простую женщину
Со своим страданием,
Со своими желаниями,
В общем, не достойными
Королевского звания.

Слово — холодное,
Слово презрения.
Слово делает из размазни —
мужчину.
Правда, чаще — наоборот.

Слово — пародия.
Родная ирония
Вызывает улыбку и смех,
К сожаленью, чувство юмора у некоторых
Нуждается в толковом словаре.

Слово. Тихое. Нежное.
Украдкой сказанное. Одно.
Лишь оно заставляет летать.

****

Время остановилось.
Времени больше нет.
Можешь лгать, что из моей коробки
Есть выход на белый свет.
Темнота разбивает время,
Играет осколками иллюзорных лет.
Наблюдай за моей потерей,
Подними меня на смех жестоко,
Обложи меня с ног до головы...
Только дай ощутить губами
Нежность твоей руки.

Екатерина КАРЕПОВА, 11 класс

ЛЕТО

…и вдруг абсолютно не к месту
мне в голову бросилось лето
запахом старой известки
и пыльною горечью улиц.
И были тогда подъезды
любовью нашей согреты,
глядели нам вслед подростки –
будто на солнце – щурясь.

Никита НУРЛЫГАЯНОВ, 5 класс

В СЕНИ ОЛИМПА

***

На вершине Олимпа правил Зевс
В окружении богов.
Встретил девушку по имени Ио.
Полюбил!
Просто нет слов!
Скрывая любовь от жены своей Геры,
Превратил в корову он деву.
Спасаясь от овода жала,
Девушка Ио по странам бежала.
И только в Египте вернула покой
И прежний облик свой.

***

Гефест приковал Прометея к скале,
Не мог он противиться Зевсу.
По утрам орёл, садясь на грудь,
Выклевывал печень титану.
Но стойко терпел эту боль Прометей,
Хотя это было жестоко.
В обмен на свободу он Зевсу сказал:
«Опасен ваш брак с Фетидой».
С тех пор на руке у титана кольцо
Из старой оковы его.

Денис ТЕРЕШКИН, 7 класс

ПОДРАЖАЯ
СИМОНИДУ КЕОССКОМУ

Мудрый отличен от глупого тем,
Что если мудрого кто оскорбит,
То не станет он раздор
Продолжать…
Глупый же станет браниться,
И займется раздор, словно пламя,
И станет каждый
Судить и осуждать
Совсем напрасно…

Ди**Н** *ревю*

Алексей БАБИЙ. Почти Полное Собрание Сочинений с комментариями и литературоведческим анализом, выполненными лично автором, г. Красноярск, 2007, тираж 500 экз.

БАБЬЕ ЛЕТО'4, сборник стихов, г. Омск, 2007, тираж 300 экз.

Александр БАЛТИН, ЩИТ ПЕРСЕЯ, книга стихов, г. Москва, 2008, тираж 100 экз.

БЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ, №12 декабрь 2007, общественно-политический и литературно-художественный журнал, г. Уфа, тираж 3450 экз.

Руслан БИКБАЕВ, ХОЛОДНО ЗДЕСЬ, стихи, г. Омск, 2007, тираж 200 экз.

Елена ЕЛАГИНА, ОСТРОВИТЯНЕ, стихи, г. Санкт-Петербург, 2007, тираж 500 экз.

Игорь КУНИЦЫН, НЕКАЛЕНДАРНАЯ ЗИМА, книга стихов, г. Минск, 2008, тираж 500 экз.

Анна ПАВЛОВСКАЯ, ТОРНА СОРРЬЕНТО, книга стихов, г. Минск, 2008, тираж 500 экз.

Наталья ПЕРОВА, МОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ, стихи разных лет, г. Набережные Челны, 2007, тираж 500 экз.

ПЛАНКА, альманах, серия «Илья-премия», г. Москва, 2007, тираж 300 экз.

Рукописи принимаются по адресу:
660028, Красноярск, а/я 11937,
редакция журнала «День и Ночь».
Желательна дискета с набором.
E-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Ответственность за достоверность
фактов несут авторы материалов.
**Мнения авторов могут не совпадать
с мнением редакции.**
При перепечатке материалов ссылка
на журнал «День и ночь» обязательна.

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru
поддерживается ООО «КИТ»

ООО «Редакция
литературного
журнала «День и Ночь».

ИНН
2463042749,
р. счет
40702810500600000186

в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК
040407967
корр. счет.
30101810000000000967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «ДиН»
Телефон редакции: (3912) 43-06-38

Макет и оформление журнала —
Олег АМПИЛОГОВ
Компьютерный набор —
Красноярский литературный лицей
Компьютерная вёрстка —
Олег НАУМОВ

Сдано в набор 00.00.0000
Подписано к печати 00.00.0000
Бумага офсетная № 1.
Условных печатных листов
Объем _______
Тираж 1000 экз.
Заказ № _____

В НОМЕРЕ:

ДиН мемуары

Борис ПЕТРОВ
ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ 2
Нина ШЕЛАНОВА
ТЕТРАДЬ НИНЫ 30

ДиН роман

Александр ГАЛЬКЕВИЧ
«ВЫХОД СИЛОЙ» 49

ПОЭЗИЯ

Юлия ЖДАНОВА
ОН ПТИЦ РАЗДАЕТ 125
Николай АЛЕШКОВ
ИНАЧЕ — КАК? 126
Наталья ЕЛИЗАРОВА
НЕОЗВУЧЕННЫЙ ВОПРОС 127
Вячеслав РУДНЕВ
МОЙ СЛЕД НА ПЕСКЕ 128
Игорь ИВАНЧЕНКО
ИЗГОЙ, БЕССРЕБРЕНИК, СТАРАТЕЛЬ... 130
Владимир ПРОКОПЕНКО
...И ДОРОГИЕ ИМЕНА 132
Алексей ПЕТРОВ
БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ 134
Роман ЧИГИРЬ
СУДЬБА ЖИВУЩЕГО 136
Дмитрий МУРЗИН
LIMITA LA COMMEDIA 137
Наталья МУРЗИНА
МЯЧ, БЕРЁЗА, ТРОПИНКА, ДОМ 138
Марк ЛУЦКИЙ 139
ПИСЬМО С САХАЛИНА 178
Юлиания ЛАЗАРЕВСКАЯ 216

Библиотека современного рассказа

Татьяна МАСС
ГОРОД ЖЕНЩИН 140
Мария СКРЯГИНА
ТАЙНА СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЫ 145
Галина ТЕРТОВА
СЛОВЕСНИЦА 154
В ПЕТЛЕ 161
Ак ВЕЛЬСАПАР
У ОВРАГА, ЗА ПОСЛЕДНИМИ ДОМАМИ... 166
Ирина ГОРЮНОВА
СТРАДИВАРИ В АВОСЬКЕ 176

ДиН пьеса

Александр АСТРАХАНЦЕВ
ЗЕМЛЯ ПОЛЫНЬ 184

ДиН публицистика

Анастасия ПОДБОРСКАЯ
ПОЛЯКИ НА БЕРЕГАХ ЕНИСЕЯ . 217

ДиН эксперимент

Вадим ШКОДИН
ЧИТАЯ МУРАКАМИ 225

ДиН юмор

Александр САВЕНКОВ 241

ДиН детям

Елена НАМАКОНОВА
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ПИРАТОМ... 242

ДиН перевод

Киприан Камил НОРВИД
НА ПАМЯТЬ... 243

ДиН дети

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ 244

ДиН память

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ 135
Борис ЧИЧИБАБИН 48